Николай ЛЕСКОВ



НА НОЖАХ

ВЕЛИКАЯ СУДЬБА РОССИИ

Annotation

Запрещенная в советскую эпоху ядовитая сатира на «быт и нравы» «новых людей» – социалистов, полемизирующих с «Отцами и детьми» Тургенева и «Что делать?» Чернышевского.

Книга, публикация которой вызвала в России оглушительный скандал – ведь в «антигероях» читатели узнавали реальных людей.

Социалистическая община глазами человека, не воспринимающего ее убеждений и сурово анализирующего ее образ жизни, – что может быть интереснее?..

- Николай Лесков
  - Часть первая
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава трерья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
    - Глава десятая
    - Глава одиннадцатая
  - Часть вторая
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава трерья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
    - Глава десятая

        - Глава одиннадцатая
        - Глава двенадцатая
        - Глава тринадцатая
        - Глава четырнадцатая
        - Глава пятнадцатая
    - Часть третья
        - Глава первая
        - Глава вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - Глава девятая
        - Глава десятая
        - Глава одиннадцатая
        - Глава двенадцатая
        - Глава тринадцатая
        - Глава четырнадцатая
        - Глава пятнадцатая
        - Глава шестнадцатая
        - Глава семнадцатая
        - Глава восемнадцатая
        - Глава девятнадцатая
    - Часть четвертая
        - Глава первая
        - Глава вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - Глава девятая
        - Глава десятая
        - Глава одиннадцатая

        - Глава тринадцатая
        - Глава четырнадцатая
        - Глава пятнадцатая
        - Глава шестнадцатая
        - Глава семнадцатая
        - Глава восемнадцатая
        - Глава девятнадцатая
        - Глава двадцатая
        - Глава двадцать первая
        - Глава двадцать вторая
        - Глава двадцать третья
    - Часть пятая
        - Глава первая
        - Глава вторая
        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
        - Глава восьмая
        - Глава девятая
        - Глава десятая
        - Глава одиннадцатая
        - Глава двенадцатая
        - Глава тринадцатая
        - Глава четырнадцатая
        - Глава пятнадцатая
        - Глава шестнадцатая
        - Глава семнадцатая
        - Глава восемнадцатая
        - Глава девятнадцатая
        - Глава двадцатая
        - Глава двадцать первая
        - Глава двадцать вторая
        - Глава двадцать третья
        - Глава двадцать четвертая
        - Глава двадцать пятая

- Глава двадцать шестая
- Глава двадцать седьмая
- Глава двадцать восьмая
- Глава двадцать девятая
- Глава тридцатая
- Глава тридцать первая
- Глава тридцать вторая
- Глава тридцать третья
- Глава тридцать четвертая
- Глава тридцать пятая
- Глава тридцать шестая

- Часть шестая
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Глава шестнадцатая
  - Глава семнадцатая
  - Глава восемнадцатая
  - Глава девятнадцатая
  - Глава двадцатая
  - Глава двадцать первая
  - Глава двадцать вторая
  - Глава двадцать третья
  - Глава двадцать четвертая
  - Глава двадцать пятая

        - Глава двадцать шестая
    - Эпилог
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34

- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71

- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108

Николай Лесков
На ножах

Часть первая
Боль врача ищет

Глава первая
Отступница

В губернском городе N есть довольно большой деревянный дом, принадлежащий господам Висленевым, Иосафу Платоновичу, человеку лет тридцати пяти, и сестре его, Ларисе Платоновне, девушке по двадцатому году. Дом этот, просторный и барский, был бы вовсе бездоходен, если б его владельцы захотели жить в нем, не стесняясь. В нем девять комнат, по старорусскому дворянскому обычаю расположенных так, что двум семействам в них никак разместиться невозможно. Родители нынешних владельцев строили дом для себя и не предвидели никакой нужды извлекать из него какие бы то ни было доходы, а потому и планировали его, что называется, по своей фантазии. Старикам не было и нужды стеснять себя, потому что у них по старине были хорошие доходы с доходного места. При известной беспечности, вообще свойственной русской натуре, доходам этим не предвиделось конца, а он вдруг и пришел: старик Платон Висленев, советник одной из губернских палат, лег однажды спать и не проснулся. Вдова его нашла в бюро мужа очень небольшую сумму денег и получила тоже очень небольшой пенсион. Всем этим прожить было невозможно, тем более, что приходилось воспитывать нынешних владельцев дома, Иосафа Платоновича, бывшего тогда в шестом классе гимназии, и Ларису Платоновну, оставшуюся в совершенном малолетстве. Дом надо было сделать из бездоходного доходным. С этою целью вдова Висленева построила во дворе, окнами в сад, флигелек в пять небольших комнат, и сама с детьми поселилась в этом флигельке, а большой дом начала отдавать внаймы. С этих пор доходы ее стали таковы, что она могла содержать сына в гимназии, а потом и в университете, а дочь добрые люди помогли устроить в институт на казенный счет. Вдова Висленева вела жизнь аккуратную и расчетливую, и с тяжкою нуждой не зналась, а отсюда в губернских кружках утвердилось мнение, что доходы ее отнюдь не ограничиваются домом да пенсией, а что у нее, кроме того, конечно, есть еще и капитал, который она тщательно скрывает, приберегая его на приданое Ларисе. Доходили такие слухи и до самой вдовы, и она

их, по общему мнению, опровергала очень слабо: старушка имела в виду, что эти толки ей не повредят. Семь лет тому назад подозрения насчет таинственного ларца вдовы Висленевой получили еще новое и для местных прозорливцев неотразимое подтверждение. Иосаф Платонович Висленев тотчас, по окончании университетского курса, приехал домой, и только что было определился на службу, как вдруг его ночью внезапно арестовали, обыскали и увезли куда-то по политическому делу. Спасения и возврата его никто не чаял, его считали погибшим навеки, причем губернскому человечеству были явлены новые доказательства человеческого, или, собственно говоря, женского коварства и предательства, со стороны одной молодой, но, как все решили, крайне испорченной и корыстной девушки, Александры Ивановны Гриневич. Выручил же Иосафа Висленева материн заповедный ларец. Дело об этом предательстве требует подробного объяснения.

Иосаф Платонович Висленев еще чуть не с пятнадцати лет был влюблен в дочь нанимавшего их дом инспектора врачебной управы Гриневича. Близкие люди считали эту любовь большим несчастием для молодого человека, подававшего блестящие надежды. Считали это несчастием, конечно, не потому, чтобы кто-нибудь признавал Сашеньку Гриневич, тогда еще девочку, недостойною со временем хорошей партии, но потому, что взаимное тяготение детей обнаружилось слишком рано, так что предусмотрительные люди имели основание опасаться, чтобы такая ранняя любовь не помешала молодому человеку учиться, окончить курс и стать на хорошую дорогу.

Опасения, и понятные, и уместные, на этот раз, как редкое, быть может, исключение, оказались излишними. Любовь Иосафа Платоновича Висленева к Александре Ивановне Гриневич не помешала ему ни окончить с золотою медалью курс в гимназии, ни выйти одним из первых кандидатов из университета. Пока молодой Висленев был в гимназии, а Александра Ивановна ходила в пансион, родители не препятствовали их юной привязанности. Когда Висленев уехал в университет, между ним и Сашей Гриневич, оставившей в это время пансионские уроки, установилась правильная переписка, которой никто из родителей не заботился ни приостанавливать, ни проверять. Все это за обычай стало делом, имеющим правильное течение, которое, как все верили, должно завершиться венцом.

Родители Сашеньки имели про черный день состояньице, правда, очень небольшое, но во всяком случае обеспечивавшее их дочери безбедное существование. Таким образом Сашенька, которая была недурна собой, очень способна, училась хорошо, нрав имела веселый и кроткий, чем она не невеста? Иосаф Висленев молодец собой, имел дом, университетское образование: стало быть, чем же он не жених? Матери очень многих девиц, поставленных гораздо лучше, чем дочь доктора Гриневича, и гораздо положительнее ее обеспеченных, не пренебрегли бы таким женихом, как Висленев, а Сашеньке Гриневич партия с Висленевым, по всеобщему приговору, была просто клад, за который эта девушка должна была держаться крепче.

По общим замечаниям, Сашенька понимала свою пользу и держалась, за что ей следовало держаться, превосходно. Говорили, что надо было дивиться ее такту и уму, твердым и расчетливым даже не по летам. С Иосафом Платоновичем она не всегда была ровна, и даже подчас для самого ненаблюдательного взгляда было заметно, что между ними пробегали легкие тени.

– Наши дети дуются, – говорили друг другу их матушки, бывшие между собою друзьями.

Дети дулись, но их никто не мирил и никто не уговаривал; за ними, однако, наблюдали со вниманием и очень радовались, когда ссора прекращалась и между ними восстанавливалась дружба и согласие, а это случалось всегда немедленно после того, как Иосаф Висленев, переломив свою гордость и изыскав удобную минуту уединенного свидания с Сашей, просил у нее прощения.

В чем заключались те вины Иосафа Висленева, которые Александра Ивановна разрешала и отпускала ему не иначе как после покаяния? Это оставалось тайной, этого никто из родных и домашних не знал, да и не усиливался проникнуть. Однажды лишь одной досужей соседке вдовы Висленевой удалось подслушать, как Саша журила Иосафа Платоновича за его опыты в стихотворстве. Это многих возмутило и показалось капризом со стороны Саши, но Иосаф Платонович сам сознался матери, что он писал в стихах ужасный вздор, который, однако, отразился вредно на его учебных занятиях в классе, и что он даже очень благодарен Саше за то, что она вернула его к настоящему делу.

Это раз навсегда примирило мать Висленева с тенями в отношениях Саши к Иосафу Платоновичу, и вдова не преминула, кому только могла, рассказать о Сашенькиной солидности.

Солидности этой, однако, не всеми была дана одинаковая оценка, и многие построили на ней заключения, невыгодные для характера молодой девушки. Некоторые молодые дамы, например, называли это излишнею практичностью и жесткостью: по их мнению, Саша, имей она душу живую и восприимчивую, какую предполагает в себе каждая провинциальная дама, не убивала бы поэтические порывы юноши, а поддержала бы их: женщина должна вдохновлять, а не убивать вдохновение.

Вдова Висленева не внимала этим речам, ей нелегко было содержать сына в школе, и потому она страшно боялась всего, что угрожало его успехам, и осталась на стороне Саши, которою таким образом была одержана первая солидная победа над всеми желавшими соперничать с нею в семье жениха.

Старые дамы глядели на дело с другой стороны и, презирая вдаль, предсказывали утвердительно одно, что Саша раньше времени берет Иосафа Платоновича под башмак и отныне будет держать целую жизнь под башмаком.

Мать Висленева явила столько характера, что не смущалась и такими предсказаниями и, махая рукой, отвечала, что «Улита едет, а когда-то будет!»

Мать Александры Ивановны, в свою очередь, пробовала допрашивать дочь, за что она порой недовольна на Висленева, но Саша обыкновенно кротко отвечала:

– Так, за пустяки, maman!

– Так за пустяки, мои друг, зачем же сердиться? Споры во всяком случае не красят жизнь, а темнят ее.

– Ну, мамочка, поверьте мне, что я не хочу же, чтоб его жизнь мрачилась, а, напротив, желаю ему счастия и…

Девушка потупилась и замолчала.

– И что, Alexandrine? – спросила ее мать, положив на колени свое шитье и вскинув на лоб черепаховые очки.

– И я, maman, сама стыжусь беспрестанных размолвок и страдаю от них больше, чем он. Верьте, что я тысячу раз сама охотнее просила

бы у него извинения… я сделала бы все, чего бы он только захотел, если б я… была виновата!

– Пред ним?

– Нет, maman, не пред ним… этого я даже не допускаю, но пред правдой, пред долгом, пред его матерью, которой он так обязан. Поверьте, maman, что все, что в этом отношении в нем для других мелко и ничтожно, то… для меня ужасно видеть в нем. Он… – проговорила Саша и снова замялась.

Старая Гриневич посмотрела на дочь пристальным взглядом и тихо поманила ее к себе.

Девушка опустилась коленами на скамейку, стоявшую у ног матери, и, взяв ее руки, поцеловала их.

Старуха откинула набежавшие на лоб дочери каштановые кудри и вперила пристальный взгляд в ее большие глаза.

– Скажи мне, что он делает, мой друг? – прошептала мать.

– Мама, дружок мой, не спрашивай меня об этом, это, может быть, в самом деле все пустяки, которые я преувеличиваю; но их… как тебе, мама, выразить, не знаю. Он хочет любить то, чего любить не может, он верит тем, кому не доверяет; он слушается всех и никого… Родная! прости мне, что я тебя встревожила, и забудь о моей болтовне.

Когда приезжал на каникулы Иосаф Висленев из университета, он и Саша встречались друг с другом каждый раз чрезвычайно тепло и нежно, но в то же время было замечено, что с каждою побывкой Висленева домой радость свидания с Сашей охладевала. Теней и прежних полудетских ссор теперь, правда, не было, но зато их в молодой девушке заменили сдержанность и самообладание и в речи, и в приемах. Впрочем, было ясно, что это была только сдержанность, а не измена в чувствах. Опытный и зоркий взгляд, наблюдая молодых людей, мог заметить, что они любили друг друга по-прежнему, а Саша еще и больше прежнего. Чем дальше Висленев уклонялся от ее идеала, тем сильнее овладевал ее сердцем, ее волею и ее помыслами. Так любят в жизни раз, далеко пред тою порой, когда любовь послушна разуму.

Любовь, самая чистая, самая преданная, сказывалась у Саши вниманием ко всем вестям, касавшимся Висленева, выливалась в пространнейших письмах, которые она ему писала аккуратно каждую неделю.

Но вот прекратились и письма. Отчего и как? Это опять оставалось их же секретом, но корреспонденция прекратилась, и на лбу у Саши между бровями стала набегать тонкая морщинка.

Так стояли дела в последний год пребывания Висленева в университете, когда Саше Гриневич только что минуло восемнадцать лет, а ему исполнилось двадцать четыре года. Окончательно же Висленев потерял свою невесту следующим образом.

Приехал Висленев домой, определился на службу в губернскую канцелярию; служит, сводит знакомства. Саша выезжает мало, однако и не избегает выездов, показывается с другими на губернских вечерах, раутах; и весела она, и спокойна, и не отказывается от танцев. С Висленевым холодна. В городе решили, что дело между ними кончено. Разные лица, то самой Саше, то ее родителям, начали делать предложения. Сначала ее руки искал генерал Синтянин, если не очень важное, то очень влиятельное лицо в районе губернии, вдовец, с небольшим пятидесяти лет, имеющий хорошее содержание и двухлетнюю глухонемую дочь. Предложение генерала было отклонено, чему, впрочем, никто и не удивился, потому что хотя Синтянин еще бодр, и свеж, и даже ловок настолько, что не боялся соперничества молодых людей в танцах, но про него шла ужасная слава. Помнили, что когда он, десять лет тому назад, приехал сюда из Петербурга в первом штаб-офицерском чине, он привез с собою экономку Эльвиру Карловну, чрезвычайно кроткую петербургскую немку. Эльвира Карловна не была принята нигде во все годы, которые она провела в должности экономки у генерала. Красотою ее, хотя и довольно стереотипною, по беспредельной кротости выражения, можно было любоваться только случайно, когда она, глядя в окно, смаргивала с глаз набегавшие на них слезы или когда из-за оконной ширмы видно было ее вздрагивающее плечо. Она была всегда если не в слезах, то в страхе, – так ее все себе и представляли, и связывали это представление с характером генерала Синтянина. А какой это был характер, про то Бог один ведал, хотя по наружности и приемам генерал был человек очень мягкий, даже чересчур мягкий. Для женщин Синтянин был особенно антипатичен, потому что он на словах был неумытно строг к нравам; трактовал женщин несовершеннолетними, требующими всегдашней опеки, и цинически говорил, что «любит видеть, как женщина плачет». Ко всему же этому

у генерала Синтянина, человека очень стройного и высокого роста, при правильном и бледном матовом лице и при очень красиво-павших сединах, были ужасные, леденящие глаза, неопределенного, темно-серого цвета, без малейшего отблеска. Такой цвет имеет пух под крыльями сов. Свыкнуться с этими глазами было невозможно.

Но и этого мало: генерал Синтянин нашел еще средство восстановить против себя всех женщин города одним поступком, которого неловкость даже сам сознавал и для объяснения которого снизошел до того, что предпослал ему некоторые оправдания, несмотря на небрежение свое к общественному мнению.

Дело в том, что у Эльвиры Карловны, в то время, когда она приехала с Синтяниным из Петербурга, была десятилетняя дочь, Флора, от законного брака Эльвиры Карловны с бедным ювелирным подмастерьем из немцев, покинутым женою в Петербурге, неизвестно за что и почему! (Конечно, «не сошлись характерами».) Когда девочке минуло одиннадцать лет, ее стали посылать в пансион. Генерал в качестве «благодетеля» вносил за нее деньги, а через семь лет неожиданно вздумал завершить свои благодеяния, сделав ее своею законною женой «пред лицом неба и людей». Таково было его собственное выражение.

Пустых и вздорных людей этот брак генерала тешил, а умных и честных, без которых, по Писанию, не стоит ни один город, этот союз возмутил; но генерал сумел смягчить неприятное впечатление своего поступка, объявив там и сям под рукой, что он женился на Флоре единственно для того, чтобы, в случае своей смерти, закрепить за нею и за ее матерью право на казенную пенсию, без чего они могли бы умереть с голоду.

Объяснение это произвело свое впечатление и даже приобрело генералу в губернском обществе ретивых защитников, находивших брак его делом очень благородным и предусмотрительным. В самом деле, бедная по состоянию, безвестная по происхождению, запуганная Флора едва ли бы могла сделать себе партию выше генеральского писаря.

Большинство общества решило, что Флоре все-таки гораздо лучше быть генеральшею, чем писаршей, и большинство этим удовольствовалось, а меньшинство, содержащее необходимую для

стояния города «праведность трех», только покивало головами и приумолкло.

Дело во всяком случае совершено, и никто не был властен в нем ничего ни поправлять, ни перерешать. Дом генерала всегда был заперт для всех. Далее генеральского кабинета, куда к нему являлись разные люди по делам, в дальнейшие его апартаменты не проникал никто. С женитьбой генерала ничто не переменилось. Синтянин и венчался с Флорой тихо, без всякой помпы, в походной церкви перехожего армейского полка; визитов с женой никому не делал, и ни жена его, ни теща по-прежнему не показывались нигде, кроме скромной приходской церкви. Они обе переменили лютеранство на православие и были чрезвычайно богомольны, а может быть даже и религиозны. Пелены, занавесы, орари и воздухи приходской церкви – все это было сделано их руками, и приходское духовенство считало Флору и ее мать ревностнейшими прихожанками.

Так прошло десять лет. Город привык видеть и не видать скромных представительниц генеральского семейства, и праздным людям оставалось одно удовольствие решать: в каких отношениях находятся при генерале мать и дочь, и нет ли между ними соперничества? Соперничества между ними, очевидно, не было, и они были очень дружны. К концу десятого года замужества Флоре, или по нынешнему Анне Ивановне, бог дал глухонемую дочку, которую назвали Верой.

Эльвиры Карловны скоро не стало. Густой, черный вуаль Флоры, никогда не открывавшийся на улице и часто спущенный даже в темном углу церкви, был поднят, когда она стояла посреди храма у изголовья гроба своей матери. На бедную Флору смотрели жадно и со вниманием, и она, доселе по общему признанию считавшаяся некрасивою, к удивлению, не только никому отнюдь не казалась дурною, но напротив, кроткое, бледное, с легким золотистым подцветом лицо ее и ее черные, глубокие глаза, направленные на одну точку открытых врат алтаря, были найдены даже прекрасными.

Старый священник, отец Гермоген, духовник усопшей Эльвиры Карловны, духовник и Флоры, когда ему заметили, что последняя так неожиданно похорошела, отвечал: «не так вы выражаетесь, она просияла».

Флора не плакала и не убивалась при материном гробе, и поцеловала лоб и руку покойницы с таким спокойствием, как будто здесь вовсе и не шло дело о разлуке. Да оно и в самом деле не имело для Флоры значения разлуки: они с матерью шли друг за другом.

Через месяц после похорон Эльвиры Карловны в той же церкви отпевали Флору. Быстрая, хотя и очень спокойная кончина ее дала повод к некоторым толкам, еще более увеличивавшим общий страх к характеру генерала Синтянина. Как ни замкнут был для всех дом Синтянина, но все-таки из него дошли слухи, что генерал, узнав, по чьему-то доносу, что у одного из писарей его канцелярии, мараковавшего живописью, есть поясной портрет Флоры, сделанный с большим сходством и искусством, потребовал этот портрет к себе, долго на него смотрел, а потом тихо и спокойно выколол на нем письменными ножницами глаза и поставил его на камине в комнате своей жены. Что же касается до самого художника, то он был отчислен от канцелярии генерала и отдан в другую команду, в чьи-то суровые руки; несчастный не вынес тяжкой жизни, зачах и умер. Пред кончиною он не хотел причащаться из рук госпитального священника, а просил призвать к нему всегдашнего духовника его, отца Гермогена; исповедался ему, причастился и умер так спокойно, как, по замечанию некоторых врачей, умеют умирать одни русские люди. Через неделю этому же отцу Гермогену исповедала грехи свои и отходившая Флора, а двое суток позже тот же отец Гермоген, выйдя к аналою, чтобы сказать надгробное слово Флоре, взглянул в тихое лицо покойницы, вздрогнул, и, быстро устремив взор и руки к стоявшему у изголовья гроба генералу, с немым ужасом на лице воскликнул: «Отче благий: она молит Тебя: молитв ее ради ими же веси путями спаси его!» – и больше он не мог сказать ничего, заплакал, замахал руками и стал совершать отпевание.

Генерал Синтянин овдовел и остался жить один с глухонемою дочкой; ему показалось очень скучно; он нашел, что для него не поздно еще один раз жениться, и сделал предложение Александре Ивановне Гриневич. Та, как выше сказано, предложение это отклонила, и генерал более за нее не сватался; но в это же время отец Саши, старый инспектор Гриневич, ни село ни пало, получил без всякой просьбы чистую отставку. В городе проговорили, что это не без синтянинской руки, но как затем доктору Гриневичу, не повинному ни

в чем, кроме мелких взяток по должности (что не считалось тогда ни грехом, ни пороком), опасаться за себя не приходилось, то ему и на мысль не вспадало робеть пред Синтяниным, а тем более жертвовать для его прихоти счастием дочери. Об этом и речи не было в семейных советах Гриневичей. Они только сократили свои расходы и продолжали жить тихо и смирно на свои очень умеренные средства. Люди их, однако, не позабывали, и женихи к Alexandrine сватались и бедные, и богатые, и не знатные, и для губернского города довольно знатные, но Сашенька всем им отказ и отказ. Благодарит и отвечает, что она замуж не хочет, что ей весело с отцом и с матерью. Ее, наконец, и оставили в покое. Прошел другой год, как уже Висленев служил, и вдруг разражается над ним туча: его арестовывают и увозят; старуха мать его в страшном отчаянии спешит в Петербург, ходит там, хлопочет, обивает пороги, и все безуспешно. «Иосафу спасенья нет», – пишет она родной сестре, майорше, Катерине Астафьевне Форовой. Весть эта, разумеется, содержится в секрете, но, однако, Катерина Астафьевна не таит ее от Гриневичей, потому что это все равно, что одна семья.

Старик Гриневич, врач старого закала, лечивший людей бузиной да ромашкой, и то перекрестясь, и писавший вверху рецептов: «cum Deo»,[1] разведав, в чем заключается вина Иосафа Платоновича, и узнав, что с ним и по его вине обречены к страданиям многие, поморщился и сказал дочери:

– Ну, знаешь, Саша, воля твоя, я хотя Висленевым старый друг и очень жалею Иосафа Платоновича, но хотелось бы мне умереть с уверенностью, что ты за него замуж не пойдешь.

– Ваша воля, папа, будет исполнена, – спокойно отвечала Саша.

Старик даже подскочил на месте: он считал свою дочь очень доброю, благоразумною, но такого покорного ответа, такого спокойного согласия не ожидал от нее.

– Я тебя, Саша, совсем не стесняю и не заклинаю… Нет, нет! Спаси меня от этого Боже! – продолжал он, крестясь и поднимая на лоб очки, – покидать человека в несчастии недостойно. И пожелай ты за него выйти, я, скрепя сердце, дам согласие. Может быть, даже сами со старухою пойдем за тобой, если не отгонишь, но…

– Да полно тебе, Иван Петрович, на старости лет романтические слова говорить! – остановила его жена.

– Нет, постой, – продолжал доктор. – Это не роман, а дело серьезное. Но если, друг мой Сашенька, взвесить, как ужасно пред совестью и пред честными людьми это ребячье легкомыслие, которое ничем нельзя оправдать и от которого теперь плачут столько матерей и томятся столько юношей, то…

– Я понимаю, папа, что это грех и преступление.

– И хорошо еще, если он глубоко, искренно верил тому, что гибель тех, кого губил он, нужна, а если же к тому он искренно не верил в то, что делал… Нет, нет! не дай мне видеть тебя за ним, – вскричал он, вскочив и делая шаг назад. – Нет, я отрекусь от тебя, и если Бог покинет меня силою терпенья, то… я ведь еще про всякий случай врач и своею собственною рукой выпишу pro me acidum borussicum.[2]

Старик закрыл одною рукой глаза, а другою затряс в воздухе, как будто отгоняя от себя страшное видение, и отвернулся.

Саша приблизилась к отцу, отвела тихо его руку от глаз, прижала его голову к своей груди и, поцеловав отца в лоб, тихо шепнула ему:

– Успокойся, успокойся, мой добрый папа. Чего ты не хочешь, того не будет.

Саша в обыкновенном, спокойном, житейском разговоре с отцом и с матерью всегда говорила им *вы*; но когда заходила речь от сердца, она безнамеренно устраняла это вы и говорила отцу и матери дружеское *ты*.

– Нет, – заговорил опять, успокоившись, старик, – ты как следует пойми меня, дитя мое. Я ведь отнюдь не упрашиваю тебя сделаться эгоисткой! Напротив, я заповедываю тебе, жертвуй собой, дитя мое, жертвуй собой на пользу ближнего и не возносись своею чистотой. Правому нечего гордиться пред неправыми, ибо неправый может исправиться, ибо в живой душе всегда возможно обновление. Неодолимым страстям есть известное оправдание в их силе и неодолимости; но с человеком, у которого нет… вовсе этого… как бы это тебе назвать… с человеком…

– Безнатурным, ты хочешь сказать?

– Да; вот именно ты это прекрасно выразила, с безнатурным человеком только измаешься и наконец сделаешься тем, чем никогда не хотела бы сделаться.

Весь следующий день Саша провела в молитве тревожной и жаркой: она не умела молиться тихо и в спокойствии; а на другой, на

третий, на четвертый день она много ходила, гуляла, думала и наконец в сумерки пятого дня вошла в залу, где сидел ее отец, и сказала ему:

– Нет, знаешь что, папа, из всех твоих советов я способна принять только один.

– Скажи какой, дитя мое?

– Лучше сделать что-нибудь с расчетом и упованием на свои силы, чем браться за непосильную ношу, которую придется бросить на половине пути. Я положила себе предел самый малый: я пойду замуж за человека благонадежного, обеспеченного, который не потребует от меня ни жертв, ни пылкой любви, к которой я неспособна.

Старик щелкнул пальцем по табакерке, потянул носом большую понюшку и, обмахнувшись энергически платком, взглянул на дочь и спросил:

– Ты, Александра, это шутишь? За кого это ты собираешься?

– Папа, я иду за генерала.

Старый Гриневич взглянул на дочь и тихо шепнул:

– Полно, Саша, шутить! – перекрестил ее и пошел в свой маленький кабинетик.

Он был уверен, что весь этот разговор веден его дочерью просто ради шутки; но это была с его стороны большая ошибка, которая и обнаружилась на другой же день, когда старик и старуха Гриневичи сидели вместе после обеда в садовой беседке, и к ним совершенно неожиданно подошла дочь вместе с генералом Синтяниным и попросила благословения на брак.

– Да-с, вы нас благословите-с! – прибавил тихим, но металлическим голосом генерал и, немного сморщась, согнул свои ноги и опустился рядом с Сашей на колени.

Старики растерялись и тут же благословили.

Объяснения, которые после этого последовали у них наедине с дочерью, были по обычаю очень кратки и не выяснили ничего, кроме того, что Саше брак с Синтяниным приходится более всего по мыслям и по сердцу. Говорить более было не о чем, и дочь Гриневича была обвенчана с генералом.

По поводу этой свадьбы пошли самые разнообразные толки. Поступок молодой генеральши объясняли алчностью к деньгам и низостью ее характера, и за то предсказывали ей скорую смерть, как

одной из жен Рауля Синей Бороды, но объяснения остаются и доселе в области догадок, а предсказания не сбылись.

Теперь уже прошло восемь лет со дня свадьбы, а Александра Ивановна Синтянина жива и здорова, и даже отнюдь не смотрит надгробною статуей, с которой сравнивали Флору. Александра Ивановна, напротив, и полна, и очень авантажна, и всегда находит в себе силу быть в меру веселою и разговорчивою.

В чем заключается этот секрет полнеть и не распадаться в несчастии? (А что Александра Ивановна была несчастлива, в том не могло быть ни малейшего сомнения. Это было признано всеми единогласно).

– Она бесчувственная деревяшка, – говорили одни, думая все разрешить этим приговором.

– Она суетна, мелка и фальшива; для нее совершенно довольно того, что она теперь генеральша, – утверждали другие.

– Да; но отчего же она не шла за Синтянина, когда он прежде просил ее руки? – ставили вопрос скептики для поддержания разговора.

– О, это так просто: ей тогда нравился Висленев, а когда бедный Жозеф попал в беду, она предпочла любви выгодный брак. Дело простое и понятное.

– Совершенно! Два заключения здесь невозможны.

Что она не любила Висленева или очень мало любила, это вполне доказывается тем, что даже внезапное известие об освобождении его и его товарищей с удалением на время в отдаленные губернии вместо Сибири, которую им прочили, Синтянина приняла с деревянным спокойствием, как будто какую-нибудь самую обыкновенную весть. Она даже венчалась именно в тот самый день, когда от Висленева получилось письмо, что он на свободе, и венчалась (как говорят), имея при себе это письмо в носовом платке. Ее бесчувственность, впрочем, едва ли и потом нуждалась в каких-нибудь подтверждениях, так как вскоре стало известно, что когда ей однажды, по поручению старой Висленевой, свояк последней, отставной майор Филетер Иванович Форов, прочел вслух письмо, где мать несчастного Иосафа горько укоряла изменницу и называла ее «змеею предательницей», то молодая генеральша выслушала все это спокойно и по окончании письма сказала майору:

– Филетер Иванович, не хотите ли закусить?

Добрые и искренние чувства в молодой генеральше не допускались, хотя лично она никому никакого зла не сделала и с первых же дней своего брака не только со вниманием, но и с любовью занималась своею глухонемою падчерицей – дочерью умершей Флоры; но это ей не вменялось в заслугу, точно всякая другая на ее месте сделала бы несравненно больше. Говорили, что это для нее самой служит развлечением, так как двое собственных ее детей, которых она имела в первые годы замужества, умерли в колыбельном возрасте. Отца и мать своих любила Синтянина, но ведь они же были и превосходные люди, которых не за что было не любить; да и то по отношению к ним у нее, кажется, был на устах медок, а на сердце ледок. По крайней мере носились слухи, что будто, вскоре после замужества Александры Ивановны, генерал, ее супруг, вызвался исходатайствовать ее отцу его прежнее служебное место, но генеральша будто даже отклоняла это, хотела погордиться на стариковский счет.

И в самом деле, нечто в этом роде было, но было вот как: Гриневич посоветовался с дочерью, принять или не принять обязательное предложение?

Она спокойно отвечала отцу, что можно принять и не принять.

– То-то, кажется, нет зазора принять! – резонировал старик.

– Пожалуй, зазора нет, – ответила ему дочь.

– А не принять как будто еще достойнее?

– А уж про это и говорить нечего.

– Так я сам лучше поблагодаря и не приму?

– Сделавши так, ты, папа, поступишь, как следует.

– Правда: ведь я, дитя мое, уж стар.

– Конечно, тебе уж шестьдесят пять лет!

– Ну да, уж не до службы, а денег хоть и мало…

– Да не на что тебе их больше, папа.

– Совершенная правда! ты пристроилась, а мы стары. Нет; да мимо меня идет чаша сия! – решил, махнув рукой, старый Гриневич и отказался от места, сказав, что места нужны молодым, которые могут быть на службе гораздо полезнее старика, а мне-де пора на покой; и через год с небольшим действительно получил покой в безвестных

краях и три аршина земли на городском кладбище, куда вслед за собою призвал вскоре и жену.

Генеральша осиротела.

Нива смерти зреет быстро. Вслед за Гриневичами умерла вскоре и старуха Висленева. Проживя с год при сыне в одном из отдаленных городов и затем в Петербурге, она вернулась домой с окончившею курс красавицей дочерью, Ларисою, и не успела путем осмотреться на старом пепелище в своем флигельке, как тоже скончалась.

С Александрой Ивановной старуха вначале избегала встреч и сближения, но в последнее время своей жизни пламенела к ней благоговейною любовью.

Этот всех удививший переворот в чувствах доживавшей свой век Висленевой к молодой генеральше не имел иных объяснений, кроме старушечьей прихоти и фантазии, тем более что произошло это вдруг и неожиданно.

Старуха в тяжкой болезни однажды спала после обеда и позвонила. В комнатах никого не случилось, кроме Синтяниной, пришедшей навестить Ларису. Генеральша взошла на зов старушки, и через час их застали обнявшихся и плачущих.

С этих пор собственное имя Александры Ивановны не произносилось устами умиравшей старушки, а всякий раз, когда она хотела увидать генеральшу, она говорила: «Пошлите мне мою праведницу».

Умирая, Висленева не только благословила Синтянину, ей же, ее дружбе и вниманию поручила и свою дочь, свою ненаглядную красавицу Ларису.

Все знали, что эта дружба не доведет Ларису до добра, ибо около Синтяниной все фальшь и ложь.

Ныне, то есть в те дни, когда начинается наш рассказ, Александре Ивановне Синтяниной от роду двадцать восемь лет, хотя, по привычке ни в чем не доверять ей, есть охотники утверждать, что генеральше уже стукнуло тридцать, но она об этом и сама не спорит. Физическая жизнь ее в полном расцвете. Довольно заметная полнота стана генеральши нимало не портит ее высокой и стройной фигуры, напротив, эта полнота идет ей. Полные руки ее с розовыми ногтями достойны быть моделью ваятеля; шея бела как алебастр и чрезвычайно красиво поставлена в соотношении к бюсту, служащему ей

основанием. Густые, светло-каштановые волосы слегка волнуются, образуя на всей голове три-четыре волны. Положены они всегда очень просто, без особых претензий. Все свежее лицо ее дышит здоровьем, а в больших серых глазах ясное спокойствие души. Она не блондинка, но всем кажется блондинкою: это тоже какой-то обман. В лице ее есть постоянно некоторая тень иронии, но ни одной черты, выражающей злобу. Походка ее плавна, все движения спокойны, тверды и решительны.

Образ жизни генеральши в ее городской квартире и в загородном хуторе, где она проводит большую часть своих дней в обществе глухонемой Веры, к крайнему неудовольствию многих, почти совсем неизвестен.

Общество видит только нечто странное в этих беспрестанных перекочевках генеральши из городской квартиры на хутор и с хутора назад в город и полагает, что тут что-нибудь да есть; но тут же само это общество считает все составляющиеся насчет Синтяниной соображения апокрифическими.

Но чем же живет она, что занимает ее и что дает ей эту неодолимую силу души, крепость тела и спокойную ясность полусокрытого взора? Как и чем она произвела и производит укрощение своего строптивого мужа, который по отношению к ней, по-видимому, не смеет помыслить о каком-либо деспотическом притязании?

Это долго занимало всех. Все уверены, что здесь непременно есть какая-нибудь история, даже очень важная и, может быть, страшная история. Но как ее проникнуть? Вот вопрос.

Глава вторая
Все впереди

Во флигеле, построенном в глубине двора Висленевых и выходящем одною стороной в старый, густой сад, оканчивающийся крутым обрывом над Окою, живет сама собственница дома, Лариса Платоновна Висленева, сестра знакомого нам Иосафа Платоновича Висленева, от которого так отступнически отреклась Александра Ивановна. Флигель построен с большим комфортом. По довольно высокому крылечку, равному высоте нижнего полуэтажа, вы входите в светлые, но очень тесные сени, в которых только что можно поворотиться. Отсюда дверь в переднюю, тоже очень чистую, с двумя окнами на двор; из передней налево большая комната с двумя окнами в одной стене и с итальянским окном в другой. Эта комната называется «Жозефов кабинет». Несмотря на то, что Иосаф Платонович здесь давно не живет, комната его сохраняет обстановку кабинета человека хотя небогатого, но и не бедного. Мягкие диваны кругом трех стен, два шкафа с книгами; большой письменный стол, покрытый зеленым сукном с кистями по углам, хорошие шторы на окнах, тяжелые занавесы на дверях. По стенам висят несколько гравюр и литографий, между которыми самое видное место занимают Ревекка с овцами у колодца; Лаван, обыскивающий походный шатер Рахили, укравшей его богов, и пара замечательных по своей красоте и статности лошадей в английских седлах; на одной сидит жокей, другая идет в поводу, без седока. Обе лошади в своем роде совершенство: на них нельзя не заглядеться после горбатых верблюдов, дремлющих на библейских картинах. Опененные губы первого коня показывают, что он грызет и сжимает железо удил, но идет мирно и тихо, потому что знает власть и силу узды, но другой конь… О, ему опыт еще незнаком. Но это сказочный конь, которому только нужно прикосновение руки сказочного же царевича, и вихрь-конь взовьется выше леса стоячего.

Чтобы покончить описание кабинета отсутствующего хозяина, должно еще упомянуть о двух вещах, помещающихся в белой кафельной нише, на камине: здесь стоит высокая чайная чашка, с массивною позолотою и с портретом гвардейского полковника, в

мундире тридцатых годов, и почерневшие бронзовые часы со стрелкою, остановившеюся на пятидесяти шести минутах двенадцатого часа.

На этой чашке портрет отца нынешних владельцев дома, Платона Висленева, а часовая стрелка стоит на моменте его смерти. С тех пор часы эти не идут в течение целых восемнадцати лет.

Вторая комната – небольшой зал, с окнами, выходящими в сад, и стеклянною дверью, ведущею на террасу, с которой широкими ступенями сходят в сад. Убранство комнаты не зальное и не гостинное, а и то и другое вместе. Здесь есть и мягкая мебель, и буковые стулья, и зеркало, и рояль, заваленная нотами. Из залы двери ведут в столовую и в спальню Ларисы. Спальня Ларисы тех же размеров, как и кабинет ее брата. Здесь также два окна в одной стене и одно широкое, тройное, «итальянское» окно в другой. Все эти окна выходят в сад: два справа затенены густою зеленью лип, а над итальянским окном, пред которым расчищена разбитая на клумбы площадка, повешена широкая белая маркиза с красными прошвами. Таким образом в комнату открыт доступ аромату цветов и удалены палящие лучи солнца, извлекающие благоухание из резеды, левкоев и гелиотропов. Мебель обита светлым ситцем, которым драпированы и двери, и окна. Кровать заменена диваном с подъемною подушкой, пред диваном у изголовья небольшой круглый столик, в стороне две этажерки с книгами.

Описав дом, познакомим читателей с его одинокою жилицей.

Рассказ этот будет короток, потому что и вся жизнь Ларисы еще впереди.

Она окончила институтский курс семнадцати лет и по выходе из заведения жила с матерью и братом в Петербурге. Перечитала гибель книг, перевидала массы самых разнообразных лиц и не вошла ни в какие исключительные отношения ни с кем.

По смерти матери, она опять было уехала в Петербург к брату, но через месяц стала собираться назад, и с тех пор в течение трех с половиною лет брата не видала.

Прибыв домой, она появилась первой Александре Ивановне Синтяниной и объявила ей, что жизнь брата ей не понравилась и что она решилась жить у себя в доме одна. Другое лицо, которое увидало Ларису в первый же час ее приезда, была тетка ее, родная сестра ее матери, Катерина Астафьевна Форова, имя которой было уже

упомянуто. Катерина Астафьевна, женщина лет сорока пяти, полная, нервная, порывистая, очень добрая, но горячая и прямая необыкновенно. Узнав о внезапном возвращении племянницы из Петербурга, она влетела, как бомба, в комнату, где сидела Лариса, кинулась на шею, дрожа и всхлипывая, и наконец совсем разрыдалась. Лариса поцеловала у тетки руку и с той же минуты не то полюбила ее, не то привязалась к ней. Сойдясь близко с теткой, она сошлась и с мужем ее, пятидесятилетним майором из военных академистов. Майор Форов, Филетер Иванович, толстоватый, полуседой, здоровый и очень добрый человек, ведущий в отставке самую оригинальную жизнь.

Майор Форов и сам очень легко сблизился с Ларисой и посещал ее ежедневно. У них были общие точки прикосновения, и Филетер Иванович очень нравился женихой племяннице. Впрочем Форов нравился всем, не исключая и тех, кто его не любил. Он нравился за свои энциклопедические познания и за характер, который сам называл «примитивным». Александра Ивановна употребила все усилия сойтись с Ларисой как можно ближе и дружественнее и, кажется, достигла этого, по крайней мере по внешности. Они виделись друг с другом ежедневно, когда Синтянина была в городе, а не на хуторе, и несмотря на неравенство их лет (где играла роль цифра 10), были друг с другом на ты. Чего же больше? Любили ли они одна другую?

Да, Синтянина любила Ларису горячо и искренно.

Лариса высока и очень стройна. Легкая фигура ее имеет свою особенность, и особенность эта заключается именно в том, что у нее не только была *фигура*, но у нее была *линия*; видя ее раз, ее можно было нарисовать всю одною чертою от шляпки до шлейфа. Ее красивая голова кажется, однако, несколько велика, от целого моря черных волос. У ней небольшое, продолговатое лицо с тонким носом, слегка подвижными и немного вздутыми ноздрями. При ее привычке меньше говорить и больше слушать, пунцовые губы ее, влажные, но без блеска, всегда, в самом спокойствии своем, готовы как будто к шепоту. Можно думать, что она отвечает и возражает на все, но только не удостаивая никого сообщением этих возражений. Она, как сказано, брюнетка, жгучая брюнетка. В ней мало русского, но она и не итальянка, и не испанка, а тем меньше гречанка, но южного в ней бездна. У нее совершенно особый тип, – несколько напоминающий что-то еврейское, но не похожее ни на одну еврейку. Еврейским в ней

отдает ее внутренний огонь и сила. Цвет лица ее бледный, но горячо-бледный, матовый; глаза большие, черные, светящиеся электрическим блеском откуда-то из глубины, отчего вся она кажется фарфоровою лампой, освещенною жарким внутренним светом. Всякое ее движение спокойно и даже лениво, хотя и в этой лени видимо разлита спящая, но и во сне своем рдеющая, неутомимая нега. По виду она всегда спокойна; но покой ее видимо полон тревоги. Она совсем не кокетка, она вежлива и наблюдательна, и в ее наблюдательности кроется для нее источник ожесточающих раздражений. Она ребенок по опытности, и сама ничем не участвовала в жизни, но, судя по выражению ее лица, она всего коснулась в тишине своего долгого безмолвия; она отведала горьких лекарств, самою ею составленных для себя по разным рецептам, и все эти питья ей не по вкусу. Ее интересуют только пределы вещей и крайние положения. Ей хочется собрать и совместить, как в фокусе стекла, то, что вместе не собирается и несовместимо.

Настоящее у Ларисы такое: неделю тому назад некто Подозеров, небогатый из местных помещиков, служащий по земству, сделал ей предложение. Он был давний ее знакомый, она знала, что он любит ее…

Лариса, выслушав Подозерова, дала ему слово обдумать его предложение и ответить ему на днях положительно и ясно.

Этого ответа еще не дано.

Глава трерья
Глава, которую можно поставить в начале

В мае месяце недавно прошедшего года, четыре часа спустя после жаркого полудня, над крутым обрывом, которым заканчивался у реки сад Висленевых, собрались все, хотя отчасти, знакомые нам лица. Лариса Висленева сидела на широкой доске качелей, подвешенных на ветвях двух старых кленов. Она держалась обеими руками за одну веревку и, положив на них голову, смотрела вдаль за реку, на широкую, беспредельную зеленую степь, над которою в синеве неба дотаивало одинокое облачко. Шагах в трех от качель, на зеленой деревянной скамейке помещались Катерина Астафьевна Форова и генеральша Синтянина. Первая жадно курила папироску из довольно плохого табаку, а вторая шила и слушала повесть, которую читал Форов. Майор одет в черный статский сюртук и военную фуражку с кокардой, по жилету у него виден часовой ремешок, на котором висит в виде брелока тяжелая, массивная золотая лягушка с изумрудными глазами и рубиновыми лапками. На гладком брюшке лягушки мелкою, искусною вязью выгравировано: «Нигилисту Форову от Бодростиной». Дорогая вещь эта находится в видимом противоречии с прочим гардеробом майора. Филетер Иванович теперь читает: правою рукой он придерживает листы лежащей у него на коленях книги, а левою – машинально дергает толстый, зеленый бумажный шнурок, привязанный к середине доски, на которой сидит Лариса. Чтение идет плавно и непрерывно, качание тоже.

Есть здесь и еще один человек: он лежит в траве над самым обрывом, спиной к реке, лицом к качающейся Ларисе. Это Подозеров. Ему на вид лет тридцать пять; одет он без претензии, но опрятно; лицо у него очень приятное, но в нем, может быть, слишком много серьезности и нервного беспокойства, что придает ему минутами недоброе выражение. Подозеров как бы постоянно или что-то вспоминает, или ожидает себе чего-то неприятного и с болезненным нетерпением сдвигает красивые брови, морщит лоб и шевелит рукою свои недлинные, но густые темно-русые волосы с раннею сединой в висках.

Чтение, начатое назад тому с полчаса, неожиданно прервано было веселым и довольно громким смехом Катерины Астафьевны Форовой, смехом, который поняла только одна тихо улыбавшаяся Синтянина. Лариса же и Подозеров его даже не заметили, а чтец только поднял удивленные глаза и спросил баском свою жену:

– Что ты это рассыпалась, Тора?

– Для кого ты читаешь, бедный мой Форов? Всякий раз заставят его читать, и никто его не слушает.

– Ну и что же такое? – отвечал майор.

– Ничего. Ты читаешь, Лариса где-то витает; Подозеров витает за нею; мы с Сашей еще над первою страницей задумались, а ты все читаешь да читаешь!

– Ну и что же такое? я же в прибыли: я, значит, начитываюсь и умнею, а вы выбалтываетесь.

– И глупеем?

– Сама сказала, – ответил, шутя, Форов и, достав из кармана кошелек с табаком, начал крутить папироску.

Жена долго смотрела на майора с улыбкой и наконец спросила:

– Вы, господин Форов, пенсион нынче получили?

– Разумеется, получил-с, – отвечал Форов и, достав из кармана конвертик, подал его жене.

– Вот вам все полностию: тридцать один рубль.

– А шестьдесят копеек?

– Положение известное! – отвечал майор, раскуривая толстую папироску.

Синтянина взглянула на майора и рассмеялась.

– Да чего же она в самом деле спрашивает? – заговорил Филетер Иванович, обращая свои слова к генеральше, – ведь уж сколько лет условлено, что я ей буду отдавать все жалованье за удержанием в свою пользу в день получения капитала шестидесяти копеек на тринкгельд.

– Нет, я что-то этого условия не помню! Когда ты за мной ухаживал, ты мне ни о каких тринкгельдах тогда не говорил, – возразила майорша.

– Ну, ухаживать за тобой я не ухаживал.

– Так зачем же ты на мне женился? Майор тихонько улыбнулся и проговорил:

– Что же, женился просто: вижу, женщина в несчастном положении, дай, думаю себе, хоть кого-нибудь в жизни осчастливлю.

– Да, – проговорила Катерина Астафьевна, ни к кому особенно не обращаясь: – чему, видно, быть, того не миновать. Нужно же было, чтоб я решила, что мне замужем не быть, и пошла в сестры милосердия; нужно же было, чтобы Форова в Крыму мне в госпиталь полумертвого принесли! Все это судьба!

– Нет, французская пуля, – отвечал Форов.

– Ты, неверующий, молчи, молчи, пока Бог постучится к тебе в сердце.

– А я не пущу.

– Пустишь, и сам позовешь, скажешь: «взойди и сотвори обитель».

Вышла маленькая пауза.

– И Сашина свадьба тоже судьба? – спросила Лариса.

– А еще бы! – отвечала живо Форова. – Почем ты знаешь… может быть, она приставлена к Вере за молитвы покойной Флорушки.

– Ах, полноте, тетя! – воскликнула Лариса. – Я знаю эти «роковые определения»!

– Неправда, ничего ты не знаешь!

– Знаю, что в них сплошь и рядом нет ничего рокового. Неужто же вы можете ручаться, что не встреться дядя Филетер Иванович с вами, он никогда не женился бы ни на ком другом?

– Ну, на этот раз, жена, положительно говори, что никогда бы и ни на ком, – отвечал Форов.

– Ну, не женились бы вы, например, на Александрине?

– Ни за что на свете.

– Браво, браво, Филетер Иванович, – воскликнула, смеясь Синтянина.

– А почему? – спросила Лариса.

– Вы всегда все хотите знать «почему»? Бойтесь, этак скоро состареетесь.

– Но я не боюсь и хочу знать: почему бы вы не женились на Саше?

– Говорите, Филетер Иванович, мне уж замуж не выходить, – вызвала Синтянина.

– Ну, извольте: Александра Ивановна слишком умна и имеет деспотический характер, а я люблю свободу.

– Не велик комплимент тете Кате! Ну, а на мне бы вы разве не женились? Я ведь не так умна, как Александрина.

– На вас?

– Да, на мне.

Форов снял фуражку, три раза перекрестился и проговорил:

– Боже меня сохрани!

– На мне жениться?

– Да, на вас жениться: сохрани меня грозный Господь Бог Израилев, карающий сыны сынов даже до седьмого колена.

– Это отчего?

– Да разве мне жизнь надоела!

– Значит, на мне может жениться только тот…

– Тот, кто хочет ада на земле, в надежде встретиться с вами там, где нет ни печали, ни воздыхания.

– Вот одолжил! – воскликнула, рассмеявшись, Лариса, – ну, позвольте, кого бы вам еще из наших посватать?

– Глафиру Васильевну Бодростину, – подсказал, улыбаясь, Подозеров.

– Ах, в самом деле Бодростину! – подхватила Лариса.

– Кого ни сватайте, все будет напрасно.

– Но вы ее кавалер «лягушки».

– «Золотой лягушки», – отвечал Форов, играя своим ценным брелоком. – Глафире Васильевне охота шутить и дарить мне золото, а я философ и беру сей презренный металл в каком угодно виде, и особенно доволен, получая кусочек золота в виде этого невинного создания, напоминающего мне поколение людей, которых я очень любил и с которыми навсегда желаю сохранить нравственное единение. Но жениться на Бодростиной… ни за что на свете!

– На ней почему же нет?

– А почему? Потому, что мне нравится только особый сорт женщин: умные дуры, которые, как все хорошее, встречаются необыкновенно редко.

– Так это я по-твоему дура? – спросила, напуская на себя строгость, Катерина Астафьевна.

– А уж, разумеется, не умна, когда за меня замуж пошла, – отвечал Форов. – Вот Бодростина умна, так она в золотом терему живет, а ты под соломкою.

– Ну, а бодростинская золотая лягушка-то что же вам такое милое напоминает? – дружески подшучивая над майором, спросил Подозеров.

– Золотая лягушка напоминает мне золотое время и прекрасных умных дураков, из которых одних уж нет, а те далеко.

– Она напоминает ему моего брата Жозефа, – сказала Лариса.

– Ну, уж это нет-с, – отрекся майор.

– Почему же нет? Брат мой разве не женился по принципу, не любя женщину, для того только, чтобы «освободить ее от тягости отцовской власти», – сказала Лариса, надуто продекламировав последние шесть слов. Надеюсь, это мог сделать только «умный дурак», которых вы так любите.

– Нет-с; умные дураки этого не делали, умные дураки, которых я люблю, на такие вздоры не попадались, а это мог сделать глупый умник, но я с этим ассортиментом мало знаком, а, впрочем, вот поразглядим его!

– Как это *поразглядите*? Разве вы его надеетесь скоро видеть?

– А вы разве не надеетесь дожить до той недели?

– Что это за шарада? – спросила в недоумении Лариса.

– Как же, ведь он на днях приедет.

– Как на днях?

– Разумеется, – отвечал Форов. – Мой знакомый видел его в Москве; он едет сюда.

Присутствующие переглянулись.

«Это что-нибудь недоброе!» – мелькнуло во взгляде Ларисы, брошенном на Синтянину; та поняла и, сама немного изменясь в лице, сказала майору:

– Филетер Иванович, вы совсем бестолковы.

– Чем-с? Чем я бестолков?

– Да что же это вы нам открываете новости по капле?

– Чем же я бестолковее вас, которые мне и по капле не открыли, что вы этого не знаете?

– Откуда же мы могли это знать?

– А разве он не писал об этом Ларисе Платоновне?

– Ничего он не писал ей.

– Ну, а я почему мог это знать?

– Но вы, Филетер Иваныч, шутите это или вправду говорите, что он едет сюда? – спросила серьезно Лариса.

По дорожке, часто семеня маленькими ногами, шла девочка лет двенадцати, остриженная в кружок и одетая в опрятное ситцевое платье с фартучком. В руках она держала круглый поднос, и на нем запечатанное письмо.

Лариса разорвала конверт.

– Вы отгадали, это от брата, – сказала она и, пробежав маленький листок, добавила: – все известие заключается вот в чем (она взяла снова письмо и снова его прочитала): «Сестра, я еду к тебе; через неделю мы увидимся. Приготовь мне мою комнату, я проживу с месяц. Еду не один, а с Гор…»

– Не могу дальше прочесть, с кем он едет, – заключила она, передавая письмо Синтяниной.

– Не прочтете ли вы, Филетер Иванович?

Форов посмотрел на указанную ему строчку и, качнув отрицательно головой, передал письмо Подозерову.

– «Горданов», – прочел Подозеров, возвращая письмо Ларисе.

– Так вот он как будет называться ваш рок! – воскликнул майор.

– Филетер Иванович, вы несносны! – заметила ему с неудовольствием Синтянина, кинув взгляд на немного смущенного Подозерова.

– А я говорю только то, что бывает, – оправдывался майор, – братья всегда привозят женихов, как мужья сами вводят любовников…

– А что это за Горданов? – сухо спросила Лариса.

– Я, кажется, немножко знаю его, – отвечал Подозеров. – Он помещик здешней губернии и наш сверстник по университету… Я его часто видел в доме некиих господ Фигуриных, где я давал уроки, а теперь у него здесь есть дело с крестьянами о земле.

– Фигуриных! – воскликнула Лариса. – Вы видели его там? Он их знакомый?

– Кажется, даже родственник.

– Интересный господин? – полюбопытствовала Синтянина.

– М-мм! Как вам сказать…

Подозеров, казалось, что-то хотел сказать нехорошее о названном лице, но переменил что-то и ответил:

– Не знаю, право, мы с ним как-то не сладились.

– А вы кого же у Фигуриных учили?

– Там были мальчик Петр и девочки Наташа и Алина.

– А вы эту Алину учили?

– Да; она уже была великонька, но я ее учил.

– Хороша она?

– Нет.

– Умна?

– Не думаю.

– Добра?

– Господь ее знает, девушки ведь почти все кажутся добрыми. У малороссиян есть присловье, что будто даже «все панночки добры».

– «А только откуда-то поганые жинки берутся?» – докончил Форов.

– Эта Алина теперь жена моего брата.

– В таком случае малороссийское присловье прочь.

– Лариса, взгляни, – перебила дрогнувшим голосом Синтянина, глядя на ту дорожку, по которой недавно девочка принесла письмо от Висленева.

Лариса обернулась.

– Что там такое?

Синтянина бледнела и не отвечала.

По длинной дорожке от входных ворот шел высокий, статный мужчина. Он был в легком, сером пиджаке и маленькой соломенной шляпе, а через плечо у него висела щегольская дорожная сумочка. Сзади его в двух шагах семенила давишняя девочка, у которой теперь в руках был большой портфель.

– Брат!.. Иосаф!.. Каков сюрприз! – вскрикнула Лариса, ступая с качелей на землю.

И с этим она рванулась быстрыми шагами вперед и побежала навстречу брату.

Глава четвертая
Без содержания

В наружности Иосафа Висленева не было ни малейшего сходства с сестрой: он был блондин с голубыми глазами и очень маленьким носом. Лицо его нельзя было назвать некрасивым и неприятным, оно было открыто и даже довольно весело, но на нем постоянно блуждала неуловимая тень тревоги и печали.

Лариса встретилась с братом на половине дорожки, они обнялись и поцеловались.

– Ты не ждала меня так скоро, Лара? – заговорил Висленев.

– То есть я ждала тебя, Жозеф, но не сегодня; я только сейчас получила твое письмо, что ты в Москве и едешь сюда с каким-то твоим товарищем.

– Да, с Гордановым.

– Он здесь с тобой?

Лариса оглядела дорожку.

– Да, он здесь, то есть здесь в городе, мы вместе приехали, но он остановился в гостинице. Я сам не думал быть сюда так скоро, но случайные обстоятельства выгнали нас из Москвы раньше, чем мы собирались. Ты, однако, не будешь на меня сердиться, что я этак сюрпризом к тебе нагрянул?

– Помилуй, что ты!

– Ну да, а я, видишь ли, ввиду этой скоропостижности, расчел, что мы застанем тебя врасплох, и потому не пригласил Горданова остановиться у нас.

– Напрасно, я не бываю врасплох, и твоему гостю нашлось бы место.

– Ну, все равно; он не захотел ни стеснять нас, ни сам стесняться, да тем и лучше: у него дела с крестьянами… нужно будет принимать разных людей… Неудобно это!

– А по крестьянским делам самый влиятельный человек теперь здесь мой добрый знакомый.

– Кто?

– Подозеров, твой товарищ.

– А-а! Я было совсем потерял его из виду, а он здесь; вот что значит долго не переписываться.

Висленев чуть заметно поморщился и отер лоб платком.

– Подозеров кстати и теперь у меня, – продолжала Лариса. – Пойдем туда или сюда, – показала она сначала на дом, а потом на конец сада, где оставались гости.

– Да, – встрепенулся брат. – У тебя гости, мне это сказала девочка, я потому и не велел тебя звать, а пошел сюда сам. Я уже умылся в гостинице и на первый раз, кажется, настолько опрятен, что в качестве дорожного человека могу представиться твоим знакомым.

– О, да, конечно! тем более, что это и не гости, а мои друзья; тут Форовы. Сегодня день рождения дяди.

– Ах, здесь бесценный Филетер Иваныч, – весело перебил Висленев. – А еще кто?

– Жена его и Alexandrine Синтянина.

– И *она* здесь?

Висленев вспыхнул на минуту и тотчас же весело проговорил:

– Вот еще интереснейшая встреча!

– Ты должен был знать, что ты ее здесь встретишь.

– Представь, что это-то у меня и из ума вон вышло. Да, впрочем, что же такое!

– Разумеется, ничего.

– Много немножко сразу: отставная дружба и изменившая любовь, но все равно! А еще кто такой здесь у тебя?

– Больше никого.

– Ну и прекрасно. Пойдем. Возьми вот только мой портфель: здесь деньги и бумаги, и потому я не хотел его там без себя оставить.

Лариса приняла из рук девочки портфель, и они, взявшись с братом под руку, пошли к оставшимся гостям.

Здесь между тем хранилось мертвое молчание.

Форов, жена его, Подозеров и Синтянина, – все четверо теперь сидели рядом на скамейке и, за исключением майора, который снова читал, все, не сводя глаз, смотрели на встречу брата с сестрой. Катерина Астафьевна держала в своей руке стынущую руку генеральши и постоянно ее пожимала, Синтянина это чувствовала и раза два отвечала легким благодарным пожатием.

Брат и сестра Висленевы подходили.

Катерина Астафьевна в это время взяла из рук мужа книгу, кинула ее в траву, а сама тихо шепнула на ухо Синтяниной: «Саша…»

– Ничего, – проговорила также шепотом Синтянина, – теперь все прошло.

Сделав над собою видимое усилие, она вызвала на лицо улыбку и весело воскликнула навстречу Висленеву:

– Здравствуйте, Иосаф Платонович!

Гость неспешно подошел, с достоинством снял свою шляпу и поклонился всем общим поклоном.

– Я вас первая приветствую и первая протягиваю вам руку, – проговорила Синтянина.

Форова почувствовала в эту минуту, что вместе с последним словам другая рука генеральши мгновенно согрелась.

Висленев, очевидно, не ждал такого приветствия; он ждал чего-нибудь совсем в другом роде: он ждал со стороны отступницы смущения, но ничего подобного не встретил. Конечно, он и теперь заметил в ней небольшую тревогу, которой Александра Ивановна совсем скрыть не могла, но эта тревога так смела, и Александра Ивановна, по-видимому, покушается взять над ним верх.

Висленев решил тотчас же отпарировать это покушение, но сделал неосторожность.

Едва намеревался он, подав Синтяниной руку, поразить ее холодностию взгляда, она посмотрела ему в упор и весело воскликнула:

– Однако как же вы быстро умели перемениться. Почти узнать нельзя!

Висленеву это показалось даже смешно, и он решил не сердиться, а отшучиваться.

– Я думаю, я изменился, как и все, – отвечал он.

– Ну, нет, вы больше всех других, кого я давно не видала.

– Вам незаметно, а вы и сами тоже изменились и…

– Ну да, – быстро перебила его на полуслове генеральша, – конечно, года идут и для меня, но между тем меня еще до сей поры никто не звал старухой, вы разве первый будете так нелюбезны?

– Помилуй бог! – отвечал, рассмеявшись, Висленев. – Я поражен, оставив здесь вас скромным ландышем и видя вас теперь на том же самом месте…

– Не скажете ли пышною лилией?

– Почти. Но вот кто совсем не изменяется, так это Филетер Иванович! – обратился Висленев к майору. – Здравствуйте, мой «грубый материалист»!

Они поцеловались.

– Ничего не переменился! Только нос разве немножко покраснел, – воскликнул, снова обозревая майора, Висленев.

– Нос красен оттого, что у меня насморк вечный, как вечный жид, – отвечал Форов.

– А вам сегодня сколько стукнуло?

– Да пятьдесят два, девять месяцев.

– Девять месяцев? Ах, да, у вас ведь особый счет.

– Конечно, как следует.

– А дети у вас есть?

– Не знаю, но очень может быть, что и есть.

– И опять все врет, – заметила жена.

Висленев подал руку Катерине Астафьевне.

– Вас, тетушка, я думаю, можно и поцеловать?

– Если тебе, милый друг, не противно, сделай милость, поцелуемся.

Висленев и Катерина Астафьевна три раза поцеловались.

– Вы переменились, но немного.

– Как видишь, все толстею.

Иосаф Платонович обернулся к Подозерову, протянул и ему руку, и, приняв серьезную мину, посмотрел на него Молча ласковым, снисходительным взглядом.

– Вы много изменились, – сказал Висленев, удерживая его руку в своей руке.

– Да, все стареем, – отвечал Подозеров.

– «Стареем»! Рано бы еще стареть-то!

– Ну нет, пожалуй, и пора.

– Вот и пора! чуть стукнет тридцать лет, как мы уж и считаем, что мы стареем. Вам ведь, я думаю, лет тридцать пять, не больше?

– Мне тридцать два.

– Изволите ли видеть, век какой! Вон у вас уже виски седые. А у меня будет к вам просьба.

– Очень рад служить.

– То есть еще и не своя, а приятеля моего, с которым я приехал, Павла Николаевича Горданова: с ним по лености его стряслось что-то такое вопиющее. Он черт знает что с собой наделал: он, знаете, пока шли все эти пертурбации, нигилистничанье и всякая штука, он за глаза надавал мужикам самые глупые согласия на поземельные разверстки, и так разверстался, что имение теперь гроша не стоит. Вы ведь, надеюсь, не принадлежите к числу тех, для которых лапоть всегда прав пред ботинком?

– Решительно не принадлежу.

– Вы за крупное землевладение?

– Ни за крупное, ни за дробное, а за законное, – отвечал Подозеров.

– Ну, в таком случае вы наша опора! Вы позволите нам побывать у вас на днях?

– Сделайте милость, я дома каждое утро до одиннадцати часов.

– Впрочем… сестра! – обратился Висленев к Ларисе, удерживая в своей руке руку Подозерова, – теперь всего ведь семь часов, не позволишь ли попросить тебя велеть приготовить что-нибудь часам к одиннадцати?

– Охотно, брат, охотно.

В это время они прошли весь сад и стояли у террасы.

– Право, – продолжал Висленев, – что-нибудь такое, что Бог послал, что напомнило бы святой обычай старины. Можно?

Лариса кивнула в знак согласия головою:

– Я очень рада.

– Так вот, Андрей Иваныч, – отнесся Висленев к Подозерову, – теперь часочек я приберусь, сделаю кое-как мой туалет, оправлюсь и привезу с собой моего приятеля, – он тут сирота, а к десяти часам позвольте вас просить придти побеседовать, вспомнить старину и выпить рюмку вина за упокой прошлого и за многие лета грядущего.

– От таких приглашений, Иосаф Платонович, не отказываются, – отвечал Подозеров.

– Вашу руку! – и Висленев, взяв руку Подозерова, крепко сжал ее в своей руке и сказал: «До свидания».

Всем остальным гостям он поклонился общим поклоном, и тоже от всех взял слово вечером придти к Ларисе на ужин.

Гости ушли.

Висленев, взойдя с сестрою и теткою в дом, направился прямо в свой кабинет, где еще раз умылся и переоделся, прихлебывая наскоро поданный ему сюда чай, – и послал за извозчиком.

– Брат! – сказала ему Лариса, когда он вышел в зал и оправлялся перед большим зеркалом, – не дать ли знать Бодростиной, что ты приехал?

– Кому это? Глафире Васильевне?

– Да.

– Что ты это! Зачем?

– Да, может быть, и она захотела бы приехать?

– Бог с ней совсем!

– За что же это?

– Да так; на что она здесь?

– Она очень умная и приятная женщина.

– Ну, мне она вовсе не приятная, – пробурчал Висленев, обтягивая воротник рубашки.

– А неприятна, так и не надо, но только как бы она сама не заехала.

– Будет предосадно.

– И еще вот что, Жозеф: ты позвал вечером Синтянину?

– Кажется… да.

– Нет, наверное да. Так зайди же к ним, позови генерала Ивана Демьяныча.

Висленев оборотился к сестре и сморщился.

– Что такое? – проговорила Лариса.

– Так, знаешь, там доносом пахнет, – отвечал Висленев.

Лариса вспыхнула и нетерпеливо сказала:

– Полно, пожалуйста: мы об этом никогда не говорим и не знаем; а Александрина… такая прекрасная женщина…

– Но дело-то в том, что если вы чего не знаете, то я это знаю! – говорил, смеясь, Висленев. – Знаю, дружок, Ларушка, все знаю, знаю даже и то, какая прекрасная женщина эта Александра Ивановна.

Лариса промолчала.

– Да, сестра, – говорил он, наклонив к Ларисе голову и приподняв на виске волосы, – здесь тоже в мои тридцать лет есть серебряные нити, и их выпряла эта прекрасная белая ручка этой прекрасной Александры Ивановны… Так уж предоставь мне лучше вас знать эту

Александру Ивановну, – заключил он, ударяя себя пальцем в грудь, и затем еще раз сжал сестрину руку и уехал.

Лариса глядела ему вслед.

«Все тот же самый! – подумала она, – даже десять раз повторяет, что ему тридцать лет, когда ему уж тридцать пятый! Бедный, бедный человек!»

Она вздохнула и пошла распорядиться своим хозяйством и туалетом к встрече приезжего гостя.

Глава пятая
На все ноги кован

Павел Николаевич Горданов, которого Висленев назвал «сиротою», не терпел никаких недостатков в своем временном помещении. Древняя худая слава губернских пристанищ для проезжающих теперь уже почти повсеместно напраслина. В большинстве сколько-нибудь заметных русских городов почти всегда можно найти не только чистый номер, но даже можно получить целый «ложемент», в котором вполне удобно задать обед на десять человек и вечерок на несколько карточных столов.

Такой ложемент из трех комнат с передней и ванной, и с особым ходом из особых сеней занял и Павел Николаевич Горданов. С него спросили за это десять рублей в сутки, – он не поторговался и взял помещение. Эта щедрость сразу дала Горданову вес и приобрела ему почтение хозяина и слуг.

Павел Николаевич на первых же порах объявил, что он будет жить здесь не менее двух месяцев, договорил себе у содержателя гостиницы особого слугу, самого представительного и расторопного изо всего гостиничного штата, лучший экипаж с кучером и парою лошадей, – одним словом, сразу стал не на обыкновенную ногу дюжинного проезжающего, а был редким и дорогим гостем. Его огромные юфтовые чемоданы, строченные цветным шелком и изукрашенные нейзильберными винтами и бляхами с именем Горданова; его гардероб, обширный как у актрисы, батистовое белье, громадные портфели и несессеры, над разбором которых отряженный ему слуга хлопотал целый час, проведенный Висленевым у сестры, все это увеличивало обаяние, произведенное приезжим.

Через час после своего приезда Павел Николаевич, освежившись в прохладной ванне, сидел в одном белье пред дорожным зеркалом в серебряной раме и чистил костяным копьецом ногти.

Горданов вообще человек не особенно представительный: он не высок ростом, плечист, но не толст, ему тридцать лет от роду и столько же и по виду; у него правильный, тонкий нос; высокий, замечательно хорошо развитый смелый лоб; черные глаза, большие, бархатные,

совсем без блеска, очень смышленые и смелые. Уста у него свежие, очерченные тонко и обрамленные небольшими усами, сходящимися у углов губ с небольшою черною бородкой. Кисти ослепительно белых рук его малы и находятся в некоторой дисгармонии с крепкими и сильно развитыми мышцами верхней части. Говорит он голосом ровным и спокойным, хотя левая щека его слегка подергивается не только при противоречиях, но даже при малейшем обнаружении непонятливости со стороны того, к кому относится его речь.

– Человек! как вас зовут? – спросил он своего нового слугу после того, как выкупавшись и умывшись, сел пред зеркалом.

– Ефим Федоров, ваше сиятельство, – отвечал ему лакей, униженно сгибаясь пред ним.

– Во-первых, я вас совсем не спрашиваю, Федоров вы или Степанов, а во-вторых, вы не смейте меня называть «вашим сиятельством». Слышите?

– Слушаю-с.

– Меня зовут Павел Николаевич.

– Слушаю-с, Павел Николаевич.

– Вы всех знаете здесь в городе?

– Как вам смею доложить… город большой.

– Вы знаете Бодростиных?

– Помилуйте-с, – отвечал, сконфузясь, лакей.

– Что это значит?

– Как же не знать-с: предводитель!

– Узнайте мне: Михаил Андреевич Бодростин здесь в городе или нет?

– Наверное вам смею доложить, что их здесь нет, – они вчера уехали в деревню-с.

– В Рыбецкое?

– Так точно-с.

– Вы это наверно знаете?

– У нас здесь на дворе почтовая станция: вчера они изволили уехать на почтовых.

– Все равно: узнайте мне, один он уехал или с женой?

– Супруга их, Глафира Васильевна, здесь-с. Они, не больше часу тому назад, изволили проехать здесь в коляске.

Горданов лениво встал, подошел к столу, на котором был расставлен щегольской письменный прибор, взял листок бумаги и написал: «Я здесь к твоим услугам: сообщи, когда и где могу тебя видеть».

Запечатав это письмо, он положил его под обложку красиво переплетенной маленькой книжечки, завернул ее в бумагу, снова запечатал и велел лакею отнести Бодростиной. Затем, когда слуга исчез, Горданов сел пред зеркалом, развернул свой бумажник, пересчитал деньги и, сморщив с неудовольствием лоб, долго сидел, водя в раздумьи длинною ручкой черепаховой гребенки по чистому, серебристому пробору своих волос.

В это время в дверь слегка постучали.

Горданов отбросил в сторону бумажник и, не поворачиваясь на стуле, крикнул:

– Войдите!

Ему видно было в зеркало, что вошел Висленев.

– Фу, фу, фу, – заговорил Иосаф Платонович, бросая на один стул пальто, на другой шляпу, на третий палку. – Ты уже совсем устроился?

– Как видишь, сижу на месте.

– В полном наряде и добром здоровьи!

– Даже и в полном наряде, если белье по-твоему составляет для меня полный наряд, – отвечал Горданов.

– Нет, в самом деле, я думал, что ты не разобрался.

– Рассказывай лучше, что ты застал там у себя и что твоя сестра?

– Сестра еще похорошела.

– То была хороша, а теперь еще похорошела?

– Красавица, брат, просто волшебная красавица!

– Наше место свято! Ты меня до крайности интересуешь похвалами ее красоте.

– И не забудь, что ведь нимало не преувеличиваю.

– Ну, а твоя, или ci-devant[3] твоя генеральша… коварная твоя изменница?

– Ну, та уж вид вальяжный имеет, но тоже, черт ее возьми, *хороша о сю пору*.

– За что же ты ее черту-то предлагаешь? Расскажи же, как вы увиделись, оба были смущены и долго молчали, а потом…

– И тени ничего подобного не было.

– Ну ты непременно, чай, пред ней балет протанцевал, дескать: «ничтожество вам имя», а она тебе за это стречка по носу?

– Представь, что ведь в самом деле это было почти так.

– Ну, а она что же?

– Вообрази, что ни в одном глазу: шутит и смеется.

– В любви клянется и изменяет тут же шутя?

– Ну, этого я не сказал.

– Да этого и я не сказал; а это из *Марты*, что ли, – не помню. А ты за которой же намерен прежде приударить?

Висленев взглянул на приятеля недоумевающим взглядом и переспросил:

– То есть как за которою?

– То есть за которою из двух?

– Позволь, однако, любезный друг, тебе заметить, что ведь одна из этих двух, о которых ты говоришь, мне родная сестра!

– Тьфу, прости, пожалуйста, – отвечал Павел Николаевич: – ты меня с ума сводишь всеми твоими рассказами о красоте, и я, растерявшись, горожу вздор. Извини, пожалуйста: а уж эту последнюю глупость я ставлю на твой счет.

– Можешь ставить их на мой счет сколько угодно, а что касается до ухаживанья, то нет, брат, я ни за кем: я, братец, тон держал, да, серьезный тон. Там целое общество я застал: тетка, ее муж, чудак, антик, нигилист чистой расы…

Скажи, пожалуйста! а здесь и они еще водятся?

Висленев посмотрел на него пристально и спросил:

– А отчего же им не быть здесь? Железные дороги… Да ты постой… ведь ты его должен знать.

– Откуда и почему я это должен?

– А помнишь, он с Бодростиным-то приезжал в Петербург, когда Бодростин женился на Глафире? Такой… бурбон немножко!

– Нос с красниной?

– Да, на нутро немножко принимает.

– Ну помню: как бишь его фамилия?

– Форов.

– Да, Форов, Форов, – меня всегда удивляла этимология этой фамилии. Ну, а еще кто же там у твоей сестры?

– Один очень полезный нам человек.

– Нам? – удивился Горданов.

– Да; то есть тебе, самый влиятельный член по крестьянским делам, некто Подозеров. Этого, я думаю, ты уж совсем живо помнишь?

– Подозеров?.. я его помню? Откуда и как: расскажи, сделай милость.

– Господи! Что ты за притворщик!

– Во-первых, ты знаешь, я все и всех позабываю. Рассказывай: что, как, где и почему я знал его?

– Изволь: я только не хотел напоминать тебе неприятной истории: этот Подозеров, когда все мы были на четвертом курсе, был распорядителем в воскресной школе.

Горданов спокойно произнес вопросительным тоном:

– Да?

– Ну да, и… ты, конечно, помнишь все остальное?

– Ничего я не помню.

– История в Ефремовском трактире?

– И никакой такой истории не помню, – холодно отвечал Горданов, прибирая волосок к волоску в своей бороде.

– Так я тебе ее напомню.

– Сделай милость.

– Мы зашли туда все вчетвером: ты, я, Подозеров и Форов, прямо с Бодростинской свадьбы, и ты хотел, чтобы был выпит тост за какое-то родимое пятно на плече или под плечом Глафиры Васильевны.

– Ты, друг любезный, просто лжешь на меня; я не дурак и не могу объявлять таких тостов.

– Да; ты не объявлял, но ты шепнул мне на ухо, а я сказал.

– Ах ты сказал… это иное дело! Ты ведь тоже тогда на нутро брал, тебе, верно, и послышалось, что я шептал. Ну, а что же дальше? Он, кажется, тебя побил, что ли?

– Ну, вот уж и побил! ничего подобного не было, но он заставил меня сознаться, что я не имею права поднимать такого тоста.

– Однако, он, значит, мужчина молодец! Ну, ты, конечно, и сознался?

– Да; по твоему же настоянию и сознался: ты же уговорил меня, что надо беречь себя для дела, а не ссориться из-за женщин.

– Скажи, пожалуйста: как это я ничего этого не помню?

– Ну полно врать: помнишь! Прекрасно ты все помнишь! Еще по твоему же совету… ты же сказал, что ты понимаешь одну только такую дуэль, по которой противник будет наверняка убит. Что, не твои это слова?

– Ну, без допроса, – что же дальше?

– Пустили слух, что он доносчик.

– Ничего подобного не помню.

– Ты, Павел Николаич, лжешь! это все в мире знают.

– Ну да, да, Иосаф Платоныч, непременно «все в мире», вы меньшею мерой не меряете! Ну и валяй теперь, сыпь весь свой дикционер: «всякую штуку», «батеньку» и «голубушку»… Эх, любезный друг! сколько мне раз тебе повторять: отучайся ты от этого поганого нигилистического жаргона. Теперь настало время, что с порядочными людьми надо знаться.

– Ну, так просто: *все знают*.

– Ошибаешься, и далеко не все: вот здешний лакей, знающий здесь всякую тварь, ничего мне не доложил об этаком Подозерове, но вот в чем дело: ты там не того?..

– Что такое?

– Балет-то танцевал, а, надеюсь, не раскрывался бутоном?

– То есть в чем же, на какой предмет, и о чем я могу откровенничать? Ты, ведь, черт знает, зачем меня схватил и привез сюда; я и сам путем ничего иного не знаю, кроме того, что у тебя дело с крестьянами.

– И ты этого, надеюсь, не сказал?

– Нет, это-то, положим, я сказал, но сказал умно: я закинул только слово.

Горданов бросил на него бархатный взгляд, обдававший трауром, и внятно, отбивая каждое слово от слова, протянул:

– Ты это сказал? Ты, милый, умен как дьякон Семен, который книги продал, да карты купил. И ты претендуешь, что я с тобой не откровенен. Ты досадуешь на свою второстепенную роль. Играй, дружок, первую, если умеешь.

– Паша, я ведь не знаю, в чем дело?

– Дело в истине, изреченной в твоей детской прописи: «истинный способ быть богатым состоит в умерении наших желаний». Не желай ничего знать более того, что тебе надо делать в данную минуту.

– Позволь, голубушка, – отвечал Висленев, перекатывая в руках жемчужину булавки Горданова. – Я тебя очень долго слушал.

– И всегда на этом выигрывал.

– Кроме одного раза.

– Какого?

– Моей женитьбы.

– Что же такое? и тут, кажется, обмана не было: ты брал жену во имя принципа. Спас женщину от родительской власти.

– То-то, что все это вышло вздор: не от чего ее было спасать.

– Ну ведь я же не мог этого знать! Да и что ты от этого потерял, что походил вокруг аналоя? Гиль!

– Да, очень тебе благодарен! Я и сам когда-то так рассуждал, а теперь не рассуждаю, и знаю, что это содержания требует.

– Ну вот видишь, зато у тебя есть один лишний опыт.

– Да, шути-ка ты «опыт». Запрягся бы ты сам в такой опыт!

– Ты очень добр ко мне. Я, брат, всегда сознавался, что я пред тобою нуль в таких делах, где нужно полное презрение к преданию: но ведь зато ты и был вождь, и пользовался и уважением и славой, тобой заслуженными, и я тебе не завидовал.

– Ах, оставь, пожалуйста, Павел Николаич, мне вовсе не весело.

Горданов оборотился к Висленеву, окинул его недовольным взглядом и спросил:

– Это еще что такое значит? Чем ты недовольна, злополучная тень, и чего еще жаждешь?

– Да что ж ты шутишь?

– Скажите, пожалуйста! А чего бы мне плакать?

– Не плачь, но и не злорадствуй. Что там за опыт я получил в моей женитьбе? Не новость, положим, что моя жена меня не любит, а любит другого, но… то, что…

– Ну, а что же новость?

– Что? – крикнул Висленев. – А то, что она любит черт знает кого, да и его не любит.

– А тебе какое дело?

– Она любит ростовщика, процентщика.

– А тебе, повторяю, какое до этого дело?

– Какое дело? такое, что это подлость… тем более, что она и его не любит!

– Так что же ты за него, что ли, обижаешься?

– За кого?

– За Тихона Ларионовича?

– О, черт бы его побрал! еще имя этого проклятого здесь нужно.

– Шут ты, – сказал мягко Горданов и, встав, начал одеваться. – Шут и более ничего! Какое тебе до всего этого дело?

– Ах, вот, покорно вас благодарю: новый министр юстиции явился и рассудил! Что мне за дело? А имя мое, и ведь все знают, а дети, черт их возьми, а дети… Они «Висленевы», а не жиды Кишенские.

– Скажите, какая важная фамилия: «Висленев»! Фу, черт возьми! Да им же лучше, что они не будут такие сумасшедшие, как ты! Ты бы еще радовался, что она не на твоей шее, а еще тебе же помогала.

Висленев не отвечал и досадливо кусал ногти. Горданов продолжал одеваться: в комнате минут пять продолжалось молчание.

– Ты ему сколько должен, Кишенскому-то?

Висленев промолчал.

– Да что же ты это на меня, значит, сердишься за то, что женился нехорошо, или за то, что много должен?

Висленев опять промолчал.

– Вот престранная, ей-богу, порода людей! – заговорил, повязывая пред зеркалом галстук, Горданов, – что только по ихнему желанию ни случится, всем они сами же первые сейчас недовольны. Захотел Иосаф Платонович быть вождем политической партии, – был, и не доволен: подчиненные не слушаются; захотел показать, что для него брак гиль, – и женился для других, то есть для жены, и об этом теперь скорбит; брезговал собственностью, коммуны заводил, а теперь душа не сносит, что карман тощ; взаймы ему человек тысченок десяток дал, теперь, зачем он дал? поблагородничал, сестре свою часть подарил, и об этом нынче во всю грудь провздыхал: зачем не на общее дело отдал, зачем не бедным роздал? зачем не себе взял?

– Ну извини, пожалуйста: последнего я никогда не говорил.

– Ну полно, брат Жозеф, я ведь давно читаю тебя насквозь. А ты скажи, что это у вас, родовое, что ли? И сестра твоя такая?

– Оставь мою сестру; а читать меня немудрено, потому что в таких каторжных сплетениях, в каких я, конечно, пожалеешь о всяком гроше, который когда-нибудь употреблял легкомысленно.

– Ну вот то-то и есть!

– Да, но все-таки, я, конечно, уж, если за что на себя не сетую, так это за то, что исполнил кое-как свой долг по отношению к сестре. Да и нечего о том разговаривать, что уже сделано и не может быть переделано.

– Отчего же не может быть переделано? дар дарится и возвращается.

– Какой вздор!

– Не смей, Иосафушка, закона называть вздором.

– И неужто ты думаешь, что я когда-нибудь прибегнул бы к такому средству?

– Ни за что не думаю.

– Очень тебе благодарен хоть за это. Я нимало не сожалею о том, что я отдал сестре, но только я охотно сбежал бы со света от всех моих дел.

– Да куда, странничек, бежать-то? Это очень замысловатая штучка! в поле холодно, в лесу голодно. Нет, милое дитя мое Иосаф Платоныч, не надо от людей отбиваться, а надо к людям прибиваться. Денежка, мой друг, труд любит, а мы с тобой себе-то хотя, давай, не будем лгать: мы, когда надо было учиться, свистели; когда пора была грош на маленьком месте иметь, сами разными силами начальствовали; а вот лето-то все пропевши к осени-то и жутко становится.

– Ах, жутко, Поль, жутко!

– То-то и есть, но нечего же и головы вешать. С азбуки нам уже начинать поздно, служба только на кусок хлеба дает, а люди на наших глазах миллионы составляют; и дураков, надо уповать, еще и на наш век хватит. Бабы-то наши вон раньше нас за ум взялись, и посмотри-ко ты, например, теперь на Бодростину… Та ли это Бодростина, что была Глаша Акатова, которая, в дни нашей глупости, с нами ради принципа питалась снятым молоком? Нет! это не та!

– И как она в свою роль вошла! говорят, совсем природная дюшесса, герцогиня.

– Да и удивляться нечего; а почему? А потому что есть царь в голове. Чего ей не быть дюшессой? Она всем сумела бы быть. Вот это-то и надо иметь в уме таким людям, как мы с тобой, которые ворчали, что делать состояние будто бы «противно природе». Кто идет в лес по

малину спустя время, тому одно средство: встретил кого с кузовом и отсыпь себе в кузовок.

– А что если бы твои эти слова слышал бы кто-нибудь посторонний? – спросил, щуря глаза и раскачивая ногою, Висленев.

– Что ж: сказал бы, что я подлец?

– Наверно.

– И наверно соврал бы; потому что сам точно так же, подлец, думает. Ты хочешь быть добр и честен?

– Конечно.

– Так будь же прежде богат, чтобы было из чего добрить и щедрить, а для этого… пересыпай, любезный, в свой кузов из кузова тех, от кого, как от козла, ни шерсти, ни молока. А что скажут?.. Мы с тобой, почтенный коллега, сбившись с толку в столицах, приехали сюда дела свои пристраивать, а не нервничать, и ты, пожалуйста, здесь все свои замашки брось и не хандри, и тоже не поучай, а понимаешь… соглашайся. Время, когда из Петербурга можно было наезжать в провинции с тем, чтобы здесь пропагандировать да развивать свои теории, прошло безвозвратно. Вы, господа «передовые», трунили, что в России железных дорог мало, а железные дороги вам первая помеха; они наделали, что Питер совсем перестает быть оракулом, и теперь, приехав сюда из Петербурга, надо устремлять силы не на то, чтобы кого-нибудь развивать, а на то, чтобы кого-нибудь… обирать. Это одно еще пока ново и не заезжено.

Висленев молчал.

– Но только вот что худо, – продолжал Горданов, – когда вы там в Петербурге считали себя разных дел мастерами и посылали сюда разных своих подмастерьев, вы сами позабыли провинцию, а она ведь иной раз похитрей Петербурга, и ты этого пожалуйста не забывай. В Петербурге можно целый век, ничего умного не сделавши, слыть за умника, а здесь… здесь тебя всего разберут, кожу на тебе на живом выворотят и не поймут…

– Да я это сто раз проводил в моих статьях, но ты, с твоим высоким о себе мнением, разумеется, ничего этого не читал.

– Напротив, я «читал, и духом возмутился, зачем читать учился». Ты все развиваешь там, что в провинции тебя не поймут. Да, любезный друг, пожалуй что и не поймут, но не забудь, что зато непременно разъяснят. Провинция – это волшебница Всеведа: она до всего

доберется. И вы вот этого-то именно и не чаете, и оттого в Петербурге свистите, а здесь как раз и заревете. Советую тебе прежде всего не объявляться ни под какою кличкой, тем более, что, во-первых, всякая кличка гиль, звук пустой, а потом, по правде тебе сказать, ты вовсе и не *нигилист*, а весьма порядочный гилист. Гиль заставила тебя фордыбачить и отказываться от пособия, которое тебе Тихон Ларионыч предлагал для ссудной кассы, гиль заставила тебя метаться и искать судебных мест, к которым ты неспособен; гиль загнала тебя в литературу, которая вся яйца выеденного не стоит, если бы не имела одной цели – убить литературу; гиль руководит тобой, когда ты всем и каждому отрицаешься от нигилизма; одним словом, что ты ни ступишь, то это все гиль. Держись, пожалуйста, умней, мой благородный вождь, иначе ты будешь свешен и смерян здесь в одну неделю, и тебя даже подлецом не назовут, а просто нарядят в шуты и будут вышучивать! а тогда уж и я не стану тебя утешать, а скажу тебе: выпроси, друг Иосаф Платоныч, у кого-нибудь сахарную веревочку и подвесся минут на десять.

– Ты, однако, очень своеобразно утешаешь.

– Да, именно очень своеобразно; я не развожу вам разводов о «силе и материи», а ищу действующей силы, которая бы нашу голову на плечи поставила.

Висленев в отчаянии всплеснул руками.

– Да где же эта сила, Поль? – воскликнул он почти со слезами на глазах.

– Вот здесь, в моем лбу и в твоем послушании и скромности. Я тебе это сказал в Москве, когда уговорил сюда ехать, и опять тебе здесь повторяю то же самое. Верь мне; вера не гиль, она горы двигает; верь в меня, как я в тебя верю, и ты будешь обладать и достатком, и счастием.

– Полно, пожалуйста, где ты там в меня веришь?

– А уж я другому наверно бы не отдал портфеля с полусотней тысяч денежных бумаг.

– А я кстати не знаю, зачем ты их мне отдал? Возьми их Бога ради!

– Нельзя, мой милый; я живу в гостинице.

– Да все равно, конечно: ключ ведь у тебя?

В это время в комнату явился слуга, посланный Гордановым с книгою к Бодростиным, и вручил ему маленькую записочку, на

которую тот только взглянул и тотчас же разорвал ее в мельчайшие лепесточки. Долго, впрочем, в ней нечего было и читать, потому что на маленьком листке была всего одна коротенькая строчка, написанная мелким женским почерком. Строчка эта гласила: «12 chez vous».[4]

Горданова на минуту только смутила цифра 12. К какой поре суток она относилась? Впрочем, он сейчас же решил, что она не может относиться к полудню; некстати также, чтоб это касалось какой-нибудь и другой полуночи, а не той, которая наступит вслед за нынешним вечером.

«Она всегда толкова, и дело здесь, очевидно, идет о сегодня», – сказал он себе и, положив такое решение, вздохнул из глубины души и, обратясь к сидевшему в молчании Висленеву, добавил: – так-то, так-то, брат Савушка; все у нас с тобой впереди и деньги прежде всего.

– Ах, деньги важная вещь!

– Еще бы! Деньги, дитя мое, большой эффект в жизни. И вот раз, что они у нас с тобой явятся в изобилии, исцелятся даже и все твои язвы сердечные. Прежде же всего надобно заботиться о том, чтобы поправить грех юности моей с мужичонками. Для этого я попрошу тебя съездить в деревню с моею доверенностью.

– Хорошо; я поеду.

– Я дам тебе план и инструкции как действовать, а самому мне нужно будет тем временем остаться здесь. А еще прежде того, есть у тебя деньги или нет?

– Откуда же они, голубчик Павел? Из ста рублей…

– Да полно вычислять!

Горданов развернул свой портфель, вынул из него двести рублей и подал Висленеву.

– Мне, право, совестно, Поль… – заговорил Висленев, протягивая руку к деньгам.

– Какой же ты после этого нигилист, если тебе совестно деньги брать? Бери, пожалуйста, не совестись. Не далеко время, когда у тебя будут средства, которыми ты разочтешься со мною за все сразу.

– Ах, только будут ли они? будут ли когда-нибудь? – повторял Висленев, опуская деньги в карман.

– Будут; все будет: будут деньги, будет положение в свете; другой жены новой только уж не могу тебе обещать; но кто же в наш век из порядочных людей живет с женами? А зато, – добавил он, схватывая

Висленева за руку, – зато любовь, любовь… В провинциях из лоскутков шьют очень теплые одеяла… а ты, каналья, ведь охотник кутаться!

– Пусти, пожалуйста, с твоею любовью! – проговорил, невольно осклабляясь, Висленев.

– Нет, а ты не шути! – настойчиво сказал Горданов и, наклонясь к уху собеседника, прошептал: – я знаю, кто о тебе думает, и не самовольно обещаю тебе любовь такой женщины, пред которою у всякого зарябит в глазах. Это вот какая женщина, пред которою и сестра твоя, и твоя генеральша – померкнут как светляки при свете солнца, и которая… сумеет полюбить так… как сорок тысяч жен любить не могут! – заключил он, быстро кинув руку Висленева.

– Ты это от себя фантазируешь?

– Да разве такие вещи можно говорить, не имея на то полномочия?

– Так что ж она меня знает, что ли?

– Конечно, знает.

Висленев подернул в недоумении плечами, а Горданов заглянул ему в глаза и, улыбаясь, проговорил:

– А! глаза забегали!

Висленев рассмеялся.

– Да что же, – отвечал он, – нельзя же все в самом деле серьезно слушать, как ты интригуешь, точно в маскараде.

– Нечего тебе толковать, маскарад это или не маскарад: довольно с тебя, что я сдержу все мои слова, а ты будешь и богат, и счастлив, а теперь я вот уж и одет, и если ты хочешь меня куда-нибудь везти, то можешь мною располагать.

– Да, я пригласил к себе приятелей сестры поужинать и сам приехал за тобой.

– Прекрасно сделал, что пригласил их, и я очень рад познакомиться с приятелями твоей сестры, но только два условия: сейчас мне дома нужно написать маленькую цидулочку, и потом не сердись, что я долее половины двенадцатого ни за что у вас не останусь.

– А мне бы, знаешь… кажется, надо бы забежать…

– Куда?

– Да к этому генералу Синтянину, – заговорил, морщась, Висленев. – Сестра уверяет, что, по их обычаям, будто без того и генеральше неловко будет придти.

– Ну, разумеется! А ты не хочешь, что ли, идти к нему?

– Конечно, не хотелось бы.

– Почему?

Висленев сделал заученную гримасу и проговорил:

– Все, знаешь, лучше как подалее от синего мундира.

– Ах ты, кум! – Горданов пожал плечами и комически проговорил, – вот что общество так губит: предрассудкам нет конца! Нет, лучше поближе, а не подальше! Иди сейчас к генералу, сию же минуту иди, и до моего приезда умей снискать его любовь и расположение. Льсти, лги, кури ему, – словом, делай что знаешь, это все нужно – добавил он, пихнув тихонько Висленева рукой к двери.

– Ну так постой же, знаешь еще что? Сестра хотела позвать Бодростину.

– Ну, это вздор!

– Я ей так и сказал.

– Да Глафира и сама не поедет. Ах, женщина какая, Иосаф?

– Кусай, любезный, локти! – проговорил, уходя, Иосаф Платонович.

Висленев ушел, а Горданов запер за ним двери на ключ, достал из дорожной шкатулки два револьвера, осмотрел их заряды, обтер замшей курки и положил один пистолет на комод возле изголовья кровати, другой – в ящик письменного стола. Затем он взял листок бумаги и написал большое письмо в Петербург, а потом на другом клочке бумаги начертил:

«Я непременно должен был отлучиться из дому, но к урочному часу буду назад, и если минуту запоздаю, то ты подожди».

Окончив это последнее писание, Горданов позвонил лакея и велел ему, если бы кто пришел от Бодростиных, отдать посланному запечатанную записку, а сам сел в экипаж и поехал к Висленевым.

На дворе уже совсем смерклось и тучилось; был девятый час вечера, в небе далеко реяли зарницы и пахло дождем.

Глава шестая
Волк в овечьей коже

Когда экипаж Горданова остановился у ворот Висленевского дома, Иосаф Платонович, исполняя завет Павла Николаевича, был у генерала.

Ворота двора были отворены, и Горданову с улицы были видны освещенные окна флигеля Ларисы, раскрытые и завешенные ажурными занавесками. Горданов, по рассказам Висленева, знал, что ему нужно идти не в большой дом, но все-таки затруднялся: сюда ли, в этот ли флигель ему надлежало идти? Он не велел экипажу въезжать внутрь двора, сошел у ворот и пошел пешком. Ни у ворот, ни на дворе не было никого. Из флигеля слышались голоса и на занавесках мелькали тени, но отнестись с вопросом было не к кому.

Горданов остановился и оглянулся вокруг. В это время на ступенях крыльца дома, занимаемого генералом, показалась высокая женская фигура в светлом платье, без шляпы и без всякого выходного убора. Это была генеральша Александра Ивановна. Она тоже заметила Горданова с первой минуты и даже отгадала, что это он, отгадала она и его затруднение, но, не показав ему этого, дернула спокойною рукой за тонкую веревку, которая шла куда-то за угол и где-то терялась. Послышался мерный звон колокольчика и громкий отклик: сейчас!

– Семен, иди подай скорее барину одеваться! – отвечала на этот отклик Синтянина и стала сходить по ступеням, направляясь к флигелю Висленевых.

Горданов тронулся ей навстречу, и только что хотел сделать ей вопрос об указании ему пути, как она сама предупредила его и, остановясь, спросила:

– Вы, верно, не знаете, как вам пройти к Висленевым?

– Да, – отвечал, кланяясь, Горданов.

– Вы господин Горданов?

– Вы не ошиблись, это мое имя.

– Не угодно ли вам идти за мной, я иду туда же.

Они перешли дворик, взошли на крылечко, и Синтянина позвонила. Дверь не отворялась.

Александра Ивановна позвонила еще раз, громче и нетерпеливее, задвижка отодвинулась и в растворенной двери предстала легкая фигура Ларисы.

– Как у тебя, Лара, никто не слышит, – проговорила Синтянина и сейчас же добавила: – вот к вам гость.

Лариса, смущенная появлением незнакомого человека, подвинулась назад и, войдя в зал, спросила шепотом:

– Кто это?

– Горданов, – отвечала ей тихо генеральша и кивнула головой Подозерову по направлению к передней, где Горданов снимал с себя пальто.

Подозеров встал и быстро подошел к двери как раз в то время, как Горданов готовился войти в залу.

Оба они вежливо поклонились, и Горданов назвал себя по фамилии.

– Я здесь сам гость, – отвечал ему Подозеров и тотчас же, указав ему рукой на Ларису, которая стояла с теткой у балконной двери, добавил: – вот хозяйка.

– Лариса Платоновна, – заключил он, – вам желает представиться товарищ Иосафа Платоновича, господин Горданов.

Лариса сделала шаг вперед и проговорила казенное:

– Я очень рада видеть друзей моего брата.

Павел Николаевич, со скромностию истинного джентльмена, отвечал тонкою любезностью Ларисе, и, поручая себя ее снисходительному вниманию, отдал общий поклон всем присутствующим.

Лариса назвала по именам тетку и прочих.

Горданов еще раз поклонился дамам, пожал руки мужчинам и затем, обратясь к хозяйке, сказал:

– Ваш брат беспрестанно огорчает меня своею неаккуратностию и нынче снова поставил меня в затруднение. По его милости я являюсь к вам, не имея чести быть вам никем представленным, и должен сам рекомендовать себя.

– Брат здесь у нашего жильца и будет сюда сию минуту.

И действительно, в эту же минуту в передней, которая оставалась незапертою, послышались шаги и легкий брязг шпор: это вошли Висленев и генерал Синтянин.

Иосаф Платонович, как только появился с генералом, тотчас же познакомил его с Гордановым и затем завел полушуточный рассказ о Форове.

Все это время Синтянина зорко наблюдала гостя, но не заметила, чтобы Лариса произвела на него впечатление. Это казалось несколько удивительным, потому что Лариса, прекрасная при дневном свете, теперь при огне матовой лампы была очаровательна: большие черные глаза ее горели от непривычного и противного ее гордой натуре стеснения присутствием незнакомого человека, тонкие дуги её бровей ломались и сдвигались, а строжайшие линии ее стана блестели серебром на изломах покрывавшего ее белого альпага.

По неловкости Висленева, мужчины задержались на некоторое время на средине комнаты и разговаривали между собою. Синтянина решила положить этому конец. Ее интересовал Горданов, и ей хотелось с ним говорить, выведать его и понять его.

– Господа! – воскликнула она, направляя свое слово как будто исключительно к Форову и к своему мужу, – что же вы нас оставили? Позвольте заметить, что нам это нимало не нравится.

Мужчины повернулись и, сопровождаемые Иосафом Платоновичем, уселись к столу. Завязался общий разговор. Речь зашла о провинции и впечатлениях провинциальной жизни. Горданов говорил сдержанно и осторожно.

– Не находите ли вы, что провинция нынче еще более болтлива, чем встарь? – спросила Синтянина.

– Я еще не успел вглядеться в нынешних провинциальных людей, – отвечал Горданов.

– Да, но вы, конечно, знаете, что встарь с новым человеком заговаривали о погоде, а нынче начинают речь с направлений. Это прием новый, хотя, может быть, и не самый лучший: это ведет к риску сразу потерять всякий интерес для новых знакомых.

– Самое лучшее, конечно, это вести речь так, как вы изволите вести, то есть заставлять высказываться других, ничем не выдавая себя, – ответил ей с улыбкой Горданов.

Александра Ивановна слегка покраснела и продолжала:

– О, я совсем не обладаю такими дипломатическими способностями, какие вы во мне заподозрили, я только любопытна как женщина старинного режима и люблю поверять свои догадки

соображениями других. Есть пословица, что человека не узнаешь, пока с ним не съешь три пуда соли, но мне кажется, что это вздор. Так называемые нынче «вопросы» очень удобны для того, чтобы при их содействии узнавать человека, даже ни разу не посоливши с ним хлеба.

Горданов усмехнулся.

– Вы, кажется, другого мнения? – спросила Синтянина.

– Нет, совсем напротив! – отвечал он, – мое молчание есть только знак согласия и удивления пред вашею наблюдательностию.

– Вы, однако, тоже, как и Иосаф Платоныч, не пренебрегаете старинным обычаем немножко льстить женской суетности, но я недруг любезностей, расточаемых женскому уму.

– Не женскому, а вашему, хотя я вообще немалый чтитель женского ума.

– Не знаю, какой вы его чтитель, но, по-моему, все нынешнее курение женскому уму вообще – это опять не что иное, как вековечная лесть той же самой женской суетности, только положенная на новые ноты.

– Я с вами совершенно согласен, – отвечал ей тоном большой искренности Горданов.

– Мой приятель поп Евангел того убеждения, что всякий человек есть только ветхий Адам, – вставил Форов.

– И ваш отец Евангел совершенно прав, – опять согласился Горданов. – Если возьмем этот вопрос серьезно и обратимся к истории, к летописям преступлений или к биографиям великих людей и друзей человечества, везде и повсюду увидим одно бесконечное ползанье и круженье по зодиакальному кругу: все те же овны, тельцы, раки, львы, девы, скорпионы, козероги и рыбы, с маленькими отменами на всякий случай, и только. Ново лишь то, что хорошо забыто.

– Сдаюсь на ваши доводы; вы правы, – согласился Форов.

– Теперь, например, – продолжал Горданов, – разве не ощутительны новые тяготения к старому: Татьяна Пушкина опять скоро будет нашим идеалом; самые светские матери не стыдятся знать о здоровьи и воспитании своих детей; недавно отвергнутый брак снова получает важность. Восторги по поводу женского труда остыли…

– Нет-с, извините меня, – возразил Филетер Иванович, – вы, я вижу, стародум, стоите за старь, за то, что древле было все лучше и дешевле.

– Нимало: я совсем вне времени, но я во всяком времени признаю свое хорошее и свое худое.

– Так за что же вы против женского труда?

– Боже меня сохрани! Я не настолько самоотвержен, чтобы, будучи мужчиной, говорить во вред себе.

– Я вас не понимаю, – отозвался генерал.

– Я стою за самую широкую эмансипацию женщин в отношении труда; я даже думаю, что со стороны мужчин будет очень благоразумно свалить всю работу женщинам, но я, конечно, не позволю себе называть это эмансипацией и не могу согласиться, что эта штука впервые выкинута с женщинами так называемыми новыми людьми. Привилегия эта принадлежит не им.

– Она принадлежит нашим русским мужичкам в промысловых губерниях, – вставил Форов.

– Да; чтобы не восходить далее и не искать указаний в странах совершенных дикарей, привилегию эту, конечно, можно отдать тем из русских мужиков, для которых семья не дорога. Мужик Орловской и Курской губернии, пахарь, не гоняет свою бабу ни пахать, ни боронить, ни косить, а исполняет эту тягчайшую работу сам; промысловый же мужик, который, конечно, хитрее хлебопашца, сам пьет чай в городском трактире, а жену обучил править за него мужичью работу на поле. Я отдаю справедливость, что все это очень ловко со стороны господ мужчин, но совещусь сказать, что все это сделано для женской пользы по великодушию.

– Вы, кажется-с, играете словами, – промолвил генерал, заметив общее внимание женщин к словам Горданова; но тот это решительно отверг.

– Я делаю самые простые выводы из самых простейших фактов, – сказал он, – и притом из общеизвестных фактов, которые ясно убеждают, что с женщиной поступают коварно и что значение ее все падает. Как самое совершеннейшее из творений, она призвана к господству над грубою силой мужчины, а ее смещают вниз с принадлежащего ей положения.

– Позвольте-с, с этим трудно согласиться!

– С этим, генерал, *нельзя не согласиться!*

– А я не соглашусь-с!

– Непременно согласитесь. Разве не упало, не измельчало значение любви, преданности женщинам? Разве любовь не заменяется холодным сватовством, не становится куплею… Согласитесь, что женитьба стала бременем, что распространяется ухаживанье за чужими женами, волокитничество, интрига без всяких обязательств со стороны мужчины. Даже обязанности волокитства кажутся уж тяжки, – женщина не стоит труда, и начинаются rendez-vous нового сорта; не мелодраматические rendez-vous с замирающим сердцем на балконе «с гитарою и шпагой», а спокойное свидание у себя пред камином, в архалуке и туфлях, с заученною лекцией сомнительных достоинств о принципе свободы… Речь о свободе с тою, которая сама властна одушевить на всякую борьбу… Простите меня, но, мне кажется, нет нужды более доказывать, что значение женщины в так называемый «наш век» едва ли возвеличено тем, что ей, разжалованной царице, позволили быть работницей! Есть женщины, которые уже теперь недоверчиво относятся к такой эмансипации.

– Да, это правда, – вставила свое слово Лариса.

Горданов взглянул на нее и, встретив ее взгляд, закончил:

– Как вам угодно, для живой женщины наедаться за труд не было, не есть ныне и никогда не будет задачею существования, и потому и в этом вопросе, – если это вопрос, – круг обойден, и просится нечто новое, это уже чувствуется.

– Однако же-с, закон этого-с еще как будто не предусматривает, того, что вы изволите говорить, – прозвучал генерал.

– Закон!.. Вы правы, ваше превосходительство, закон не предусматривает, но и в Англии не отменен закон, дозволяющий мужу продать неверную жену, а у нас зато есть учреждения, которые всегда доставляли защиту женщине, не стесняясь законом.

– Ага-с! ага! поняли наконец-то: и известные учреждения! Вот видите когда поняли! – воскликнул генерал.

– Да этого нельзя и не понимать!

– Ага! ага! «нельзя не понимать!» Нет-с, не понимали. Закон! закон! твердили: все закон! А закон-то-с хорош-с тем, кто вырос на законе, как европейцы, а калмыцкую лошадь один калмык переупрямит.

Лариса бросила взгляд на Горданова и, видя, что он молчит, встала и попросила гостей к столу.

Ужин шел недолго, хотя состоял из нескольких блюд и начался супом с потрохами. Разговор десять раз завязывался, но не клеился, а Горданов упорно молчал: с его стороны был чистый расчет оставлять всех под впечатлением его недавних речей. Он оставался героем вечера.

За столом говорил только Висленев, и говорил с одним генералом о делах, о правительстве, о министрах. Вмешиваться в этот разговор охотников не было. Висленев попробовал было подтрунить над материализмом дяди, но тот отмолчался, тронул он было теткину религиозность, посмеявшись, что она не ест раков, боясь греха, но Катерина Астафьевна спокойно ответила:

– Не потому, батюшка, не ем, чтобы считала это грехом, а потому, что не столько на этих раках мяса наешь, сколько зубов растеряешь.

Так ужин и кончился.

Встав из-за стола, Горданов тотчас же простился и зашел на минуту в кабинет Висленева только для того, чтобы раскурить сигару, но, заметив старинные эстампы, приостановился перед Фамарью и Иудою.

– Как это хорошо исполнено, – сказал он.

– Нет, это ничего, а ты вот взгляни-ка на этих коней, – позвал его к другой картине Висленев.

Горданов оглянулся.

– Недурны, – сказал он сквозь зубы, мельком взглянув на картинку.

– А которая тебе более нравится?

– Одна другой лучше.

– Ну, этого не бывает.

– Почему нет? твоя сестра и генеральша разве не обе одинаково прекрасны? Здесь больше силы, – она дольше проскачет, – сказал он, показывая головкою тросточки на взнузданного бурого коня, – а здесь из очей пламя бьет, из ноздрей дым валит. Прощай, – добавил он, зевнув. – Да вот еще что. Генерал-то Синтянин, я слышал, говорил тебе за ужином, что он едет для каких-то внушений в стороне, где мое имение, – вот тебе хорошо бы с ним примазаться! Обдумай-ко это!

– А что ж, я, если хочешь, это улажу, но ловко ли только с ним-то?

– И прекрасно сделаешь: с ним-то и ловко! а того… что бишь такое я еще хотел тебе сказать?.. Да, вспомнил! Приходи ко мне завтра

часу в одиннадцатом; съездим вместе к этому Подозерову.

– Хорошо.

– А что, твоя сестра за него уже просватана или нет?

– Что тако-ое? моя сестра просватана!.. На чем ты это основываешь?

– На гусиной печенке, которую она ловила для него в суповой чаше. Это значит, она знает его вкусы и собирается угождать им.

– Какой вздор! сестра, кажется, такой субъект, что она может положить ему на тарелку печенку, а тебе сердце.

Горданов засмеялся.

– Чего ты смеешься?

– Не знаю, право, но мне почему-то всегда смешно, когда ты расхваливаешь твою сестру. А что касается до твоей генеральши, то скажу тебе, что она прелесть и баба мозговитая.

– А вот видишь ли, а ведь ты ошибаешься, она совсем не так умна, как тебе кажется. Она только бойка.

– Ну да; рассказывай ты! Нет, а ты рта-то с ней не разевай! Прощай, я совсем сплю.

Приятели пожали друг другу руки, и Висленев проводил Горданова до коляски, из которой тот сунул Иосафу Платоновичу два пальца и уехал.

На дворе было уже без четверти полночь. Горданов нетерпеливо понукал кучера, и наконец, увидав в окнах своего номера чуть заметный подслеповатый свет, выскочил из коляски, прежде чем она остановилась.

Глава седьмая
Не поняли, но объясняют

Проводив Горданова, Висленев возвратился назад в дом, насвистывая оперетку, и застал здесь уже все общество наготове разойтись: Подозеров, генерал и Филетер Иванович держали в руках фуражки, Александра Ивановна прощалась с Ларисой, а Катерина Астафьевна повязывалась пред зеркалом башлыком.

Иосаф Платонович хотел показать, что его эти сборы удивили.

– Господа! – воскликнул он, – куда же вы это?

– Домой-с, домой, – отвечал, протягивая ему руку, генерал.

– Что ж это так рано и притом все вдруг?

– Вам спать пора, – отвечала ему, подавая на прощанье руку, генеральша Синтянина.

– И даже вы, тетушка, тоже уходите? – обратился он к Форовой, окончившей в эту минуту свой туалет.

– Муж меня, батюшка, берет, замуж вышла, не свой человек.

– Лара, уговори хоть ты, – обратился он к сестре.

– Alexandrine, погоди, – проговорила Лара.

– Мой друг… ты знаешь, у меня дома есть больная.

Александра Ивановна нагнулась к уху Ларисы и прошептала:

– Я и так поступаю не хорошо: Вера весь день очень беспокойна.

– Я больше не прошу, – ответила ей громко Лариса.

– Ну, делать нечего, прощайте, господа, – повторил Висленев, – но я во всяком случае надеюсь, что мы будем часто видеться. А как вам, Филетер Иванович, показался мой приятель Горданов? Не правда ли, умница?

– Да вы что же сами подсказываете? – возразил Форов.

– Я не подсказываю, я только так…

– Ну, уж теперь нечего «так»! прощайте.

– Нет, а ведь вправду умен? – допрашивал Висленев, удерживая за руку майора.

– Ну вот, не видала Москва таракана: экая редкость, что умен!

– И резонен, на ветер не болтает.

– Это еще того дешевле. Нам его резоны все равно, что морю дождик, мы резоны-то и без него с прописей списывали, а вот он настоящую *свою суть* покажи!

– Пока вы его провожали, мы на его счет по нашей провинциальной привычке уже немножко посплетничали, – сказала почти на пороге генеральша. – Знаете, ваш друг, – если только он друг ваш, – привел нас всех к соглашению между тем как, все мы чувствуем, что с ним мы вовсе не согласны.

Висленев засмеялся и сказал:

– Я это ему передам.

У своего крыльца Синтянина на минуту остановилась с Подозеровым и, удержав в своей руке руку, которую последний подал ей на прощанье, спросила его:

– Ну, а вам, Андрей Иванович, понравился этот барин?

– Не очень понравился, Александра Ивановна, – коротко отвечал Подозеров.

– Это значит, что он вам совсем не понравился. Я это, впрочем, видела и очень сожалела, что вы сегодня так убийственно скучны и молчаливы. Вы один могли бы ему отвечать, и вы-то и не сказали ни слова.

– К чему? – ответил Подозеров. – Он говорит красно. Да; они совсем довоспитался: теперь уже не так легко открыть, кто под каким флагом везет какую контрабанду.

– Зачем же вы молчали? И вообще, что значит: целый день унылость, а к ночи сплин?

– Не знаю, скучно и сердце болит.

– А вы бы вот поучились у Горданова владеть собою! Удивительное самообладание!

– Ничего удивительного! Самообладанием отличается шулер, когда смотрит всем в глаза, чтобы не заметили, как он передергивает карту.

– Во всяком случае, господин Горданов мастерски владеет собою.

– И другими даже, – подтвердила Форова, целуя в лоб Синтянину. – Это, господа, не человек, а… кто его знает, кто он такой: его в ступе толки, он будет вокруг толкача бегать.

– А ваше мнение, Филетер Иванович, о новом госте какое?

– Пока не вложу перста моего – ничего не знаю.

– Вы неисправимы, – промолвила генеральша и добавила, – я рада бы с вами много говорить, да Вера нездорова; но одно вам скажу: по-моему, этот Горданов точно рефлектор, он все отражал и все соединял в фокусе, но что же он нам сказал?

– А ничего! – ответил Форов. – С пытливых дам и этого довольно.

– Ну, прощайте, – произнесла генеральша и, кивнув всем головою, пошла на крыльцо.

Форов втроем с женою и Подозеровым вышли за калитку и пошли по пустынной улице озаренного луной и спящего города.

Иосаф Платонович, выпроводив гостей, счел было нужным поговорить с сестрой по-сердцу и усадил ее в гостиной на диване, но, перекинувшись двумя-тремя фразами, почувствовал нежелание говорить и ударил отбой.

– Ну и слава богу, что у тебя все хорошо, – сказал он. – Ты сколько же берешь нынче в год за дом с Синтяниных?

– Столько же, как и прежде, Жозеф.

– То есть, что же именно? Я ведь уже все это позабыл, сколько за все платилось.

– Они мне платят шестьсот рублей.

– Фуй, фуй, как дешево! Квартиры повсеместно ужасно вздорожали.

– Да? я, право, этого не знаю, Жозеф.

– Как же, Ларушка. По крайней мере у нас в Петербурге все стало черт знает как дорого. Ты напрасно не обратишь на это внимания.

– Но что же мне до этого?

– Как что тебе до этого, моя милая? Их превосходительства могли бы тебе теперь и подороже…

– Ах, полно бога ради, цена, которую они платят, мне ровесница. Синтянин, с тех пор как выехали Гриневичи, платит за этот дом шестьсот рублей, не я же стану набавлять на них… С какой стати?

– Как с какой стати? Все дорожает, а деньги дешевеют. Матушка наша, я помню, платила кухарке два рубля серебром в месяц, а мы теперь сколько платим?

– Пять.

– Ну вот, здравствуй, пожалуйста! Платишь за все втрое, а берешь то же самое, что и сто лет тому назад брала. Это невозможно. Я даже

удивляюсь, как им самим это не совестно жить за старую цену, и если они этого не понимают, то я дам им это почувствовать.

– Нет, я прошу тебя, Жозеф, этого не делать! Во-первых, Синтянины небогаты, а во-вторых, у нас квартиры втрое и не вздорожали, в-третьих же, я дорожу Синтяниными, как хорошими постояльцами, и дружна с Alexandrine.

– Да; «дружба это ты!» когда нам это выгодно, – перебил, махнув рукой, Висленев.

– А в-четвертых… – проговорила и замялась на слове Лариса.

– В-четвертых, это не мое дело. Я с тобой согласен, часть свою я тебе уступил, и дом вполне твоя собственность, но ведь тебе же надо на что-нибудь и жить.

– Я и живу.

– Да, ты живешь мастерски, живешь чисто и прекрасно, – продолжал он, – но все-таки… быть посвободнее в гроше никогда не мешает. Конечно, я пред тобой много виноват…

– Ты виноват? Чем это? я не знаю.

– Ну, помнишь, ведь я обещал тебе, что я буду помогать и даже определил тебе триста рублей в год, но мне, дружочек Лара, так не везет, – добавил он, сжимая руку сестре, – мне так не везет, что даже одурь подчас взять готова! Тяжко наше переходное время! То принципы не идут в согласие с выгодами, то… ах, да уж лучше и не поднимать этого! Вообще тяжело человеку в наше переходное время.

– Вообще ты напоминаешь мне о том, Жозеф, о чем я давно позабыла.

– То есть, о чем же я тебе напоминаю?

– О твоем обещании, которое ты исполнять отнюдь не должен, потому что имеешь теперь уже свою семью, и о том, как живется человеку в наше переходное время. Я его ненавижу.

– Что же, разве ты перешла «переходы» и видишь пристанище? – пошутил Висленев, гладя сестру по руке и смотря ей в глаза.

– Пристанище в том: жить как живется.

– Ой, шутишь, сестренка!

– Нимало.

– Тебе всего ведь девятнадцать лет.

– Нет, через месяц двадцать.

– Пора бы тебе и замуж.

Лариса рассмеялась и отвечала:

– Не берут.

– Ой, лжешь ты, Лара, лжешь, чтобы тебя не брали! Ты хороша, как пери.

– Полно, пожалуйста.

– Ей-богу! Ведь ты ослепительно хороша! Погляди-ка на меня! Фу ты, господи! Что за глазищи: мрак и пламень, и сердце не камень.

– Камень, Иосаф, – отвечала, улыбаясь, Лара.

– Врешь, Ларка! Я тебя уже изловил.

– Ты изловил меня?.. На чем?

– На гусиной печенке.

Лариса выразила непритворное удивление.

– Не понимаешь? Полно, пожалуйста, притворяться! Нам, брат, Питер-то уже глаза повытер, мы всюду смотрим и всякую штуку замечаем. Ты зачем Подозерову полчаса целых искала в супе печенку?

– Ах, это-то… Подозерову!

И Лариса вспыхнула.

– Стыд не потерян, – сказал Иосаф Платонович, – но выбор особых похвал не заслуживает.

– Выбора нет.

– Что же это… Так?

– Именно так… ничего.

– Ну, я так и говорил.

– Ты *гак говорил*?.. Кому и что так ты говорил?

– Нет, это так, пустяки. Горданов меня спрашивал, просватана ты или нет? а я говорю: «с какой стати?»

Висленев вздохнул, выпустил клуб сигарного дыма и, потеребя сестру за мизинец, проговорил:

– Покрепись, Ларушка, покрепись, подожди! У меня все это настраивается, и прежде бог даст хорошенько подкуемся, а тогда уж для всех и во всех отношениях пойдет не та музыка. А теперь покуда прощай, – добавил он, вставая и целуя Ларису в лоб, а сам подумал про себя: «Тьфу, черт возьми, что это такое выходит! Хотел у ней попросить, а вместо того ей же еще наобещал».

Лариса молча пожала его руку.

– А мой портфель, который я тебе давеча отдал, у тебя? – спросил, простившись, Висленев.

– Нет; я положила его на твой стол в кабинете.

– Ай! зачем же ты это сделала так неосторожно?

– Но ведь он, слава богу, цел?

– Да, это именно слава богу; в нем сорок тысяч денег, и не моих еще вдобавок, а гордановских.

– Он так богат?

– Н… н… не столько богат, как тороват, он далеко пойдет. Это человек как раз по времени, по сезону. Меня, признаюсь, очень интересует, как он здесь, понравится ли?

– Я думаю.

– Нет; ведь его, дружок, надо знать так, как я его знаю; ведь это голова, это страшная голова!

– Он умен.

– Страшная голова!.. Прощай, сестра.

И брат с сестрой еще раз простились и разошлись. Зала стемнела, и в дверях Ларисы щелкнул замок, повернутый ключом из ее спальни.

– Ключ! – прошептал, услыхав этот звук, Иосаф Платонович, стоя в раздумья над своим письменным столом, на котором горели две свечи и между ними лежал портфель.

– Ключ! – повторял он в раздумьи и, взяв в руки портфель, повертел его, пожал, завел под его крышку костяной ножик, поштурфовал им во все стороны и, бросив с досады и ножик, и портфель, вошел в залу и постучал в двери сестриной спальни.

– Что тебе нужно, Жозеф? – отозвалась Лариса.

– К тебе, Лара, ходит какой-нибудь слесарь?

– Да, когда нужно, у Синтяниных есть слесарь солдат, – отвечала сквозь двери Лариса.

– Пошли за ним, пожалуйста, завтра он мне нужен.

– Хорошо. А кстати, Жозеф, ты завтра делаешь кому-нибудь визиты?

– Кому же, Лара?

– Бодростиной, например?

– Бодростиной! Зачем?

– Мы же с ней в родстве: она двоюродная сестра твоей жены, и она у меня бывает.

– Да, милый друг, мы с ней в родстве, но не в согласии, – проговорил, уходя, брат. – Прощай, Ларушка.

– Спокойной ночи, брат.

«Да, да, да, – мысленно проговорил себе Иосаф Платонович, остановившись на минуту пред темными стеклами балконной двери. – Да, и Бодростина, и Горданов, это все свойственники… Свойство и дружество!.. Нет, друзья и вправду, видно, хуже врагов. Ну, да еще посмотрим, кто кого? Старые охотники говорят, что в отчаянную минуту и заяц кусается, а я хоть и загнан, но еще не заяц».

Глава восьмая
Из балета «Два вора»

Покойная ночь, которую все пожелали Висленеву, была неспокойная. Простясь с сестрой и возвратясь в свой кабинет, он заперся на ключ и начал быстро ходить взад и вперед. Думы его летели одна за другою толпами, словно он куда-то несся и обгонял кого-то на ретивой тройке, ему, очевидно, было сильно не по себе: его точил незримый червь, от которого нельзя уйти, как от самого себя.

– Весь я истормошился и изнемог, – говорил он себе. – Здесь как будто легче немного, в отцовском доме, но надолго ли?.. Надолго ли они не будут знать, что я из себя сделал?.. Кто я и что я?.. Надо, надо спасаться! Дни ужасно быстро бегут, сбежали безвестно куда целые годы, перевалило за полдень, а я еще не доиграл ни одной… нет, нужна решимость… квит или двойной куш!

Висленев нетерпеливо сбросил пиджак и жилетку и уже хотел совсем раздеваться, но вместо того только завел руку за расстегнутый ворот рубашки и до крови сжал себе ногтями кожу около сердца. Через несколько секунд он ослабил руку, подошел в раздумьи к столу, взял перочинный ножик, открыл его и приставил к крышке портфеля.

«Раз – и все кончено, и все объяснится», – пробежало в его уме.

– Но если тут действительно есть такие деньги? Если… Горданов не лгал, а говорил правду? Откуда он мог взять такие ценные бумаги? Это ложь… но, однако, какое же я имею право в нем сомневаться? Ведь во всех случаях до сих пор он меня выручал, а я его… и что же я выиграю оттого, если удостоверюсь, что он меня обманывает и хочет обмануть других? Я ничего не выигрываю. А если он действительно владеет верным средством выпутаться сам и меня выпутать, то я, обличив пред ним свое неверие, последним поклоном всю обедню себе испорчу. Нет!

Он быстрым движением бросил далеко от себя нож, задул свечи и, распахнув окно в сад, свесился туда по грудь и стал вдыхать свежий ночной воздух.

Ночь была тихая и теплая, по небу шли грядками слоистые облака и заслоняли луну. Дождь, не разошедшийся с вечера, не расходился

вовсе. На усыпанной дорожке против окна Ларисиной комнаты лежали три полосы слабого света, пробивавшегося сквозь опущенные шторы.

«Сестра не спит еще, – подумал Висленев. – Бедняжка!.. Славная она, кажется, девушка… только никакого в ней направления нет… а вправду, черт возьми, и нужно ли женщинам направление? Правила, я думаю, нужнее. Это так и было: прежде ценили в женщинах хорошие правила, а нынче направление… мне, по правде сказать, в этом случае старина гораздо больше нравится. Правила, это нечто твердое, верное, само себя берегущее и само за себя ответствующее, а направление… это: день мой – век мой.

Это все колеблется, переменяется и мятется, и в своих перебиваниях, и в своих задачах. И что такое это наше направление?.. Кто мы и что мы? Мы лезем на места, не пренебрегаем властью, хлопочем о деньгах и полагаем, что когда заберем в руки и деньги, и власть, тогда сделаем и „общее дело“… но ведь это все вздор, все это лукавство, никак не более, на самом же деле теперь о себе хлопочет каждый… Горданов служил в Польше, а разве он любит Россию? Он потом учредил кассу ссуд на чужое имя, и драл и с живого, и с мертвого, говоря, что это нужно для „общего дела“, но разве какое-нибудь общее дело видало его деньги? Он давал мне взаймы… но разве мое нынешнее положение при нем не то же самое, что положение немца, которого Блонден носил за плечами, ходя по канату? Я должен сидеть у него на закорках, потому что я *должен* … Прегадкий каламбур! Но мой Блонден рано или поздно полетит вниз головой… он не сдобрует, этот чудотворец, заживо творящий чудеса, и я с ним вместе сломаю себе шею… я это знаю, я это чувствую и предвижу. Здесь, в родительском доме, мне это ясно до боли в глазах… мне словно кто-то шепчет здесь: „Кинь, брось его и оглянись назад… А назади?..“»

Ему в это мгновение показалось, что позади его кто-то дышит.

Висленев быстро восклонился от окна и глянул назад.

По полу, через всю переднюю, лежала чуть заметная полоса слабого света и ползла через открытую дверь в темный кабинет и здесь терялась во тьме.

«Луна за облаком, откуда бы мог быть этот свет?» – подумал Висленев, тихо вышел в переднюю и вздрогнул.

Высокий фасад большого дома, занимаемого семейством Синтянина, был весь темен, но в одном окне стояла легкая, почти воздушная белая фигура, с лицом, ярко освещенным двумя свечами, которые горели у ней в обеих руках.

Это не была Александра Ивановна, это легкая, эфирная, полудетская фигура в белом, но не в белом платье обыкновенного покроя, а в чем-то вроде ряски монастырской белицы. Стоячий воротничок обхватывает тонкую, слабую шейку, детский стан словно повит пеленой и широкие рукава до локтей открывают тонкие руки, озаренные трепетным светом горящих свеч. С головы на плечи вьются светлые русые кудри, два черные острые глаза глядят точно не видя, а уста шевелятся.

«И что она делает, стоя со свечами у окна? – размышлял Висленев. – И главное, кто это такой: ребенок, женщина или, пожалуй, привидение… дух!.. Как это смешно! Кто ты? Мой ангел ли спаситель иль темный демон искуситель? А вот и темно… Как странно у нее погас огонь! Я не видал, чтоб она задула свечи, а она точно сама с ними исчезла… Что это за явление такое? Завтра первым делом спрошу, что это за фея у них мерцает в ночи? Не призываюсь ли я вправду к покаянию? О, да, о, да, какая разница, если б я приехал сюда один, именно для одной сестры, или теперь?.. Мне тяжело здесь с демоном, на которого я возложил мои надежды. Сколько раз я думал придти сюда как блудный сын, покаяться и жить как все они, их тихою, простою жизнью… Нет, все не хочется смириться, и надежда все лжет своим лепетом, да и нельзя: в наш век отсылают к самопомощи… Сам себе, говорят, помогай, то есть что же, крадь что ли, если не за что взяться? Вот от этого и мошенников стало очень много. Фу, господи, откуда и зачем опять является в окне это белое привидение! Что это?.. Обе руки накрест и свечи у ушей взмахнула… Нет ее… и холод возле сердца… Ну, однако, мои нервы с дороги воюют. Давно пора спать. Нечего думать о мистериях блудного сына, теперь уж настала пора ставить балет *Два вора* … Что?.. – и он вдруг вздрогнул при последнем слове и повторил в уме: „балет *Два вора*“. – Ужасно!.. А вон окно-то в сад открыто о сю пору… Какая неосторожность! Сад кончается неогороженным обрывом над рекой… Вору ничего почти не стоит забраться в сад и… украсть портфель. – Висленев перешел назад в свой кабинет и остановился. – Так ничего невозможно сделать с такою

нерешительностью… – соображал он, – оттого мне никогда и не удавалось быть честным, что я всегда хотел быть честнее, чем следует, я всегда упускал хорошие случаи, а за дрянные брался… Горданов бы не раздумывал на моем месте обревизовать этот портфель, тем более, что сюда в окна, например, очень легко мог влезть вор, взять из портфеля ценные бумаги… а портфель… бросить разрезанный в саду… Отчего я не могу этого сделать? Низко?.. Перед кем? Кто может это узнать… Гораздо хуже: я хотел звать слесаря. Слесарь свидетель… Но самого себя стыдно. Сердце бьется! Но я ведь и не хочу ничего взять себе, это будет только хитрость, чтобы знать: есть у Горданова средства повести какие-то блестящие дела или все это вздор? Конечно, конечно; это простительно, даже это нравственно – разоблачать такое темное мошенничество! Иначе никогда на волю не выберешься… Где нож? Куда я его бросил! – шептал он, дрожа и блуждая взором по темной комнате. – Фу, как темно! Он, кажется, упал под кровать…»

Висленев начал шарить впотьмах руками по полу, но ножа не было.

– Какая глупость! Где спички?

Он начал осторожно шарить по столу, ища спичек, но и спичек тоже не было.

– Все не то, все попадается портфель… Вот, кажется, и спички… Нет!.. Однако же какая глупость… с кем это я говорю и дрожу… Где же спички?.. У сестры все так в порядке и нет спичек… Что?.. С какой стати я сказал: «у сестры…» Да, это правда, я у сестры, и на столе нет спичек… Это оттого, что они, верно, у кровати.

Он, чуть касаясь ногами пола, пошел к кровати: здесь было еще темнее. Опять надо было искать наощупь, но Висленев, проводя руками по маленькому столику, вдруг неожиданно свалил на пол колокольчик, и с этим быстро бросился обутый и в панталонах в постель и закрылся с головой одеялом.

Его обливал пот и в то же время била лихорадка, в голове все путалось и плясало, сдавалось, что по комнате кто-то тихо ходит, стараясь не разбудить его.

– Не лучше ли дать знать, что я не крепко сплю и близок к пробуждению? – подумал Иосаф Платонович и притворно вздохнул сонным вздохом и, потянувшись, совлек с головы одеяло.

В жаркое лицо ему пахнула свежая струя, но в комнате было все тихо.

«Сестра притихла; или она вышла», – подумал он и ворохнулся посмелее.

Конец спустившегося одеяла задел за лежавший на полу колокольчик, и тот, медленно дребезжа о края язычком, покатился по полу. Вот он описал полукруг и все стихло, и снова нигде ни дыхания, ни звука, и только слышно Висленеву, как крепко ударяет сердце в его груди; он слегка разомкнул ресницы и видит – темно.

– Да, может быть, сестра сюда вовсе и не входила, может все это мне только послышалось… или, может быть, не послышалось… а сюда входила не сестра… а сад кончается обрывом над рекой… ограды нет, и вор… или *он сам* мог все украсть, чтобы после обвинить меня и погубить!

Висленев быстро сорвался с кровати, потянул за собою одеяло и, кинувшись к столу, судорожными руками нащупал портфель и пал на него грудью.

Несколько минут он только тяжело дышал и потом, медленно распрямляясь, встал, прижал портфель обеими руками к груди и, высунувшись из окна, поглядел в сад.

Ночь темнела пред рассветом, а на песке дорожки по-прежнему мерцали три полоски света, проходящего сквозь шторы итальянского окна Ларисиной спальни.

– Неужто это Лара до сих пор не спит? А может быть у нее просто горит лампада. Пойти бы к ней и попросить у нее спички? Что ж такое? Да и вообще чего я пугаюсь! Вздор все это; гиль! Я не только должен удостовериться, а я должен… взять, да, взять, взять… средство, чтобы самому себе помогать… Презираю себя, презираю других, презираю то, что меня могут презирать, но уж кончу же это все разом! Прежде всего разбужу сестру и возьму спичек, тут нет ничего непозволительного? Нездоровится, не спится, а спичек не поставлено, или я не могу их найти?

Висленев прокрался в самый темный угол к камину и поставил там портфель за часы, а потом подошел к запертой двери в зал и осторожно повернул ключ.

Замочная пружина громко щелкнула и дверь в залу отворилась.

Ну уж теперь надобно идти!

Он подошел к дверям сестриной комнаты, но вдруг спохватился и стал.

«Это никуда не годится, – решил он. – Зачем мне огонь? В саду может кто-нибудь быть, и ему все будет видно ко мне в окно, что я делаю! Теперь ночь, это правда, но самые неожиданные случайности часто выдавали самые верно рассчитанные предприятия. Положим, я могу опустить штору, но все-таки будет известно, что я просыпался и что у меня был огонь… тень может все выдать, надо бояться и тени».

Он сделал два шага назад и остановился против балконной двери.

«Не лучше ли отворить эту дверь? Это было бы прекрасно… Тогда могло бы все пасть на то, что забыли запереть дверь и ночью взошел вор, но…»

Он уж хотел повернуть ключ и остановился: опять пойдет это замочное щелканье, и потом… это неловко… могут пойти гадкие толки, вредные для чести сестры…

Висленев отменил это намерение и тихо возвратился в свой кабинет. Осторожно, как можно тише притворил он за собою дверь из залы, пробрался к камину, на котором оставил портфель, и вдруг чуть не свалил заветных часов. Его даже облил холодный пот, но он впотьмах, не зная сам, каким чудесным образом подхватил часы на лету; взял в руки портфель и, отдохнув минуту от волнения, начал хладнокровно шарить руками, ища по полу заброшенного ножа.

Хладнокровная работа оказалась далеко успешнее давишних судорог, и ножик скоро очутился в его руках. Взяв в руки нож, Висленев почувствовал твердое и неодолимое спокойствие. Сомнения его сразу покинули, – о страхах не было и помину. Теперь ему никто и ничто не помешает вскрыть портфель, узнать, действительно ли там лежат ценные бумаги, и потом свалить все это на воров. Размышлять больше не о чем, да и некогда, нож, крепко взятый решительною рукой, глубоко вонзился в спай крышки портфеля, но вдруг Висленев вздрогнул, нож завизжал, вырвался из его рук, точно отнятый сторонней силой, и упал куда-то далеко за окном, в густую траву, а в комнате, среди глубочайшей ночной тишины, с рычаньем раскатился оглушительный звон, треск, шипение, свист и грохот.

Висленев схватился за косяк окна и не дышал, а когда он пришел в себя, пред ним стояла со свечой в руках Лариса, в ночном пеньюаре и круглом фламандском чепце на черных кудрях.

– Что здесь такое, Joseph? – спросила она голосом, тихим и спокойным, но наморщив лоб и острым взглядом окидывая комнату.

– А… что такое?

– Зачем ты пустил эти часы! Они уже восемнадцать лет стояли на минуте батюшкиной смерти… а ты их стронул.

– Ну, да я испугался и сам! – заговорил, оправляясь, Висленев. – Они подняли здесь такой содом, что мертвый бы впал в ужас.

– Ну да, это не мудрено, у них давно все перержавеет но, и разумеется, как колеса пошли, так и скатились всё до нового завода. Тебе не надо было их пускать.

– Да я и не пускал.

– Помилуй, кто же их пустил? Они всегда стояли.

– Я тебе говорю, что я их не пускал.

– Ты, верно, их толкнул или покачнул неосторожно. Они стояли без четырех минут двенадцать, прошли несколько минут и начали бить, пока сошел завод. Я сама не менее тебя встревожилась, хотя я еще и не ложилась спать.

– А я ведь, представь ты, спал и очень крепко спал, и вдруг здесь этот шум и… кто-то… словно бросился в окно… я вспрыгнул и вижу… портфель… где он?

– Он вот у тебя, у ног.

– Да вот… – и он нагнулся к портфелю.

Лариса быстро отвернулась и, подойдя к камину, на котором стояли часы, начала поправлять их, а затем задула свечу и, переходя без огня в переднюю, остановилась у того окна, у которого незадолго пред тем стоял Висленев.

– Чего ты смотришь? – спросил он, выходя вслед за сестрой.

– Смотрю, нет ли кого на дворе.

– Ну и что же: нет никого?

– Нет, я вижу, кто-то прошел.

– Кто прошел? Кто?

– Это, верно, жандарм.

– Что? жандарм! Зачем жандарм? – И Висленев подвинулся за сестрину спину.

– Здесь это часто… К Ивану Демьянычу депеша или бумага, и больше ничего.

– А, ну так будем спать!

Лариса не подала брату руки, но молча подставила ему лоб, который был холоден, как кусок свинца.

Висленев ушел к себе, заперся со всех сторон и, опуская штору в окне, подумал: «Ну, черт возьми совсем! Хорошо, что это еще так кончилось! Конечно, там мой нож за окном… Но, впрочем, кто же знает, что это мой нож?.. Да и если я не буду спать, то я на заре пойду и отыщу его…»

И с этим он не заметил, как уснул.

Лариса между тем, войдя в свою комнату, снова заперлась на ключ и, став на средине комнаты, окаменела.

– Боже! Боже мой! – прошептала она, приходя чрез несколько времени в себя, – да неужто же мои глаза… Неужто он!

И она покрылась яркою краской багрового румянца и перешла из спальни в столовую. Здесь она села у окна и, спрятавшись за косяком, решилась не спать, пока настанет день и проснется Синтянина.

Ждать приходилось недолго, на дворе уже заметно серело, и у соседа Висленевых, в клетке, на высоком шесте, перепел громко ударял свое утреннее «бак-ба-бак!».

Глава девятая
Дока на доку нашел

Чтоб идти далее, надо возвратиться назад к тому полуночному часу, в который Горданов уехал из дома Висленевых к себе в гостиницу.

Мы знаем, что когда Павел Николаевич приехал к себе, было без четверти двенадцать часов. Он велел отпрягать лошадей и, проходя по коридору, кликнул своего нового слугу.

– Ко мне должны сейчас приехать мои знакомые: дожидай их внизу и встреть их и приведи, – велел он лакею.

– Понимаю-с.

– Ничего ты не понимаешь, а иди и дожидайся. Подай мне ключ, я сам взойду один.

– Ключа у меня нет-с, потому что там, в передней, вас ожидают с письмом от Бодростиных.

– От Бодростиных! – изумился Горданов, который ожидал совсем не посланного.

– Точно так-с.

– Давно?

– Минуты три, не больше, я только проводил и шел сюда.

– Хорошо, все-таки жди внизу, – приказал Горданов и побежал вверх, прыгая через две и три ступени.

«Человек с письмом! – думал он, – это, конечно, ей помешало что-нибудь очень серьезное. Черт бы побрал все эти препятствия в такую пору, когда все больше чем когда-нибудь висит на волоске».

С этим он подошел к двери своего ложемента, нетерпеливо распахнул ее и остановился.

Коридор был освещен, но в комнатах стояла непроглядная темень.

– Кто здесь? – громко крикнул Горданов на пороге и мысленно ругнул слугу, что в номере нет огня, но, заметив в эту минуту маленькую гаснущую точку только что задутой свечи, повторил гораздо тише, – кто здесь такой?

– Это я! – отвечал ему из темноты тихий, но звучный голос.

Горданов быстро переступил порог и запер за собою дверь.

В это мгновение плеча его тихо коснулась мягкая, нежная рука. Он взял эту руку и повел того, кому она принадлежала, к окну, в которое слабо светил снизу уличный фонарь.

– Ты здесь? – воскликнул он взглянув в лицо таинственного посетителя.

– Как видишь… Один ли ты, Павел?

– Один, один, и сейчас же совсем отошлю моего слугу.

– Пожалуйста, скорей пошли его куда-нибудь далеко… Я так боюсь… Ведь здесь не Петербург.

– О, перестань, все знаю и сам дрожу.

Он свесился в окно и позвал своего человека по имени.

– Куда бы только его послать, откуда бы он не скоро воротился?

– Пошли его на извозчике в нашу оранжерею купить цветов. Он не успеет воротиться раньше утра.

Горданов ударил себя в лоб и, воскликнув: «отлично!» – выбежал в коридор. Здесь, столкнувшись нос с носом с своим человеком, он дал ему двадцать рублей и строго приказал сейчас же ехать в Бодростинское подгородное имение, купить там у садовника букет цветов, какой возможно лучше, и привезти его к утру.

Слуга поклонился и исчез.

Горданов возвратился в свой номер. В его гостиной теплилась стеариновая свеча, слабый свет которой был заслонен темным силуэтом человека, стоявшего ко входу спиной.

– Ну вот и совсем одни с тобой! – заговорил Горданов, замкнув на ключ дверь и направляясь к силуэту.

Фигура молча повернулась и начала нетерпеливо расстегивать напереди частые пуговицы черной шинели.

Горданов быстро опустил занавесы на всех окнах, зажег свечи, и когда кончил, пред ним стояла высокая стройная женщина, с подвитыми в кружок темно-русыми волосами, большими серыми глазами, свежим приятным лицом, которому небольшой вздернутый нос и полные пунцовые губы придавали выражение очень смелое и в то же время пикантное. Гостья Горданова была одета в черной бархатной курточке, в таких же панталонах и высоких, черных лакированных сапогах. Белую, довольно полную шею ее обрамлял отложной воротничок мужской рубашки, застегнутой на груди бриллиантовыми запонками, а у ног ее на полу лежала широкополая

серая мужская шляпа и шинель. Одним словом, это была сама Глафира Васильевна Бодростина, жена престарелого губернского предводителя дворянства, Михаила Андреевича Бодростина, – та самая Бодростина, которую не раз вспоминали в Висленевском саду.

Сбросив неуклюжую шинель, она стояла теперь, похлопывая себя тоненьким хлыстиком по сапогу, и с легкою тенью иронии, глядя прямо в лицо Горданову, спросила его:

– Хороша я, Павел Николаевич?

– О да, о да! Ты всегда и во всем хороша! – отвечал ей Горданов, ловя и целуя ее руки.

– А я тебе могу ведь, как Татьяна, сказать, что «прежде лучше я была и вас, Онегин, я любила».

– Тебе нет равной и теперь.

– А затем мне, знаешь, что надобно сделать?.. Повернуться и уйти, сказав тебе прощайте, или… даже не сказав тебе и этого.

– Но ты, разумеется, так не поступишь, Глафира?

Она покачала головой и проговорила:

– Ах, Павел, Павел, какой ты гнусный человек!

– Брани меня, как хочешь, но одного прошу: позволь мне прежде всего рассказать тебе?..

– Зачем?.. Ты только будешь лгать и сделаешься жалок мне и гадок, а я совсем не желаю ни плакать о тебе, как было в старину, ни брезговать тобой, как было после, – отвесила с гримасой Бодростина и, вынув из бокового кармана своей курточки черепаховый портсигар с серебряною отделкой, достала пахитоску и, отбросив ногой в сторону кресло, прыгнула и полулегла на диван.

Горданов подвел ей под локоть подушку. Бодростина приняла эту услугу безо всякой благодарности и, не глядя на него, сказала:

– Подай мне огня!

Глафира Васильевна зажгла пахитоску и откинулась на подушку.

– Что ты смеешься? – спросила она сухо.

– Я думаю: какой бы это был суд, где женщины были бы судьями? Ты осуждаешь меня, не позволяя мне даже объясниться.

– Да; объясняться, – это давняя мужская специальность, но она уже нам надоела. В чем ты можешь объясниться? В чем ты мне не ясен? Я знаю все, что говорится в ваших объяснениях. Ваш мудрый

пол довольно глуп: вы очень любите разнообразие; но сами все до утомительности однообразны.

Она подняла вверх руку с дымящеюся пахитоской, и продекламировала:

Кто устоит против разлуки, —
Соблазна новой красоты,
Против бездействия и скуки,
И своенравия мечты?

– Не так ли?

– Вовсе нет.

– О, тогда еще хуже!.. Резоны, доводы, примеры и пара фактов из подвигов каких-то дивных, всепрощавших женщин, для которых ваша память служит синодиком, когда настанет покаянное время… все это скучно, и не нужно, Павел Николаич.

– Да ты позволь же говорить! Быть может, я и сам хочу говорить с тобой совсем не о чувствах, а…

– О принципах… Ах, пощади и себя, и меня от этого шарлатанства! Оставим это донашивать нашим горничным и лакеям. Я пришла к тебе совсем не для того, чтоб укорять тебя в изменах; я не из тех, которые рыдают от отставок, ты мне чужой…

– Позволь тебе немножко не поверить?

Бодростина тихонько перегнула голову и, взглянув через плечо, сказала серьезно:

– А ты еще до сих пор в этом сомневался.

– Признаюсь тебе, и нынче сомневаюсь.

– Скажите, Бога ради! А я думала всегда, что ты гораздо умнее! Пожалуйста же вперед не сомневайся. Возьми-ка вот и погаси мою пахитосу, чтоб она не дымила, и перестанем говорить о том, о чем уже давно пора позабыть.

Горданов замял пахитоску.

В то время как он был занят такою работой, Бодростина пересела в угол дивана и, сложив на груди руки, начала спокойным, деловым тоном:

– Если ты думал, что я тебя выписывала сюда по сердечным делам, то ты очень ошибался. Я, cher ami,[5] стара для этих дел – мне скоро двадцать восемь лет, да и потом, если б уж лукавый попутал, то как бы нибудь и без вас обошлась.

Бодростина завела руку за голову Горданова и поставила ему с затылка пальцами рожки.

Горданов увидал это в зеркало, засмеялся, поймал руку Глафиры Васильевны и поцеловал ее пальцы.

– Ты похож на мальчишку, которого высекут и потом еще велят ему целовать розгу, но оставь мою руку и слушай. Благодарю тебя, что ты приехал по моему письму: У меня есть за тобою долг, и мне теперь понадобился платеж…

Горданов сконфузился.

– Что, видишь, какая презренная проза нас сводит!

– Истинно презренная, потому что я… гол как турецкий святой, с тою разницею, что даже лишен силы чудотворения.

– Ты совсем не о том говоришь, – возразила Бодростина, – я очень хорошо знаю, что ты всегда гол, как африканская собака, у которой пред тобой есть явные преимущества в ее верности, но мне твоего денежного платежа и не нужно. Вот, на тебе еще!

Она вынула с этим из-за жилета пачку новых сторублевых ассигнаций и бросила их на стол.

– Но я не возьму этого, Глафира!

– Возьмешь, потому что это нужно для моего дела, которое ты должен сделать, потому что я на одного тебя могу положиться. Ты должен мне заплатить один невещественный долг.

– Скажи яснее. Какой? Их множество.

– Перечти все важнейшие случаи в наших с тобой столкновениях. Начинай назад тому семь лет, ты, молодой студент, вошел «в хижину бедную, Богом хранимую», в качестве учителя двенадцатилетнего мальчика и, встретив в той хижине, «за Невой широкою, деву светлоокую», ты занялся развитием сестры более чем уроками брата. Кончилась все это тем, что «дева» увлеклась пленительною сладостью твоих обманчивых речей и, положившись на твои сладкие приманки в алюминиевых чертогах свободы и счастия, в труде с беранжеровскими шансонетками, бросила отца и мать и пошла жить с тобою «на

разумных началах», глупее которых ничего невозможно представить. Колоссальная дура эта была я. Подтверди это.

– Что ж тут подтверждать! Собственное сознание лучше свидетельства целого света.

– Какая у тебя холодная натура, Горданов! Я еще до сих пор не отвыкла стыдиться, что ты когда-то для меня нечто значил. Но я все-таки дорисую тебе вашей честности портрет. Я тебе скоро надоела, потому что вам всякий надоедает, кому надобно есть. Вы все, господа, очень опрометчиво поступали, склоняя женщин жить только плотью и не верить в душу: вам гораздо сподручнее были бы бесплотные; но я, к сожалению, была не бесплотная и доказала вам это живым существом, которое вы «во имя принципа» сдали в воспитательный дом. Потом вы… хотели спустить меня с рук, обратить меня в карту для игры с передаточным вистом. «Такие, дескать, у нас правила игры»; но я вам плюнула на ваши «правила игры» и стала казаться опасною… Вы боялись, чтоб я сдуру не повесилась, и положили спровадить меня к отцу и к матери: «вот, дескать, ваша дочка! Не говорите, что мы разбойники и воры, мы ее совсем не украли, а поводили, поводили, да и назад привели». Но я и на такие курбеты была неспособна: сидеть с вашими стриженными, грязношеими барышнями и слушать их бесконечные сказки «про белого бычка», Да склонять от безделья слово «труд», мне наскучило; ходить по вашим газетным редакциям и не выручать тяжелою работой на башмаки я считала глупым, и в том не каюсь… Конечно, было средство женить на себе принципного дурака, сказать, что я стеснена в своей свободе, и потребовать, чтобы на мне женился кто-нибудь «из принципа», вроде Висленева… но мне все «принципные» после вас омерзели… Тогда решились попрактиковать на мне еще один принцип: пустить меня, как красивую женщину, на поиски и привлеченье к вам богатых людей… и я, ко всеобщему вашему удивлению, на это согласилась, но вы, тогдашние мировые деятели, были все столько глупы, что, вознамерясь употребить меня вместо червя на удочку для приманки богатых людей, нужных вам для великого «общего дела», не знали даже, где водятся эти золотые караси и где их можно удить… На ваше счастье отыскался какой-то пан Холявский, или пан Молявский: он пронюхал, что есть миллионер, помещик трех губерний, заводчик и фабрикант и предводитель благородного дворянства Бодростин, который желал бы

иметь красивую лектрису. Место это тонкость пана Холявского и ваше великодушие и принцип приспособили мне, обусловив дело тем, что половина изо всего, что за меня будет выручено, должна поступить на «общее дело», а другая половина на «польское дело». Вы это помните?

– Конечно.

– И помните, как я жестоко обманула вас и их, и «общее дело»? Ха-ха-ха!.. Послушай, Павел Николаевич! Ты давеча хотел целовать руки: изволь же их, я позволяю тебе, целуй их, целуй, они надели на вас такие дурацкие колпаки с ослиными ушами, это стоит благодарности.

Бодростина опять расхохоталась.

– Как весело! – сказал Горданов.

– Ах, когда бы ты вправду знал, как это весело надуть бездельников и негодяев! Ха-ха-ха… Ой!.. Подайте мне, пожалуйста, воды, а то со мной сделается истерика от смеху.

Горданов встал, подал воды и, сидя в кресле, нагнулся лицом к коленам. Бодростина жадно глотала воду и все продолжала смеяться, глядя на Горданова чрез край стакана.

– Возьми прочь, – наконец выговорила она сквозь; смех, опуская на пол недопитый стакан, и в то время как Горданов нагнулся, чтобы поднять этот стакан, она, полушутя, полусерьезно, ударила его по спине своим хлыстом.

Павел Николаевич вспрыгнул и побледнел. Бодростина еще дерзче захохотала.

– Это очень неприятная шутка: от нее больно! – весь трясясь от злобы, сказал Горданов.

Бодростина в одно мгновение эластическим тигром соскочила с дивана и стала на ноги.

– А-а, – заговорила она с презрительной улыбкой. – Вам больна эта шутка с хлыстом, тогда как вы меня всю искалечили… в лектрисы пристраивали… и я не жаловалась, не кричала «больно». Нет, я вас слушала, я вас терпела, потому что знала, что, повесившись, надо мотаться, а, оторвавшись, кататься: мне оставалась одна надежда – мой царь в голове, и я вас осмеяла… Я пошла в лектрисы потому… что знала, что не могу быть лектрисой! Я знала, что я хороша, я лучше вас знала, что красота есть сила, которой не чувствовали только ваши тогдашние косматые уроды… Я пошла, но я не заняла той роли,

которую вы мне подстроили, а я позаботилась о самой себе, о своем *собственном* деле, и вот я стала «ее превосходительство Глафира Васильевна Бодростина», делающая неслыханную честь своим посещением перелетной птице, господину Горданову, аферисту, который поздно спохватился, но жадно гонится за деньгами и играет теперь на своей и чужой головке. Но вы такой мне и нужны.

– Я готов служить вам, чем могу.

– Верю: я всегда знала, что у вас есть point d'honneur,[6] своя «каторжная совесть».

– Я сделаю все, что могу.

– Женитесь для меня на старухе!

– Вы шутите?

– Нимало.

– Я не могу этого принимать иначе как в шутку.

– Да, вы правы, я не хочу вас мучить: мне не надо, чтобы вы женились на старухе. Я фокусов не люблю. Нет, вот в чем дело…

– Который раз ты это начинаешь?

Бодростина вместо ответа щелкнула себя своим хлыстом по ноге и потом, подняв этот тонкий хлыст за оба конца двумя пальцами каждой руки, протянула его между своими глазами и глазами Горданова в линию и проговорила:

– Старик мой очень зажился!

Горданов отступил шаг назад.

Глафира Васильевна медленно опустила хлыст к своим коленам, медленно сделала два шага вперед к собеседнику и, меряя его холодным проницающим взглядом, спросила:

– Вы, кажется, изумлены?

В глазах у Бодростиной блеснула тревога, но она тотчас совладела с собой и, оглянувшись в сторону, где стояло трюмо, спросила с улыбкой:

– Чего вы испугались, не своего ли собственного отражения?

– Да; но оно очень преувеличено, – отвечал Горданов.

– Вы очень впечатлительны и нервны, Поль.

– Нет; я впечатлителен, но я не нервен.

С этими словами он взял руку Бодростиной и добавил:

– Моя рука тепла и суха, а твоя влажна и холодна.

– Да, я нервна, и если у тебя есть стакан шампанского, то я охотно бы его выпила. Не будем ли мы спокойнее говорить за вином?

– Вино готово, – отвечал, уходя в переднюю, Горданов, и через минуту вынес оттуда бутылку и два стакана.

Глава десятая
В органе переменили вал

– Чокнемся! – сказала Бодростина и, ударив свой стакан о стакан Горданова, выпила залпом более половины и поставила на стол. – Теперь садись со мной рядом, – проговорила она, указывая ему на кресло. – Видишь, в чем дело: весь мир, то есть все те, которые меня знают, думают, что я богата: не правда ли?

– Конечно.

– Ну да! А это ложь. На самом деле я так же богата, как церковная мышь. Это могло быть иначе, но ты это расстроил, а вот это и есть твой долг, который ты должен мне заплатить, и тогда будет мне хорошо, а тебе в особенности… Надеюсь, что могу с вами говорить, не боясь вас встревожить?

Горданов кивнул в знак согласия головой.

– Я тебе откровенно скажу, я никогда не думала тянуть эту историю так долго.

Бодростина остановилась, Горданов молчал. Оба они понимали, что подходят к очень серьезному делу, и очень зорко следили друг за другом.

– Выйдя замуж за Михаила Андреевича, – продолжала Бодростина, – я надеялась на первых же порах, через год или два, быть чем-нибудь обеспеченною настолько, чтобы покончить мою муку, уехать куда-нибудь и жить, как я хочу… и я во всем этом непременно бы успела, но я еще была глупа и, несмотря на все проделанные со мною штуки, верила в любовь… хотела жить не для себя… я тогда еще слишком интересовалась тобой… я искала тебя везде и повсюду: мой муж с первого же дня нашей свадьбы был в положении молодого козла, у которого чешется лоб, и лоб у него чесался недаром: я тебя отыскала. Ты был нелеп. Ты взревновал меня к мужу. Это было с твоей стороны чрезвычайно пошло, потому что должен же ты был понимать, что я не могла же не быть женой своего мужа, с которым я только что обвенчалась; но… я была еще глупее тебя: мне это казалось увлекательным… я любила видеть, как ты меня ревнуешь, как ты, снявши с себя голову, плачешь по своим волосам. Что делать? Я была

женщина: ваша школа не могла меня вышколить как собачку, и это меня погубило; взбешенный ревностью, ты оскорбил моего мужа, который пред тобой ни в чем не виноват, который старее тебя на полстолетия и который даже старался и умел быть тебе полезным. Но все еще и не в этом дело: но ты выдал меня, Павел Николаевич, и выдал головой с доказательствами продолжения наших тайных свиданий после моего замужества. Глупая кузина моя, эта злая и пошлая Алина, которую ты во имя «принципа»: женской свободы с таким мастерством женил на дурачке Висленеве, по совету ваших дур, вообразила, что я глупа, как все они, и изменила им… выдала их!.. Кого? Кому и в чем могла я выдать? Я могла выдать только одно, что они дуры, но это и без того всем известно; а она, благодаря тебе, выдала мою тайну – прислала мужу мои собственноручные письма к тебе, против которых мне, разумеется, говорить было нечего, а осталось или гордо удалиться, или… смириться и взяться за неветшающее женское орудие – за слезы и моления. Обстоятельства уничтожили меня вконец, а у меня уж слишком много было проставлено на одну карту, чтобы принять ее с кона, и я не постояла за свою гордость: я приносила раскаяние, я плакала, я молила… и я, проклиная тебя, была уже не женой, а одалиской для человека, которого не могла терпеть. Всем этим я обязана тебе!

Бодростина хлебнула глоток вина и замолчала.

– Но, Глафира, ведь я же во всем этом не виноват! – сказал смущенный Горданов.

– Нет, ты виноват; мужчина, который не умеет сберечь тайны вверившейся ему женщины, всегда виноват и не имеет оправданий…

– У меня украли твои письма.

– Это все равно, зачем ты дурно их берег? но все это уже относится к архивной пыли прошлого, печально то лишь, что все, что было так легко холодной и нелюбящей жене, то оказалось невозможным для самой страстной одалиски: фонды мои стоят плохо и мне грозит беда.

– Какая?

– Большая и неожиданная! Человек, когда слишком заживется на свете, становится глуп…

– Я слушаю, – промолвил глухо Горданов.

– Мой муж, в его семьдесят четыре года, стал легкомыслен, как ребенок… он стал страшно самоуверен, он кидается во все стороны, рискует, аферирует, не слушает никого и слушает всех… Его окружают разные люди, из которых, положим, иные мне преданы, но у других я преданности себе найти не могу.

– Почему?

– Потому что для них выгоднее быть мне не преданными, таковы здесь Ропшин и Кюлевейн.

– Что это за птицы? – спросил Горданов, поправив назад рукава: это была его привычка, когда он терял спокойствие.

От Бодростиной не укрылось это движение.

– Ропшин… это белокурый чухонец, юноша доброго сердца и небольшой головы, он служит у моего мужа секретарем и находится у всех благотворительных дам в амишках.

– И у тебя?

– Быть может; а Кюлевейн, это… кавалерист, родной племянник моего мужа, – оратор, агроном и мот, приехавший сюда подсиживать дядюшкину кончину; и вот тебе мое положение: или я все могу потерять так, или я все могу потерять иначе.

– Это в том случае, если твой муж заживется, – проговорил Горданов, рассматривая внимательно пробку.

Бодростина отвечала ему пристальным взглядом и молчанием.

– Да, – решил он через минуту, – ты должна получить все… все, что должно по закону, и все, что можно в обход закону. Тут надо действовать.

– Ты сюда и призван совсем не для того, чтобы спать или развивать в висленевской Гефсимании твои примирительные теории.

Горданов удивился.

– Ты почему это знаешь, что я там был? – спросил он.

– Господи! какое удивленье!

– Тебя там тоже ждали, но я, конечно, знал, что ты не будешь.

– Еще бы! Ты лучше расскажи-ка мне теперь, на чем ты сам здесь думал зацепиться? Я что-то слышала; ты мужикам землю, что ли, какую-то подарил?

– Какое там «какую-то»? Я просто подарил им весь надел.

– Плохо.

– Плохо, да не очень: я за это был на виду, обо мне говорили, писали, я имел место…

– Имел и средства?

– Да, имел.

– И все потерял.

– Что ж повторять напрасно.

– И в Петербурге тебе было пришпилили хвостик на гвоздик?

Горданов покраснел и, заставив себя улыбнуться через силу, отвечал:

– Почему это тебе все известно?

– Ах, Боже мой, какая непоследовательность! час тому назад ты сомневался в том, что ты мне чужой, а теперь уж удивляешься, что ты мне дорог и что я тобой интересуюсь!

– Интересуешься как обер-полицеймейстер.

– Почему же не как любимая женщина… по старой привычке?

Она окинула его двусмысленным взглядом и произнесла другим тоном:

– Вы, Павел Николаевич, просто странны.

Горданов рассмеялся, встал и, заложив большие пальцы обеих рук в жилетные карманы, прошел два раза по комнате.

Бодростина, не трогаясь с места, продолжала расспрос.

– Ты что же, верно, хотел поразменяться с мужиками?

– Да, взять себе берег…

– И построить завод?

– Да.

– На что же строить, на какие средства?.. Ах да: Лариса заложит для брата дом?

– Я никогда об этом не думал, – отвечал Горданов.

Бодростина ударила его шутя пальцем по губам и продолжала:

– Это все что-то старо: застроить, недостроить, застраховать, заложить, сжечь и взять страховые… Я не люблю таких стереотипных ходов.

– Покажи другие, мы поучимся.

– Да, надо поучиться. Ты начал хорошо: квартира эта у тебя для приезжего хороша, – одобрила она, оглянув комнату.

– Лучшей не было.

– Ну да; я знаю. Это по-здешнему считается хорошо. Экипаж, лошадей, прислугу… все это чтоб было… Необходимо, чтобы твое положение било на эффект, понимаешь ты: это мне нужно! План мой таков, что… общего плана нет. В общем плане только одно: что мы оба с тобой хотим быть богаты. Не правда ли?

– Молчу, – отвечал, улыбаясь, Горданов.

– Молчишь, но очень дурное думаешь. – Она прищурила глаза, и после минутной паузы положила свои руки на плечи Горданову и прошептала, – ты очень ошибся, я вовсе не хочу никого посыпать персидским порошком.

– Чего же ты хочешь?

– Прежде всего здесь стар и млад должны быть уверены, что ты богач и делец, что твоя деревнишка… это так, одна кроха с твоей трапезы.

– Твоими устами пить бы мед.

– Потом… потом мне нужно полное с твоей стороны невнимание.

Горданов беззвучно засмеялся.

– Потом? – спросил он, – что ж далее?

– Потом: ухаживай, конечно, не за первою встречною и поперечною, – падучих звезд здесь много, как везде, но их паденья ничего не стоят: их пятна на пестром незаметны, – один белый цвет марок, – ударь за Ларой, – она красавица, и, будь я мужчина, я бы сама ее в себя влюбила.

– Потом?

– Потом, конечно, соблазни ее, а если не ее – Синтянину, или обеих вместе, – это еще лучше. Вот ты тогда здесь нарасхват!

– Да ты напрасно мне об этом и говоришь, мной здесь, может быть, никто и не захочет интересоваться!:

– О, успокойся, будут! У тебя слишком дрянная репутация, чтобы тобой не интересовались!

– Как это приятно слышать! Но кому же известна моя репутация?

– Моему мужу. Он сначала будет вредить тебе, а потом, когда увидит, что мы с тобой враги, он станет тебя защищать, а ты опровергнешь все своим прекрасным образом мыслей: и в тебя начнут влюбляться.

– Ну, вот уж и влюбляться.

– Когда же в провинции не влюблялись в нового человека? Встарь это счастье доставалось перехожим гусарам, а теперь… пока еще влюбляются в новаторов, ну и ты будешь новатор.

– Я что же за новатор?

– Ты? а разве ты уже отменил свое решение прикладывать к практике теорию Дарвина? Горданов щипал ус и молчал.

– Глотай других, или иначе тебя самого проглотят другие – вывод, кажется, верный, – произнесла Бодростина, – и ты его когда-то очень отстаивал.

– Я и теперь на нем стою.

– А во время оно, когда я только вышла замуж, Михаил Андреич завещал все состояние мне, и завещание это…

– Цело?

– Да; но только надо, чтоб оно было последнее, чтобы после него не могло быть никакого другого.

Горданов чувствовал, что руки Бодростиной, лежавшие на его плечах, стыли, а на его веках как бы что тяготело и гнало их книзу.

Вышла минута тягостнейшего раздумья: обе фигуры стояли как окаменевшие друг против друга, и наконец Горданов с усилием приподнял глаза и прошептал: «да!»

Бодростина опустила свои руки с его плеч и, взяв его за кисти, сжала их и спросила его шепотом: «союз?»

– На жизнь и на смерть, – отвечал Горданов.

– На смерть… и… потом… на жизнь, – повторила она, и, встретив взгляд Павла Николаевича, отодвинула его от себя подалее рукой и сказала, – я советую тебе погасить свечи. С улицы могут заметить, что у тебя светилось до зари, и пойдет тысяча заключений, из которых невиннейшее может повести к подозрению, что ты разбирал и просушивал фальшивые ассигнации. Погаси огонь и открой окно. Я вижу, уже брезжит заря, мне пора брать свою ливрею и идти домой; сейчас может вернуться твой посол за цветами. Я ухожу от цветов к терниям жизни.

Она подошла к окну, которое раскрыл Горданов, погасив сперва свечи, и заговорила:

– Вон видишь ты тот бельведер над домом, вправо, на горе? Тот наш дом, а в этом бельведере, в фонаре, моя библиотека и мой приют. Оттуда я тебе через несколько часов дам знать, верны ли мои

подозрения насчет завещания в пользу Кюлевейна… и если они верны… то… этой белой занавесы, которая парусит в открытом окне, там не будет завтра утром, и ты тогда… поймешь, что дело наше скверно, что миг наступает решительный.

С этим она сжала руку Горданова и, взяв со стула свою шинель, начала одеваться. Горданов хотел ей помочь, но она его устранила.

– Я вовсе не желаю, – сказала она, – чтобы ты меня рассматривал в этом уродстве.

– Ты, Душенька, во всех нарядах хороша.

– Только не в траурной ливрее, а впрочем, мне это очень приятно, что ты так весел и шутлив.

– Мешай дело с бездельем: с ума не сойдешь.

– И прекрасно, – продолжала она, застегивая частые петли шинели. – Держись же хорошенько, и если ты не сделаешь ошибки, то ты будешь владеть моим мужем вполне, а потом… обстоятельства покажут, что делать. Вообще заставь только, чтоб от тебя здесь приходили в восторг, в восхищение, в ужас, и когда вода будет возмущена…

– Но ты с ума сошла!.. Твой муж меня не примет!

– О, разумеется, не примет!.. если ты сам к нему приедешь, но если он тебя позовет, тогда, надеюсь, будет другое дело. Пришли ко мне, пожалуйста, Висленева… его я могу принимать, и заставлю его быть трубой твоей славы.

– Но этот шут тебя чуждается.

– А пусть он раз придет, и тогда он больше не будет меня чуждаться. Только уже вы, Павел, пожалуйста, не ведите регистра моим прегрешениям, – нам теперь совсем не до этого вздора… Висленев будет наш козел, на которого мы сложим наши грехи.

– Это очень умно, но ты только должна знать, что он ведь оратор и у него правая пола ума слишком заходит за левую. Он все будет путаться и не распахнется.

– Не бойся, он распахнется, так что его после и не застегнешь.

– Но я тебе хочу сказать, что на нем ужасно трудно что-нибудь сыграть.

– Ну, есть мастера, которые дают концерты и на фаготе.

– Но зачем именно он тебе нужен, *он*, ничтожный мальчишка?

– А видишь, Поль, когда взрослый человек хочет достать плод, он всегда посылает мальчика трясти дерево.

– Смотри сама: с ним даже и кокетство нужно совершенно особого рода.

– Милый друг, не режь льву мяса, ему на это природа зубы дала.

– Беру мои слова назад.

– А я иду вперед. Прощай!.. Ах, да! завтра же сделай визит губернаторше, и на днях же найдем случай пожертвовать две тысячи рублей в пользу ее детских приютов. Это первая взятка, которую ты кинешь обществу вперед за нужную тебе индульгенцию. Деньги будут, не жалей их, – за все Испания заплатит… Видеться мы с тобой и не будем, пока приедет мой муж: рисковать из-за свиданий непростительно. Висленев же должен быть у меня до тех пор, и чем скорей, тем лучше. Да вот еще что: в новом месте людей трудно узнать скоро, как ты ни будь умен, и потому я должна дать тебе несколько советов. Ты сразу напал на самых нужных нам людей.

– Я их всех разглядел.

– Смотри, – она стала загибать один по одному пальцы на левой руке, – генерал Синтянин предатель, но его опасаться особенно нечего; жена его – это женщина умная и характера стального; майор Форов – честность, и жена его тоже; но майора надо беречься; он бывает дурацки прям и болтлив; Лариса Висленева… я уже сказала, что если б я была мужчина, то я в нее бы только и влюбилась; затем Подозеров…

– Ну, это…

Горданов махнул рукой.

– Что *это*? – защурив глаза, передразнила его Бодростина.: – Нет, что такое *это*, что мой тебе совет, приказ и просьба – им не манкировать.

– Да что им не манкировать? Это какой-то испанский дворянин дон-Сезар де-Базар.

– Да, да, ты верно его определяешь; но эти господа испанские дворяне самый опасный народ: у них есть дырявые плащи, в которых им все нипочем – ни холод, ни голод. А ты с ним, я знаю, непременно столкнешься, тем более, что он влюблен в Ларису.

– Да, я это заметил: она ему печеночку из супа выбирала; но не знаю я, что он у вас здесь значит, а у нас в университете его не любили и преблагополучно сорвали ему головенку.

– Все это ничего не значит, его и здесь не любят; но этот человек заковал себя крепкою броней… А Лара, ты говоришь, ему выбирала печеночку?

– Да, выбирала; но скажи, пожалуйста, что же он стал, что ли, хитр после житейских трепок?

– Нимало: он даже бестактен и неосторожен, но он ничем для себя не дорожит, а такие люди опасней всех. Помни это, и еще раз прощай… А ты тонок!

– В чем ты это видишь?

– Даже печеночки не просмотрел и по ней выследил!

– М-да! Теперь все дело в печенях сидит, а впрочем, я замечаю, что и тебя эта печенка интересует? Не разболися сердцем: это пред сражением не годится.

– О, да, да, как раз разболюся! – отвечала, рассмеявшись, Бодростина. – Нет, мой милый друг, я иду в дело, завещая тебе как Ларошжаклен: si j'avance, suivez-moi; si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi;[7] хотя знаю, что последнего ты ни за что не исполнишь. Ну, наконец, прощай! зашла беседа наша за ночь. Если ты захочешь меня видеть, то ты будешь действовать так, как я говорю, и если будешь действовать так, то вот моя рука тебе, что Бодростин будет у тебя сам и будет всем хорошо, а *тебе в особенности* … Ну, прощай, до поры до времени. А что мой брат, Григорий?

– Служит.

– Я совсем и забыла про него спросить. Что он теперь: начальник отделения?

– Вице-директор.

– Вот как! Бодростина вздохнула.

– Вы видитесь с ним?

Горданов покачал отрицательно головой.

– Ну, наконец, совсем прощай, – торопливо сказала Бодростина и, взяв Горданова рукой за затылок, поцеловала его в лоб.

– Ты уж идешь, Глафира?

– А что?.. Пора… Да и тебе, как кажется, со мной вдвоем быть скучно… Мы люди деловые, все кончили, и время отдохнуть перед предстоящею работой.

Горданов протянул к ней свои руки, но она прыгнула, подбежала к двери, остановилась на минуту на дороге и исчезла, прошептав: «А

провожать меня не нужно».

Чрез минуту внизу засвистел блок и щелкнула дверь, а когда Горданов снова подошел к окну, то мальчик в серой шляпе и черной шинели перешел уже через улицу и, зайдя за угол, обернулся, погрозил пальцем и скрылся.

– Что ж, так и быть, когда она будет богата, я на ней женюсь, – рассуждал, засыпая, Горданов, – а не то надо будет порешить на Ларисе… Конечно, здесь мало, но… все-таки за что-нибудь зацеплюсь хоть на время.

Глава одиннадцатая
Утро, которое хочет быть мудренее вечера

После ночи, которою заключился вчерашний день встреч, свиданий, знакомств, переговоров и условий, утро встало неласковое, ветреное, суровое и изменчивое. Солнце, выглянувшее очень рано, вскоре же затем нырнуло за серую тучу, и то выскакивало на короткое время в прореху облаков, то снова завешивалось их темною завесой. Внизу было тихо, но вверху ветер быстро гнал бесконечную цепь тяжелых, слоистых облаков, набегавших одно на другое, сгущавшихся и плывших предвестниками большой тучи.

На земле парило и пахло электрическою сыростию, дышать было тяжело, и нервными людьми овладело столь общее им предгрозовое беспокойство.

Иосаф Платонович Висленев спал, обливаясь потом, которого нимало не освежала струя воздуха, достигавшая до него в открытое окно.

Висленеву снились тяжелые сны с беспрестанными перерывами, как это часто бывает с людьми, уснувшими в сознании совершенной ими неловкости. Висленев во сне повернулся на другую сторону, лицом к окну: здесь было более воздуха и стало дышаться легче. Иосаф Платонович мало-помалу освобождался от своих снов и начал припоминать, что он в отеческом доме, но с этим вместе его кольнуло в сердце. «Что я здесь вчера делал?» – мелькнуло в его голове. «Где теперь этот ножик? Эта улика против меня. Надо встать и искать». Он раскрыл полусонные глаза и видит, что сновиденье ему не лжет: он действительно в родительском доме, лежит на кровати и пред ним знакомое, завешенное шторой окно. Он слышит шепот дрожащих древесных листьев и соображает, что солнце не блещет, что небо должно быть в тучах, и точно, вот штора приподнялась и отмахнулась, и видны ползущие по небу серые тучи и звонче слышен шепот шумящих деревьев, и вдруг среди всего этого в просвете рамы как будто блеснул на мгновение туманный контур какой-то эфирной фигуры, и по дорожному песку послышались легкие и частые шаги. Что бы это такое было? Во сне или наяву?

Висленев совсем пробудился, привстал на кровати, взглянул на окно и оторопел: его нож лежал на подоконнике.

Иосаф Платонович сорвался с кровати, быстро бросился к окну и высунулся наружу. Ни на террасе, ни на балконе никого не было, но ему показалось, что влево, в садовой калитке, в это мгновение мелькнул и исчез клочок светло-зеленого полосатого платья. Нет, Иосафу Платоновичу это не показалось: он это действительно видел, но только видел сбоку, с той стороны, куда не глядел, и видел смутно, неясно, почти как во сне, потому что сон еще взаправду не успел и рассеяться.

Висленев отступил от окна и потер себе лоб.

«Скверно я начинаю дебютировать дома!» – подумал он и, оглянувшись на стол, взял с него портфель, осмотрел надрез и царапину, и запер его в бюро.

Повернув ключ в замке, он прислушался: в зале кто-то тихо разговаривал шепотом.

«Сестра, значит, уж встала», – подумал Висленев и поглядел на часы. Было десять часов.

Иосаф Платонович тихо подкрался к двери, ведущей в зал, и прицелился глазом к замочной скважине.

Лариса в утреннем капоте сидела за чашкой чая и пред нею стояла высокая женщина в коричневом ситцевом платье.

«В этом сестрином платье нет ничего похожего на то, которое мелькнуло и садовой калитке. Кто же это был? Кто нашел, поднял и положил ножик? Неужто ее превосходительство, Александра Ивановна… или кто-нибудь из прислуги? Вот это был бы тогда сюрприз, это очень вежливо и до подлости догадливо, но это прескверно, на всякий случай… Мне просто одно спасение может быть в том, чтобы предоставить себя его великодушию… сказать ему все, открыть свое недоверие, покаяться, признаться… Вот, извольте видеть, проклятая судьба сама руками выдает меня этому человеку!.. Но надо же явиться, пора дать знать, что я проснулся».

Он сделал несколько шагов и остановился.

– Взглянуть в глаза сестре?.. ужасно!.. Но что же делать?.. Нужен кураж!.. Ну, напусти, Господи, смелость!

Он надел шлафрок и, отворив дверь в переднюю, крикнул:

– Лара, ты встала?

– Да; что тебе нужно, Joseph?

– О-о! голос нежен и ласков, – радостно заметил Висленев. – Нет, да ведь мало мудреного, что она и в самом деле, пожалуй, ничего и не поняла… Пришли, дружок, девушку дать мне умыться! – воскликнул он громко и, засвистав, смело зашлепал туфлями по полу.

В комнату его предстала двенадцатилетняя девочка с блестящим медным тазом и таким же кувшином и табуреткою.

Это была та самая девочка, которая ввела его вчера в сад. Она одета сегодня, как и вчера, в темном люстриновом платьице, с зеленым шерстяным фартуком.

«Есть зелень, да совсем не та», – подумал Висленев, засучивая рукава своей рубашки и приготовляясь умываться.

– Вас как зовут? – спросил он девочку.

– Меня-с? – переспросила она тоненьким голосом.

– Да-с, вас-с, – передразнил ее фистулой Висленев.

Девочка покраснела и отвечала, что ее зовут Малашей.

– Прекрасное имя! Вы им довольны или нет?

Девочка молчала.

– Довольны вы или нет, что вас зовут Малашей?

Опять молчание.

– Что же вы молчите? Не хотели бы вы, например, чтобы вас лучше звали Дуней или Сашей?

– Нет-с, не хочу-с.

– Отчего же вы не хотите? Стало быть, вам ваше имя нравится?

– Надо какое Бог дал-с.

– А-а! По-вашему, имена Бог дает; ну тогда это другое дело. А отец и мать у вас живы?

– Папенька в солдатах, а маменька здесь.

– Здесь в городе?

Девочка раскрыла большие, до сих пор полуопущенные глаза и отвечала не без удивления:

– Моя маменька здесь у нашей барышни в кухарках.

– У какой барышни?

– У Ларисы Платоновны.

– А-а, так вы вместе с маменькой?

– Вместе-с.

– Так это вам чудесно!

Девочка отмолчалась.

– И вам тоже моя сестра платит жалованье? – приставал к ней Висленев.

– Нет-с; барышня мне после будет платить, а теперь они маменьке платят, а меня только одевают.

– Вот что!.. И что же, много барышня нашила вам платьев?

Девочка сконфузилась, улыбнулась и, потупя глаза, отвечала:

– Много-с.

– Небось у вас, гляди, и розовое платье есть? – шутил Висленев.

– Есть-с и розовое.

– А? – переспросил Висленев, прерывая на минуту свое умыванье.

– Есть-с и розовое, и голубое есть, – отвечала девочка, осмеливаясь с быстротой, свойственною ее возрасту.

– И белое есть?

– И белое тоже есть-с.

– А зеленое?

– Зеленого нету-с.

– Что же так? – это плохо. Зеленое непременно нужно. Вы себе из маменькиного по крайней мере перешейте, когда она поносит его.

– У маменьки настоящего зеленого тоже нет-с.

– Настоящего зеленого тоже нет! Скажите, пожалуйста. А ее не настоящее зеленое платье какое же?

– Оно больше как коричневое.

– Ну вот видите: какое же уж это зеленое! Нет, вам к лету надо настоящее зеленое, – как травка-муравка. Ну да погодите, – моргнул он, – я барышню попрошу, чтоб она вам свое подарила: у нее ведь уж наверное есть зеленое платье?

– У них есть-с.

«Ага! вот оно кто это был!» – подумал Висленев и, взяв из рук девочки полотенце, сухо спросил:

– А у барышни зеленое платье какое и с какою отделкой?

– Крепоновое-с, с такою же и с отделкой-с.

«Опять не то», – подумал Висленев и затем, довольно скоро одевшись и сияя свежестью лица и туалета, вышел в залу к сестре.

Иосаф Платонович, появясь пред сестрой, старался иметь вид как можно более живой, веселый и беспечный.

– Я тебя перепугал немножко сегодня ночью, матушка-сестрица! – начал он, целуя руку Ларисы.

– Полно, пожалуйста, я уж про это забыла.

– Ты выспалась?

– О, как нельзя лучше! Я не люблю много спать. Вот чай и вот хлеб, – добавила она, подавая брату стакан и корзинку с печеньем.

– Постой!.. Но какой же ты разбойник, Лара! – отвечал, весело улыбаясь во все лицо и отступя шаг назад, Висленев.

– Что такое?

Лариса оглянулась.

– Как ты злодейски хороша!

– Ах, да перестань же наконец, Joseph!

– Да что же делать, когда я никак не привыкну?

Лариса засмеялась.

– Этот желтый цвет особенно идет к твоему лицу и волосам.

– Он идет ко всем брюнеткам.

– А кстати о цветах! – проговорил он и, оглянувшись, добавил полушепотом, – знаешь, какая преуморительная вещь: я, умываясь, разболтался с твоей маленькой камер-фрау.

– С Малашей?

– Да, и она мне рассказала все свои платья.

– Да, я знаю, она большая кокетка.

– Что же, ведь это ничего: то есть я хочу сказать, что когда кокетство не выходит из границ, так это ничего. Я потому на этом и остановился, что предел не нарушен: знаешь, все это у нее так просто и имеет свой особенный букет – букет девичьей старого господского дома, Я должен тебе сознаться, я очень люблю эти старые патриархальные черты господской дворни… «зеленого, говорит, только нет у нее». Я ей сегодня подарю зеленое платье – ты позволишь?

– Сделай милость.

– Да, а то она и в виду его не имеет: «у барышни, говорит, есть одно крепоновое зеленое».

– Я и того никогда не ношу.

– Отчего же не носишь? Тебе зеленый цвет должен быть очень к лицу.

– Так, не ношу.

– Почему же так? – шутил Иосаф Платонович. – Какая же ты странная с этими своими «таками». Никого не любит – «так», печенку кладет Подозерову – «так», зеленое платье сошьет и не носит – «так». А знаешь, нет действия без причины?

– Ах, Боже мой! еще и на это будто нужна причина? После этого я могу думать, что и ты имеешь особую причину допрашивать меня о зеленом платье?

– Конечно, конечно, есть и на это причина. Без причины ничего не делается.

– Ну, так мне мое зеленое платье не нравится.

– Ну, вот и причина! А вели мне его показать, пожалуйста.

– Вот фантазия!

– Ну, фантазия, – потешь мою фантазию. Ты так хороша, так безукоризненно хороша, все, что тобою сделано, все, что принадлежит тебе, так изящно, что я даже горжусь, принадлежа тебе в качестве брата. Малаша! – обратился он к девочке, проходившей в эту минуту чрез комнату, – принесите мне сюда барышнино зеленое платье.

– Ну, что за вздор, Joseph! – прошептала Лара.

– Ну, я тебя прошу.

– Принеси, – сказала Лариса остановившейся и ожидавшей ее приказания девочке.

Через минуту та явилась, высоко держа у себя над головой лиф, а через левую ее руку спускались целые волны легкого густо-зеленого крепона.

Висленев встал, взял платье, вывернул юбку и, притворно полюбовавшись свежими фестонами и уборками из той же материи, повторил несколько раз: «Прекрасное платье!» и отдал его назад.

Это опять было не то платье, которое ему было нужно.

– Я ужасно люблю со вкусом сделанные дамские наряды! – заговорил он с сестрой. – В этом, как ты хочешь, сказывается вся женщина; и в этом, должно правду сказать, наш век сделал большие шаги вперед. Еще я помню, когда каждая наша барышня и барыня в своих манерах и в туалете старались как можно более походить на une dame de comptoir,[8] а теперь наши женщины поражают вкусом; это значит вкус получает гражданство в России.

– В таком случае ты много у себя отнимаешь, не желая поторопиться видеть Бодростину.

– А что?

– Уж эта женщина, конечно, вся вкус, изящество и прелесть.

– Будто она нынче так хороша!

– А будто она когда-нибудь была нехороша?

– Ну, Бог с ней: сколько бы она ни была прелестна, я ее видеть не хочу.

– За что это? позволь тебя спросить, Joseph.

– У нас есть старые счеты.

– Но все равно, – отвечала, подумав минуту, Лариса. – Тебе видеться с ней ведь неизбежно, потому что, если она еще неделю не переедет в деревню, то, верно, сама ко мне заедет, а Михайло Андреевич такой нецеремонливый, что, может, даже и нарочно завернет к нам. Тогда, встретясь с ним здесь или у Синтяниных, ты должен будешь отдать визит, и в барышах будет только то, что старик выйдет любезнее тебя.

– Ну, хорошо… не сегодня же ведь непременно?

– Конечно, можно и не сегодня.

– А что же, наша генеральша дома?

– Да; несколько минут тому назад была дома: мы с ней чрез окно прощались.

– Как, прощались?

– Она уехала к себе на хутор.

– Чего и зачем?

– Зачем? хозяйничать. Она полжизни там проводит и летом, и зимой.

– Что ж это за хутор? Дребедень какая-нибудь?

– Да; он не велик, но Alexandrine распоряжается им с толком и получает от него доходы.

– Вот видишь, а ты вчера говорила, что они бедны. И что же там дом есть у нее?

– Каютка в две крошечные комнатки: столовая и спальня ее с девочкой.

– С какою девочкой?

– Ас падчерицей, с Верой, с дочерью покойной Флоры.

– Ах, помню, помню: это, кажется, уродец какой-то, идиотка, если я не ошибаюсь?

– Она глухонемая, но вовсе не урод и уж совсем не идиотка.

– Что же это мне что-то помнится, как будто что-то такое странное говорили про это дитя?

– Не знаю, что ты слышал: Вера очень милая девочка, но слабого здоровья.

– Нет; именно я помню, что… ее считали, как это говорят, испорченною, что ли?

– Какой вздор! Она очень нервна и у нее бывает что-то вроде ясновидения.

– Вот страсти!

– Никаких страстей, она прекрасное дитя, и ее волнения бывают с ней не часто, но вчера она чем-то разгорячилась и плакала до обморока, и потому Alexandrine сегодня увезла ее на хутор… Это всегда помогает Вере: она не любит быть с отцом…

– А мачеху любит?

– О, бесконечно! она предчувствует малейшую ее неприятность, малейшее ее нездоровье и… вообще она ее тень или больше: они две живут одною жизнию.

– Александра Ивановна добра к ней?

– Стоит ли об этом спрашивать? К кому же Alexandrine не добра?

– Ко мне.

– Оставь, Joseph, я этого не знаю.

– Ну, Бог с тобой!.. А как же это?.. – заговорил он, не зная что спросить. – Да!.. Зачем же они поехали в такую пору?

– А что?

– Да вон дождь-то так и висит.

– Ну, что же за беда, это ведь недалеко, и у них резвая лошадь.

– Да, впрочем, в крытом экипаже ничего.

– Они поехали не в крытом экипаже.

– А в чем они поехали?

– В сером платье-с, – отвечала, подавая новый стакан чаю, девочка Малаша.

– Ты можешь отвечать, когда тебя спрашивают, – остановила ее Лариса и сама добавила брату, – они поехали, как всегда ездят: в тюльбюри.

– Вдвоем, без кучера?

– Они всегда вдвоем ездят туда, без кучера, живут там без прислуги.

– Совсем без прислуги?

– Работница им делает, что нужно.

– Вот чем покончила Александра Ивановна: пустынножительством!

– Ей, кажется, еще далеко до конца. А впрочем, я еще скажу: я не люблю судить о ней ни вправо, ни налево.

– Да не судить, а рассуждать… И ты там у нее бываешь на хуторе?

– И я, и тетушка, и дядя, и отец Евангел, и Подозеров: все мы бываем.

– Что ж, хорошо там у нее?

– Н… н… ничего особенного: садик, прудок, мельница, осиновый лесок, ореховый кустарник, много скота, да небольшое поле островком, вот и все.

– Как же это поле «островком» ты сказала?

– То есть вокруг, в одной меже, это здесь называют «островком».

– Да-да; а я думал, что это в самом деле какой-нибудь остров Калипсо.

– Мы все шутя называем этот хутор «островом».

– Любви?

– Нет: «забвения».

– Кто ж это дал ему такую романическую кличку? Конечно, Александра Ивановна, которая нуждается в забвении?

– Нет, – отвечала, поморщась, Лара, – это название дано Верой.

– Глухонемой?

– Да.

– Как же она это сказала?

– Она написала.

– А-а! Кто же это здесь ее научил писать?

– Alexandrine и отец Евангел.

– Что это за отец Евангел? Я уже не раз про него слышу.

– Это их приходский священник, хуторной, прекрасный человек: он Сашин и дядин друг.

– Он почему же умеет учить глухонемых?

– Он все на свете понемножку умеет, и Веру выучил читать и писать по собственной методе.

– Какое это ужасное несчастие ничего не слыхать и не иметь возможности ничего выговорить!

– Да; но ничего не видать это еще хуже. Маленькая Вера сравнивает себя со слепыми и находит, что она счастлива.

– Правда, правда, слепота гораздо хуже.

– А дядя Форов находит, что боль в боку и удушье еще хуже.

– Действительно хуже! А она, эта бедная девочка, ни звука не слышит и не произносит?

– Когда здесь, в проезд государя, были маневры, она говорит, что слышала, как дрожали стекла от пушек, но произносить… я не слыхала ни звука, а тетушка говорит, что она один раз слышала, как Вера грубо крикнула одно слово… но Бог знает, было ли это слово или просто непонятный звук…

– Что же это был за звук?

– Н… н… не знаю: это было при особом каком-то обстоятельстве, до моего приезда, я об этом не расспрашивала, а тетя говорит, что…

– Да; неприятное что-нибудь, конечно, – сказал Висленев.

– Нет, не неприятное, а страшное.

– Страшное! В каком же роде?

– Я, право, не умею рассказать. Вера такая нежная и легкая, как будто неземная, а голос вышел будто какой-то бас. Тетя говорит, что точно будто из нее совсем другой человек, сильный, сильный мужчина закричал…

– И какое же это было слово?

– Тетя уверяет, что Вера крикнула: «прочь»!

– На кого же она так крикнула?

– На отца, за мачеху. Впрочем, повторяю тебе, это тетя знает, а я не знаю.

– А знаешь что: пока мой Горданов теперь еще спит, схожу-ка я самый первый визит сделаю тетке, Катерине Астафьевне и Филетеру Ивановичу.

– Что ж, и прекрасно.

– Право! Кто что ни говори, а они родные и хорошие люди.

– Еще бы!

– Так, до свиданья, сестра, я пойду.

Лариса молча пожала брату руку, которую тот поцеловал, взял свою шляпу и трость и вышел.

Лариса посмотрела ему вслед в окно и ушла в свою комнату.

За час или за полтора до того, как Иосаф Платонович убирался и разговаривал с сестрой у себя в доме, на перемычке пред небольшою речкой, которою замыкалась пустынная улица загородной солдатской слободы, над самым бродом остановилось довольно простое тюльбюри Синтяниной, запряженное рослою вороною лошадью. Александра Ивановна правила, держа вожжи в руках, обтянутых шведскими перчатками, а в ногах у нее, вся свернувшись в комочек и положив ей голову на колени, лежала, закрывшись пестрым шотландским пледом, Вера. Снаружи из-под пледа виднелась только одна ее маленькая, длинная и бледная ручка, на которой выше кисти была обмотана черная резиновая тесьма широкополой соломенной бержерки.

Александра Ивановна, выезжая из города, бросила взгляд налево, на последний домик над речкой, и, увидав в одном из его окон полуседую голову Катерины Астафьевны, ласково кивнула ей и, подъехав к самой реке, остановила лошадь.

Майорша Форова была совсем одета, даже в шляпке и с зонтиком в руке, и во всем этом наряде тотчас же вышла из калитки и подошла к Синтяниной.

– Здравствуй, голубушка Саша! – сказала она, поставив ногу на ступеньку тюльбюри, и пожала руку Синтяниной. – А я не думала, что ты поедешь нынче на хутор.

– Вера нездорова, – отвечала мягко Синтянина. – А ты куда рано, Катя?

– Я к ранней обедне, хочется помолиться, – отвечала Форова, прислоняясь к щитку тюльбюри. – Что с Верой такое?

– Не говори, пожалуйста! – отвечала Синтянина, бросив взгляд на закрытую головку Веры.

Форова легонько приподняла закрывавший лицо ребенка угол пледа и тихо шепнула: «она спит?»

– Как села, так опустилась в ноги и заснула.

– И как она сегодня необыкновенно бледна!

– Да; она всю ночь не спала ни минуты.

– Отчего? – шепнула Форова.

– Что ты шепчешь? Она ведь не слышит.

– И как это странно и страшно, что она спит и все смотрит глазами, – проговорила Катерина Астафьевна, и с этим словом

бережно и тихо покрыла пледом бледное до синевы лицо девушки, откинувшей головку с полуоткрытыми глазами на служащее ей изголовьем колено мачехи.

– Несчастное дитя! – заключила Форова, вздохнув и перекрестив ее. – Она рукой так и держится за твое платье.

– Я не могу себе простить, что я вчера ее оставляла одну. Я думала, что она спит днем, а она не спала, ходила пред вечером к отцу, пока мы сидели в саду, и ночью… представь ты… опять было то, что тогда…

– Да?

– Я только вернулась, легла и… ты понимаешь? я все же вчера была немножко тревожна…

– Да, да, понимаю, понимаю.

– Я лежу и никак не засну, все Бог знает что идет в голову, как вдруг она, не касаясь ногами пола, влетает в мою спальню: вся бледная, вся в белом, глаза горят, в обеих руках по зажженной свече из канделябра, бросилась к окну, открыла занавеску и вдруг… Какие звуки! Какие тягостные звуки, Катя! Так, знаешь: «а-а-а-а!» – как будто она хочет кого-то удержать над самою пропастью, и вдруг… смотрю, уж свечи на полу, и, когда я нагнулась, чтобы поднять их, потому что она не обращала на них внимания, кажется, я слышала слово…

Форова промолчала.

– Мне показалось, что как будто пронзительно раздалось: «кровь!»

– Господи помилуй! – произнесла, отодвигаясь, Форова и перекрестилась.

– Какое странное дитя!

– И я тебе скажу, я не нервна, но очень испугалась.

– Еще бы! Это кого хочешь встревожит.

– Я взяла ее сзади и посадила ее в кресла. Она была холодная как лед, или лучше тебе сказать, что ее совсем не было, только это бедное, больное сердце ее так билось, что на груди как мышонок ворочался под блузой, а дыханья нет.

– Бедняжка! какая тяжкая ее жизнь!

– Нет, ты дослушай же, Катя.

– Знаешь, меня всегда от этих вещей немножко коробит.

– Нет, это вовсе не страшно. Она вдруг схватила карандаш…

– И написала «кто я?» Не говори мне, я дрожу, когда она об этом спрашивает.

– А вот представь, совсем не то: она взяла карандаш и написала: «змей с трещеткой».

– Что это значит?

Синтянина пожала плечами.

– А где же кровь?

– Я ее об этом спросила.

– Ну и что же?

– Она показала рукой вокруг и остановила на висленевском флигеле. Конечно, все это вздор…

– Почем нам это знать, что это вздор, Сашура?

– О, полно, Катя! Что же может угрожать им? Нет, все это вздор, пустяки; но Вера была так тревожна, как никогда, и я все это тебе к тому рассказываю, чтобы ты не отнесла моего бегства к чему-нибудь другому, – договорила, слегка краснея, Синтянина.

– Ну да, поди-ка ты, стану я относить.

– Не станешь?

– Да, разумеется, не стану. Легко ли добро: есть от кого бежать.

Синтянина вздохнула.

– А ты знаешь, Катя, – молвила она, – что порочных детей более жаль, чем тех, которые нас не огорчают.

– Э, полно, пожалуйста, – отвечала Форова, энергически поправляя рукой свои седые волосы, выбившиеся у нее из-под шляпки. – Я теперь на много лет совсем спокойна за всех хороших женщин в мире: теперь, кроме дуры, ни с кем ничего не случится. Увлекаться уж некем и нечем.

– Но, ах! смотри! – воскликнула она, взглянув на девочку.

Вера во сне отмахнула с головы плед и, не просыпаясь, глядела полуоткрытыми глазами в лицо Синтяниной.

– Как страшно, – сказала Форова, – она точно следит за тобой и во сне и наяву. Прощай, Господь с тобой.

– Ты навестишь меня?

– Да, непременно.

– Мне надо кое-что тебе сказать.

– Скажи сейчас.

– Нет, это долго.

– А что такое? У тебя есть опасения?

– Да, но теперь прощай.

С этими словами Синтянина пустила лошадь вброд и уехала.

Висленев вышел со двора, раскрыл щегольской шелковый зонт, но, сделав несколько шагов по улице, тотчас же закрыл его и пошел быстрым ходом. Дождя еще не было; город Висленев знал прекрасно и очень скоро дошел по разным уличкам и переулкам до маленького, низенького домика в три окошечка. Это был опять тот же самый домик, пред которым за час пред этим Синтянина разговаривала с Форовой.

Висленев поглядел чрез окно внутрь домика и, никого не увидав тут, отворил калитку и вошел на двор. На него сипло залаяла старая черная собака, но тотчас же зевнула и пошла под крыльцо.

Из-под сарая вылетела стая кур, которых посреди двора поджидал голенастый красный петух, и вслед за тем оттуда же вышла бойкая рябая, востроносая баба с ребенком под одною рукой и двумя курицами – под другою.

– Милая, Филетер Иваныч дома? – осведомился Висленев.

– Ах, нету-ти их, нету-ти, ушедши они со двора, – отвечала с сожалением баба.

– А Катерина Астафьевна?

– Катерина Астафьевна были в саду, да нешто не ушли ли… Ступайте в сад.

– А ваша собака меня не укусит?

– Собака, нет; она не кусается, не поважена. Вот корова буренка… Тпружи, тпружи, дура! тпружи! – закричала баба, махая дитятей и курами.

Висленев вдруг почувствовал сзади у своего затылка нежное теплое дыхание, и в то же мгновение шляпа его слетела с головы вместе с несколькими вырванными из затылка волосами.

Иосаф Платонович вскрикнул и прыгнул вперед, а баба, бросив на землю кур и ребенка, быстро кинулась защищать гостя от коровы, которая спокойно жевала и трясла его соломенную шляпу.

Несколько ударов, которые женщина нанесла корове по губам, было достаточно, чтобы та освободила висленевскую шляпу, но, конечно, жестоко помятую и без куска полей.

– Это все барин, Филетер Иваныч, у нас таких глупостьев ее научили, – заговорила баба, подавая Висленеву его испорченную шляпу.

– Но она, однако, может быть еще и бодается? – осведомился Висленев, прячась за бабу от коровы, которая опять подходила к ним, пережевывая во рту кусок шляпы и медленно помахивая головой с тупыми круглыми глазами.

– Нет, идите; бодаться она редко бодается… разве только кто ей не понравится, – успокаивала баба, стремясь опять изловить кур и взять кричащее дитя.

– Ну, однако же, покорно вас благодарю. Я вовсе не желаю испытывать, понравился я ей или не понравился; а вы лучше проведите меня до саду.

Баба согласилась, и Висленев, под ее прикрытием, пошел скорыми шагами вперед, держась рукой за холщевый, вышитый красною бумагой передник своей провожатой.

Переступив за порог утлой ограды, он запер за собой на задвижку калитку и рассмеялся.

– Скажите, пожалуйста, вот вам и провинциальная простота жизни! А тут, чтобы жить, надо еще и коровам нравиться! Ну, краек! ну, сторонушка!

Он снял свою изуродованную шляпу, оглядел ее и, надев прорехой на затылок, пошел по узенькой, не пробитой, а протоптанной тропинке в глубь небольшого, так сказать, однодворческого сада. Кругом растут, как попало, жимолости, малина, крыжовник, корявая яблонька и в конце куст густой черемухи; но живой души человеческой нет.

Иосаф Платонович даже плюнул: очевидно, баба соврала; очевидно, Катерины Астафьевны здесь нет, а между тем идти назад… там корова и собака… Но в это самое мгновение Висленев дошел до черемухи и отодвинулся назад и покраснел. В пяти шагах от него, под наклонившеюся до земли веткой, копошился ворох зеленой полосатой материи, и одна рука ею обтянутая взрывала ножиком землю.

«Так вот это кто: это была тетушка!.. Ну, слава Богу! Испугаю же ее за то, что она меня напугала».

И с этим Висленев тихо, на цыпочках подкрался к кусту и, разведя свои руки в разные стороны, кольнул сидящую фигуру под бока

пальцами, и вслед за тем раздались два разные восклика отчаянного перепуга.

Висленев очутился лицом к лицу с белокурым, средних лет мужчиной, одетым в вышесказанную полосатую материю, с изрядною окладистою бородой и светло-голубыми глазами.

– Что же это такое? – проговорил, наконец, Висленев.

– А уж об этом мне бы вас надлежало спросить, – отвечал собеседник.

– Я думал, что вы тетушка.

– Между тем, я своим племянникам дядя.

– Но позвольте, как же это так?

– А уж это опять мне вас позвольте спросить: как вы это так? Я червей копал, потому что мы с Филетером Иванычем собираемся рыбу удить, а вы меня под ребра, и испугали. Я Евангел Минервин, священник и майора Форова приятель.

Висленев хотел извиниться, но вместо того не удержался и расхохотался.

– Вот как у нас! – проговорил Евангел, глядя с улыбкой, как заливается Висленев. – Чего же это вы так ослабели?

– Да позвольте!.. – начал было Висленев и опять расхохотался.

– Вона! Ну смешливы же вы!

– Вы, отец Евангел, не говорите, пожалуйста… Я вас принял за тетушку, Катерину Астафьевну…

– Для чего так? я на нее не похож!

– Ну, вот подите же! я хотел с ней пошутить…

– Ну и что же: это ничего.

– Это меня ваш подрясник ввел в заблуждение: мне показалось, что это тетушкино платье.

– А у нее разве есть такое платье?

– Кажется… то есть я думаю…

– Нет; у вашей тетушки такового платья нет.

– А вы разве знаете?

– Разумеется, знаю: у нее серое летнее, коричневое и черное, что из голубого перекрашено, а белое, которое в прошлом году вместе с моею женой к причастью шила, так она его не носит. Да вы ничего: не смущайтесь, что пошутили, – вот если бы вы меня прибили, надо бы смущаться, а то… да что же это у вас у самих-то чепец помят?

– Представьте, это корова…

– А, а! буренка! она один раз пьяному казаку весь хохол на кичке съела, а животина добрая… питает. Вы из Питера?

– Да, из Питера.

– Ученый?

– Ну, не очень…

Висленев рассмеялся.

– Что так? Там будто как все ученые. К литературе привержены?

– Да, я писал.

– Статьи или изящные произведения?

– Статьи. А вы с дядюшкой много читаете?

– Одолеваем-таки. Изящную литературу люблю, но только писателей изящных мало встречаю. Поворот назад чувствую.

– Как поворот назад?

– А как же-с: разве вы его не усматриваете? Помните, в комедии господина Львова было сказано, что «прежде все сочиняли, а теперь-де описывают», а уж ныне опять все сочиняют: людей таких вовсе не видим, про каких пишут… А вот и отец Филетер идет.

В это время на тропинке показался майор Форов. Он был в старом, грязном-прегрязном драповом халате, подпоясанном засаленными шнурами; за пазухой у него был завязан ребенок, в левой руке трубка, а в правой книга, которую он читал в то самое время, как дитя всячески старалось ее у него вырвать.

– Чье же это у него дитя? – полюбопытствовал Висленев.

– А это солдатское… работницы Авдотьи. Ее, верно, куда-нибудь послали; впрочем ведь Филетер Иваныч детей страшно любят. Перестань читать, Филетер: вот тебя гость ждет.

Форов взглянул, перехватил в одну руку книгу и трубку, а другую протянул Висленеву.

– Торочку вы не видали? – спросил он.

– Нет, не видал.

– А она к вам пошла. Вы по какой улице шли: по Покровской или по Рождественской?

– По Рождественской.

– Ну, значит, просмотрели.

– А она в чем: в каком платье?

– А уж я ее платьев не знаю. А журналов новых, отец Евангел, нет: был у Бодростиной, был и у Подозерова, а ничего не добыл. Захватил книжонку Диккенса «Из семейного круга».

– Что ж, перечитаем: там «Габриэль и Роза» хороши.

– А теперь пойдем закусить, да и в дорогу. Вы любите закусывать? – отнесся он к Висленеву.

– Не особенно, а впрочем, с вами очень рад.

– А вам разве не все равно, с кем есть?

– Ну, не все равно. Да что же вы не спросите, кто мне шляпу обработал?

– А что же мне в этом за интерес? Известно, что если у кого ризы обветшали, так значит ремонентов нет.

– Чего ремонентов! это ваша корова!

– Ну и что ж? Плохого князя и телята лижут.

– Вы, Филетер Иваныч, чудак.

– Ну вот и чудак! Я чудак да не красен, а вы не чудак да спламенели не знай чего. Пойдемте-ка лучше закусывать.

– Только вина, извините, у меня нет, – объяснил Форов, подводя гостей к не покрытому скатертью столу, на котором стоял горшок с вареным картофелем, студень на поливеном блюде и водочный графинчик.

– Да у тебя и в баклажке-то оскудение израилево, – заметил Евангел, поднимая пустой графин.

– Что ж, нарядим сейчас послание к евреям, – отвечал Форов, вручая работнице графин и деньги.

– А я ведь совсем водки не пью, – сказал Висленев. – Вы не обидитесь?

– Чем это?.. Я издавна солист и аккомпанемента не ожидаю, один пью.

– Отец Евангел разве тоже не пьет?

– Не пью-с, – отвечал отец Евангел, разбирая у себя на ладони рассыпчатую картофелину.

– Мы пошлем за вином, Филетер Иваныч, если вы позволите?

– А сделайте милость, хоть за шампанским.

– Только если вы меня считаете, то я ведь и вина никакого не пью, – отвечал отец Евангел.

– Будто никакого?

– Вина решительно никакого.

– Ну рюмку хересу.

– Ну, так и быть: для вас рюмку хересу выпью.

Работница побежала, сдав опять своего ребенка Филетеру Ивановичу, и через несколько минут доставила вино и водку. Форов выпил водки и начал ходить по комнате.

– А что же вы, Филетер Иваныч, не закусываете? – заговорил Висленев.

– Истинные таланты не закусывают, – отвечал, не глядя на него, Форов.

Висленеву показалось, что майор с ним почему-то сух. Он ему это заметил, на что тот сейчас же отвечал:

– Я, сознаюсь вам, смущен, что это вы за птицу привезли, этого господина Горданова?

– А что такое?

– Да он мне не нравится.

– С каких это пор? Вы, кажется, с ним вчера соглашались?

– Да мало ли что соглашался? С иным и соглашаешься, да не любишь, а с другим и не согласен, да ладишь.

– Так вы вот какой: вы единомышленников, значит, немного цените?

– Да вы к чему мне это говорите? Мыслит всяк для себя.

– А партия?

– Партия? Так это значит я ее крепостной, что ли, что я ради партии должен подлеца в честь ставить?.. А чтоб она этого не дожидалась, сия партия!

– А Горданов прекрасный и очень умный человек.

– Не знаю-с, – отвечал майор. – Знаю только, что он целый вечер точно бурлацкую песню тянул «а-о-е», а живого слова не выберешь.

– Он говорил резонно.

– Да что же резонно, все его резоны, это, я говорю, все равно, что дождь на море, ничего не прибавляют. Интересно бы знать его дела и дела… Слышишь, отец Евангел, этот Горданов мужичонкам землишку подарил, да теперь выдурить ее у них на обмен хочет.

– Т-е-е-с! – сделал укоризненно, покачав головою, отец Евангел, у которого рот был изобильно наполнен горячим картофелем.

– Да это кто же вам сказал, что таковы Гордановские намерения?

– Да ведь вы же Подозерову об этом говорили. И вы сам и еще, милостивый государь, за такое дело взялись?.. Нехорошо!..

– Врет ваш Подозеров.

– Что-о? Подозеров врет? Ну это, во-первых, в первый раз слышу, а во-вторых, Подозеров мне и не говорил ничего.

– Подозеров сам-то очень хорош.

– Человек рабочий и честный, хотя идеалист.

– Очень честный, но никогда ни на что честное и в университете не умел откликнуться.

– А на что откликаться-то в университете, когда там надо учиться?

– Мало ли на что там в наше время приходилось откликаться! А ему какое дело, бывало, ни представь, все разрезонирует и выведет, что в нем содержания нет.

– Да ведь какое же, в самом деле, содержание можно найти в деле о бревне, упавшем и никого не убившем?

– Ну, я вижу, вы совсем подозеровский партизан здесь!

– Напротив, я совсем других убеждений, чем Подозеров…

– А не пора ли нам с тобой, друже Филетер, и в ход, – прервал отец Евангел.

– Идем, – отвечал Форов, и накинул на себя вместо халата парусинный балахон, забрал на плечи торбу, в карман книгу и протянул Висленеву руку.

– Куда вы? – спросил Иосаф Платонович.

– Туда, к Аленину верху.

– Где это, далеко?

– А верст с десяток отсюда, вот где горы-то видны, между Бодростинкой и Синтянинским хутором.

– Что ж вы там будете делать?

– В озере карасей половим, с росой трав порвем, а в солнцепек читать будем, в лесу на прохладе.

– Возьмите меня с собой.

Отец Евангел промолчал, а Форов сказал:

– Что ж, нам все равно.

– Так я иду.

– Идемте.

– А гроза вас не пугает?

– Нас – нет, потому что мы каждый с своей точки зрения жизнью не дорожим, а вот вы-то, пожалуй, лучше останьтесь.

– А что?

– Да гроза непременно будет, а кто считает свое существование драгоценным, тому жутко на поле, как облака заспорят с землей. Вы не поддавайтесь лучше этой гили, что говорят, будто стыдно грозы трусить. Что за стыд бояться того, с кем сладу нет!

– Нет, я хочу побродить с вами и посмотреть, как вы ловите карасей, как сбираете травы и пр., и пр. Одним словом, мне хочется побыть с вами.

– Так идем.

Они встали и пошли.

Выйдя на улицу, Форов и отец Евангел тотчас сели на землю, сняли обувь, связали на веревочку, перекинули себе через плеча и, закатав вверх панталоны, пошли вброд через мелкую речку. Висленев этого не сделал: он не стал разуваться и сказал, что босой идти не может; он вошел в реку прямо в обуви и сильно измочился.

Форов вытащил из кармана книжку Диккенса и зачитал рассказ о *Габриэле и Розе*.

Шли они, шли, и Висленеву показалось, что они уже Бог знает как далеко ушли, а было всего семь верст.

– Я устал, господа, – сказал Висленев.

– Что ж, сядем, отдохнем, – отвечал Евангел.

И они сели.

– Скажите, неужели вы всегда и дорогой читаете? – спросил Висленев.

– Ну, это как придется, – отвечал Форов.

– И всегда повести?

– По большей части.

– И не надоели они вам?

– Отчего же? Самая глупая повесть все-таки интереснее, чем трактат о бревне, упавшем и никого не убившем.

– Ну так вот же я вам подарок припас: это уж не о бревне, упавшем и никого не убившем, а о бревне, упавшем и убившем свободу.

И с этим Висленев вынул из кармана пальто и преподнес Форову книжку из числа изданных за границей и в которой трактовалась

сущность христианства по Фейербаху.

– Благодарю вас, – отвечал майор, – но я, впрочем, этого барона фон-Фейербаха не уважаю.

– А вы его разве читали?

– Нечего у него читать-то, вот горе.

– Он разбирает сущность христианства.

– Знаю-с, и очень люблю эти критики, только не его, не господина Фейербаха с последователями.

– Они это очень грубо делают, – поддержал отец Евангел. – Есть на это мастера гораздо тоньше – филигранью чеканят.

– Да, разумеется, Ренан, например, я это знаю.

– Нет; да Ренан о духе мало и касается, он все по критике событий; но и Ренан-то в своих положениях тоже не ахти-мне; он шаток против, например, богословов современной тюбингенской школы. Вы как находите?

– Я, признаться сказать, всех этих господ не читал.

– А-а, не читали, жаль! Ну да это примером можно объяснить будет, хоть и в противном роде, вот как, например, Иоанн Златоуст против Василия Великого, Массильон супротив Боссюэта, или Иннокентий против Филарета московского.

– Ничего не понимаю.

– Одни увлекательней и легче, как Златоуст, Массильон и Иннокентий, а другие тверже и спористей, как Василий Великий, Боссюэт и Филарет. Ренан ведь очень легок, а вы если критикой духа интересуетесь, так Ламене извольте прочитать. Этот гораздо позабористей.

«Черт их знает, сколько они нынче здесь, по трущобам-то сидя, поначитались!» – подумал Висленев и добавил вслух:

– Да, может быть. Я мало этих вещей читал, да на что их? Это роскошь знания, а нужна польза. Я ведь только со стороны критики сущности христианства согласен с Фейербахом, а то я, разумеется, и его не знаю.

– Да вы с критикой согласны? Ну а ее-то у него и нет. Какая же критика при односторонности взгляда? Это в некоторых теперешних светских журналах ведется подобная критика, так ведь guod licet bovi, non licet Jovi, что приличествует быку, то не приличествует Юпитеру. Нет, вы Ламене почитайте. Он хоть нашего брата пробирает,

христианство, а он лучше, последовательней Фейербаха понимает. Христианство – это-с ведь дело слишком серьезное и великое: его не повалить.

– Оно даже хлебом кормит, – вмешался Форов.

– Нет, оно больше делает, Филетер Иваныч, ты это глупо говоришь, – отвечал Евангел.

– А мне кажется, он, напротив, прекрасно сказал, и позвольте мне на этом с ним покончить, – сказал Висленев. – Хлеб, как все земное, мне ближе и понятнее, чем все небесные блага. А как же это кормит христианство хлебом?

– Да вот как. Во многих местах десятки тысяч людей, которые непременно должны умереть в силу обстоятельств с голоду, всякий день сыты. Петербург кормит таких двадцать тысяч и все «по сущности христианства». А уберите вы эту «сущность» на три дня из этой сторонушки, вот вам и голодная смерть, а ваши философы этого не видали и не разъяснили.

– Дела милосердия ведь возможны и без христианства.

– Возможны, да… не всяк на них тронется из тех, кто нынче трогается.

– Да, со Христом-то это легче, – поддержал Евангел.

– А то «жестокие еще, сударь, нравы в нашем городе», – добавил Форов.

– А со Христом жестокое-то делать трудней, – опять подкрепил Евангел.

– Скажите же, зачем вы живете в такой стране, где по-вашему все так глупо, где все добрые дела творятся силой иллюзий и страхов?

– А где же мне жить?

– Где угодно!

– Да мне здесь угодно, я здесь органические связи имею.

– Например?

– Например, пенсион получаю.

– И только?

– Н-н-ну… и не только… Я мужиков люблю, солдат люблю!

– Что же вам в них нравится?

– Прекрасные люди.

– А неужто же цивилизованный иностранец хуже русского невежды?

– Нет; а иностранный невежда хуже.

– А я, каюсь вам, не люблю России.

– Для какой причины? – спросил Евангел.

– Да что вы в самом деле в ней видите хорошего? Ни природы, ни людей. Где лавр да мирт, а здесь квас да спирт, вот вам и Россия.

Отец Евангел промолчал, нарвал горсть синей озими и стал ею обтирать свои запачканные ноги.

– Ну, природа, – заговорил он, – природа наша здоровая. Оглянитесь хоть вокруг себя, неужто ничего здесь не видите достойного благодарения?

– А что же я вижу? Вижу будущий квас и спирт, и будущее сено!

Евангел опять замолчал и наконец встал, бросил от себя траву и, стоя среди поля с подоткнутым за пояс подрясником, начал говорить спокойным и тихим голосом:

– Сено и спирт! А вот у самых ваших ног растет здесь благовонный девясил, он утоляет боли груди; подальше два шага от вас, я вижу огневой жабник, который лечит черную немочь; вон там на камнях растет верхоцветный исоп, от удушья; вон ароматная марь, против нервов; рвотный капытень; сон-трава от прострела; кустистый дрок; крепящая расслабленных алиела; вон болдырян, от детского родилища и мадрагары, от которых спят убитые тоской и страданием. Теперь, там, на поле, я вижу траву гулявицу от судорог; на холмике вон Божье деревцо; вон львиноуст от трепетанья сердца; дягиль, лютик, целебная и смрадная трава омег; вон куреслеп, от укушения бешеным животным; а там по потовинам луга растет ручейный гравилат от кровотоока; авран и многолетний крин, восстановляющий бессилие; медвежье ухо от перхоты; хрупкая ива, в которой купают золотушных детей; кувшинчик, кукушкин лен, козлобород… Не сено здесь, мой государь, а Божья аптека.

И с этим отец Евангел вдруг оборотился к Висленеву спиной, прилег, свернулся калачиком и в одно мгновение уснул, рядом со спящим уже и храпящим майором. Точно порешили оба насчет Иосафа Платоновича, что с ним больше говорить не о чем.

Висленев такой выходки никак не ожидал, потому что он не видал никакой причины укладываться теперь и спать, и не чувствовал ни малейшего позыва ко сну; но помешать Форову и отцу Евангелу, когда они уж уснули, он, разумеется, не захотел, и решил побродить

немножко по кустарникам. Походил, нашел две ягоды земляники и съел их, и опять вернулся на опушку, а Форов и Евангел по-прежнему спят. Висленеву стало скучно, он бы пошел и домой, но кругом тучится и погромыхивает гром, которого он не любит. Делать нечего, он снял пиджак, свернул его, подложил под голову и лег рядом с крепко спящим Форовым, сорвал былинку и, покусывая ее, начал мечтать. Мечты его были невыспренни, они витали все около его портфеля, около его трудных дел, около Петербурга, где у Висленева осталась нелюбимая жена и никакого положения, и наконец около того, как он появится Горданову и как расскажет ему историю с портфелем.

«Чем я позже ему это сообщу, тем лучше, – думал он, – чего же мне и спешить? Я с этим и ушел сюда, чтобы затянуть время. Пусть там после Горданов потрунит над моими увлечениями, а между тем время большой изобретатель. Подчинюсь моей судьбе и буду спать, как они спят».

Висленев оборотился лицом к Форову и закрыл глаза на все.

Долго ли он спал, он не помнил, но проснулся он вдруг от страшного шума и проницающей прохлады. Небо было черно, в воздухе рокотал гром и падали крупные капли дождя. Висленев увидал в этом достаточный повод поднять своих спутников и разбудил отца Евангела. Дождь усиливался быстро и вдруг пустился как из ведра, прежде чем Форов проснулся.

– Побежимте куда-нибудь? – упрашивал, метаясь на месте, Висленев.

– Да куда же бежать-с? Кругом поле, ни кола, ни двора, в город назад семь верст, до Бодростинки четыре, а влево не больше двух верст до Синтянина хутора, да ведь все равно и туда теперь не добежишь. Видите, какой полил. Ух, за рубашку потекло!

Отец Евангел стал на корточки, нагнул голову и выставил спину.

– Я говорил, что это будет, – проворчал Форов и тоже стал на колени точно так же, как и Евангел.

Среди ливня, обратившего весь воздух вокруг в сплошное мутное море, реяли молнии и грохотал, не прерывая, гром, и вот, весь мокрый и опустившийся, Висленев видит, что среди этих волн, погоняемых ветром, аршина два от земли плывет бледно-огненный шар, колеблется, растет, переменяет цвета, становится из бледного

багровым, фиолетовым, и вдруг сверкнуло и вздрогнуло, и шара уж нет, но зато на дороге что-то взвилось, затрещало и повалилось.

Форов и Евангел подняли головы.

В трех шагах пред ними, в море волн, стоял двухместный фаэтон, запряженный четверней лошадей, из которых одна, оторвавши повод, стояла головой к заднему колесу и в страхе дрожала.

– Помогите, пожалуйста, – кричал из фаэтона человек с большими кудрями a la Béranger.[9]

– Это Михаил Андреич, – проговорил, направляясь к экипажу, отец Евангел.

– Кто? – осведомился Висленев, идучи вслед за ним вместе с Форовым.

– Бодростин.

В фаэтоне сидел белый, чистый, очень красивый старик Бодростин и возле него молодой кавалерист с несколько надменным и улыбающимся лицом.

– А это вы, странники вечные! – заговорил, высовываясь из экипажа, Бодростин, в то время как кучер с отцом Евангелом выпутывали и выпрягали лошадь, тщетно норовившую подняться. – А это кто ж с вами еще! – любопытствовал Бодростин.

– А это приезжий к нам с севера, Висленев, – ответствовал майор Форов.

– Ах это ты, Есафушка! Здорово, дружок! Вот рад, да говорить-то некогда… Ты что ж, куда идешь?

– Пошел с ними, и сам не знаю, чего и куда, – отозвался Висленев.

– Да кинь ты их, бродяг, и поедем в город. Вот видишь, как ты измок, как кулик.

– Уж просто ни один Язон в Колхиде не знавал такого душа!

– Ну и садись. Володя, подвигайся, брат! Возьмем сего Язона, – добавил он, отстраня кавалериста. – Это мой племянник, сестры Агаты сын, Кюлевейн. Ну я беру у вас господина этого городского воробья! – добавил он, втягивая Висленева за руку к себе в экипаж, – он вам не к перу и не к шерсти.

– С Богом, – ответил Евангел.

Бодростин кивнул своею беранжеровскою головой, и фаэтон опять понесся над морем дождя и сетью реющих молний.

Висленев дрожал от холоду и сырости и жался, совестясь мочить своим смокшимся платьем соседей.

– Я просто мокр, как губка, и совсем никуда не гожусь, – говорил он, стараясь скрыть свое замешательство.

– Ну вздор, ничего, хороший молодец из воды должен сух выходить. Вот приедем к жене, она задаст тебе такого эрфиксу, что ты высохнешь и зарок дашь с приезда по полям не разгуливать, прежде чем друзей навестишь.

– А нет! Бога ради! Я не могу показаться Глафире Васильевне.

– Что тако-о-о-е? Не можешь показаться моей жене? Полно, пожалуйста, дурить-то.

– Я, право, Михаил Андреевич, не дурю, а не могу же я в таком печальном виде являться к Глафире Васильевне, – отпрашивался Висленев.

– Все это чистый вздор, облечем тебя в сухое белье и теплый халат, а тем временем тебе и другое платье принесут.

– Нет, воля ваша, я у своего дома сойду, переоденусь дома и приеду.

– Ну да, рассказывай, придешь ты, как же! Нет уж, брат, надо было ко мне сюда не садиться, а уж как сел, так привезу, куда захочу. У нас на Руси на то и пословица есть: «на чьем возу едешь, того и песенку пой».

Отменить этого не предвиделось никакой возможности: Бодростин неотразимо исполнял непостижимый и роковой закон, по которому мужья столь часто употребляют самые упорные усилия вводить к себе в дом людей, которых бы лучше им век не подпускать к своему порогу.

– Сей молодец яко старец, – проговорил Евангел, садясь с майором снова под межку.

– Межеумок, – отвечал нехотя Форов, и более они о Висленеве не говорили.

Под третьим кровом утро это началось еще иначе.

Глафира Васильевна Бодростина возвратилась домой с небольшим через четверть часа после того, как она вышла от Горданова. Она сама отперла бывшим у нее ключом небольшую дверь в оранжерею и через нее прошла по довольно крутой спиральной лестнице на второй этаж,

в чистую комнату, где чуть теплилась лампада под низким абажуром и дремала в кресле молодая, красивая девушка в ситцевом платье.

Бодростина заперла за собой дверь и, тронув девушку слегка за плечо, бросила ей шинель и шляпу, а сама прошла три изящно убранные комнаты своей половины и остановилась, наконец, в кабинете, оклеенном темно-зелеными обоями и убранном с большим вкусом темно-зеленым бархатом и позолотой.

Девушка вошла вслед за нею и сказала:

– Вам есть письмо!

– Откуда так поздно?

– Швейцар мне прислал его, как только вы изволили уйти. Я сказала, что вы уже изволили започивать.

– На, – отвечала Бодростина, бросая на руки девушке свою бархатную куртку и жилет, – сними с меня сапоги и подай мне письмо, – добавила она, полуулегшись на диван, глубоко уходящий в нишу окна.

Девушка вышла и через минуту явилась с розовыми атласными туфлями и с серебряным подносом, на котором лежал большой конверт.

Глафира Васильевна взяла письмо, взглянула на адрес и покраснела.

«А-а! Наконец-то!» – шепнула она себе.

Девушка разула ее и надела на ее ноги туфли.

– Ложись спать! – приказала Бодростина.

Девушка поклонилась и вышла.

Глафира Васильевна встала, тихо обошла несколько раз вокруг комнаты, опустила занавесы дверей, отдернула занавесу окна, в нише которого помещался диван, и снова села здесь и наморщила лоб.

– Игра начинается большая и опасная! – носилось в ее голове. – Рискованнее и смелее я еще не задумывала ничего, и я выиграю… Я должна выиграть ставку, потому что ходы мои рассчитаны верно, и рука, мне повинующаяся, неотразима, но… Горданов хитер, и с ним нужна вся осторожность, чтоб он ранее времени не узнал, что он будет работать не для себя. Впрочем, я готова встретить все, и нам пора окончить с Павлом Николаевичем наши счеты!

Бодростина тихо вздохнула и, взяв неспешною рукой со стола письмо, разорвала конверт.

Письмо было на большом листе почтовой бумаги, исписанном вокруг чистым и красивым мужским почерком, внизу стояла подпись «Подозеров».

«Я получил четыре дня тому назад ваше письмо, – начинал автор. – Не нахожу слов, которыми мог бы отблагодарить вас за чувства, выраженные в ваших строках, которых я никогда не перестану помнить. Я не отвечал вам скоро потому, что хотел отвечать обстоятельно. Прежде всего я отвечу на ваше запрещение смеяться над вами. Это напрасно. Я не умею смеяться ни над кем и всегда отвечаю на всякий вопрос по совести, точно так же поступаю и в настоящем случае.

Вы напоминаете мне мой долг вам, напоминаете данное мною вам, при одном шуточном случае, серьезное слово безотговорочно и честно исполнить первое ваше требование, и в силу этого слова делаете для меня обязательным обстоятельный и чистосердечный ответ на ваше письмо, заключающее в себе и дружеский вопрос, и совет, и предостережение, и ваше предсказание. Вы разрешаете мне тоже, взамен всяких ответов, отделаться сознанием, что откровенность мне не по силам.

Очень благодарю вас за дарование мне такого легкого способа отступления, но, конечно, им не воспользуюсь: я буду с вами совершенно откровенен.

Я бы очень прямо отвечал вам, почему держу себя, как вы говорите, „так странно и двусмысленно“, если б я видел в моем поведении какую-нибудь двусмысленность и загадочность. Мне даже самому было бы приятно уяснить себе мои странности, но я, к крайней моей досаде, лишен способности их видеть. Мне кажется, что я живу, как все, одеваюсь, как все, ложусь спать и встаю в часы, более или менее обычные для всех, занимаюсь моею службой, посещаю моих немногочисленных друзей и мало забочусь о моих врагах, которых, по вашему замечанию, у меня очень много. Не смею вам противоречить, но если это и так, то что же я должен делать, чтоб уменьшить число моих

недоброжелателей? Я не употреблял никаких стараний приобресть их вражду и не знаю, за что получил ее, не знаю и средства к умилостивлению их. Помогите мне, пожалуйста, и спросите первого человека, который выскажется ко мне пред вами враждебно, что я ему сделал худого? Этим вы мне дадите средство исправиться. Вы относите чувства моих недругов к моему безучастию „в общественных делах“ и ставите мне в укоризну мой отказ от продолжения секретарства по человеколюбивым учреждениям, в котором вы принимаете участие. Мне кажется, что вы правы: я действительно мало показываюсь в обществе, но это потому, что у меня очень хлопотливая служба, едва оставляющая мне сколько-нибудь времени для того, чтоб освежить мою голову страницей чтения. Поэтому же я отказался и от секретарства, и от всякого участия в благотворительных учреждениях, кроме посильной лепты моей, которую отдаю охотно. Я не могу действовать иначе, потому что прямое мое дело, которое я ежеминутно делаю, стоя у интересов крестьян, тоже есть дело благотворения, и оно непременно потерпело бы, если б я стал разделять свое время на стороны. Скажу вам более: я бы считал очень радостным фактом, если бы среди русских мужчин, имеющих определенные занятия, находилось как можно менее охотников вступаться в дела непосредственного благотворения. Зная характер этих дел, и характер, и цель большинства пристающих к ним лиц, я позволяю себе искреннейше желать, чтобы благотворение и помощь бедным, как прямые дела христианского милосердия, ведались приходами, а не людьми, занимающимися этими делами pour passer le temps. [10] *Я уверен, что это к тому непременно и придет, когда умножится число людей, в самом деле добрых и в самом деле соболезнующих о нуждающемся брате, а не ищущих себе связей и протекций насчет благотворения, как это делается. Я чувствую ложь в основе нынешней благотворительности и не хочу тратить сил и времени, нужных делу, служить которому я обязан присягой и*

добрым моим хотением. Вот вам разъяснение одной моей странности и последней неловкости, „завершившей, по вашим словам, цепь моих бестактностей“.

Вторая укоризна в том, что вы называете невниманием к своей репутации, может быть, еще более справедлива. Вы ставите мне в вину, что я „кажется“ никогда не употребляю никаких усилий для того, чтобы смирить зазнающуюся наглость. Слово „кажется“ вы поставили напрасно: вы могли бы даже сказать это совершенно утвердительно, и я признал бы неопровержимую правоту ваших слов; но вы неправы, приписывая это так называемому „презрительному индифферентизму к людям“ или „неспособности ненавидеть, происходящей от неспособности любить“. Здесь вы погрешаете в ваших заключениях. „Презрительного индифферентизма к людям“ во мне нет, и я его даже не понимаю: напротив, у меня через меру неосторожны и велики тяготения к одним людям, и я очень сильно чувствую отвращение от других, но ненавидеть я действительно не способен. Я, как человек очень дурно воспитанный, конечно, не свободен от злобности, и я даже могу ненавидеть, но я ненавижу одну мстительную ненависть, и за то ненавижу ее непримиримо. Наше дело сберегать себя от зла, к которому, к сожалению, более или менее склонны все люди, но ненавидеть человека и стараться мстить ему… это такая черная работа, от которой конечно, пожелает освободить себя всякий, как только он захочет вдуматься в существо дела. Вот вам объяснение моего мнимого незлобия: я не мстителен, больше по недосугу и по эгоизму.

Вы вообще желаете поднять во мне желание защищаться и, указывая на принца Гамлета, как на пример, достойный подражания, советуете усвоить из него „то, что в нем есть самого сильного“. Принц Гамлет – образец великий, и вы напрасно шутите, что будто бы его душа живет теперь во мне. Нет, к сожалению, это не так; но все-таки я чту и чувствую принца Гамлета, и я знаю, что у него было самое сильное, но это отнюдь ведь не желание

мстить и издеваться, здесь только слабость принца, а сила его в любви его… в любви его не к Офелии, которую он, как женщину, любит потому, что „любит“, а в его любви к Горацио, которого „избрал он перед всеми“. Вы, конечно, помните эти прекрасные слова, за что он избран:

Страдая, ты, казалось, не страдал,
Ты брал удары и дары судьбы,
Благодаря за то и за другое,
И ты благословен!..
Дай мужа мне, которого бы страсть
Не делала рабом, и я укрою
Его души моей в святейших недрах,
Как я укрыл тебя.

Поистине, я во всей трагедии не знаю ничего величественнее этого, вообще малозамечаемого места; но здесь достоин подражания не нерешительный принц Гамлет, а Горацио, с которым у меня, к сожалению, только одно сходство, что я такой же „бедняк“, как он.

Далее вы советуете мне изменить мой образ жизни, но скажите, Бога ради, можно ли не быть самим собой ни для чего или, что еще хуже, измениться для того, чтобы быть хуже?.. Я это говорю потому, что вы мне советуете „окраситься“, потому что „белый цвет марок“, вы решительно сказали „интригуйте, как большинство, имейте все пороки, которые имеют все, не будьте мимозой, свертывающейся от всякого преткновения, будьте чем вы хотите: шулером, взяточником, ханжой, и вас кто-нибудь да станет считать своим, между тем как ныне, гнушаясь гадости людей, вы всем не только чужой, но даже ненавистный человек. Люди не прощают такого поведения: они не верят, что вы отходите для того, чтобы только отойти; нет, им кажется, что это не цель, а только средство, чтобы вредить им издали. Вредите им, и они будут гораздо спокойнее, чем находясь в догадках“. Вы

очень наблюдательны, Глафира Васильевна! Это все очень верно, но не сами ли же вы говорили, что, чтоб угодить на общий вкус, надо себя „безобразить“. Согласитесь, это очень большая жертва, для которой нужно своего рода геройство. Как эгоист, я имею более близкую мне заботу: прежде чем нравиться людям, я не хочу приходить в окончательный разлад с самим собой. Как вы хотите, человеку можно простить эту манкировку и позволить заботиться немножко о своем самоусовершенствовании или, скромнее сказать, о собственном исправлении. Надо же немножко держать корректуру над самим собой, чтобы не дойти в конце концов до внутреннего разлада, за чем, конечно, всегда следует необходимость плясать по чужой дудке, к чему я совершенно неспособен. Вы указываете мне на существующую будто бы общую подготовку сразу сложиться в дружный союз против меня и предрекаете, что это будут силы, которые сломят всякую волю; но, Глафира Васильевна, я никогда и не считал себя героем, для одоления которого нужны были бы очень сложные силы вроде „всеобщего раздражения или всеобщего озлобления“, которые вы желаете отвратить от головы моей. Я гораздо скромнее и уступчивей, и все, на что я уповаю, это усвоенная мною себе привычка отходить от зла, творя этим благо и себе, и тому, кому я досадил. Я не претендую ни на какое место в обществе, ни на какое влияние; даже равнодушествую, как вы говорите, к общественному мнению, все потому, что я крайне доволен своим положением, в котором никто на свете не может заставить меня пожертвовать драгоценною для меня свободой совести, мыслей и поступков; я среди людей как среди моря: не все валы сердиты и не все и нахлестывают, а есть и такие, которые выносят. Я не хвалюсь друзьями, но они у меня есть. Если я, по вашим же словам, не смею рассчитывать на доброжелательство в обществе, то чему же, например, я обязан за ваше участие и внимание, последним доказательством которых мне служит лежащий предо мной листок, написанный вашею доброжелательною

рукой? Неужто в самом деле тому, что я не хотел позволить где-то и кому-то говорить о вас вздорные и пустые слова, обстоятельство, которое вы помните с приводящим меня в стыд постоянством?.. Глафира Васильевна! я очень люблю Филетера Ивановича, но я готов разлюбить его за его болтливость, с которою он передал вам почти трактирную, недостойную сцену мою с Висленевым, который лепетал о вас что-то тогда, отнюдь не по зложелательству, а по тогдашнему, довольно многим общему влечению к так называвшейся „очистительной критике“. Форов не должен был ничего сообщать об этом случае, незначащем и недостойном никакого внимания, как и вы, мне кажется, не должны напоминать мне об этом, поселяя тем неприятное чувство к добродушному Филетеру Ивановичу. Попросить человека перестать говорить не совсем хорошо о женщине, поверьте, самый простой поступок, который всякий сделает по такому же естественному побуждению, по какому человек желает не видать неприятного зрелища или не слыхать раздирающих звуков. При известной слабости нервов и известной привычке потворствовать им, я в том случае, который стараюсь объяснить вам, поступил бы одинаково, какой бы женщины это ни касалось. И затем последнее: за приглашение ваше гостить лето у вас в Рыбацком я, разумеется, бесконечно вам благодарен, но принять его я не могу: как ни неприятно оставаться в городе, но я уехать отсюда не могу.

Примите и пр.

Андрей Подозеров».

Бодростина сжала письмо в руке, посидела минуту молча, потом встала и, шепнув: «и ты благословен», вздохнула и ушла в свою спальню.

Через две минуты она снова появилась оттуда в кабинете в пышной белой блузе и с распущенными не длинными, но густыми

темно-русыми волосами, зажгла пахитоску, открыла окно и, став на колени на диван, легла грудью на бархатный матрац подоконника.

«Он бежит меня и tant mieux[11]». Она истерически бросила за окно пахитоску и, хрустнув пальцами обеих рук, соскользнула на диван, закрыла глаза и заснула при беспрестанных мелькaниях слов: «Завтра, завтра, не сегодня – так ленивцы говорят: завтра, завтра». И вдруг пауза, лишь на рассвете в комнату является черноглазый мальчик в розовой ситцевой рубашке, барабанит и громко поет:

Бей, бей, барабан,
Маршируй впереди,
А кто спит, тот болван.
Поскорее буди!..

У Бодростиной дрожат веки, грудь подымается, и она хочет вскрикнуть: «брат! Гриша!», но открывает глаза… Ее комната освещена жарким светом изменчивого утра, девушка стоит пред Глафирой Васильевной и настойчиво повторяет ей: «Сударыня, вас ждут Генрих Иванович Ропшин».

Бодростина мгновенно вскочила, спросила мокрое полотенце, обтерла им лицо и велела привести гостя в бельведер.

– Мне красную шаль, – сказала она возвратившейся девушке и, накинув на плечи требуемую шаль, нетерпеливо вышла из комнаты и поднялась в бельведер.

В фонаре, залитом солнцем, стоял молодой человек, блондин, «нескверный и неблазный», с свернутым в трубку листом бумаги.

Заслышав легкие шаги входившей по лестнице Бодростиной, он встал и подбодрился, но при входе ее тотчас же снова потупил глаза.

Глафира Васильевна остановилась пред ним молча, молодой человек, не сказав ей ни слова, подал ей свернутый лист бумаги.

Глафира Васильевна взяла этот лист, пробежала его первые строки и, сдернув с себя красную шаль, сказала:

– Как здесь сегодня ярко! завесьте, пожалуйста, одно окно этим платком!

«Нескверный и неблазный» юноша молчаливо и робко исполнил ее приказание и, когда оглянулся, увидел Глафиру Васильевну,

стоящую на своем месте, а свиток бумаги у ее ног.

Глафира была бледна как плат, но Ропшин этого не заметил, потому что на ее лицо падало отражение красной шали. Он наклонился к ногам окаменевшей Глафиры, чтобы поднять лист. Бодростина в это мгновение встрепенулась и с подкупающею улыбкой на устах приподняла от ног своих этого белого юношу, взяв его одним пальцем под его безволосый подбородок.

Тот истлел от блаженства и зашатался, не зная куда ему двинуться: вперед или назад?

– Оставьте мне это на два часа, – проговорила Бодростина, держа свиток и стараясь выговаривать каждый слог как можно отчетливее, между тем как язык ее деревенел и ноги подкашивались.

Ропшин, млея и колеблясь, поклонился и вышел.

С этим вместе Глафира Васильевна воскликнула: «я нищая!» и, пошатнувшись, упала без чувств на пол.

Через час после этой сцены в доме Бодростиной ветер ревел, хлестал дождь и гремел гром и реяли молнии.

Дурно запертые рамы распахнулись и в фонаре Бодростинского бельведера, и в комнате Горданова.

Последний, крепко заспавшийся, был разбужен бурей и ливнем; он позвонил нетерпеливо человека и велел ему открыть занавесы и затворить хлопавшую раму.

– Цветы! – доложил ему лакей, подавая букет. Горданов покосился на свежие розы, встал и подошел к окну.

– Ага! загорелась орифлама! – проговорил он, почесав себе шею, и, взяв на столе листочек бумаги, написал: «Дела должны идти хорошо. Проси мне у Тихона Ларионовича льготы всего два месяца: через два месяца я буду богат и тогда я ваш. Занятые у тебя триста рублей посылаю в особом конверте завтра. Муж твой пока еще служит и его надо поберечь».

Горданов запечатал это письмо и, надписав его «в Петербург, Алине Александровне Висленевой», подал конверт слуге, сказав: «Сию минуту сдай на почту, но прежде отнеси эти цветы Ларисе Платоновне Висленевой».

А огненная орифлама все горела над городом в одной из рам бельведера, и ветер рвал ее и хлестал ее мокрые каймы о железные

трубы железных драконов, венчавших крышу хрустальной клетки, громоздившейся на крутой горе и под сильным ветром.

Теперь мы должны покинуть здесь под бурей всех наших провинциальных знакомых и их заезжих гостей я перенестись с тучного и теплого чернозема к холодным финским берегам, где заложен и выстроен на костях и сваях город, из которого в последние годы, доколе не совершился круг, шли и думали вечно идти самые разнообразные новаторы. Посмотрим, скрепя наши сердца и нервы, в некоторые недавно еще столь безобразные и неряшливые, а ныне столь отменившиеся от прошлого клочья этого гнезда, где в остром уксусе «сорока разбойников» отмачиваются и в вымоченном виде выбираются в житейское плаванье новые межеумки, с которыми надо ликовать или мучиться и многозаботливым Марфам, и безвестно совершающим свое течение Мариям.

Путь не тяжел, – срок не долог, и мы откочевываем в Петербург.

Часть вторая
Бездна призывает бездну

Глава первая
Entre chien et loup

[12]

Горданов не сразу сшил себе свой нынешний мундир: было время, когда он носил другую форму. Принадлежа не к новому, а к новейшему культу, он имел пред собою довольно большой выбор мод и фасонов: пред ним прошли во всем своем убранстве Базаров, Раскольников и Маркушка Волохов, и Горданов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил: ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по его мнению, был неумен и слаб – неумен потому, что ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, а слаб потому, что свихнулся пред «богатым телом» женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал слабостью из слабостей. Раскольникова Горданов сравнивал с курицей, которая не может не кудахтать о снесенном ею яйце, и глубоко презирал этого героя за его привычку беспрестанно чесать свои душевные мозоли. Маркушка Волохов (которого Горданов знал вживе) был, по его мнению, и посильнее, и поумнее двух первых, но ему, этому алмазу, недоставало шлифовки, чтобы быть бриллиантом, а Горданов хотел быть бриллиантом и чувствовал, что к тому уже настало удобное время.

Павел Николаевич – человек происхождения почти безвестного, но романического: он сын московской цыганки и старшего брата Михаила Андреевича Бодростина. Отец его некогда истратил чудовищные деньги на ухаживание за его матерью и еще большие – на выкуп ее из табора; но, прожив с нею один год с глазу на глаз в деревне, наскучил ее однообразными ласками и вывел ее в особый хуторок, а сам женился на девушке соответственного положения. Мать Павла Николаевича этого не снесла: как за нею ни присматривали на хуторе, она обманула своих приставников, убежала в прежнее обиталище к своему изменнику и пришла как раз во время свадебного пира. Ее не пустили, она взобралась на берег Оки, не помня себя, в муках и бешенстве родила здесь ребенка и, может быть, не помня же себя, бросилась в воду и утонула. Ребенок был взят; его назвали в крещении Павлом и записали на имя бедного мелкопоместного

дворянина Горданова, которому подарили за это семью людей. Чтобы Павел Горданов не мотался на глазах, его свезли сначала в уездный городишко и отдали на воспитание акушерке; отсюда восьми лет его перевезли в губернский пансион, а из пансиона, семнадцати лет, отправили в Петербургский университет. Отца своего Горданов никогда не помнил, судьбами мальчика всегда распоряжался Михаил Андреевич Бодростин, которого Павел Николаевич видал раз в год. К семнадцатому году своего возраста Павел Николаевич освободился от всех своих родных, как истинных, так и нареченных: старший Бодростин умер; супруги Гордановы, фамилию которых носил Павел Николаевич, также переселились в вечность, и герой наш пред отправлением своим в университет получил из рук Михаила Андреевича Бодростина копию с протокола дворянского собрания об утверждении его, Павла Николаевича Горданова, в дворянстве и документ на принадлежность ему деревни в восемьдесят душ, завещанной ему усопшим Петром Бодростиным. Все остальное большое состояние бездетного старого Бодростина перешло к его вдове и брату, нынешнему мужу Глафиры Васильевны Бодростиной, урожденной Агатовой.

Павел Горданов был от природы умен и способен; учился он хорошо; нужды никогда не знал и не боялся ее: он всегда был уверен, что бедность есть удел людей глупых. Унижаем он никогда не был, потому что всегда он был одет и обут хорошо; постоянно имел у себя карманные деньги, считался дворянином и умел не дозволять наступать себе на ногу. В жизни его было только одно лишение: Горданов не знал родных ласк и не видал, как цветут его родные липы, но он об этом и не заботился: он с отроческой своей поры был всегда занят самыми серьезными мыслями, при которых нежные чувства не получали места. Горданов рано дошел до убеждения, что все эти чувства – роскошь, гиль, путы, без которых гораздо легче жить на белом свете, и он жил без них. Базаровцы ему приходились не по обычаю: мы выше сказали, что базаровцы казались ему непрактичными, но сила вещей брала свое, надо было примыкать к этой силе, и Горданов числился в студенческой партии, которою руководил бурнопламенный, суетливый и суетный Висленев. Сначала Горданов держался этой партии единственно только для мундира и положения, и потому, когда на Висленева и его ближайших

сотоварищей рухнула туча, удивившая всех тем, что из нее вышел очень маленький гром, Горданов остался здрав и невредим. Его ничто не задело, и он во время отсутствия разосланных верховодов даже подвинулся немножечко вперед, получил некоторый вес и значение. Наступившая пора entre chien et loup показала Павлу Николаевичу, что из бреда, которым были полны пред тем временем отуманенные головы, можно при самой небольшой ловкости извлекать для себя громадную пользу. Надо было только стать на виду и, если можно, даже явиться во главе движения, но, конечно, такого движения, которое бы принесло выгоды, а не спровадило вослед неосторожного Висленева и его товарищей. Павел Николаевич быстро воспользовался положением. Видя в кружке «своих» амурные заигрыванья с поляками, он провозгласил иезуитизм. «Свои» сначала от этого осовели, но Горданов красноречиво представлял им картины неудач в прошлом, – неудач, прямо происшедших от грубости базаровской системы, неизбежных и вперед при сохранении старой, так называемой нигилистической системы отношений к обществу, и указал на несомненные преимущества борьбы с миром хитростию и лукавством. В среде слушателей нашлись несколько человек, которые на первый раз немножко смутились этим новшеством, но Горданов налег на естественные науки; указал на то, что и заяц применяется к среде – зимой белеет и летом темнеет, а насекомые часто совсем не отличаются цветом от предметов, среди которых живут, и этого было довольно: гордановские принципы сначала сделались предметом осуждения и потом быстро стали проникать в плоть и кровь его поклонников.

К этому времени гордановской жизни относится приобретение им себе расположения Глафиры Агатовой, чему он не придавал большой цены, и потом потеря ее, с чем он едва справился, наделав предварительно несколько глупостей, не отвечавших ни его намерениям, ни его планам, ни тем принципам, которые он вырабатывал для себя и внушал другим.

Без ошибок было нельзя, и пригонка нынешнего спокойного, просторного и теплого мундира Горданову обошлась ему не без хлопот: надо было выбираться из хаоса страшно переплетенных и перепутанных понятий, уставов и преданий, в которых не было ничего стройного и без которых нельзя было вывести никакого плана и

никакой системы для дальнейших действий. Павлу Николаевичу не трудно было доказать, что нигилизм стал смешон, что грубостию и сорванечеством ничего не возьмешь; что похвальба силой остается лишь похвальбой, а на деле бедные новаторы, кроме нужды и страданий, не видят ничего, между тем как сила, очевидно, слагается в других руках. Это уже давно чувствовали и другие, но только они не были так решительны и не смели сказать того, что сказал им Горданов; но зато же Павел Николаевич нашел себе готовую большую поддержку. Все, желавшие снять с себя власяницу и вериги нигилизма, были за Горданова, и с их поддержкой Павел Николаевич доказал, что поведение отживших свой век нигилистов не годится никуда и ведет к погибели. Когда Горданов представил все это в надлежащем положении, все поняли, что это действительно так, и что потому, стало быть, нужно сделать свод всему накопившемуся хламу полуречий и недомолвок и решить, чем вперед руководствоваться.

Кому же было заняться этим сводом, как не Горданову? Он за это и взялся, и в длинной речи отменил грубый нигилизм, заявленный некогда Базаровым в его неуклюжем саке, а вместо его провозгласил *негилизм*– гордановское учение, в сути которого было понятно пока одно, что *негилистам* дозволяется жить со всеми на другую ногу, чем жили нигилисты. Дружным хором кружок решил, что Горданов велик.

Глава вторая
Враги г. Горданова

Но как всякое величие должно иметь недоброжелателей и врагов, то не обошлось без них и у Павла Николаевича.

Горданов в своей законодательной деятельности встречал немало неприятных противоречий со стороны некоторых тяжелых людей, недовольных его новшествами и составивших староверческую партию посреди новых людей. Во главе этих беспокойных староверов более всех надоедала Горданову приземистая молоденькая девушка, Анна Александровна Скокова, особа ограниченная, тупая, рьяная и до того скорая, что в устах ее изо всего ее имени, отчества и фамилии, когда она их произносила, по скорости, выходило только *Ванскок*, отчего ее, в видах сокращения переписки, никогда ее собственным именем и не звали, а величали ее в глаза Ванскоком, а за глаза или «Тромбовкой» или «Помадною банкой», с которыми она имела некоторое сходство по наружному виду и крепкому сложению.

Староверка Ванскок держалась древнего нигилистического благочестия; хотела, чтобы общество было прежде уничтожено, а потом обобрано, между тем как Горданов проповедовал план совершенно противоположный, то есть, чтобы прежде всего обобрать общество, а потом его уничтожить.

– В чем же преимущество его учения? – добивалась Ванскок.

– В том, что его игра беспроигрышна, в том, что при его системе можно выигрывать при всяком расположении карт, – внушали Ванскок люди, перемигнувшиеся с Гордановым и поддерживавшие его с благодарностью за то, что он указал им удобный лаз в сторону от опостылевших им бредней.

– В таком случае это наше новое учение будет сознательная подлость, а я не хочу иметь ничего общего с подлецами, – сообразила и ответила прямая Ванскок.

Она в эти минуты представляла собою того приснопоминаемого мольеровского мещанина, который не знал, что он всю жизнь говорил прозой.

Чтобы покончить с этой особой и с другими немногими щекотливыми лицами, стоявшими за старую веру, им объявили, что новая теория есть «дарвинизм». Этим фортелем щекотливость была успокоена и старой вере нанесен окончательный удар. Ванскок смирилась и примкнула к хитрым нововерам, но она примкнула к ним только внешнею стороной, в глубине же души она чтила и любила людей старого порядка, гражданских мучеников и страдальцев, для которых она готова была срезать мясо с костей своих, если бы только это мясо им на что-нибудь пригодилось. Таких страдальцев в эту пору было очень много, все они были не устроены и все они тяжко нуждались во всякой помощи, – они первые были признаны за гиль, и о них никто не заботился. По новым гордановским правилам, не следовало делать никаких непроизводительных затрат, и расходы на людей, когда-нибудь компрометированных, были объявлены расходами непроизводительными. Общительность интересов рушилась, всякому предоставлялось вредить обществу по-своему.

Ванскок это возмутило до бешенства. Она потребовала обстоятельнейших объяснений, в чем же заключается «дарвинизм» нового рода?

– Глотай других, чтобы тебя не проглотили, – отвечали ей коротко и небрежно.

Но от Ванскок не так легко было отвязаться.

– Это теория, – сказала она, – но в чем же экспериментальная часть дела?

– В борьбе за существование, – было ей тоже коротким ответом.

– Ну позвольте, прежде я верила в естественные науки, теперь во что же я буду верить?

– Не верьте ни во что, все, во что вы верили, – гиль, не будьте никакою гилисткой.

– Но как приучить себя к этому? – мутилась несчастная Ванскок. – Я прежде работала над Боклем, демонстрировала над лягушкой, а теперь… я ничего другого не умею: дайте же мне над кем работать, дайте мне над чем демонстрировать.

Ей велели работать над своими нервами, упражнять их «силу».

– Как?

Ей дали в руки кошку и велели задушить ее рукой.

Ванскок ни на минуту не подумала, что это шутка: она серьезно взяла кошку за горло, но не совладела ни с нею, ни с собою: кошка ее оцарапала и убежала.

– Из этого вы видите, – сказали ей, – что эксперименты с кошкой гораздо труднее экспериментов с лягушкой.

Ванскок должна была этому поверить. Но сколько она ни работала над своими нервами, результаты выходили слабые, между тем как одна ее знакомая, дочь полковника Фигурина, по имени Алина (нынешняя жена Иосафа Висленева), при ней же, играя на фортепиано, встала, свернула голову попугаю и, выбросив его за окно, снова спокойно села и продолжала доигрывать пьесу.

Эта «сила нервов» поражала и занимала скорбную головой девицу, и она проводила время в упражнениях над своею нервною системой, не замечая, что делали в это время другие, следуя гордановской теории; и вдруг пред ней открылась ужасная картина неслыханнейших злодеяний.

Во-первых, все члены кружка мужского пола устремились на службу; сам Горданов пошел служить в опольщенный край и… гордановцы все это оправдали всем своим сонмом.

– Это ловко, – сказали они, и более ничего.

Мелкий газетный сотрудник, Тихон Ларионович Кишенский, пошел в полицейскую службу.

– Это очень ловко, – говорили гордановцы, – он может быть полезен своим.

Кишенский открыл кассу ссуд.

– Это чрезвычайно умно, – говорили те же люди, – пусть он выбирает деньги у подлецов и выручит при случае своих.

Кишенский пошел строчить в трех разных газетах, трех противоположных направлений, из коих два, по мнению Ванскок, были безусловно «подлы». Он стал богат; в год его уже нельзя было узнать, и он не помог никому ни своею полицейскою службой, ни из своей кассы ссуд, а в печати, если кому и помогал одною рукой, то другой зато еще злее вредил, но с ним никто не прерывал никаких связей.

– Он подлец! – вопияла Ванскок.

– Ничуть не бывало, – отвечали ей, – он только борется за существование.

Далее… далее, жиду Тишке Кишенскому стали кланяться; Ванскок попала в шутихи; над ней почти издевались в глаза.

Далее… Далее страхи!

Коварная красавица Глафира Васильевна Агатова предательски изменила принципу безбрачия и вышла замуж церковным браком за приезжего богатого помещика Бодростина, которого ей поручалось только не более как обобрать, то есть стянуть с него хороший куш «на общее дело». Глафира обманула всех и завершила дело ужасное: она поставила свою красоту на большую карту и вышла замуж. Ей за это жестоко мстили все и особенно не очень красивая и никогда не надеявшаяся найти себе мужа Алина Фигурина и Ванскок, защищенные самою природой от нарушения обетов вечного девства.

Они выдали Михаилу Андреевичу Бодростину тайну отношений Горданова к Глафире и, как мы видели из слов этой дамы, навсегда испортили ее семейное положение.

С Бодростиной строго взыскано, и это прекрасно, но зато, что же за ужасный случай был через год!

Некто из правоверных, Казимира Швернотская, тоже красавица, как и Бодростина, никого не спросясь, вышла замуж за богатого князя Вахтерминского, и что же? Все с неслыханною дерзостью начали ее поддерживать, что она хорошо сделала. Это говорили и Пасиянсова, и Бурдымовская, и Ципри-Кипри, и другие. Ципри-Кипри, маленькая барышня с картофельным носом, даже до того забылась, что начала проводить преступную мысль, будто бы женщине, живущей с мужчиной, должно быть какое-нибудь название, а название-де ей одно «жена», и потому брак нужно дозволить, и проч., и проч. Возмутительное вольномыслие это имело ужасные последствия: так, красивая армянка Пасиянсова, наслушавшись таких суждений, ни с того, ни с сего вдруг приходит раз и объявляет, что она вышла замуж.

– Как, что, за кого? – удивились все хором.

– Мой муж путеец, Парчевский, – отвечала Пасиянсова.

– Парчевский! Путеец!.. Ну молодчина вы, Пасиянсова! – воскликнули все снова хором.

Одна Ванскок, разумеется, не похвалила бывшую Пасиянсову и заметила ей, что Парчевский был всегда против брака.

– Мало ли против чего они бывают! – небрежно отвечала ей бывшая Пасиянсова. – А на что же даны мужчине кровь, а женщине

ум? Товар полюбится и ум расступится!

– Так это вы его заставили изменить принципу?

– Конечно, я. Неужто я и такого вздора не стою?

– И вы это без стыда так прямо говорите!

– Да, вот так прямо и говорю.

– Я на вас соберу сходку!

Пасиянсова только расхохоталась в глаза.

Наконец дошло до того, что сама Алина Фигурина, недавно яростно мстившая Бодростиной за ее замужество пересылкой ее мужу писем Глафиры к Горданову, уже относилась к браку Пасиянсовой с возмущавшим Ванскок равнодушием. Это был просто омут, раж, умопомрачение. Даже белокурая, голубоглазая Геба коммун, Данка Бурдымовская, тоже объявилась замужем, и все это опять неожиданно, и все это опять нечаянно, негаданно и недуманно.

Опять те же вопросы: как, что и за кого? И на все это спокойный рассказ, что Данка нашла себе избранника где-то совсем на стороне, какого-то Степана Александровича Головцына, которого встретила раз у литератора-ростовщика Тихона Ларионовича, прошлась с ним до своей квартиры, другой раз зашла к нему, увидала, что он тучен и изобилен, и хотя не литератор, а просто ростовщик, однако гораздо более положительный и солидный, чем Тихон Ларионович, и Данка обвенчалась, никем незримая, законным браком с Головцыным, которого пленила своими белыми плечами и уменьем делать фрикадельки из вчерашнего мяса.

– По крайней мере одно хотя, – сказала Ванскок Данке, – надеюсь же по крайней мере, что вы, Данка, тряхнете мошну своего ростовщика и поможете теперь своим.

– Эх, милый друг, – ответила Данка, едва удостоивая Ванскок мимолетного взгляда, – Головцын такой кремешок, что из него ничего не выкуешь.

При всей непроницательности Ванскок, она хорошо видела, что все эти госпожи врут и виляют, и Ванскок отвернулась от них и плакала о них, много, горько плакала о своем погибшем Иерусалиме, а между тем эпидемия новоженства все свирепела; скоро, казалось, не останется во внебрачном состоянии никого из неприемлющих браков. Ципри-Кипри с ее картофельным носом и та уловила в свои сети какого-то содержателя одного из увеселительных летних садов и

сидела сама у васисдаса и продавала билеты. Об этой даже уж и вести не приходило, как она вышла замуж, а Ванскок только случайно заметила ее в васисдасе и, подскочив, спросила:

– Сколько вы здесь получаете, Ципри-Кипри, и не можете ли устроить сюда еще кого-нибудь из наших старинных?..

Но Ципри-Кипри не дала ей окончить и проговорила:

– Я здесь, душка, не по найму, я тут замужем.

Ванскок плюнула и убежала.

Негодование Ванскок росло не по дням, а по часам, и было от чего: она узнала, к каким кощунственным мерам прибегают некоторые лицемерки, чтобы наверстать упущенное время и выйти замуж.

Казимира Швернотская, как оказалось, за пояс заткнула Глафиру Агатову и отлила такую штуку, что все разинули рты. Двадцатилетний князек Вахтерминский, белый пухлый юноша, ненавидел брак, двадцатипятилетняя Казимира тоже, на этом они и сошлись. Не признающей брака Казимире вдруг стала *угрожать родительская власть*, и потому, когда Казимира сказала: «Князь, сделайте дружбу, женитесь на мне и дайте мне свободу», – князь не задумался ни на одну минуту, а Казимира Швернотская сделалась княгиней Казимирой Антоновной Вахтерминской, что уже само по себе нечто значило, но если к этому прибавить красоту, ум, расчетливость, бесстыдство, ловкость и наглость, с которою Казимира на первых же порах сумела истребовать с князя обязательство на значительное годовое содержание и вексель во сто тысяч, «за то, чтобы жить, не марая его имени», то, конечно, надо сказать, что княгиня устроилась недурно.

Литератор и ростовщик Тихон Ларионович, знавший толк во всех таких делах, только языком почмокал, узнав, как учредила себя Казимира.

– После Бодростиной это положительно второй смелый удар, нанесенный обществу нашими женщинами, – объявил он дамам и добавил, что, соображая обе эти работы, он все-таки видит, что искусство Бодростиной выше, потому что она вела игру с многоопытным старцем, тогда как Казимира свершила все с молокососом; но что, конечно, здесь в меньшем плане больше смелости, а главное больше силы в натуре: Бодростина живая, страстная женщина, любившая Горданова сердцем горячим и неистовым, не стерпела и склонилась к нему снова, и на нем потеряла

почти взятую ставку. Княгиня же Казимира Вахтерминская, обеспечась как следует насчет русского князя, сплыла в Варшаву, а оттуда в Париж, где, кажется, довольно плохо сдерживает свое обязательство не марать русское княжеское имя. По крайней мере так были уверены все служащие в конторе банкира R*, откуда княгиня получала содержание, определенное ей от князя.

И все это оправдывалось, и всему этому следовали с завистью, с алчбой, лишь бы только удалось… Но такие фокусы нельзя часто повторять, и в этом их неудобство. Требуются постоянные усовершенствования, а изобретательные головы родятся не часто, и вот дело опять очутилось в заминке: браки попритихли.

Весталка Ванскок радовалась и с язвительной доброжелательностию говорила, что необходимо, чтобы опять явился назад Горданов, а он вдруг, как по ее слову, и явился удивить собою Петербург, или сам ему удивиться.

Глава трерья
Свой своего не узнал

Возвратясь в Петербург после трехлетнего отсутствия, Горданов был уверен, что здесь в это время весь хаос понятий уже поосел и поулегся, – так он судил по рассказам приезжих и по тону печати, но стройность, ясность и порядок, которые он застал здесь на самом деле, превзошел его ожидания и поразили его. Никакой прежней раскольничьей нетерпимости и тени не было. Ученики в три года ушли много дальше своего учителя и представляли силу, которой ужаснулся сам Горданов. Какие люди! какие приемы! просто загляденье! Вот один уже заметное лицо на государственной службе; другой – капиталист; третий – известный благотворитель, живущий припеваючи на счет филантропических обществ; четвертый – спирит и сообщает депеши из-за могилы от Данта и Поэ; пятый – концессионер, наживающийся на казенный счет; шестой – адвокат и блистательно говорил в защиту прав мужа, насильно требующего к себе свою жену; седьмой литераторствует и одною рукой пишет панегирики власти, а другою – порицает ее. Все это могло поразить даже Горданова, и поразило. Ясно, что его обогнали и что ему, чтобы не оставаться за флагом, надо было сделать прыжок через все головы. Он и не сробел, потому что он тоже приехал не с простыми руками и с непустой головой: у него в заповедной сумке было спрятано мурзамецкое копье, от которого сразу должна была лечь костьми вся несметная рать и сила великая. Богатырю нашему только нужно было к тому копью доброе древко, и он немедленно же пустился поискать его себе в давно знакомом чернолеске.

Павел Николаевич вытребовал Ванскок, приветил ее, дал ей двадцать пять рублей на бедных ее староверческого прихода (которым она благотворила втайне) и узнал от нее, что литераторствующий ростовщик Тихон Кишенский развернул будто бы огромные денежные дела. Павел Николаевич в этом немножко поусомнился.

– На большие дела, голубка Ванскок, нужны и не малые деньги, – заметил он своей гостье, нежась пред нею на диване.

– А разве же у него их не было? – прозвенела в ответ Ванскок.

– Были? Вы «бедная пастушка, ваш мир лишь этот луг» и вам простительно не знать, что такое нынче называется порядочные деньги. Вы ведь, небось, думаете, что «порядочные деньги» это значит сто рублей, а тысяча так уж это на ваш взгляд несметная казна.

– Не беспокойтесь, я очень хорошо знаю, что значит несметная казна.

– Ну что же это такое, например, по-вашему?

– По-моему, это, например, тысяч двести или триста.

– Ага! браво, браво, Ванскок! Хорошо, вы, я вижу, напрактиковались и кое-что постигаете.

Помадная банка сделала ироническую гримаску и ответила:

– Ужа-а-сно! есть что постигать!

– Нет, право, навострилась девушка хоть куда; теперь вас можно даже и замуж выдавать.

– Мне эти шутки противны.

– Ну, хорошо, оставим эти шутки и возвратимся к нашему Кишенскому.

– Он больше ваш, чем мой, подлый жид, которого я ненавижу.

– Ну, все равно, но дело в том, что ведь ему сотню тысяч негде было взять, чтобы развертывать большие дела. Это вы, дитя мое, легкомысленностью увлекаетесь.

– Отчего это?

– Оттого, что я оставил его два года тому назад с кассой ссуд в полтораста рублей, из которых он давал по три целковых Висленеву под пальто, да давал под ваши схимонашеские ряски.

– Ну и что же такое?

– Да вот только и всего, неоткуда ему было, значит, так разбогатеть. Я согласен, что с тех пор он мог удесятерить свой капитал, но усотерить…

– А он его утысячерил!

Горданов посмотрел снисходительно на собеседницу и, улыбаясь, проговорил:

– Не говорите, Ванскок, такого вздора.

– Это не вздор-с, а истина.

– Что ж это, стало быть, у него, по-вашему, теперь до полутораста тысяч?

– Если не больше, – спокойно ответила Ванскок.

– Вы сходите с ума, – проговорил тихо Горданов, снова потягиваясь на диване. – Я вам еще готов дать пятьдесят рублей на вашу богадельню, если вы мне докажете, что у Кишенского был источник, из которого он хватил капитал, на который бы мог так развернуться.

– Давайте пятьдесят рублей.

– Скажите, тогда и дам.

– Нет, вы обманете.

– Говорю вам, что не обману.

– Так давайте.

– Нет, вы прежде скажите, откуда Тишка взял большой капитал?

– Фигурина дала.

– Кто-о-о?

– Фигурина, Алина Фигурина, дочь полицейского полковника, который тогда, помните, арестовал Висленева.

Горданов наморщил брови и с напряженным вниманием продолжал допрашивать:

– Что же эта Алина – вдова или девушка?

– Да, она не замужем.

– Сирота, стало быть, и получила наследство?

– Ничуть не бывало.

– Так откуда же у нее деньги? Двести тысяч, что ли, она выиграла?

– Отец ее награбил себе денег.

– Да ведь то отец, а она-то что же такое?

– Она украла их у отца.

– Украла?

– Что, это вас удивляет? Ну да, она украла.

– Что ж она – воровка, что ли?

– Зачем воровка, она до сих пор честная женщина: отец ее был взяточник и, награбивши сто тысяч, хотел все отдать сыну, а Алине назначил в приданое пять тысяч.

– А она украла все!

– Не все, а она разделила честно: взяла себе половину.

– Пятьдесят тысяч!

– Да; а другую такую же половину оставила брату просвистывать с француженками у Борелей да у Дононов и, конечно, сделала это

очень глупо.

– Вы бы ничего не оставили?

– Разумеется, у ее брата есть усы и шпоры, он может звякнуть шпорами и жениться.

– А отец?

– У отца пенсион, да ему пора уж и издохнуть; тогда пенсион достанется Алинке, но она робка…

– Да… она робка? Гм!.. вот как вы нынче режете: она робка!.. то есть нехорошо ему чай наливает, что ли?

– Понимайте, как знаете.

– Ого-го, да вы взаправду здесь какие-то отчаянные стали.

– Когда пропали деньги, виновных не оказалось, – продолжала Ванскок после маленькой паузы.

– Да?

– Да; люди, прислуга их, сидели более года в остроге, но все выпущены, а виновных все-таки нет.

– Да ведь виновная ж сама Алина!

– Ну, старалась, конечно, не дать подозрения.

– Какое тут, черт, подозрение, уж не вы одни об этом знаете! А что же ее отец и брат, отчего же им это в носы не шибнуло?

– Может быть, и шибнуло, но на них узда есть – семейная честь. Их дорогой братец ведь в первостепенном полку служит, и нехорошо же для них, если сестрицу за воровство на Мытной площади к черному столбу привяжут; да и что пользы ее преследовать, денег ведь уж все равно назад не получить, деньги у Кишенского.

– У Кишенского!.. Все пятьдесят тысяч у Кишенского! – воскликнул Горданов, раскрыв глаза так, как будто он проглотил ложку серной кислоты и у него от нее внутри все загорелось.

– Ну да, не класть же ей было их в банк, чтобы ее поймали, и не играть самой бумагами, чтобы тоже огласилось. Кишенский ей разрабатывает ее деньги – они в компании.

– А-а, в компании, – прошипел Горданов. – Но почему же она так ему верит? Ведь он ее может надуть как дуру.

– Спросите ее, почему она ему верит? Я этого не знаю.

– Любва, что ли, зашла?

– Даже щенок есть.

– Она замуж за него, может быть, собирается?

– Он женат.

Горданов задумался и через минуту произнес нараспев:

– Так вот вы какие стали, голубчики! А вы, моя умница, знаете ли, что подобные дела-то очень удобно всплывают на воду по одной молве?

– Конечно, знаю, только что же значит бездоказательная молва, когда старик признан сумасшедшим, и все его показание о пропаже пятидесяти тысяч принимается, как бред сумасшедшего.

– Бред сумасшедшего! Он сумасшедший?

– Да-а-с, сумасшедший, а вы что же меня допрашиваете! Мы ведь здесь с вами двое с глаза на глаз, без свидетелей, так вы немного с меня возьмете, если я вам скажу, что я этому не верю и что верить здесь нечему, потому что пятьдесят тысяч были, они действительно украдены, и они в руках Кишенского, и из них уже вышло не пятьдесят тысяч, а сто пятьдесят, и что же вы, наконец, из всего этого возьмете?

– Но вы сами можете отсюда что-нибудь взять, любезная Ванскок! Вы можете взять, понимаете? Можете взять благородно, и не для себя, а для бедных вашего прихода, которым нечего лопать!

– Благодарю вас покорно за добрый совет; я пока еще не доносчица, – отвечала Ванскок.

– Но ведь вас же бессовестно эксплуатируют: себе все, а вам ничего.

– Что ж, в жизни каждый ворует для себя. Борьба за существование!

– Ишь ты, какая она стала! А вы знаете, что вы могли бы облагодетельствовать сотни преданных вам людей, а такая цель, я думаю, оправдывает всякие средства.

– Ну, Горданов, вы меня не надуете.

– Я вас не надую!.. да, конечно, не надую, потому что вы не волынка, чтобы вас надувать, а я…

– А вы хотели бы заиграть на мне, как на волынке? Нет, прошло то время, теперь мы сами с усами, и я знаю, чего вам от меня надобно.

– Чего вы знаете? ничего вы не знаете, и я хочу перевести силу из чужих рук в ваши.

– Да, да, да, рассказывайте, разводите мне антимонию-то! Вы хотите сорвать куртаж!

– *Куртаж!..* Скажите, пожалуйста, какие она слова узнала!.. Вы меня удивляете, Ванскок, это все было всегда чуждо вашим чистым понятиям.

– Да, подобные вам добрые люди перевоспитали, полно и мне быть дурой, и я поняла, что, с волками живучи, надо и выть по-волчьи.

– Так войте ж! Войте! Если вы это понимаете! – сказал ей Горданов, крепко стиснув Ванскок за руку повыше кисти.

– Что вы это, с ума, что ли, сошли? – спокойно спросила его, не возвышая голоса, Ванскок.

– Живучи с волками, войте по-волчьи и не пропускайте то, что плывет в руки. Что вам далось это глупое слово «донос», все средства хороши, когда они ведут к цели. Волки не церемонятся, режьте их, душите их, коверкайте их, подлецов, воров, разбойников и душегубов!

– И потом?

– И потом… чего вы хотите потом? Говорите, говорите, чего вы хотите?.. Или, постойте, вы гнушаетесь доносом, ну не надо доноса…

– Я думаю, что не надо, потому что я ничего не могу доказать, и не хочу себе за это беды.

– Беды, положим, не могло быть никакой, потому что донос можно было сделать безымянный.

– Ну, сделайте?

– Но, я говорю, не надо доноса, а возьмите с них отсталого, с Кишенского и Фигуриной.

– Покорно вас благодарю!

– Вы подождите благодарить! Мы с вами станем действовать заодно, я буду вам большой помощник, неподозреваемый и незримый.

У Горданова зазвенело в ушах и в голове зароился хаос мыслей.

Ванскок заметила, что собеседник ее весь покраснел и даже пошатнулся.

– Ну, и что далее? – спросила она.

– Далее, – отвечал Горданов, весь находясь в каком-то тумане, – далее… мы будем сила, я поведу вам ваши дела не так, как Кишенский ведет дела Фигуриной…

– Вы все заберете себе!

– Нет, клянусь вам богом… клянусь вам… не знаю, чем вам клясться.

– Нам нечем клясться.

– Да, это прескверно, что нам нечем клясться, но я вас не обману, я вам дам за себя двойные, тройные обязательства, наконец… черт меня возьми, если вы хотите, я женюсь на вас… А! Что вы? Я это взаправду… Хотите, я женюсь на вас, Ванскок? Хотите?

– Нет, не хочу.

– Почему? Почему вы этого не хотите?

– Я не люблю ребятишек.

– У нас не будет, Ванскок, никаких ребятишек, решительно никаких не будет, я вам даю слово, что у нас не будет ребятишек. Хотите, я вам дам это на бумаге?

– Горданов, я вам говорю, вы сошли с ума.

– Нет, нет, я не сошел с ума, а я берусь за ум и вас навожу на ум, – заговорил Горданов, чувствуя, что вокруг него все завертелось и с головы его нахлестывают шумящие волны какого-то хаоса. – Нет; у вас будет пятьдесят тысяч, они вам дадут пятьдесят тысяч, охотно дадут, и ребятишек не будет… и я женюсь на вас… и дам вам на бумаге… и буду вас любить… любить…

И он, говоря это слово, неожиданно привлек к себе Ванскок в объятия и в то же мгновение… шатаясь, отлетел от нее на три шага в сторону, упал в кресло и тяжело облокотился обеими руками на стол.

Ванскок стояла посреди комнаты на том самом месте, где ее обнял Горданов; маленькая, коренастая фигура Помадной банки так прикипела к полу всем своим дном, лицо ее было покрыто яркою краской негодования, вывороченные губы широко раскрылись, глаза пылали гневом и искри лись, а руки, вытянувшись судорожно, замерли в том напряжении, которым она отбросила от себя Павла Николаевича.

Гордановым овладело какое-то истерическое безумие, в котором он сам себе не мог дать отчета и из которого он прямо перешел в бесконечную немощь расслабления. Прелести Ванскок здесь, разумеется, были ни при чем, и Горданов сам не понимал, на чем именно он тут вскипел и сорвался, но он был вне себя и сидел, тяжело дыша и сжимая руками виски до физической боли, чтобы отрезвиться и опамятоваться под ее влиянием.

Он чувствовал, что он становится теперь какой-то припадочный; прежде, когда он был гораздо беднее, он был несравненно спокойнее, а теперь, когда он уже не без некоторого запасца, им овладевает бес, он не может отвечать за себя. Так, чем рана ближе к заживлению, тем она

сильнее зудит, потому-то Горданов и хлопотал скорее закрыть свою рану, чтобы снова не разодрать ее в кровь своими собственными руками.

Душа его именно зудела, и он весь был зуд, – этого состояния Ванскок не понимала. Справедливость требует сказать, что Ванскок все-таки была немножко женщина, и если не все, то нечто во всей только что происшедшей сцене она все-таки приписывала себе.

Это ей должно простить, потому что ей был уже не первый снег на голову; на ее житейском пути встречались любители курьезов, для которых она успела представить собою интерес, но Ванскок была истая весталка, – весталка, у которой недаром для своей репутации могла бы поучиться твердости восторженная Норма.

Глава четвертая
Бой тарантула с ехидной

Тягостное молчание этой сцены могло бы длиться очень долго, если б его первая не прервала Ванскок. Она подошла к Горданову и, желая взять деньги, коснулась его руки, под которою до сих пор оставалась ассигнация.

Горданов оглянулся.

– Что вам от меня нужно? – спросил он. – Ах, да… ваши деньги… Ну, извините, вы их не заслужили, – и с этим Павел Николаевич, едва заметно улыбнувшись, сжал в руке билет и сунул его в жилетный карман.

Ванскок повернулась и пошла к двери, но Горданов не допустил ее уйти, он взял ее за руку и остановил.

– Скажите, вы этого не ожидали? – заговорил он с нею в шутливом тоне.

– Чего? Того, что вы захватите мои деньги? Отчего же? Я от вас решительно всего ожидаю.

– И вот вы и ошиблись; я, к сожалению, на очень многое еще неспособен.

– Например?

– Например! что «например»? например, нате вам ваши деньги.

Ванскок протянула руку и взяла скомканную и перекомканную ассигнацию и сказала: «прощайте!»

– Нет, теперь опять скажите, ожидали вы или нет, что я вам отдам деньги? – настаивал Горданов, удерживая руку Ванскок. – Видите, как я добр! Я ведь мог бы выпустить вас на улицу, да из окна опять назад поманить, и вы бы вернулись.

– Разумеется, вернулась бы, деньги нужны.

– Да; ну да уж бог с вами, берите… Что вы на меня остервенились как черт на попа? Не опасайтесь, это не фальшивые деньги, я на это тоже неспособен.

– А почему бы?

– Так, потому, почему вы не понимаете.

– Я бы то гораздо скорей поняла: прямой вред правительству.

– Труппа, труппа, дружище Ванскок, велика нужна, специалисты нужны!

– Ну, так что же такое? Людей набрать не трудно всяких, и граверов, и химиков.

– А попасться с ними еще легче. Нет, милая девица, я и вам на это своего благословения не даю.

– А между тем поляки и жиды прекрасно это ведут.

– Да; то поляки и жиды, они уже так к этому приучены целесообразным воспитанием: они возьмутся за дело, так одним делом тогда и занимаются, и не спорят, как вы, что честно и что бесчестно, да и они попадаются, а вы рыхлятина, вы на всем переспоритесь и перессоритесь, да и потом все это вздор, который годен только в малом хозяйстве.

– Я что-то этого не понимаю.

– Так уж вы, значит, устроены, чтобы не понимать. Это, голубь мой сизокрылый, экономический закон, в малом хозяйстве многое выгодно, что в большом не годится. Вы сами знаете, деревенский мальчишка продает кошкодаву кошку за пятачок, это и ему выгодно и кошкодаву выгодно; а вы вон с своими кошачьими заводами «на разумных началах» в снег сели. Так тоже наши мужичонки из навоза селитру делают, деготь садят, липу дерут, и все это им выгодно, потому что все это дело мужичье, а настоящий аферист из другого круга за это не берется, а возьмется, так провалится. И на что, на коего дьявола вам фальшивые деньги, когда экспедиция бумаг вам настоящих сколько угодно заготовит, только умейте забирать. А вот вы, вижу, до сих пор брать-то еще не мастерица.

– Нет, знаете, это хорошо брать, как есть где.

– Да, вот вам еще хочется, чтобы вам разложили деньги! А вы чего вот о сю пору глядите, а не берете, что я вам даю?

Он бросил билетик на стол, и Ванскок его подняла.

– У вас много теперь голодной братии? – заговорил снова Горданов.

– Сколько хотите; все голодны.

– И что же, способные люди есть между ними?

– Еще бы!

– Кто же это, например, из способных?

– Хоть, например, Иосаф Висленев.

– Ага! Иосафушка… а он способный?

– А вы как думаете?

– Да, он способный, способный, – отвечал Горданов, думая про себя совсем иное.

– Но отчего же он так бедствует?

– Оттого, что он честен.

– Это значит:

Милый друг, я умираю.
Оттого, что я был честен,
И за то родному краю
Буду, верно, я известен.

Что же, это прекрасно! А он где служит?

– Висленев не может служить.

– Ах, да! он компрометирован, – значит дурак.

– Нет, не потому; он это считает за подлость.

– Вот как! и где же он пробавляется? Неужто все еще до сих пор чужое молоко и чужих селедок ест?

– Он пишет.

– Оды в честь прачек или романы об устройстве школ?

– Нет, он романов не пишет.

– Слава богу; а то я что-то читал дурацкое-предурацкое: роман, где какой-то компрометированный герой школу в бане заводит и потом его за то вся деревня будто столь возлюбила, что хочет за него «целому миру рожу расквасить» – так и думал: уж это не Ясафушка ли наш сочинял? Ну а он что же такое пишет?

– Обозрения.

– Да, разъясняет значение фактов; ну это не по нем. Что ж, платят, что ли, ему не ладно, что он так раскован?

– Все скверно, какая же у нас теперь литература? Ни с кем ужиться нельзя.

– Верно все русское направление гадит?

– А вы даже и над этою мерзостью можете шутить?

– Да отчего же не шутить-то? Отчего же не шутить-то, Ванскок?

– Ну, не знаю: я бы лучше всех этих с русским направлением передушила.

– А между тем ведь и Пугачев, и Разин также были русского направления, и Ванька Каин тоже, и смоленский Трошка тоже! Что, как вы об этом думаете?.. Эх, вы, ягнята, ягнята бедные! Хотите быть командирами, силой, а брезгливы, как староверческая игуменья: из одной чашки с мирянином воды пить не станете! Стыдитесь, господа сила, – вас этак всякое бессилье одолеет. Нет, вы действуйте *органически* врассыпную, – всяк сам для себя, и тогда вы одолеете мир. Понимаете: *всяк для себя*. Прежде всего и паче всего прочь всякий принцип, долой всякое убеждение. Оставьте все это глупым идеалистам «страдать за веру». Поверьте, что все это гиль, все гиль, с которою пропадешь ни за грош. Идеалистам пропадать, разумеется, вздор; их лупи, а они еще радуются, а ведь вы, я полагаю…

– Я, конечно, не хочу, чтобы меня лупили, – перебила живо Ванскок.

– Ну вот в том и штука капитана Кука, – надо, чтобы мы их лупили, и будем лупить, а они пусть тогда у нас под кнутом классически орут: O, quam est dulce et decorum pro patria mori![13] Борьба за существование, дружок, не то что борьба за лягушку. Ага! борясь за существование, надо… не останавливаться ни пред чем… не только пред доносом, но… даже пред клеветой! Что, небось, ужасно? А Мазепа так не думал, тот не ужасался и, ведя измену, писал нашему Петринке:

И видит Бог, не зная света,
Я, бедный гетман, двадцать лет
Служу тебе душою верной,

а между тем и честно, и бесчестно «вредил всем недругам своим». Откуда же у вас, дружище Ванскок, до сих пор еще эта сантиментальность?.. Дивлюсь! Вы когда-то были гораздо смелее. Когда-то Подозерова вы враз стерли, ба! вот и хорошо, что вспомнил, ведь вы же на Подозерова клеветали, что он шпион?

– Да я это с ваших слов говорила.

– Неправда, с висленевских, но это все равно: чем же клевета лучше правдивого доноса?

– Да я на такого, как Подозеров, могу сделать и донос.

– Так в чем же тут разница: стало быть, в симпатии? Один вам милее другого, да?

– Нет, вы этого не понимаете: Кишенский и Линка – это свежие раны…

– Что-о тако-о-е?

– Свежие раны… Зачем шевелить свежие раны? Подозеров всегда был против нас, а эти были наши и не отлагались… это свежая рана!

Горданов посмотрел ей в глаза и, сохраняя наружное спокойствие, засмеялся неудержимым внутренним смехом.

Ванскок со своею теорией «свежих ран» открывала Горданову целую новую, еще не эксплуатированную область, по которой скачи и несись куда знаешь, твори, что выдумаешь, говори, что хочешь, и у тебя везде со всех сторон будет тучный злак для коня и дорога скатертью, а вдали на черте горизонта тридцать девять разбойников, всегда готовые в помощь сороковому.

– Да, да, Ванскок, вы победили меня, – сказал Горданов, – *свежие раны* … вы правы, – все это действительно свежие раны… Действительно надо все прощать, надо все забывать и свежих ран не трогать… Вы правы, вы правы, я этого не понимал.

– Да ведь этого и все с первого раза не понимали, даже и я тоже не понимала. Я тогда гувернанткой жила, и когда мне писали туда, что это здесь принято, и я тоже на всех злилась и не понимала, а потом поняла.

– Ну, вот видите, это взаправду не так просто!

– Да, я говорю, что нам никак нельзя от Петербурга отрешаться.

– А вы долго были гувернанткой?

– Да, целую зиму.

– И бросили?

– Да, меня сюда вызвали некоторые из наших, – писали, что выгодное дело есть, но только это вышло вздор.

– Надули?

– Да, дела не было, – они просто для своих выгод меня выписали, чтобы посылать меня туда да сюда.

– Вот канальи! и вы им за это ничего?

– Все, батюшка, свежие раны, но главное меня раздосадовало, что подлец Кишенский меня на это место послал, а я приехала и узнала, что он себе за комиссию взял больше половины моего жалованья и не сказал мне.

– Ишь, какая тварь! Ну вы его, разумеется, отзвонили и деньги отобрали?

– Ничего я не отзвонила, потому что он нынче держит немца лакея, ужасного болвана, которому он только кивнет, и тот сейчас выпроводит: уже такие примеры были и с Паливодовой, и с Ципри-Кипри, а денег он мне не отдал, потому что, говорит, «вам больше не следует».

– Да как же не следует?

– Так, не стоит, говорит, больше, да еще нагрубил мне и надерзил.

Горданов тронул Ванскок за руку и, улыбнувшись, покачал укоризненно головой.

Ванскок не поняла этого киванья и осведомилась: в чем дело?

– На что же это опять старые перья показывать! Что это за слово «надерзил»?

– А как же надо сказать?

– «Наговорил дерзостей».

– Зачем же два слова вместо одного? Впрочем, ведь вы поняли, так, стало быть, слово хорошо, а что до Кишенского, то Висленев даже хотел было его за меня в газетах пропечатать, но я не позволила: зачем возбуждать!

– Свежая рана?

– Конечно, свежая рана, – и так уже много всякой дряни выплывает наружу, а еще как если мы сами станем себя разоблачать, тогда…

– Нет, нет, нет, как это можно! Не надо этого: раны в самом деле очень свежи.

– То-то и есть; гласность, это такая штука, с которою надо быть осторожным.

– Именно, Ванскок, именно надо быть осторожным, а еще лучше, чтоб ее совсем вывесть, чтоб ее, по-старинному, вовсе не было, чтобы свежих-то ран не будоражить и не шевелить, а всех бы этих и щелкоперов-то побоку, да к черту!

– Я тоже и сама так думала, и оно бы очень не трудно, да Кишенский находит, что они не вредят: он сам издал один патриотический роман, и сам его в одной газете ругал, а в другой – хвалил и нажил деньги.

– Пожалуй, что он ведь и прав.

– А конечно! а что общество читает, так ведь оно все читает, как помелом прометет и позабудет.

– Прав, прав каналья Кишенский, прав.

– Да, он умный и им надо дорожить, он тоже говорил, что глупость совсем уничтожить уже нельзя, а хорошо вот, если бы побольше наших шли в цензурное ведомство. Кишенский ведет дело по двойной бухгалтерии – это так и называется «по двойной бухгалтерии». Он приплелся разом к трем разным газетам и в каждой строчит в особом направлении, и сводит все к одному; он чужим поддает, а своим сбавит где нужно, а где нужно – наоборот.

– Вот как ловко!

– Да, это оказалось очень практично.

– Да как же-с не практично. Ах, он черт его возьми! – воскликнул Горданов. – Да он после этого действительно дока!

– А я вам говорила. Но, впрочем, и ему не все удается. У него тоже есть свои жидовские слабостишки: щеняток своих любит и Алинку хочет за кого-нибудь замуж перевенчать, да вот не удается.

– Ага! А ведь она, выйдя замуж, и еще получила бы часть?

– Конечно, да не удается-с, и щенят нельзя усыновить. Вот женитесь вы на ней, Горданов!

– Вы с ума сошли, Ванскок.

– А что же такое? Она вам пять тысяч даст.

– Друг мой, у меня у самого есть пять тысяч.

– А зачем же вы на мне хотели жениться?

Горданов засмеялся и сказал:

– Это par amour.[14]

– Вы врете, Горданов.

– Да, вру, вру, именно вру, Ванскок, но вы, конечно, не станете никому об этом рассказывать, потому что иначе я от всего отрекусь, да и Кишенскому не говорите, как я шутил, чтобы вывести его на свежую воду.

– К чему же я это стану говорить?

– Молодец вы, благородная Ванскок! Давайте вашу лапу!

И Павел Николаевич с чувством сжал грязноватую руку девушки и добавил:

– Я и теперь с вами шучу, скажите ему все; скажите, как Горданов одичал и оглупел вне Петербурга; я даже и сам ему все это скажу и не скрою, что вы мне, милая Ванскок, открыли великие дела, и давайте вместе устраивать Висленева.

– Его непременно надо устроить.

– И вот вам на то моя рука, что это будет сделано. Запишите мне его адрес.

Ванскок взяла карандаш, нацарапала куриным почерком маршрут, по которому великодушная дружба Горданова должна была отыскать злополучного Висленева, и затем гостья и хозяин начали прощаться, но Горданов вдруг что-то вспомнил и приостановил Ванскок, когда та уже надела на свою скобочку свой форейторский шлычок.

– Вот что! – сказал он в раздумье, – не хотите ли с меня еще взятку? У меня бывали в руках разные польские переписки, и я кое-что списал. Вот тут у меня они все под рукой, в этой шкатулке. Хотите, передайте их Висленеву.

– Зачем?

– На их основании можно построить прекрасные статьи. За это деньги дадут.

– Давайте, я отвезу.

– Только, разумеется, не говорить от кого.

– Еще бы!

– Ну, так очень рад.

И с этим Горданов достал из-под дивана большую желтую шкатулку, какие делают для перевоза крахмальных рубашек, и вручил ее Ванскок, которая приняла ее и согнулась.

– Что?

– Тяжело, – отвечала Ванскок.

– Да, бумага тяжела.

– Ну, да ничего!

И Ванскок, перехватив половчее шкатулку, закинулась всем телом назад и поплыла вниз по лестнице.

Через минуту Горданов услыхал чрез открытое окно, как Ванскок, напирая на букву «ш», выкрикивала:

– Извошшик! Извошшик!

Павел Николаевич весело рассмеялся и, свесясь в окно, смотрел, как к Ванскок, стоявшей на тротуаре, подкатила извозчичья линейка.

Ванскок сторговалась и потом сказала:

– Ну-с, а теперь вы, извошшик, держите хорошенько вот этот яшшик!

Горданов так и залился самым беззаботным, ребяческим смехом, глядя, как Ванскок ползла, умащивалась и помещала свой «яшшик».

– Ecoutez! – закричал он сквозь смех. – Ecoutez-moi![15]

– Ну, что там еще? Я уже села.

– Voulez-vous bien répéter?[16]

– Что? Что такое? – сердилась внизу Ванскок.

– «Извошшник и яшшик», – передразнил ее Горданов и, показав ей язык, поднялся и затворил окно.

Ванскок, треща на линейке, укатила.

Павел Николаевич запер дверь и, метнувшись из угла в угол, остановился у стола.

«Черт возьми! – подумал он, – и в словах этой дуры есть своя правда. Нет; нельзя отрешаться от Петербурга! „Свежие раны!“ О, какая это чертовски полезная штука! Поусердствуйте, друзья, „свежим ранам“, поусердствуйте, пока вас на это хватит!»

И с этим Горданов стал скоро раздеваться и, не зажигая свечи, лег в постель, но не заснул, его долго-долго давил и терзал злой демон – его дальновидность. Он знал, что верны одни лишь прямые ходы и что их только можно повторять, а все фокусное действует только до тех пор, пока оно не разоблачено, и этот демон шептал Павлу Николаевичу, что тут ничто не может длиться долго, что весь фейерверк скоро вспыхнет и зачадит, а потому надо быстро сделать ловкий курбет, пока еще держатся остатки старых привычек к кучности и «свежие раны» дают тень, за которою можно пред одними передернуть карты, а другим зажать рот.

Глава пятая
Последний из могикан

Висленев в это время жил в одном из тех громадных домов Невского проспекта, где, как говорится, чего хочешь, того просишь: здесь и роскошные магазины, и депо, и мелочная лавка, и французский ресторан, и греческая кухмистерская восточного человека Трифандоса, и другие ложементы с парадных входов на улицу, и сходных цен нищенские стойла в глубине черных дворов. Население здесь столь же разнообразно, как и помещения подобных домов: тут живут и дипломаты, и ремесленники, и странствующие монахини, и погибшие создания, и воры, и несчастнейший класс петербургского общества, мелкие литераторы, попавшие на литературную дорогу по неспособности стать ни на какую другую и тянущие по ней свою горе-горькую жизнь калик-перехожих.

Житье этих несчастных поистине достойно глубочайшего сострадания. Эти люди большею частию не принесли с собою в жизнь ничего, кроме тупого ожесточения, воспитанного в них завистию и нуждой, среди которых прошло их печальное детство и сгорела, как нива в бездождие, короткая юность. В их душах, как и в их наружности, всегда есть что-то напоминающее заморенных в щенках собак, они бессильны и злы, – злы на свое бессилие и бессильны от своей злости. Привычка видеть себя заброшенными и никому ни на что не нужными развивает в них алчную, непомерную зависть, непостижимо возбуждаемую всем на свете, и к тому есть, конечно, свои основания. Та бедная девушка, которая, живя о бок квартиры такого соседа, достает себе хлеб позорною продажей своих ласк, и та, кажется, имеет в своем положении нечто более прочное: однажды посягнувшая на свой позор, она, по крайней мере, имеет за собою преимущество готового запроса, за нее природа с ее неумолимыми требованиями и разнузданность общественных страстей. У бедного же писаки, перебивающегося строчением различных мелочей, нет и этого: в его положении мало быть готовым на позорную торговлю совестью и словом, на его спекуляцию часто нет спроса, и он должен постоянно сам спекулировать на сбыт своего писания. Отсюда и идет всякое

вероятие превосходящая ложь, продаваемая в самых крупных дозах, за самую дешевую цену.

Висленев в эту пору своей несчастной жизни был рангом повыше описанных бедных литературных париев и на десять степеней их несчастнее. Как Горданова преследовали его призраки, так были свои призраки и у Висленева. Он не мог спуститься до самых низменностей того слоя, к которому пришибли его волны прибоя и отбоя. Сила родных воспоминаний, влияние привычек детства и власть семейных преданий, сказывавшихся в нем против его воли неодолимою гадливостью к грязи, в которой, как в родной им среде, копошатся другие, не допускали Висленева да спокойного пренебрежения к доброму имени людей и к их спокойствию и счастию. Висленев мог быть неразборчивым в вопросах теоретического свойства, но буржуазной гадости он не переносил. Он по своему воспитанию и образованию был гораздо более приспособлен к литературным занятиям, чем большинство его собратий по ремеслу. Относительная разборчивость в средствах вредила Висленеву на доступном ему литературном рынке, он не мог поставлять массы дешевого базарного товара, и за дешево же заготовлял произведения более крупные, которые, в его, по крайней мере, глазах, были достойными всеобщего внимания. Мы видели, что на одно из них «о провинциальных правах» Висленев даже делал ссылку пред Гордановым, это было то самое произведение, о котором последний отозвался известным стихом:

Читал, и духом возмутился,
Зачем читать учился.

На самом же деле Горданов уже немножко зло выразился о писании своего приятеля: статьи его с многосоставными заглавиями имели свои достоинства. Сам редактор, которому Висленев поставлял эти свои произведения, смотрел на них, как на кунштюки, но принимал их и печатал, находя, что они годятся.

Продолжительное кривлянье имеет два роковые исхода: для людей искренно заблуждающихся оно грозит потерей смысла и способности различать добро от зла в теории, а для других – потерей совести. Висленев, защищаемый домашними привычками, попал в

первую категорию и зато особенно много потерял в житейских интересах. Ему, литератору с университетским образованием, литература давала вдесятеро менее, чем деятелям, ходившим в редакции с карманною книжечкой «об употреблении буквы е». Заработок Висленева почти равнялся тому казенному жалованью, которого, по словам Сквозника-Дмухановского, едва достает на чай и сахар. Висленев много добросовестнейшего труда полагал в свою недобросовестную и тяжкую работу, задача которой всегда состояла в том, чтобы из данных, давших один вывод путем правильного с ними обращения, сделать, посредством теоретической лжи и передержек, вывод свойства противоположного.

К тому же, на горе Висленева, у него были свои привычки: он не мог есть бараньих пилавов в греческой кухмистерской восточного человека Трифандоса и заходил перекусить в ресторан; он не мог спать на продырявленном клеенчатом диване под звуки бесконечных споров о разветвлениях теорий, а чувствовал влечение к своей кроватке и к укромному уголку, в котором можно бы, если не успокоиться, то по крайней мере забыться.

Это сибаритство не скрывалось от его собратий, и Висленев некоторое время терпел за это опалу, но потом, с быстрым, но повсеместным развитием практичности, это ему было прощено, и он работал, и неустанно работал, крепясь и веруя, что литература для него только прелюдия, но что скоро слова его примут плоть и кровь, и тогда… при этом он подпрыгивал и, почесав затылок, хватался за свою работу с сугубым рвением, за которым часто не чувствовал жестокой тяжести в омраченной голове и гнетущей боли в груди.

К такому положению Висленев уже привык, да оно вправду не было уже и тяжко в сравнении с тем, когда он, по возвращении в Петербург, питался хлебами добродетельной Ванскок. Висленев даже мог улучшить свое положение, написав сестре, которой он уступил свою часть, но ему это никогда не приходило в голову даже в то время, когда его питала Ванскок, а теперь… теперь самый жизнелюбивый человек мог бы свободно поручиться головой, что Висленев так и дойдет до гроба по своей прямой линии, и он бы и дошел, если бы… если бы он не потребовался во всесожжение другу своему Павлу Николаевичу Горданову.

Глава шестая
Горданов дает шах и мат Иосафу Висленеву

Черный день подкрался к Иосафу Платоновичу нежданно и негаданно, и притом же день этот был весь с начала до конца так лучезарно светел, что никакая дальнозоркость не могла провидеть его черноты.

В этот день Иосаф Платонович встал в обыкновенное время, полюбовался в окно горячим и искристым блеском яркого солнца на колокольном кресте Владимирской церкви, потом вспомнил, что это стыдно, потому что любоваться ничем не следует, а тем паче крестом и солнцем, и сел на софу за преддиванный столик, исправляющий должность письменного стола в его чистой и уютной, но очень, очень маленькой комнатке.

Все было в самом успокоительном порядке; стакан кофе стоял на столе, дымясь между высоких груд газет, как пароходик, приставший на якорь в бухту, окруженную высокими скалами. И какие это были очаровательные скалы! Это были груды газет с громадным подбором самых разноречивых статей по одному и тому же предмету, направо были те, по которым дело выходило белым, налево те, по которым оно выходило черным. Висленев, с помощью крапа и сыпных очков, готовился с чувством и с любовью доказать, что черное бело и белое черно. Это была его специальность и его *пассия*.

Но прежде чем Висленев допил свой стакан кофе и взялся за обработку крапа и очков в колоде, предложенной ему на сегодняшнюю игру, ему прыгнул в глаза маленький, неопрятно заделанный и небрежно надписанный на его имя пакетик.

Висленев, грызя сухарь, распечатал конверт и прочел: «Примите к сведению, еще одна подлость: Костька Оболдуев, при всем своем либерализме, он женился на Форофонтьевой и взял за нею в приданое восемьдесят тысяч. Пишу вам об этом со слов Роговцова, который заходил ко мне ночью нарочно по этому делу. Утром иду требовать взнос на общее дело и бедным полякам. Завтра поговорим. Анна Скокова».

Висленев повернул два раза в руках это письмо Ванскок и хотел уже его бросить, как горничная квартирной хозяйки подала ему другой конверт, надписанный тою же рукой и только что сию минуту полученный.

«Я задыхаюсь, – писала отвратительнейшим почерком Ванскок. – Я сама удостоверялась обо всем: всё правда, мне ничего не дали на общее дело, но этого мало: знайте и ведайте, что Оболдуев обломал дела, он забрал не только женины деньги, но и деньги свояченицы, и на эти деньги будет… издаваться газета с русским направлением! Бросьте сейчас работу, бросьте все и бегите ко мне, мы должны говорить! P. S. Кстати, я встретила очень трудное место в переводе. Кунцевич „canonisé par le Pape“[17] я перевела, что Иосаф Кунцевич был расстрелян папой, а в сегодняшнем нумере читаю уже это иначе. Что это за самопроизвол в вашей редакции? Попросите, чтобы моими переводами так не распоряжались».

Висленев, сложив оба письма вместе и написав Ванскок, что он не может спешить ей на помощь, потому что занят работой, сел и начертал в заголовке: «Василетемновские тенденции современных москворецко-застенковых философо-сыщиков». Но он далее не продолжал, потому что в двери его с шумом влетела маленькая Ванскок и зачастила:

– Получили вы оба мои письма? Да?

– Да, получил, – отвечал спокойно Висленев.

– Все это отменяется! – воскликнула Ванскок, бросая в угол маленький сак, с привязанною к нему вместо ручек веревочкой.

– Ничего не было?

– Нет, напротив, все было; решительно все было, но представлены доказательства, так что это надо обсудить здесь; знаете о чем идет дело?

Висленев качнул отрицательно головой.

– Русское направление в моде.

– Ну-с?

– За него буду собирать деньги и обращать их на общее дело. Я нахожу, что это честно. Висленев молчал.

– И потом, – продолжала Ванскок, – явится, знаете, кто?

Висленев сделал опять знак, что не знает.

– Не догадываетесь?

– Не догадываюсь же, не догадываюсь.

Ванскок подошла к окну и на потном стекле начертала перстом: «с-у-п-с-и-д-и-я».

– Буки, – проговорил Висленев.

– Нет не буки, а это верно.

– Буки, буки, а не покой… понимаете, не супсидия, а субсидия.

– А, вы об этом? Все это вздор. Итак, будет дана субсидия, и мы все это повернем в пользу общего дела, и потому вредить этому не надо.

– Вас надувают, Ванскок.

– Очень может быть, я даже и сама уверена, что надувают, но по крайней мере так говорят, и потому надо этому помогать, а к тому же есть другая новость: возвратился Горданов и он теперь здесь и кается.

Висленев принял эту новую весть недружелюбно, но несколько замечаний, сделанных Ванскок насчет необходимости всяческого снисхождения к свежим ранам, и кипа бумаг, вынутых из саквояжа и представленных Ванскок Висленеву, как подарок в доказательство дружественного расположения Горданова к Висленеву, произвели в уме последнего впечатления миролюбивого свойства. Висленев, освободясь от довольно продолжительного визита Ванскок, тотчас же углубился в чтение бумаг, принесенных ему от Горданова. Подарок пришел Висленеву как нельзя более по сердцу, и он не мог от него оторваться до самого вечера. Он не оставил бы свои занятия и вечером, если бы его часу в восьмом не посетил жилец соседней комнаты, Феоктист Меридианов, маленький желтоволосый человечек, поставляющий своеобразные беллетристические безделки для маленькой газеты со скандальной репутацией.

Феоктист Меридианов вошел к Висленеву без доклада и без сапогов: тихо, как кот, подошел он в мягких кимрских туфлях к углубленному в чтение Висленеву и произнес:

– Здравствуйте, любезный сосед по имению. Висленев вздрогнул и немножко встревоженно спросил:

– Что вам угодно?

Феоктист Меридианов хрипло захохотал и, плюхнув на диван против Висленева, отвечал:

– Вот какой бон-тон: «что вам угодно?» А мне ничего от вас, сударь мой, не угодно, – продолжал он, кряхтя, смеясь и щурясь, – я

так, совсем так… осведомиться, все ли в добром здоровьи мой сосед по имению, Иосаф Платоныч Висленев, и более ничего.

– А-а, ну спасибо вам, а я зачитался и не сообразил.

– Что же это вы читаете?

– Очень интересные бумаги по польскому делу.

– Это «щелчок», что ли, вам приволок?

– Какой щелчок? – спросил с нескрываемым удовольствием Висленев.

– Да вот эта стрижка-ерыжка, как вы ее называете?

– Ванскок!

– Ну Ванскок, а я все забываю, да зову ее «щелчок», да это все равно. Я все слышал, что она тут у вас чеготала, и не шел. Эх, бросьте вы, сэр Висленев, водиться с этими нигилисточками.

– Что это вас беспокоит, Феоктист Дмитрич? мне кажется, до вас это совсем не касается, с кем я вожусь.

– Да, касаться-то оно, пожалуй, что не касается, а по человечеству, по-соседски вас жалко, право жалко.

Висленев улыбнулся и, заварив чай из только что поданного самовара, спросил:

– Какие же предвидите для меня опасности от «нигилисточек»?

– Большие, сэр, клянусь святым Патриком, очень большие – женят.

– Ну вот!

– Чего «вот», право, клянусь Патриком, женят, а мне вас жалко… каков ни есть, все сосед по имению, вместе чай пьем!

– Вот видите, как вы заблуждаетесь! Ванскок сама первостатейный враг брака.

– Это, отец Иосаф, все равно, враг, а к чему дело придет, и через нее женитесь; а вы лучше вот что: ко мне опять сваха Федориха заходила…

– Ах, оставьте, Меридианов, это даже и в шутку глупо!

– Нет-с, вы позвольте, она уже теперь не купчиху предлагает, а княжескую фаворитку, танцовщицу… – Меридианов сильно сжал Висленева за руку и добавил, – только перевенчаться и не видать ее, и за то одно пятнадцать тысяч? Это не худая статья, сэр, клянусь святым Патриком, не худая!

– Ну, вот вы и женитесь.

– Не могу, отец, рад бы, да не могу, рылом не вышел, я из простых свиней, из кутейников, а нужен из цуцких, столбовой дворянин, как вы. Не дремлите, государь мой, берите пятнадцать тысяч, пока нигилисточки даром не окрутили. На пятнадцать тысяч можно газету завести, да еще какую… у-у-х!

– Отойди от меня, сатана! – отшутился Висленев, для которого мысль о своей собственной газете всегда составляла отраднейшую и усладительнейшую мечту.

– Чего сатана, а я бы вам стал какие фиэтоны строчить, просто bon Dieu[18] оборони! Я вот нынче что соорудил. Вот послушайте-ка, – начал он, вытаскивая из кармана переломленную пополам четвертушку бумаги. – Хотите слушать?

– Пожалуй, – отвечал равнодушно Висленев.

Феоктист Меридианов прищурился, тихо крякнул и, нетерпеливо оглянувшись по комнатке, заговорил:

– Идет, видите ли, экзамен, ребятишек в приходское училище принимают и предстоит, видите, этакая морда, обрубок мальчуган Савоська, которого на каникулах приготовил медицинский студент Чертов.

– Гм! Фамилия недурна!

– Да, и с направлением, понимаете?

– Понимаю.

– Ну, слушайте же, – и Меридианов, кряхтя и щурясь, зачитал скверным глухим баском.

«– Читать умеешь? – вопросил Савоську лопоухий педагог.

– Ну-ка-ся! – отвечал с презрением бойкий малец.

– И писать обучен?

– Эвося! – еще смелее ответил Савоська.

– А закон Божий знаешь? – ветрел поп.

– Да коего лиха там знать-то! – гордо, презрительно, гневно, закинув вверх голову, рыкнул мальчуган, в воображении которого в это время мелькнуло насмешливое, иронически-честно-злобное лицо приготовлявшего его студента Чертова».

– Что, хорошо? Можете вы этакую штуку провести в своей серьезной статье, или нет?

Но прежде чем Висленев что-нибудь ответил своему собеседнику, послышался тихий стук в дверь, причем Меридианов быстро спрятал в

карман рукопись и сказал: «вот так у вас всегда», а Висленев громко крикнул: взойдите!

Дверь растворилась, и в комнату предстал довольно скромно, но с иголочки одетый в чистое платье Горданов.

Висленев немного смешался, но Павел Николаевич протянул ему братски руки и заговорил с ним на ты. Через минуту он уже сидел мирно за столом и вел с Висленевым дружеский разговор о литературе и о литературных людях, беспрестанно вовлекая в беседу и Меридианова, который, впрочем, все кряхтел и старался отмалчиваться. Не теряя напрасно времени, Горданов перешел и к содержанию бумаг, присланных им Висленеву чрез Ванскок.

– Бумажки интересные, – отвечал Висленев, – и по ним бы кое-что очень хлесткое можно написать.

– Я затем их к тебе и прислал, – отвечал Горданов. – Я знаю, что у меня они проваляются даром, а ты из них можешь выкроить пользу и себе, и делу.

Висленеву эта похвала очень нравилась, особенно тем, что была выражена в присутствии Меридианова, но он не полагался на успех по «независящим обстоятельствам».

– Что же, теперь ведь цензуры нет, – говорил простодушно Горданов.

– Мало что цензуры нет, да есть другие, брат, грозы.

– Зато есть суд и на грозу.

– Да ищи того суда, как Франклина в море: по суду-то на сто рублей оштрафуют, а без суда на пять тысяч накажут, как пить дадут. Нет, если бы это написать, да за границей напечатать.

– И то можно, – ответил Горданов.

– Если только есть способы?

Горданов сказал, чтобы Висленев об этом не заботился, что способы будут к его услугам, что он, Горданов, сам переведет сочинение Висленева на польский язык и сам пристроит его в заграничную польскую газету.

Затем Павел Николаевич еще побеседовал приветно с Висленевым и с Меридиановым и простился.

– А ничего это, что я говорил при этом лоботрясе? – спросил он у Висленева, когда тот провожал его по коридору.

– Это ты о Меридианове-то?

– Да.

– Полно, пожалуйста, это дремучий семинарист, в котором ненависть-то, как старый блин, зачерствела.

– Да, черт их нынче разберет, они все теперь ненавистники и все мастера на все руки, – отвечал Горданов.

– Нет, этот не такой.

– А мне он не нравится; знаешь, слишком молчалив и исподлобья смотрит. А впрочем, это твое дело, я говорил у тебя.

– Понимаю и принимаю всю ответственность на себя, будь совершенно покоен.

– Ну, и прекрасно.

И с этим Горданов ушел.

– А мне сей субъект препротивен, – сказал Висленеву в свою очередь Меридианов, когда Висленев, проводив Горданова, вернулся в свой дортуар.

– Чем он вам не хорош?

– Очень хорош, совсем даже до самого дна маслян. Зачем это он постучал, прежде чем войти?

– Так водится, чтобы не обеспокоить.

– Да; и вам вот это, небось, нравится, а меня от таких финти-фантов тошнит. Прощайте, я пойду к Трифандосу в кухмистерскую, с Бабиневичем шары покатаю.

– Прощайте.

– А вы опять сочинять?

– Да.

– А Федорихе что же сказать; нужны вам пятнадцать тысяч или не нужны?

– Да вы что же это, не шутите?

– Нимало не шучу.

– Ну, так я вам скажу, что я вам удивляюсь, что вы мне это говорите, я никогда себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и на княжеских любовницах жениться не способен.

Меридианов «презрительно-гордо» пожал плечами и сказал:

– А я вам удивляюсь и говорю вам, что будете вы, сэр, кусать локоть, клянусь Патриком, будете, да не достанете. Бабиневич ведь, только ему об этом сказать, сейчас отхватит, а он ведь тоже из дворян.

– Сделайте милость и оставьте меня с этим.

– Сделаем вам эту милость и оставим вас, – отвечал Меридианов и, не прощаясь с Висленевым, зашлепал своими кимрскими туфлями.

Глава седьмая
Продолжение о том, как Горданов дал шах и мат Иосафу Висленеву

Читатель может подумать, что автор не сдержал своего слова и, обещав показать в предшествовавшей главе, как Павел Николаевич Горданов даст шах и мат другу своему Иосафу Висленеву, не показал этого хода; но это будет напрасно: погибельный для Висленева ход сделан, и спасения Иосафу Платоновичу теперь нет никакого; но только как ход этот необычен, тонок и нов, то его, может быть, многие не заметили: проникать деяния нашего героя не всегда легко и удобно.

Иосаф Платонович работал энергически, и в пять или в шесть дней у него созрела богатырская статья, в которой вниманию врагов России рекомендовались самые смелые и неудобоприложимые планы, как одолеть нас и загнать в Азию.

Горданов не раз навестил в эти шесть дней Висленева и слушал его статью в брульонах с величайшим вниманием, и с серьезнейшим видом указывал, где припустить сахарцу, где подбавить перцу, и все это тонко, мягко, деликатно, тщательно храня и оберегая болезненное авторское самолюбие Иосафа Платоновича.

– Я тебя не учу, – говорил он Висленеву, – и ты потому, пожалуйста, не обижайся; я знаю, что у тебя есть свой талант, но у меня есть своя опытность, и я по опыту тебе говорю: здесь посоли, а здесь посахари.

Висленев слушался, и произведение его принимало характер все более лютый, а Горданов еще уснащал его прибавками и перестановками и все напирал на известный ему «ихний вкус».

Со времени смешения языков в их нигилистической секте, вместе с потерей сознания о том, что честно и что бесчестно, утрачено было и всякое определенное понятие о том, кто их друзья и кто их враги. Принципы растеряны, враги гораздо ревностнее стоят за то, за что хотели ратовать их друзья; земельный надел народа, равноправие всех и каждого пред лицом закона, свобода совести и слова, – все это уже отстаивают враги, и спорить приходится разве только «о бревне, упавшем и никого не убившем», а между тем враги нужны, и притом

не те враги, которые действительно враждебны честным стремлениям к равноправию и свободе, а *они*, какие-то неведомые мифические враги, преступлений которых нигде нет, и которые просто называются *они*. Против этих мифических их ведется война, пишутся пасквили, делаются доносы, с *ними* чувствуют бесповоротный разрыв и намерены по гроб жизни с ними не соглашаться. Во имя этих мифических их заиграл на Висленеве и Горданов. Он говорил ему, как надо приспособиться, чтобы допекать *их*, так чтобы *они* чувствовали; но как ни осторожно Горданов подходил с своими указаниями к Висленеву, последнего все-таки неприятно задевало, что его учат, и он даже по поводу указаний Горданова на их вкус и права отвечал:

– Ну, и довольно, ты мне скажи, на какой вкус, и этого с меня и довольно, а я уже знаю как потрафить.

И он потрафлял: статья, поправлявшаяся в течение ночи, к утру становилась змея и василиска злее, но приходил Горданов, прослушивал ее и находил, что опять мягко.

– Не то, – говорил он, – чтобы чего недоставало, напротив, здесь все есть, но знаешь… Поясню тебе примером: тебя, положим, попросили купить жирную лошадь…

– Я и куплю жирную, – перебил Висленев.

– Да, но она все-таки может не понравиться, или круп недостаточно жирен, или шея толста, а я то же самое количество жира да хотел бы расположить иначе, и тогда она и будет отвечать требованиям. Вот для этого берут коня и выпотняют его, то есть перекладывают жир с шеи на круп, с крупа на ребро и т. п. Это надо поделать еще и с твоею прекрасною статьей, – ее надо выпотнить.

– Я этого даже никогда и не слыхал, чтобы по произволу перемещали жир с одной части тела на другую, – отвечал Висленев.

– Ну, вот видишь ли, а между тем это всякий цыган знает: на жирное место, которое хотят облегчить, кладут войлочные потники, а те, куда жир перевесть хотят, водой поманивают, да и гоняют коня, пока он в соответственное положение придет. Не знал ты это?

– Не знал.

– Ну, так знай, и, если хочешь, дай мне, я твою статью попотню. Согласен?

– Бери.

– Нет, я это тут же при тебе. Видишь, вот тут это вон вычеркни, а вместо этого вот что напиши, а сюда на место того вот это поставь, а тут…

И Горданов как пошел выпотнять висленевскую статью, так Висленев, быстро чертивший то тут, то там, под его диктовку, и рот разинул: из простого, мясистого, жирного и брыкливого коня возник неодолимый конь Диомеда, готовый растоптать и сожрать всех и все.

– Молодецко! – воскликнул, радуясь, сам Висленев.

– Теперь бы кому-нибудь прочесть, чтобы взглянуть на впечатление, – посоветовал Горданов.

Висленев назвал своего «соседа по имению», Феоктиста Меридианова, который пришел в своих кимрских туфлях и все терпеливо прослушал, и потом, по своему обыкновению, подражая простонародному говору, сказал, что как все это не при нем писано, то он не хочет и лезть с суконным рылом в калачный ряд, чтобы судить о такой политичной материи, а думает лишь только одно, что в старину за это

Дали б в назидание
Так ударов со сто,
Чтобы помнил здание
У (имя рек) моста.

Горданов при этих словах Меридианова изловил под столом Висленева за полу сюртука и сильно потянул его вниз, дескать осторожность, осторожность!

– Этот человек совсем мне не нравится, – заговорил Горданов, когда Меридианов вышел. – Он мне очень подозрителен, и так как тебе все равно отдавать мне эту статью для перевода на польский язык, то давай-ка, брат, я возьму ее лучше теперь же.

– На что же?

– Да так, знаешь, про всякий случай от греха.

Висленев бестрепетною рукой вручил свое бессмертное творение Горданову.

Да и чего же было, кажется, трепетать? А трепетать было от чего.

Если бы Висленев последовал за Гордановым, когда тот вышел, унося с собою его выпотненную статью, то он не скоро бы догадался, куда Павел Николаевич держит свой путь. Бегая из улицы в улицу, из переулка в переулок, он наконец юркнул в подъезд, над которым красовалась вывеска, гласившая, что здесь «Касса ссуд под залог движимостей».

Здесь жил литератор, ростовщик, революционер и полициант Тихон Ларионович Кишенский, о котором с таким презрением вспоминала Ванскок и которому требовался законный муж для его фаворитки, Алины Фигуриной.

К Кишенскому вела совершенно особенная лестница, если не считать двух дверей бельэтажа, в коих одна вела в аптеку, а другая в сигарный магазин. Три же двери, окружающие лестничную террасу третьего этажа, все имели разные нумера, и даже две из них имели разные таблички, но все это было вздор: все три двери вели к тому же самому Тихону Кишенскому или как его попросту звали, «жиду Тишке». Три эти двери значились под №№ 7-м, 8-м и 9-м. Над 8-м, приходившимся посредине, была большая бронзовая дощечка с черным надписанием, объявлявшим на трех языках, что здесь «Касса ссуд». На правой двери, обитой новою зеленою клеенкой с медными гвоздями, была под стеклом табличка, на которой красовалось имя Тихона Ларионовича, и тут же был прорез, по которому спускались в ящик письма и газеты; левая же дверь просто была дверь № 9-й. Входя в среднюю дверь или дверь № 8-й, вы попадали в довольно большой зал, обставленный прилавками и шкафами. За прилавками сидела немецкая дама, говорившая раздавленным голосом краткие речи, касающиеся залогодательства, и поминутно шнырявшая за всяким разрешением в двери направо, по направлению к № 7-му. В № 7-м была хорошая холостая квартира с дорогою мебелью, золоченою кроватью, массивным буфетом, фарфором и бронзой, с говорящим попугаем, мраморною ванной и тем неодолимым преизбытком вкуса, благодаря которому меблированные таким образом квартиры гораздо более напоминают мебельный магазин, чем человеческое жилье. В № 9-м… но об этом после.

Герой наш пожал электрическую пуговку у двери номера седьмого и послал свою карточку чрез того самого лакея, решительный характер и исполнительность которого были известны Ванскок. Пока

этот враждебный гений, с лицом ровного розового цвета и с рыжими волосами, свернутыми у висков в две котелки, пошел доложить Тихону Ларионовичу о прибывшем госте, Горданов окинул взором ряд комнат, открывавшихся из передней, и подумал: «однако этот уж совсем подковался. Ему уже нечего будет сокрушаться и говорить: „здравствуй, беспомощная старость, догорай, бесполезная жизнь!“ Но нечего бояться этого и мне, – нет, мой план гениален; мой расчет верен, и будь только за что зацепиться и на чем расправить крылья, я не этою мещанскою обстановкой стану себя тешить, – я стану считать рубли не сотнями тысяч, а миллионами… миллионами… и я пойду, вознесусь, попру… и…»

И в эту минуту Павел Николаевич внезапно почувствовал неприятное жжение в горле, которым обыкновенно начинались у него приступы хорошо знакомых ему спазматических припадков. Он взял над собою власть и пересилил начинающийся пароксизм как раз вовремя, потому что в эту самую минуту в глубине залы показалась худощавая, высокая фигура Кишенского, в котором в самом деле было еще значительно заметно присутствие еврейской крови. Лицо его было довольно плоско и не украшалось характерным израильским носом, но маленькие карие глазки его глядели совершенно по-еврейски, и движения его были порывисты. Кишенский был одет в роскошном шлафоре, подпоясанном дорогим шнуром с кистями, и в туфлях не кимрской работы, а в дорогих, золотом шитых, туфлях; в руках он держал тяжелую трость со слоновою ручкой и довольно острым стальным наконечником. Возле Кишенского, с одной стороны, немножко сзади, шел его решительный рыжий лакей, а с другой, у самых ног, еще более решительный рыжий бульдог.

– Господин Горданов! – заговорил на половине комнаты Кишенский, пристально и зорко вглядываясь в лицо Павла Николаевича и произнося каждое слово отчетисто, спокойно и очень серьезно. – Прошу покорно! Давно ли вы к нам? А впрочем, я слышал… Да. Иди в свое место, – заключил он, оборотясь к лакею, и подал Горданову жесткую, холодную руку.

После первых незначащих объяснений о времени приезда и о прочем, они перешли в маленький, также густо меблированный кабинетец, где Кишенский сам сел к письменному столу и, указав

против себя место Горданову, не обинуясь спросил: чем он может служить ему?

Горданов всего менее ожидал такого приема.

– Вы меня спрашиваете так, как будто я должен заключить из ваших слов, что без дела мне не следовало и посещать вас, – отвечал Горданов, в котором шевельнулась дворянская гордость пред этим ломаньем жидка, отец которого, по достоверным сведениям, продавал в Одессе янтарные мундштуки.

– Нет, не то, – отвечал, нимало не смущаясь, Кишенский, – я бы ведь мог вас и не принять, но я принял… Видите, у меня нога болит, легонький ревматизм в колене, но я встал и, хоть на палку опираясь, вышел.

Проговорив это тем же ровным, невозмутимым, но возмущающим голосом, которым непременно научаются говорить все разбогатевшие евреи, Кишенский отвернулся к драпировке, за которою могла помещаться кровать, и хлопнул два раза в ладоши.

Драпировка слегка всколыхнулась, и вслед затем через залу, по которой хозяин провел Горданова, появился знакомый нам рыжий лакей.

– Иоган, дайте нам чаю, – велел ему Кишенский, совершенно по-жидовски вертясь и нежась в своем халате.

– Откуда вы себе достали такого «гайдука Хрызыча»? – спрашивал Горданов, стараясь говорить как можно веселее и уловить хотя малейшую черту приветливости на лице хозяина, но такой черты не было: Кишенский, не отвечая улыбкой на улыбку, сухо сказал:

– Иоган с острова Эзеля.

– Какой ужасный рост и ужасная сила!

– Да, они неуклюжи, но очень верны, – в этом их достоинство, а нынче верный человек большая редкость.

«Это ты говоришь!» – подумал, тщательно скрывая свое презрение, Горданов, – но молвил спокойно:

– Да, у вас тут много кое-чего поизменилось!

– Будто! Я не замечаю; кажется, все то же самое, что и было.

– Ну, нет!

– А я, постоянно сидя за работой, право ничего не замечаю.

Горданов нетерпеливо повернулся на стуле и, окинув глазами все окружающее, имел обширный выбор тем для возражения хозяину, но

почувствовал мгновенное отвращение от игры в слова с этим сыном продавца янтарей, и сказал:

– А вы правы, я зашел к вам не для пустого времяпрепровождения, а по делу.

– Я был в этом уверен: времени по пустякам и без того препровождено очень много.

– Только не вами, надеюсь, – проговорил сквозь улыбку Горданов.

Кишенский волоском не ворохнулся, не моргнул и ни звука не ответил. Это еще более не понравилось Горданову, но сделало его решительнее.

– У меня есть один план… или как это у нас в старину говорилось, одно «предприятие», весьма для вас небезвыгодное.

Кишенский мешал ложечкой в стакане и молчал.

– Вы не прочь от аферы, или вы аферами пренебрегаете?

– Надо знать, какая афера.

– Разумеется, выгодная афера и верная.

– Всякий, предлагая свою аферу, представляет ее и верною и выгодною, а на деле часто выходит черт знает что. Но я не совсем понимаю, почему вы с аферой отнеслись ко мне? Я ведь человек занятой и большими капиталами не ворочаю: есть люди, гораздо более меня удобные для этих операций.

– Для той аферы, которую я намерен предложить вам, нет человека удобного более вас, потому что она вас одних более других касается.

– Касается меня.

– Да; касается вас – лично вас, господин Кишенский.

– Позвольте выслушать.

– Извольте-с. У меня есть мысль, соображение или, лучше сказать, совершенно верный, математически рассчитанный и точный, зрело обдуманный план в полгода времени сделать из двадцати пяти тысяч рублей серебром громадное состояние в несколько десятков миллионов.

Горданов остановился и уставил глаза на Кишенского, который смотрел на него неподвижными, остолбеневшими глазами и вдруг неожиданно позвонил.

– Вы не думаете ли, что я сумасшедший? – спросил Горданов.

– Нет; это я звоню для того, чтобы мне переменили стакан. Что же касается до вашего способа быстрого наживания миллионов, то мы в последнее время отвыкли удивляться подобным предложениям. Начиная с предложения Ванскок учредить кошачий завод, у нас все приготовили руки к миллионам.

– Но между дурацкою башкой Ванскок и моею головой, я думаю, вы допускаете же какую-нибудь разницу.

– О, разумеется! Я знаю, что вы человек умный, но только позвольте вам по-старому, по-дружески сказать, что ведь никто и не делает так легкомысленно самых опрометчивых глупостей, как умные люди.

– Это мы увидим. Я вам не стану нахваливать мой план, как цыган лошадь: мой верный план в этом не нуждается, и я не к тому иду теперь. Кроме того, что вы о нем знаете из этих слов, я до времени не открою вам ничего и уже, разумеется, не попрошу у вас под мои соображения ни денег, ни кредита, ни поручительства.

– Я ни за кого не ручаюсь.

– Я знаю, и мне *для меня* от вас пока ничего не нужно. Но план мой верен: вы знаете, что я служил в западном крае и, кажется, служил не дурно: я получал больше двух тысяч содержания, чего с меня, одинокого человека, было, конечно, весьма довольно; ужиться я по моему характеру могу решительно со всяким начальством, каких бы воззрений и систем оно ни держалось.

– Я это знаю.

– И между тем я бросил эту службу.

– Очень сожалею.

– Подождите жалеть. Служить там, это не то, что служить здесь, как например вы служите.

– Я ведь служу по найму, – у меня нет прав на коронную службу.

– Это все равно, но вы тем не менее человек не без влияния по службе, и вы делаете другие дела: вы играете на бирже и играете, если только так можно выразиться, на трех разнохарактерных органах, которые могут служить вашим видам.

– Это, знаете, случайность, и на подобную вещь наверняка считать нельзя.

– Успокойтесь, любезный Тихон Ларионович: я вам не завидую и конкуренции вам не сделаю; мои планы иные, и они, не в обиду вам

будь сказано, кажутся мне повернее ваших. А вы вот что… позволяете вы говорить с вами начистоту?

– В торговых делах чем кратче, тем лучше.

– Вы меня не спрашиваете, в чем заключается мой план, заметьте, несомненный план приобретения громаднейшего состояния, и я знаю, почему вы меня о нем не спрашиваете: вы не спрашиваете не потому, чтоб он вас не интересовал, а потому, что вы знаете, что я вам его не скажу, то есть не скажу в той полноте, в которой бы мой верный план, изобретение человека, нуждающегося в двадцати пяти тысячах, сделался вашим планом, – планом человека, обладающего всеми средствами, нужными для того, чтобы через полгода, не более как через полгода, владеть состоянием, которым можно удивить Европу. Вы знаете, что я вам этого не скажу.

– Совершенно верно.

– А я не скажу вам этого потому, что вы мне двадцати пяти тысяч в полное мое распоряжение не доверите.

– Это тоже верно.

– Поэтому я хочу сделать себе нужные мне двадцать пять тысяч сам, при вашем, однако, посредстве, но при таком посредстве, которое вам будет не менее выгодно, чем мне.

Кишенский придавил в столе электрическую пуговку и велел появившемуся пред ним лакею никого не принимать.

– Вы меня, стало быть, слушаете? – спросил Горданов.

– С огромным вниманием, – отвечал Кишенский, подавая ему большую сигару.

– И я могу вам говорить все?

– Все.

– Касаясь прямо всех?

– Всех.

– Ну, так извольте же слушать и отвечать мне на все прямо.

– Идет.

Глава восьмая
Финальная ракета

– Вам нужен один человек? – спросил, глядя в упор Кишенскому, Горданов.

Тот смолчал, да и в самом деле недоумевал, к чему клонит эта речь.

– Вы ищете имени вашим детям, которые у вас есть и которые вперед могут быть?

– Это правда.

– Хорошо! Так откровенно говоря, мы пойдем очень скоро. Вы сами не можете жениться на дорогой вам женщине, потому что вы женаты.

– Правда.

– Вы много хлопотали, чтоб устроить дело?

– Не очень много, но довольно.

– Да дело это нельзя делать шах-мат: дворянинишку с ветра взять неудобно; брак у нас предоставляет мужу известные права, которые хотя и не то, что права мужа во Франции, Англии или в Америке, но и во всяком случае все-таки еще довольно широки и могут стеснять женщину, если ее муж не дурак.

– Вы рассуждаете превосходно.

– Надеюсь, что я вас понял. Теперь идем далее: дорогая вам женщина не обладает средствами Глафиры Акатовой, чтобы сделаться госпожой Бодростиной; да вам это и не нужно: вас дела связывают неразлучно и должны удерживать неразлучно навсегда, или по крайней мере очень надолго. Я не знаю ваших условий, но я так думаю.

– Вы знаете столько, сколько вам нужно, чтоб иметь совершенно правильный взгляд на это дело.

– Тем хуже и тем лучше. Найти себе мужа по примеру Казимиры Швернотской, Данки и Ципри-Кипри теперь невозможно, это уже выдохлось и не действует: из принципа нынче более никто не женится.

– Да, мы с этим уже немножко запоздали.

– Вот видите: стало быть, не все идет по-старому, как вы желали мне давеча доказать… Вы доведены обстоятельствами до готовности

пожертвовать на это дело десятью тысячами.

– О такой цифре, признаюсь, у нас еще не думано.

– Будто бы?

– Уверяю вас честью.

– Ну, так вы скупы.

– Однако… разумеется… около этого что-нибудь… тысяч пять-семь, расходовать можно.

– Где семь, там десять, это уж не расчет. Вы не подумайте, пожалуйста, что я предлагаю вам самоличные мои услуги, нет! Я пришел к вам как плантатор к плантатору: я продаю вам другого человека.

– Как продаете?

– Так, очень просто, продаю да и только.

– Без его согласия?

– Он никогда и ни за что на это не согласится.

Кишенский вдруг утратил значительную долю своего безучастного спокойствия и глядел на Горданова широко раскрытыми, удивленными глазами. Павел Николаевич заметил это и торжествовал.

– Да, он никогда и никогда, и ни за что на это не согласится, и тем для него хуже, – сказал Горданов, не давая своему собеседнику оправиться.

Кишенский совсем выскочил из колеи и улыбнулся странною улыбкой, которая сверкнула и сгасла.

– Извините, пожалуйста, но вы меня смешите, – проговорил он и опять улыбнулся.

– Смешу вас? Нимало. В чем вы тут видите смешное?

– Вы распоряжаетесь кем-то на старом помещичьем праве и даже еще круче: хотите велеть человеку жениться и полагаете, что он непременно обязан вам повиноваться.

– А, конечно, обязан.

– Позвольте узнать, почему?

– Почему? Потому что я умен, а он глуп.

– Но вы не забываете ли, что свадьбы попы венчают в церкви, и что при этом согласие жениха столь же необходимо, как и согласие невесты?

– Пожалуйста, будьте покойны: будемте говорить о цене, а товар я вам сдам честно. Десять тысяч рублей за мужа, молодого,

благовоспитанного, честного, глупого, либерального и такого покладистого, что из него хоть веревки вей, это, по чести сказать, не дорого. Берете вы или нет? Дешевле я не уступлю, а вы другого такого не найдете.

– Но и вы тоже не скоро найдете другого покупщика, да и не ко всякому, надеюсь, отнесетесь с таким предложением.

– Вы понимаете дело, Тихон Ларионович, и за это я вам сразу пятьсот рублей сбавляю: угодно вам девять тысяч пятьсот рублей?

– Дорого.

– Дорого! Девять тысяч пятьсот рублей за человека с образованием и с самолюбием!

– Дорого.

– Какая же ваша цена?

– Послушайте, Горданов, да не смешно ли это, что мы с вами серьезно торгуемся на такую куплю?

– Нимало не смешно, да вы об этом, пожалуйста, не заботьтесь: я вам продаю не воробья в небе, которого еще надо ловить, а здесь товар налицо: живой человек, которого я вам прямо передам из рук в руки.

– Я, право, не могу вам верить.

– Я и не прошу вашего доверия: я не беру ни одного гроша до тех пор, пока вы сами скажете, что дело сделано основательно и честно. Говорите только о цене, какая ваша последняя цена?

– Я, право, не знаю, как об этом говорить… о подобной покупке!

– Да в чем затрудненье-то? В чем-с? В чем?

Кишенский развел руки и улыбнулся.

– Однако я полагал, что вы гораздо решительнее, – нетерпеливо сказал Горданов.

Кишенский завертелся на месте и, продолжительно обтирая лицо пестрым фуляром, отвечал:

– Да как вы хотите… какой решительности?.. С одной стороны… такое необыкновенное предложение, а с другой… оно тоже стоит денег, и опять риск.

– Никакого, ни малейшего риска нет.

– Помилуйте, как нет риска? Вы что продаете, позвольте вас спросить?

– Я продаю все, что имеет для кого-нибудь цену, – гордо ответил, краснея от досады, Горданов.

– Да, «что имеет цену», но человек… независимый человек в России… какая же ценность?.. Это скорее каламбур.

– Очень невысокого сорта, впрочем.

– Согласен-с; я не остряк; но дело в том, что вы ведь продаете не имя, а человека… как есть живого человека!

– Со всеми его потрохами.

– Ну, и позвольте же… не горячитесь… вы продаете человека… образованного?

– Да, и даже с некоторым именем.

– Ну, вот сами изволите видеть, еще и с именем! А между тем вы ему ни отец, ни дядя, ни опекун.

– Нет, не отец и не опекун.

– Должен он вам, что ли?

– Нимало.

– Ну, извините меня, но я вас не понимаю.

– И что же вы отказываетесь, что ли, от моего предложения?

– И отказываюсь.

– Ну, так в таком случае нам нечего больше говорить, – и Горданов встал и взялся за шляпу.

– Откройте что-нибудь побольше, – заговорил, медленно приподнимаясь вслед за ним, Кишенский. – Покажите что-нибудь осязательное и тогда…

– Что тогда?

– Я, может быть, тысяч за семь не постою.

– Нет; с вами, я вижу, надо торговаться по-жидовски, а это не в моей натуре: я лишнего не запрашивал и еще сразу вам пятьсот рублей уступил.

– Да что ж по-жидовски… я вам тоже, если хотите, триста рублей набавлю… если…

– Если, если… если еще что такое? – сказал, натягивая перчатку и нетерпеливо морщась, Горданов.

– Если все документы в порядке?

Горданов дернул перчатку и разорвал ее.

– Нет, – сказал он, – я вижу, что я ошибся, с вами пива не сваришь. Я же вам ведь уже сто раз повторял, что все в исправности и что я ничего вперед не беру, а вы все свое. Мне это надоело, – прощайте!

И он совсем повернулся к выходу, но в это самое мгновение драпировка, за которою предполагалась кровать, заколыхалась и из-за опущенной портьеры вышла высокая, полная, замечательно хорошо сложенная женщина, в длинной и пышной ситцевой блузе, с густыми огненными рыжими волосами на голове и с некрасивым бурым лицом, усеянным сплошными веснушками.

– Позвольте, прошу вас, остаться на минуту, – сказала она голосом ровным и спокойным, не напускным спокойствием Кишенского, а спокойствием натуры сильной, страстной и самообладающей.

Горданов остановился и сделал даме приличный поклон.

– Дело, о котором вы здесь говорили, ближе всех касается меня, – заговорила дама, не называя своего имени.

Горданов снова ей поклонился.

Дама села на диван и указала ему место возле себя.

– Предложение ваше мне почему-то кажется очень основательным, – молвила она поместившемуся возле нее Горданову, между тем как Кишенский стоял и в раздумьи перебирал косточки счетов.

– Я отвечаю моей головой, что все, что я сказал, совершенно сбыточно, – отвечал Горданов.

– О цене спора быть не может.

– В таком случае не может быть спора ни о чем: я вам даю человека, удобного для вас во всех отношениях.

– Да, но видите ли… мне теперь… Я с вами должна говорить откровенно: мне неудобно откладывать дело; свадьба должна быть скоро, чтобы хлопотать об усыновлении двух, а не трех детей.

– На этот счет будьте покойны, – отвечал Горданов, окинув взглядом свою собеседницу, – во-первых, субъект, о котором идет речь, ничего не заметит; во-вторых, это не его дело; в-третьих, он женский эмансипатор и за стесняющее вас положение не постоит; а в-четвертых, – и это самое главное, – тот способ, которым я вам его передам, устраняет всякие рассуждения с его стороны и не допускает ни малейшего его произвола.

– В таком случае мы, верно, сойдемся.

– Девять тысяч пятьсот рублей?

– Нет; я вам дам восемь.

– Извините; это, значит, опять надо торговаться, а я позволю себе вам, сударыня, признаться, что до изнеможения устал с этим торгом. В старину отцы наши на тысячи душ короче торговались, чем мы на одного человека.

– Да; отцы-то ваши за душу платили сто, да полтораста рублей, а тут девять тысяч! – заметил Кишенский.

– Все дороже стало, – небрежно уронил в его сторону Горданов и снова взялся рукой за шляпу.

Дама это заметила.

– Да; это все так, – сказала она, – но ведь надо же дать что-нибудь и ему самому.

– Ни одного гроша, – это не такой человек, – он не возьмет ничего, и вы одним предложением ему денег даже можете все испортить. Я согласен вам, и собственно вам, а не ему (он указал с улыбкой на Кишенского), уступить еще пятьсот рублей, то есть я возьму, со всеми хлопотами, девять тысяч и уже меньше ничего, но зато я предлагаю вам другие выгоды. Позвольте вам заметить, что я ведь понимаю, в чем дело, и беру деньги недаром: если бы вы перевенчались с каким попало, с самым плохеньким чиновником, вы бы должны были тотчас же, еще до свадьбы, вручить ему все деньги сполна, а тут всегда большой риск: он может взять деньги и отказаться венчаться. Положим, вы могли взять с него векселя, но ведь он мог их оспорить, мог доказывать, что они безденежные: взяты с него обманом, или насилием… Возможна целая история самого безотрадного свойства. Потом если б и доказали выдачу денег и засадили в долговое отделение, ну он отсидит год, и ничего… С него как с гуся вода, а деньги пропали…

– Это правда, – отозвался Кишенский.

– Да, а ведь я вам даю человека вполне честного и с гонором; это человек великодушный, который сам своей сестре уступил свою часть в десять тысяч рублей, стало быть вы тут загарантированы от всякой кляузы.

– Кто же это такой? – отнеслась тихо к Кишенскому невеста.

Тихон Ларионович только пожал в недоумении плечами.

– Не трудитесь отгадывать, – отвечал Горданов, – потому что, во-первых, вы этого никогда не отгадаете, а во-вторых, операция у меня разделена на два отделения, из которых одно не открывает другого, а

между тем оба они лишь в соединении действуют неотразимо. Продолжаю далее: если бы вы и уладили свадьбу своими средствами с другим лицом, то вы только приобрели бы имя… имя для будущих детей, да и то с весьма возможным риском протеста, а ведь вам нужно и усыновление двух ваших прежних малюток.

– Как же, это почти самое важное.

– Кто же станет об этом заботиться?

– Мы сами.

– Вы сами, – это худо. Нет, я вам передам такого человека, который сам пуще отца родного будет об этом убиваться. Если вы согласны дать мне девять тысяч рублей, я вам сейчас же представлю ясные доказательства, что вы через неделю, много через десять дней, можете быть обвенчаны с самым удобнейшим для вас человеком и, вдобавок, приобретете от этого брака хотя не очень большие, но все-таки относительно довольно значительные денежные выгоды, которые во всяком случае далеко с избытком вознаградят вас за то, что вы мне за этого господина заплатите. Я согласен, что это дело небывалое, но вы сейчас увидите, что все это как нельзя более просто и возможно: субъект, которого я вам предлагаю, зарабатывает в год около двух тысяч рублей, но он немножко привередлив, – разумеется, пока он одинок, а со временем, когда он будет женат и, находясь в ваших руках, будет считаться отцом ваших малюток, то вы его можете подогнать… Вы, не живя с ним, можете потребовать от него по закону приличного содержания для вас и для ваших детей; тут и Тихон Ларионович может подшпорить его в газете; он человек чуткий, – гласности испугается, а тогда определить его на службу, или пристроить его к какому-нибудь делу, и он вам быстро выплатит заплаченные за него девять тысяч.

– Что ты об этом думаешь? – спросила дама Кишенского.

Кишенский ударил громко счетною костяшкой и отвечал:

– Что же! Это вполне возможно.

– Мои планы все тем и хороши, – сказал Горданов, – что все они просты и всегда удобоисполнимы. Но идем далее, для вас еще в моем предложении заключается та огромная выгода, что денег, которые вы мне заплатите за моего человека, вы из вашей кассы не вынете, а, напротив, еще приобретете себе компаниона с деньгами же и с головой.

Дама только перевела глаза с Кишенского на Горданова и обратно назад на Кишенского.

– Когда наступит время расчета, – продолжал Горданов, – я у вас наличных денег не потребую; а вы, почтенный Тихон Ларионович, дадите мне только записку, что мною у вас куплены такие-то и такие-то бумаги, на сумму девяти тысяч рублей, и сделайте меня негласным компанионом по вашей ссудной кассе, на соответственную моему капиталу часть, и затем мы станем работать сообща. Планы мои всегда точны, ясны, убедительны и неопровержимы, и если вы согласны дать мне за вашу свадьбу с моим субъектом девять тысяч рублей, то этот план я вам сейчас открою.

– Тихон! – воззвала дама к Кишенскому.

– Гм!

– Да что же ты мычишь! Ведь это надо решать.

– Да; я прошу вас решать, – отвечал, взглянув на свои часы, Горданов.

– Что же?.. – простонал Кишенский.

– Что же? Ну, что же «что же»? – передразнила дама, – ведь это надо, понимаешь ты, это надо кончить.

– Фабий Медлитель, положим, выигрывал сражения своею медлительностью, но его тактика, однако, не всем удается, и быстрота, и натиск в наше скорое время считаются гораздо вернейшим средством, – проговорил, в виде совета, Горданов.

– Да, в самом деле, это бесконечный водевильный куплет:

Всегда тем кончится пиеса,
Что с вашим вечным «поглядим»
Вы не увидите бельмеса,
А мы всегда все проглядим.

с нетерпеливым неудовольствием проговорила дама и, непосредственно затем быстро оборотясь к Горданову, сказала:

– Извольте, господин Горданов, я согласна: вы получите восемь тысяч пятьсот.

– И еще пятьсот; я вам сказал последнюю цену: девять тысяч рублей.

– Извольте, девять.

Горданов расстегнул пиджак, достал из грудного кармана сложенные листы бумаги, на которых была тщательно списанная копия известного нам сочинения Висленева, и попросил взглянуть.

Кишенский и дама посмотрели в рукопись.

– Что это такое? – вопросил Кишенский.

– Это копия, писанная рукой неизвестного человека с сохраняющегося у меня дома оригинала, писанного человеком, мне известным.

– Тем, которого вы нам продаете?

– Да, тем, которого я вам продаю.

Хозяева приумолкли.

– Теперь извольте прослушать, – попросил Горданов, – и полным, звучным голосом, отбивая и подчеркивая сальянтные места, прочел хозяину и хозяйке ярое сочинение Иосафа Платоновича.

– Что это за дребедень? – вопросил Кишенский, когда окончилось чтение.

Дама, сдвинув брови, молчала.

– Это, милостивый государь, не дребедень, – отвечал Горданов, – а это ноты, на которых мы сыграем полонез для вашего свадебного пира и учредим на этом дворянство и благосостояние ваших милых малюток. Прошу вас слушать: человек, написавший все это своею собственною рукой, есть человек, уже компрометированный в политическом отношении, дома у него теперь опять есть целый ворох бумаг, происхождение которых сближает его с самыми подозрительными источниками.

– Понимаю! – воскликнул, ударив себя ладонью по лбу, Кишенский.

– Ничего не понимаете, – уронил небрежно Горданов и продолжал, – прочитанное мною вам здесь сочинение написано по тем бумагам и есть такое свидетельство, с которым автору не усидеть не только в столице, но и в Европейской России. Вся жизнь его в моих руках, и я дарую ему эту жизнь, и продаю вам шелковый шнурок на его шею. Он холост, и когда вы ему поставите на выбор ссылку или женитьбу, он, конечно, будет иметь такой же нехитрый выбор, как выбор между домом на Английской набережной или коробочкой спичек; он, конечно, выберет *свадьбу*. Верно ли я вам это докладываю?

Кишенский беззвучно рассмеялся и, замотав головой, отошел к окну, в которое гляделась белая ночь.

– Верно ли? – повторил Горданов.

– Верно, черт возьми, до поразительности верно! И просто, и верно!

Дама молчала.

– Ваше мнение? – вопросил ее Горданов.

– Дело в том, – молвила она после паузы, – как же это совершится?

– Тут необходимо небольшое содействие Тихона Ларионовича: жениха надо попугать слегка обыском.

– Это можно, – отвечал Кишенский, улыбнувшись и потухнув в ту же секунду.

– И непременно не одного его обыскать, а и меня, и Ванскок, понимаете, чтоб он не видал нить интриги, но чтобы зато была видна нить хода бумаг.

– Хорошо, хорошо, – отозвался Кишенский.

– У него пусть найдут бумаги и приарестуют его.

– Да уж это так и пойдет.

– А тогда взять его на поруки и перевенчать.

– Да, это так; все это в порядке, – ответил Тихон Ларионович.

– Тогда ему будет предложено на выбор: выдать ему назад это его сочинение или представить его в подкрепление к делу.

– Да.

– И он, как он ни прост, поймет, что бумаги надо выручить. Впрочем, это уже будет мое дело растолковать ему, к чему могут повести эти бумаги, и он поймет и не постоит за себя. А вы, Алина Дмитриевна, – обратился Горданов к даме, бесцеремонно отгадывая ее имя, – вы можете тогда поступить по усмотрению: вы можете отдать ему эти бумаги после свадьбы, или можете и никогда ему их не отдавать.

– К чему же отдавать? – возразил Кишенский.

– Да, и я то же самое думаю, а, впрочем, это ваше дело.

– Это мы увидим, – молвила невеста.

И затем, с общего согласия, был улажен план действий, во исполнение которого Кишенский должен был «устроить обыск». Как он должен был это устроивать, про то ничего не говорилось:

предполагалось, что это сделается как-то так, что до этого никому нет дела. Затем, когда жениха арестуют, Горданов, которого тоже подведут под обыск, скажет арестованному, что он, желая его спасти в критическую минуту, отдал бумаги на сохранение Кишенскому, а тот – Алине Дмитриевне Фигуриной, и тогда уже, откинув все церемонии прочь, прямо объявят ему, что Алина Дмитриевна бумаг не отдает без того, чтобы субъект на ней перевенчался.

Для того же, чтобы благородному и благодушному субъекту не было особенной тяжести подчиниться этой необходимости, было положено дать ему в виде реванша утешение, что Алина Дмитриевна принуждает его к женитьбе на себе единственно вследствие современного коварства новейших людей, которые, прозрев заветы бывших новых людей, или «молодого поколения», не хотят вырвать женщину, нуждающуюся в замужестве для освобождения себя от давления семейного деспотизма. Все это было апробировано Кишенским и Алиной Дмитриевной, и условие состоялось.

– Теперь, – сказал в заключение Горданов, – я вам сообщу и имя того, кого вы купили: это Иосаф Платоныч Висленев.

– Иосаф Висленев! – воскликнули с удивлением в один голос Фигурина и Кишенский.

– Да, Иосаф Висленев, он сам собственнейшею своею персоной.

– Черт вас возьми, Горданов, вы неподражаемы! – воскликнул Кишенский.

– Нравится вам ваша покупка?

– Лучшего невозможно было выдумать.

– Ну и очень рад, что угодил по вкусу. Рукописание его у меня, я не понес его к вам в подлиннике для того…

– Чтоб обе половины вашего плана не соединить вместе, – начал шутить развеселившийся Кишенский.

– Да, – отвечал, улыбаясь, Горданов, – Ванскок мне кое-что сообщала насчет некоторых свойств вашего Иогана с острова Эзеля. К чему же было давать вам повод заподозрить меня в легкомыслии? Прошу вас завернуть завтра ко мне, и я вам предъявлю это рукописание во всей его неприкосновенности, а когда все будет приведено к концу, тогда, пред тем как я повезу Висленева в церковь венчать с Алиной Дмитриевной, я вручу вам эту узду на ее будущего законного супруга, а вы мне отдадите мою цену.

– Вполне согласен, – отвечал Кишенский и, подавив снова пуговку, велел вошедшему Иогану с острова Эзеля подать бутылку холодного шампанского.

За вином ударили по рукам, и ничего над собой не чаявший Висленев был продан.

Затем Горданов простился и ушел, оставя Кишенскому копию, писанную неизвестною рукою с известного сочинения для того, чтобы было по чему наладить обыск, а невесте еще раз повторил добрый совет: не выдавать Висленеву его рукописания никогда, или по крайней мере до тех пор, пока он исхлопочет усыновление и причисление к своему дворянскому роду обоих ее старших детей.

– А лучше, – решил Горданов, – никогда с него этой узды не снимайте: запас беды не чинит и хлеба не просит.

Впрочем, Горданов напрасно на этот счет предупреждал госпожу Фигурину. Видясь с нею после этого в течение нескольких дней в № 7 квартиры Кишенского, где была семейная половина этого почтенного джентльмена, Горданов убедился, что он сдает Висленева в такие ежовые рукавицы, что даже после того ему самому, Горданову, становилось знакомым чувство, близкое к состраданию, когда он смотрел на бодрого и не знавшего устали Висленева, который корпел над неустанною работой по разрушению «василетемновского направления», тогда как его самого уже затемнили и перетемнили.

Глава девятая
Ночь после бала

Дело должен был начать Кишенский, ему одному известными способами, или по крайней мере способами, о которых другие как будто не хотели и знать. Тихон Ларионович и не медлил: он завел пружину, но она, сверх всякого чаяния, не действовала так долго, что Горданов уже начал смущаться и хотел напрямик сказать Кишенскому, что не надо ли повторить?

Но наконец пружина потянула и незримая подземная работа Кишенского совершилась: в одну прекрасную ночь Висленева, Горданова и Ванскок посетили незваные гости. Сначала это, конечно, каждое из этих трех лиц узнало только само про себя, но на заре Ванскок, дрожа до зубного стука от смешанных чувств радости и тревоги, посетила Висленева и застала его сидящим посреди комнаты, как Марий на развалинах Карфагена.

– У меня забрали бумаги, – лепетала Ванскок, – но я ничего не боюсь.

– И у меня забрали, и я ничего не боюсь, – отвечал Висленев и добавил, что единственная вещь, которая его могла скомпрометировать, на его счастие, два дня тому назад взята Гордановым.

Но этому благополучию, однако, было немедленно представлено очень внушительное опровержение: в комнату Висленева, где Иосаф Платонович и Ванскок в тревоге пили весьма ранний чай, явился встревоженный Горданов и объявил, что и его обыскали.

Висленев побледнел и зашатался.

– И мою статью нашли? – воскликнул он в ужасе.

– Нет; представь, нет! – успокоил его Горданов.

– Слава тебе, Господи! – проговорил Висленев и с радостным лицом перекрестился.

Горданов рассказал счастливое событие, как он был извещен намеком Кишенского, что им грозит опасность, и передал ему Висленевское сочинение, отчего Кишенский будто отбивался и руками

и ногами, но потом, наконец, махнул рукой и, взяв, сказал, что занесет и отдаст его Алине Фигуриной.

– Ну и спасибо им, и тебе спасибо, и слава Богу, и слава твоему уму! – проговорил совсем оправившийся Висленев и опять два раза перекрестился на церковь.

Ванскок нетерпеливо ударила Висленева по руке и, заступив его, выдвинулась с вопросом: «как это было?», но Горданов не обнаружил никакого намерения удовлетворить ее любопытства.

– Есть дела важнее, – прошептал он, озираясь как волк, – скажите скорее, где этот ваш хваленый друг?

– Какой? – осведомился Висленев.

– Ну вот твой «сосед по имению»?

– Меридианов?

– Ну да.

– Он верно дома.

– Позови-ка его сюда под каким-нибудь предлогом.

Висленев вышел в коридор.

– А вы разве подозреваете Меридианова? – спросила, подпрыгивая вокруг Горданова, проворная Ванскок.

– Я не подозреваю, а я знаю наверное.

– Меридианова нет дома, и он, оказывается, даже не ночевал, – объявил в эту минуту возвратившийся в свою комнату бледный Висленев.

Горданов только ударил по столу и воскликнул:

– А что-с!

– Теперь я вижу, – ответил Висленев.

– Теперь это ясно, – решила Ванскок, и вдруг быстро стала прицеплять на макушку свою форейторскую шапочку.

– Куда же вы? – остановил ее Висленев.

– Как куда? Я сейчас обегу всех своих и Полисадову, и Поливадову, и по крайней мере всех предупрежу насчет Меридианова.

– А, это другое дело, – сказал Висленев.

– Да; а я вам даже советую поспешить с этим предупреждением, – поддержал Горданов.

Ванскок бомбой вылетела из квартиры Висленева и покатилась мячом по лестнице, и вдруг внизу на последней террасе нос к носу столкнулась с Меридиановым, который тащился вверх неверными

шагами, с головой, тяжелою внутри от беспардонного кутежа и увенчанной снаружи былинками соломы и пухом.

Дремучий семинарист возвращался домой с пира, заданного его приятелем, актером Бабиневичем, обвенчавшимся вчера на фавориткой княжеской танцовщице, после чего все, кроме князя и новобрачной, совершали возлияние богам в сосновом бору Крестовского острова, на мыске за Русским трактиром.

Меридианов был пьян, тяжел и весел. Столкнувшись с Ванскок, которая нарочно толкнула его локтем, он сначала ничего не понял и отступил, но потом, воззрясь ей вслед красными от вина и бессонницы глазами, крикнул:

– Эй! вы, госпожа! бритая барышня! Прошу вас потише, а то я так шшшелкану, что ты у меня рассыплешься!

– Я не боюсь вас, долгогривый шпион! – крикнула ему, остановясь на минуту, Ванскок.

– Что-о-о? – переспросил изумленный Меридианов.

– Шпион! – повторила Ванскок и покатила книзу.

– Дура, – ответил ей Меридианов и пополз тяжело наверх.

На следующей террасе вверху Меридианова догнал полицейский офицер и спросил его, где здесь живет Висленев?

– Сосед по имению? – спросил Меридианов, пока не распознал спьяну мундира вопрошавшего, но вслед затем, осенясь сознанием, посторонился и, дав офицеру дорогу, молча указал ему на дверь рукой.

Полицейский офицер позвонил, и они одновременно вошли в квартиру: офицер вперед, а Меридианов тихонько вполз за ним следом и юркнул в свою каморку.

Через пять минут полицейский вывел из этой квартиры Висленева и увез его с собою в участок, а Меридианов, совсем как был одетый, спал мертвым сном, ворча изредка: «нет, я пива больше не могу, – убей меня бог, не могу!»

Пока ни в чем, кроме пьянства, неповинный Меридианов спал, а Ванскок летала по городу, обнося, в виде усладительного шербета, новую весть, Висленев имел время прочувствовать несколько весьма разнообразных и тягостных ощущений, сидя в четырех голых стенах маленькой, одинокой камеры в доме одной из полицейских частей.

Если во всем можно находить свою добрую сторону, то добрая сторона такой недоброй вещи, как лишение свободы, конечно,

заключается только в том, что она дает человеку одно лишнее средство одуматься поневоле. Одно из лиц известного романа Диккенса, содержась в старой тюрьме, Маршельси, говорит, что *в тюрьме – штиль*. В другом месте люди не знают спокойствия, травят друг друга и жадно стремятся то к тому, то к другому: здесь нет ничего подобного, здесь мы стоим вне всего этого, мы *узнали худшее в жизни* и нашли – мир. Это *свобода*, но, увы, к сожалению, и это обретение мира и свободы выпадает на долю не всех подвергающихся печальной участи лишения свободы, или, по крайней мере, не в одной и той же степени и не в одно и то же время для каждого. Есть люди, которых тюремное уединение обращает в какую-то дрязгу, и к числу таковых принадлежал мягкосердный Висленев.

Иосаф Платонович не был в поре доброго раздумья: тюрьма для него не была «штилем», как для философа в Маршельси: она его только пытала томлением страха и мелким чувством трусливой боязни. И сюда-то, на второй день его заключения, проникли его палачи из квартиры с тремя парадными дверями.

Поличье, отобранное у Висленева, было самого ничтожного свойства и арест его был очень не строг, так что Алине Дмитриевне Фигуриной не стоило никаких особенных затруднений устроить свидание с арестантом, а потом было еще легче ввести его в суть дела и потребовать от него услуги за услугу, брака за сбережение его сочинения, которое находится тут же, в части, в кармане Алины, и сейчас может быть предъявлено, после чего Висленеву уже не будет никакого спасения.

Висленев задрожал и, сжимая руки Алины, прошептал:

– Бога ради, бога ради! я сделаю все! я вас выручу, я женюсь, женюсь… Мне это все равно: ведь я не дорожу семейным счастьем, но ради бога, чтоб эта бумага осталась между нами!

– Она всегда останется между нами, – обещала Фигурина, и сдержала свое обещание.

Несчастный Висленев и в помышлении не имел, что у Фигуриной отнюдь в ту пору еще и не было его священного залога: он не подозревал Горданова ни в чем, и можно ли было подозревать его? Горданов был весь густо затушеван в этом предательстве, за которое всю ответственность нес Меридианов. Но зато со многих добрых сторон Горданов заявил себя в это время как нельзя лучше: он посещал

Висленева в тюрьме; он утешал его, успокоивал; он отговаривал его от пагубной мысли жениться на Фигуриной. Потом Горданов явил бездну мягкости и не только не злословил Меридианова и Фигурину, но даже напоминал Висленеву, что это свежие раны, которых тревожить не должно. К концу своего семидневного заключения, Висленев успел совсем расположиться на Горданова. Павел Николаевич был шафером Висленева при его бракосочетании с Фигуриной.

Тяжкий и ужасный для нашего новобрачного обряд этот был совершен над ним и Еленой Фигуриной в первый день освобождения жениха. Оглашение и всякие брачные формальности были выполнены: заботливых людей нашлось вволю. Сам священник, которому надлежало совершить брак, был обманут: ему было сказано, что предстоящий брак, конечно, юридически вполне законный, имеет, однако, свою романическую сторону, которая требует некоторого снисхождения, и священник, осторожно обсуждая каждый свой шаг, сделал только самые возможные снисхождения, но при всем том, перевенчал Висленева с Фигуриной, после долго не знал покоя: так невообразимо странен и необъясним вышел брак их.

Это была картина Пукирева *Неравный брак*, только навыворот. Полная невеста Елена Дмитриевна Фигурина, в белом платье, стояла прямо и смело держала свою свечу пред налоем, а жених Иосаф Платонович опустился книзу, колена его гнулись, голова падала на грудь и по щекам из наплаканных и красных глаз его струились слезы, которые он ловил устами и глотал в то время, как опустившаяся книзу брачная свеча его текла и капала на колено его черных панталон. И Кишенский, державший венец над Фигуриной, и Горданов, стоявший сзади Висленева, оба зорко наблюдали и за женихом, и за смятенным священником, не постигавшим тайн этого странного бракосочетания, и за народом, который собрался в церковь и шептался по случаю такой невиданной свадьбы.

Положение было рискованное: жених каждую минуту мог упасть в обморок, и тогда бог весть какой все могло принять оборот. Этого опасалась даже сама невеста, скрывавшая, впрочем, мастерски свое беспокойство. Но как часто бывает, что в больших горестях человеку дает силу новый удар, так случилось и здесь: когда священник, глядя в глаза Висленеву, спросил его: «имаши ли благое произволение поять

себе сию Елену в жену?» Иосаф Платонович выпрямился от острой боли в сердце и дал робким шепотом утвердительный ответ.

– Не обещались ли вы прежде сего кому-нибудь? – продолжал священник.

– Обещался, – отвечал несколько громче Висленев.

Священник приостановился: у свидетелей похолодело возле сердца.

– Кому? – спросил священник.

– Ей, – ответил Висленев, – и молча указал на стоящую с ним рядом Фигурину, – я ей обещался прежде.

Кишенский и Горданов ободрились, и обряд венчания окончился, оставив по себе вечные воспоминания у причта, совершавшего обряд, и у всех присутствовавших, видевших рыдающего жениха, привенчиваемого к непоколебимо твердой невесте.

Долго воспоминая свадьбу Висленева, священник, покусывая концы своей бороды, качал в недоумении головой и, вздыхая, говорил: «все хорошо, если это так пройдет», но веселый дьякон и смешливый дьячок, как люди более легкомысленные, забавлялись насчет несчастного Висленева: дьякон говорил, что он при этом браке только вполне уразумел, что «тайна сия велика есть», а дьячок рассказывал, что его чуть Бог сохранил, что он не расхохотался, возглашая в конце Апостола: «а жена да боится своего мужа».

Но как бы кому ни казалась эта история, важнейший смысл ее для Висленева был тот, что его женили и женили настоящим, крепким манером, после чего он имел полную возможность доказать справедливость слов, что «жена не рукавица и ее с белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь».

Глава десятая
Висленевские дроби приводятся к одному знаменателю

Со времени описанной нами женитьбы Висленева до того дня, когда мы встретили его – далеко от Петербурга, – в саду сестры его Ларисы, прошло два года, – два года, не только тяжких, но даже ужасных для Иосафа Платоновича. В эти два года он беспрестанно подвергался таким пертурбациям, что, не имей он своей природной доброты, легкости и покладливости, и не будь при нем Горданова, мастерски дававшего ему приемы хашиша пред каждою новою операцией, совершаемою над ним его женой и ее другом Кишенским, ему бы давно надо было десять раз умереть смертью самоубийцы; но Висленеву, как заметила Катерина Астафьевна Форова, бог за доброту только лица прибавил, то есть Иосаф Платонович, не состаревшись, оплешивел. Его жена не бросила его на произвол ветров, как поступила танцовщица, восприсоединившая к своему имени фамилию Бабиневича, и даже не отпустила его по оброку, как пустила своего князя-правоведа Казимира Швернотская: нет, Висленев был оставлен на барщине. Бессмертное произведение его пера, за которое Алина притянула Иосафа Платоновича к брачному налою, никогда не было ему выдано. Врученное Алине Гордановым за два часа до бракосочетания ее с Висленевым, оно навсегда осталось покоиться в несгораемом железном шкафе, вместе с банковыми билетами и другими драгоценностями, ключ от которого никогда не разлучался с Алиной Дмитриевной. Иосаф Платонович только был обещаем надеждой, что ему эту роковую бумагу возвратят, конечно, со временем, когда он ее заслужит. Это была его детская бонбошка, за которую он, бедный, много старался: он в руках Алины даже превзошел все Гордановские ожидания. Будучи перевенчан с Алиной, но не быв никогда ее мужем, он действительно усерднее всякого родного отца хлопотал об усыновлении себе ее двух старших детей и, наконец, выхлопотал это при посредстве связей брата Алины и Кишенского; он присутствовал с веселым и открытым лицом на крестинах двух других детей, которых щедрая природа послала Алине

после ее бракосочетания, и видел, как эти милые крошки были вписаны на его имя в приходские метрические книги; он свидетельствовал под присягой о сумасшествии старика Фигурина и отвез его в сумасшедший дом, где потом через месяц один распоряжался бедными похоронами этого старца; он потом завел по доверенности и приказанию жены тяжбу с ее братом и немало содействовал увеличению ее доли наследства при законном разделе неуворованной части богатства старого Фигурина; он исполнял все, подчинялся всему, и все это каждый раз в надежде получить в свои руки свое произведение, и все в надежде суетной и тщетной, потому что обещания возврата никогда не исполнялись, и жена Висленева, всякий раз по исполнении Иосафом Платоновичем одной службы, как сказочная царевна Ивану-дурачку, заказывала ему новую, и так он служил ей и ее детям верой и правдой, кряхтел, лысел, жался и все страстнее ждал великой и вожделенной минуты воздаяния; но она, увы, не приходила. Работа его за всеми этими заботами, очевидно, много страдала: он не мог уже вырабатывать и половины того, что добывал, будучи холостым, а между тем расходы его удесятерились. Алина и до бракосочетания своего с Висленевым только официально числилась в доме своего отца, а жила почти безвыходно в седьмом нумере квартиры с тремя отделениями Кишенского. Три квартиры, №№ 7, 8 и 9, представлявшие своим размещением большие удобства для видов и целей хозяев, были законтрактованы Кишенским на продолжительный срок и соединены посредством ходов в одно, с виду разделенное, но de facto[19] одно целое помещение.

Со свадьбой Алины здесь не переменилось ничего: Алина только теперь официально переписалась по домовым книгам в квартиру № 7, да сюда же был перевезен и переписан после свадьбы Иосаф Висленев, где он и имел приятное удовольствие узнать все хитрости размещения нумеров 7, 8 и 9. В № 7, состоявшем из четырех комнат, был помещен в небольшом кабинетике Иосаф Платонович. Рядом с этим же кабинетиком, служившим в одно и то же время и спальней Иосафу Платоновичу, была детская, далее столовая и за ней будуар Алины, из которого была проделана дверь, о существовании которой Висленев не подозревал до тех пор, пока не стал доискиваться: куда исчезает из дома его жена, не выходя дверьми, а улетая инуде. Дверь вела чрез кассу ссуд, помещавшуюся в № 8, в квартиру, где обитал

Тихон Ларионович Кишенский, управлявший отсюда всеми тремя отделениями. Наконец Иосаф Платонович узнал хорошо и эту дверь; знал он и все остальное, и все это сносил тем легче, что сам он постоянно уверял себя, что его женитьба – не настоящая женитьба, что это только так себе, уступка чему-то. Правда, он видел, что вокруг него все нечисто: все дышит пороком, тленью, ложью и предательством, но он не считал себя жильцом этого мира. Жизнь его была теперь настоящая «нощь жития», от которой он пробуждался только во сне, когда ему мерещился и далекий старый Висленевский сад, в далеком губернском городке, и светлый флигель, и сестра, красавица Лара, и русая головка свежей миловидной Alexandrine. Так это и тянулось, но вот и еще грянул на голову Висленева новый удар: по прошествии первого полугодия его женатой жизни, Алина напомнила ему, что он, кажется, совсем позабыл о нуждах семьи, и что счет издержкам, производимым ею из ее собственного кармана на домашние нужды и содержание детей, составляет уже слишком значительную сумму. Висленев этого не ожидал. Справедливость требует сказать, что он неохотно жил в № 7 и подчинялся в этом случае единственно требованию Алины, жил как женился, – угрожаемый страхом представления известной бумаги; но никакого иного коварства он не подозревал. Он не один раз намекал своей жене, что он не даром ест за ее столом и согревает немощную плоть свою под ее кровом, он за все это хотел рассчитаться: за все это думал заплатить по ходячей петербургской таксе, чем и утешался, трактуя свою жену не иначе как своею квартирною хозяйкой, до которой ему не было и нет никакого дела. Но та же справедливость, которая обязывала нас предъявить читателю эти соображения Висленева, обязывает не скрывать и того, что Иосаф Платонович имел этот расчет только в *теории* и о практической его стороне мало думал. Полгода прошло, а не заплачено было ни копейки и ни копейки не было в сбережении: расход был верен с приходом, и в запасе круглый нуль. В таких положениях все благородные и безрасчетливые люди бывают очень уступчивы и щедры на обязательства, и Иосаф Платонович, не возразив ни одного слова против бесчестного требования с него денег на содержание многочисленного чужого семейства, гордо отвечал, что он теперь, к сожалению, не может произвесть всего этого, по правде сказать,

неожиданного платежа, но что он готов признать долг и подписать обязательство.

Алина язвительно просила его рассеять ее недоумения: в каких соображениях он назвал неожиданностью расход на семейство? Висленев, в свою очередь, не менее язвительно, попросил уволить его от всяких объяснений, и, не проверяя представленного счета, взял и подписал его, взглянув только на последний итог в три тысячи рублей, итог, как объяснила ему жена, отнюдь небольшой, потому что в Петербурге, живучи прилично, с семейством в пять душ, с тремя прислугами и кормилицей, менее шести тысяч рублей в год издержать невозможно.

Висленев на это не отвечал ни одним словом: он понимал всю низость совершенной с ним проделки и презирал ее.

– Три эти тысячи, которые я обязался ей заплатить, и ей выплачу, – говорил он Горданову, – но согласись сам, что ведь это с их стороны ужасная низость заставлять меня содержать их семью.

– Свиньи! – коротко отвечал ему Горданов, которому Иосаф Платонович единому только слагал свои жалобы на семейные обиды, потому что Ванскок совершенно охладела к нему после его женитьбы.

Горданову Иосаф Висленев сообщал и свои надежды, что эти три тысячи зато будут для него последним уроком, что он их выплатит, как наказание за свою неуместную доверчивость, и откланяется; но пока он искал средства расплатиться и раскланяться, прошло еще полгода, и ему был предъявлен второй счет на такую же сумму, от признания которой не было возможности уклониться после того, как эта статья раз уже была признана, и Висленев явился должником своей жены уже не на три, а на шесть тысяч рублей.

– Вот к чему ведут эти Меридиановские штуки, – говорил он Горданову, из столь общего почти всем людям желания отыскать какого бы то ни было стороннего виновника своих бед и напастей.

– А, я тебе говорил! я тебе говорил! тысячу раз говорил: эй, Иосаф, мне этот Меридианов подозрителен! Но тебя разве можно было уверить! – успокоивал его Горданов.

– Помилуй, скажи: ведь как было не верить? Казалось, такой простой, дремучий семинарист…

– Да, да, да, это казалось; а ты верно позабыл, что *казалось* – это прескверное слово: казалось, это козалилось, оба звери резвые и оба

звери рогатые.

– Ну, да черт их возьми; я выплачу, и дело с концом.

– Да разумеется: как выплачешь, так и ну их тогда ко всем дьяволам.

– Я говорю выплочу, а не выплачу, – поправлял Висленев.

Горданов посмотрел на него пристальным и удивленным взглядом, и потом, быстро сплюнув на сторону, воскликнул:

– Фу ты, какая глупость! Извини, пожалуйста, что я тебя не так понял.

Висленев извинял, хотя в уме своем он уже кое-что смекал и насчет Горданова, и говорил с ним о своих семейных делах более по привычке и по неотразимой потребности с кем-нибудь говорить, при неимении под рукой другого лица, удобного для излития в душу его своих скорбей, а между тем истек третий семестр, и явился новый трехтысячный счет… Висленев, подписав этот счет, остолбенел: долгу было девять тысяч рублей, в полтора года! Сколько же его могло накопиться вперед? В десять лет – шестьдесят тысяч, в двадцать – сто двадцать… До чего же наконец дойдет? Это значит, чем больше жить, тем хуже.

Бедный Висленев не предвидел еще одного горя: он ужасался только того, что на нем растут записи и что таким образом на нем лет через пятьдесят причтется триста тысяч, без процентов и рекамбий; но другими дело было ведено совсем на иных расчетах, и Иосафу Платоновичу в половине четвертого полугодия все его три счета были предъявлены к уплате, сначала домашним, келейным образом, а потом и чрез посредство подлежащей власти.

У Висленева в груди заколыхались слезы, и он бросился к Горданову.

– Помилуй, Павел Николаич! – заговорил он, щипля дрожащими руками свою короткую губу, – на что же это похоже? Ты все знаешь? тебе известны и наши дела, и мое положение: чего же они, разбойники, пристают ко мне с ножом к горлу? Я заплачу, но дайте же мне срок!

– О сроках ты, голубушка, Иосаф Платоныч, не говори: сроков тебе было дано много, – отвечал спокойно Горданов.

– Да; много сроков, но много и дел на меня было взвалено: я совсем не имел времени работать за хлопотами то об усыновлениях, то

о наследстве, а теперь еще, вдобавок, требуют не девять тысяч, а гораздо более, потому что насчитали всякие проценты да рекамбии…

– Все дела законные.

– Законные! Ты меня злишь этим своим равнодушием и законностью. Ты будь человеком и имей сердце с четырьмя желудочками: ведь вон смотри, мне суют на подпись еще особый счет в шестьсот рублей, на двое крестин, по триста рублей на каждые!

– Что же, это, воля твоя, немного.

– Немного! Да за что мне и эту немногость платить? За что, я тебя спрашиваю? за что! Ведь надо знать нашу жизнь!

– Ну как же ты хочешь, чтобы я знал то, чего я не знаю и знать не могу.

– Так я тебе расскажу, чтобы ты знал.

– Нет, нет, нет! Бога ради и не думай рассказывать! Я знаю одно, что между мужем и женой никаких посредников быть не должно, и ни в чьи семейные тайны не мешаюсь.

– Тайны! тайны! – вскипел вдруг Висленев. – Нет же, дружище, если вы хотите называть тайнами всякие разбойничьи мерзости, так я сделаю все эти тайны явными: я все это выведу наружу и подам просьбу в суд!

– Ну вот, еще этого недоставало!

– А что же такое? непременно подам!

– Полно, пожалуйста, срамиться!

– Чего срамиться? Все это вздор, никакого срама нет: теперь все судятся.

– Ну да, обрадовались уже, что суд у них есть, так и валят, и комар, и муха. Брось эту мысль, брось! На кого и на что ты будешь жаловаться? Живешь ты с женой в одном доме, ты законный, в церкви венчанный муж, и стало быть и законный отец, и все требования от тебя на содержание семейства и на похороны вполне правильны, и суд рассудит тебя точно так же, как я тебя рассудил. А что платить жене признанные тобою обязательства ты обязан, так это тоже бесспорно. Будь это во Франции, или в Англии, это было бы иное дело: там замужняя женщина вся твоя; она принадлежит мужу с телом, с душой и, что всего важнее, с состоянием, а наши законы, ты знаешь, тянут в этом случае на бабью сторону: у нас что твое, то ее, потому что ты, как

муж, обязан содержать семью, а что ее, то не твое, не хочет делиться, так и не поделится, и ничего с нее не возьмешь.

Висленев погрозил, что он станет искать развода, но Горданов над этим только расхохотался.

– Полно тебе, пожалуйста, людей смешить, – сказал он приятелю, – какие такие у нас разводы, и с чем ты станешь добиваться развода, и на каких основаниях? Только один скандал и больше ничего.

– Я на себя приму вину.

– А она великодушно простит тебе твое прегрешение, вот только и взял.

– Это черт знает что!

– Именно черт знает что, но делать нечего: повесился и мотайся, у нас женатый человек закрепощен женщине, закрепощен.

– Пусть же будет хоть скандал! Пусть хоть все вскрою, все изобличу, что делают новые женщины.

– Во-первых, не изобличишь, потому что ничего не докажешь; во-вторых, ничего не разоблачишь, потому что эти дела производятся негласно, а в-третьих, сделаешь подлость, потому что тронешь свежую рану, и тебя так взлупят в каждом шелудивом листке, что ты станешь притчей во языцех.

Висленев онемел.

Горданов это заметил и налег на эту тему.

– Что? – заговорил он. – Вспомни-ка, как ты сам стегал людей и жарил за противодействие женам? Вспомни-ка, милый друг, вспомни все это, да примерь на себя. Хорошо тебе будет, как твои прецеденты-то в суде так и замрут при закрытых дверях, а в газетах пойдут тебя жарить? Оправдываться, что ли, станешь?

– А что же такое? И стану. Ты думаешь, не стану? Нет, брат, меня перепилили: я уже на все пойду.

– И выйдешь тогда уже, – извини, пожалуйста, – круглый дурак.

– Отчего-с?

– Да оттого же.

– Да отчего же, скажи, отчего именно?

– Оттого что, кто же это, какая газета, по твоему мнению, усердно предложит тебе свои столбцы для твоих скандальных жалоб на жену?

– Не беспокойся, пожалуйста, найду такую.

– Ничего ты не найдешь. Брось, говорю тебе, выбрось совсем вон из головы эту негодную мысль судиться. Не надо было жениться наоболмашь, а женился – терпи.

– Да ведь надо знать, как я женился и почему.

Висленев никогда никому не говорил настоящей причины, почему он женился на Алине Фигуриной, и был твердо уверен, что секретную историю о его рукописном аманате знает только он да его жена, которой он никому не хотел выдать с ее гнусною историей, а нес все на себе, уверяя всех и каждого, что он женился из принципа, чтоб освободить Алину от родительской власти, но теперь, в эту минуту озлобления, Горданову показалось, что Иосаф Платонович готов сделать его поверенным своей тайны, и потому Павел Николаевич, желавший держать себя от всего этого в стороне, быстро зажал себе обеими руками уши и сказал:

– Бога ради! Бога ради: я ничего не стану слушать и мне вовсе не надо знать, как и почему ты женился. Это опять ваше семейное дело, и честно ли, подло ли что тут делалось – в том ни я, ни кто другой не судья.

– Но дело в том, что это все делалось подло.

– Тем хуже для тебя, – отвечал, открывая уши, Горданов, – но зато тем важнее твоя заслуга.

– Пред кем это?

– А пред принципом: сноси, терпи свежую рану и не открывай ее. Что делать, любезный! Некрасов прекрасно где-то сказал: «Век жертв очистительных просит».

Висленев, выбросив за окно только что закуренную сигару и вскочив в негодовании со стула, воскликнул:

– Что ты мне рацеи-то разводишь об очистительных жертвах? Стань-ка сам, любезный друг, жертвой-то! Нет, ты, видно, богослов, да не однослов: ты когда-то совсем не то говорил, когда я стоял за самопожертвование, а ты принес свой поганый, все перепортивший дарвинизм с его борьбой за существование! Я борюсь за мое существование; да, черт возьми! да… за существование! Они или я, кто-нибудь один. Они меня стерли; даже имя мое стерли: меня зовут не иначе как «Алинкин муж», мне даже повестку прислали: «Мужу Алины Дмитриевны Висленевой»… Нет! Я не хочу слушать никаких ваших новых хитростей, да… Не хочу быть «Алинкиным мужем»!

Висленев быстро бросился в угол и закрыл глаза носовым платком, из-под которого послышались тихие нервные всхлипыванья.

Горданов молча чистил ногти и, наконец, тихо проговорил:

– Ты больше ничего как сумасшедший, с которым нельзя ни о чем рассуждать.

Висленев тотчас же отпрянул из угла на средину комнаты и, не скрывая более своих слез, закричал горячим нервным голосом:

– Что, сумасшедший? Что такое я сказал, что со мною нельзя рассуждать? А! нельзя рассуждать! Знаю я, Павел Николаич, все я знаю, все знаю, почему со мною нельзя рассуждать.

Он сжал кулаки и, подняв их над своею головой, сделал к Горданову шаг и заговорил голосом твердым и сильным:

– Со мною нельзя рассуждать, потому что я говорю правду, что я вопию к человеческому правосудию и состраданию; потому что я убит, да, да, убит, уничтожен; что у меня ничего нет, и с меня нечего взять, а с Алиной Дмитриевной и с Кишенским можно дела делать… Гм! – взглянул он, заскрипев зубами и ринувшись вперед на Горданова, – так вот же делайте, подлецы, делайте со мною, что вы хотите! Делайте, а я вас не боюсь.

И с этим Иосаф Платонович, дойдя до высшей степени раздражения, пошатнулся, упал в кресло и, легши руками на стол, заколотил ожесточенно лбом о доску.

Горданов, вскочивший в то мгновение, когда Висленев сделал к нему последний шаг, и стоявший с насупленными бровями и со стулом в руке во все время произнесения Висленевым последних ожесточенных слов, при виде последующего припадка, бросил стул и, налив из графина стакан воды, выплеснул его издали на голову несчастного мученика.

Висленев встрепенулся, обвел вокруг комнату жалким, помутившимся взглядом и, вздрогнув еще раз, оперся одною рукой на стол, а другою достал из кармана зубочистку и стал тщательно чистить ею в зубах.

Выплеснутая на него вода сбегала теперь мелкими серебристыми каплями с его волос, с пальцев его дрожащих рук, с его платья, с его сомлевших колен: словно все существо его плакало, и слезы его лились на пол той самой комнаты, где за два года пред этим он был продан как пария, как последний крепостной раскрепощенной России.

Вид его был страшно печален и жалок; жалок до такой степени, что он опять шевельнул если не сердце Горданова, который сердцем никогда никого не пожалел, то его нервы, так как от этого рода сожаления не свободны и злые люди: вид беспомощного страдания и им тяжел и неприятен.

Горданов подошел к своему камину, взял с него два чугунные шара, которыми производил домашнюю гимнастику и, подойдя с ними к окну, помахал ими взад и вперед и потом, кашлянув два раза, сказал:

– Свидетельствуюсь всем, что мне тебя от души жалко, и если б я мог тебе помочь, – я бы охотно помог тебе.

– Благодарю, – отвечал спокойно Висленев.

Горданов бросил одну пару шаров за диван и с другою подошел к графину, налил новый стакан воды и подал его Висленеву.

Тот взял стакан и быстро его выпил, жадно глотая воду, так что глоток нагонял глоток и звонко щелкал в его взволнованной горячей груди.

– Погоди, – начал Горданов, видя, что больной гость его успокоивается, – погоди, у меня есть план, я не скрою от тебя, что у меня есть верный план, по которому я достигну, чего я хочу: я буду богат… я буду очень богат.

– Я верю, – отвечал Висленев.

– Мой план нерушим и неотразим: он никому не мог прийти в голову, кроме меня, хотя он прост, как Колумбово яйцо.

– Что же мне из этого?

– Что тебе? – странный вопрос. Я тебе скажу более: я работал, я эти два года страшно работал, и у меня есть деньги…

– Я это знаю, – уронил Висленев, – и сам встал с своего места, налил себе сам стакан воды, так же жадно выпил ее глотками, погонявшими глоток, и, вздохнув, быстро сбросил с себя пиджак, расстегнул жилет и лег на диван.

– Прошу тебя, положи на место твои шары, – я с тобою драться не стану, – проговорил он, отворачиваясь от света.

– Да я это совсем и не для того…

– Ну так положи их, пожалуйста, на место: нечего уже бить битого.

– Так что же ты не хочешь, что ли, и слушать?

– Нет; говори, мне все равно: я слушаю.

– Я, конечно, мог бы тебе дать десять тысяч или двенадцать… Сколько там они на тебя насчитали?

– Двенадцать.

– Но это для меня равнялось бы самоуничтожению.

– Поверь, что я бы никогда и не принял ни от кого такой жертвы, а тем более от тебя.

– Почему же это тем более от меня?

– Потому что ты сам небогатый человек, и деньги для тебя значат много: ты хочешь быть богатым.

– Да, и прибавь, я у самой цели моих желаний и спешу к ней жадно, нетерпеливо, и она близко, моя цель, я почти касаюсь ее моими руками, но для этого мне нужен каждый мой грош: я трясусь над каждою копейкой, и если ты видишь, что я кое-как живу, что у меня в доме есть бронза и бархат, и пара лошадей, то, любезный друг, это все нужно для того, чтобы поймать, исторгнуть из рук тысячи тысяч людей миллионы, которые они накопили и сберегли для моей недурацкой головы! Ты думаешь, мне приятно возиться с твоим Кишенским и с твоею Алиной Дмитриевной?.. Да я сам бы подложил под них дров, если б их жарили на медленном огне! Ты думаешь, что меня тешит мой экипаж или сверканье подков моих рысаков? – нет; каждый стук этих подков отдается в моем сердце: я сам бы, черт их возьми, с большим удовольствием возил их на себе, этих рысаков, чтобы только не платить за их корм и за их ковку, но это нужно, понимаешь ты, Иосаф: все это нужно для того же, для того, чтобы быть богачом, миллионером…

– И ты уверен, что этого достигнешь? – спросил Висленев, переворачиваясь к нему лицом.

– Я не могу этого не достигнуть, Висленев! Я тебе говорю, что план мой это нечто совсем гениальное, – он прост, как я не знаю что, и между тем он никому до сих пор еще не пришел в голову и, вероятно, никому не придет; но во всяком случае: на грех мастера нет, и потому надо спешить.

– Спеши же, пожалуйста, спеши.

– Я и спешу; я тебе говорю, что я готов бы возить на самом себе по городу моих собственных лошадей, если бы мне за это что-нибудь дали, чтобы я мог скорее довести мой капитал до той относительно ничтожной цифры, с которою я дам верный, неотразимый удар моему

почтенному отечеству, а потом… потом и всему миру, ходящему под солнцем.

– Твой замысел гигантский?

– Да, гигантский, небывалый: простой и невероятный. Его труднее не исполнить, чем исполнить, но мне нужна ничтожная сумма, какие-нибудь гадостные двадцать пять, тридцать тысяч рублей.

– И неужто же ты не найдешь на такое верное дело компаньона?

– Компаньона? Ты дитя, Иосаф! Мое великое, громадное предприятие совсем не акции, не концессии, – оно столько же не железные дороги, сколько и воздухоплавание.

– И не избиение же это человеческого рода, не разбойное нападение на всех капиталистов?

– Фи, милый мой: оставим это дурачество глупым мальчишкам, играющим в социалисты! Нет; я тебе повторяю, что все это проще лыкового лаптя, проще лукошка, но компаньон мне невозможен потому, что всякий компаньон захочет знать, в чем заключается мой замысел, а я, понятно, этого не хочу; я хочу сам сжать ниву, и уже серп мой в руке или почти в руке. Такого компаньона, который бы мне верил на слово, я не нашел в этой толпе биржевых кулаков, среди которых я бился и колотился эти два года, терпя от них всяческие унижения с моими ничтожными алтынами. И за то я все вытерпел, и я буду один.

– Будь у меня деньги, я бы тебе, кажется, поверил.

– Спасибо и за то, давай руку и успокойся. Успокойся, Иосаф: вот тебе моя рука, что ты не пропадешь! У меня скоро, скоро будет столько… столько золота, что я, зажмурясь, захвачу тебе пригоршни, сколько обхватят мои руки, и брошу тебе на разживу с моей легкой руки.

– Я буду об этом молчать и ждать.

– Жди, но молчи или не молчи – это мне все равно: дело мое превыше всякого страха, я вне всякой конкуренции, и мне помешать не может никто и ничто. Впрочем, теперь и недолго уже пождать, пока имя Горданова прогремит в мире…

– А ты здоров?

– Не бойся, я в своем уме, и вот тебе тому доказательство: я вижу вдали и вблизи: от своего великого дела я перехожу к твоему бесконечно маленькому, – потому что оно таково и есть, и ты его сам

скоро будешь считать таковым же. Но как тебя эти жадные, скаредные, грошовые твари совсем пересилили…

– Ах, брат, пересилили, – пересилили и перепилили!

– Ну вот то-то и есть, и ты уже не в меру разнервничался; я вижу, что я, против всех моих правил и обычаев, должен вступиться в твое спасение.

– Прошу тебя, если только можешь.

– Конечно, настолько, насколько я теперь могу.

– Я невозможного и не требую.

– Ну и прекрасно, но, разумеется, уже за то – чур меня слушаться!

– Я никогда не пренебрегал твоим советом, – отвечал Висленев.

– Ну, да, так веруй же и спасешься: во-первых, вы теперь, я думаю, на ножах?

– Я не выхожу из своей комнаты и ни с кем дома не говорю.

– Глупо.

– Они мне противны.

– Глупо, мой милый, глупо! Bitter Wasser[20] тоже противна, да, однако, ее ведь глотают, а не дуются на нее. Нет, ты, я вижу, совсем античный нигилист; тебя хоть в музей редкостей. Непримиримый, а? Ты непримиримый?

– Хорошо тебе смеяться.

– И ты бы должен смеяться, и тебе бы должно быть хорошо, да не умеешь… Ну, делать нечего: если совестлив, так просись пока у жены на оброк!

– Куда к черту!.. С ними ничего не поделаешь.

– Ну, успокой их: застрахуй свою жизнь. Что же, если она с тебя положит в год рублей тысячу оброку, можешь же ты еще платить рублей триста в страховое общество, застраховавши себя в двенадцать тысяч?

– Покорно вас благодарю, – отвечал, иронически улыбнувшись, Висленев.

– За что меня благодарить? Я тебе даю лучший совет, какой только возможно. Плати оброк, дай им свой страховой полис в обеспечение долга и будь снова свободным человеком, и я возьму тебя к своему предприятию.

– Я ни за что себя не застрахую.

– Это почему?

– Почему?.. А ты не догадываешься?

– Умереть, что ли, боишься?

– Да; суеверен немножко.

– Думаешь, что они тебя отравят.

– Разумеется, как пить дадут. Теперь ведь я им все поприделал и Елена Дмитриевна будет вдова Висленева, чего же им ждать и отчего не взять за меня двенадцать тысяч?

Горданов как будто задумался.

– Предупреди их, черт их возьми!

Висленев посмотрел на Горданова и тихо ответил:

– Поверь, мне совсем не до шуток.

Горданов отвернулся и закусил губу.

– Постой же, – сказал он. – Если это заходит уже так далеко, что есть место и таким мрачным подозрениям, то я схожу к ним и переговорю, как это можно кончить.

– Сделай милость.

– Ты доверяешь мне?

– Даже прошу.

– Так оставайся же здесь, а я пойду, и через час, много через два, ты будешь иметь результат моего свидания. Не обещаю тебе ничего, но надеюсь, что в ту ли или в другую сторону положение твое выяснится.

– Только бы выяснилось.

– Ну, и прекрасно! А по оброку идти ты согласен?

– Разумеется! Только ты же поторгуйся. Тысячу рублей это много: ведь можно и заболеть, и всякая штука, а уж он ведь не помилует.

– Ладно, поторгуемся, – отвечал Горданов, выходя за двери.

Висленев остался на минуту один, но вдруг бросился вслед за Гордановым, догнал его на лестнице и сказал, что он согласен платить жене в год даже и тысячу рублей, но только с тем, чтобы с него не требовали этих денег в течение первых трех лет его оброчного положения, а взяли бы на эту сумму вперед за три года вексель.

Горданов принял это к сведению, молча качнул Висленеву головой и уехал.

Глава одиннадцатая
Висленев являет натуру

В продолжение двух часов, которые Иосаф Платонович провел в квартире Горданова, расхаживая по комнате и кусая себе в волнении ногти, Павел Николаевич все вел переговоры, и наконец возвратился немного рассерженный и на первых же порах изругал Кишенского и Алину самыми энергическими словами.

Висленев, видя такое состояние своего друга, оробел.

– Что же такое они говорят? – приставал он, юля около Горданова.

– Что, любезный, говорят? Подлецы они оба и скареды, и больше ничего.

– Я тебе говорю, что это пятак-пара!

– Пара! Нет, жена твоя еще лучше, с ней бы еще можно ладить.

– Она умнее.

– И умнее, и рассудительнее; а уж тот – вот гадина-то! И что у него за улыбка за подлая! Заметил ты или нет, как он смеется? В устах нет никакого движения: сейчас же хи-хи, и опять все лицо смирно.

– Ну, что же они говорят-то? Что?

– Я им сказал, разумеется, все…

– Ну?

– И разъяснил им или, по крайней мере, старался им разъяснить, что так гнести человека нельзя, что это нестерпимо, что тебе надо дать передышку.

Горданов не врал, все это он за минуту действительно представлял и Кишенскому, и Висленевой.

– Ну, и что же они тебе отвечали? – нетерпеливо приставал злополучный Висленев.

– Ответ их прям как шест: они тебя отпускают.

Висленев благодарственно перекрестился.

– Но отпускают с условиями: во-первых, переписать долг твоей жене на вексель, на имя Кишенского, в восемнадцать тысяч.

– Ну?

– Говорят, что получение с тебя сомнительно, могут потребоваться расходы и тому подобное, и что потому иначе нельзя как приписать

полтину на рубль, что другие даже пишут вдвое и втрое.

– Ну, ну, я слушаю.

– Во-вторых, вексель должен быть не срочный, а «по предъявлении», но они ручаются, что в течение года они тебя не побеспокоят.

– Я говорил, в течение трех лет.

– И я им это тоже говорил, но они находят это неудобным и указывают на возможность гораздо скорейшего расчета с твоей стороны.

– Это любопытно!

– У тебя есть недвижимая собственность?

– Это вздор; у меня была часть в доме, принадлежащем нынче сестре моей Ларисе, но я давно уступил ей мою часть по формальному акту.

– По дарственной записи? Что же, дарственная запись документ поворотный: есть закон, по которому дар дарителю возвращается.

Висленев побледнел.

– Дальше? – спросил он нетерпеливо, – что дальше? Говори, пожалуйста, сразу все, чего эти разбойники хотят?

– Они думают, что половину долга, то есть девять тысяч с небольшим, ты уплатишь им своею частью на доме, уничтожив дарственную твоей сестре.

– Да!

– А половину они будут ждать, и ты должен будешь платить всего тысячу двести рублей в год жене на содержание ее с четырьмя детьми (что, должно сознаться, вовсе не дорого), и только соблюсти все формы по застрахованию своей жизни, полис на которое будет служить обеспечением второй половины долга, но премию будет за тебя платить твоя жена. Вот и все их условия.

– Все! Все? Ты говоришь: все? – крикнул, побагровев, Висленев. – Так прошу же тебя, доверши мне твои услуги: съезди еще раз на твоих рысаках к ним, к этим подлецам, пока они не уехали на своих рысаках на пуант любоваться солнцем, и скажи им, что дело не подается ни на шаг, что они могут делать со мной, что им угодно: могут сажать меня в долговую тюрьму, в рабочий дом, словом, куда только могут, но я не припишу на себя более ни одной лишней копейки долга; я не стану себя застраховывать, потому что не хочу делать мою кончину

выгодною для моих злодеев, и уж наверное (он понизил голос и, весь побагровев, прохрипел)… и уж наверное никогда не коснуся собственности моей сестры, моей бедной Лары, которой я обещался матери моей быть опорой и от которой сам удалил себя, благодаря… благодаря… окутавшей меня подтасованной разбойничьей шайке… Скажите им, скажите им, Павел Николаевич, что я жалею о том времени, когда я сидел последний раз в тюрьме и не умел терпеливо предоставить себя своей судьбе, но я это поправлю.

И он с этим схватил фуражку и быстро бросился к двери, но Горданов удержал его за руку, посадил на диван и, выбежав вон со шляпой на голове, запер гостя на ключ.

Путь, на который обратился Горданов, был тот же самый, с которого он только что возвратился. Павел Николаевич действительно возвратился к Кишенскому и Алине, и был таким горячим защитником Висленева, что Иосаф Платонович в данном случае даже и не мог бы пожелать себе лучшего адвоката пред его тиранами.

Горданов просто ругался за своего клиента, и ругался страстно и спорил логично и доказательно. Он доказывал Кишенскому, что поступки его с Висленевым превосходят всякую меру человеческой подлости; что терпение жертвы их, очевидно, перепилено, что это нерасчетливо и глупо доводить человека до отчаяния, потому что человек без надежды на спасение готов на все, и что Висленев теперь именно в таком состоянии, что он из мести и отчаяния может пойти и сам обвинить себя неведомо в каких преступлениях, лишь бы предать себя в руки правосудия, отомстя тем и Кишенскому, и жене. При этом Горданов описал яркими красками состояние, в котором он оставил у себя под замком Висленева.

– Я не ручаюсь даже, – добавил он, – что в то время, когда мы с вами рассуждаем, он, пожалуй, или спустился вниз из окна по водосточной трубе, или, что еще хуже, удавился у меня в спальне на полотенце. Так, господа, нельзя.

Кишенский продолжал во время этих речей злобно хихикать, непосредственно за смехом принимая самые серьезные мины, но жена Висленева, слушавшая Горданова со вниманием, согласилась с ним во всем, и сама сказала:

– Да, так нельзя.

– Конечно, – поддержал Горданов, – вы со своею неумытною жестокостью с ним похожи на хозяина, зарезавшего курицу, которая несла золотые яйца.

– Не видали мы от него до сих пор этих золотых яиц, – отвечал Кишенский, мгновенно улыбнувшись и насупясь.

– По крайней мере нес хоть медные, а все не из кармана, а в карман, – возразил Горданов.

– Да, да; это неправда: он нам был полезен, – вмешалась Алина.

– Полезен поневоле, – вставил Кишенский.

– Ну по воле ли, или поневоле, но все-таки я не хочу его четвертовать заживо, это вовсе не нужно.

– И это вовсе не выгодно, – поддержал Горданов.

– Да, это совсем не нужно: ему надо дать передышку.

– Разумеется! Ничего более и не нужно, как передышку. Кто вам говорит, чтобы вы его выпустили как птицу на волю? Уж наверно не я стану вам это предлагать, да и он уже так загонялся, что сам этого не требует, но дайте же ему передохнуть, чтоб он опять вам пригодился. Пусть он станет хоть немножко на ноги, и тогда мы опять его примахнем.

– Конечно, это так, – решила Алина и занялась соображениями относительно того, как устроить отпуск мужа на наилегчайших для него и выгоднейших для нее условиях.

В этих соображениях Горданов принял ближайшее участие, не стесняясь нимало молчанием Кишенского, и через час времени было положено: взять с Иосафа Платоновича вексель в пятнадцать тысяч рублей «по предъявлению» с тем, чтобы на слове он был спокоен, что этого предъявления в течение трех лет не последует, и затем дать ему свободу на все четыре стороны.

Кишенский имел что-то возразить против этой резолюции, но Алина ее отстояла, и Горданов принял ее и привез Висленеву, которого застал у себя дома крепко спящим.

Висленев был очень доволен резолюцией, и сразу на все согласился.

– Однако, знаешь ли: она, значит, все-таки без сравнения лучше этого подлеца, который так расписывает о беззаконности собственности, – сказал он Горданову, когда тот передал ему весь план в довольно справедливом изложении.

– О, господи, есть ли что равнять? – отозвался Горданов. – Она игрок, а это шушера. Пей вот вино!

Вина было выставлено много и ужин богатый.

– Скажи, однако, за что же она его любит? – любопытствовал Висленев, сидя на чистой простыне застланного для него дивана.

– Друг! Что есть любовь? – отвечал Павел Николаевич. – Он ей нравится.

– Правда, правда.

– И ты ей тоже, может быть, нравишься. Даже, может быть, и более… Черт их, брат, знает: помнишь, как это Гейне говорит: «не узнаешь, где у женщин ангел с дьяволом граничит». Во всяком случае, сегодня она вела себя в отношении тебя прекрасно.

Висленев молча катал шарик из хлеба, улыбался и пил, и наконец сказал:

– Знаешь, Горданов: я понимаю в одном месте короля Лира.

– В каком? – вопросил Горданов.

– Когда он при виде неблагодарных Реганы и Гонерильи говорит: «и злая тварь *мила* в сравненьи с тварью злейшей».

– И благо тебе, и благо тебе! – завершил Горданов, наливая Висленеву много и много вина и терпеливо выслушивая долгие его сказания о том, как он некогда любил Alexandrine Синтянину, и как она ему внезапно изменила, и о том, как танцовщица, на которой одновременно с ним женился Бабиневич, рассорясь с своим адоратером князем, просто-напросто пригласила к себе своего законного мужа Бабиневича, и как они теперь умилительно счастливы; и наконец о том, как ему, Висленеву, все-таки даже жаль своей жены, во всяком случае стоящей гораздо выше такой презренной твари, как жид Кишенский, которого она любит.

Горданов намекнул Висленеву, что и ему ничто не мешает довести свои дела до того же, до чего довел свои брачные дела его товарищ и современник Бабиневич.

Пьяный Висленев забредил на эту ноту, и «злая тварь», которая до сей поры была только немножко мила «в сравненьи с тварью злейшей», стала уже казаться ему даже совсем милою, даже очень милою. Ему стала мерещиться даже возможность восстановления семейного счастия.

Горданов лил вино не жалея, и сам, далеко за полночь, уложил Иосафа Платоновича в постель, а утром уехал по делам, пока Висленев еще спал.

Глава двенадцатая
Горданов спотыкается на ровном месте

Павел Николаевич Горданов нимало не лгал ни себе, ни людям, что он имел оригинальный и верный план быстрого и громадного обогащения. У него действительно был такой план, и в ту минуту, до которой доведена наша история, Горданов действительно был уже близок к его осуществлению. Этот достойный всеобщего внимания план, тщательно скрываемый от всех и от каждого гениальным в своем роде Павлом Николаевичем, должен быть принят и читателями до некоторого времени на веру. Впрочем, личный характер солидного и дальнозоркого Горданова, вероятно, сделает такое доверие со стороны читателя не особенно трудным. Горданов не мог увлекаться мыслями вздорными и несбыточными, и он действительно имел секрет, который был не чета всем до сих пор распубликованным секретам нажить миллион трудами да бережливостью. Гордановский рецепт совсем иного свойства: по быстроте и верности его действия несомненно должен удивить всех и, конечно, удивит, когда с развитием нашей истории он перестанет быть секретом для мира и сделается общим достоянием.

У Павла Николаевича теперь, как мы видели, дело шло о получении в свои руки «каких-нибудь несчастных двадцати пяти или тридцати тысяч», и он уже был близок к обладанию этим основным капиталом, из которого в полгода должны были народиться у него миллионы.

Все, что Горданов говорил Висленеву насчет своей готовности возить на себе своих собственных лошадей, если б они платили, все это была сущая правда. Два года женатой жизни Висленева Горданов провел в неусыпнейших трудах, таская на себе скотов, гораздо менее благородных, чем его кони. Два года тому назад, когда он, только слегка наметив свой план, бросил службу и приехал в Петербург, у него не было ничего, кроме небольшого, заложенного и перезаложенного хуторка, не имеющего уже никакой цены, да двух-трех тысяч наличности, собранной на службе из жалованья и наград, которые он получал, благодаря его усердию, рачительности и

талантам. Продав Алине и Кишенскому Висленева, он получил за него девять тысяч рублей, итого всего имел около одиннадцати тысяч. Для того, чтобы начать операцию с миллионами, ему недоставало гораздо более того, что он имел, а время было дорого, надо было наживать быстро, и притом нельзя было дозволять себе никакого риска. Вследствие этого Павел Николаевич не предпринял никаких афер: он не искал концессий и не играл бумагами, а просто сделался компаньоном Алины по кассе ссуд. Кишенский, занятый литературой, которая служила ему для поддержки одних концессионеров и компаний и для подрыва и унижения других, уже по ссудной кассе мало занимался: ею теперь вполне самостоятельно заправляла жена Висленева, и ей-то такой компаньон и сотоварищ, как Горданов, был вполне находкой. Они жили по польской пословице: любяся как братья и считаясь как жиды, и таким образом Павел Николаевич, занимаясь ростовщичеством и маскируя это ремесло светским образом жизни и постоянным вращательством в среде капиталистов второй и даже первой руки, к концу второго года увеличил свой капитал рубль на рубль. Он теперь имел на свой пай почти как раз столько, сколько ему было нужно, и уже собирался выступить из товарищества. Это как раз совпадало с только что рассказанными происшествиями с Висленевым, и вслед за тем, как Горданову удалось уладить кое-как висленевские отношения с его женой, он и сам приступил к разверстке своих дел с нею. Мирный вечер, которым заключалась компанейская ростовщичья деятельность Горданова с Алиной, застал их вдвоем, тщательно со всех сторон запертыми в квартире № 8. Они проверили все свои книги и счеты; вычислили барыши, расчислили их по сумме оборотных капиталов того и другого, и сделали вывод, по которому на долю Павла Николаевича теперь падало тридцать две тысячи чистогана. Это было даже более того, что Горданову было нужно для таинственной и верной операции; оставалось только завтра разменять бумаги и раскланяться.

Горданов был очень доволен и томился только нетерпением: он снова чувствовал душевный зуд и плохо смотрел вокруг. Впрочем, вокруг его ничего собственно и не происходило. Когда он с Алиной покончил счеты, приехал домой Кишенский: он привез большой астраханский арбуз и в самом веселом расположении духа рассказывал, какую штуку проделала Данка с Ципри-Кипри. Штука в

самом деле была преинтересная: Ципри-Кипри закупила у Данкиного мужа на сроки двадцать каких-то акций, употребив на это весь капитал, нажитый ею с мужем от своего увеселительного заведения. Акции падали, и пали ужасно; муж Ципри-Кипри хотел отказаться от своей покупки, предоставляя Данкиному мужу любоваться его покупной запиской. Дело стало было на ножи, но жены игроков, старые подруги, взялись все уладить и уладили: Данка уговорила Ципри-Кипри доплатить, без ведома мужа, всю убыточную разницу с тем, что после, когда таким образом будет доказана честность и стойкость Ципри-Кипри, Данка склонит своего мужа оказать еще больший кредит самой Ципри-Кипри, и тогда Данка сама пойдет с нею в желаемую компанию, и они сами, две женщины, поведут дело без мужей и, заручившись сугубым кредитом, наконец обманут мужа Данки. Ципри-Кипри послушалась и внесла Данкиному мужу всю разницу, что равнялось всему капиталу ее мужа, а теперь муж ее выгнал за это вон, и когда Ципри-Кипри явилась к Данке, то Данка тоже выгнала ее вон и отреклась, чтоб она с ней когда-нибудь о чем-нибудь подобном говорила.

– Это ловко! – воскликнул Кишенский, закончив свой рассказ, и добавил, что неприятно лишь одно, что Ципри-Кипри ведет себя ужасною девчонкой и бегает по редакциям, прося напечатать длиннейшую статью, в которой обличает и Данку, и многих других. – Я говорил ей, – добавил он, – что это не годится, что ведь все это свежая рана, которой нельзя шевелить, но она отвечала: «Пусть!» – и побежала еще куда-то.

– А все это отчего? – сказал, кушая арбуз, Горданов, – все это оттого, что давят человека вдосталь, как прессом жмут, и средств поправиться уже никаких не оставляют. Это никогда ни к чему хорошему не поведет, да и нерасчетливо. Настоящий игрок всегда страстному игроку реванш дает, чтобы на нем шерсть обрастала и чтобы было опять кого стричь.

Кишенский согласился.

– Вон наш плакутка теперь, видите, преспокоен, – продолжал Горданов, намекая на Висленева. – Даже ухаживает издали за Алиной Дмитриевной, и все, бедняк, лепечет мне про его знакомого актера Бабиневича, которого его законная жена наконец приласкала, разойдясь со своим князем.

– И опять его прогонит, когда найдет себе графа, – сухо поставил Кишенский.

– А ты, кажется, ревнуешь? Алина Дмитриевна! я говорю, Тиша-то вас уже, кажется, ревнует к вашему мужу?

– Допросите его, пожалуйста, хорошенько. Мне тоже кажется что-то в этом роде, – отвечала, слегка улыбаясь и позируя своим стройным станом, Алина. – А между тем я вам скажу, господа, что уж мне пора и домой, в Павловск: я здесь и не обедала, да и детей целый день не видала. Не приедете ли и вы к нам сегодня, Горданов?

– Я?

– Да, посидим часок на музыке и потом поужинаем.

– Поздно будет, последний поезд уйдет.

– Отчего? Теперь восемь часов, а мы поужинаем в одиннадцать, а последний поезд пойдет в половине двенадцатого; а если запоздаете, у Висленева, в его вигваме, в саду есть диван, – останьтесь у нас переночевать.

– Вы так убедительно зовете, что…

– Право, право: приезжайте, Горданов! Это даже необходимо: мы рассчитались приятельски, – разопьемте же вместе магарыч. Давайте слово, я вас жду и непременно хочу, чтобы вы сегодня провели вечер с нами.

– Если вы непременно этого хотите, то будь по-вашему.

Горданов дал Алине слово встретиться с нею и с Кишенским на вокзале железной дороги, и уехал к себе переодеваться по-дачному.

– Ну, и к делу! – сказала Алина, замкнув за Гордановым дверь и быстро возвращаясь к Кишенскому в полуопустошенную квартиру.

– Зачем ты его звала? – спросил Тихон Ларионович.

– Так нужно, – отвечала Алина, и затем, вынув из несгораемого шкафа большой саквояж, туго набитый драгоценными вещами залогодателей, подала его Кишенскому и велела держать, а сама быстро обежала квартиру, взяла еще несколько ценных вещей, оставшихся в небольшом количестве, свернула все это в шитую гарусную салфетку; собрала все бумаги с письменного стола Висленева, отнесла их в темную кладовую, запиравшуюся железною дверью, и разложила их по полкам.

Затем она возвратилась в кабинет, где сидел Кишенский, и, сорвав толстый бумажный шнурок со шторы, начала его поспешно

вытрепывать и мочить в полоскательной чашке.

– Что ты это делаешь? – спросил ее в раздумьи Кишенский.

– А ты как думаешь, что я делаю?

– У меня все в голове эта штука Данки с Ципри-Кипри. Это можно было и тебе в большем, и в гораздо большем размере разыграть с Гордановым.

– То есть что же то такое: обобрать его наполовину?

– Да.

– Да, это бы хорошо.

– Но время уже упущено, – вздохнул Кишенский.

– Конечно, – уронила Алина, выжимая смоченный шнурок.

– Эта Данка далеко пойдет.

– И назад не воротится.

– Отчего?

– Не прячет концов. Держи-ка вот этот шнурок.

– Да; но она нынче с барышом, а мы завтра платим, и еще какой куш платим!

– Какой?

– Сама знаешь.

– Я знаю, что я ничего не заплачу. Подай спичку.

– Что это будет? – полюбопытствовал Кишенский, подавая зажженную спичку.

Алина поднесла конец шнурка к огню, и вытрепанные волокна бумаги быстро занялись тлеющим огнем.

– Понял? – спросила Алина.

– Алина! ты гениальна! – воскликнул Кишенский. – *Он* не получит ничего?

– Этого мало: он не посмеет с нами расстаться, и его секрет будет мой.

– А ты в него веришь?

– Верю: Горданов на вздор не расположится.

– Алинка!.. Ты черт!

И Кишенский улыбнулся, схватил Алину за подбородок и вдруг засерьезничал и молча стал помогать Алине укладывать шнурок по всему краю полок, набитых сочинениями Иосафа Платоновича. Через час все эти пиротехнические затеи были окончены, шнурок с конца припален; железная дверь замкнута, и хозяин с хозяйкой уехали,

строго-настрого наказав оставленной при квартире бедной немецкой женщине беречь все пуще глаза, а главное быть осторожною с огнем.

Горданов сдержал свое слово и ожидал Кишенского и Алину в вокзале: он предупредительно усадил Алину в вагон и держал во всю дорогу на коленях ее саквояж. Висленев встретил их на длинной платформе в Павловске: он не выезжал отсюда в Петербург три дня, потому что писал в угоду жене большую статью об угнетении женщины, – статью, которою Алина несомненно очень интересовалась и во время сочинения которой Висленев беседовал со своею женой как наилучшие друзья, и даже более. Сегодня вечером Алина еще обещала «все обсудить» с мужем в его статье, и Висленев ждал ее в Павловске одну, – потому что она так ему говорила, что Кишенский останется по своим делам в городе, и оттого веселый Висленев, увидав Кишенского и Горданова, вдруг смутился и опечалился.

Горданов сразу это заметил и, идя рядом с Висленевым, сказал ему:

– Что ты дуешься как мышь на крупу? Ты этак только выдаешь и себя, и жену; будь покоен: я его буду занимать.

Алина тоже утешила мужа.

– В городе душно, и Тихон Ларионыч не захотел оставаться, – сказала она, идучи под руку с мужем, – но я нарочно упросила сюда приехать Горданова: они будут заняты, а мы можем удалиться в парк и быть совершенно свободны от его докуки.

Так все и сделалось.

Оркестр играл превосходно; иллюминация задалась как нельзя лучше; фонтан шумел, публика гуляла, пила, кушала. Ночь спустилась почти южная; в стороне за освещенною поляной была темень. По длинной галерее, где стояли чайные столики, пронеслась беглая весть, что в Петербурге пожар. Несколько лиц встали и в небольшой тревоге пошли, чтобы взглянуть на зарево, но зарева не было. Пожар, конечно, был ничтожный. Однако многие из вставших уже не возвращались, и у вагонов последнего поезда произошла значительная давка. Горданов с Кишенским долго бились, чтобы достать билет для Павла Николаевича, но наконец плюнули и отошли прочь, порицая порядки железной дороги и неумение публики держать себя с достоинством, а между тем прозвонил второй и третий звонок последнего поезда.

– Я сяду без билета! – воскликнул Горданов и бросился к вагону, но в это время прозвучал третий звонок, локомотив визгнул и поезд покатил, рассыпая искры.

Горданов остался на платформе, как рыба на сухом берегу.

Он оглянулся вокруг и увидал себя среди незнакомых людей: это были дачники, провожавшие знакомых. Кишенского нигде не было видно.

Фонари гасли, и поляна пред эстрадой и парк погружались в глубокую темень. Горданов зашел в вокзал, где сидели и допивали вино господа, решившиеся прогулять ночь напролет. Кишенского здесь тоже не было. Горданов выпил рюмку ананасного коньяку, зажег сигару и отправился в парк: нигде зги не было видно, и седой туман, как темный дух, лез из всех пор земли и проницал холодом ноги и колена.

Парк был почти пуст, и лишь редко где мелькали романические пары, но и те сырость гнала по домам. Горданов повернул и пошел к даче Висленевых, но окна дома были темны, и горничная сидела на крыльце.

– Тихон Ларионыч дома? – спросил Горданов.

– Нет, их нет, – отвечала девушка.

Горданов завернулся и снова пошел в парк, надеясь встретить Тихона Ларионовича, и он его встретил: на повороте одной аллеи пред ним вырос человек, как показалось, громадного роста и с большою дубиной на плече. Он было кинулся к Горданову, но вдруг отступил и сказал:

– Извините, я не видал, что вы одни.

– Тихон Ларионыч! – позвал Горданов.

– А? что? – отвечал Кишенский.

– Что вы это носитесь по лесу?

– Да помилуйте: где же они? А? вы их не видали – а? ведь с нею каналья Висленев! – и с этим Кишенский опять взмахнул палкой и бросился вперед.

Они оба пробежали несколько аллей, прежде чем Кишенский, подскакивавший к каждой запоздавшей паре, вдруг ударил себя рукой по лбу и бросился домой.

Иосаф Платонович и жена его были теперь дома: они сидели в маленькой дачной зальце и ели из одной общей стеклянной чаши

простоквашу!

Кишенский и Висленев окинули друг друга гордым оком и несытым сердцем. От Горданова это не скрылось, и он, уловив взгляд внутренне смеявшейся Алины, отвернулся, вышел на балкон и расхохотался. Алина открыла рояль, и страстные звуки Шопена полились из-под ее рук по спящему воздуху.

«Твердая рука, твердая! – думал Горданов, – что-то она это мастерит, что-то этим возьмет с Тишки?»

– Препротивный дурак этот Иосафка! – сказал, неожиданно подойдя к Павлу Николаевичу, Кишенский.

– Чем? Вы его просто ревнуете.

– Вовсе не ревную, а просто он гадость человек, и его присутствие ее беспокоит, тревожит ее, а она пренервная-нервная, и все это на ней отражается.

Когда Горданов, раздевшись, улегся на диване в крошечной закутке внутри сада, которую называли «вигвамом» и в которой был помещен Висленев, Иосаф Платонович, в свою очередь, соскочил с кровати и, подбежав к Горданову, заговорил:

– А знаешь, Павлюкашка, я тебе скажу, брат, что в моей жене очень еще живы хорошие начала.

– Ну еще бы! – отвечал Горданов.

– Право, право так! Ты не знаешь, как она меня иногда занимает? Ты знаешь, есть люди, которые не любят конфет и ананасов, а любят изюм и пряники; есть люди, которые любят купить какую-нибудь испорченную, старую штучку и исправить ее, приспособить…

– Говори, любезный друг, толковее, я тебя не понимаю.

– То есть я хочу сказать, что есть такие люди, и что я… я тоже такой человек.

– С чем тебя и поздравляю; впрочем, это теперь в моде дрянью интересоваться.

– Нет, я люблю…

– Я вижу, что любишь.

– Я люблю воскресить… понимаешь, воззвать к жизни, и потому с тех пор, как эта женщина не скрывает от меня, что она тяготится своим прошедшим и… и…

– И настоящим, что ли?

– Да, и настоящим; поверь, она меня очень занимает, и я…

– А она это сказала тебе, что она тяготится своим прошедшим и настоящим?

– Нет, сказать она не сказала, но ведь это видно, и наконец же у меня есть глаза, и я понимаю женщину!

– Ну, а со мной, брат, об этом не говори: я этими делами не занимался и ничего в них не смыслю.

– Ах, Паша, неужто это правда? Неужто ты никогда, никогда не любил?

– Никогда.

– И никогда не полюбишь?

– Никогда.

– Почему, Павлюкан, дерево ты этакое? Почему?

– Фу! как ты сегодня до противности глупо оживлен! Отстань ты от меня, сделай милость!

– Да, я оживлен; но почему ты не хочешь любить, расскажи мне?

– Потому что любовь – это роскошь, которая очень дорого стоит, а я бережлив и расчетлив.

– Любимая женщина-то дорого стоит?

– А как же? Приведи-ка в итог потерю времени, потерю на трезвости мысли, потерю в работе, да наконец и денежные потери, так как с любовью соединяются почти все имена существительные, кончающиеся на ны, так-то: именины, родины, крестины, похороны… все это чрез женщин, и потому вообще давай лучше спать, чем говорить про женщин.

– И ты никогда не чувствовал потребности любить?

– Потребности?

– Да.

– Нет, не чувствовал.

– И когда Глаша Акатова тебя любила, ты не чувствовал?

– Не чувствовал.

– И после, когда она вышла за Бодростина, ты тоже не чувствовал ревности?

– Тоже не чувствовал.

– Почему?

– Почему?.. – времени не было, вот почему, а впрочем, второй и последний раз говорю: давай спать, а то уж утро.

Висленев было замолчал, но вдруг круто повернулся лицом к Горданову и сказал:

– Нет, прости меня, Паша, а я не могу… Скажи же ты мне: ведь ты все-таки изрядный плут?

– Ну и слава богу, – пробурчал, зевая, Горданов.

– Нет, без шуток; да и порой мне кажется, что уже и все мы стали плуты.

– С чем тебя и поздравляю.

– Да как же! ведь у нас теории-то нет! Правду говоря, ведь мы и про наш дарвинизм совсем позабыли, и если тебя теперь спросить, какому же ты теперь принципу служишь, так ты и не ответишь.

– Не отвечу, потому что об этом теперь у умных людей и разговоров не может быть, и сделай милость и ты оставь меня в покое и спи.

– Ну, хорошо; но только еще одно слово. Ну, а если к тебе не умный человек пристанет с этим вопросом и вот, подобно мне, не будет отставать, пока ты ему не скажешь, что у тебя за принцип, ну скажи, голубчик, что ты на это скажешь? Я от тебя не отстану, скажи: какой у нас теперь принцип? Его нет?

– Врешь, есть, и есть принцип самый логический и здоровый, вытекший естественным путем из всего исторического развития нашей культуры…

– Паша, я слушаю, слушаю, говори!

– Да что же мне тебе еще разжевывать? Мы отрицаем отрицание.

– Мы отрицаем отрицание! – воскликнул Висленев и захлопал как дитя в ладоши, но Горданов сердито огрызнулся и громко крикнул на него:

– Да спи же ты наконец, ненавистный чухонец!

И с этим Горданов повернулся к стене.

Утром Павел Николаевич уехал в Петербург вместе с Алиной. Кишенский остался дома в Павловске, Висленев тоже, и Горданов, едучи с Алиной, слегка шутил на их счет и говорил, не покусались бы они.

– Ах, они мне оба надоели, – отвечала Алина, и Горданову показалось, что Алина говорит правду, и что не надоел ей… он, сам Горданов, но…

Но о всем этом не время было думать. В Петербурге Горданова ждала ужасная весть: все блага жизни, для которых он жертвовал всем на свете, все эти блага, которых он уже касался руками, отпрыгнули и умчались в пространство, так что их не было и следа, и гнаться за ними было напрасно. Квартира № 8 сгорела. Пока отбивали железную дверь кладовой, в ней нашли уже один пепел. Погибло все, и, главное, залогов погибло вдесятеро более, чем на сумму, в которой они были заложены.

Горданов понял, что это штука, но только не знал, как она сделана. Но это было все равно. Он знал, что его ограбили, и что на все это негде искать управы, что дело сделано чисто, и что вступить в спор или тяжбу будет значить принять на себя обязанность доказывать, и ничего не доказать, а кроме всего этого, теперь еще предстоит ответственность за погибшие залоги…

Горданов сидел, опершись на руки головой, и молчал.

Пред вечером он встал и пошел в квартиру № 8. Здесь была только одна Алина и несколько поденщиков, выносивших мусор.

Павел Николаевич вошел молча и молча стал посреди комнаты, где принимались заклады, здесь его и застала Алина; он ей поклонился и не сказал ни упрека, ни полюбопытствовал даже ни одним вопросом.

Алина сама прервала тяжелое молчание.

– Voilà une affaire bien étrange![21] – сказала она ему при рабочих.

– Je n'y vois rien d'impossible, madame,[22] – отвечал спокойно Горданов.

– Monsieur! – крикнула, возвысив голос и отступая шаг назад, Алина. – Que voulez-vous dire?[23]

– Comment avez-vous fait cela?[24]

Алина окинула его с головы до ног холодным, убийственным взглядом и молча вышла в другую квартиру и заперла за собой дверь. Горданов тоже повернулся и ушел, ограбленный, уничтоженный и брошенный.

Наступили для Павла Николаевича дни тяжкие, дни, каких он давно не знал, и дни, которых другому бы не снести с тою твердостью и спокойствием, с коим переносил их Горданов. Положение Павла Николаевича поистине было трагическое; он не только потерял состояние и был далече отброшен от осуществления заветнейшей своей мечты, – он оставался должным разным лицам. Правда, не бог

весть какие это суммы, около трех-четырех тысяч, но и тех ему отдать было нечем, а между тем сроки наступали, и Павел Николаевич легохонько мог переселиться из своих удобных апартаментов в Tarasen Garten (как называют в шутку петербургскую долговую тюрьму). Горданов понимал это все и не жаловался никому; он знал всю бесполезность жалоб и молчал, и думал думу долгую и крепкую, и наконец сделал неожиданный визит в Павловск Кишенскому и Алине.

– Господа! – сказал он им, – то, что со мною сделалось, превыше всякого описания, но я не дурак, и знаю, что с воза упало, то пропало. Ни один миллионер не махал так равнодушно рукой на свою потерю, как махнул я на свое разорение, но прошу вас, помогите мне, сделайте милость, стать опять на ноги. Я сделал инвентарь моему имуществу – все вздор!

– Вещи идут ни за что, – сказал Кишенский.

– Да, они дорого стоят, а продать их пришлось бы за грош. За все, что я имею в квартире, с экипажем и лошадьми, не выручишь и полуторы тысячи.

– Да, и у вас левый конек, я заметил, стал покашливать, вы его запалили.

– Вы это заметили, а я и этого не заметил, но, впрочем, все равно, этим не выручишься, я должен до четырех тысяч, и сроки моим векселям придут на сих днях. Помогите, прошу вас.

– Чем же-с?

– Чем? Разумеется, деньгами. Не хотите ссудить меня, купите мои векселя и дайте мне срок на год, на два.

– А почем их продадут?

– Как почем? Я вас прошу меня не ославлять и купить мои векселя рубль за рубль.

Кишенский улыбнулся и стих. Горданов знал, что это значит: «оставь надежду навсегда».

– Вам, кажется, лучше всего идти бы опять на службу, – посоветовал Кишенский Горданову.

– Это, Тихон Ларионыч, предоставьте уже мне знать, что мне теперь лучше делать. Нет, служба мне не поможет. На меня представят векселя и меня со службы прогонят; одно, что нужно прежде всего – это замедлить срок векселей.

– А ваш план?

– Мой план в моей голове.

– Вы бы его лучше бросили.

– Вы не знаете, о чем говорите.

– Ну как можно на двадцать пять тысяч похватать миллионы?

– Ну уж это мое дело.

– Так вам бы поискать компаньона.

– Нет такого компаньона, который бы мне верил на слово.

– Что вы хоть примером, хоть намеком, притчей ничего не скажете, что такое это за простое, но верное средство? Кажется, мы знаем все простые средства: выиграть, украсть, убить, ограбить, – вот эти средства.

– Нет, есть другие.

– Например? Скажите хоть что-нибудь, чтоб я хоть видел, что вы знаете нечто такое, что мне не приходило в голову.

– И это вас удовлетворит? Извольте. Прошу вас ответить мне: сколько денег должно заплатить за проезд из Петербурга в Москву в вагоне второго класса?

– Тринадцать рублей…

– А я вам говорю, что не тринадцать, а рубль шесть гривен.

– Это каким образом?

– Самым простым: вы берете в Петербурге билет до Колпина и отдаете его на первой станции; на полдороге, в Бологом, вы берете опять на одну станцию и отдаете; на предпоследней станции к Москве берете третий раз и отдаете. На это вы издерживаете рубль с копейками, и вы приехали так же удобно, как и за тринадцать рублей.

– Вас могут изловить.

– Могут, но не ловили, и потом есть способ еще вернейший: я попрошу у соседа билет посмотреть и скажу, что это мой билет.

– Из этого начнется ссора.

– Да; но я доеду; мне не докажут, что я завладел чужим билетом.

– Что же из этого?

– Ничего более как то, что я доеду туда, куда мне было нужно.

– Не понимаю, какое же это отношение имеет к миллионам.

– Тогда не я виноват, что вы не понимаете, и я уж яснее до поры до времени ничего не скажу.

И Горданов ушел от Кишенского безо всяких надежд: он стоял совсем на краю пропасти и не ждал избавления, а оно его ждало.

Глава тринадцатая
Горданов встает на краю пропасти

Избавление Горданову шло из того прекрасного далека, где мы встретили других людей и другие нравы, имеющие столь мало общего с самоистребительными нравами гнезда сорока разбойников. Горданов, возвратясь из Павловска от Кишенского, нашел у себя почтовую повестку на пятьсот рублей и письмо от Глафиры Васильевны Бодростиной, в котором разъяснилось значение этой присылки.

Бодростина писала, что, доверяя «каторжной чести» Павла Николаевича, она обращается к нему за небольшою услугой, для которой просит его немедленно приехать в ее губернский город, прихватив с собою человека, который бы мог служить маской для предстоящих дел разного рода. Горданов не спал всю ночь и думал: «приглашением манкировать невозможно: как оно ни темно, но все-таки это зацепка, когда тут вокруг все изорвалось и исщипалось». Утром он закрыл глаза и пролежал до полудня в тягостнейшем сне, и вдруг был разбужен Висленевым, который явился к нему в таком непостижимом состоянии духа, что Горданов, несмотря на все свое расстройство, полюбопытствовал узнать, что с ним сделалось.

– Что с тобою случилось? – спросил он Висленева.

– Вещь ужасная! – отвечал Иосаф Платонович, – мы подрались.

– Кто? Где? С кем ты подрался?

– Конечно, с ним.

– С Кишенским?

– Ну да, разумеется.

– На чем же вы дрались, и что ты, ранен, или ты его убил?

– Никто никого не ранил и никто никого не убил: мы подрались настоящим русским образом… я его по морде…

– А он тебя?

– Не скрою, досталось и мне… вот здесь… по воротнику.

– Ну да, это уж всегда так приходится по воротнику.

– Но, однако же, ты понимаешь, что после этого уж мне в их доме жить нельзя, потому что все это было и при жене, и при детях, и при

прислуге…

– И за что же это сталось: за жену?

– Да, за жену.

Горданов вздохнул и плюнул.

– Нечего, нечего плевать, а я совсем к тебе, со всею движимостию, – добавил он, указывая на свой саквояж, – и ты, пожалуйста, не откажи, прими меня в вечные кровы.

– Да ведь не выгнать же тебя, когда тебе некуда деться.

– Некуда, друг, ровно некуда. Я хотел к Ванскок, но она сама теперь расстроилась с переводами и ищет места посыльной, а пока живет у кухмистера за печкой.

– Полно, пожалуйста, ты с этой тромбовкой: время ли теперь еще с нею разговаривать?

– Нет, брат, я о ней другого мнения. Ванскок натура честная.

– И пусть ее возьмет себе черт на орехи; нет, уж видно спасать тебя, так спасать: хочешь я тебя увезу?

– Как увезешь?

– Так, увезу, как бородатую Прозерпину, если тебе нравятся герценовские сравнения. Мы уедем с тобой от всех здешних напастей куда бы ты думал? В те благословенные места, где ты впервые познал всю сладость бытия; ты там увидишься со своею сестрой, с твоею генеральшей, которой я не имею счастья знать, но у которой, по твоим словам, во лбу звезда, а под косой месяц, и ты забудешь в ее объятиях все неудачи бытия и пристроишь оленьи рога своей дражайшей половине. Готов ты или нет на такую выходку?

– Мой друг, я в эту минуту на все готов.

– А я знаю физиологию любви: клин клином выгоняют, дорогой дружище. Я теперь имею не один, а несколько секретов, словом сказать, как бомба начинен секретами, и для себя, и для тебя.

– И для меня! – удивился Висленев.

– И для тебя, и для великого множества людей.

Висленев тронул его за плечо и сказал:

– Да! послушай-ка – ты не пострадал?

– Я!.. От чего?

– Ну, вот от этого пожара, которого мне, по правде сказать, нимало не жаль.

– Нет; я нимало не пострадал, – отвечал спокойно Горданов. – Я получил все, кое-что еще призанял, и теперь арсенал мой в порядке, и я открываю действия и беру тебя, если хочешь, в помощники.

– Я готов на все: мне хоть с мосту в воду, так в ту же пору.

С этой стороны дело было решено. Оставалась нерешенною другая его сторона: похитить ли Горданову Висленева в самом деле как Прозерпину или взять его напрокат и на подержание по договору с его владельцами?

Горданов предпочел последнее: он еще раз вошел в сделку с Кишенским и с Алиной; сообщил им вкратце свои намерения съездить в свои местности и устроить там кое-какие спекуляции, причем мог бы-де прихватить и Висленева. Здесь опять произошли столкновения: Кишенский хотел, чтобы Висленев уехал, но Алина опасалась, не чересчур ли уж это выгодно для Горданова, но они поторговались и решили на том, что Горданов повезет с собою Висленева куда захочет и употребит его к чему вздумает, и за векселя свои в четыре тысячи рублей, приторгованные Кишенским за полторы, даст вексель на десять тысяч рублей, со взаимною порукой Висленева за Горданова и Горданова за Висленева.

Переторжка была короткая: не та была пора и не те были обстоятельства, чтобы скупиться, и Горданов согласился на все эти требования, а Висленев и подавно: им спутали ноги и пустили их обоих на одной веревке, о которой Висленев минутами позабывал, но о которой зато Павел Николаевич помнил постоянно. Он не самообольщался: он знал свое положение прекрасно и понимал, что его, сильного и умом и волей Горданова, каждую минуту скаредная тварь вроде Кишенского может потянуть как воробья, привязанного за ногу, и он ревниво спешил оборвать этот силок во что бы то ни стало, хоть бы пришлось содрать мясо с костей и вывернуть суставы.

В таком положении были два эти героя, когда они явились пред нашими глазами в кружке обитателей мирного городка, над которым вихрь распустил красную орифламу, призывающую Павла Николаевича к новому подвигу, требующему всего его ума, всей его ловкости и всей опытности, полученной им в последних тяжких столкновениях.

Глава четырнадцатая
Из прекрасного далека

Прошел месяц, в течение которого дела в городе, приютившем Горданова с Висленевым, подвинулись вперед весьма значительно. Первые вести оттуда читаем в письме, которое департаментский сторож подал сегодня на подносике вице-директору Григорию Васильевичу Акатову, родному брату Глафиры Васильевны Бодростиной.

Акатов, еще довольно молодой человек, в золотых очках и вицмундире со звездой, которую он из скромности закрывал лацканом, взял конверт.

И, вплотную усевшись в свое кресло, начал не без удовольствия читать письмо нашего испанского дворянина.

> *«Любезный Григорий!* – начинал Подозеров в заголовке листа. – *Не титулую тебя „превосходительством“, как потому, что довольно с тебя этого титула на конверте, так и потому, что в моем воображении ничто не может превосходить того благородства, которое я знал в тебе, и потому пишу тебе просто: мой дорогой и любезный Гриша! Очень рад, что ты, благодаря твоим большим достоинствам и уменью жить с людьми, так рано достиг до степеней известных, и радуюсь этому опять по нескольким причинам: во-первых, радуюсь за самого тебя, что тебе быстрым возвышением отдана справедливость. Это очень важно для поддержания в человеке энергии, чтоб он мог бодро идти далее, не растрачивая лучших сил души на успокоивание в себе мятущегося чувства оскорбленного самолюбия и пр. (можно, конечно, и без этого, да то труднее). Во-вторых, радуюсь за всех тех, кому придется иметь с тобою дело; потому что благородный жар, одушевляющий тебя, конечно, еще не имел времени погаснуть под пеплом спаленных надежд, верований и упований, и наконец (да не оскорбится слух твой), радуюсь*

за самого себя, потому что могу прибегнуть к тебе с просьбой, имея полную надежду, что ты не откажешься мне попротежировать и попредстательствовать за меня, где ты сам найдешь то лучшим и уместным».

Акатов дочитал до этого места, сдвинул слегка брови и продолжал чтение с сухим и деловым выражением лица.

«Может быть, я приступаю к тебе не совсем ловко, но думаю, что между нами, старыми испытанными друзьями, всякие тонкости совершенно излишни, да и я человек, мало шлифованный, и просить от роду моего никогда ничего ни у кого не просил, так и привычек к этому пригодных себе не усвоил. Одно то, что я прошу, уже сбивает меня немножко с панталыку. Поверь мне, что, если бы дело шло о просьбе не к тебе, а к другому лицу, так я прежде отрубил бы себе руку, чем написал бы хотя одно слово в просительном тоне, но ты – дело другое, ты человек, которому мне не тяжко сказать все, а скажу же я тебе следующее. В течение всего времени, которое я провел здесь за скромным из скромнейших дел, я был очень доволен своим положением, как раз отвечающим моим способностям и моему призванию: я сдал бывшим своим крестьянам за 300 руб. в год в аренду мой маленький хуторишко и служил по крестьянским делам, возлюбя это дело и находя в занятии им бесконечный ряд наслаждений самого приятного для меня свойства. Я видел посев и наблюдаю всходы прекрасных семян, о которых все мы так восторженно мечтали в святые годы восторженной юности и ради добытия которых не прочь были иногда от предпринятия восторженных же, детских, но благородных глупостей. (Пошли со мною вместе мир и благословение этим отшедшим прекрасным дням, дающим такие сладкие воспоминания). Ко всему этому, признаюсь тебе, я к концу четвертого десятка так оседлился здесь, что задумал было и жениться, конечно не по расчету и не по прикладным соображениям, однако этому, как кажется, не суждено осуществиться, и я эту статью уже выписал в расход, но

мне, дружище, опротивела вдруг моя служба и опротивела непереносно. Опротивела она не сама по себе, а по массе неприятностей, которые сыпятся на меня оттуда, откуда бы, кажется, я мог ожидать одного только животворящего сочувствия. Не могу тебе выразить, как это нестерпимо для меня, что в наше время, – хочешь ты или не хочешь, – непременно должен быть политиком, к чему я, например, не имею ни малейшего влечения. Я бы не хотел ничего иного, как только делать свое дело с неизменною всегдашнею и тебе, может быть, памятною моею уверенностью, что, делая свое дело честно, исполняя ближайший долг свой благородно, человек самым наилучшим органическим образом служит наилучшим интересам своей страны, но у нас в эту пору повсюду стало не так; у нас теперь думают, что прежде всего надо стать с кем-нибудь на ножи, а дело уже потом; дело – это вещь второстепенная. По-моему, это ужасная гадость, и я этого сколько мог тщательно избегал и, представь ты, нашел себе через „эту подлость“ массу недоброжелателей, приписывавших мне всяческие дурные побуждения, беспрестанно ошибавшихся в своих заключениях, досадовавших на это и наконец окончательно на меня разгневавшихся за то, что не могут подвести меня под свои таблицы, не могут сказать: что я такое и что за планы крою я в коварной душе моей? Ты, вероятно, улыбаешься этому, но мне от этого стало очень невесело. На днях, то есть месяц, полтора тому назад, наши Палестины посетили два великие мужа, Гог и Магог нашего комического времени; отставной, но приснопамятный вождь безоружных воителей, Иосаф Висленев, и человек, имени которого мы когда-то положили не произносить, драгоценный Пашенька Горданов. Что такое они намерены здесь делать? Я разгадать не могу, хотя вижу и чувствую, что они набежали сюда за „предприятием“, но за предприятием, не похожим ни на что прежнее, и представь же ты себе, что силой судеб я стал этим людям поперек дороги, и, вдобавок ко всему, не чувствуя ни малейшей охоты уступать им этой

дороги, я буду, кажется, вынужден к такой уступке. Друзья они или враги, и какою веревочкой их лукавый спутал, этого я не доискиваюсь, да это и неважно, но они здесь очень торопливо начали поправлять свои юношеские ошибки: один, уступив некогда сестре часть дома, закладывает его теперь весь целиком в свою пользу, а другой, уступив некогда кое-что своим мужичкам, тоже нынче обращает это назад, достигая этого способом самым недостойным. Подробности рассказывать нечего, бедный народишко наш еще темен, подпил и неведомо что загалдил, а я всею маленькой силой моего уряда воспротивился этой сделке и остановил ее, за что и обвинен чуть ли не во взяточничестве. (Акатов поторопился и сдвинул с листа бумаги свой мизинец). Тебе не рассказывать стать, что за персона Горданов, ты знаешь, что для него нет ничего святого: это же, конечно, известно и твоему зятю, Михаиле Андреевичу Бодростину, который тоже многие годы не мог о нем слышать и даже теперь, в первые дни пребывания здесь Павла Николаевича, везде по городу рассказывал бледные отрывки из его черной истории. Бедный старик вовсе и не подозревал, что он строит этим Горданову торжество. Это престранное и прехарактерное явление, как у нас нынче повсеместно интересуются бездельниками и нежнейше о них заботятся! Можешь быть каким тебе угодно честным человеком, и тебя никогда не заметят, но появись ты только в предшествии скандальной репутации, и на тебя лорнеты обратятся. Какое-то влеченье, род недуга; клевещи, например, на честного человека сколько хочешь, и это ничего: самые добрые люди только плечами пожмут и скажут: „Таков-де уж свет, на Христа прежде нас клеветали“, но скажи правду про негодяя… О! Это преступление, которого тебе не простят. Это, говорят, „жестокость“! У каждого бездельника в одну минуту отыскивается в обществе столько защитников, сколько честная мать семейства и труженик-отец не дождутся во всю свою жизнь. Словно это исключительно век мошенников, словно это настало их

царствие… Право! Я сужу так по тому, что вижу в своем угле, и по тому, что, например, читаю в литературе. Неразборчивость в якшательстве с негодяями повсеместная. Читай ты, например, Теккерея, он выводит в „Базаре житейской суеты“ героиню мошенницу, Ребекку Шарп, и говорит не обинуясь, что „Ребекка Шарп есть лицо собирательное, принадлежащее поколению англичан, действовавшему после 1818 года“, и этим никто из честных англичан этой поры не обижался, тогда как у нас за такую вещь Теккерея, конечно, назвали бы по меньшей мере инсинуатором и узколобым дураком, который „не умел понять людей, действовавших после 1818 года“. (Нынче мошенники все жалуются, что их „не понимают“, словно они какие мудрецы). Нет ли здесь повода скорбеть за смысл и за совесть? Бездельничества нашего благородного друга Горданова сделались здесь милыми анекдотами и, служа в течение нескольких дней самою любимою темой для разговоров, приуготовили ему триумф, какого он едва ли и ожидал: где он ни появлялся, на него смотрели как на белого слона и, насмотревшись, пошли его нарасхват звать и принимать. Ты не поверишь, что молодец этот до того всех здесь очаровал, до того всех обошел, что знакомством с ним у нас стали даже кичиться: стали звать гостей на чай „с Гордановым“, на обед „с Гордановым“, подумай, пожалуйста, какая сила есть в подлости! Сам заклятый враг его, зять твой Бодростин, и тот, наконец, не стерпел и снова водит с ним хлеб и соль, и они вместе что-то тоже „предпринимают“. Не спросишь ли меня: какое мне до всего этого дело? Никакого, но вот беда: этому мерзавцу есть до меня какое-то дело. Я помешал ему надуть крестьян, хотя, впрочем, помешал ненадолго, потому что они, улещенные обещаниями и опоенные водкой, опять-таки просят вполне невыгодной для них мены землей, и вот теперь все трубящие славу Горданова трубят, что я его притеснял, что я с него что-то вымогал. (Акатов снял с листка и другой мизинец). Поддерживается все это мастерским образом и вредит мне всемерно, тем более что Горданов в самом деле, по-

видимому, располагает очень свободными средствами и вывернулся превосходно: он теперь землю, отнимаемую им у крестьян, обещает занять уже не заводом, как говорил мне, когда просил моего содействия, а ремесленною школой, которою приводит в восторг и Бодростина, и губернатора. Словом, я явился в дураках и с покером чести. (Акатов совсем выбросил письмо из рук на стол и продолжал читать глазами, переворачивая странички концом карандаша). Но Бог с ним, я бы и это снес (писал далее Подозеров), и почестнее меня людей порочат, но мне, наконец, грозят иною бедой: вина моя, заключающаяся в защите крестьян, не позабывается, а все возрождается как сфинкс в новом виде. Пять дней тому назад был у меня Бодростин, и, со свойственною ему прямотой и честностию, сказал мне, будто бы ему „сообщено“, что я не могу быть терпим на службе, как человек вредного образа мыслей! Можешь себе вообразить, как это идет ко мне! Но однако, вот видно, если не пристало, то прилипло. На вопрос, сделанный мною Бодростину: верит ли он этой нелепице, он начал с „конечно, хотя и разумеется“ и свел на „но“ и на „говорят“, вообще построил речь по известному плану, безнадежному для человека, требующего защиты и оправдания. После этого мы поговорили крупно, и так крупно, что, кажется, более не пожелаем друг с другом видеться и едва ли станем говорить. Хотя дерзостей ни с той, ни с другой стороны сказано не было, но тем не менее мы, вероятно, разошлись навеки. Он мне сказал, что он не верит, но допускает возможность, что я, по странности моего характера, симпатиям к народу, по увлечениям теориями и поджигательными статьями газет, мог забыться, а я… я в свою очередь указал ему на другое, и одним словом, мы более не друзья. Такова, видно, у нас роковая судьба путных людей ссориться между собою за мошенников, под предлогом разномыслия в теоретических началах, до которых мошенникам нет никакого дела и к которым они льнут только для того, чтобы шарлатанствовать ими. Но извини, что я болтлив: это

слабость людей оскорбленных. Продолжаю мою историю. Тяжко обиженный взведенным на меня нелепым обвинением, я обратился к губернатору и просил его разъяснить: кто и на каких основаниях марает меня такою клеветой, но его превосходительство, спустя нос на усы и потом подняв усы к носу и прыгнув с каблуков на носки и обратно, коротко и ясно отвечал мне, что он „красным социалистам никаких объяснений не дает“. Я пробовал искать разгадки этому еще у двух-трех лиц, но со мною не говорят, меня чуждаются и, наконец, даже меня не принимают. Насилу-насилу, чрез посредство некоторых дружески расположенных ко мне дам (из которых об одной замечательной женщине, Александре Ивановне Синтяниной, я некогда много писал тебе, описывая мои здешние знакомства), я узнал, что все это построено на основаниях прочных: на моих, конечно, самых невинных, разговорах с крестьянами г. Горданова. Факт налицо, и делать, стало быть, нечего: я „красный, человек опасный“, и мне надо отсюда убираться. Не знаю, чувствуешь ли ты, Григорий, хотя долю того душащего негодования, которым я в эту минуту как злым духом одержим, доканчивая это несвязное письмо, но ради всяческого добра, которое ты чтишь, определи меня, друг мой, брат и товарищ, определи меня куда-нибудь на службу ли, к частному ли делу, мне это все равно; но только скорее отсюда! Я пойду спокойно в помощники столоначальника и даже в писаря к тебе в департамент, под твою команду, или в любую контору, лишь бы только с меня требовали работы, труда, дела, а не направлений, не мнений, которые я имею и хочу иметь не про господ, а про свой расход, и которые, кроме меня самого, может быть, никому и ни на что не годятся. Я ищу одного: укромного места, где бы мог зарабатывать кусок хлеба вне всякой зависимости от получивших для меня особое значение требований идоложертвенного, служения направлениям и громким словам, во имя которых на глазах моих почти повсюду совершается профанация священнейших для меня идей. Пособи мне, голубчик Гриша, в этом случае сколько

хочешь и сколько можешь, а главное, ответь мне словечко скоро, без промедления, чтобы до крайней степени натянутое терпение мое не столкнулось еще с чем-нибудь новым и на чем-нибудь не оборвалось.

Твой Андрей Подозеров.»

«P. S. Прибавлю тебе к моей длинной сказке смешную присказку: у нас тут на сих днях случилась престранная история, не чуждая мистического элемента. Михаил Андреевич Бодростин, после наших с ним объяснений, уехал в Москву, а вчера в сумерки твоя сестра Глафира Васильевна, гуляя по длинной аллее в задней части своего огромного парка в селе Бодростине, встретила лицом к лицу самого его же, Михаила Андреевича, шедшего к ней навстречу с закрытыми глазами и в его кирасирском мундире, которого он не надевал двадцать лет и у которого на этот раз спина была разрезана до самого воротника. Сестра твоя, при всей ее геройской смелости, сробела, закричала и упала в обморок на руки Висленева. На крик Глафиры Васильевны прибежали сестра Иосафа Висленева, молодая девушка Лариса, и Горданов, бывшие в другой части парка и в противном конце той же аллеи. Эта пара тоже лицом к лицу встретилась с тем же Бодростиным, который этих уже не испугал, но удивил разрезанною спиной своего старого, узкого и кургузого мундира. Бросились искать Михаила Андреевича и нигде его не нашли; ни садовники, ни прислуга нигде его не видали. Нашли только падчерицу Синтяниной, глухонемую девочку Веру: она рвала мать-и-мачеху на опушке парка. Ее тоже спросили, не видела ли она Михаила Андреевича? И представь, она тоже отвечала знаком, что видела. А когда ее спросили, куда он пошел, то она, улыбаясь, ответила: „повсюду“, но это дитя больное и экспансивное. Глафира Васильевна велела принести себе кирасирский мундир Михаила Андреевича и мундир был весь цел, а через час получена была из Москвы депеша от Бодростина о том, что он два часа тому назад прибыл туда благополучно, и затем

вечер закончился ужином и музыкой. Таким образом, вот тебе у нас даже и свое „видение шведского короля“. Но смейся или не смейся, а все бодростинские люди по этому случаю страшно оробели, и посол, привезший мне сегодня из Бодростинской усадьбы некоторые мои книги, рассказывая мне „ужасное чудо“, с трепетом добавил, что это уже не первое и что пастух Панька косолапый под самый Иванов день видел, как из речки выползли на берег два рака, чего этот косолапый Панька так испугался, что ударился без оглядки бежать домой, но упал и слышал, как застонала земля, после чего этот бедняк чуть не отдал Богу свою младенчески суеверную душу. Не заменят ли меня, наконец, в общественном внимании хоть эти раки, или не буду ли я, напротив, употреблен на сугубое позорище, дабы оторвать внимание людей от этих раков?»

Акатов свернул листок, сунул его в карман и во весь обратный путь домой все мысленно писал Подозерову ответ, – ответ уклончивый, с беспрестанными «конечно, хотя, разумеется» и печальнейшим «но», которым в конце все эти «хотя и разумеется» сводились к нулю в квадрате. Письмо начиналось товарищеским вступлением, затем развивалось полушуточным сравнением индивидуального характера Подозерова с коллективным характером России, которая везде хочет, чтобы признали благородство ее поведения, забывая, что в наш век надо заставлять знать себя; далее в ответе Акатова мельком говорилось о неблагодарности службы вообще «и *хоть*, мол, мне будто и везет, но это досталось такими-то трудами», а что касается до ходатайства за просителя, то *«конечно*, Подозеров может не сомневаться в теплейшем к нему расположении, но, однако же, *разумеется*, и не может неволить товарища (то есть Акатова) к отступлению от его правила не предстательствовать нигде и ни за кого из *близких* людей, в числе которых он всегда считает его, Подозерова».

Таково было письмо, которое Подозеров должен был получить от несомненного друга своего Акатова, но он его не получил, потому что «хотя» Акатов и имел несомненное намерение написать своему товарищу таковое письмо, «но» пока доехал до дому, он уже почувствовал, что как бы еще лучше этого письма совсем не писать.

«И не странно ли все это? – рассуждал, засыпая после обеда в кресле, Акатов. – Положим, что Горданов всегда и был, и есть, и будет мерзавец, но почему же я знаю теперь, каков стал и Подозеров? Провинция растлевает нравы… И наконец этот цинизм: „взятки“, „вымогательство“… фуй! Почему же на меня этого не скажут? Почему ко мне никакой этакий Горданов не подкрадется?»

– Подкрадется, ваше превосходительство, клянусь святым Патриком, подкрадется, – прогнусил в ответ Акатову, немножко задыхаясь, дремучий семинарист Феоктист Меридианов, которого Акатов едва ли когда видел, не знал по имени и не пустил бы к себе на порог ни в дом, ни в департамент, но бог Морфей ничем этим не стесняется и сводит людей в такие компании, что только ахнешь проснувшись, и Акатов ахнул, и совсем позабыл и о Подозерове, и о его письме, и вот причина, почему Подозеров ждет дружеского ответа «разумеется» очень нетерпеливо, «но совершенно напрасно».

Глава пятнадцатая
Порез до крови

В этот же самый день капиталист Тихон Ларионович Кишенский, заседая в помещении одной редакции в казенном доме, между массой доставляемых корреспонденции, прочел полуофициальное извещение: «На сих днях здесь получила большую скандальную огласку довольно недостойная история, касающаяся здешнего члена от правительства по крестьянским делам г. Подозерова. Этого чиновника, вообще довольно нелюдимого и пользующегося несколько странною репутацией, теперь все в один голос обвиняют в вымогательстве денег с помещика Павла Горданова за сделку сего последнего с крестьянами по размене некоторого поземельного участка, где Горданов вознамерился построить для крестьян ремесленную школу. Встретив отпор со стороны г. Горданова, чиновник Подозеров агитировал будто бы среди крестьян в пользу идей беспорядка, чему здесь знающие демократические наклонности г. Подозерова вполне верят. По делу этому было произведено секретное дознание, и оказалось, что действительно проживающий здесь отставной майор Форов и священник Евангел Минервин, проходя однажды чрез деревушку г. Горданова, под предлогом ловли в озере карасей, остановились здесь, под видом напиться квасу, и вели с некоторыми крестьянами разговор, имевший, очевидно, целью возбуждать в крестьянах чувство недоверия к намерениям г. Горданова. Во избежание огласки, формального следствия по этому делу не предполагается и начальство намерено ограничиться одним дознанием с конфиденциальным сообщением куда следует о действиях Подозерова и священника Минервина, а за майором Филетером Форовым, издавна известным в городе своим вредным образом несбыточных мыслей и стремлений, строго вменено местной городской полиции в обязанность иметь неослабленное наблюдение».

Кишенский пометил это сообщение «к сведению», сделал из него выметочку себе в записную книжку и, перейдя в другую редакцию, помещавшуюся уже не в казенном доме, начертал: *«Деятель на все руки»*. – «До чего, наконец, дойдут наши маскированные социалисты,

этому, кажется, нет никаких границ и никаких геркулесовых столбов. Нам пишет вполне заслуживающий доверия землевладелец, что у них есть один деятель, некто А. И. П-ов, стяжавший себе в своем муравейнике славу страстотерпца за „священные права хлебопашца“, наконец вымогательствами вещественных знаков признательности с помещика П. Н. Горданова за право выстроить для крестьян ремесленную школу. Вероятно, этот деятель найдет себе горячую поддержку со стороны органов нашей печати, взявших себе исключительную привилегию агитировать под предлогом патриотизма».

Затем, вечером, редакции третьей газеты Кишенский дал напечатать корреспонденцию, в которой восхвалялся здравый смысл народа, не поддавшегося наущениям попа и двух агитаторов, из которых один, чиновник П-ров, даже имеет власть в крестьянских делах. «Как жаль, – заключил он эту заметку, – что в назначении к подобным должностям у нас не соблюдается вся осторожность, которая была бы здесь так уместна».

Все это было напечатано и вышло в свет, а на другой день к Кишенскому влетела Ванскок и, трепля косицами и раздувая ноздри, потребовала внимания к листу бумаги, измаранному ее куриными гиероглифами. Здесь она, со слов только что полученного ею от Висленева письма, описывала ужасное событие с гордановским портфелем, который неизвестно кем разрезан и из него пропали значительные деньги, при таких обстоятельствах, что владелец этих денег, по чувству деликатности к семейной чести домовладельца, где случилось это событие, даже не может отыскивать этой покражи, так как здесь ложится тень на некоторых из семейных друзей домохозяев.

Ванскок хотела, чтоб это немедленно было напечатано слово в слово, как она сочинила и со всеми именами, но Кишенский ей отказал.

– За это, матушка игуменья, достается, – сказал он, – а мы так сделаем… Он взял перо и написал на поле: *«Правда ли*, что некто деятель васильетемновского направления, г. По-зеров (отчего бы не Позоров), будучи в доме неких гг. Вис-вых, под видом ухаживания за сестрой домохозяина, распорол неосторожно чужой портфель с деньгами, отданными г. В. на сохранение другом его г. Го-вым?»

– Вот этак, матка, будет глаже, так и коротко, и узловато, – и комар носа не подточит, и все, кому надо, уразумеют, яко с нами Бог! Прыгай теперь к Бабиневичу, чтобы завтра напечатал у себя под «правда ли?»

– Он не напечатает.

– Ну, вот еще!

– Это факт! я к нему раз обращалась, и он закоробатился и отказал.

– Ну, все пустяки; скажите, что я просил: он не будет коробатиться.

– А он вам должен?

– Скажите, скажите только, что я просил, – подтвердил, вставая, Кишенский и, услыхав легкий стук в двери из № 8, где снова процветала вновь омеблированная на страховые деньги «касса ссуд», – добавил полушепотом, – ну, а теперь, игуменья, некогда больше, некогда – вон люди и за настоящим делом стучат.

С этим он полудружески, полупрезрительно толкнул Ванскок двумя пальцами в плечо и, свистнув могучего Иогана с острова Эзеля, крикнул ему: «Выпусти госпожу!» – повернулся и ушел.

Слово Кишенского оказалось с большим весом, и Ванскок на другой же день взяла в конторе Бабиневича на полтинник двадцать листиков его издания и послала их в бандероль ке Иосафу Платоновичу Висленеву.

Последуем и мы за этою картечью, которою Павел Николаевич обстреливает себе позицию, чтобы ничто не стояло пред прицелами сокрытых орудий его тяжелой артиллерии. Читатель всеусерднейше приглашается отрясти прах от ног своих в гнезде сорока разбойников и перенестись отсюда на поля, где должен быть подвергнут ожесточениям, и пытке, и позору наш испанский дворянин в его разодранном плаще, и другие наши друзья.

Путь нам теперь лежит через хуторный домик Александры Ивановны Синтяниной, где бледною ручкой глухонемой нимфы Веры повешены на желтых перевеслах золотистой соломы, сохнут и вялятся пучки душистого чебра, гулявицы, калуфера и горькой руты.

Часть третья
Кровь

Глава первая
Кипяток

Хутор Починок, любимый приют генеральши Синтяниной, отстоит от города в восьми верстах. Справа от него, в трех верстах, богатое Бодростинское подгородное имение, влево торговое село Рыбацкое и Ребров хутор, куда майор Филетер Иванович Форов постоянно ходил к другу своему, отцу Евангелу. Починок стоял в низменности, между двумя плоскогорьями, занятыми селом Рыбацким и обширною барскою Бодростинскою усадьбой, старый английский парк которой достигал до самого рубежа Починских полей. Починок, которым владели Синтянины, и Ребров хутор, на котором жил при церкви отец Евангел, были маленькие поселки, их почти и не видать было между селами Бодростиным и Рыбацким. Весной, когда полевые злаки еще не поднялись над землей выше чем прячется грач, хуторки еще чуть-чуть обозначались, словно забытые копенки прошлогоднего сена, но чуть лишь нива забирала силу и шла в рост, от ветхого купола ребровской колокольни только мелькал крестик. Что же касается до Синтянинского хутора, то его и совсем нельзя было видеть, пока к нему не подъедешь по неширокой, малопроезжей дорожке, которая отбегала в сторону от торной и пыльной дороги, соединяющей два большие села на крайних точках нагорного амфитеатра.

Хутор Починок возник потому, что протекающий здесь небольшой ручеек подал одному однодворцу мысль поставить тут утлую мельницу, из разряда известных в серединной России «колотовок», и в таком виде, с одною мельничною избой, этот хутор-невидимка был куплен генералом Синтяниным, жена которого свила себе здесь гнездышко.

Хуторок и теперь такой же невидимка, но он уже не тот бобыльник, каким был в однодворческих руках: на него легла печать рачения и вкуса. Никаких затей и претензий здесь нет и следа, но как только вы обогнули маленький зигзаг по малопроезженной дорожке, пред вами вырастают исправные соломенные крыши очень дружественно расположившихся строений. Небольшой ручеек, бегущий с гор из-под леса по ржавым потовинам, здесь перехвачен

плотинкой и образует чистый, блестящий прудок, в котором вода тиха как в чаше; на этом пруде стоит однопоставная меленка с маленькою толчеей для льна. Это центральное место, к которому все другие строения поселка как будто бы чувствуют почтение: сараи, сарайчики, амбары, амбарушки, хлевки и закутки, – все это с разных сторон обступило мельницу, поворотилось к ней лицом, смотрит на ее вращающееся колесо, как безграмотные односельчане глядят на старушку, сотый раз повторяющую им по складам старую, тихоструйную повесть.

Господского домика вовсе не видно и его собственно здесь и нет, потому что небольшая, оштукатуренная пристройка при высоком сосновом амбаре никак не имеет права претендовать на звание самого скромного господского домика, но эта пристройка и есть жилье Александры Ивановны Синтяниной. Здесь две небольшие комнаты, под окнами которых разбит маленький цветник, засеянный неприхотливыми душистыми цветками. Небольшой плодовый садик полон густого вишняка и малины; за этим садиком есть небольшой, очень стройный молодой осинник, в котором бьет студеный родник прекрасной воды и пред ним устроены небольшая деревянная беседочка и качели. Растительность на хуторе вообще довольно сильная; все свежо, сильно, бодро, зелено, но не высоко: прибрежные лозы пруда, ракиты, окружающие все пристройки, и владимирские вишни, и сливы, и груши, и все это как будто решилось скрываться и не тянулось вверх. Только одни осинки выбежали немножко повыше и постоянно шепчут своими трепещущими листками о том, что видят за каймой этой маленькой усадьбы.

Стояли последние жаркие дни августа, на дворе был пятый час, но солнце, несмотря на свое значительное уклонение к западу, еще жгло и палило немилосердно. В небольшой комнатке оштукатуренной пристройки, составлявшей жилье Александры Ивановны Синтяниной, ставни обоих окон были притворены, а дверь на высокое крыльцо, выходившее на теневую сторону, раскрыта настежь. Здесь, в небольшой комнате, уставленной старинною мебелью, помещались теперь два знакомые нам лица: сама генеральша и друг ее, майорша Катерина Астафьевна Форова. Александра Ивановна писала пред старинным овальным столом, утвержденным на толстой тумбе, служившей маленьким книжным шкафом, а майорша Катерина

Астафьевна Форова, завернутая кое-как в узенькое платье, без шейного платка и без чепца, сидела на полу, лицом к открытой двери, и сматывала на клубок нитки, натянутые у нее на выгнутых коленах. Она, очевидно, была не в духе, постоянно скусывала зубами узелки, сердилась и ворчала.

– Ах, чтобы вам совсем пусто было! – повторила она в двадцатый раз, бросив на пол клубок и принимаясь теребить на коленах запутанные нитки.

Этим восклицанием нарушилась царствовавшая в комнате глубокая тишина, и Александра Ивановна остановила свое перо и, приподняв лицо, взглянула на майоршу.

– Чего ты на меня смотришь? – спросила Форова, не видя, но чувствуя на себе взгляд своего друга.

– Я все слушаю, с кем ты это перебраниваешься?

– Сама с собою бранюсь, с кем же мне больше браниться?

Синтянина замолчала и снова взялась за перо.

Прошла минута, и щелканье наматываемой нитки вдруг опять оборвалось, и опять послышался восклик Форовой: «пусто б вам было!»

– Перестань, Катя, браниться, – отозвалась Синтянина. – Не стыдно ли тебе срывать свою досаду на нитках?

– Я, милая, ведь сказала тебе, что я на себе ее срываю.

– И на себя тебе не за что злиться.

– Да вот забыла, о чем с мужем после свадьбы говорила, оттого и ниток не распутаю. На свою память сержусь, – и с этим майорша, отбросив клубок, схватила жестянку из-под сардинок, в которой у нее лежали ее самодельные папироски и спички, и закурила.

– А я между тем, пока ты злилась, кончила письмо, – сказала Синтянина, пробегая глазами листок.

– Ну, и прекрасно, что кончила, я очень рада: конец всему делу венец.

– Ты хочешь послушать, что я ему написала?

– М… м… м… это, мой друг, как тебе угодно.

– Да полно тебе в самом деле дуться! Что это за вздор такой: дуешься на меня, дуешься на своего мужа и на весь свет, и все из-за постороннего дела. Глупо это, Катя!

– Во-первых, я не дуюсь на весь свет, потому что хоть я, по твоим словам, и глупая, но знаю, что весь свет моего дутья не боится, и во-вторых, я не в тебя и не в моего муженька, и дел близких мне людей чужими не считаю.

Синтянина встала, подошла к Форовой, опустилась возле нее на пол, покрыв половину комнаты волнами своего светлого ситца, и, обняв майоршу, нежно поцеловала ее в седую голову.

– Катя, – сказала она, – ты сердишься понапрасну, и когда ты одумаешься, ты увидишь, что ты была очень не права и предо мной, и пред твоим мужем.

– Никогда я с этим не соглашусь, – отвечала Форова, – никогда не стану так думать, я не стану так жить, чтобы молчать, видючи, как моих родных… близких людей мутят, путают. Нет, никогда этого не будет; я не перестану говорить, я не замолчу; не стану по-вашему хитрить, лукавить и отмалчиваться.

– Но постой же ты, пламень огненный, ведь ты же и не молчала, и ведь ты не молчишь, ты все говоришь Ларисе, а что из этого проку?

– Да и не молчу, и не молчу, а говорю!

– И уж рассорилась с ней?

– Да, и рассорилась, и что же такое что рассорилась? И она не велика персона, чтоб я ее боялась, да и с меня от ее слов позолота не слиняла: мы свои люди, родные, побранились да и только. Она меня выгнала из дома, ну и прекрасно: на что дура-тетка в доме, когда новые друзья есть?

– Ну, и что же из этого вышло хорошего?

– Хорошего? Ничего не вышло хорошего, да и быть нечему, потому что я только одна и говорю, все потакают, молчат. Что же делать? Один в поле не воин. Да; а ты вот молчишь… ты, которой поручала ее мать, которою покойница, можно сказать, клялась и божилась в последние дни, ты молчишь; Форов, этот ненавистный человек, который… все-таки ей по мне приходится дядя, тоже молчит, да свои нигилистические рацеи разводит; поп Евангел, эта ваша кротость сердечная, который, по вашим словам, живой Бога узрит, с которым Лара, бывало, обо всем говорит, и он теперь только и знает, что бородой трясет, да своими широкими рукавицами размахивает; а этот… этот Андрей… ах, пропади он, не помянись мне его ненавистное имя!..

– Боже, Боже, как ослепляет тебя гневливость!

– Не говори! Не уговаривай меня и не говори, а то меня еще хуже злость разбирает. Вы бросили мою бедную девочку, бросили ее на произвол ее девичьему разуму и отошли к сторонке, и любуются: дескать, наша хата с краю, я ничего не знаю, иди себе, бедняжка, в болото и заливайся.

Форова быстро сорвала с коленей моток ниток, швырнула его от себя далеко прочь, в угол, и, закрыв руками лицо, начала тихо всхлипывать.

– Катя! перестань плакать, Бога ради, перестань! – начала успокоивать ее Синтянина, отводя ее руки и стараясь заглянуть ей в глаза.

– Нельзя мне, Саша, перестать, нельзя, нельзя, потому что моя Лара… моя бедная девочка… пропала! Моя бедная, бедная девочка!

– Не преувеличивай; ничего худого с Ларисой не сталось, и время еще не ушло ее воротить.

– Нет, нет; я плачу не напрасно: сталось плохое и скверное, да, да… я знаю, о чем я плачу, – отвечала Форова, торопливо обтирая рукой глаза. – Время, Саша, ушло, ушло золотое времечко, когда она была с нами.

– Ну, и что же с этим делать? Ты, Катя, чудиха, право: ведь она девушка, уж это такой народ неблагодарный: как их ни люби, а придет пора, они не поцеремонятся и отшатнутся, но потом и опять вспомнят друзей.

– Да я дура, что ли, в самом деле, что я этого не понимаю? Нет, я плачу о том, что она точно искра в соломе, так и гляжу, что вспыхнет. Это все та, все та, – и Форова заколотила по ладони пальцем. – Это все оттого, что она предалась этой змее Бодростинихе… Эта подлая Глафирка никогда никого ни до чего доброго не доведет.

– Ах, Катя! Это даже неприятно! Ну, как тебе не стыдно так браниться!

– А что же мне остается делать как не браниться? Вы ведь умные, воспитанные, и я не мешаю вам молчать, а я дура, и вы не мешайте мне браниться.

– Ты в самом деле говоришь Бог знает что.

Форова обтерла глаза и, низко поклонясь, сказала смиренным голосом:

– Да, я говорю Бог знает что, простите Христа ради меня, дуру, что я вам досаждаю. Я вам скоро не стану более докучать. Я вижу, что я точно стала глупа, и я уйду от вас.

И Катерина Астафьевна в самом деле встала, подняла из-под стула свой заброшенный моток и начала его убирать.

– Куда же ты уйдешь? – спросила ее, улыбаясь, Синтянина.

– Это мое дело: куда ни пойду, а уж мешать вам не стану; слава богу, еще на свете монастыри есть.

– Но ты замужем, тебя в монастырь не примут.

– Я развод возьму.

Синтянина рассмеялась.

– Нечего, нечего потешаться! Нынче всем дают разводы, Саша, на себя грех взведу и разведусь.

– И тебе не стыдно нести такой вздор?

– Ну, так я без развода пойду на бедные церкви собирать.

– Вот это другое дело!

– Да, «другое». Нечего, нечего тебе на меня смотреть да улыбаться.

– Я теперь вовсе не улыбаюсь.

– Это все равно; я вижу, что у тебя на душе, да Бог с тобой, я тебе очень благодарна, ты была ко мне добра, но теперь ты совсем переменилась. Бог с тобой, Саша, Бог с тобой!

– Неправда, Катя, неправда!

– Нет, я все вижу, я все вижу. Я прежде для тебя не была глупа.

– Ты и теперь для меня не глупа. Кто тебе сказал, что ты глупа? Ты это сама себе сочинила.

– Да, я сама сочинила, я все сама себе сочиняю. Я сочинительница: *«Петербургские трущобы»* это я написала. И я тоже счастливая женщина; очень счастливая, как же не счастливая? Все видят, что я поперек себя шире, это все видят, а что делается у меня в сердце, до этого никому дела нет.

– Да что там делается-то, в твоем сердце? Этого даже не разобрать за твоим кипяченьем.

– А что делается? Ты думаешь, мне легко, что я хожу да ругаюсь, как Гаврилка в распивочной? Нет, друг мой, один Бог видит, как мне самой это противно, но не могу: как вспомню, что это сделалось, что Подозеров отказался, что она живет у Бодростиной, где этот вор

Горданов, и не могу удержаться. Помилуй и сама посуди: жили мы все вместе, были друзья-приятели; годы целые прошли как мы иначе и не располагались, что Лариса будет за Подозеровым, и весь город об этом говорил, и вдруг ни с того, ни с сего разрыв, и какой разрыв: ни село, ни пало и разошлись. Кто это сделал? Как ты хочешь, а это не само же собой случилось: он ее любил без понятия и все капризы ее знал, и самовольство, и все любил; всякий, кто его знает, должен сказать, что он человек хороший, она тоже… показывала к нему расположение, и вдруг поворот: она дома не живет, а все у Бодростиной; он прячется, запирается, говорят, уехать хочет… Что же это такое?

– Ты говорила об этом с Ларисой?

– Обо всем в подробности. Я уж взяла на себя такое терпенье, одна в доме неделю сидела и дождалась ее на минуту, но что же с ней говорить: она вся в себя завернулась, а внутри как искра в соломе, вот-вот да и вспыхнет. «Я уважаю, говорит, Подозерова, но замуж за него идти не хочу». Я с нею сцепилась и говорю: какого же еще, какого тебе, царевна с месяцем под косой, мужа нужно? Вычитываю ей: он человек трудящий, трезвый, честный, образованный, нрава прекрасного, благородный, всем нравится, а она вдруг отвечает, что она очень рада, что он всем нравится, и желает ему счастия.

– Она сказала это искренно?

– Совершенно искренно, с полным спокойствием и даже с радостью объявила, что Андрей Иваныч сам от нее отказался. Я просто этому сначала не поверила. Помилуй, что же это за скачки такие? Я пошла к нему, но он три дня заперт как кикимора, и видеть его нельзя; мужа посылала – нейдет, поп – нейдет; тебя просила написать, ты не писала…

– Я написала, вот слушай, что я ему написала.

Синтянина вынула из незаклеенного конверта листок и прочитала:

«Уважаемый Андрей Иванович! Вы не один раз говорили мне, что вы дружески расположены ко мне и даже меня уважаете; мне всегда было приятно этому верить, тем более, что я и сама питаю к вам и дружбу, и расположение, без этого я и не решилась бы сказать вам того, что пишу вам во имя нашей испытанной дружбы. Меня удивляет ваше поведение по отношению ко всем нам, свыкшимся с мыслию, что мы друзья. Зачем вы нас покинули, заключились под замок и избегаете встречи с нами, как с злейшими своими врагами? Я вас не понимаю. Я

знаю, что вы переносите незаслуженные неприятности, но разве это повод оскорблять людей, искренно к вам расположенных? Говорят, что вы хотите совсем уйти от нас? и слухи эти, по-видимому, имеют основание. Катерина Астафьевна Форова узнала, что вы продаете вашу мебель и вашу лошадку…»

– Нет; этого не нужно ему писать, – перебила Форова.

– Отчего же?

– Так; не нужно; я не хочу, чтоб он знал, что я им интересуюсь, едет, и пусть ему скатертью дорожка.

Александра Ивановна пожала плечами и, обмочив в чернила перо, тщательно зачеркнула все, что касалось Форовой, и затем продолжала:

«Если неприятности, выпадающие здесь на вашу долю, так велики, или если вы так слабы, что не можете долее переносить их, то, конечно, все, что мы можем сказать, это: дай Бог вам лучшего. Мое мнение таково, что нет на свете обитаемого уголка, где бы не было людей, умеющих и желающих досаждать ближнему, и потому я думаю, что в этом отношении все перемены не стоят хлопот, но всякий чувствует и переносит досаду и горести по-своему, и оттого в подобных делах никто никому не указчик. Одно, чего в праве желать от вас и что может себе позволить высказать вам ваша дружба, это, чтобы вы не огорчали ее сомнениями. Прошу вас прекратить свое заключение и приехать ко мне на хуторок, где наша тишь постарается успокоить ваши расходившиеся нервы, а наша скромность, конечно, не станет укорять вас за отчуждение от любящих вас людей. Я вас жду, потому что у меня есть дело, по которому я непременно должна поговорить с вами».

– Хорошо? – спросила Синтянина, докончив чтение.

– Прескверно.

– Отчего?

– Да что же тут написано? – ничего. Ты его еще и ублажаешь.

– А ты хочешь, чтоб я его бранила в письме? Ну извини меня, милая Катя, я этого не сделаю.

– Я этого и ожидала: я знаю, что он тебе дороже…

Синтянина слегка смутилась, но тотчас поправилась и отвечала:

– Да; ты отгадала: я не разделяю к нему твоих нынешних чувств, я его… считаю достойным… полного уважения.

– И любви.

– Да; и любви. Я сейчас посылаю это письмо, – посылаю его при тебе без всяких добавок, и уверена, что не пройдет двух часов, как Подозеров приедет, и я буду говорить с ним обо всем, и получу на все ответы, самые удовлетворительные.

С этим Александра Ивановна подошла к окну и, толкнув рукой закрытую ставню, произнесла:

– Ба! вот сюрприз: он здесь.

– Кто? где?

– Подозеров! И посмотри ты на него, как он, бедняга, измучен и бледен!

Форова подошла и стала молча за плечом хозяйки. Подозеров сидел на земляной насыпи погреба и, держа в левой руке своей худую и бледную ручку глухонемой Веры, правою быстро говорил с ней глухонемою азбукой. Он спрашивал Веру, как она живет и что делала в то время, как они не видались.

– Вы учились? – спросил он.

– Нет, – отвечала грустно девочка, глядя на него глазами, полными мучительной тоски.

– Отчего?

– Меня оставила память.

Подозеров крепко сжал бледную ручку ребенка и, поцеловав ее, остался наклоненным к нежной головке Веры.

– Как он постарел, – шепнула Форова.

– Ужасно, просто ужасно, – отвечала Синтянина и громко позвала гостя по имени.

Подозеров поднял голову и улыбнулся. На бледно-желтом лице его лежала печать тяжелого страдания, только что осиленного мучительною борьбой.

– Приоденься немножко здесь, а я выйду к нему туда, и мы пройдем в осинник, – проговорила Синтянина, выходя и пряча в карман ненужное теперь письмо.

Форова быстрым движением остановила ее у двери и с глазами, полными слез, заботливо ее перекрестила.

– Хорошо, хорошо, – отвечала Синтянина, – я обо всем переговорю.

Форова прижалась горячими губами к ее щеке и прошептала:

– Он мне ужасно жалок, Саша.

– Все жалки, друг мой, все, кто живет живою душой: так суждено, – и с этими словами Синтянина вышла на крыльцо и приветливо протянула обе руки Подозерову.

Глава вторая
Женский ум после многих дум

Прошло более часа. Александра Ивановна, сидя с Подозеровым вдвоем в своем осиновом лесочке, вела большие дружеские переговоры. Она начала с гостем без больших прелюдий и тоном дружбы и участия, довольно прямо спросила его, что за слухи носятся, будто он оставляет город.

– Это совершенная правда, – отвечал Подозеров.

– Можно спросить, что же этому за причина?

– Причин, Александра Ивановна, целая область и, пожалуй, нет ни одной: это зависит от того, как кто захочет смотреть на дело.

– А вы как на него смотрите?

– Я? я просто устал.

– От борьбы?

– Нет, скорее от муки. Мучился, мучился и устал.

– Это, значит, что называется, не справился?

– Как хотите называйте: нельзя против рожна прать.

– Вы в самом деле имеете очень измученный вид.

– Да; я не особенно хорошо себя чувствую.

Синтянина вздохнула.

– Я знаю только ваши служебные столкновения с губернатором, с Бодростиным, – начала она после паузы, – и более не вижу пред вами никаких рожнов, от которых бы надо бежать. Служба без неприятностей никому не обходится, на это уж надо быть готовым, и честный человек, если он будет себя выдерживать, в конце концов, всегда выиграет; а в вас, я вижу, нет совсем выдержки, цепкости нет!

– Как во всех русских людях.

– Не во всех, люди дурных намерений в наше время очень цепки и выдержанны, а вот добрые люди, как вы, у нас на наше горе кипятятся и дают всякой дряни, перевес над собою.

– Это правда.

– Так надо исправиться, а не сдаватья без боя. Я женщина, но я, признаюсь вам, такой уступчивости не понимаю. Вы человек умный, честный, сердечный, чуткий, но вы фантазер. Не нужно забывать, что

свет не нами начался, не нами и кончится: il faut prendre le monde comme il est.[25]

– Поверьте, я, может быть, меньше всех на свете думаю о переделке мира. Скажу вам более: мне так опостылели все эти направления и настроения, что я не вспоминаю о них иначе как с омерзением.

– Верю.

– У меня нет никаких пристрастий и я не раб никаких партий: я уважаю и люблю всех искренних и честных людей на свете, лишь бы они желали счастия ближним и верили в то, о чем говорят.

– Знаю; но вы виноваты не пред миром, а прежде всех пред самим собою и пред близкими вам людьми. Вы сами с собою очень перемудрили.

Подозеров наморщил брови.

– Позвольте, – сказал он, – «сам пред собою» – это ничего, но «пред близкими вам людьми…» Перед кем же я виноват? Это меня очень интересует.

– Я удовлетворяю ваше любопытство: например, здесь, у меня, мой друг, Катерина Астафьевна, вы пред ней виноваты.

– Я, пред Катериной Астафьевной?

– Да; она на вас рвет и мечет.

– Я это знаю.

– Знаете?

– Да; мы с ней недавно встретились, она мне не хотела поклониться и отвернулась.

– Да; она уже такая неуемная; а между тем она вас очень любит.

– Она очень добра ко всем.

– Нет; она вас любит больше, чем других, и знаете, за что и почему?

– Не знаю.

– Ну, так я вам скажу: потому что она любит Ларису.

Произнеся эту фразу, Синтянина потупилась и покраснела.

Подозеров молчал.

Прошла минутная пауза, и Синтянина, разбиравшая в это время рукой оборки своего платья, вскинула наконец свои большие глаза и проговорила ровным, спокойным тоном:

– Андрей Иваныч, что вы любите Ларису, это для нас с Катей, разумеется, давно не тайна, на то мы женщины, чтобы разуметь эти вещи; что ваши намерения и желания честны, и в этом тоже, зная вас, усомниться невозможно.

– Не сомневайтесь, пожалуйста, – уронил Подозеров, сбивая щелчками пыль с своей фуражки.

– Но вы вели себя по отношению к любимой вами девушке очень нехорошо.

– Чем, например, Александра Ивановна?

– А хоть бы тем, Андрей Иваныч, что вы очень долго медлили.

– Я медлил потому, что хотел удостовериться: разделяют ли хоть мало мою склонность.

– Да; извините меня, я вас буду допрашивать немножко как следователь.

– Сделайте милость.

– Но не скрою от вас, что делаю это для того, чтобы потом, убедясь в правоте вашей, стать горячим вашим адвокатом. Дело зашло так далеко, что близким людям молчать долее нельзя: всем тем, кто имеет какое-нибудь право вмешиваться, пора вмешаться.

– Нет, бога ради, не надо! – вскрикнул, вскочив на ноги, Подозеров. – Это все уже ушло, и не надо этого трогать.

– Вы ошибаетесь, – ответила, сажая его рукой на прежнее место, Синтянина, – вы говорите «не надо», думая только о себе, но мы имеем в виду и другую мучающуюся душу, с которою и я, и Катя связаны большою и долгою привязанностию. Не будьте же эгоистом и дозвольте нам наши заботы.

Подозеров молчал.

– Лариса ведь не счастливее вас; если вы хотите бежать куда глаза глядят, то она тоже бежит невесть куда, и вы за это отвечаете.

– Я! я за это отвечаю?

– А непременно! Конечно, отвечаете не суду человеческому, но суду божию и суду своей совести. Вы делали ей не так давно предложение?

– Да, делал.

– Значит, вы убедились, что она разделяет вашу склонность?

– М… м… не знаю, что вам ответить… мне так казалось.

– Да, и вы не ошиблись: Лариса, конечно, отличала и отличает вас как прекрасного человека, внимание которого делает женщине и честь, и удовольствие; но что же она вам ответила на ваши слова?

– Она сначала хотела подумать, – проговорил, подавляя вздох, Подозеров.

– Не припомните ли, когда именно это было?

– Очень помню: это было за день до внезапного приезда ее брата и Горданова.

– И Горданова, – это так; но что же она вам сказала, подумав?

– Потом, подумав, она сказала мне… что она готова отдать мне свою руку, но…

– Но что такое *но*?

– Но что она чувствует, или, как это вам выразить?.. что она не чувствует в себе того, что она хотела бы или, лучше сказать, что она считала бы нужным чувствовать, давая человеку такое согласие.

Генеральша подумала, сдвинув брови, и проговорила:

– Что же это такое ей надо было чувствовать?

– Дело очень просто: она меня не любит.

– Вы можете и ошибаться.

– Только не на этом случае.

– Ну так я повторяю вам и даже ручаюсь, что здесь возможна большая ошибка, и во всем том, что случилось, виноваты вы, и вы же виноваты будете, если вперед случится что-нибудь нежеланное. Вы что ей ответили при этом разговоре?

– Я тоже просил времени подумать.

Синтянина рассмеялась.

– Да нельзя же было, Александра Ивановна, ничего иного сказать на такой ответ, какой она дала мне.

– Конечно, конечно! Он «сказал», «она сказала», и все на разговорах и кончили. Что такое в этих случаях значат слова? Слова, остроумно кем-то сказано, даны затем, чтобы скрывать за ними то, что мы думаем, и женские слова таковы бывают по преимуществу. Добейтесь *чувства* женщины, а не ее слов.

– Добиться?.. Мне, признаюсь, это слово и не нравится.

– Да, да; добиться, настойчиво добиться. Добиваетесь же вы почестей, влияния, а женщина одна всего этого стоит. Так добивайтесь ее.

– Я верю в одни свободные, а не внушенные чувства.

– А я вам по секрету сообщу, что это никуда не годится. Если каждый случай требует своей логики от человека, то тем более каждый живой человек требует, чтоб относились к нему, как именно к нему следует относиться, а не как ко всем на свете. Простите, пожалуйста, что я, женщина, позволяю себе читать такие наставления. Вы умнее меня, образованнее меня, конечно, уж без сравнения меня ученее и вы, наконец, мужчина, а я попечительница умственных преимуществ вашего пола, но есть дела, которые мы, женщины, разбираем гораздо вас терпеливее и тоньше: дела сердца по нашему департаменту.

– Пожалуйста, говорите не стесняясь, я вас внимательно слушаю.

– Очень вам благодарна за терпение; я вам, кроме добра, ничего не желаю.

Подозеров протянул свою руку и пожал руку генеральши.

– Позвольте сказать вам, что вы много виноваты пред Ларой своими необыкновенными к ней отношениями: я разумею: необыкновенно благоразумными, такими благоразумными, что бедная девушка, по милости их, свертелась и не знает, что ей делать. Вы задались необыкновенно высокою задачей довести себя до неслыханного благородства.

– То есть, до возможного.

– Да; вся ваша жизнь, проходившая здесь, на наших глазах, была какое-то штудированье себя. Скажите, что до всего этого молодой девушке? Что же вы делали для того, чтоб обратить к себе ее сердце? Ничего!

– Вы правы… Я, кажется, ничего не делал.

– Кажется! Нет, Андрей Иваныч, это не кажется, а вы, действительно, ничего не делали того, что должны бы были делать. Вы были всегда безукоризненно честны, но за это только почитают; всегда были очень умны, но… женщины учителей не любят, и… кто развивает женщину, тот работает на других, тот готовит ее другому; вы наконец не скрывали, или плохо скрывали, что вы живете и дышите одним созерцанием ее действительно очаровательной красоты, ее загадочной, как Катя Форова говорит, роковой натуры; вы, кажется, восторгались ее беспрерывными порываниями и тревогами, но…

Тот сердце женщин знает плохо,
Тот вовсе их не мог понять,
Кто лишь мольбой и силой вздоха
Старался чувства им внушать.

До побежденных женщинам нет дела! Видите, какая я предательница для женщин; я вам напоминаю то, о чем должна бы стараться заставить вас позабыть, потому что Байрон этими словами, действительно, говорит ужасную правду, и дает советы против женщин:

Не рабствуй женщине!
Умей сдержать порывы ласки,
Под внешним льдом наружной маски,
Умей в ней чувства разбудить,
Тогда она начнет любить!

– Это все учит хитрости, а я ее ненавижу и не хочу.

– Это учит житейскому такту, Андрей Иваныч. Вы так мило боитесь хитрости и рветесь к прямоте… Да кто, какая честная душа не хотела бы лететь к своим целям прямо как стрела? Но на каждом шагу есть свое *но*, и стреле приходится делать зигзаги, чтобы не воткнуться в дерево. Кто говорит против того, что с полною искренностию жить лучше, но надо знать, с кем можно так жить и с кем нет? Скажу примером: если бы дело шло между мною и вами, я бы вам смело сказала о моих чувствах, как бы они ни были глубоки, но я сказала бы это вам потому, что в вас есть великодушие и прямая честь, потому что вы не употребили бы потом мою искренность в орудие против меня, чтобы щеголять властью, которую дало вам мое сердце; но с другим человеком, например с Иосафом Платоновичем, я никогда бы не была так прямодушна, как бы я его ни любила.

– Вы бы даже кокетничали?

– Если бы любила его и хотела удержать? Непременно! Я бы ему дала столько, сколько он может взять для своего счастия, и не ввела бы его в искушение промотать остальное.

– Так и я должен был поступать?

– Так и вы должны были поступать, и это было бы полезно не для одного вашего, но и для ее счастия.

– Но это мне не было бы легко.

– И очень, на том и ловятся мужчины – хорошие: негодяи гораздо умней, те владеют собой гораздо лучше. Вы позвольте мне вас дружески спросить в заключение нашей долгой беседы: вы знаете ли Ларису?

– Мне кажется.

– Вы ошибаетесь: вы ее любите, но не знаете, и не смущайтесь этим: вы в этом случае далеко не исключение, большая часть людей любит, не зная, за что любит, и это, слава Богу, потому, что если начать разбирать, то поистине некого было бы и любить.

– Сделайте исключение хоть для героя или для поэта.

– Бог с ними – ни для кого; к тому же, я терпеть не могу поэтов и героев: первые очень прозаичны, докучают самолюбием и во всем помнят одних себя, а вторые… они совсем не для женщин.

– Вы, однако же, не самолюбивы.

– Напротив: я безмерно самолюбива, но я прозаична; я люблю тишь и согласие, и в них моя поэзия. Что мне в поэте, который приходит домой брюзжать да дуться, или на что мне годен герой, которому я нужна как забава, который черпает силу в своих, мне чуждых, борениях? Нет, – добавила она, – нет; я простая, мирная женщина; дома немножко деспотка: я не хочу удивлять, но только уж если ты, милый друг мой, если ты выбрал меня, потому что я тебе нужна, потому что тебе не благо одному без меня, так (Александра Ивановна, улыбаясь, показала к своим ногам), так ты вот пожалуй сюда; вот здесь ищи поэзию и силы, у меня, а не где-нибудь и не в чем-нибудь другом, и тогда у нас будет поэзия без поэта и героизм без Александра Македонского.

Подозеров молча смотрел во все глаза на свою собеседницу и лицо его выражало: «ого, вот ты какая!»

– Вы меня такой никогда себе не представляли? – спросила Синтянина.

– Да; но ведь слова, по-вашему, даны затем, чтобы скрывать за ними чувства.

– Нет; я серьезно, серьезно, Андрей Иваныч, такова.

– Вы утверждаете, что за достоинства нельзя любить?

– Нет, можно, но это рисковано и непрочно.

– Pour rien[26] верней?

– О, несравненно! В достоинствах можно сшибиться; притом, – добавила она, вздохнув, – один всегда достойнее другого, пойдут сравнения и выводы, а это смерть любви; тогда как тот иль та, которые любимы просто потому, что их любят, они ничего уж не потеряют ни от каких сравнений.

– Итак…

– Итак, – перебила его, весело глядя, генеральша, – мы любим pour rien, и должны добиваться того, что нам мило.

– А если оно перестанет быть мило?

Синтянина зорко посмотрела ему в глаза и отвечала:

– Тогда не добиваться; но чем же будет жизнь полна? Нет, милое, уж как хотите, будет мило.

– Тогда любить… что совершеннее, что выше, и любить, как любят совершенство.

– Только?

– Да.

– Так дайте мне такого героя, который бы умел любить такою любовью.

– Не верите?

– Нет, верю, но такой герой, быть может, только… тот… кто лучше всех мужчин.

– Да, то есть женщина?

Александра Ивановна кивнула молча головой.

– Итак, программа в том: любить pour rien и попросту, что называется, держать человека в руках?

– Непременно! Да ведь вы и сами не знаете, к чему вам всем ваша «постылая свобода», как называл ее Онегин? Взять в руки это вовсе не значит убить свободу действий в мужчине или подавить ее капризами. Взять в руки просто значит *приручить* человека, значит дать ему у себя дома силу, какой он не может найти нигде за домом: это иго, которое благо, и бремя, которое легко. На это есть тысячи приемов, тысячи способов, и их на словах не перечтешь и не передашь, – это дело практики, – докончила она и, засмеявшись, сжала свои руки на коленях и заключила, – вот если бы вы попали в эти сжатые руки, так

бы давно заставила вас позабыть все ваши муки и сомнения, с которыми с одними очень легко с ума сойти.

Подозеров встал и, бросив на землю свою фуражку, воскликнул:

– О, умоляю вас, позвольте же мне за одно это доброе желание ваше поцеловать ваши руки, которые хотели бы снять с меня муки.

Подозеров нагнулся и с чувством поцеловал обе руки Александры Ивановны. Она сделала было движение, чтобы поцеловать его в голову, но тотчас отпрянула и выпрямилась. Пред нею стояла бледная Вера и положила обе свои руки на голову Подозерова, крепко прижала его лицо к коленам мачехи и вдруг тихо перекрестила, закрыла ладонью глаза и засмеялась.

Александра Ивановна нежно прижала падчерицу к плечу и жарко поцеловала ее в обе щеки. Она была немножко смущена этою шалостью Веры, и яркий румянец играл на ее свежих щеках. Подозеров в первый раз видел ее такою оживленною и молодою, какой она была теперь, словно в свои восемнадцать лет.

– Так как же? – спросила она, не глядя на него, расправляя кудри Веры. – Так вы побеждены?

– Да, я немножко разбит.

– Вы согласны, что вы действовали до сих пор непрактично?

– Согласен; но иначе действовать не буду.

– Так вы наказаны за это: вы непременно женитесь на Ларе.

– Я!

– Да; вы обвенчаетесь с Ларисой.

– Помилуйте! какими же судьбами?

– Женскими! Вы будете ее мужем по ее желанию, если только вы этого хотите.

Подозеров промолчал.

– Держите же себя, как я говорила, и я вас поздравлю с самою хорошенькою женой.

С этим Александра Ивановна встала, оправила платье и воскликнула:

– А вот и Катя идет сюда! Послушай, бранчивое созданье, – отнеслась она к подходившей Форовой. – Я беру Андрея Иваныча в наш заговор против Ларисы. Ты разрешаешь?

– Разумеется.

– Но я беру с условием, чтоб он спрятал на время свои чувства в карман.

– Ну да, ну да! – утвердила Форова. – Ни слова ей… А я пришла вам сказать, что мне из окна показалось, будто рубежом едут два тюльбюри: это, конечно, Бодростина с компанией и наша Лариса Платоновна с ними.

– Не может быть!

Но в это время послышался треск колес, и два легких экипажа промелькнули за канавой и частоколом.

– Они! – воскликнула Форова.

– Какова наглость! – тихо, закусив губу, проронила Синтянина и сейчас же добавила, – а впрочем, это прекрасно, – и пошла навстречу гостям.

Форова тотчас же быстро повернулась к Подозерову и, взяв его за обе руки, торопливо проговорила:

– А ты, Андрей Иванович, на меня, сделай милость, не сердись.

– Нет, я не сержусь, – отвечал, не глядя на нее, Подозеров.

– Скажи мне: дом Ларисин уже заложен?

– И деньги даже взяты нынче.

– Ах, боже мой! И кто же их получал?

– Конечно, брат владелицы.

– Разбойник!

– Уж это как хотите!

– На что же, на что все это сделано? зачем заложен дом?

– Да думаю, что просто Иосафу деньги нужны.

– На что ж, голубчик, нужны?

– Ну, я в эти соображения не входил.

– Не входил! Гм! очень глупо делал. А сколько выдано?

– Немного менее пяти тысяч.

– Господи! и если дом за это пропадет? Ведь это последнее, Андрюша, последнее, что у нее есть.

– Что же делать? Да что вы все о деньгах: оставьте это. Уж не поправишь ничего. Это все ужасно опротивело.

– Ах, опротивело! Не рада, кажется, и жизни, все это видя.

– Ну так скажите мне о чем-нибудь другом.

– О чем?

– О чем хотите, – хоть об Александре Ивановне.

– О Саше? да что о ней… Она святая! – отвечала, махнув рукой, Форова.

– Как она могла выйти так странно замуж:

– Мой милый друг, не надобно про это говорить, – это большая тайна…

– Однако вы ее знаете?

– Догадываюсь, но не знаю.

– Она несчастлива?

– Была несчастлива превыше всяких слов… А вон и гости жалуют. Пойду навстречу. Прошу же тебя, пожалуйста, веселое лицо и чтобы не очень с нею… Не стоит она ничьей жалости!..

Подозеров не тронулся с места и, стоя у дерева со сложенными руками, думал: «Какое ненавистное, тупое состояние! Я ничего, ровно ничего не чувствую, хотя не хотел бы быть в таком состоянии за десять часов до смерти. Между тем в этой глупости чувствую в себе… какой-то перелом… словом, какое-то иго отпадает пред готовой могилой… Какая разница в ощущениях, вносимых в душу этими двумя женщинами? Какой сладкий покой льет в душу ее трезвое, от сердца сказанное слово. Да! я рад, что я приехал к ней проститься пред смертью, потому… что иначе… не знаю, о ком бы вздохнул я завтра, умирая».

Глава третья
Положение дел, объясняющее, почему Подозеров заговорил о близкой смерти

Крепкая броня Горданова оказалась недостаточно прочною: ее пробила красота Ларисы. Эта девушка, с ее чарующею и характерною красотой, обещавшею чрезвычайно много и, может быть, не властною дать ничего, понравилась Горданову до того, что он не мог скрыть этого от зорких глаз и тонкого женского чутья. Бодростина видела это яснее всех; она видела, как действует на Горданова красота Лары. Это было немножко больше того, чем хотела Глафира Васильевна. Читатели благоволят вспомнить, что Бодростина не только разрешила Горданову волочиться за Ларисой, но что это входило в данную ему программу, даже более – ему прямо вменялось в обязанность соблазнить эту девушку, или Синтянину, или, еще лучше, обеих вместе. Последнее, впрочем, было сказано Бодростиной, вероятно, лишь для красоты слога, потому что она сама не верила ни в какие силы соблазна по отношению к молодой генеральше. О каком-нибудь не только серьезном успехе, но о самом легоньком волокитстве за Синтяниной не могло быть и речи. Горданов видел это и решил в первый же день приезда, в доме Висленевых, тогда же сказав себе: «ну, об этой нечего и думать!»

Иосафа он шутя подтравливал, говоря: прозевал любчик, просвистал жену редкую, уж эта бы рогов не прилепила.

– А бог еще знает, – отвечал Висленев.

– Не велика штука это знать, когда это всякому видно, у кого чердак не совсем пуст.

– Она, однако, бойкая…

– Ну, это, милый, ничего не значит, бойкие-то у нас часто бывают крепче тихонь. А только, впрочем, она тебе бы не годилась, она тебя непременно в руках бы держала, и даже по оброку бы не пустила, а заставила бы тебя вместо революций-то юбки кроить.

– Ну, ты наскажешь: уж и юбки кроить.

– Да, а что же ты думаешь, да, ей-богу, заставит. Но я, знаешь, все-таки теперь на твоем месте маленечко бы пошатался: как она

отзовется? Право, с этого Гибралтара хоть один камушек оторвать, и то, черт возьми, лестно.

– Нимало мне это не лестно, – отвечал Висленев.

– Ну, как же, – рассказывай ты: «нимало». Врешь, друг мой, лестно и очень лестно, а ты трусишь на Гибралтары-то ходить, тебе бы что полегче, вот в чем дело! Приступить к ней не умеешь и боишься, а не то что нимало не лестно. Вот она на бале-то скоро будет у губернатора: ты у нее хоть цветочек, хоть бантик, хоть какой-нибудь трофейчик выпроси, да покажи мне, и я тогда поверю, что ты не трус, и даже скажу, что ты мальчик не без опасности для нежного пола.

– И что же: ты думаешь, не выпрошу?

– Ну, да выпроси!

– И выпрошу!

Взявшись за это дело, Висленев сильно был им озабочен: он не хотел ударить себя лицом в грязь, а между тем, по мере того как день губернаторского бала приближался, Иосафа Платоновича все более и более покидала решимость.

– Черт знает, что она ответит? – думал. – А ну, как расхохочется?.. Вишь она стала какая находчивая и острая! Да и не вижу я ее почти совсем, а если говорить когда приходится, так все о пустяках… Точно чужие совсем…

А бал все приближался и наконец наступил. Вот освещенный зал, толпа гостей, и генеральша входит под руку с мужем. Ее платье убрано букетами из васильков.

– Василек, – шепчет Горданов на ухо Висленеву, – и за мной пара шампанского.

– Непременно, – отвечает Висленев и, выпросив у Александры Ивановны третью кадриль, тихонько, робко и неловко спустил руку к юбке ее платья и начал отщипывать цветок. Александра Ивановна, слава Богу, не слышит, она даже подозвала к себе мужа я шепчет ему что-то на ухо. Тот уходит. Но проклятая проволока искусственного цветка крепка неимоверно. Висленев уже без церемонии теребит его наудалую, но нет… Между тем генерал возвращается к жене, и скоро надо опять начинать фигуру, а цветок все не поддается.

– Позвольте я вам помогу, – говорит ему в эту роковую минуту Александра Ивановна и, взяв из рук мужа тайком принесенные им ножницы, отрезала с боку своей юбки большой букет и ловко

приколола его к фраку смущенного Висленева, меж тем как генерал под самый нос ему говорил:

– Не забудь этого, мой свет!

Висленев не знал, как он дотанцевал кадриль с мотавшимся у него на груди букетом, и даже не поехал домой, а ночевал у Горданова, который напоил его, по обещанию, шампанским и, помирая со смеху, говорил:

– А все-таки ты молодец! Сказал: «выпрошу» и выпросил.

Это несчастье Висленева чуть с ума не свело, но уже зато с тех пор о победах над Александрой Ивановной они даже и в шутку не шутили, а Висленев никогда не произносил ее имени, а называл свою прежнюю любовь просто: «эта проклятая баба».

Лариса же была иная статья: ее неровный, неясный и неопределившийся характер, ее недовольство всем и верно определенная Форовым детская порывчивость то в пустынники, то в гусары, давали Бодростиной основание допускать, что ловкий, умный, расчетливый и бессердечный Горданов мог тут недаром поработать. Притом же Бодростина, если не знала сердца Ларисы больше, чем знаем мы до сего времени, то отлично знала ее голову и характер, и называла ее «пустышкой». Но тут опять была задача: по малосодержательности Ларисы, защищенной от наблюдателей ее многоговорящею красотой, Бодростина сама не знала, какой бы план можно было порекомендовать Горданову для обхождения с нею с большим успехом. Одному плану мешала гордость Ларисы, другому – ее непредвидимые капризы, третьему – ее иногда быстрая сообразительность и непреклонность ее решений. Но Бодростина надеялась, что Горданов сам найдет дорогу к сердцу Ларисы, и вдруг ей показалось, что она ошиблась: Горданов стал и стоял упорно на одном месте. Красота Лары ошеломила его; хмель обаяния туманил его голову, но не лишил ее силы над страстью. Он подходил расчетливо, всматривался, соображал и только нервно содрогался при виде Ларисы. Бодростиной даже мелькнуло в уме: не зашло бы дело до свадьбы! Ларису оберегали две женщины: Синтянина и Форова, из которых каждую обмануть трудно. Но Горданов не мог жениться; Бодростина знала, что ему был один путь к спасению: устроить ее обеспеченное вдовство и жениться на ней. Горданов и сам действительно так думал и держал этот план на первом месте, но это

была его ошибка: Бодростина и в помышлении не имела быть когда-нибудь его женой. Она хотела отблагодарить его, когда будет свободна, и потом распорядиться своею дальнейшею судьбой, не стесняясь никакими обязанностями в прошлом. Бодростина отдыхала на другой сладкой мечте, которая неведомо когда и как вперилась в ее голову: она хотела быть женой человека, по-видимому, самого ей неподходящего. Она мечтала о муже, вполне добром и честном: она мечтала, как бы ей было приятно осчастливить такого человека, скрыв и забыв прошлое. В натуре Глафиры Васильевны была своего рода честность, она была бы честна и даже великодушна, если бы видела себя самовластною царицей; но она интриговала бы и боролась, и честно и бесчестно, со всеми, если бы царственная власть ее не была полною и независимою в ее руках. «Страстям поработив души своей достоинства», она была бессильна, когда страсть диктовала ей бесчестные мысли, но она не любила зла для зла: она только не пренебрегала им как орудием, и не могла остановиться. Прошлое ее ей самой представлялось чрезмерною, непростительною глупостью, из которой она выделяла только свое замужество. Тут она немножко одобряла свои действия, но все затем происходившее опять, в собственных ее глазах, было рядом ошибок, жертвой страстям и увлечениям. Продолжительное пассивное выжидание последних лет было, положим, сообразно положению дел, но оно было не в характере Глафиры, живом и предприимчивом, и притом оно до сих пор ни к чему не привело и даже грозило ей бедой: Михаил Андреевич Бодростин более не верил ей, и новым его распоряжением она лишалась мужниного имения в полном его составе, а наследовала одну только свою законную вдовью часть. Этого Глафира Васильевна не могла перенести. Она опять призвала весь свой ум и решилась ниспровергнуть такое посягательство на ее благосостояние. С этою целию, как мы помним, был вызван из Петербурга Горданов, дела которого тоже в это время находились в положении отчаянном. Глафира Васильевна знала, что Павел Николаевич человек коварный и трус, но трус, который так дальновидно расчетлив, что обдумает все и пойдет на все, а ее план был столько же прост, сколько отчаян. Он заключался в том, чтоб уничтожить новое завещание, лишавшее ее полного наследования имений мужа, и затем не дать Бодростину времени оставить иного завещания, кроме того, которым он в первую минуту старческого

увлечения, за обладание свежею красотой ловкой Глафиры, отдал ей все. Горданов был человек, которому не нужно было много рассказывать, что ему нужно делать. У Глафиры тоже вся партитура была расписана; обстоятельства им помогали. Мы видели, как Михаил Андреевич Бодростин взял и увез к себе с поля смоченного дождем Висленева. Глафире Васильевне не стоило никакого труда завертеть эту верченую голову; она без труда забрала в свои руки его волю, в чужих руках побывалую. Она обласкала Жозефа, сделалась жаркою его сторонницей, говорила с ним же самим о его честности, которая будто бы устояла против всех искушений и будто бы не шла ни на какие компромиссы. Красивая и хотя уже не очень молодая, но победоносная женщина эта говорила с Висленевым таким сладким языком, от которого этот бедняк, тершийся в петербургском вертепе сорока разбойников, давно отвык и словно обрел потерянный рай. Висленев ожил. Бодростин его тоже ласкал. В их доме Иосаф Платонович приютился, как в тихой каютке во время всеобщего шторма, а шторм, большой шторм заходил вокруг. Едва Висленев стал, по легкомысленности своей, забывать о своем оброчном положении и о других своих петербургских обязательствах, как его ударила новая волна: гордановский портфель, который Висленев не мог представить своему другу иначе как с известным нам надрезом. Это была тоже очень тяжкая минута в жизни Иосафа Платоновича, минута, которую он тщетно старался облегчить всяким лебезеньем и вызовом пополнить все, если хоть капля из ценностей, хранящихся в портфеле, пропала.

Горданов только засмеялся и, отбросив в сторону портфель, сказал Висленеву:

– Молодец мальчик, и вперед так старайся.

– Что же, ты думаешь, может быть, что это я?..

– Ничего я не думаю, – сухо отвечал Горданов, отходя и запирая портфель в комод.

– Нет, если ты что подозреваешь, так ты лучше скажи. Ведь я тебе говорил, я говорил тебе…

– Что такое ты мне говорил? Я всего говоренного тобою в памятную книжку не записываю.

– Я говорил тебе в ту ночь, или в тот вечер: возьми, Паша, от меня свой портфель! А ты не взял. Зачем ты его не взял? Я ведь был тогда с

дороги, уставши, как и ты, и потом…

– Продолжайте, Иосаф Платонович.

– Потом я не знаю образа жизни сестры.

Горданов обернулся, посмотрел на него пристальным взглядом.

– Черт его знает, кто это мог сделать? – продолжал, оправдываясь, Висленев. – Мне кажется, я утром видел платье в саду… Не сестрино, а чье-то другое, зеленое платье. Портфель лежал на столе у самого окна, и я производил дознание…

– Ну, так и поди же ты к черту со своим дознанием! Ты готов сказать, что твоей сестре кто-нибудь делает ночные визиты.

– Неправда, я этого не скажу.

– Неправда?.. Полно, друг, я тебя знаю и, отдавая тебе портфель, хотел нарочно еще раз поиспытать тебя: можно ли на тебя хоть в чем-нибудь положиться?

– И что же – ни в чем?

– Решительно ни в чем.

– Ну после этого, Павел Николаевич…

– Нам с вами остается раскланяться?

– Да, предварительно рассчитавшись, разумеется. Не беспокойся, я мои долги всегда помню и плачу. Я во время моих нужд забрал у тебя до девятисот рублей.

– Не помню, не считал.

– Что ж, ты разве думаешь, что больше?

– Я говорю тебе: не помню, не считал.

– Ну так я тебя уверяю, что всего девятьсот, у меня каждый грош записан, и вот тебе расписка.

Висленев схватил перо, оторвал полулист бумаги и написал расписку в тысячу восемьсот рублей.

– Это зачем же вдвое? – спросил Горданов, когда тот преподнес ему листок.

– Да так уж и бери, пожалуйста, я не знаю, когда я тебе отдам…

– Полно, милый друг! Где тебе отдавать?

– Павел Николаевич, не говори этого! Я бесчестного дела сделать не хочу, я пишу вдвое, потому что… так писал, так и привык; но я отдам тебе все, что перехватил.

– Перехватил! – засмеялся Горданов.

– Да, перехватил и еще перехвачу и разочтусь.

– Нет, уж негде тебе, брат, перехватывать, все перехваты пересохли.

– Негде! Ошибаешься, я у сестры перехвачу и вывернусь.

Горданов снова засмеялся и проговорил:

– Ты бы себе и фамилию у кого-нибудь перехватил. Тебе так бы и зваться не Висленев, а Перехватаев.

– А вот увидишь ты: перехвачу.

– Перехвати, с моей стороны препятствий не будет, а уж сам я тебе не дам более ни одного гроша, – и Горданов взял шляпу и собирался выйти. – Ну выходи, любезный друг, – сказал он Висленеву, – а то тебя рискованно оставить.

– Паша!

Горданов засмеялся.

– Тебе не грех меня так обижать?

– Да пропади ты совсем с грехами и со спасеньем: мне некогда. Идем. Сестра твоя дома?

– Да, кажется, дома.

– Надеюсь, она про эту гадость не знает?

– Не знает, не знает!

– Очень рад за нее.

– Она тебе нравится?

– Да, она не тебе чета. Сестра красавица, а брат…

– Ну врешь; я недурен.

– Недурен, да тип у тебя совсем не тот; ты совсем японец.

– А ведь, брат, любили нас, и очень любили!

– Да, я сам тебя люблю: где же еще такого шута найдешь.

– И ты на меня не сердишься?

– Нимало, нимало. Чего на тебя сердиться: ты невменяем.

– Ну и мир.

– Мир, – отвечал Горданов, лениво подавая ему руку и в то же время отдавая пустые распоряжения остающемуся слуге.

Висленев был как нельзя более доволен таким исходом дела и тотчас же направился к Бодростиным, с решимостью приютиться у них еще плотнее; но он хотел превзойти себя в благородстве и усиливался славить Горданова и в струнах, и в органе, и в гласех, и в восклицаниях. Застав Глафиру Васильевну за ее утренним кофе, он сейчас же начал осуществлять свои намерения и заговорил о

Горданове, хваля его ум, находчивость, таланты и даже честность. Бодростина насупила брови и возразила. Висленев спорил жарко и фразисто. В это время в будуар жены вошел Михаил Андреевич Бодростин. Разговор было на минуту прервался, но Висленев постарался возобновить его и отнесся к старику с вопросом о его мнении.

– Я об этом человеке имел множество различных мнений, – отвечал Бодростин, играя своею золотою табакеркой, – теперь не хочу высказать о нем никакого мнения.

– Но вот Глафира Васильевна отрицает в нем честность. Можно ли так жестоко?

– Что же, может быть, она о нем что-нибудь больше нас с вами знает, – сказал Бодростин.

Глафира Васильевна не шевельнула волоском и продолжала сосать своими полными коралловыми губами смоченный сливками кусочек сахара, который держала между двумя пальцами по локоть обнаженной руки.

– А я говорю то, – продолжал Михаил Андреевич, – что я только не желал бы дожить до того времени, когда женщины будут судьями.

– Вы до этого и не доживете, – весело отвечала своим густым контральтом Глафира.

– Право! У женщины какой суд? сделал раз человек что-нибудь нехорошее, и уже это ему никогда не позабудут, или опять, согреши раз праведник, – не помянутся все его правды.

– Горданов и праведники… это оригинально! – воскликнула Глафира Васильевна и, расхохотавшись, вышла в другую комнату.

– А я столкнулся сейчас с Гордановым у губернатора, – продолжал Бодростин, не обращая внимания на выход жены, – и знаете, я не люблю руководиться чужими мнениями, и я сам Горданова бранил и бранил жестоко, но как вы хотите, у этого человека еще очень много сердца.

– И ума, он очень умен, – поддержал Висленев.

– Об уме уж ни слова: как он, каналья, третирует наших дворян и особенно нашего вице-губернаторишку, это просто слушаешь и не наслушаешься. Заговорил он нам о своих намерениях насчет ремесленной школы, которую хочет устроить в своем именьишке.

Дельная мысль! Знаете, это человек-с, который не химеры да направления показывает…

– Да; он очень умен!

– Кроме того говорю и о сердце. Мы с ним ведь старые знакомые и между нами были кое-какие счетцы. Что же вы думаете? Ведь он в глаза мне не мог взглянуть! А когда губернатор рекомендовал ему обратиться ко мне, как предводителю, и рассказать затруднения, которые он встретил в столкновениях с Подозеровым, так он-с не знал, как со мной заговорить!

– И вы его великодушно ободрили? – спросила снова вошедшая Глафира Васильевна.

– Да, представьте, ободрил, – продолжал Бодростин. – Подозеров честный, честный человек, но он в самом деле какой-то маньяк. Я его всегда уважал, но я ему всегда твердил: перестаньте вы, Бога ради, настраиваться этими газетными подуськиваниями. Что за болезненная мысль такая, что все крестьян обижают. Вздор! А между тем, задавшись такими мыслями, в самом деле станешь видеть неведомо что, и вот оно так и вышло. Горданов хлопочет о школе для самих же крестьян, а тот противодействует. Потом агитатор этот ваш Форов является и с ним поп Евангел, и возмущают крестьян… Ведь это-с… ведь это же нетерпимо! Я сейчас заехал к Подозерову и говорю: мой милый друг, vous êtes entièrement hors du chemin,[27] и что же-с? – кончилось тем, что мы с ним совсем разошлись.

– Вы разошлись с Подозеровым? – воскликнул, не скрывая своей радости, Висленев.

– Даже жалею, что я с ним когда-нибудь сходился Этот человек спокоен и скромен только по внешности; бросьте искру, он и дымит и пламенеет: готов на укоризны целому обществу, зачем принимают того, зачем не так ласкают другого. Позвольте же наконец, милостивый государь, всякому самому про себя знать, кого ему как принимать в своем доме! Все люди грешны, и я сам грешен, так и меня не будут принимать. Да это надо инквизицию после этого установить! Общество должно исправлять людей, а не отлучать их.

– О, вы совершенно правы, – поддержал Висленев, натягивая на руку перчатку.

– По крайней мере я никого не отлучаю от общения с людьми, и знаю, что человек не вечно коснеет в своих пороках, и для каждого

настает своя минута исправиться.

– Михаил Андреевич, вы божественно говорите! – воскликнул Висленев и начал прощаться. Его немножко удерживали, но он сказал, что ему необходимо нужно, и улетел домой, застал там Горданова с сестрой, которая была как-то смешана, и тут же рассказал новости об обращении Бодростина на сторону Павла Николаевича.

Меж тем Глафира Васильевна тотчас же, по выходе Висленева, спросила мужа:

– И неужто это дойдет до того, что Горданов снова будет принят у нас в доме?

– Да; я полагаю, – отвечал Бодростин. – Он имеет во мне нужду, да и сам интересует меня своею предприимчивостью. Разве ты не хочешь, чтоб он был принят?

– Мне все равно.

– О чем же и говорить! Мне тоже все равно, – произнес он и, взяв Глафиру за обнаженный локоть, добавил, – я совершено обеспечен: за моею женой столько ухаживателей, что они друг за другом смотрят лучше всяких аргусов.

– Что же вы этим хотите сказать? – спросила Глафира, но Бодростин вместо ответа поцеловал несколько раз кряду ее руку и проговорил:

– Какая у вас сегодня свежая и ароматная кожа. А впрочем, черт возьми! – добавил он, взглянув на часы, – j'ai plusieures visites a faire! [28]

С этим он повернулся и вышел, часто скрипя своими сияющими сапожками.

«Ароматная кожа!» – подумала Глафира, прислонясь устами к своей собственной руке. И пред ней вдруг пронеслась вся ее прошлая жизнь. В детстве ее любили и рядили; в юности выставляли как куколку; Горданов нуждался в ее красоте; ею хотели орудовать, как красавицей! Вышла замуж она через красоту; по своей вине пренебрежена как человек, но еще и теперь ценима в меру своей красоты. И между тем никто никогда не остановился на душе ее, никто не полюбил ее за ее сердце, не сказал ей, что он ей вверяется, что он ей верит и хочет слиться с нею не в одном узком объеме чувственной любви!

Бодростина насупилась, и в больших глазах ее сверкнули досада и презрение.

– Неужто же так будет вечно? Нет, еще одно последнее сказанье, и я начну новую летопись. Я хочу и я буду любима!

Между тем Горданов в ожидании дела с Бодростиной сделал для себя очень важные открытия в Ларисе. Он изучил и понял ее основательно, и результаты его изучения были яснее результатов долгих размышлений о ней Форовой, Синтяниной и Бодростиной. У Горданова Лариса выходила ни умна, ни глупа, но это была, по его точному выводу, прекрасная «собака и ее тень». Вся суть ее характера заключалась в том, что все то, что ей принадлежит, ей не нужно. Горданов так решил и не ошибся. Теперь надо было действовать сообразно этому определению. Он ходил к Ларисе в дом, но, по-видимому, вовсе не для нее; он говорил с нею мало, небрежно и неохотно. Он видел ее разрыв с Подозеровым, пред которым Горданов постоянно обнаруживал к Ларисе полнейшее невнимание, и не уставал хвалить достоинства Андрея Ивановича. Это действовало прекрасно; Лариса едва преодолевала зевоту при имени Подозерова.

Городская сплетня между тем утверждала, что Лариса не идет за Подозерова, что ему не везет, что он в отставке, а занята она Гордановым, но ей тоже не везет, потому что Горданов не удостоивает ее внимания, а занят, кажется, красивою купчихой Волдевановой, в доме которой Горданов действительно бывал недаром и не скрывал этого, умышленно пренебрегая общественным мнением. Горданову, с его понятиями о Ларисе, нужно было совсем не то, что думала Бодростина; он не бил на то, чтобы поиграть Ларисой и бросить ее. Он, правда, смотрел на нее, как на прекрасный и нужный ему комфорт, но вместе с тем хотел, чтоб эта прекрасная, красивая девушка принадлежала ему на самом нерушимом крепостном праве, против которого она никогда не смела бы и подумать возмутиться. Но что же могло ему дать такое право? Брак; но брак не сдержит таких, как Лариса; да и к тому же он не мог жениться на Ларисе: у него на плечах было большое дело с Бодростиной, которую надо было сделать богатою вдовой и жениться на ней, чтобы самому быть богатым; но Ларису надо было закрепить за собой, потому что она очень ему нравится и нужна для полного комфорта.

– С точки зрения дураков – это вздор, но с моей точки это не вздор, – размышлял Горданов, – женщина, которая мне нравится, должна быть моею, потому что без этого мне не будет хорошо. Но мне нужна и одна, и другая, я гонюсь за двумя зайцами и, по глупой пословице, я должен не поймать ни одного. Но это вздор!

И у Павла Николаевича созрел план, по которому он смело надеялся закрепить за собою Ларису еще крепче, чем Глафиру Васильевну, и был вполне уверен, что ни Бодростина и никто на свете этого плана не проникнут.

Таким образом у него предприятие нагромождалося на предприятие, и дух его кипел и волновался. Надо было помирить петербургские долги; упрочить здесь за собою репутацию человека, крайне интересного и страшного; добыть большие деньги, сживя со света Бодростина и женившись на его вдове, и закабалить себе Ларису так, чтобы она была ему до гроба крепка, крепче всяких законных уз. Всего этого он надеялся достигнуть без риска и опасностей. На долги он выслал проценты и был уверен, что Кишенский и его расчетливая подруга не станут на него налегать ввиду заленившейся для него возможности поправиться и расплатиться; губернское общество он уже успел собою заинтересовать без малейшего труда и даже сам нередко дивовался своему успеху. Еще недавно ненавидевший его втайне Ропшин позвал его на именинный вечер, где был весь сок губернской молодежи, и Горданов, войдя, едва кивнул всем головой, и тотчас же, отведя на два шага в сторону хозяина, сказал ему почти вслух: «Однако же какая сволочь у вас, мой милый Ропшин». Хозяин сконфузился, гости присмирели; потом выходка эта с хохотом была разнесена по городу. Добыть большие деньги Горданов давно знал каким образом: дело это стояло за сорока тысячами, которые нужны были для расчета с долгами и начала миллионной операции; надо было только освободить от мужа Бодростину и жениться на ней, но из этих двух дел последнее несомненно устраивалось само собою, как только устроилось бы первое. Горданов в этом был уверен, Бодростина говорила правду, что у него была своя каторжная совесть: у него даже был свой каторжный point d'honneur, не дозволявший ему сомневаться в существовании такой совести в Глафире Васильевне, женщине умной, которую он, как ему казалось, знал в совершенстве. Затем оставалось прикрепить к себе Ларису. Это дело было нелегкое:

жениться на Ларисе, повторим еще раз, Горданов не думал, а любовницей его она не могла быть по своему гордому характеру. Он очень просто и ясно предвидел с ее стороны такую логику: если он меня любит – пусть на мне женится, если же не хочет жениться, значит не любит. Притом же около Ларисы стояли Синтянины, Форова, Подозеров, все эти люди не могли благоприятствовать планам Горданова. Еще он мог, может быть, увлечь Ларису, но рисковал не удержать ее надолго в своей власти. Могла настать минута разочарования, а Горданов был дальнозорок; он хотел, чтобы Лариса была неотделима от него нигде, ни при каких обстоятельствах, не исключая даже тех, при которых закон освобождает жену от следования за мужем. Но понятно, что все эти сложные планы требовали времени, и Горданов, сделавшись снова вхож в дом Бодростиных, в удобную минуту сказал Глафире, что он не истратил одной минуты даром, но что при всем этом ему еще нужно много времени.

– Не торопи меня, – говорил он ей, – дай мне год времени, год – не век, и я тебе за то ручаюсь, что к концу этого года ты будешь и свободна, и богата.

– Но завещание написано!

– Оставь ты эти письмена.

Глафира Васильевна сама знала, что нужно время, нужно оно было не для нее, а для Павла Николаевича, который хотел действовать осторожно и, раздув огонь, собрать жар чужими руками. На это и был здесь Висленев.

В таком положении находились дела, когда Михаил Андреевич Бодростин, рассорясь с Подозеровым, ввел к себе снова в дом Горданова и, пленясь его умом, его предприимчивостью и сообразительностью, вдруг задумал ехать в Москву и оттуда в Петербург, чтоб уладить кое-что по земству и вступить в большие компанейские торговые дела, к которым его тянуло и которых так опасалась Глафира Васильевна. При этом кстати Бодростин вез в Москву и духовное завещание, с тем чтобы положить его на хранение в опекунский совет. Бодростину сопутствовали в его поездке: его наследник племянник, улан Владимир Кюлевейн и секретарь Ропшин. День отъезда был назначен. Молодой, рослый камердинер Михаила Андреевича и два лакея укладывали чемоданы и несессеры. Ропшин

вместе с самим Бодростиным собирал в кабинете дорожный портфель. Дело было после обеда пред вечерним чаем: осталось провести дома последний прощальный вечер и завтра ехать.

– Подай мне завещание! – спросил, сидя за столом, Бодростин у стоявшего с другой стороны стола Ропшина.

Секретарь порылся и поднес лист, исписанный красивым французским почерком Михаила Андреевича.

Бодростин пробежал несколько строк этого документа, взглянул на свидетельские подписи Подозерова и Ропшина и сказал:

– Не худо бы сюда еще одну подпись священника.

– Как вам угодно, – отвечал Ропшин.

– Но, впрочем, кажется, довольно по закону и двух.

– Совершенно довольно и, вдобавок, завещание писано вашею собственною рукой и, вероятно, сами вами будет подано на хранение?

– А разумеется самим.

– В таком случае оно более чем гарантировано от всяких оспариваний.

– Ты прав, нечего тут вмешивать попов: еще все разблаговестят. Ты ведь, конечно, никому ни звука не подал.

– Можете ли вы в этом сомневаться, – отвечал краснея Ропшин.

– Я, брат, всем верю и во всех сомневаюсь.

– Я не знаю, как господин Подозеров, – начал было Ропшин, но Бодростин перебил его:

– Ну в Подозерове-то я не сомневаюсь.

Ропшин еще покраснел, так что багрец пробил сквозь его жиденькие, тщательно причесанные чухонские бакенбарды, но Бодростин, укладывавший в это время бумагу в конверт, не заметил его краски.

– Надпиши, – сказал он секретарю, и, продиктовав ему надпись, велел запечатать конверт гербовою печатью и уложить в портфель.

Позже вечером Бодростина не было дома: он был у губернатора, потом у Горданова и вернулся за полночь. Глафира Васильевна без него в сумерки приняла только Висленева, но рано сказалась больною и рано ушла к себе на половину. Дела ее с Висленевым шли вяло. Иосаф Платонович сделался ее адъютантом, но только разводил ей рацеи о женщине, о женских правах и т. п. Горданов, наблюдавший все это, находил, что вокруг удалой Бодростиной как будто становилось

старо и вяло, но вряд ли он в этом не сшибался. По крайней мере, если бы Горданов видел Глафиру Васильевну в сумерки того дня, когда Бодростин запечатал свое завещание, он не сказал бы, что около нее стало старо. Она была вся оживлена: черные брови ее то поднимались, то опускались, взор то щурился и угасал, то быстро сверкал и пронизывал; античные ее руки горели и щипали в лепестки мягкую шемахинскую кисть от пояса распашного капота из букетной материи азиатского рисунка. В организме ее было какое-то лихорадочное беспокойство, и потому, несмотря на едва заметную свежесть летнего вечера, в кабинете ее были опущены густые суконные занавесы, и в камине пылали беловатым огнем сухие березовые дрова.

Глафира Васильевна помещалась полусидя на низком мягком табурете и упиралась в белый мраморный откос камина ногой, обутой в простую, но изящную туфлю из алого сафьяна.

Он ей был не лишний: она в самом деле зябла, но вдруг чуть только всколыхнулась дверная портьера и вошедшая девушка произнесла: «Генрих Иваныч», Бодростина сейчас же вскочила, велела просить того, о ком было доложено, и пошла по комнате, высоко подняв голову, со взглядом ободряющей и смущающей ласки.

В портьере показался секретарь Ропшин: бедный и бледный, нескверный и неблазный молодой человек, предки которого, происходя от ревельских чухон, напрашивались в немецкие бароны, но ко дню рождения этого Генриха не приготовили ему ничего, кроме имени Ропшкюль, которое он сам переменил на Ропшин, чтобы не походить на чухонца. Он был воспитан пристойно и с удовольствием нес свои секретарские обязанности при Бодростине, который его отыскал где-то в петербургской завали, и в угоду одной из сердобольных дам, не знавших, куда пристроить этого белобрысого юношу, взял его к себе в секретари.

Очутившись в этом старом, богатом и барском доме, Ропшин немедленно впал в силки, которые стояли здесь по всем углам и закоулкам. У Глафиры Васильевны была своя партия и свои агенты повсюду: в конторе, в оранжереях, в поварских, на застольной и в прачечной. Глафира Васильевна не пренебрегала ни сплетней, ни доносом. Ропшин, в качестве лица, поставленного одним рангом выше камердинера и дворецкого, тоже был взят на барынину сторону, и он сам вначале едва знал, как это случилось, но потом… потом, когда он

увидал себя на ее стороне, он проникся благоговейным восторгом к Глафире Васильевне: он начал тупить взоры при встрече с нею, краснеть, конфузиться и худеть. Глафира Васильевна не пренебрегала и этим: мальчик мог быть полезен, и ему был брошен крючок. Год тому назад этот двадцатидвухлетний молодой человек впервые взошел в кабинет Глафиры для передачи какого-то незначащего поручения ее мужа. В кабинете на ту пору сидели Лариса Васильевна и генеральша Синтянина. Юноша пришел в смущение при виде трех красивых женщин: он замялся, стал говорить, ничего не выговорил, поперхнулся, чихнул, и его маленький галстучек papillon[29] сорвался с пуговки и улетел в неведомые страны. У Ропшина задрожали колена и навернулись слезы. Синтяниной и Ларисе стало и смешно и жалко, но Глафире Васильевне это дало повод бросить крючок. Она, секунду не думая, оторвала один из бантиков своего капота и, подавая его Ропшину, сказала: «прекрасно! с этих пор вы за это будете мой цвет!»

Юноша поцеловал ее руку и вылетел бомбой, зацепившись за несколько стульев…

По прошествии десяти месяцев Ропшин доставил Глафире Васильевне копию с завещания Бодростина, вверенного его скромности, и был награжден за это прикосновением белого пальца Глафиры Васильевны к его подбородку.

Теперь он предстал к ней с другим докладом.

Он вошел, поклонился и застенчиво пролепетал банальную, французскую приветственную фразу. Она окинула его бровью, ласково улыбнулась и, взяв его за руку, подвела к стулу.

– Садитесь, Генрих, – сказала она, выпуская его руку и проходя далее по ковру своею развалистою походкой. – Что нового у нас?

– Михаил Андреевич везет завещание в Москву.

– Да-а?

– Он запечатал его в конверт и сдал мне.

– Вам? как это мило с его стороны.

Ропшин встал и хотел раскланяться.

– Куда же вы? – остановила его Бодростина.

– Я все сказал вам, – отвечал Ропшин и отозвался, что у него много дел.

– Ах, полноте, пожалуйста, с вашими делами: всех дел вовек не переделаешь. Скажите лучше мне: вы можете меня удостоверить, что

эта бумага действительно приготовлена и везется в Москву?

– О, к сожалению, ничего нет легче: она со мной, в моем портфеле. Вы, может быть, желали бы ее видеть… я нарочно взял с собою.

– Да; я даже прошу вас об этом.

Ропшин вышел и, явясь через минуту, застал Глафиру Васильевну снова пред камином: ее опять, кажется, знобило, и она грелась в той же позе на том же табурете, на котором сидела до прихода Ропшина.

– Вы нездоровы? – робко спросил молодой человек, кинув на нее влюбленный, участливый взгляд.

– Немножко зябну.

– Вечер свеж, – отвечал секретарь, доставая конверт из портфеля.

– Oui, le feu est un bon compagnon ce soir,[30] – уронила она, зевая.

Глафира Васильевна взяла конверт, внимательно прочла надпись и заметила, что она никогда не знала, как подобные документы надписываются.

– Вот там, на столе, есть карандаш, – прошу вас, спишите мне эту надпись.

Ропшин встал и хотел взять конверт.

– Нет, вы пишите, я продиктую вам, – сказала Бодростина, и когда секретарь взял карандаш и бумагу, Глафира Васильевна прочитала ему надпись и затем бросила конверт в огонь и, встав, заслонила собою пылающий камин.

Ропшин остолбенел, но потом быстро бросился к ней, но был остановлен тихим, таинственным «т-сс», между тем как в то же самое время правая рука ее схватила его за руку, а белый мизинец левой руки во всю свою длину лег на его испуганные уста.

– Вы не употребите же против меня силы, да и это теперь было бы бесполезно, вы видите, конверт сгорел. Берите скорее точно такой другой и делайте на нем ту же надпись. Они должны быть похожи как две капли воды.

– Что же я положу в другой конверт?

– Вы положите в него… лист чистой бумаги.

– Великий Боже!

– Не ужасайтесь, бывают дела гораздо страшнее, и их люди бестрепетно делают для женщин и за женщин, – это, надеюсь, еще

далеко не тот кубок, который пили юноша, царь и пастух в замке Тамары.

– Вы можете еще шутить!

– Нимало, вам не грозит никакая опасность! что бы ни случилось, вы можете отвечать, что это ошибка и только.

– Я потеряю мое место.

– Очень может быть, но о таких вещах пред женщиной не говорят.

И с этим Бодростина, не давая опомниться Ропшину, достала из его портфеля пачку конвертов и сунула в один из них загодя приготовленный, исписанный лист, – этот лист было старое завещание.

– Не стойте посреди пути: минуты дороги. Где печать? – спросила она живо.

Ропшин молча вынул из кармана гербовую печать, которою Глафира Васильевна собственною рукою запечатала конверт и сказала: «надпишите!»

Секретарь сел и взял перо, но рука его тряслась и изменяла ему.

– Прежде немножко успокойтесь, – вы очень взволнованы, вас надо вылечить, бедный ребенок, – и с этим она обняла его и поцеловала.

Ропшин закрыл рукой глаза и зашатался.

Бодростина отвела его руку и взглянула ему в глаза спокойным, ничего не говорящим взглядом.

– Comptez-vous cela pour rien?[31] – спросила она его строго и твердо.

– О, я давно, давно люблю вас, – воскликнул Ропшин, – и я готов на все!

– Вы любите! Tant mieux pour vous et tant pis pour les autres,[32] берегите же мою тайну. Вам поцелуй дан только в задаток, но щедрый расчет впереди. – И с этим она сжала ему руку и, подав портфель, тихонько направила его к двери, в которую он и вышел.

Бодростин вернулся домой за полночь и застал своего молодого секретаря сидящим за работой в его кабинете.

– Иди спать, – сказал он Ропшину, – чего ты сидел? Я запоздал, а мы завтра утром едем.

– Мне что-то не хотелось спать, – ответил Ропшин.

– Не хочешь спать? Соскучился и тянет в Питер. Что же, погоди, брат, покутишь: но ты в каком-то восторженном состоянии! Отчего

это?

– Вам это кажется, – я тот, что и всегда.

– Ты не пленен ли горничной Настей?.. А хороша! хоть бы и не тебе, ревельской кильке. Да ты, братец, не скромничай, – я сам был молод, а теперь все-таки иди спать.

И предводитель с своим секретарем разошлись. Бодростинский дом весь погрузился в спокойный сон, не исключая даже самой Глафиры, уснувшей с уверенностию, что последние шаги ее сделаны блистательно. Бодростин сам лично отдаст на хранение завещание, которым предоставлялось все ей и одной ей; это не может никому прийти в голову; этого не узнает и Горданов, а Ропшин… он не выдаст никогда того, что он знает, не выдаст потому, что он замешан в этом сам и еще более потому, что… Глафира Васильевна знала юношескую натуру.

Так уехал Бодростин, уверенный, что ему нечего беспокоиться ни за что: что даже супружеская честь его в полной безопасности, ибо у жены его так много поклонников, что они сами уберегут ее друг от друга. Ему и в голову не приходило, что он самое свежее свое бесчестие вез с самим собою, да и кто бы решился заподозреть в этом влаственную красоту Глафиры, взглянув на прилизанного Ропшина, в душе которого теперь было столько живой, трепещущей радости, столько юношеской гордости и тайной, злорадной насмешки над Висленевым, над Гордановым и над всеми смелыми и ловкими людьми, чья развязность так долго и так мучительно терзала его юное, без прав ревновавшее сердце. Теперь он, по своей юношеской неопытности, считал себя связанным с нею крепчайшими узами и удивлялся только одному, как его счастье не просвечивает наружу, и никто не видит, где скрыт высший счастливец. «Tant mieux pour vous, tant pis pour les autres», – шепчут ему полные пунцовые губы, дыхания которых ему не забыть никогда, никогда! И воспоминания эти порхают роем в голове и сердце счастливца, помещающегося в вагоне железной дороги возле блаженного Бодростина, и мчатся они вдаль к северу. А в то же время Глафира Васильевна покинула свой городской дом и сокрылась в цветущих садах и темных парках села Бодростина, где ее в первый же день ее переезда не замедлили навестить Висленев с сестрой и Горданов. И в тот же день вечером, в поздние сумерки, совершенно некстати, нежданно и нескладно, появился Михаил

Андреевич в коротком кирасирском мундире с распоротою спинкой, и столь же внезапно, нежданно и нескладно исчез.

Странный, пустой, но неприятный случай этот подействовал на Глафиру Васильевну очень неприятно, – она тяготилась мертвым безмолвием зал, где тревожному уху ее с пустынных хор слышалась тихая речь и таинственный шорох; ее пугал сумрак сонных кленов, кряхтящих под ветер над сонным, далеким прудком старинного парка; ее пугал даже всплеск золотистого карася на поверхности этой сонной воды. Ее состояние было созерцательное и болезненное; она опять перебирала не совесть свою, но свои поступки, и была недовольна собою. Даже недавно казавшийся ей столь необходимым вызов Горданова представлялся ей теперь в ином свете. По ее мнению, все ее прошлое было ошибка на ошибке. Ей, выйдя замуж, нужно было держать себя строго, и тогда… она, конечно, могла бы овдоветь без всякой сторонней помощи, как без помощи Горданова она овладела завещанием и даже более: подменила его другим. Надо было выдержать себя, как выдерживает Синтянина, и тогда ни на что не нужны были бы никакие помощники… Да; Горданов ей дорого стоит, и зато теперь, после истории с завещанием, цена ему сильно упала, но он все-таки еще нужен… Глафира не могла ни на кого, кроме него, положиться, но теперь она видела необходимость сделать нечто и с самою собою: надо было поправить свою репутацию, так чтобы ко времени, когда ударит роковой час, на нее не могло пасть даже и тени подозрения в искусственном устройстве вдовства. Надо было *поправить свою репутацию*.

– Начать молиться? – но кто же мне поверит. За что же, за что же взяться, чтобы меня забыли во мне самой?

Это ее занимало постоянно, и она, оставаясь сама с собою, не могла отрешиться от этой мысли.

Глава четвертая
Сумасшедший бедуин

Верстах в тридцати от села Бодростина в больших имениях одного из князей древнего русского рода жил оригинальный человек, Светозар Владенович Водопьянов. Крестьяне в окружности называли его «черным барином», а соседи помещики – «Сумасшедшим Бедуином». Он происходил откуда-то из южных славян; служил когда-то без году неделю в русской артиллерии и, выйдя в отставку, управлял с очень давних пор княжескими имениями. Последнее было несколько удивительно. Водопьянов, казалось бы, не мог управлять ничем, но между тем он управлял очень обширными землями и заводами, и владетель этих больших местностей не искал случая расстаться с Светозаром Владеновичем. Напротив, всем было известно, что князь, занимавший в Петербурге важную государственную должность, дорожит безалаберным Водопьяновым и, каждый год выписывая его к себе с отчетами, удерживал его при себе долго и ласкал, и дарил его. Сановник любил Водопьянова, и в этой любви его было что-то нежное и даже почтительное. Управитель был человек честный и даже очень честный: это знали все, но главная черта характера, привязывавшая к нему людей, заключалась в непосредственности его натуры и в оригинальности его характера. Название «черный барин» очень ясно выражало внешность Водопьянова: он был велик ростом, неуклюж, массивен, темен лицом, с весьма крупными чертами лица; толстыми, черными с проседью волосами, поросшими мхом ушами и яркими, сверкающими, карими глазами. Ноги и руки его были просто ужасны по своим громадным размерам, и притом руки всегда были красны, как окунутые в свекольный рассол, а ноги до того костисты, что суставы словно были покрыты наростами, выпиравшими под кожей сапога наружу. Ко всему этому Водопьянов постоянно смазывался чем-то камфарным, носил в кармане коробку с камфарными шариками, глотал камфару, посыпал камфарой постель, курил камфарные сигаретки и вообще весь был пропитан камфарой. Это была его гигиена по Распайлю, – единственному врачу, которому он верил. Ходил он и двигался быстро, говорил голосом необыкновенно кротким и мягким и

находился в постоянной задумчивости. Нрав и образ жизни Водопьянова были до крайней степени причудливы: к нему очень шли слова поэта:

Он странен, исполнен несбыточных дум,
Бывает он весел ошибкой;
Он к людям на праздник приходит угрюм,
К гробам их подходит с улыбкой.
Всеобщий кумир их ему не кумир,
Недаром безумцем зовет его мир.

Водопьянов был бесконечно добр и участлив: он был готов служить всем и каждому чем только мог, но все горести людские при этом его не поражали и не тревожили. От этого многим казалось, что он лишен чувства и поступает добро и благородно только по принципу. Сам он тоже всякую скорбь переносил, не удостоивая ее ни малейшего внимания, – не смущался ничем и не боялся ничего. Он был холост, но имел на своих руках женатого брата с детьми и замужнюю сестру с ее потомством. Все это были люди плохие, нагло севшие на шею Водопьянова и не помышлявшие сойти с нее, как он не помышлял их спугивать.

Есть или, по крайней мере, были у нас на Руси сострадательные барышни, одну из каковых автор вспоминает в эту минуту: в ее девической комнате постоянно можно было найти какую-нибудь калечку; на окне, например, сидел цыпленок с переломленною, перевязанною в лубок ногой; в шляпной коробке помещался гадостный больной котенок; под комодом прыгал на нитке упавший из гнезда желтоносый галчонок: все это подбиралось сюда откуда попало и воспитывалось здесь до поправления сил, без всякого расчета на чью бы то ни было благодарность. Дом Светозара Владеновича в своем роде был совершенно то самое, что описанная комната, с тою единственною разницей, что вместо галчат, котят и цыплят здесь обитали калеки и уродцы человеческой породы. Помимо ленивого и тупого брата и его злой жены, с их малоумным и злым потомством, и сестры с ее пьяным мужем и золотушными детьми, у Водопьянова был кучер, нигде нетерпимый пьяница, кухарка, забитая мужем, идиотка,

комнатный мальчик-калека, у которого ноги стояли иксом в разные стороны: все это придавало всему дому характер какого-то нестроения. Почти то же самое было и в сельском хозяйстве, которым управлял Водопьянов, но, ко всеобщему удивлению, и дом «черного барина» не оскудевал, и полевое и фабричное хозяйство у него шло часто даже удачнее, чем у многих, самых рачительных, соседей. От этого в народе ходила молва, что «„черный барин“ что-то знает», – и он действительно нечто знал: он знал агрономию, химию, механику, знал силы природы в многоразличных их проявлениях, наблюдал их и даже умел немножко прозревать их тайны. Кроме того, он знал нечто такое, что, по общераспространенному мнению, даже и нельзя знать: он знал (не верил, а знал), что есть мир живых существ, не нуждающихся ни в пище, ни в питии, ни в одежде; мир, чуждый низменных страстей и всех треволнений мира земного. Водопьянов был спирит и медиум, хотя не давал никаких медиумических сеансов. Рука его не писала, но ухо что-то слышало, и это слышание было поводом ко множеству странностей, по которым образованные соседи не в шутку признавали его немножко помешанным и назвали «Сумасшедшим Бедуином». Заподозрить в Водопьянове некоторую ненормальность душевных отправлений было весьма возможно: в его поступках была бездна странностей: он часто говорил, по-видимому, совершенную нескладицу, и нередко вдруг останавливался посреди речи, прислушивался к чему-то такому, чего никто не слыхал, иногда он даже быстро кому-то отвечал и вдруг внезапно вскакивал и внезапно уходил или уезжал. Нередко он вдруг появлялся, прежде невхожий, в домах людей, очень мало ему знакомых и отдаленных: появлялся Бог знает для чего, а через короткое время снова уезжал. Словом, носился как Сумасшедший Бедуин по пустыне, почти не замечая живых людей и говоря с призраками.

Месяц спустя после отъезда Михаила Андреевича в столицу, в один августовский темный вечер, прерывистый звон поддужного колокольчика возвестил гостя обитателям села Бодростина, и лакеи, отворившие дверь парадного подъезда, встретили «черного барина».

Водопьянов пользовался за свою оригинальность и честность расположением Михаила Андреевича, но Глафира Васильевна, прежде очень интересовавшаяся этим оригиналом, вдруг разжаловала его из своих милостей. Сумасшедший Бедуин, по ее словам, тяжело

действовал ей на нервы. Водопьянов бывал у Бодростиных очень редко и пред сим не показывал к ним глаз более года, но так как подобные странности были в его натуре, то внезапный приезд его не удивил Глафиру. Она, напротив, в этот раз, страдая немножко скукой, была даже рада посещению Водопьянова и, отдав приказание слуге просить приезжего в гостиную, живо обратилась к находившимся у нее гостям: Ларисе, Висленеву и Горданову, и сказала: «Рекомендую вам, господа, сейчас войдет оригинал, подобного которому едва ли кто-нибудь из вас видел: он мистик и спирит».

– И даже медиум, мне кажется, – дополнила Лариса.

– И натурально шарлатан, – прибавил Горданов.

– Нимало, – ответила Бодростина.

По зале между тем уже раздавались тяжелые шаги Светозара Владеновича.

Водопьянов был одет очень хорошо, даже немножко щеголевато для деревни, держался скромно, но развязно и с самоуверенностью, но черные огненные глаза его вместе с непостижимою бледностию щек делали его и с виду человеком, выходящим из ряду вон.

Глафира Васильевна встретила его очень радушно, отрекомендовала его своим гостям и назвала ему гостей. Водопьянов изо всех трех знал одну Ларису, но, подав всем руку и обменявшись приветствиями с последним по очереди, Висленевым, сказал:

– Вас зовут Иосаф, очень редкое имя. Впрочем, все имена прекрасны, но не сообщают человеку своего значения.

– Это хорошо или дурно? – заговорила с ним Бодростина.

– Ни то, ни другое: человек значит только то, что он значит, все остальное к нему не пристает. Я сегодня целый день мучусь, заставляя мою память сказать мне имя того немого, который в одну из персских войн заговорил, когда его отцу угрожала опасность. Еду мимо вас и вздумал…

– Что у нас об этом знают?

– Да! Я думаю, здесь непременно есть люди, которые должны это знать.

– Господа! – обратилась с вопросом Бодростина.

Все молчали.

– Я каюсь в моем невежестве, – продолжала она, – я не знаю ни этого факта, ни этого имени.

– Факт несомненен, – утвердил Водопьянов.

– Он есть в истории: это было в одну из войн Кира, мне помнится, – заметил Горданов.

– Ах, вам это помнится! Я очень рад, очень рад, что вы это помните. Не правда ли, странный случай? Мне один медик говорил, что это совсем невозможно, почему же? не правда ли?

– Не знаю, как вам ответить: почему?

– Да; это смешно, в каком младенчестве еще естественные науки. Я предлагал премию тому, кто скажет, почему петух в полночь поет; никто до сих пор не взял ее. Поэтому я верю, что немой мог заговорить. В природе все возможно!

– Но возможно, чтобы курица ходила по улице, но чтобы улица ходила по курице, это невозможно!

– Кто знает? А как вы полагаете: возможно ли, чтобы щука выскочила сама из реки, вспрыгнула человеку в рот и задушила его?

– Не думаю.

– А между тем в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году, двадцать третьего июля, на Днепре, под Киевом, щука выпрыгнула из воды, воткнулась в рот хохлу, который плевал в реку, и пока ее вытащили, бедняк задохнулся. И следствие было, и в газетах писали. Что? – отнесся он и, не дождавшись ответа, продолжал: – Ужасны странности природы, и нам, докуда мы сидим в этом кожаном футляре, нельзя никак утвердительно говорить, что возможно и что невозможно. У меня есть сильнодействующее средство от зубной боли, мне дал его в Выборге один швед, когда я ездил туда искать комнату, где Державин дописал две последние строфы оды «Бог», то есть: «В безмерной радости теряться и благодарны слезы лить…» Я хотел видеть эти стены, но не нашел комнаты: у нас этим не дорожат… Да; но я говорю о лекарстве. Это сильное средство уничтожает нерв, и его можно капнуть только на нижний зуб, а для верхнего считалось невозможным, но я взял одну бабу, у которой болел верхний зуб, обвязал ей ноги платком и поставил ее в углу кверху ногами и капнул, и она потом меня благословляла. Я сообщал этот способ в газеты, – не печатают, тоже говорят «невозможно». В наших понятиях невозможное смешано с тем, что мы считаем невозможным. Есть люди, которые уверены, что человек есть кожаный мешок, а им, однако, кажется невозможным допустить, что даровитый человек,

царствовавший в России под именем Димитрия, был совсем не Лжедимитрий, хотя кожаный мешок был похож как две капли воды.

– Вы, кажется, к Лжедимитрию неравнодушны? – молвила Бодростина.

– Да; бедный дух до сей поры беспокоится такою клеветой.

Бодростина переглянулась с гостями.

– Он кто ж такой?

– Когда он был духом, он не хотел этого ясно сказать, теперь же он опять воплощен, – отвечал спокойно Водопьянов.

– Вы не скрываете, что вы спирит? – отнесся к нему Висленев.

– Нет, не скрываю, для чего ж скрывать?

– Я тоже не скрываю, что не верю в спиритизм.

– Вы прекрасно делаете, но вы ведь спиритизма не знаете.

– Положим; но я знаю то, что в нем есть смешного: его таинственная сторона. Вы верите в переселение душ?

– Да, в перевоплощение духа.

– Ив чудеса?

– Да, если чудесами называть все то, чего мы не научились еще понимать, или не можем понимать по несовершенству нашего понимательного аппарата.

– А чему вы приписываете его несовершенства?

– Природе этой плохой планеты. Плохая планета, очень плохая, но что делать: надо потерпеть, на это была, конечно, высшая воля.

– Вы, стало быть, из недовольных миром?

– Как вечный житель лучших сфер, я, разумеется, не могу восхищаться темницей, но зная, что я по заслугам посажен в карцер, я не ропщу.

– И вы видали сами чудеса? – тихо вопросила его Лариса.

– О, очень много!

– Какие, например? Не можете ли вы нам что-нибудь рассказать?

– Могу охотно: я видел более всего нежданные победы духа злобы над чувствами добрейших смертных.

– Но тут ничего нет чудесного.

– Вы думаете?

– Да.

– О, ошибаетесь! Зло так гадко и противно, что дух не мог бы сам идти его путем, если бы не вел его сильнейший и злейший.

– Нет, вы скажите видимое чудо.

– Я видел Русь расшатанную, неученую, неопытную и неискусную, преданную ученьям злым и коварным, и устоявшую!

– Ну, что это опять за чудо?

– Каких же вы желаете чудес?

– Видимых воочию, слышимых, ощущаемых.

– О, им числа нет: они и в Библии, и в сказаниях, в семейных хрониках и всюду, где хотите. Если это вас интересует, в английской литературе есть очень хорошая книжка Кроу, прочтите.

– Но вы сами ничего не видали, не слышали, не обоняли и не осязали?

– Видел, слышал, обонял и осязал.

– Скажите, что?

– Я в детстве видал много светлых бабочек зимой.

– Галлюцинация! – воскликнул Висленев.

– Ну, понятно, – поддержал Горданов.

– Это в пору детства; нет, вы скажите, не видали ли вы чего-нибудь в зрелые годы? – спросила Лариса.

– И, главное, чего-нибудь страшного, – добавила Бодростина.

– Да, видел-с, видел; я видел, золотой пух и огненный летали в воздухе, видел, как раз черная туча упала в крапиву.

– Это все не страшно.

– Я видел… я видел на хромом зайце ехал бородатый старик без макушки, шибко, шибко, шибко, оставил свою гору, оставил чужую, оставил сорочью гору, оставил снежную и переехал за ледяную, и тут сидел другой старик с белою бородой и сшивал ремнями дорогу, а с месяца свет ему капал в железный кувшин.

– Это нелепости! – заметила Бодростина. – Скажите что-нибудь попроще.

– Проще? Это все просто. Я спал пред окном в Москве, и в пуке лунного луча ко мне сходил мой брат, который был в то время на Кавказе. Я встал и записал тот час, и это был…

– Конечно, час его кончины, – перебил Висленев.

– Да, вы именно отгадали: он в этот час умер.

– Это всегда так говорят.

– Но что вы слышали? – добивалась Лара, которой Водопьянов отвечал охотнее всех прочих.

– Я слышу много, много, много.

– И, виновата, вы и слышите все в таком же бестолковом роде, как видите, – отвечала Бодростина.

– А? Да, да, да, все так. Вода спит слышно. Ходит некто, кто сам с собою говорит, говоря, в ладоши хлопает и, хлопая, пляшет, а за ним идет говорящее, хлопающее и пляшущее. Все речистые глупцы и все умники без рассудка идут на место, о которое скользят ноги. Я слышу, скользят, но у меня медвежье ухо.

Он покачал свое густо обросшее волосами ухо и добавил:

– Мне не надо слышать ясно, но Гоголь слышал час своей смерти.

– Гоголь ведь, как известно, помешался пред смертью, – заметил Горданов.

Водопьянов улыбнулся.

– Вам это известно, что он помешался?

– Говорят.

– Однако все сбылось так, как он слышал.

– Случай.

– Но этим случаям числа нет. Иезекииль с Исаией пророком слышали, когда придет Христово царство.

– Оно же пришло: мы христиане.

– Нет, нет, тогда «все раскуют мечи на орала и копья на серпы». Нет, это не пришло еще.

– И не придет.

– Придет, придет, придет, люди станут умнее и будут добрее, и это придет.

– А что вы обоняли?

– Я обоняю… даже здесь теперь запах свежераспиленной сосны…

– Какие вздоры! Это я купаюсь в смоляном экстракте, – отвечала Бодростина и, приближая к его лицу свою руку, добавила, – понюхайте, не это ли?

– Нет, я слышу запах новых досок, их где-то стругают.

– Что за гиль! Гроб готовят, что ли? Нет, мы вам чудо гораздо получше расскажем, – воскликнула она и рассказала о странном и непонятном появлении ее мужа в распоронном мундире. – Скажите-ка, что это может значить?

– Надо молиться о нем.

– О чем же молиться? Ведь смерть по-вашему – блаженство.

– Да, смерти нет, нет Бога мертвых, нет и смерти, есть только Бог живых.

– Простите, я позабыла, что вы бессмертны.

– Как все с предвечного начала: «Я раб, я царь, я червь, я Бог».

– Каково! – воскликнула Бодростина, обращаясь к гостям, и затем добавила, – allez droit devant vous, cher[33] Светозар Владенович, мы не устанем вас слушать!

Водопьянов промолчал.

Бодростина подумала, не оскорбился ли он, и спросила его об этом, но «Сумасшедший Бедуин» отвечал, что его обидеть невозможно, – всякий, обижая другого – обижает себя и деморализуется.

– Ну, прочь мораль! Я не моральна! Скажите-ка нам что-нибудь о переходе душ. Мне очень нравится ваша теория внесения в жизнь готовых способностей, и я ее часто припоминаю: мне часто кажется, что во мне шевелится что-то чужое, но только вовсе не лестное, – добавила она с улыбкой к гостям. – Не была ли я, Светозар Владенович, Аспазией или Фриной, во мне прегадкие инстинкты.

– Что вы за вздоры говорите? – воскликнул слегка шокированный Висленев и, вставши, начал ходить.

Но Водопьянов отвечал Бодростиной, что все это очень возможно и что он сам был вор и безжалостный злодей.

– Во мне тоже, – отвечал он, – нет нимало врожденного добра.

– А между тем ведь вы добряк.

– Нет; я очень зол, но не хочу быть злым, – мне это стоило работы.

– А вы, конечно, знаете таких, которые перевоплощаются из честных душ и все честнеют?

– Да, я знаю один такой дух.

– Скажите, скажите о нем, – кто это такой?

– Его здесь звали на земле дон Цезарь де Базан.

– Испанский дворянин! – воскликнули все, не исключая лениво дремавшего Горданова.

– Да; он был испанский дворянин, и он сделал это слово кличкой. Вы помните его, разумеется, по театральной пьесе.

– Да; помним, помним; благороден, беден, горд и честен.

– И ко всему тому изрядно глуп, – подсказал Висленев.

– Оставим, господа, кому он чем кажется. Пусть лучше Светозар Владенович расскажет нам, как испанский дворянин переселялся и в ком он жил.

– Он жил в студенте Спиридонове, который в свою очередь жил в Москве в маленьком переулке возле Цветного бульвара. По крайней мере я там его узнал.

– И пусть отсюда ваш рассказ начнется уже без перерыва.

– Рассказывать я должен, начиная с дней давних.

– Мы слушаем. Я люблю всякий мистический бред, – заключила Бодростина, обращаясь к гостям. – В нем есть очень приятная сторона: он молодит нас, переносит на минуту в детство. Сидишь, слушаешь, не веришь и между тем невольно ноги под себя подбираешь.

Водопьянов начал.

Глава пятая
Рассказ водопьянова

– Студент Спиридонов, по множеству пороков, был неспособен к семейной жизни, а между тем он был женат, и женат по собственному побуждению и против своей воли, и с этих пор…

– Позвольте! с этих пор, конечно, не начнется бестолковщина?

– Зачем же? и с этих пор в студенте Спиридонове сказался его хозяин, но, впрочем, его надо было бы узнать гораздо прежде. Спиридонов мне раз все рассказал и сам над собой смеялся, хотя в его словах не было никакого смеха. Испанский дворянин ему являлся много раз.

– И въявь?

– Конечно, въявь, и в старом своем виде: с безвременною сединой в черных кудрях, с беспечнейшим лицом, отмеченным печатью доброты и кротости, с глазами пылкими, но кроткими, в плаще из бархата, забывшего свой цвет, и с тонкою длинною шпагой в протертых ножнах. Являлся так, как Спиридонов видел его на балаганной сцене, когда ярмарочная группа давала свои представления.

– Ну, слава Богу, – это обещает, кажется, быть интересным, и если история эта не кончится в пяти словах, то надо приказать дать свечу, чтобы после нас не прерывали.

– История довольно велика, – ответил Водопьянов.

Бодростина позвонила и велела дать огонь, хоть на дворе едва лишь смеркалось. Когда люди поставили лампы и вышли, спустя шторы у окон, Водопьянов продолжал:

– У студента Спиридонова был отец, – бедняк, каких немало на этой планете, где такая бездна потребностей; но ему, наконец, улыбнулось счастие. Он служил в гусарах на счет богатой тетки, – это, конечно, не особенно честно, но она этого хотела, и он это делал для поддержания ее фамильной гордости. Он, говорят, был красив: я его не видал, – когда я познакомился с его сыном, его уже не было на этом свете. В него влюбилась красавица помещица одного села, где он стоял. Она была богата, молода, и год как овдовела после мужа-

старика, которому ее продали ради выгод и который безумно ревновал ее ко всем. Вдова, хотя имела детей, пошла за Спиридонова. Ее прокляли. За что и почему, – не знаю, но проклял ее родной отец, а за ним и мать. Потом ее, бедняжку, начали клясть все родные. По общему мнению, она была не вправе ни любить, ни называть супругом кого любила, но она все-таки вышла замуж и родила моего приятеля, студента Спиридонова, и потом жила пять лет и хворала. Спиридонов говорил, что его мать с отцом жили душа в душу, отец его боготворил жену, но, несмотря на то, она сохла и хирела. Отец его тоже часто был смущен и угрюм. Спиридонов тогда не знал, чему это приписывать, жили они довольно уединенно в городе, куда однажды заехали ярмарочные актеры…

– И дали здесь «Испанского Дворянина»? – подсказала Бодростина.

– Вы отгадали: актеры объявили, что они сыграют здесь «Испанского Дворянина». Мать Спиридонова, желая развлечь и позабавить сына, взяла ложу и повезла его в театр. И вот в то время, когда дон Цезарь де Базан в отчаянной беде воскликнул: «Пусть гибнет все, кроме моек чести и счастья женщины!» и театр зарыдал и захлопал плохому актеру, который, однако, мог быть прекрасен, мать Спиридонова тоже заплакала, и сын…

– Тоже заплакал, – сострил Висленев.

– Нет, – отвечал, нимало этим не возмущаясь, Водопьянов, – сын не заплакал. Сын нечто почувствовал, и, сжав материны руки, шепнул ей, – пускай живет у нас бедняк, Испанский Дворянин.

– Прекрасно, дитя мое, – мы позовем его, пускай живет.

И тем акт кончился, но дитя и завтра и послезавтра все докучало матери своею просьбой принять в дом бездомного Цезаря де Базана, и мать ему на это отвечала:

– Да, хорошо, дитя мое, он к нам придет, придет.

– И будет жить?

– И будет жить.

– Когда же, мама? когда же он придет и будет жить у нас? – тосковало дитя. – А как же звать его? Я позову.

А дело было в сумерки, осенним вечером. Мать любовалась сыном и пошутила:

– Нагнись, – говорит, – к печке и позови его через трубу – он будет слышать.

Спиридонов прыгнул и крикнул:

– Дон Цезарь де Базан, идите сюда!

– Гу-гу-гу-иду! – загудело в трубе, так что мальчик в испуге отскочил.

Но прошел день-другой, и он опять пристает: когда же?

– А вот теперь уж скоро: я за ним схожу и приведу его, – отвечала мать и вслед за тем умерла.

– Умерла? – воскликнула Лариса.

– Да; то есть ушла отсюда, переселилась, народ это прекрасно выражает словом «побывшилась на земле». Она кончила экзамен, и ее не стало.

– А что же Испанский Дворянин, которого она обещала прислать?

– О, она сдержала слово! Она его послала, вы это сейчас увидите. Дело было в том же маленьком городе на крещенские святки. Гроб с телом матери стоял в нетопленой зале, у гроба горели свечи, и не было ни одного человека. Отец Спиридонова должен был выслать даже чтеца, потому что в смежной комнате собрались родные первого мужа покойной и укоряли Спиридонова в присвоении себе принадлежащих им достатков. Был час девятый. Мой друг, студент Спиридонов, тогда маленький мальчик, в черной траурной рубашке, пришел к отцу, чтобы поцеловать его руку и взять на сон его благословение, но отец его был гневен и суров; он говорил с одушевлением ему: «Будь там», и указал ему вместо дверей в спальню – на двери в залу. Дитя вошло в холодную залу и, оробев при виде всеми брошенного гроба, припало в уголок мягкого дивана ближе к двери той гостиной, где шла обидная и тягостная сцена. Он мне от слова и до слова повторял кипучие речи его отца; я их теперь забыл, но смысл их тот, что укоризны их самим им принесут позор; что он любил жену не состоянья ради, и что для одного того, чтобы их речи не возмущали покоя ее новой жизни, он отрекается от всего, что мог по ней наследовать, и он, и сын его, он отдает свое, что нажито его трудом при ней, и… Тут далее мой приятель не слышал ничего, кроме слитного гула, потому что внимание его отвлек очень странный предмет: сначала в отпертой передней послышался легкий шорох и мягкая неровная поступь, а затем в темной двери передней заколебалась и стала фигура ясная,

определенная во всех чертах; лицо веселое и доброе с оттенком легкой грусти, в плаще из бархата, забывшего свой цвет, в широких шелковых панталонах, в огромных сапогах с раструбами из полинявшей желтой кожи и с широчайшею шляпою с пером, которое было изломано в стебле и, шевелясь, как будто перемигивало с бедностью, глядевшей из всех прорех одежды и из самых глаз незнакомца. Одним словом, это пришел…

– Пьяный святочный ряженый, – решил Висленев.

– Испанский Дворянин! – возразил строгим тоном Водопьянов. – Он плох был на ногах, но подошел к стоявшей у стены крышке гроба и осязал ее. Тщательно осязал, вот так.

И «Сумасшедший Бедуин» встал на ноги, расставил руки и, медленно обозначая ими определенное пространство на стене под портретом Бодростина, показал, как ощупывал гробовую крышку Испанский Дворянин.

– Потом он подошел к трупу и стал у изголовья гроба, и в это время вдруг отец Спиридонова вбежал, рыдая, в зал, упал пред гробом на колени и закричал: «О, кто же им ответит за тебя, что я тебя любил, а не твое богатство?» И тихий голос отвечал скромно: «Я».

– И это был Испанский Дворянин?

– Нет, пьяный святочный ряженый, – ответил почти гневно Водопьянов. – Взять его вон! Кто пустил сюда этого пьяного святочного ряженого? Неужели уж до того дошло, что и у ее гроба нет рачения и присмотра? Вон, вон выгнать сейчас этого пьяного ряженого! – кричал огорченный вдовец и рванулся к тому, но его не было.

– Удрал?

– Да; так все думали, и Спиридонов очень рассердился на слуг и стал взыскивать, зачем так долго не запирают калитки.

– И выходит очень простая история, – сказал Висленев.

– Да простая и есть, только оказалось, что калитка была заперта, и отец Спиридонова вернулся и вдруг увидал, что родные хотят проститься с покойницей.

– Нет! – закричал он, – нет, вы ее так обижали, что вам с нею не нужно прощаться! – и схватил крышу и хотел закрыть гроб, а крыша сделалась так легка, как будто ее кто-нибудь еще другой нес впереди, и

сама упала на гроб, и мой приятель Саша Спиридонов видел, что Испанский Дворянин вскочил и сел на крыше гроба.

– И только? Он это видел во сне и более ничего.

– Да, более ничего.

– Испанский Дворянин более не являлся?

– Да, в это время не являлся. После они очень бедно где-то жили в Москве, в холодном доме. Однажды, оставив сына с нянькой в комнате потеплее, Спиридонов сам лег в зале на стульях. Утром пришли, а там лежит один труп: вид покойный, и пальцы правой руки сложены в крест. Женины родные хотели его схоронить с парадом, но Испанский Дворянин этого не позволил.

– Каким же образом?

– Он приснился молодому Спиридонову и сказал: «там, под клеенкой», и Спиридонов нашел под клеенкой завещание отца, ничего ни от кого на погребение его не принимать, а схоронить его в четырех досках на те деньги, какие дадут за его золотую медаль, да за Георгиевский крест.

– И это все!

– А вы ничего здесь не видите особенного?

– Признаемся, ничего не видим: случайности да сны, сны да случайности, и больше ничего.

– Конечно. Что же может быть проще того, что все люди по случайностям не доживают на земле своего времени! Век человеческий здесь, по библейскому указанию, семьдесят лет и даже восемьдесят, а по случайностям человечество в общем итоге не доживает одной половины этого срока, и вас нимало не поражает эта ужасная случайность? Я желал бы, чтобы мне указали естественный закон, по котору человеческому земному организму естественно так скоро портиться и разрушаться. Я полагаю, что случайности имеют закон.

– Но этот сумасшедший бред несносно долго слушать, – шепнул на ухо Бодростиной Висленев.

– Нет, я люблю, – отвечала она тоже тихо, – в его нескладных словах всегда есть какие-то штришки, делающие картину, это меня занимает… Светозар Владенович, – отнеслась она громко, – а где же ваш Испанский Дворянин?

– Он продолжает-с дебютировать. Студент Спиридонов жил в ужасной бедности, на мезонинчике, у чиновника Знаменосцева, разумеется, платил дешево и то неаккуратно, потому что, учась, сам содержал себя уроками, а ни роду, ни племени до него не было дела. При этом же студент Спиридонов был добряк превыше описания, истинно рубашку последнюю готов был отдать, и не раз отдавал, и, вдобавок, был не прочь покутить и приволокнуться. Он был медик. Не знаю, как он учился, но думаю, что плохо, потому что больше всего он тратил времени на кутежи с веселыми людьми, однако окончил курс и получил степень лекаря, да все забывал хлопотать о месте. Судьба, впрочем, была к нему так милостива, что он без всяких собственных хлопот получал два раза назначение, но всякий раз он находил кого-нибудь из товарищей, который, по его мнению, гораздо более его нуждался в должности. В Спиридонове пробуждался Испанский Дворянин, и он оба свои назначения уступал другим, а сам кутил да гулял и догулялся до того, что остались у него рыжий плащ, гитара да трубка с чубуком. У хозяина же его, Знаменосцева, была восемнадцатилетняя дочь Валентина, девочка с мудреным характером. Много читала и начиталась до того, что она очень умна, а это было, кажется, совсем наоборот. Спиридонов с Валентиной был и знаком, и нет: он с нею, случалось, разговаривал, но никогда долго не говорил. Прислужится ей книжкой, она прочитает и отдаст ее назад, а он спросит: «Хорошо?», она ответит: «Хорошо». Спиридонов, разумеется, о другой спросит: «Дрянь книга?», она ответит: «Эта мне не нравится», он опять рассмеется. «Вы, Летушка, – говорит он ей, – лучше бы не читали книг, а то труднее жить станет». Она, однако, не слушала и читала. Жизнь этой девушки была обыкновенная жизнь в доме мелкого чиновника, пробивающегося в Москве на девятнадцать рублей месячного жалованья и рублей пять-шесть каких-нибудь срывков с просителей. Отец ходил утром на службу, после обеда спал, в сумерки, для моциона, голубей пугал, а вечером пил; мать сплетничала да кропотала и сварилась то с соседями, то с работницей; девушка скучала. Она была ни хороша, ни дурна: остролиценькая, черненькая, быстрая и характерная, говорила много, домашним ничем не занималась, сплетен не слушала и к нарядам обнаруживала полнейшее равнодушие. Вдруг этого Знаменосцева выгнали со службы за какую-то маленькую плутню. Семья так и взвыла, а детей у них,

кроме Летушки, была еще целая куча и все мал мала меньше. В домике у них всего было две квартиры, с которых с обеих выходило доходца в месяц рублей двенадцать, да и то одна под эту пору пустовала, а за другую Спиридонов месяца три уже не платил. Пришлось семье хоть последний домик продавать, проесть деньги, а потом идти по миру или стать у Иверской. В таких случаях люди всегда ищут виноватых, и у Знаменосцева нашлась виноватою старшая дочь: зачем она о сию пору замуж не вышла? Показывали ей, что и тот-то приказный хорош, а того-то заловить бы можно, и начались через это девушке страшные огорчения, а как беда никогда не ходит одна, то явилось ей и подспорье. Приказному Знаменосцеву время от времени помогал помещик Поталеев, из одной из далеких губерний. Такие благодетели встарь наживались у московских сенатских приказных. Знаменосцев сообщал Поталееву справочки по опекунскому совету, по сенату, делал закупки, высылал книги, а Поталеев за то давал ему рублей сто денег в год, да пришлет, бывало, к Рождеству провизии да живности, и считался он у них благодетелем. Какой это человек был по правилам и по характеру, вы скоро увидите, а имел он в ту пору состояние большое, а на плечах лет под пятьдесят, и был так дурен, так дурен собою, что и рассказать нельзя: маленький, толстый, голова как пивной котел, седой с рыжиною, глаза как у кролика, и рябь от оспы до того, что даже ни усы, ни бакенбарды у него совсем не росли, а так только щетинка между желтых рябин кое-где торчала; простые женщины-крестьянки и те его ужасались…

– Какая прелесть! – прошептала Бодростина.

– Да; но он, впрочем, и сам боялся женщин и бегал от них.

– Чудо! чудо! Где он, этот редкий смертный!

– Он умер! – отвечал, сконфузясь, Водопьянов, и тотчас продолжал. – Вот он и приехал в ту пору в Москву и стал у Знаменосцевых на их пустую квартиру, которую они для него прибрали и обрядили, и начал он давать им деньги на стол и сам у них стал кушать, приглашая всю их семью, и вдруг при этих обедах приглянулась ему Валентина; он взял да за нее и посватался. Знаменосцевы от радости чуть с ума не сошли, что будут иметь такого зятя – и богатого, и родовитого; он их возьмет в деревню, сделает старого приказного управителем, и начнется им не житье, а колыванье. Сразу они и слово дали, и всем людям свою радость объявили, забыли

только дочь об этом спросить, а в этом-то и была вся штука. Летушка спокойно, но твердо наотрез объявила, что она за Поталеева замуж не пойдет. Ее побили, и больно побили, а она и сбежала, и пропадала дня с три. Родители, разумеется, страшно перепугались, не сделала бы она чего с собою, да и от Поталеева этого нельзя было скрыть, он сам отгадал в чем дело и, надо отдать ему честь, не похвалил их, он прямо сказал им, что ни в каком случае не хочет, чтобы девушку неволили идти за него замуж. У семьи явилось новое горе: все надежды сразу оборвались и рухнули. А тем временем Валентина вдруг к исходу третьего дня вечерком и является. Вернулась она домой никем не замеченная в сумерки и села у окошка. Ее уж не бранили, куда тут до брани! Ее начинают просить, да ведь как просить: отец с матерью и со всею мелкотой на колени пред нею становятся. «Мы, – говорят, – все тебя, Летушка, любим, пожалей же и ты нас», а она им в ответ: «Какая же, – говорит, – ваша любовь, когда вы хотите моего несчастия? Нет, я вас не должна жалеть после этого». А тут Поталеева пригласили, и тот говорит: «Бога ради не думайте, я никакого насилия не хочу, но я богат, я хотел бы на вас жениться, чтобы таким образом вас обеспечить. Я любви от вас не потребую, но я сам люблю вас». Но Летушка вдруг встала и что же сделала: «Любите, – говорит, – меня? Не верю вам, что вы меня любите, но так и быть, пойду за вас, а только знайте же, вперед вам говорю, что я дурно себя вела и честною девушкой назваться не могу». Отец с матерью так и грохнули на пол, а Поталеев назад, но затем с выдержкой, прикрывая свою ретираду великодушием: «Во всяком случае, – говорит, – чтобы доказать вам, что я вас любил и жалею, скажите вашему обольстителю, чтоб он на вас женился, и я буду о нем хлопотать, если он нуждается, и я всегда буду помогать вам». А Лета отвечает: «Нет моего обольстителя, он меня бросил». Ну так и делать было нечего, и старик-отец сказал: «Иди же ты, проклятая, иди откуда ты сегодня пришла, теперь на тебе никто не женится, а сраму я с тобою не хочу». И повернул он дочь к двери, и она пошла, но на пороге вдруг пред всеми Спиридонов в своем рыжем плаще: он был пьян, качался на ногах и, расставив руки в притолки, засмеялся и закричал:

– Кто смеет гнать из дому девушку? Ха-ха-ха! Не сметь! Я этого не позволю.

– Я вас самих выгоню! – отвечал приказный.

– Тс-с! Ха-ха-ха! Что такое выгоню?.. Не сметь!.. тс!..

Ему пригрозили полицией.

– Не сметь! – отвечал, шатаясь, Спиридонов, – полицию?.. Сокрушу полицию! Вот! – и он хлопнул кулаком по столу и отбил угол. – Да! За все заплачу, а девушку гнать не смеете! Я ей покровительствую… да! Чем вы, Лета, проштрафились, а? Да; я все слышал, я ключ под окном уронил и искал и все слышал… Обольститель!.. Негодяй!.. он виновен, а не вы… вас нельзя вон, он – продолжал Спиридонов, указывая на Поталеева, и, подумав с минуту, добавил, – он тоже негодяй… Тсс? никто ни слова не сметь: я на ней женюсь, да! У меня есть чести на двух; и на свою и на ее долю. Хотите, Лета, быть моей женой, а? Я вас серьезно спрашиваю: хотите?

– Хочу, – вдруг неожиданно отвечала Валентина.

– Руку вашу! Давайте мне вашу бедную руку.

Валентина смело подошла и, не глядя на Спиридонова, подала ему обе свои руки.

– Браво! – закричал Спиридонов, – браво! Вот вы… как вас… – обратился он к Поталееву. – Ха-ха-ха, не умели сделать, а теперь… теперь эта невеста моя. Да, черт возьми, моя! Мы с нею будем петь дуэтом: «у меня всего три су, у жены моей четыре: семь су, семь су, что нам делать на семь су?» Но ничего, моя Лета, не робей, будем живы и будем пить и веселиться, вино на радость нам дано. Не робей! Александр Спиридонов, Испанский Дворянин, он уважает женщину, хотя у него двадцать тысяч пороков. Забудется он, ты скажи ему: «Сашка, стой!» – и все опять будет в порядке. Родители, я оставляю вам дочь вашу на три дня под сохранение, и через три дня буду с нею венчаться! Да! Беречь ее! Я строг: беречь, ни в чем ей не сметь отказывать, пусть ходит, куда хочет, пусть делает, что хочет, потому что я так хочу, я ее будущий муж, глава и повелитель! Ха-ха-ха, слышишь, Лета, я твой повелитель; да! А приданого не сметь… Боже сохрани, а то… ха-ха-ха… а то прибью, если кто подумает о приданом. Ну и все теперь, спите, добрые граждане, уж одиннадцать часов, и я хочу спать. Аминь.

И с этим он поцеловал при всех невесту в голову, еще раз велел ей не робеть и ушел.

Поталеев тоже отправился в свое помещение и разделся, но еще не гасил огня и, сидя у открытого окна, курил трубку. В закрытые

ставнями окна хозяев ничего не было видно, но мезонинная конура Спиридонова была освещена свечкой, воткнутой в пустую бутылку. Из этого мезонина неслись по двору звуки гитары, и звучный баритон пел песню за песней.

«Вот оно настоящий-то сорви-голова! – подумал Поталеев. – Так вот оно на ком она споткнулась? да и ничего нет мудреного, живучи на одном дворе. Мудрено только одно, что мне это прежде не пришло в голову. Да полно, и женится ли он на ней вправду? Ведь он сегодня совсем пьян, а мало ли что спьяна говорится».

И Поталеев опять взглянул в мезонинное окно и видит, что Спиридонов стоит в просвете рамы, головой доставая до низенького потолка, и, держа пред собою гитару, поет. Слова звучные, мотив плавучий и страстный, не похожий на новые шансонетки:

Сам умею я петь,
Мне не нужно октав,
Мне не нужно руки,
Хладных сердцу отрав…
Одного жажду я: поцелуя!

но тут лекарь быстро подвинулся к окну и, взяв другой аккорд, запел грустную и разудалую:

Что б мы были без вина?
Жизнь печалями полна;
Все грозит бедой и злом,
Но если есть стакан с вином…

Он опять не докончил песни и быстро исчез от окна, и комната его осталась пустою, по ней только мерцало пламя свечи, колеблемое легким ночным ветром; но зато по двору как будто прошла темная фигура, и через минуту в двери Поталеева послышался легкий стук.

– Кто там стучит? – осведомился Поталеев, бывший в своем помещении без прислуги, которая ночевала отдельно.

Но вместо ответа за дверью раздался звук гитары и знакомый голос запел:

Кто там стучится смело?
Со гневом я вскричал.
«Согрей обмерзло тело»,
Сквозь дверь он отвечал.

– Испанский Дворянин делает вам честь своим посещением, – добавил Спиридонов.

Поталеев был в некотором затруднении, что ему сделать, и не отвечал.

– Что же? – отозвался Спиридонов, – Дайте ответ. Я

Исполнен отваги, закутан плащом,
С гитарой и шпагой стою под окном.

– Войдите, прошу вас, – отвечал совсем смешавшийся Поталеев, и отпер двери.

На пороге показался Спиридонов в туфлях, накинутом на плечи фланелевом одеяле и с гитарой в руках.

– Ха-ха-ха, – начал он, – я вас обеспокоил, но простите, пожалуйста, бывают гораздо худшие беспокойства: например очень многих голод беспокоит…

– Ничего-с, – ответил Поталеев и хотел попросить Спиридонова садиться, но тот уже сам предупредил его.

– Не беспокойтесь, – говорит, – я сам сяду, а я вот что… Помогите мне, пожалуйста, допеть мою песню, а то я совсем спать не могу.

Поталеев выразил недоумение.

– Вы меня не понимаете, я это вижу.

Все грозит бедой и злом,
Но если есть стакан с вином…

а стакана-то с вином и нет. Все спущено, все… кроме чести и аппетита.

– Очень рад, что могу вам служить, – ответил Поталеев, вынимая из шкафа откупоренную бутылку хереса.

– У вас, я вижу, благородное сердце. Вино херес… это благородное вино моей благородной родины, оно соединяет крепость с ароматом. Пью, милостивый государь, за ваше здоровье, пью за ваше благородное здоровье.

– Да! это настоящий херес! – продолжал он, выпив рюмку и громко стукнув по столу.

Все грозит бедой и злом,
Но если есть стакан с вином,
Выпьем, выпьем, все забыто!
Выпьем, выпьем, все забыто!

Да; я пью теперь за забвение… за забвение всего, что было там. Понимаете, там… Не там, где море вечно плещет, а вот там, у нашего приказного.

– Вы, кажется, не должны и не имеете права забыть всего, что там было?

– Тс! Не сметь! Ни слова! Кто сказал, что я хочу забыть? Спиридонов, Испанский Дворянин… он ничем не дорожит, кроме чести, но его честь… тс!.. Он женится, да… Кто смеет обижать женщину? Мы все хуже женщин, да… непременно хуже… А пришел я к вам вот зачем: я вам, кажется, там что-то сказал?

– Право, не помню.

– Тс!.. ни слова!.. Не выношу хитростей и становлюсь дерзок. Нет; я вас обидел, это подло, и я оттого не мог петь; и я, Испанский Дворянин, не гнущий шеи пред роком, склоняю ее пред вами и говорю: простите мне, синьор, я вас обидел.

И с этим он низко поклонился Поталееву и протянул ему руку и вдруг крайне ему понравился. Чем Поталеев более в него всматривался и вникал, тем более и более он располагался в пользу веселого, беспечного, искреннего и вместе с тем глубоко чувствующего Спиридонова.

– Послушайте, – сказал он, – будем говорить откровенно.

– Всегда рад и готов, и иначе не умею.

– У вас ведь, должно быть, никаких нет определенных планов насчет вашего самого ближайшего будущего?

– Никакейших! – отвечал Спиридонов, смакуя во рту херес.

– Что же вы будете делать?

– А бис его знает! – и с этим Спиридонов встал и, хлопнув по плечу Поталеева, проговорил: – а несте ли чли: «не пецытеся об утреннем, утреннее бо само о себе печется». Тс! ни слова мне, я одного терпеть не могу, знаете чего? Я терпеть не могу знать, что я беден!

И с этим он еще выпил рюмку хереса и ушел.

На другой день Поталеев заходит к Спиридонову и сообщает ему, что у них в городе есть вакантное место врача, причем он ему предлагает шестьсот рублей жалованья за свое лечение и лечение его крестьян.

– Что же, и брависсимо! – отвечал Спиридонов. – Если Лета согласна, так и я согласен.

– Она согласна.

– Ну и валяйте, определяйте меня, я еду.

Через два дня была свадьба Спиридонова с Летушкой, а через неделю они поехали в крытом рогожном тарантасике в черноземную глушь, в уездный городок, к которому прилегали большие владения Поталеева.

– Не наскучил ли я вам с моею историей Испанского Дворянина? – спросил, остановясь, Водопьянов.

– Нимало, нимало! Это теперь именно только и становится интересно, и я хочу знать, как этот буфон уживется с женой? – отвечала Бодростина.

– В таком случае я продолжаю.

Супруги эти с первой же поездки показали, как они заживут. На триста рублей, подаренных Поталеевым молодой, они накупили подарков всем, начиная с самих приказных и кончая стряпухой, рублей пятьдесят выдали во вспомоществование какому-то семейству, остальное истратили в Москве и остались совсем без денег.

Поталеев уж сам нанял им лошадей и снабдил их деньгами через Летушку. Спиридонова нимало не занимало, откуда берутся у жены деньги, – он об этом даже не полюбопытствовал узнать у нее. Дорогой они опять пожуировали, и извозчик вез-вез их, да надокучило ему, наконец, с ними путаться, а деньги забраны, он завернул в поле во время грозы, стал на парине, да выпряг потихоньку коней и удрал. Так гроза прошла, а они стоят в кибитке и помирают-хохочут. Едет дорогой

исправник и смотрит, что за кибитка такая без лошадей посреди поля стоит? Свернул к ним, спрашивает, они ему и говорят кто они такие: новый доктор с женой. Приехал исправник в город, выслал за ними земских лошадей, их и перевезли, и перевезли прямо на постоялый двор, а они тут и расположились. Говорят Спиридонову: «Вы бы к кому-нибудь явились», – а он только рукой машет. «Да ну их, – говорит, – захотят, сами ко мне явятся». И точно, что же вы думаете, ждали, ждали его к себе различные городские власти, и сами стали к нему являться, а он преспокойно всех угостит, всех рассмешит, и все его полюбили.

– Ищите же, – говорят, – себе квартиры, – и тот указывает на одно, другой – на другое помещение, а он на все рукой машет: «Успеем, – говорит, – еще и на квартире нажиться».

И тут опять спешит ему в подмогу случай: городского головы теща захворала. Сто лет прожила и никогда не болела и не лечилась, а вдруг хворьба пристигла. Позвали немца-доктора, тот ощупал ее и говорит: «Издохни раз», а она ему: «Сам, – говорит, – нехрист, издохни, а я умирать хочу». Вот и послали за новым лекарем. Спиридонов посмотрел на больную и говорит:

– Вы, бабушка, сколько пожили?

Та отвечает:

– Сто лет.

– Чудесно, – похвалил ее Спиридонов, – вы верно родителей своих почитали?

Старуха посмотрела на него и говорит своим окружающим:

– Вот умный человек! Первого такого вижу! – А потом оборотилась к нему, – именно, – говорит, – почитала, меня тятенька тридцатилетнюю раз веревкой с ушата хлестал.

– И вам еще сколько лет хочется жить? – спросил ее Спиридонов.

– Да нисколько мне не хочется, мне уж это совсем надоело.

– Вот и чудесно, – отвечает Спиридонов, – мне и самому надоело.

Старуха даже заинтересовалась: отчего это человеку так рано жить надоело?

– Жена, что ли, у тебя лиха?

– Нет, жена хорошая, а я сам плох.

Старуха раздивовалась, что такое за человек, который только приехал и сам себя на первых же порах порочит.

– Не выпьешь ли, – говорит, – батюшка, водочки и не закусишь ли ты? Ты мне что-то по сердцу пришел.

– Позвольте, – отвечал Спиридонов, – и закушу, и выпью.

И точно, и закусил, и выпил, и старуха ему сама серебряный рубль дала.

– Еще, – говорит, – и завтра приходи ко мне, если доживу. Пока жива, все всякий день ко мне приходи, мне с тобой очень занятно.

И опять пришел Спиридонов, и опять старуха его запотчевала, и опять ему рубль дала, и пошло таким образом с месяц, каждый день кряду, и повалила Спиридонову практика, заговорили о нем, что он чуть не чудотворец, столетних полумертвых старух и тех на ноги ставит! Лечил он пресчастливо, да и не диво: человек был умный и талантливый, а такому все дается. Не щупавши и не слушавши узнавал болезнь, что даже других сердило. Раз жандармский офицер проездом заболел и позвал его. Спиридонов ему сейчас рецепт. Тот обиделся. «Что это, – говорит, – за невнимание, что вы даже язык не попросили меня вам показать?» А Спиридонов отвечает: «что же мне ваш язык смотреть? Я и без того знаю, что язык у вас скверный». Одним словом, все видел. Пьяненек иногда прихаживал, и то не беда. Напротив, слава такая прошла, что лекарь как пьян, так вдвое видит, и куда Спиридонов ни придет, его все подпаивают: все двойной удали добиваются. Таким манером и прослыл он гулякой, и даже приятельница его, Головина теща, ему сказала:

– Вижу, – говорит, – я, чем ты, отец лекарь, плохо-то называешься! Ты совсем пить не умеешь.

– Истинно, – говорит, – вы это вправду сказали, совсем пить не умею.

– То-то, ты вина-то не любишь, все это сразу выпить хочешь. А ты бы лучше его совсем бросил.

– Да как, – отвечает, – бросить-то? А не равно как хороший человек поднимет, за что он тогда будет за меня мучиться.

Старуха расхохоталась.

– Ох, пусто тебе будь, говорит, – пей уж, пей, да только дело разумей.

Но Спиридонов, пивши таким образом, конечно, скоро перестал разуметь и дело. Однако, ему все-таки везло. Головина теща перед смертию так его полюбила, что отказала домик на провалье, в который

он наконец и переехал с постоялого двора, а Поталеев как только прибыл, так начал производить Спиридонову жалованье и помогал ему печеным и вареным, даже прислуга, и та вся была поталеевская, лошади и те поталеевские, и все это поистине предлагалось в высшей степени деликатно и совершенно бескорыстно. Поталеев оберегал Летушку и любил Спиридонова как прекраснейшего человека. В городе и все, впрочем, его любили, да и нельзя было не любить его: доброта безмерная, веселость постоянная и ничем несмущаемая; бескорыстие полное: «есть – носит, нет – сбросит», и ни о чем не тужит. Жена ему тоже вышла под пару. Никто ей надивиться не мог; никто даже не знал, страдает она или нет от мужниных кутежей. Всегда она чистенькая, опрятная, спокойная. Про несогласия у них и не слыхивано; хозяйка во всем она была полновластная, но хозяйства-то никакого не было: сядут обедать, съедят один суп, кухарка им щи подает.

– Это что же такое, – воскликнет Спиридонов, – зачем два горячих?

– А барыня, мол, так приказала.

А Лета и расхохочется.

– Извини, скажет, – Саша, это я книги зачиталась.

И хохочут оба как сумасшедшие, и едят щи после супа.

Гости у Леты были вечные, и все были от нее без ума, и старики, и молодые. Обо всем она имела понятие, обо всем говорила и оригинально, и смело. У нее завелись и поклонники: инвалидный начальник ей объяснялся в прозе и предлагал ей свое «сердце, которое может заменить миллионы», протопоповский сын, приезжавший на каникулы, сочинял ей стихи, в которых плакал, что во все междуканикулярное время он

Повсюду бросал жаждущий взор,
Но нигде не встречал свой небесный метеор.

Соборный дьякон, вдовец, весь ее двор собственною рукой взрыл заступом, поделал клумбы и насажал левкоев; но это все далекие обожатели, а то и Поталеев сидел у нее по целым дням и все назывался в крестные отцы, только крестить было некого. Так прошел год, два и

три: Летушка выросла, выровнялась и расцвела, а муж ее подувял: в наружности его и в одежде, во всем уже виден был пьяница. От общества он стал удаляться и начал вести компанию с одним дьяконом, с которым они пели дуэтом «Нелюдимо наше море» и крепко напивались. В это время и случись происшествие: ехала чрез их город почтовая карета, лопнул в ней с горы тормоз, помчало ее вниз, лошадей передушило и двух пассажиров искалечило: одному ногу переломило, другому – руку. Были это люди молодые, только что окончившие университетский курс и ехавшие в губернский город на службу, один – товарищем председателя, другой – чиновником особых поручений к губернатору. Спиридонов забрал их обоих к себе в дом и начал лечить и вылечил, и пока они были опасны, сам не пил, а как те стали обмогаться, он опять за свое. «Теперь Лете, – говорит, – не скучно, ее есть кому забавлять», – и точно нарочно от нее стал отдаляться; а из пациентов богатый молодой человек, по фамилии Рупышев, этим временем страстно влюбился в Летушку. Уже оба эти больные и выздоровели, и все не едут: одного магнит держит, другой для товарища сидит, да и сам тоже неравнодушен. Но, наконец, стали они собираться ехать и захотели поблагодарить хозяина, а его нет, нет и день, и два, и три, и ночевать домой не ходит, все сидит у дьякона. Ну, просто сам наводит руками жену бог весть на что.

– На что же он ее наводил? – перебила Бодростина, смеясь и тихо дернув под столом за полу сюртука Висленева. Но Водопьянов словно не слыхал этого вопроса и продолжал:

– В городе давно уже это так и положили, что Лета мужа не любит и потому ей все равно, а он ее рад бы кому-нибудь с рук сбыть. Чем же он занимался у дьякона? Рупышев, уезжая, пошел к ним, чтобы посмотреть, проститься и денег ему дать за лечение и за хлеб за соль. Приходит; на дворе никого, в сенях никого и в комнатах никого, все вокруг отперто, а живой души нет. Но только вдруг слышит он тупые шаги, как босиком ходят, и видит, идет лекарь, как мать родила, на плече держит палку от щетки, а на ней наверху трезубец из хворостинки. Идет и не смотрит на гостя, и обошел вокруг печки и скрылся в другую комнату, а чрез две минуты опять идет сзади и опять проходит таким же манером. «Доктор! – зовет Рупышев, – доктор! Александр Иваныч!» – а Спиридонов знай совершает свое течение. Рупышев опять к нему, да уж с докукой, а тот, не останавливаясь и не

оборачиваясь в его сторону, отвечает: «Оставьте меня, я Нибелунг», – и пошел далее. «Фу ты, черт возьми, до чего человек допился!» – думает гость, а между тем из-под стола кто-то дерг его за ногу. Смотрит Рупышев, а под столом сидит дьякон.

– Дразните, – говорит, – меня, я медведь.

Гость-то его и утешь, и подразни.

– «Р-р-р-р-р!» – говорит, – да ногой и мотнул, а дьякон его как хватит за ногу, да до кости прокусил, и стало опять его нужно лечить от дьяконова укушения. Тут-то Рупышев с Летушкой и объяснился. Она его выслушала спокойно и говорит: «Не ожидала, чтобы вы это сделали».

– Да будто, – говорит, – вы вашего мужа любите? – «А я, – отвечает Летушка, – разве вам про это позволяла что-нибудь говорить?» – И при этом попросила, чтоб он об этом больше никогда и речи не заводил. Вот этот Рупышев и поехал, да ненадолго: стал он часто наезжать и угождениям его Летушке и конца не было. Чего он ей ни дарил, чего ни присылал, и наконец в отставку вышел и переехал жить к ним в город, и все знали, что это для Летушки. Спиридонов его принимал радушно и сам к нему хаживал, и жизнь шла опять по-старому. Придет Спиридонов ночью домой, прокрадется тихонько, чтобы не разбудить Летушку, и уснет в кабинетике, та и не знает, каков он вернулся.

Но вдруг Лета заподозрела, что Рупышев ее мужа нарочно спаивает, потому что Спиридонов уж до того стал пить, что начал себя забывать, и раз приходит при всех в почтовую контору к почтмейстеру и просит: «У меня, – говорит, – сердце очень болит, пропишите мне какую-нибудь микстуру». Рупышев действительно нарочно его спаивал, и Лета в этом не ошибалась. Пошел раз лекарь к Рупышеву, и нет его, и нет, а ночь морозная и по улицам носится поземная метель. Не в редкость это случалось, но только у Леты вдруг стала душа не на месте. Целую ночь она и спит и не спит: то кто-то стучит, то кто-то царапается и вдруг тяжелый-претяжелый человек вошел и прямо повалился в кресло у ее кровати и захрапел. Летушка так и обмерла, проснулась, а возле постели никого нет, но зато на пороге стоит человек в плаще, весь насквозь, как туман, светится и весело кланяется. Она его впросоньи спросила: «Кто вы и что вам нужно?» А он ей покивал и говорит: «Не робей, я поправился!» Это было перед

рассветом, а на заре пришли люди и говорят: «Лекаря неживого нашли, заблудился и в канаве замерз».

– Ну-с, – подогнала рассказчика Бодростина.

– Ну-с, тут и увидели Лету, какая она. Она окаменела: «Нет, – говорит, – нет, это благородство не могло умереть, – оно живо. Саша, мой Саша! приди ко мне, мой честный Саша!»

Схоронили-с Спиридонова. Лета осталась без всяких средств; Поталеев ее, впрочем, не допускал до нужды, от него она брала, а Рупышеву и все его прежние подарки отослала назад. Рупышев долго выбирал время, как ей сделать предложение, и наконец сделал, но сделал его письменно. Летушка что же ему ответила? «Было время, – написала она, – что вы мне нравились, и я способна была увлечься вами, а увлечениям моим я не знаю меры, но вы не умели уважать благороднейшего моего мужа, и я никогда не пойду за вас. Не возвращайтесь ко мне ни с каким предложением: я вечно его, я исполню мой долг, если только в силах буду сравняться с его мне одной известным, бесконечным великодушием и благородством».

После этого Летушка ни самого Рупышева не приняла, ни одного его письма не распечатала и вскоре же, при содействии Поталеева, уехала к своим в Москву. А в Москве все та же нужда, да нужда, и все только и живы, что поталеевскими подаяниями. Поталеев ездит, останавливается и благодетельствует. Проходит год, другой, Лета все вдовеет. Вот Поталеев ей и делает вновь предложение. Лета только усмехнулась. А Поталеев и говорит:

– Что это значит? Как я должен понимать вашу улыбку?

– Да ведь мне вам отказать нельзя, – отвечает Лета, – вы всем нам помогали… да… вы моего Сашу любили…

– Именно-с любил.

Лета повесила голову и проговорила:

– Саша мой, научи меня, что я сделаю, чтобы быть достойною тебя?

И с этим она вдруг вздрогнула, как будто кого увидала, и рука ее, точно брошенная чужою рукой, упала в руку Поталеева.

– Иду! – прошептала она, – вы меня купили! – Да так-с и вышла за Поталеева и стала госпожой Поталеевой, да тем и самого Поталеева перепугала.

Он жил с нею не радовался, а плакал, да служил панихиды по Спиридонове и говорил: «Как могло это статься! Нет, с ним нельзя бороться, он мертвый побеждает».

– Летушка! Лета! – допрашивал он жену, – кто же он был для вас? Где же тот ваш проступок, о котором вы девушкой сказали в Москве?

– Старину вспомнил! Напрасно тогда не женился на ней, на девушке? – вставил Висленев.

– Нет-с, дело-то именно в том, что он женился на *девушке-с*! – ответил с ударением Водопьянов. – Скоро Лета нагнала ужас на весь деревенский дом своего второго мужа: она все ходила, ломала руки, искала и шептала: «Саша! Пустите меня к Саше!» Есть у Летушки кофточки шитые и шубки дорогие, всего много, но ничего ее не тешит. Ночью встанет, сидит на постели и шепчет: «Здравствуй, милый мой, здравствуй!» Поталеев не знает, что и делать! Прошло так с год. Вот и съехались раз к Поталееву званые гости. Летушку к ним, разумеется, не выпустили, но она вдруг является и всем кланяется. «Здравствуйте, – говорит, – не видали ли вы моего Сашу?»

Гости, понятно, смутились.

– Впрочем Саша идет уж, идет, идет, – лепетала, тоскуя, Лета.

– Поди к себе наверх! – сказал ей строго муж, но она отворотилась от него и, подойдя к одному старому гостю, который в это время нюхал табак, говорит:

– Дайте табаку!

Тот ей подал.

– Вы богаты?

– Богат, – отвечает гость.

– Так купите себе жену и…

– Но нет-с, – заключил рассказчик, – я эту последнюю сцену должен пояснить вам примером.

При этом Водопьянов встал, вынул из бокового кармана большую четырехугольную табакерку красноватого золота и сказал: «Это было так: она стояла, как я теперь стою, а гости от нее в таком же расстоянии, как вы от меня. Поталеев, который хотел взять ее за руку, был ближе всех, вот как от меня г. Висленев. Старик гость держал в руке открытую табакерку… Теперь Лета смотрит туда… в окно… там ничего не видно, кроме неба, потому что это было наверху в павильоне. Ровно ничего не видно. Смотрите, Лариса Платоновна, вон

туда… в темную дверь гостиной… Вы не боитесь глядеть в темноту? Есть люди, которые этого боятся, оно немножко и понятно… Впрочем, вы ничего не видите?»

– Ничего не вижу, – отвечала, улыбаясь, Лариса.

– Она точно так же ничего не видала, и вдруг Лета рукой щелк по руке старика, – и с этим «Сумасшедший Бедуин» неожиданно ударил Висленева по руке, в которой была табакерка, табак взлетел; все, кроме отворотившейся Ларисы, невольно закрыли глаза. Водопьянов же в эту минуту пронзительно свистнул и сумасшедшим голосом крикнул: «Сюда, малютка! здесь Испанский Дворянин!» – и с этим он сверкнул на Ларису безумными глазами, сорвал ее за руку с места и бросил к раскрытой двери, на пороге которой стоял Подозеров.

Лариса задрожала и бросилась опрометью вон, а Водопьянов спокойно закончил:

– Вот как все это было! – и с этим вышел в гостиную, оттуда на балкон и исчез в саду.

Глава шестая
Не перед добром

Андрей Иванович Подозеров, войдя чрез балкон и застав все общество в наугольной Бодростинского дома, среди общего беспорядочного и непонятного движения, произведенного табаком «Сумасшедшего Бедуина», довольно долгое время ничего не мог понять, что здесь случилось. Лариса кинулась к нему на самом пороге и убежала назад с воплем и испугом. Горданов, Висленев и Бодростина, в разных позах, терли себе глаза, и из них Горданов делал это спокойно, вытираясь белым фуляром, Висленев вертелся и бранился, а Бодростина хохотала.

– Это черт знает что! – воскликнул Висленев, первый открыв глаза, и, увидев Подозерова, тотчас же отступил назад.

– Я вам говорила, что покажу вам настоящий антик, – заметила Бодростина, – надеюсь, вы не скажете, что я вас обманула, – и с этим она тоже открыла глаза и, увидав гостя, воскликнула. – Кого я вижу, Андрей Иваныч! Давно ли?

– Я только вошел, – отвечал Подозеров, подавая ей руку и сухо кланяясь Висленеву и Горданову, который при этом сию же минуту встал и вышел в другую комнату.

– Вы видели, в каком мы были положении? Это «Сумасшедший Бедуин» все рассказывал нам какую-то историю и в заключение засыпал нас табаком. Но где же он? Где Водопьянов?

– Черт его знает, он куда-то ушел! – отвечал Висленев.

– Ах, сделайте милость, найдите его, а то он, пожалуй, исчезнет.

– Прекрасно бы сделал.

– Ну, нет: я расположена его дослушать, история не кончена, и я прошу вас найти его и удержать.

Висленев пожал плечами и вышел.

– Стареюсь, Андрей Иванович, и начинаю чувствовать влечение к мистицизму, – обратилась Бодростина к Подозерову.

– Что делать? платить когда-нибудь дань удивления неразрешимым тайнам – удел почти всеобщий.

– Да; но бог с ними, эти тайны, они не уйдут, между тем как vous devenez rare comme le beau jour.[34] Мы с вами ведь не видались сто лет и сто зим!

– Да; почти не видались все лето.

– Почти! по-вашему, это, верно, очень мало, а по-моему, очень много. Впрочем, счеты в сторону: je suis ravie,[35] что вас вижу, – и с этим Бодростина протянула Подозерову руку.

– Я думала или, лучше скажу, я была даже уверена, что мы с вами более уже не увидимся в нашем доме, и это мне было очень тяжело, но вы, конечно, и тогда были бы как нельзя более правы. Да! обидели человека, наврали на него с три короба и еще ему же реприманды едут делать. Я была возмущена за вас до глубины души, и зато из той же глубины вызываю искреннюю вам признательность, что вы ко мне приехали.

Она опять протянула ему свою руку и, удерживая в своей руке руку Подозерова, продолжала:

– Вы вознаградили меня этим за многое.

– Я вознагражден уж больше меры этими словами, которые слышу, но, – добавил он, оглянувшись, – я здесь у вас по делу.

– Без *но*, без *но*: вы сегодня мой милый гость, – добавила она, лаская его своими бархатными глазами, – а я, конечно, буду не милою хозяйкой и овладею вами. – Она порывисто двинулась вперед и, встав с места, сказала, – я боюсь, что Висленев лукавит и не пойдет искать моего Бедуина. Дайте мне вашу руку и пройдемтесь по парку, он должен быть там.

В это время Бодростина, случайно оборотясь, заметила мелькнувшую в коридоре юбку Ларисиного платья, но не обратила на это, по-видимому, никакого внимания.

– У меня по-деревенски ранний ужин, но не ранняя ночь: хлеб-соль никогда не мешает, а сон, как и смерть, моя антипатия. Но вы, мне кажется, намерены молчать… как сон, который я припомнила. Если так, я буду смерть.

– Вы смерть!.. Полноте, бога ради!

– А что?

– Вы жизнь!

– Нет, смерть! Но вы меня не бойтесь: я – смерть легкая, с прекрасными виденьями, с экстазом жизни. Дайте вашу руку, идем.

С этим она облокотилась на руку гостя и пошла с ним своею бойкою развалистою походкой чрез гостиную в зал. Здесь она остановилась на одну минуту и отдала дворецкому приказание накрыть стол в маленькой портретной.

– Мы будем ужинать en petite comité,[36] – сказала она, и, держа под руку Подозерова, вернулась с ним в большую темную гостиную, откуда был выход на просторный, полукруглый балкон с двумя лестницами, спускавшимися в парк. В наугольной опять мелькнуло платье Ларисы.

– Ах, ecoute, дружочек Лара! – позвала ее Бодростина, – j'ai un petit mot a vous dire;[37] у меня разболелась немножко голова и мы пройдемся по парку, а ты, пожалуйста, похозяйничай, и если где-нибудь покажется Водопьянов, удержи его, чтоб он не исчез. Он очень забавен. Allons,[38] – дернула она Подозерова и, круто поворотив назад, быстрыми шагами сбежала с ним по лестнице и скрылась в темноте парка.

Лариса все это видела и была этим поражена. Эта решительность и смелость приема ее смущала, и вовсе незнакомое ей до сих пор чувство по отношению к Подозерову щипнуло ее за сердце; это чувство было ревность. Он принадлежал ей, он ее давний рыцарь, он был ее жених, которому она, правда, отказала, но… зачем же он с Бодростиной?.. И так явно. В Ларисе заиграла «собака и ее тень». Притом ей стало вдруг страшно; она никогда не гостила так долго у Бодростиной; ее выгнали сюда домашние нелады с теткой, и теперь ей казалось, что она где-то в плену, в злом плену. Собственный дом ей представлялся давно покинутым раем, в который уже нельзя вернуться, и бедная девушка, прислонясь лбом к холодному стеклу окна, с замирающим сердцем думала: пусть вернется Подозеров, и я скажу ему, чтоб он взял меня с собой, и уеду в город.

– Где вы и с кем вы? – произнес в это мгновение за нею тихий и вкрадчивый голос.

Она вздрогнула и, обернувшись, увидала пред собою Горданова.

– Вы меня, кажется, избегаете? – говорил он, ловко заступая ей дорогу собою и стулом, который взял за спинку и наклонил пред Ларисой.

– Нимало, – отвечала Лариса, но голос ее обличал сильное беспокойство; она жалась всем телом, высматривая какой-нибудь

выход из-за устроенной ей баррикады.

– Мне необходимо с вами говорить. После того, что было вчера вечером в парке…

– После того, что было вчера между нами, ни нынче и никогда не может быть ни о чем никакого разговора.

– Оставьте этот тон; я знаю, что вы говорите то, чего не чувствуете. Сделайте милость, ради вас самой, не шутите со мною.

Лариса побледнела и отвечала:

– Оставьте меня, Павел Николаевич, примите стул и дайте мне дорогу.

– А-а! Я вижу, вы в самом деле меня не понимаете!

– Я не желаю вас понимать; пропустите меня или я позову брата! – сказала Лариса.

– Ваш брат волочится за госпожой дома, которая в свою очередь волочится за вашим отставным женихом, но это все равно, оставим их прогуливаться. Мы одни, и я должен вам сказать, что мы должны объясниться…

– Чего же вы требуете от меня? – продолжала Лариса с упреком. – Не стыдно ли вам не давать покоя девушке, которая вас избегает и знать не хочет.

– Нет, тысячу раз нет! вы меня не избегаете, вы лжете.

– Горданов! – воскликнула гневно обиженная Лариса.

– Что вы?.. Я вас не оскорбил: я говорю, что вы лжете самим себе. Не верите? Я представлю на это доказательства. Если бы вы не хотели меня знать, вы бы уехали вчера и не остались на сегодня. Бросьте притворство. Наша встреча – роковая встреча. Нет силы, которая могла бы сдержать страсть, объемлющую все существо мое. Она не может остаться без ответа. Лариса, ты так мне нравишься, что я не могу с тобой расстаться, но и не могу на тебе жениться… Ты должна меня выслушать!

Лариса остолбенела.

Горданов не понял ее и продолжал, что он не может жениться только в течение некоторого времени и опять употребил слово «ты».

Лариса этого не вынесла.

– «Ты!» – произнесла она, вся вспыхнув, и, рванувшись вперед, прошептала задыхаясь: – пустите! – Но одна рука Горданова крепко сжала ее руку, а другая обвила ее стан.

– Ты спрашиваешь, что хочу я от тебя: тебя самой!

– Нет, нет! – отрицала с закрытым лицом Лариса. – Но Бога ради! Как милости, как благодеяния, прошу вас: прекратите эту сцену. Умоляю вас: не обнимайте же меня по крайней мере, не обнимайте, я вам говорю! Все двери отперты…

– Вы мне смешны… дверей боитесь! – ответил Горданов и, сжав Ларису, хотел поцеловать ее.

Но в эту же минуту чья-то сильная рука откинула его в сторону. Он даже не мог вдруг сообразить, как это случилось, и понял все только, оглянувшись назад и видя пред собою Подозерова.

– Послушайте! – прошипел Горданов, глядя в горящие глаза Андрея Ивановича. – Вы знаете, с кем шутите?

– Во всяком случае с мерзавцем, – спокойно молвил Подозеров.

Лариса вскрикнула и, пользуясь суматохой, убежала.

– Вы это смеете сказать? – подступал Горданов.

– Смею ли я?

– Вы знаете?.. вы знаете!.. – шептал Горданов.

– Что вы подлец? о, давно знаю, – произнес Подозеров.

– Это вам не пройдет так. Я не кто-нибудь… Я…

– Прах, ходящий на двух лапках! – произнес за ним голос Водопьянова, и колоссальная фигура «Сумасшедшего Бедуина» стала между противниками с распростертыми руками. Подозеров повернулся и вышел.

Павел Николаевич постоял с минуту, закусив губу. Фонды его заколебались в его дальновидном воображении.

«Скандал! во всяком разе гадость… Дуэль… пошлое и опасное средство… Отказаться, как это делают в Петербурге… но здесь не Петербург, и прослывешь трусом… Что же делать? Неужто принимать… дуэль на равных шансах для обоих?.. нет; я разочтусь иначе», – решил Горданов.

Глава седьмая
Краснеют стены

Богато сервированный ужин был накрыт в небольшой квадратной зале, оклееной красными обоями и драпированной красным штофом, меж которыми висели старые портреты.

Глафира Васильевна стояла здесь у небольшого стола, и когда вошли Водопьянов и Подозеров, она держала в руках рюмку вина.

– Господа! у меня прошу пить и есть, потому что, как это, Светозар Владенович, пел ваш Испанский Дворянин: «Вино на радость нам дано». Андрей Иваныч и вы, Водопьянов, выпейте пред ужином – вы будете интереснее.

– Я не могу, я уже все свое выпил, – отвечал Водопьянов.

– Когда же это вы выпили, что этого никто не видал?

– Семь лет тому назад.

– Все лжет сей дивный человек, – отвечала Бодростина и, окинув внимательным взглядом вошедшего в это время Горданова, продолжала: – я уверена, Водопьянов, что это вам ваш Распайль запрещает. Ему Распайль запрещает все, кроме камфоры, – он ест камфору, курит камфору, ароматизируется камфорой.

– Прекрасный, чистый запах, – молвил Водопьянов.

– Поздравляю вас с ним и сажусь от вас подальше. А где же Лариса Платоновна?

– Они изволили велеть сказать, что нездоровы и к столу не будут, – ответил дворецкий.

– Все это виноват этот Светозар! он всех напугал своим Испанским Дворянином. Подозеров, вы слышали его рассказ?

– Нет, не слыхал.

– Ну да; вы к нам попали на финал, а впрочем, ведь рассказ, мне кажется, ничем не кончен, или он, как все, как сам Водопьянов, вечен и бесконечен. Лета выбила табакерку и засыпала нам глаза, а дальше что же было, я желаю знать это, Светозар Владенович?

– Она спрыгнула с окна.

– С третьего этажа?

– Да.

– Но кто же ей кричал: «Я здесь»?

– Испанский Дворянин.

– Кто ж это знает?

– Она.

– Она разве осталась жива?

– Нет, иль то есть…

– То есть она жива, но умерла. Это прекрасно. Но кто же видел вашего Испанского Дворянина?

– Все видели: он веялся в тумане над убитой Летой, и было следствие.

– И что же оказалось?

– Ничего.

– Je vous fais mon compliment.[39] Вы, Светозар Владенович, неподражаемы! Вообразите себе, – добавила она, обратясь к Подозерову: – целый битый час рассказывал какую-то историю или бред, и только для того, чтобы в конце концов сказать «ничего». Очаровательный Светозар Владенович, я пью за ваше здоровье и за вечную жизнь вашего Дворянина. Но боже! что такое значит? чего вы вдруг так побледнели, Андрей Иванович?

– Я побледнел? – переспросил Подозеров. – Не знаю, быть может, я еще немножко слаб после болезни… Я, впрочем, все слышал, что говорили… какая-то женщина упала…

– Бросилась с третьего этажа!

– Да, это мне напоминает немножко… кончину…

– Другой прекрасной женщины, конечно?

– Да, именно прекрасной, но… которую я мало знал, ко всегдашнему моему прискорбию, – так умерла моя мать, когда мне был один год от роду.

Бодростина выразила большое сожаление, что она, не зная семейной тайны гостя, упомянула о случае, который навел его на печальные воспоминания.

– Но, впрочем, – продолжала она, – я поспешу успокоить вас хоть тем способом, к которому прибег один известный испанский же проповедник, когда слишком растрогал своих слушателей. Он сказал им: «Не плачьте, милые, ведь это было давно, а может быть, это было и не так, а может быть… даже, что этого и совсем не было». Вспомните одно, что ведь эту историю рассказывал нам Светозар Владенович, а

его рассказы, при несомненной правдивости их автора, сплошь и рядом бывают подбиты… ветром. Притом здесь есть имена, которые вам, я думаю, даже и незнакомы, – и Бодростина назвала в точности всех лиц водопьяновского рассказа и в коротких словах привела все повествование «Сумасшедшего Бедуина».

– Ничего, кажется, не пропустила? – обратилась она затем к Водопьянову и, получив от него утвердительный ответ, добавила: – вот вы приезжайте ко мне почаще; я у вас буду учиться духов вызывать, а вы у меня поучитесь коротко рассказывать. Впрочем, a propos,[40] ведь сказание повествует, что эта бесплотная и непостижимая Лета умерла бездетною.

– Я этого не говорил, – отвечал Водопьянов.

– Как же? Разве у нее были дети, или хоть по крайней мере одно дитя?

– Может быть, может быть и были.

– Так что же вы этого не говорите?

– А!.. да!.. Понял: Труссо говорит, что эпилепсия – болезнь весьма распространенная, что нет почти ни одного человека, который бы не был подвержен некоторым ее припадкам, в известной степени, разумеется; в известной степени… Сюда относится внезапная забывчивость и прочее, и прочее… Разумеется, это падучая болезнь настолько же, насколько кошка родня льву, но однако…

– Но, однако, Светозар Владенович, довольно, мы поняли, что вы хотите сказать: на вас нашло беспамятство.

– Именно: у Летушки был сын.

– От ее брака с красавцем Поталеевым?

– Конечно.

– Но что было у господ Поталеевых, то пусть там и останется, и это ни до кого из здесь присутствующих не касается… Андрей Иванович, чего же вы опять все бледнеете?

– Я попросил бы позволения встать: я слаб еще; но впрочем… виноват, я оправлюсь. Позвольте мне рюмку вина! – обратился он к Водопьянову.

– Хересу?

– Да.

– Да; вы его пейте, – это ваше вино!

– А чтобы перейти от чудесного к тому, что веселей и более способно всех занять, рассудим вашу Лету, – молвила Водопьянову Бодростина, и затем, относясь ко всей компании, сказала: – Господа! какое ваше мнение: по-моему, этот Испанский Дворянин – буфон и забулдыга старого университетского закала, когда думали, что хороший человек непременно должен быть и хороший пьяница; а его Лета просто дура, и притом еще неестественная дура. Ваше мнение, Подозеров, первое желаю знать?

– Я промолчу.

– И это вам разрешаю. Я очень рада, что вино вас, кажется, согрело; вы закраснелись.

Подозеров даже был теперь совсем красен, но в этой комнате было все красновато и потому его краснота сильно не выделялась.

– По-моему, – продолжала Бодростина, – самое типичное, верное и самое понятное мне лицо во всем этом рассказе – старик Поталеев. В нем нет ничего натянуто-выспренного и болезненно-мистического, это человек с плотью и кровью, со страстями и… некрасив немножко, так что даже бабы его пугались. Но эта Летушка все-таки глупа; многие бы позавидовали ее счастию, хотя ненадолго, но…

– Что ж вам так нравится? Неужто безобразие? – спросил, чтобы поддержать разговор, Висленев.

– Ах, Боже мой, а что мужчинам нравится в какой-нибудь Коре, которой я не имела чести видеть, но о которой имею понятие по тургеневскому *«Дыму»*. Он интереснее: в нем есть и безобразие, и характер.

Гости промолчали.

– Интересно врачу заставить говорить немого от рождения, еще интереснее женщине слышать язык страсти в устах, которые весь век боялись их произносить.

Глафире опять никто не ответил, и она, хлебнув вина, продолжала сама:

– Признаюсь, я бы хотела видеть рыдающего от страсти… отшельника, монаха, настоящего монаха… И как бы он после, бедняжка, ревновал. Эй, человек! подайте мне еще немножко рыбы. Однажды я смутила схимника: был в Киеве такой старик, лет неизвестных, мохом весь оброс и на груди носил вериги, я пошла к нему на исповедь и насказала ему таких грехов, что он…

– Влюбился в вас?

– Нет; только просил: «умилосердися, уйди!» Благодарю, подайте вон еще Висленеву, он, вижу, хочет кушать, – докончила она обращением к старому, седому лакею, державшему пред ней массивное блюдо с приготовленною под майонезом рыбой.

– Подозеров! Ведь мы с вами, кажется, пили когда-то на брудершафт?

– Никогда.

– Так я пью теперь.

И с этим она чокнулась бокал о бокал с Подозеровым и, положив руку на его руку, заставила и его выпить все вино до дна.

Висленева скрючило.

– Да; новый мой камрад, – продолжала Бодростина, – пожелаем счастия честным мужчинам и умным женщинам. Да соединятся эти редкости жизни и да не мешаются с тем, что им не к масти. Ум дает жизнь всему, и поцелую, и объятьям… дурочка даже не поцелует так, как умная.

– Глафира Васильевна! – перебил ее Подозеров. – То дело, о котором я сказал… теперь мне некогда уже о нем лично говорить. Я болен и должен раньше лечь в постель… но вот в чем это заключается. Он вынул из кармана конверт с почтовым штемпелем и с разорванными печатями и сказал: – Я просил бы вас выйти на минуту и прочесть это письмо.

– Я это для тебя сделаю, – отвечала, вставая, Бодростина. – Но что это такое? – добавила она, остановясь в дверях: – я вижу, что фонарик у меня в кабинете гаснет, а я после рассказов Водопьянова боюсь одна ходить в полутьме. Висленев! возьмите лампу и посветите мне.

Иосаф Платонович вскочил и побежал за нею с лампой.

Горданов воспользовался временем, когда он остался один с Подозеровым и Водопьяновым.

– Вы, конечно, знаете, чем должно кончиться то, что произошло два часа тому назад между нами? – спросил он, уставясь глазами в вертевшего свою тарелку Подозерова.

– Я знаю, чем такие вещи кончаются между честными людьми, но чем их кончают люди бесчестные, – того не знаю, – отвечал Подозеров.

– Кого вы можете прислать ко мне завтра?

– Завтра? майора Форова.

– Прекрасно: у меня секундант Висленев.

– Это не мое дело, – отвечал Подозеров и, встав, отвернулся к первому попавшемуся в глаза портрету.

В это время в отдаленном кабинете Бодростиной раздался звон разбившейся лампы и послышался раскат беспечнейшего смеха Глафиры Васильевны.

Горданов вскочил и побежал на этот шум.

Подозеров только оборотился и из глаза в глаз переглянулся с Водопьяновым.

– Место значит много; очень много, много! Что в другом случае ничего, то здесь небезопасно, – проговорил Водопьянов.

– Скажите мне, зачем же вы здесь, в этих стенах, и при всех этих людях рассказали историю моей бедной матери?

– Вашей матери? Ах, да, да… я теперь вижу… я вижу: у вас есть с ней сходство и… еще больше с ним.

– Валентина была моя мать, и я люблю того, кого она любила, хотя он не был мой отец; но мне все говорили, что я даже похож на того, кого вы назвали студентом Спиридоновым. Благодарю, что вы, по крайней мере, переменили имена.

Водопьянов с неожиданною важностью кивнул ему головой и отвечал: – «да; мы это рассмотрим; – вы будьте покойны, рассмотрим». Так говорил долго тот, кого я назвал Поталеевым. Он умер… он приходил ко мне раз… таким черным зверем… Первый раз он пришел ко мне в сумерки… и плакал, и стонал… Я одобряю, что вы отдали его состоянье его родным… большим дворянам… Им много нужно… Да вон видите… по стенам… сколько их… Вон старушка, зачем у нее два носа… у нее было две совести…

И Водопьянов понес околесицу, в которой все-таки опять были свои, все связывающие штрихи.

Между тем, что же такое произошло в кабинете Глафиры Васильевны, откуда так долго нет никого и никаких новостей?

Глава восьмая
Не краснеющие

Глафира Васильевна в сопровождении Висленева скорою походкой прошла две гостиных, библиотеку, наугольную и вступила в свой кабинет. Здесь Висленев поставил лампу и, не отнимая от нее своей руки, стал у стола. Бодростина стояла спиной к нему, но, однако, так, что он не мог ничего видеть в листке, который она пред собою развернула. Это было письмо из Петербурга, и вот что в нем было написано, гадостным каракульным почерком, со множеством чернильных пятен, помарок и недописок:

«Господин Подозеров! Я убедилась, что хотя вы держитесь принципов неодобрительных и патриот, и низкопоклонничаете пред московскими ретроградами, но в действительности вы человек и, как я убедилась, даже честнее многих абсолютно честных, у которых одно на словах, а другое на деле, потому я с вами хочу быть откровенна. Я пишу вам о страшной подлости, которая должна быть доведена до Бодростиной. Мерзавец Кишенский, который, как вы знаете, ужасный подлец и его, надеюсь, вам не надо много рекомендовать, и Алинка, которая женила на себе эту зеленую лошадь, господина Висленева, устроили страшную подлость: Кишенский, познакомясь с Бодростиным у какого-то жида-банкира, сделал такую подлую вещь: он вовлекает Бодростина в компанию по водоснабжению городов особенным способом, который есть не что иное, как отвратительнейшее мошенничество и подлость. Делом этим орудует какой-то страшный мошенник и плут, обобравший уже здесь и в Москве не одного человека, что и можно доказать. С ним в стачке полька Казимирка, которую вы должны знать, и Бодростина ее тоже знает…»

– Ох, ох! – сказала, пятясь назад и покрываясь румянцем восторга, Бодростина.

– Что? верно какие-нибудь неприятные известия? – спросил ее участливо Висленев.

– Боюсь в обморок упасть, – ответила шутя Глафира, чувствуя, что Висленев робко и нерешительно берет ее за талию и поддерживает. –

«Держи ж меня, я вырваться не смею!» – добавила она, смеясь, известный стих из Дон-Жуана.

И с этим Глафира, оставаясь на руке Иосафа Платоновича, дочитала:

– «Эта Казимира теперь княгиня Вахтерминская. Она считается красавицей, хотя я этого не нахожу: сарматская, смазливая рожица и телеса, и ничего больше, но она ловка как бес и готова для своей прибыли на всякие подлости. Муж ей давал много денег, но теперь он банкрот: одна француженка обобрала его как липку, и Казимира приехала теперь назад в Россию поправлять свои делишки. У нее теперь есть bien aimé,[41] что всем известно, – поляк-скрипач, который играет и будет давать концерты, потому полякам все дозволяют, но он совершенно бедный и потому она забрала себе Бодростина с первой же встречи у Кишенского и Висленевой жены, которая Бодростиной терпеть не может. Я же, хотя тоже была против принципов Бодростиной, когда она выходила замуж, но как теперь это все уже переменилось и все наши, кроме Ванскок, выходят за разных мужей замуж, то я более против Глафиры Бодростиной ничего не имею, и вы ей это скажите; но писать ей сама не хочу, потому что не знаю ее адреса, и как она на меня зла и знает мою руку, то может не распечатать, а вы как служите, то я пишу вам по роду вашей службы. Предупредите Глафиру, что ей грозит большая опасность, что муж ее очень легко может потерять все, и она будет ни с чем, – я это знаю наверное, потому что немножко понимаю по-польски и подслушала, как Казимира сказала это своему bien aimé, что она этого господина Бодростина разорит, и они это исполнят, потому что этот bien aimé самый главный зачинщик в этом деле водоснабжения, но все они, Кишенский и Алинка, и Казимира, всех нас от себя отсунули и делают все страшные подлости одни сами, все только жиды да поляки, которым в России лафа. Больше ничего не остается, как всю эту мерзость разоблачить и пропечатать, над чем и я и еще многие думаем скоро работать и издать в виде большого романа или драмы, но только нужны деньги и осторожность, потому что Ванскок сильно вооружается, чтобы не выдавать никого. Остаюсь готова к услугам известная вам Ципри-Кипри».

«P. S. Можете спросить Дакку, которая знает, что я пишу вам это письмо: она очень честная госпожа и все знает, – вы ее помните: белая

и очень красивая барыня в русском вкусе, потому что план Кишенского прежде был рассчитан на нее, но Казимира все это перестроила самыми пошлыми польскими интригами. Данка ничего не скроет и все скажет».

«Еще P. S. Сейчас ко мне пришла Ванскок и сообщила свежую новость. Бодростин ничего не знает, что под его руку пишут уже большие векселя по его доверенности. Пускай жена его едет сейчас сюда накрыть эту страшную подлость, а если что нужно разведать и сообщить, то я могу, но на это нужны, разумеется, средства, по крайней мере рублей пятьдесят или семьдесят пять, и чтобы этого не знала Ванскок».

Этим и оканчивалось знаменательное письмо гражданки Ципри-Кипри.

Бодростина, свернув листок и суя его в карман, толкнулась рукой об руку Висленева и вспомнила, что она еще до сих пор некоторым образом находится в его объятиях.

Занятая тем, что сейчас прочитала, она бесцельно взглянула полуоборотом лица на Висленева и остановилась; взгляд ее вдруг сверкнул и заискрился.

«Это прекрасно! – мелькнуло в ее голове. – Какая блестящая мысль! Какое великое счастие! О, никто, никто на свете, ни один мудрец и ни один доброжелатель не мог бы мне оказать такой неоцененной услуги, какую оказывают Кишенский и княгиня Казимира!.. Теперь я снова я, – я спасена и госпожа положения… Да!»

– Да! – произнесла она вслух, продолжая в уме свой план и под влиянием дум пристально глядя в глаза Висленеву, который смешался и залепетал что-то вроде упрека.

– Ну, ну, да, да! – повторяла с расстановками, держась за голову Бодростина и, с этим бросясь на отоман, разразилась неудержимым истерическим хохотом.

Увлеченный ею в этом движении, Висленев задел рукой за лампу и в комнате настала тьма, а черепки стекла зазвенели по полу. На эту сцену явился Горданов: он застал Бодростину, весело смеющуюся, на диване и Висленева, собирающего по полу черепки лампы.

– Что такое здесь у вас случилось?

– Это все он, все он! – отвечала сквозь смех Бодростина, показывая на Висленева.

– Я!.. я! При чем здесь я? – вскочил Иосаф Платонович.

– Вы?… вы ни при чем! Идите в мою уборную и принесите оттуда лампу!

Иосаф Платонович побежал исполнить приказание.

– Что это такое было у вас с Подозеровым? – спросила у Горданова Глафира, став пред ним, как только вышел за двери Висленев.

– Ровно ничего.

– Неправда, я кой-что слышала: у вас будет дуэль.

– Отнюдь нет.

– Отнюдь нет! Ага!

Висленев появился с лампой, и вдвоем с Гордановым стал исправлять нарушенный на столе порядок, а Глафира Васильевна, не теряя минуты, вошла к себе в комнату и, достав из туалетного ящика две радужные ассигнации, подала их горничной, с приказанием отправить эти деньги завтра в Петербург, без всякого письма, по адресу, который Бодростина наскоро выписала из письма Ципри-Кипри.

– Затем, послушай, Настя, – добавила она, остановив девушку. – Ты в черном платье… это хорошо… Ночь очень темна?

– Не видно зги, сударыня, и тучится-с.

– Прекрасно, – сходи, пожалуйста, на мельницу… и… Ты знаешь, как пускают шлюз? Это легко.

– Попробую-с.

– Возьмись рукой за ручку на валу и поверни. Это совсем не трудно, и упусти заслонку по реке; или забрось ее в крапиву, а потом беги домой чрез березник… Понимаешь?

– Все будет сделано-с.

– И это нужно скоро.

– Сию же минуту иду-с.

– Беги, и платья черного нигде не поднимай, чтобы не сверкали белые юбки.

– Сударыня, ужели первый раз ходить?

– Ну да, иди же и все сделай.

И Бодростина из этой комнаты перешла к запертым дверям Ларисы.

– Прости меня, chére Глафира; я очень разнемоглась и была не в силах выйти к столу, – начала Лариса, открыв дверь Глафире Васильевне.

– Все знаю, знаю; но надо быть девушкой, а не ребенком: ты понимаешь, что может случиться?

– Дуэль?

– А конечно!

– Но, Боже, что я могу сделать?

– Прежде всего не ломать руки, а обтереть лицо водой и выйти. Одно твое появление его немножко успокоит.

– Кого его?

– Его, кого ты хочешь.

– Но я ведь не могу идти, Глафира.

– Ты должна.

– Помилуй, я шатаюсь на ногах.

– Я поддержу.

И Глафира Васильевна еще привела несколько доказательств, убедивших Ларису в том, что она должна преодолеть себя и выйти вниз к гостям.

Лара подумала и стала обтирать заплаканное лицо, сначала водой, а потом пудрой, между тем как Бодростина, поджидая ее, ходила все это время взад и вперед по ее комнате; и наконец проговорила:

– Ах, красота, красота, сколько из-за нее делается безобразия!

– Я проклинаю ее… мою красоту, – отвечала, наскоро вытираясь пред зеркалом, Лариса.

– Проклинай или благословляй, это все равно; она наружи и внушает чувство.

– Чувство! Глафира, разве же это чувство?

– Любовь!.. А это что же такое, как не чувство? Страсть, «влеченье, род недуга».

– Любовь! так ты это даже называешь любовью! Нет; это не любовь, а разве зверство.

– Мужчины всегда так: что наше, то нам не нужно, а что оспорено, за то сейчас и в драку. Однако идем к ним, Лара!

– Идем; я готова, но, – добавила она на ходу, держась за руку Бодростиной: – я все-таки того мнения, что есть на свете люди, которые относятся иначе…

– То есть как это иначе?

– Я не могу сказать как… но иначе!

«Эх ты бедный, бедный межеумок! – думала Бодростина. – Ей в руки дается не человек, а клад: с душой, с умом и с преданностью, а ей нужно она сама не знает чего. Нет; на этот счет стрижки были вас умнее. А впрочем, это прекрасно: пусть ее занята Гордановым… Не может же он на ней жениться… А если?.. Да нет, не может!»

В это время они дошли до дверей портретной, и Бодростина, представив гостям Ларису, сказала, что вместо исчезнувшей лампы является живой, всеосвежающий свет.

– Светильник без масла долго не горит? – спросила она шепотом Подозерова, садясь возле него на свое прежнее место. Советую помнить, что я сказала: и в поцелуях, и в объятиях ум имеет великое значение! А теперь, господа, – добавила она громко, – пьем за здоровье того, кто за кого хочет, и простите за плохой ужин, каким я вас накормила.

Стол кончился; и Горданов тотчас же исчез. Бодростина зорко посмотрела ему вслед и велела человеку подать на балкон садовую свечу.

– Немножко нужно освежиться. Ночь темная, но тепла и ароматна… Ею надо пользоваться, скоро уже завоет вьюга и польют дожди.

Подозеров стал прощаться.

– Постойте же; сейчас вам запрягут карету.

– Нет, бога ради, не нужно: я люблю ходить пешком: здесь так близко, я скоро хожу.

Но Бодростина так твердо настояла на своем, что Подозеров должен был согласиться и остался ждать кареты.

– А я в одну минуту возвращусь, – молвила она и ушла с балкона.

Лариса, тотчас как только осталась одна с Подозеровым, взяла его за руку и шепнула:

– Бога ради, зовите меня с собою.

– Это неловко, – отвечал Подозеров.

– Но вы не знаете…

– Все знаю: вам не будет угрожать ничто, идите спать, заприте дверь и не вынимайте ключа, а завтра уезжайте. Идите же, идите!

– Ведь я не виновата…

– Верю, знаю; идите спать!

– Поверьте мне: все прошлое…

– Все прошлое не существует более, оно погребено и крест над ним поставлен. Я совладал с собою, не бойтесь за меня: я вылечен и более не захвораю, но дружба моя навсегда последует за вами всюду.

– Погребено… – заговорила было Лариса, но не успела досказать, что хотела.

– Ах, боже! что это такое? Вы слышите, вдруг хлынула вода! – воскликнула, вбегая в это время на балкон, Глафира Васильевна, и тотчас же послала людей на фабричную плотину, на которой уже замелькали огни и возле них показывались тени.

Человек доложил, что готова карета.

Подозеров простился; Лариса пошла к себе наверх, а Глафира Васильевна, открыв окно в зале, крикнула кучеру:

– На мост теперь идет вода, поезжай через плотину, там люди посветят.

Лошади тронулись, а Бодростина все не отходила от окна, докуда тень кареты не пробежала мимо светящихся на плотине фонарей.

Глава девятая
Под крылом у темной ночи

Проводив Подозерова, Глафира вернулась на балкон, где застала Водопьянова. «Сумасшедший Бедуин» теперь совсем не походил на самого себя: он был в старомодном плюшевом картузе, в камлотовой шинели с капюшоном, с камфорной сигареткой во рту и держал в руке большую золотую табакерку. Он махал ею и, делая беспрестанно прыжки на одном месте, весь трясся и бормотал.

Вид «Сумасшедшего Бедуина» и его кривлянья и беспокойство производили, посреди царствующей темной ночи, самое неприятное впечатление.

Как ни была занята Бодростина своими делами, но эта метаморфоза остановила на себе ее внимание, и она сказала:

– Что вы, Светозар Владенович, – какой странный!

– А?.. что?.. Да, странник… еду, еду, – заговорил он, еще шибче махая в воздухе своим капюшоном. – Скверная планета, скверная: вдруг холодно, вдруг холодно, ух жутко… жутко, жутко… крак! сломано! а другая женщина все поправит, поправит!

– Что это вы такое толкуете себе под нос? Какая другая женщина и что она поправит!

– Все, все… ей все легко. И-и-и-х! И-и-и-х! Прочь, прочь, прочь, вот я тебя табакеркой! Вот!.. – И он действительно замахнулся своей табакеркой и ударил ею несколько раз по своему капюшону, который в это время взвился и махал над его головой. – Видели вы? – заключил он, вдруг остановясь и обращаясь к Бодростиной.

– Что такое надо было видеть?

– А черную птицу с одним крылом? Опять! опять прочь!

И с этими словами Водопьянов опять замахал табакеркой, заскакал по лестнице, спустился по ней и исчез.

Бодростина не обратила на это никакого внимания. Он уже надоел ей, и притом она была слишком занята своими мыслями и стояла около часа возле перил, пока по куртине вдоль акаций не мелькнула какая-то тень с ружьем в руке.

При появлении этой тени, Глафира Васильевна тихо шмыгнула за дверь и оттуда произнесла свистящим шепотом:

– Прах на двух лапках!

Тень вздрогнула, остановилась и потом вдруг бросилась бегом вперед; Бодростина же прошла ряд пустых комнат, взошла к себе в спальню, отпустила девушку и осталась одна.

Через полчаса ее не было и здесь, она уже стояла у двери комнаты Павла Николаевича, на противоположном конце дома.

– Поль, отопри! – настойчиво потребовала она, стукнув рукой в дверь.

– Я лег и погасил свечу, – отвечал дрожащим нервным голосом Горданов.

– Ничего, мне надо с тобой поговорить. Довольно сибаритничать: настало время за работу, – заговорила она, переступая порог, меж тем как Горданов зажег свечу и снова юркнул под одеяло. – Я получила важные вести.

И она рассказала ему содержание знакомого нам письма Ципри-Кипри.

– Ты должен ехать немедленно в Петербург.

– Это невозможно, меня там схватят.

– Что бы ни было, я тебя выручу.

– И что же я должен там делать?

– Способствовать всем плутням, но не допускать ничего крупного, а, главное, передать моего старика совсем в руки Казимиры. Ты едешь? Ты должен ехать. Я дам тебе денег. Иначе… ты свободен делать что хочешь.

– Хорошо, я поеду.

– И это лучше для тебя, потому что здесь ты, я вижу, начинаешь портиться и лезешь в омут.

– Я?

– Да, ты. Благодари меня, что твое ружье осталось сегодня заряженным.

– Ага! так это вот откуда ударил живоносный источник?

– Ну да, а ты думал… Но что это такое? On frappe![42]

Дверь действительно немножко колыхалась.

– Кто там? – окликнула, вскочив, Бодростина.

В эту же секунду дверь быстро отворилась и Глафира столкнулась лицом к лицу с Висленевым.

– Вот видите! – удивилась она.

– Я пришел сюда за спичкой, Глафира Васильевна, – пробормотал Висленев.

– Да, ты удивительно находчив, – заметил ему Горданов, – но дело в том, что вот тебе спички; бери их и отправляйся вон.

– Нет, он пришел сюда довольно кстати: пусть он меня проводит отсюда назад.

И Бодростина поднялась и пошла впереди Висленева.

– Вы по какому же праву меня ревнуете? – спросила она вдруг, нахмурясь и остановясь с Иосафом в одной из пустых комнат. – Чего вы на меня смотрите? Не хотите ли отказываться от этого? Можете, но это будет очень глупо? вы пришли, чтобы помешать мне видеться с Гордановым. Да?.. Но вот вам сказ: кто хочет быть любимым женщиной, тот прежде всего должен этого заслужить. А потом… вторая истина заключается в том, что всякая истинная любовь скромна!

– Но чем я не скромен? – молвил, сложив у груди руки, Висленев.

– Вы нескромны. Любить таким образом, как вы меня хотите любить, этак меня всякий полюбит, мне этого рода любовь надоела, и меня ею не возьмете. Понимаете вы, так ничего не возьмете! Хотите любить меня, любите так, как меня никто не любил. Это одно еще мне, может быть, не будет противно: сделайтесь тем, чем я хочу, чтобы вы были.

– Буду, буду. Буду чем вы хотите!

– Тогда и надейтесь.

– Но чем же мне быть?

– Это вам должно быть все равно: будьте тем, чем я захочу вас возле себя видеть. Теперь мне нравятся спириты.

– Вы шутите! Неужто же мне быть спиритом?

– Ага! еще «неужто»! После таких слов решено: это условие, без которого ничто невозможно.

– Но это ведь… это будет не разумно-логичное требование, а каприз.

Бодростина отодвинулась шаг назад и, окинув Висленева с головы до ног сначала строгим, а потом насмешливым взглядом, сказала:

– А если б и так? Если б это и каприз? Так вы еще не знали, что такая женщина, как я, имеет право быть капризною? Так вы, прежде чем что-либо между нами, уже укоряете меня в капризах? Прощайте!

– Нет, Бога ради… позвольте… я буду делать все, что вы хотите.

– Да, конечно, вы должны делать все, что я хочу! Иначе за что же, за что я могу вам позволять надеяться на какое-нибудь мое внимание? Ну сами скажите: за что? что такое вы могли бы мне дать, чего сторицей не дал бы мне всякий другой? Вы сказали: «каприз». Так знайте, что и то, что я с вами здесь говорю, тоже каприз, и его сейчас не будет.

– Нет, бога ради: я на все согласен.

Она молча взяла его за руку и потянула к себе, Иосаф поднял было лицо.

– Нет, нет, я вас целую пока за послушание в лоб, и только.

– Опять капр… Гм! гм!..

– А разумеется, каприз: неужели что-нибудь другое, – отвечала, уходя в дверь, Бодростина. – Но, – добавила она весело, остановясь на минуту на пороге: – женский каприз бывает без границ, и кто этого не знает вовремя, у того женщины под носом запирают двери.

И с этим она исчезла; ключ щелкнул, и Висленев остался один в темноте.

Он подошел к запертой двери, с трудом ощупал замочную ручку и, пошевелив ее, назвал Глафиру, но собственный голос ему показался прегадким-гадким, надтреснутым и севшим, а из-за двери ни гласа, ни послушания. Глафира, очевидно, ушла далее, да и чего ей ждать?

Висленев вздохнул и, заложив назад руки, пошел тихими шагами в свою комнату.

«Все еще не везет, – размышлял он. – Вот думал здесь повезет, ан не везет. Не стар же еще я в самом деле! А? Конечно, не стар… Нет, это все коммунки, коммунки проклятые делают: наболтаешься там со стриженными, вот за длинноволосых и взяться не умеешь! Надо вот что… надо повторить жизнь… Начну-ка я старинные романы читать, а то в самом деле у меня такие манеры, что даже неловко».

Между тем Бодростина, возвратившись в свою комнату, тоже не опочила, села и, начав писать, вдруг ахнула.

– А где же он? Где Водопьянов? Опять исчез! Но теперь ты, мой друг, не уйдешь. Нет, дела мои слагаются превосходно, и спиритизм

мне должен сослужить свою службу.

«Светозар Владенович! – написала она через минуту, – чем я более вдумываюсь, тем» и пр., и пр. Одним словом, она с обольстительною простотой открыла Водопьянову, какое влияние на нее имеет спиритская философия, и заключила, что, чувствуя неодолимое влечение к спиритизму, хочет также откровенно, как он, назвать себя «спириткой».

Все это было сделано немножко грубо и аляповато, – совсем не по-бодростиновски, но стоило ли церемониться с «Сумасшедшим Бедуином»? Глафира и не церемонилась.

Запечатав это письмо, она отнесла его в комнату своей девушки, положила конверт на стол и велела завтра рано поутру отправить его к Водопьянову, а потом уснула с верой и убеждением, что для умного человека все на свете имеет свою выгодную сторону, все может послужить в пользу, даже и спиритизм, который как крайняя противоположность тех теорий, ради которых она утратила свою репутацию в глазах моралистов, должен возвратить ей эту репутацию с процентами и рекамбио.

Если Горданов с братией и Ципри-Кипри с сестрами давно не упускают слыть не тем, что они на самом деле, то почему же ей этим манкировать? Это было бы просто глупо!

И Глафире представилось ликование, какое будет в известных ей чопорных кружках, которые, несмотря на ее официальное положение, оставались для нее до сих пор закрытым небом, и она уснула, улыбаясь тому, как она вступит в это небо возвратившейся заблуждавшеюся овцой, и как потом… дойдет по этому же небу до своих земных целей.

– Я буду… жена, которой не посмеет даже и касаться подозрение! Я должна сознаться, что это довольно смешно и занимательно!

Лариса провела эту ночь без сна, сидя на своей постели. Утро в Бодростинском доме началось поздно: уснувшая на рассвете Лариса проспала, Бодростина тоже, но зато ко вставанью последней ей готов был сюрприз, – ей был доставлен ответ Водопьянова на ее вчерашнее письмо, – ответ, вполне достойный «Сумасшедшего Бедуина». Он весь заключался в следующем: «Бобчинский спросил: – можно называться? а Хлестаков отвечал: – пусть называется».

И более не было ничего, ни одного слова, ни подписи.

Бодростина с досадой бросила в ящик письмо и сошла вниз к мужикам, вся в черном, против своего обыкновения.

Между тем, пока дамы спали, а потом делали свой туалет, в сени мужской половины явился оборванный и босоногий крестьянский мальчонко и настойчиво требовал, чтобы длинный чужой барин вышел к кому-то за гуменник.

– Кто же его зовет туда? – добивались слуги.

– А барин с печатью на шляпе дал мне грош; на, говорит, бежи в хоромы и скажи, чтоб он сейчас вышел.

Слуги догадались, что дело идет о Висленеве, и доложили ему об этом. Иосаф Платонович посоветовался с Гордановым и пошел по курьезному вызову на таинственное свидание.

За гуменником его ждал Форов.

– Здравствуйте-с, мы с вами должны уговориться, – начал майор, – Горданов с Подозеровым хотят стреляться, а мы секунданты, так вот мои условия: стреляться завтра, в пять часов утра, за городом, в Коральковском лесу, на горке. Стрелять разом, и при промахах с обеих сторон выстрел повторить. Что, вы против этого ничего?

– Я ничего, но я вообще против дуэли.

– Ну вы об этом статью пошлите, а теперь не ваше дело.

– А вы разве за дуэль?

– Да; я за дуэль, а то очень много подлецов разведется. Так извольте не забыть условия и затем имею честь…

Форов повернулся и ушел.

В доме Бодростиной, к удивлению, никто этого не узнал.

Горданов принял условия Форова и настрого запретил Висленеву выдавать это хоть одним намеком. Тот тотчас струсил.

Утро прошло скучно. Глафира Васильевна говорила о спиритизме и о том, что она Водопьянова уважает, гости зевали. Тотчас после обеда все собрались в город, но Лариса не хотела ехать в свой дом одна с братом и желала, чтоб ее отвезли на хутор к Синтяниной, где была Форова. Для исполнения этого ее желания Глафира Васильевна устроила переезд в город вроде partie de plaisir;[43] они поехали в двух экипажах: Лариса с Бодростиной, а Висленев с Гордановым.

Глава десятая
После скобеля топором

Увидав себя на дворе генеральши, Лариса в первый раз в жизни почувствовала тот сладостный трепет сердца, который ощущается человеком при встрече с близкими людьми, после того как ему казалось, что он их теряет невозвратно.

Лариса кинулась на шею Александре Ивановне и много раз кряду ее поцеловала; так же точно она встретилась и с теткой Форовой, которая, однако, была с нею притворно холодна и приняла ее ласки очень сухо.

Бодростина была всегда и везде легкой гостьей, никогда не заставлявшею хозяев заботиться о ней, чтоб ей было не скучно. У нее всегда и везде находились собеседники, она могла говорить с кем угодно: с честным человеком и с негодяем, с монахом и комедиантом, с дураком и с умным. Опыт и практические наблюдения убедили Глафиру Васильевну, что на свете все может пригодиться, что нет лишнего звена, которое бы умный человек не мог положить не туда, так сюда, в свое здание. Последняя мысль о спиритизме, который она решилась эксплуатировать для восстановления своей репутации, еще более утвердила ее в том, что все стоит внимания и все пригодно.

Очутясь у Синтяниной, которую Бодростина ненавидела тою ненавистью, какою бессердечные женщины ненавидят женщин строгих правил и открытых честных убеждений, Глафира рассыпалась пред нею в шутливых комплиментах. Она называла Александру Ивановну «русской матроной» и сожалела, что у нее нет детей, потому что она верно бы сделалась матерью русских Гракхов.

По поводу отсутствия детей она немножко вольно пошутила, но заметив, что у генеральши дрогнула бровь, сейчас же обратила речь к Ларисе и воскликнула:

– Да когда же это ты, Лара, выйдешь наконец замуж, чтобы при тебе можно было о чем-нибудь говорить?

Висленев, по обыкновению, расхаживал важною журавлиною походкой и, заложив большие пальцы обеих рук в карманы, остальными медленно и отчетисто ударял себя по панталонам. Говорил

он сегодня, против своего обыкновения, очень мало, и все как будто хотел сказать что-то необыкновенное, но только не решался.

Зато Горданов смотрел на всех до наглости смело и видимо порывался к дерзостям. Порывы эти проявлялись в нем так беззастенчиво, что Синтянина на него только глядела и подумывала: «Каково заручился!» От времени до времени он поглядывал на Ларису, как бы желая сказать: смотри как я раздражен, и это все чрез тебя; я не дорожу никем и сорву свой гнев на ком представится.

Лариса имела вид невыгодный для ее красоты: она выглядывала потерянною и больше молчала. Не такова она была только с одною Форовой. Лариса следила за теткой, и когда Катерина Астафьевна ушла в комнаты, чтобы наливать чай, бедная девушка тихо, с опущенною головкой, последовала за нею и, догнав ее в темных сенях, обняла и поцеловала.

Катерина Астафьевна притворилась, что она сердита и будто даже не заметила этой ласки племянницы.

Лариса села против нее за стол и заговорила о незначительных посторонних предметах. Форова не отвечала.

– Вы, тетя, сегодня здесь ночуете? – наконец спросила Лариса.

– Не знаю-с, как мне бог по сердцу положит.

– Поедемте лучше домой.

– Куда это? Тебе одна дорога, а мне другая. Вам в Тверь, а нам в дверь.

Лариса встала и, зайдя сзади тетки, поцеловала ее в голову. Она хотела приласкаться, но не умела, – все это у нее выходило как-то неестественно: Форова это почувствовала и сказала:

– Сядь уж лучше, пожалуйста, милая, на место, не строй подлизй.

У Ларисы больше в запасе ничего не нашлось, она в самом деле села и отвечала только:

– Я думала, что вы, тетя, добрее.

– Как не добрее, ты верно думала, что если меня по шее будут гнать, так я буду шею только потолще обертывать. Не сподобилась я еще такого смирения.

– Простите меня, тетечка, если я вас обидела. Я была очень расстроена.

– Чтой-то говорят, ты скоро замуж идешь?

– За кого это?

– За кого же, как не за Гордашку? Нет, а Подозеров, ей-Богу, молодец!

Форова захохотала.

– Ты, верно, думала, что ему уже живого расстанья с тобою не будет, а он раскланялся и был таков: нос наклеил. Вот, на же тебе!.. Люблю таких мужчин до смерти и хвалю.

– И даже хвалите?

– А, разумеется хвалю! Да что на нас, дур, смотреть как мы ломаемся? Этого добра везде много, а женишки нынче в сапожках ходят, а особенно хорошие.

Лариса встала и вышла.

– Кусает, барышня, кусает! – промолвила про себя Форова и еще долго продолжала сидеть одна за чайный столом в маленькой передней и посылать гостям стаканы в осинник. Размышлениям ее никто не мешал, кроме девочки, приходившей переменять стаканы.

Но вот по крыльцу послышался шорох юбок и в комнату скорыми шагами вошла Александра Ивановна.

– Что сделалось с Гордановым! – сказала она, быстро подходя к Форовой. – Представь ты, что он, что ни слово, то старается всем сказать какую-нибудь дерзость!

– И тебе что-нибудь сказал?

– Да, разные намеки. И Бодростиной, и Висленеву. А бедняжка Лара совсем при нем смущена.

– Есть грех.

– А Подозеров с Гордановым даже и не говорят; между ними что-то было.

В это время голоса гостей послышались под самыми окнами на дворе.

– Огня! Жизни! Господа, в ком есть огонь: я гореть хочу! – говорила, стоя на одном месте, Бодростина.

Ни Лариса, ни Подозеров, ни Горданов и Висленев не трогались, но в эту минуту вдруг сильным порывом распахнулась калитка и на двор влетели отец Евангел и майор Форов, с огромной палкой в руке и вечною толстою папироскою во рту.

Оба эти новые лица были отчего-то в больших попыхах и неслись как буревестники перед грозой.

Встретив стоящее на дворе общество, они, по-видимому, смешались, но, однако, Форов тотчас же поправился и, взяв за руку Бодростину, сказал:

– Целую вашу лапку! – и действительно поцеловал ее.

– Mersi, Филетер Иванович, за внимание, я нуждаюсь в нем, я хочу гореть и никто не спешит угасить мой пламень… Вы умеете бегать?

– Как скороход.

– Заяц быстрее бегает чем скороход, – отозвался Горданов.

Майор не обратил на эти слова никакого внимания.

– Кто же со мной? – вызывал он.

– Я, – отвечала, сходя с крыльца, генеральша и стала с Форовым, и побежала.

Бодростина поймала Александру Ивановну.

Форов был неуловим: он действительно бегал как заяц.

Висленев подал руку сестре и стал во вторую пару.

Майор тотчас же поймал Ларису.

Шум, беготня этой игры и крики и смех, без которых не обходятся горелки, придали всем неожиданное оживление и вызвали даже майоршу.

– Давайте и мы с вами пожуируем, – пригласил ее тотчас отец Евангел и, подобрав вокруг себя подрясник, побежал третьею парой, но спутался со своею дамой и упал.

Это возбудило общий хохот.

– Один Горданов не принимает участия! Что это такое? Играйте сейчас, Горданов, я вам это приказываю, – пошутила Бодростина.

– Не слушаю я ничьих приказов.

– Послушайте хоть в шутку.

– Ни в шутку, ни всерьез.

– Вышел из повиновения! Ну так серьезничайте же за наказание.

– Я не серьезничаю, а не хочу падать.

– Не велика беда.

– Да, кому падать за обычай, тому действительно не штука и еще один лишний раз упасть.

Бодростина сделала вид, что не слыхала этих слов, побежала с Форовым, но майор все слышал и немножко покосился.

– Послушайте-ка, – сказал он, улучив минуту, Синтяниной. – Замечаете вы, что Горданов завирается!

– Да, замечаю.

– И что же?

– Ничего.

– Гм!

– Он этим себе реноме здесь составил, но все-таки я думала, что он умнее и знает, где что можно и где нельзя.

– Черт его знает, что с ним сделалось.

– Ничего; он зазнался; а может быть и совсем не знал, что мои двери таким людям заперты.

Между тем Катерина Астафьевна распорядилась закуской. Стол был накрыт в той комнате, где в начале этой части романа сидела на полу Форова. За этим покоем в отворенную дверь была видна другая очень маленькая комнатка, где над диваном, как раз пред дверью, висел задернутый густою драпировкой из кисеи портрет первой жены генерала, Флоры. Эта каютка была спальня генеральши и Веры, и более во всем этом жилье никакого помещения не было.

Мужчины подошли к закуске и выпили водки.

– Фора! – возгласил неожиданно Горданов, наливая себе во второй раз полрюмки вина.

– Чего-с? – оборотился к нему Форов.

– Ничего: я говорю «фора», даю знак пить снова и снова.

– Ах, это!..

– Ну-с; я вас поздравляю: ему быть от меня битому, – шепнул, наклонясь к Синтяниной, майор.

– Надеюсь, только не здесь.

– Нет, нет, в другом месте!

Висленев рассказывал сестре, Форовой и Глафире о странном сне, который ему привиделся прошлою ночью.

– Не верь, батюшка, снам, все они врут, – ответила ему майорша.

– Есть пустые сны, а есть сны вещие, – возразил ей Висленев. – Мне нравится на этот счет теория спиритов. Вы ее знаете, Филетер Иванович?

– Читали мы кой-что. Помнишь, отец Евангел, новый завет-то ихний… Эка белиберда какая!

– Оно, говорят, ведь по Евангелию писано.

– Да; в здоровый бульон мистических помой подлито.

– Тех же щей, да пожиже захотелось, – вставил свое слово Евангел.

– А я уважаю спиритов и уверен, что они дадут нам нечто обновляющее. Смотрите: узкое, старое или так называемое церковное христианство обветшало, и в него – сознайтесь – искренно мало кто верит, а в другой крайности, что же? Бесплодный материализм.

– Ну-с?

– Ну-с и должно быть что-нибудь новое, это и есть спиритизм. Смотрите, как он захватывает в Америке и повсюду, например, у нас в Петербурге: даже некоторые государственные люди…

– Столы вертят, – подсказал майор. – Что же и прекрасно.

– Нет; не одни столы вертят, а в самом деле ответы от мертвых получают.

– Ничего-с, стихийное мудрование, все это кончится вздором, – отрезал Евангел.

– Ну подождите, как-то вы с ним справитесь.

– Ничего-с: христианство и не таких врагов видало.

– Ну этаких не видало, это новая сила: это не грубый материализм, а это тонкая, тонкая сила.

– Во-первых, это не сила, – отозвался Форов, – а во-вторых, вы истории не знаете.

– Вот как! Кто вам сказал, что я ее не знаю?

– А, разумеется, не знаете! Все это, государь мой, старье.

И Форов начал перечислять Висленеву связи спиритизма с мистическими и спиритуальными школами всех времен.

– Да, – перебил Висленев, – но сказано ведь, что ново только то, что хорошо забыто.

– Анси ретурнемент гумен эст-фет, – отозвался отец Евангел, произнося варварским, бурсацким языком французские слова. – Да и сие не ново, что все не ново.

Paix engendre prospérité,
De prospérité vient richesse.
De richesse orgueil et volupté,
D'orgueil – contentions sans cesse;
Contentions – la guerre se presse…

La guerre engendre pauvreté,
La pauvreté I’ humilité,
L'humilité revient la paix…
Ainsi retournement humain est fait![44]

Прочитал, ничтоже сумняся и мня себя говорящим по-французски, Евангел.

Заинтересованные его французским чтением, к нему обернулись все, и Бодростина воскликнула:

– Ах, какая у вас завидная память!

– Нет-с, и начитанность какая, добавьте! – заступился Форов. – Вы, Иосаф Платонович, знаете ли, чьи это стихи он нам привел? Это французский поэт Климент Маро, которого вы вот не знаете, а которого между тем согнившие в земле поколения наизусть твердили.

– А за всем тем я все-таки спирит! – решил Висленев.

Он ожидал, что его заявление просто произведет тревогу, но оно не произвело ничего. Только Форов один отозвался, сказав:

– Я сам когда порядком наспиртуюсь, так тоже делаюсь спирит.

– Значит, это хроническое, – послышалось от Горданова.

Форов встал из-за стола и, отойдя к свече, стоявшей на комоде, начал перелистывать книжку журнала.

– Что это такое вы рассматриваете, майор? – спросил его Горданов, став у него за спиной и чистя перышком зубы. Но Форов, вместо ответа, вдруг нетерпеливо махнул локтем и грубо крикнул: – Но-о!

Павел Николаевич, сдерживая улыбку, удивился.

– Чего это вы по-кучерски кричите? – сказал он, – я ведь не лошадь.

– Я не люблю, чтоб у меня за ухом зубы чистили, я брюзглив.

– И не буду, майор, не буду, – успокоил его Горданов, фамильярно касаясь его плеча, но эта новая шутка еще больше не понравилась Форову, и он закричал:

– Не троньте меня, я нервен.

– При этакой-то корпуленции и нервен?

И Горданов еще раз слегка коснулся боков Форова.

Майор совсем взбесился, и у него затряслись губы.

– Говорю вам не троньте меня: я щекотлив!

– Господин Горданов, да не троньте же вы его! – проговорила, подходя к мужу, Форова.

– Извините, я шутил, – отвечал Горданов, – и вовсе не думал рассердить майора. Вот, Висленев, ты теперь спирит, объясни же нам по спиритизму, что это делается со здоровым человеком, что он вдруг становится то брюзлив, то нервен, то щекотлив и…

– Вон у него какая палка нынче с собою! – поддержал приятеля Висленев, взяв поставленную майором в углу толстую белую палку.

Но Форов, действительно, стал и нервен, и щекотлив; он уже слышал то, чего другие не слыхали, и обижался, когда его не хотели обидеть.

– Не троньте моей палки! – закричал он, побледнев и весь заколотясь в лихорадке азарта, бросился к Висленеву, вырвал палку из его рук и, ставя ее на прежнее место в угол, добавил: – Моя палка чужих бьет!

– Господа, прекратите, пожалуйста, все это, – серьезно объявила, вставая, Александра Ивановна.

Гости почувствовали себя в неловком положении, и Горданов, Глафира и Висленев вскоре стали прощаться.

– Не будем сердиться друг на друга, – сказала Бодростина, пожимая руки Синтяниной.

– Нисколько, – отвечала та. – До свидания, Иосаф Платонович.

– А со мною вы не прощаетесь? – отнесся к ней Горданов, которого она старалась не заметить.

– Нет, с вами-то именно я решительнее всех прощаюсь.

– Позвольте вашу руку!

– Нет; не подаю вам и руки на прощанье, – отвечала Синтянина, принимая свою руку от руки Висленева и пряча ее себе за спину.

– Конечно, я знаю, мой приятель во всем и всегда был счастливее меня… Я конкурировать с Жозефом не посмею. Но, во всяком случае, не желал бы… не желал бы по крайней мере навлечь на себя небезопасный гнев вашего превосходительства.

Александра Ивановна слегка побледнела.

– Ваше превосходительство так хорошо себя поставили.

– Надеюсь.

– Супруг ваш генерал, имеет такое влияние…

– Что даже его жена не защищена от наглостей в своем доме.

– Нет; что пред вами должно умолкнуть все, чтобы потом не каяться за слово.

– Вон! – воскликнула быстро Александра Ивановна и, вытянув вперед руку, указала Горданову пальцем к выходу.

Павел Николаевич не успел опомниться, как Форов отмахнул пред ним настежь дверь и, держа в другой руке свою палку, которая «чужих бьет», сказал:

– Имею честь!

Горданов оглянулся вокруг и, видя по-прежнему вытянутую руку Синтяниной, вышел.

Вслед за ним пошли Бодростина и Висленев и покатили в город, Бог весть в каком настроении духа.

Глава одиннадцатая
Крест

От Александры Ивановны никто не ожидал того, что она сделала. Выгнать человека вон из дома таким прямым и бесцеремонным образом, – это решительно было не похоже на выдержанную и самообладающую Синтянину, но Горданов, давно ее зливший и раздражавший, имел неосторожность, или имел расчет коснуться такого больного места в ее душе, что сердце генеральши сорвалось, и произошло то, что мы видели.

На время не станем доискиваться: был ли это со стороны Горданова неосторожный промах, или точно и верно рассчитанный план, и возвратимся к обществу, оставшемуся в домике Синтяниной после отъезда Бодростиной, Висленева и Горданова.

Наглость Павла Николаевича и все его поведение здесь вообще взволновали всех. Никто, по его милости, теперь не был похож на себя. Форов бегал как зверь взад и вперед; Подозеров, отворотясь от окна, у которого стоял во все время дебюта Горданова, был бледен как полотно и сжимал кулаки; Катерина Астафьевна дергала свои седые волосы, а отец Евангел сидел, сложа руки между колен и глядя себе в ладони, то сдвигал, то раздвигал их, не допуская одной до другой. Лариса же стояла как статуя печали. Одна Александра Ивановна была, по-видимому, спокойнее всех, но и это было только по-видимому: это было спокойствие человека, удовлетворившего неудержимому порыву сердца, но еще не вдумавшегося в свой поступок и не давшего себе в нем отчета. Человек в первые минуты после вспышки чувствует себя бодро и крепко, – крепче чем всегда, в пору обыкновенного спокойного состояния. Таково было теперь еще состояние и Александры Ивановны. Она спокойно слушала восторги Форовой и глядела на благодарственные кресты, которыми себя осеняла майорша. Одна Катерина Астафьевна была вполне довольна всем тем, что случилось.

– Слава же тебе Господи, – говорила она, – что на этого шишимору нашлась наконец гроза!

– Он уже слишком зазнался! – заметила Александра Ивановна. – Ему давно надо было напомнить о его месте.

И в маленьком обществе начался весьма понятный при подобном случае разговор, в котором припоминались разные выходки, безнаказанно сошедшие с рук Горданову.

Александра Ивановна, слушая эти рассказы, все более и более укреплялась во мнении, что она поступила так, как ей следовало поступить, хотя и начинала уже сожалеть, что нужно же было всему этому случиться у нее и с нею!

– Я надеюсь, господа, – сказала она, – что так как дело это случилось между своими, то сору за дверь некому будет выносить, потому что я отнюдь не хочу, чтоб об этом узнал мой муж.

– А почему это? – вмешалась Форова. – А по-моему так, напротив, надо рассказать это Ивану Демьянычу, пусть он, как генерал, и своею властью его за это хорошенько бы прошколил.

– Я не хочу огорчать мужа: он вспыльчив и горяч, а ему это вредно, и потом скандал – все-таки скандал.

– Ну, да! вот так мы всегда: все скандалов боимся, а мерзавцы, подобные Гордашке, этим пользуются. А ты у меня, Сойга Петровна! – воскликнула майорша, вдруг подскочив к Ларисе и застучав пальцем по своей ладони, – ты себе смотри и на ус намотай, что если ты еще где-нибудь с этим Гордашкой увидишься или позволишь ему к себе подойти и станешь отвечать ему… так я… я не знаю, что тебе при всех скажу.

Синтяниной нравился этот поворот в отношениях Форовой к Ларисе. Она хотя и не сомневалась, что майорша недолго просердится на Лару и примирится с нею по собственной инициативе, но все-таки ей было приятно, что это уже случилось.

Форова теперь вертелась как юла, она везде шарила свои пожитки, ласкала мужа, ласкала генеральшу и Веру, и нашла случай спросить Подозерова: говорил ли он о чем-нибудь с Ларой или нет?

– Лариса Платоновна со мной не разговаривала, – отвечал Подозеров.

– Да, значит, ты не говорил. Ну и прекрасно, так и показывай, что она тебе все равно, что ничего, да и только. Саша! – обратилась она к Синтяниной, – вели нам запречь твою карафашку! Или уж нам ее запрягли?

– Да, лошадь готова.

– Ну, Лара, едем! А ты, Форов, хочешь с нами на передочке? Мы тебя подвезем.

– Нет, я в город не поеду, – отвечал майор.

– Завтра пешком идти все равно далеко… Садись с нами! Садись, поедем вместе, а то мне тебя жаль.

Но Форов опять отказался, сказав, что у него еще есть дело к отцу Евангелу.

– Ну, так я с Ларой еду. Прощай.

И майорша, простясь с мужем и с приятелями, вышла под руку с Синтяниной, с Ларисой в карафашку и взяла вожжи.

Вскоре по отъезде Ларисы и Форовой вышли и другие гости, но перед тем майор и Евангел предъявили Подозерову принесенные им из города газеты с литературой Кишенского и Ванскок. Подозеров побледнел, хотя и не был этим особенно тронут, и ушел спокойно, но на дворе вспомнил, что он будто забыл свою папиросницу и вернулся назад.

– Александра Ивановна! – позвал он. – Не осудите меня… я вернулся к вам с хитростью.

– Я вас не осуждаю.

– Нет, серьезно: у меня есть странная, но очень важная для меня просьба к вам.

– Что такое, Андрей Иванович? Я, конечно, сделаю все, что в силах.

– Да, вы это в силах: не откажите, благословите меня этой рукой.

– Господи помилуй и благослови младенца Твоего Андрея, – произнесла, улыбаясь, Синтянина.

– Нет, вы серьезно с вашей глубокой верой и от души вашей меня перекрестите.

– Но что с вами, Андрей Иваныч? Вы же сейчас только принимали все так холодно и были спокойны.

– Я и теперь спокоен как могила, но нет мира в моей душе… Дайте мне этого мира… положите на меня крест вашею рукой… Это… я уверен, принесет мне… очень нужную мне силу.

Александра Ивановна минуту постояла, как бы призывая в глубину души своей спокойствие, и затем перекрестила Подозерова, говоря:

– Мир мой даю вам и молю Бога спасти вас от всякого зла.

Подозеров поцеловал ее руку и, выйдя, скоро догнал за воротами Форова и Евангела, который, при приближении Подозерова, тихо говорил что-то майору. При его приближении они замолчали.

Подозеров догадался, что у них речь шла о нем, но не сказал ни слова.

У перекрестка дорог, где священнику надо было идти направо, а Подозерову с Форовым налево, они остановились, и Евангел сладостно заговорил:

– Андрей Иваныч, зайдемте лучше переночевать ко мне.

– Нет, я не могу, – отвечал Подозеров.

– Видите ли что… мы там поговоримте с моей папинькой! (отец Евангел и его попадья звали друг друга «папиньками») она даром, что попадья, а иногда удивительные взгляды имеет.

– Да, да, матушка умная женщина, поклонитесь ей; но я не могу, не могу, я спешу в город.

Подозерову хотелось, чтобы никто, ни одна женщина с ним более не говорила и не касалась бы его ни одна женская рука.

Он нес на себе благословение и хотел, чтоб оно почивало на нем ничем не возмущаемое.

Глава двенадцатая
Лариса не узнает себя

Висленев ехал в экипаже вместе с Бодростиной, Горданов же держал путь один; он в городе отстал от них и, приехав прямо в свою гостиницу, отослал с лакеем лошадь, а сам остался дома.

Около полуночи он встал, взял, по обыкновению, маленький револьвер в карман и вышел.

Когда Лариса и Форова приехали домой, Иосаф Висленев еще не возвращался, Катерина Астафьевна и Лара не намерены были его ждать. Форова обошла со свечой весь дом, попробовала свою цитру и, раздевшись, легла в постель.

Лариса тоже была уже раздета.

Комнаты, в которых они спали, были смежны.

Но Ларисе не спалось, она вышла в залу, походила взад и вперед, и взяв с фортепиан цитру, принесла ее к тетке.

– Прошу вас, сыграйте мне что-нибудь, тетя.

– Вздумала же: ночью я буду ей играть!

– Да, именно, именно теперь, тетя, ночью.

Форова поднялась на локоть и торопливо заглянула в глаза племянницы острым и беспокойным взглядом.

– Что вы, тетя? Я ничего, но… мне нестерпимо… я хочу звуков.

– Открой же рояль и сыграй себе сама.

– Нет, не рояль, а это вот, это, – отвечала Лара, морща лоб и подавая тетке цитру.

Катерина Астафьевна взяла инструмент, и нежные, щиплющие звуки тонких металлических струн запели: «Коль славен наш Господь в Сионе».

Лариса стала быстро ходить взад и вперед по комнате и часто взглядывала на изображение распинаемого на Голгофе Христа.

Цитра кончила, но чрез минуту крошечный инструмент снова защипал сердце, и ему неожиданно начал вторить дребезжащий, но еще довольно сильный голос майорши.

«Помощник и покровитель, бысть мне во спасение», – пела со своею цитрой Катерина Астафьевна.

Лара вздохнула и, оборотясь к образу, тихо стала на колени и заплакала и молилась, молилась словами тетки, и вдруг потеряла их. Это ее удивило и рассердило. Она делала все усилия поймать оборванную мысль, но за стеной ее спальни, в зале неожиданно грянул бальный оркестр.

Лариса вскочила и взялась за лоб… Ничего не было, никакого оркестра: ясно, что это ей только показалось.

Лариса посмотрела на часы, было уже час за полночь. Она взошла в комнату тетки и позвала ее по имени, но Катерина Астафьевна крепко спала.

Лара поняла, что столбняк ее длился довольно долго, прежде чем ее пробудили от него звуки несуществующего оркестра, и удивилась, как она не заметила времени? Она торопливо заперла дверь в залу на ключ, помолилась наскоро пред образом, разделась, поставила свечу на предпостельном столике и села в одной сорочке и кофте на диване, который служил ей кроватью, и снова задумалась.

Так прошел еще час. Висленев все не возвращался еще; а Лариса все сидела в том же положении, с опущенною на грудь головой, с одною рукой, упавшею на кровать, а другою окаменевшею с перстом на устах. Черные волосы ее разбегались тучей по белым плечам, нескромно открытым воротом сорочки, одна нога ее еще оставалась в нескинутой туфле, меж тем как другая, босая и как мрамор белая, опиралась на голову разостланной у дивана тигровой шкуры.

– Господи! – думала она, мысленно проведя пред собой всю свою недолгую прошлую жизнь. – Какой путь лежит предо мною и чем мне жить. В каком капризе судьбы и для чего я родилась на этот свет, и для чего я, прежде чем начала жить, растеряла все силы мои? Зачем предо мною так беспощадно одни осуждали других и сами становились все друг друга хуже? Где же идеал?.. Я без него… Я вся дитя сомнений: я ни с кем не согласна и не хочу соглашаться. Я не хочу бабушкиной морали и не хочу морали внучек. Мне противны они и противны те, кто за них стоит, и те, кто их осуждает. Это все люди с концом в самом начале своей жизни… А где же живая душа с вечным движением вперед? Не дядя ли Форов, замерзший на отжившей старине; не смиренный ли Евангел; не брат ли мой, мой жалкий Иосаф, или не Подозеров ли, – Испанский Дворянин, с одною вечною и неизменною честностью? Что я буду делать с ним? Я не могу же быть… испанскою

дворянкой! Я хочу… ничего не хотеть, и… Этот человек… Горданов… в нем мой покой! Я его ненавижу и… я люблю его… Я люблю этот трепет и страх, которые при нем чувствую! Боже, какое это наказание! Меня к нему влечет неведомая сила, и между тем… он дерзок, нагл, надменен… даже, может быть, не честен, но… он любит меня… Он любит меня, а любовь творит чудеса, и это чудо над ним совершу я!..

Лариса покраснела и вздрогнула.

Может быть, что ее испугала свеча, которая горела тихо и вдруг вспыхнула: на нее метнулась ночная бабочка и, опалив крылышки, прилипла к стеарину и затрепетала. Лариса осторожно сняла насекомое со свечи и в особенном соболезновании вытерла его крылышки и хотела уже встать, чтобы выпустить бабочку в сад, как взглянула в окно и совсем потерялась.

В узкой полосе стекла между недошедшею на вершок до подоконника шторой на нее смотрели два черные глаза; она в ту же минуту узнала эти глаза: то были глаза Горданова.

Первым впечатлением испуганной и сконфуженной Лары было чувство ужаса, затем весьма понятный стыд, потому что она была совсем раздета. Затем первое ее желание было закричать, броситься к тетке и разбудить ее, но это желание осталось одним желанием: открытые уста Ларисы только задули свечу и не издали ни малейшего звука.

Глава тринадцатая
В ожидании худшего

Оставшись впотьмах и обеспеченная лишь тем, что ее теперь не видно, Лара вскочила и безотчетно взялась за положенный на кресле пеньюар.

А между тем, когда в комнате стало темнее, чем в саду, где был Горданов, Ларисе стал виден весь движущийся контур его головы.

Горданов двигался взад и вперед вдоль подзора шторы: им, очевидно, все более овладевало нетерпение, и наглость его бушевала бессилием…

Ларисе еще представлялась полная возможность тихо разбудить тетку, но она этого не сделала. Мысль эта отошла на второй план, а на первом явилась другая. Лара спешною рукой накинула на себя пеньюар и, зайдя стороной к косяку окна, за которым метался Горданов, тихо ослабила шнурок, удерживавший занавеску.

Штора сползла и подзор закрылся, но это Горданову только придало новую смелость, и он сначала тихо, а потом все смелей и смелей начал потрогивать раму.

Девушка не могла себе представить, до чего это может дойти и, отступя внутрь комнаты, остановилась. Горданов не ослабевал: страсть и дерзость его разгорались: в комнате послышался даже гул его говора.

Лара опять метнулась к двери, которая вела в столовую, где спала тетка, и… с незнакомым до сих пор чувством страстного замирания сердца притворила эту дверь.

Ей пришло на мысль, что если она разбудит тетку, то та затеет целую историю и непременно станет обвинять ее в том, что она сама подала повод к этой наглости. Но Катерина Астафьевна спала крепким сном, и хотя Лариса было перепугалась, когда дверь немножко пискнула на своих петлях, однако испуг этот был совершенно напрасен. Лара приложила через минуту ухо к дверному створу и убедилась, что тетка спит, – в этом убеждало ее сонное дыхание Форовой. А Горданов не отставал в этом и продолжал свои настойчивые хлопоты вокруг рамы.

– Этой дерзости нельзя же оставить так, да и, наконец, это дойдет Бог знает до чего: Катерина Астафьевка может проснуться и… еще хуже: внизу, в кухне, может все это услышать прислуга…

Она ощутила в себе решимость и силу самой отстоять свою неприкосновенность и подошла к окну, – минута, и край шторы зашевелился.

Горданов опять качнул раму.

Лариса положила трепещущую руку на крючок и едва лишь его коснулась, как эта рама распахнулась, и рука Лары словно в тисках замерла в руке Горданова.

– Ты открыла, Лариса! я так этого и ждал: тебе должна быть чужда пустая жеманность, – заговорил Павел Николаевич, страстно целуя руку Лары.

– Я вовсе не для того… – начала было Лара, но Горданов ее перебил.

– Это все равно, я не мог не видеть тебя!.. прости меня!..

– Уйдите.

– Я обезумел от любви к тебе, Лара! Твоя краса мутит мой разум!

– Уйдите, молю вас, уйдите.

– Ты должна знать все… я иду умирать за тебя!

– За меня?!

– И я хотел тебя видеть… я не мог отказать себе в этом… Дай же, дай мне и другую твою ручку! – шептал он, хватая другую, руку Лары и целуя их обе вместе. – Нет, ты так прекрасна, ты так несказанно хороша, что я буду рад умереть за тебя! Не рвись же, не вырывайся… Дай наглядеться… теперь… вся в белом, ты еще чудесней… и… кляни и презирай меня, но я не в силах овладеть собой: я раб твой, я… ранен насмерть… мне все равно теперь!

Ларисе показалось, что на глазах его показались слезы: это ее подкупило.

– Пустите меня! нас непременно увидят… – чуть слышно прошептала Лара, в страхе оборачивая лицо к двери теткиной комнаты. Но лишь только она сделала это движение, как, обхваченная рукой Горданова, уже очутилась на подоконнике и голова ее лежала на плече Павла Николаевича. Горданов обнимал ее и жарко целовал ее трепещущие губы, ее шею, плечи и глаза, на которых дрожали и замирали слезы.

Лариса почти не оборонялась: это ей было и не под силу; делая усилия вырваться, она только плотнее падала в объятия Горданова. Даже уста ее, теперь так решительно желавшие издать какой-нибудь звук, лишь шевелились, невольно отвечая в этом движении поцелуям замыкавших их уст Павла Николаевича. Лара склонялась все более и более на его сторону, смутно ощущая, что окно под ней уплывает к ее ногам; еще одно мгновение, и она в саду. Но в эту минуту залаяла собака и по двору послышались шаги.

Горданов посадил Лару на подоконник и, тихо прикрыв раму, пошел чрез садовую калитку на двор и поймал здесь на крыльце Висленева.

– Чего ты здесь, Павел Николаевич? – осведомился у него Иосаф.

– Вот вопрос! Как чего я здесь? Что же ты, любезный; верно забыл, что такое мы завтра делаем? – отвечал Горданов.

– Нет, очень помню: мы завтра стреляемся.

– А если помнишь, так надо видеть, что уже рассветает, а в пять часов надо быть на месте, которого я, вдобавок, еще и не знаю.

– Я буду, Поль, буду, буду.

– Ну, извини, я тебе не верю, а пойдем ночевать ко мне. Теперь два часа и ложиться уже некогда, а напьемся чаю и тогда как раз будет время ехать.

– Да, вот еще дело-то: на чем ехать?

– Вот то-то оно и есть! А еще говоришь: «буду, буду, буду», и сам не знаешь, на чем ехать! Переоденься, если хочешь, и идем ко мне, – я уже припас извозчика.

Висленев пошел переодеться; он приглашал взойти с собою и Горданова, но тот отказался и сказал, что он лучше походит и подождет в саду.

Лишь скрылся Висленев, Горданов подбежал к Ларисиному окну и чуть было попробовал дверцу, как она сама тихо растворилась. Окно было не заперто, и Лара стояла у него в прежнем положении.

Горданов ступил ногой на фундамент и страстно прошептал:

– Поцелуй меня еще раз, Лара.

Лариса молчала.

– Сама! Лара! я прошу, поцелуй меня сама! Ты мне отказываешь?

Лара колебалась.

– Лара, исполни этот мой каприз, и я исполню все, чего ты захочешь… Ты медлишь?.. Ты не хочешь?

На дворе послышался голос Висленева, призывавший Павла Николаевича.

– Идите… брат мой, – прошептала Лара.

– Кто этот брат? он во…

– О, Боже! не договаривайте… Он идет.

– Ну, знай же: если так, – я не уйду без твоего поцелуя!

Лара в страхе подвинулась к нему и, робко прильнув к его губам устами, кинулась назад в комнату.

Горданов сорвал этот штос и исчез.

Когда кончилась процедура поцелуев, Лариса, как разбитая, обернулась назад и попятилась: пред нею, в дверях, стояла совсем одетая Форова.

– Послушай! – говорила охриплым и упалым голосом майорша. – Послушай! запри за мной двери, или вели запереть.

– Куда это вы? – прошептала Лара.

– Домой.

– Зачем… зачем… вы все…

– Не знаю как всем, а мне здесь не место.

И Форова повернулась и пошла. Лара ее догнала в зале и, схватив тетку за руку, сама потупилась.

– Пусти меня! – проговорила Форова.

– Одну минутку еще!..

– Ни одной, ни одной секунды здесь быть не хочу, после того, что я видела своими глазами.

Лара зарыдала.

– Так зачем же, зачем же вы… его при мне бранили, обижали? Боже! Боже!

– Вот так и есть! Мы же виноваты?

Но Лариса в ответ на это только зарыдала истерическим рыданьем.

Глава четырнадцатая
В ожидании смерти

Форов провел эту ночь у Подозерова; майор как пришел, так и завалился и спал, храпя до самого утра, а Подозеров был не во сне и не в бдении. Он лежал с открытыми глазами и думал: за что, почему и как он идет на дуэль?..

– Они обидели меня клеветой, но это бы я снес; но обиды бедной Ларе, но обиды этой другой святой женщине я снесть не могу! Я впрочем… с большим удовольствием умру, потому что стыдно сознаться, а я разочарован в жизни; не вижу в ней смысла и… одним словом, мне все равно!

И вдруг после этого Подозеров погрузился в сосредоточенную думу о том: как шла замуж Синтянина! и когда его в три часа толкнул Форов, он не знал: спал он или не спал, и только почувствовал на лбу холодные капли пота.

Форов пил чай и сам приготовлял и подавал чай хозяину.

– Теперь подите-ка вот сюда! – позвал его майор в спальню. – Завещание у вас про всякий случай готово? Я говорю, про всякий случай.

– Зачем? имущества у меня нет никакого, – а что есть, раздавайте бедным. – Подозеров улыбнулся и добавил: – это тоже про всякий случай!

– Да так, но все-таки… это делают: причину, может быть, пожелаете объяснить… из-за чего?.. Волю, желание свое кому-нибудь сообщить?..

– Из-за чего? А кому до этого дело? Если вас спросят, из-за чего это было, то скажите пожалуйста, что это ни до кого не касается.

– Что же, и так bene![45] И еще вот что, – продолжал он очень серьезно и с расстановкой: – вы знаете… я принадлежу к так глаголемым нигилистам, – не к мошенникам, которые на эту кличку откликаются, а к настоящим… староверческим нигилистам древляго благочестия…

– Хорошо-с, – отвечал, снова улыбнувшись, Подозеров.

– То-то еще хорошо ли это, я… этого, по правде вам сказать, и сам достоверно не знаю. Я, как настоящий нигилист, сам свои убеждения тоже, знаете… невысоко ставлю. Черт их знает: кажется, что-нибудь так, а… ведь все оно может быть и иначе… Я, разумеется, в жизнь за гробом не верю и в Бога не верю… но…

– Вы верно хотите, чтоб я помолился Богу? – перебил Подозеров.

– Да, я этого особенно не хочу, а только напоминаю, – отвечал, крепко сжав его руку, майор. Вы не смейтесь над этим, потому что… кто знает, чего нельзя узнать.

– Да я и не смеюсь: я очень рад бы помолиться, но я тоже…

– Да, понимаю: вы деист, но не умеете молиться… считаете это лишним. Пожалуй!

– Но я по вашему совету пробегу одну-две главы из Евангелия.

– И прекрасно, мой совет хоть это сделать, потому что… я себе верен, я не считаю этого нужным, но я это беру с утилитарной точки зрения: если там ничего нет, так это ничему и не помешает… Кажется не помешает?

– Разумеется.

– А как если есть!.. Ведь это, как хотите, ошибиться не шутка. Подите-ка уединитесь.

И майор, направляя Подозерова в его комнату, затворил за ним двери.

Когда они опять сошлись, Форов счел нужным дать Подозерову несколько наставлений, как стоять на поединке, как стрелять и как держаться.

Подозеров все это слушал совершенно равнодушно.

В четыре часа они спохватились, на чем им ехать. С вечера эта статья была позабыта, теперь же ее нельзя было исправить.

Рискуя опоздать, они решились немедленно отправиться пешком и шли очень скоро. Утро стояло погожее, но неприятное: ветреное и красное.

Дорогой с ними не случилось ничего особенного, только и майор, и Подозеров оба немножко устали.

Но вот завиделся и желтый, и песчаный холм посреди молодого сосенника: это Корольков верх, это одно роковое условное место.

Форов оглянулся вокруг и, сняв фуражку, обтер платком лоб.

– Их нет еще значит? – спросил Подозеров.

– Да; их, значит, нет. Вы сядьте и поотдохните немножко.

– Нет, я ничего… я совсем не устал.

– Не говорите: переходы в этих случаях ужасно нехороши: от ходьбы ноги слабеют и руки трясутся и в глазу нет верности. И еще я вам вот что хотел сказать… это, разумеется, может быть, и не нужно, да я даже и уверен, что это не нужно, но про всякий случай…

– Пожалуйста: что такое?

– Когда вы молились…

– Ну-с?

– Указали ли вы надлежащим образом, что ведь то… зачем вы пришли сюда, неправосудно будет рассматривать наравне с убийством? Ведь вот и пророки и мученики… за идею… умирали и…

– Да зачем же это указывать? Поставить на вид что ли? – И Подозеров даже искренно рассмеялся.

Форов подумал и отвечал:

– Да ведь я не знаю, как это надо молиться, или… мириться с тем, чего не знаю.

– Нет, вы это знаете лучше многих! – проговорил Подозеров, дружески сжав руку майора. – Я не могу представить себе человека, который бы лучше вас умел доказать, что хорошая натура всегда остается хорошею, во всякой среде и при всяком учении.

– Ну, извините меня, а я очень могу себе представить такого человека, который может все это гораздо лучше меня доказать.

– Кто же это?

– Девица Ванскок в Петербурге. А вот кто-то и едет.

За леском тихо зарокотали колеса: это подъехали Висленев и Горданов.

Обе пары пошли, в некотором друг от друга расстоянии, к одной и той же песчаной поляне за кустами.

Форов пригласил Висленева в сторону и они начали заряжать пистолеты, то есть, лучше сказать, заряжал их Форов, а Висленев ему прислуживал. Он не умел обращаться с оружием и притом праздновал трусу.

Подозеров глядел на песок и думал, что кровь здесь будет очень быстро впитывать. Горданов держал себя соколом.

Форов с важностью должностного лица начал отсчитывать шаги, и затем Подозеров и Горданов были поставлены им на урочном

расстоянии лицом друг к другу.

Дерзкий взгляд и нахальная осанка не покидали Горданова.

«Это черт знает что! – думал Форов. – Знаю, уверен и не сомневаюсь, что он естественный и презреннейший трус, но что может значить это его спокойствие? Нет ли на нем лат? Да не на всем же на нем латы? Или… не известили ли они, бездельники, сами полицию и не поведут ли нас всех отсюда на съезжую? Чего доброго: от этой дряни всего можно ожидать».

Но Форов не все предугадывал и ожидал совсем не того, на что рассчитывал, держа высоко свою голову, Горданов.

Глава пятнадцатая
Секрет

Александра Ивановна, выпроводив гостей, видела, как работник запер калитку, поманил за собою собак и ушел спать на погребицу.

Синтянина подошла к окну и глядела через невысокий тын на широкие поля, на которых луна теперь выдвигала прихотливые очертания теней от самых незначительных предметов на земле и мелких облачков, бегущих по небу.

Вера сняла дневное платье, надела свою белую блузку, заперла дверь, опустила белые шторы на окнах, в которые светила луна и, стоя с лампой посреди комнаты, громко топнула.

Синтянина оглянулась.

– Ты не будешь спать? – спросила Вера своими знаками мачеху.

– Нет, мне не хочется спать.

– Да ты и не спи.

– Зачем?

Девочка улыбнулась и отвечала: «Так… теперь хорошо», и с этим она вошла в спаленку, легла на свой диван под материным портретом, завешенным кисеей, и погасила лампу.

Это Александре Ивановне не понравилось, тем более, что вслед за тем как погас свет, в спаленке послышался тихий шорох и при слабом свете луны, сквозь опущенную штору, было заметно какое-то непокойное движение Веры вдоль стены под портретом ее матери.

Александра Ивановна с неудовольствием зажгла свечу и взошла в спальню. Вера лежала на своем месте и казалось спала, но сквозь сон тихо улыбалась. У нее бывал нередко особый род улыбок, добрых, но иронических, которые несколько напоминали улыбки опытной няни, любящей ребенка и насмехающейся над ним. Александра Ивановна в течение многих лет жизни с глухонемою падчерицей никогда не могла привыкнуть к этим ее особенным улыбкам, и они особенно неприятно подействовали на нее сегодня, после шалости Веры в осиннике. Генеральша давно была очень расстроена всем, что видела и слышала в последнее время; а сегодня ее особенно тяготили наглые намеки на

ее практичность и на ее давнюю слабость к Висленеву, и старые раны в ее сердце заныли и запенились свежею кровью.

– Нет, этого невозможно так оставить: я могу умереть внезапно, мгновенно, со всею тяжестью этих укоризн… Нет, этого нельзя! Пока я жива, пускай говорят и думают обо мне что хотят, но память моя… она должна быть чиста от тех пятен, которые кладут на нее и которых я не хочу и не могу снять при жизни. Зачем откладывать вдаль? – Я теперь взволнована, и все давно минувшее предо мною встает свежо, как будто все беды жизни ударили в меня только сию минуту. Я все чувствую, все помню, вижу, знаю и теперь я в силах передать все, что и зачем я когда сделала. Стало быть, настал час, когда мне надо открыть это, и Горданов принес мне пользу, заставив меня за это взяться.

С этим генеральша торопливо переменила за ширмой платье на блузу и, распустив по спине свои тучные косы, зажгла лампу. Установив огонь на столе, она достала бумагу и начала писать среди нерушимого ночного молчания.

«Призвав Всемогущего Бога, которому верую и суда которого несомненно ожидаю, я, Александра Синтянина, рожденная Гриневич, пожелала и решилась собственноручно написать нижеследующую мою исповедь. Делаю это с тою целию, чтобы бумага эта была вскрыта, когда не будет на свете меня и других лиц, которых я должна коснуться в этих строках: пусть эти строки мои представят мои дела в истинном их свете, а не в том, в каком их толковали все знавшие меня при жизни.

Я, незаметная и неизвестная женщина, попала под колесо обстоятельств, накативших на мое отечество в начале шестидесятых годов, которым принадлежит моя первая молодость. Без всякого призвания к политике, я принуждена была сыграть роль в событиях политического характера, о чем, кроме меня, знает только еще один человек, но этот человек никогда об этом не скажет. Я же не хочу умереть, не раскрыв моей повести, потому что человеку, как бы он ни был мал и незаметен, дорога чистота его репутации.

По всеобщему мнению знающих меня людей, я позорно сторговала собою при моем замужестве и погубила моим вероломством человека, подававшего некогда большие надежды. Это клевета, а дело было вот как. Я с детских почти лет считалась невестой

Иосафа Платоновича Висленева, которого любила первою детскою любовью. Он, по его словам, тоже любил меня, чему я, впрочем, имею основания не верить. И вот ему-то я и изменила, кинула его в несчастии, вышла замуж за генерала и провожу *счастливую жизнь*… Так думают все, и я в этом никого не разуверяю, однако же все-таки это не так. В самой ранней нашей юности между нами с Висленевым обнаружились непримиримые и несогласимые разности во взглядах и симпатиях: то время, которое я отдавала приготовлению к жизни, он уже посвящал самой жизни, но жизни не той, которую я считала достойною сил и мужества отвечающего за себя человека. В нем была бездна легкомысленности, которую он считал в себе за отвагу; много задора, принимавшегося им за энергию; масса суетности, которая казалась ему пренебрежением к благам жизни, и при всем этом полное пренебрежение к спокойствию и счастию ближних. Я все это заметила в нем очень рано и знала гораздо ближе всех сторонних людей, которых Висленев мог обманывать шумом и диалектикой, но, узнав и изучив его пороки, я все-таки никогда не думала от него отрекаться. Я знала, что я не могу ожидать истинного счастия с таким человеком, который чем далее, тем более научался и привыкал относиться с непростительным, легкомысленным неуважением ко всему, к чему человеку внушается почтение самою его натурой. Я видела, что мы с ним не можем составить пары людей, которые могли бы восполнять друг друга и служить один другому опорой в неудачах и несчастиях. Мы ко всему относились розно, начиная с наших ближайших родных и кончая родиной. Но тем не менее я любила этого несчастного молодого человека и не только готовилась, но и хотела быть его женой, в чем свидетельствуюсь Богом, которому видима моя совесть. Я назначала мою жизнь на то, чтобы беречь его от его печальных увлечений; я знала, что во мне есть своя доля твердости и терпения, с которыми можно взяться преодолеть шероховатости довольно дурной натуры. Но, увы! у того, о ком я говорю, не было никакой натуры. Это был первый видимый мною человек довольно распространенного нынче типа несчастных людей, считающих необходимостью быть причисленными к чему-нибудь новому, модному и не заключающих сами в себе ничего. Это люди, у которых беспокойное воображение одолело ум и заменило чувства. Помочь им, удерживать их и регулировать нельзя: они уносятся как дым, тают как облако,

выскользают как мокрое мыло. Женщине нельзя быть ни их подругой, ни искать в них опоры, а для меня было необходимо и то, и другое; я всегда любила и уважала семью. Висленев окончил курс, приехал домой, поступил на службу и медлил на мне жениться, я не знаю почему. Я полагаю, что я ему в то время разонравилась за мою простоту, которую он счел за бессодержательность, – я имею основание так думать, потому что он не упускал случая отзываться с иронией, а иногда и прямо с презрением о женщинах такого простого образа мыслей, каков был мой, и таких скромных намерений, каковы были мои, возникшие в семье простой и честной, дружной, любящей, но в самом деле, может быть, чересчур неинтересной. Его идеалом в то время были женщины другого, мне вовсе неизвестного, но и незавидного для меня мирка. Он с жаром говорил о покинутых им в Петербурге женщинах, презирающих брак, ненавидящих домашние обязанности, издевающихся над любовью, верностью и ревностью, не переносящих родственных связей, говорящих только „о вопросах“ и занятых общественным трудом, школами и обновлением света на необыкновенных началах. Мне все это представлялось очень смутно: я Петербурга никогда не видала, о жизни петербургской знала только понаслышке да из книг, но я знала, что если есть такие женщины, которыми бредил Висленев, то именно в среде их только и может быть отыскана та или те, которые могли бы слиться с ним во что-нибудь гармоническое. Я обдумала это, и найдя, что я ему по всему не пара, что я ему скорее помеха, чем помощница, решила предоставить наши отношения судьбе и времени. Не скажу, чтоб это мне было особенно тяжко, потому что любовь моя к нему в это время была уже сильно поколеблена и притуплена холодным резонерством, которым он обдавал мои горячие порывы к нему в письмах. Потом он мне сказал однажды, что, по его мнению, „истинна только та любовь, которая не захватывает предмет своей привязанности в исключительное обладание себе, но предоставляет ему всю ширь счастья в свободе“. После этих слов, которые я поняла во всей их безнатурности и цинизме, со мною произошло нечто странное: они возбудили во мне чувство… неодолимой гадливости, – человек этот точно отпал от моего сердца и уже более никогда к нему не приближался, хотя тем не менее я бы все-таки пошла за него замуж, потому что я его безмерно

жалела. Но Бог решил иначе. Он судил мне другую долю и в ней иные испытания.

Вращаясь в кружке тревожных и беспристальных людей, Висленев попал в историю, которую тогда называли политическою, хотя я убеждена, что ее не следовало так называть, потому что это была не более как ребяческая глупость и по замыслу, и по способам осуществления; но, к сожалению, к этому относились с серьезностью, для которой без всякого труда можно бы указать очень много гораздо лучших и достойнейших назначений. Иосаф Висленев был взят и в бумагах его был отыскан дерзостнейший план, за который автора, по справедливости, можно было бы посадить, если не в сумасшедший, то в смирительный дом, но, что всего хуже, при этом плане был длинный список лиц, имевших неосторожность доверяться моему легкомысленному жениху. Мой отец был возмущен этим до глубины души, и в то время как Иосаф Висленев, в качестве политического арестанта, пользовался в городе почти общим сочувствием, у нас в доме его строго осуждали, и я признавала эти осуждения правильными.

Легкомысленность, составляющая недостаток человека, пока он вредит ею только самому себе, становится тяжким преступлением, когда за нее страждут другие. Таково было мнение моего умного и честного отца, таковы же были и мои убеждения, и потому мы к этому отнеслись иначе, чем многие.

Дело Висленева было в наших глазах ничтожно по его несбыточности, но он, конечно, должен был знать, что его будут судить не по несбыточности, а по достоинству его намерений, и, несмотря на то, что играл не только репутацией, но даже судьбой лиц, имеющих необдуманность разделять его ветреные планы и неосторожность вверить ему свои имена. Он погибал не один, но предавал с собою других таких же, как он, молодых людей, в которых гибли лучшие надежды несчастных отцов, матерей, сестер и мне подобных невест. Отец мой пользовался некоторым доверием и расположением генерала Синтянина, который жил с нами на одном дворе и сватался однажды ко мне во время видимого охлаждения ко мне Висленева, но получил отказ. Дело во многом от него зависело. Я это знала и… мне вдруг пришла мысль… но, впрочем, буду рассказывать по порядку.

Был страшный, вечно живой и незабвенный для меня вечер, когда мы, вскоре после ареста Висленева, говорили с моим отцом об этом деле. Солидный и честный отец мой был очень взволнован, он не запрещал мне и теперь выйти за Висленева, но он не скрывал, что не хотел бы этого. Он говорил, что это человек с преступным, ничего не щадящим легкомыслием, и я в глубине души с ним согласилась, что женщине нечего делать с таким человеком. Может быть, это было несколько преувеличено, но вечная безнатурность Висленева, сквозь которую, как копье сквозь тень, проникали все просьбы, убеждения и уроки прошлого, внушала мне чувство страшной безнадежности. Если б он был подвержен самым грубым страстям и порокам, я бы их так не страшилась; если б он был жесток, я бы надеялась смягчить его; если б он был корыстолюбив, я бы уповала подавить в нем эту страсть; если б он имел позорные пристрастия к вину или к картам, я бы старалась заставить его их возненавидеть; если б он был развратен, я бы надеялась устыдить его; но у него не было брошено якоря ни во что; он тянулся за веяниями, его сфера была разлад, его натура была безнатурность, его характер был бесхарактерность. Его могло пересоздать одно: большое горе, способное вдруг поднять со дна его души давно недействующие силы. Вся жизнь моя явилась предо мной как бы в одной чаше, которую я должна была или бережно донести и выпить на положенном месте, или расплескать по сорному пути. Я вдруг перестала быть девушкой, жившею в своих мечтах и думах, и почувствовала себя женщиной, которой нечто дано и с которой, по вере моей, нечто спросится за гробом. (Я всегда верила и верую в Бога просто, как велит церковь, и благословляю Провидение за эту веру). Внутренний голос отвечал за меня отцу моему, что мне нельзя быть женой Висленева. Внутренний же голос (я не могу думать иначе), из уст моего отца, сказал мне путь, которым я должна была идти, чтобы чем-нибудь облегчить судьбу того, которого я все-таки жалела.

Отец благословил меня на страдания ради избавления несчастных, выданных моим женихом. Это было так. Он сказал: „Не я научу тебя покинуть человека в несчастии, ты можешь идти за Висленевым, но этим ты не спасешь его совести и людей, которые ради его гибнут. Если ты жалеешь его – пожалей их; если ты женщина и христианка, поди спаси их, и я… не стану тебя удерживать: я сам,

моими старыми руками, благословляю тебя, и скрой это, и Бог тебя тогда благословит“.

Отец не знал, в какие роковые минуты нравственной борьбы он говорил мне эти слова, или он знал более чем дано знать нашему чувственному ведению. Он рисовал мне картину бедствий и отчаяния семейств тех, кого губил Висленев, и эта картина во всем ее ужасе огненными чертами напечатлелась в душе моей; сердце мое преисполнилось сжимающей жалостью, какой я никогда ни к кому не ощущала до этой минуты, жалостью, пред которою я сама и собственная жизнь моя не стоили в моих глазах никакого внимания, и жажда дела, жажда спасения этих людей заклокотала в душе моей с такою силой, что я целые сутки не могла иметь никаких других дум, кроме одной: спасти людей ради их самих, ради тех, кому они дороги, и ради его, совесть которого когда-нибудь будет пробуждена к тяжелому ответу. В душе моей я чувствовала Бога: я никогда не была так счастлива, как в эти вечно памятные мне минуты, и уже не могла позволить совершиться грозившему несчастию, не употребив всех сил отвратить его. Тогда впервые я почувствовала, что на мой счет заблуждались все, считая меня спокойною и самообладающею; тут я увидела, что в глубине моей души есть лава, которой мне не сдержать, если она вскипит и расколышется. Я должна была идти спасать их, чужих мне по убеждениям и вовсе мне незнакомых людей; в этом мне показалось *мое призвание*. Он сам в своих разговорах не раз указывал мне путь к такому служению, он говорил о женщинах, которые готовы были отдавать себя самих за избранное ими дело, а теперь средства к такому служению были в моих руках. Я уже сказала, что генерал Синтянин, нынешний муж мой, от которого зависело все, или, по крайней мере, очень многое для этих несчастных, искал руки моей, и после моего отказа в ней мстил отцу моему. Я была очень недурна собою: мою голову срисовывали художники для своих картин; известный скульптор, проездом чрез наш город, упросил моего отца дозволить ему слепить мою руку. Я была очень стройна, свежа, имела превосходный цвет лица, веселые большие голубые глаза и светло-золотистые волосы, доходившие до моих колен. Души моей генерал не знал, и я понимала, что я против воли моей внушала ему только одну страсть. Это было ужасно, но я решила воспользоваться этим, чтобы совершить мой подвиг. (Я называю его подвигом потому, что генерал

Синтянин внушал мне не только отвращение, которое, может быть, понятно лишь женщине, но он возбуждал во мне ужас, разделявшийся в то время всеми знавшими этого человека. Он был вдов, и смерть жены его, по общей молве, лежала на его совести). Молодая душа моя возмущалась при одной мысли соединить жизнь мою с жизнью этого человека, но я на это решилась… Предо мной стоял Христос с его великой жертвой и смятения мои улегались. Я много молилась о даровании мне силы, и она была мне ниспослана.

Утром одного дня, отстояв раннюю обедню в одиноком храме, я вошла в дом генерала, и тут со мною случилось нечто чудесное. Чуть я отворила дверь, вся моя робость и все сомнения мои исчезли; в груди моей забилось сто сердец, я чувствовала, как множество незримых рук подхватили меня и несли, как бы пригибая и сглаживая под ногами моими ступени лестницы, которою я всходила. Экзальтация моя достигала высочайшей степени; я действительно ощущала, что меня поддерживают и мною руководят извне какие-то невидимые силы. Ни моя молодость и неопытность, ни прямота моей натуры и большое мое доверие к людям, ничто не позволяло мне рассчитывать, что я поведу дело так ловко, как я повела его. Когда я перечитываю библейскую повесть о подвиге жены из Витулии, мне, конечно, странно ставить себя, тогдашнюю маленькую девочку, возле этой библейской красавицы в парче и виссоне, но я, как и она, не забыла даже одеться к лицу. Не забываю никаких мелочей из моих экзальтаций этого дня: мне всегда шло все черное, и я приняла это в расчет: я была в черном мериносовом платье и черной шляпке, которая оттеняла мои светло-русые волосы и давала мне вид очень красивого ребенка, но ребенка настойчивого, своенравного и твердого, не с детскою силой.

Я приступила к делу прямо. Оставшись наедине с Синтяниным, я предложила ему купить мое согласие на брак с ним добрым делом, которое заключалось в облегчении судьбы Висленева и его участников. Я отдавала все, что было у меня, всю жизнь мою, с обетом не нарушить слова и верною дойти до гроба; но я требовала многого, и я теперь еще не знаю, почему я без всяких опытных советов требовала тогда именно того самого, что было нужно. Я повторяю, что там была не я: в моей груди кипела сотня жизней и билось сто сердец, вокруг меня кишел какой-то рой чего-то странного, меня учили говорить, меня сажали, поднимали, шептали в уши мне какие-то слова, и в этом

чудном хаосе была, однако, стройность, благодаря которой я все уладила. Остановить дело было невозможно, это уже было не во власти Синтянина, но я хотела, чтобы поступки и характер Висленева получили свое настоящее определение, чтоб источником его безрассудных дел было признано его легкомыслие, а не злонамеренность, и чтобы мне были вручены и при мне уничтожены важнейшие из компрометировавших его писем, а, главное, списки лиц, писанные его рукой. Я не уступала из этого ничего; я вела торг с тактом, который не перестает изумлять меня и поныне. Я была тверда, осторожна и неуступчива, и я выторговала все. Мне помогали моя тогдашняя миловидность и свежесть и оригинальность моего положения, сделавшая на Синтянина очень сильное впечатление. Ему именно хотелось купить себе жену, и он купил у меня мою руку тою ценою, какой я хотела: любуясь мною, он дал мне самой выбрать из груды взятых у Висленева бумаг все, что я признавала наиболее компрометирующим его и других, и я в этом случае снова обнаружила опытность и осторожность, которую не знаю чему приписать. Все это было сожжено… но сожжено вместе с моею свободой и счастьем, которые я спалила на этом огне.

Я дала слово Синтянину выйти за него замуж, и сдержала это слово: в тот день, когда было получено сведение об облегчении участи Висленева, я была обвенчана с генералом при всеобщем удивлении города и даже самих моих добрых родителей. Это был мой первый опыт скрыть от всех настоящую причину того, что я сделала по побуждениям, может быть слишком восторженным и, пожалуй, для кого-нибудь и смешным, но, надеюсь – во всяком случае не предосудительным и чистым. Принесла ли я этим пользу и поступила ли осмотрительно и честно, пусть об этом судит Бог и те люди, которым жизнь моя будет известна во всей ее истине, как я ее нынче исповедую, помышляя день смертный и день страшного суда, на котором обнажатся все совести и обнаружатся все помышления. Я поступала по разумению моему и неотразимому влечению тех чувств, которым я повиновалась. Долго размышлять мне было некогда, а советоваться не с кем, и я спасла как умела и как могла людей, мне чуждых. Более я не скажу ничего в мое оправдание, и пусть всеблагой Бог да простит всем злословящим меня людям их клеветы, которыми

они осыпали меня, изъясняя поступок мой побуждениями суетности и корыстолюбия.

Случай, устроивший странную судьбу мою, быть может, совершенно исключительный, но полоса смятений на Руси еще далеко не прошла: она, может быть, только едва в начале, и к тому времени, когда эти строки могут попасть в руки молодой русской девушки, готовящейся быть подругой и матерью, для нее могут потребоваться иные жертвы, более серьезные и тягостные, чем моя скромная и безвестная жертва: такой девушке я хотела бы сказать два слова, ободряющие и укрепляющие силой моего примера. Я хочу сказать, что страшных и непереносимых жертв нет, когда несешь их с сознанием исполненного долга. Несмотря на тяжелый во многих отношениях путь, на который я ступила, я никогда не чувствовала себя на нем несчастною свыше моих сил. В пожертвовании себя благу других есть такое неописанное счастие, которое дарит спокойствие среди всех нравственных пыток и мучений. А каждое усилие над собою дает душе новые силы, которым наконец сам удивляешься. Пусть мне в этом поверят. Я опытом убеждена и свидетельствую, что человек, раз твердо и непреклонно решившийся восторжествовать над своею земною природой и ее слабостями, получает неожиданную помощь оттуда, откуда он ждал ее, и помощь эта бывает велика и могуча, и при ней душа крепнет и закаляется до того, что ей уже нет страхов и смятений. Жизнь моя прошла не без тревог. Я отдала мужу моему все, что могла отдать того, чего у меня для него не было: я всегда была верна ему, всегда заботилась о доме, о его дочери и его собственном покое, но я никогда не любила его и, к сожалению, я не всегда могла скрыть это. Настолько душа и воля всегда оказывались безвластными над моею натурой. В первые годы моего замужества это было поводом к большим неприятностям и сценам, из которых одна угрожала трагическою развязкой. Муж, приписывая мою к нему холодность другому чувству, угрожал застрелить меня. Это было зимой, вечером, мы были одни при запертых окнах и дверях, спастись мне было невозможно, да я, впрочем, и сама не хотела спасаться. Жизнь никогда не казалась мне особенно дорогою и милою, а тогда она потеряла для меня всякую цену, и я встретила бы смерть, как высочайшее благо. Желание окончить с моим существованием минутами было во мне так сильно, что я даже рада была бы смерти, и потому, когда муж хотел

убить меня, я, не укрощая его бешенства, скрестила на груди руки и стала пред пистолетом, который он взял в своем азарте. Но в это мгновение из двери вырвалась моя глухонемая падчерица Вера и, заслонив грудь мою своею головой, издала столь страшный и непонятный звук, что отец ее выронил из рук пистолет и, упав предо мною на колени, начал просить меня о прощении. С тех пор я свободна от всяких упреков и не встречала ничего, за что могла бы жаловаться на судьбу мою. Я любима людьми, которых люблю сама; я пользуюсь не только полным доверием, но и полным уважением моего мужа и, несмотря на клеветы насчет причин моего выхода за Синтянина, теперь я почти счастлива… Я была бы почти счастлива, совершая долг свой, если бы… я могла *уважать* моего мужа. Людские укоризны меня порой тяготят, но ненадолго. Поэт говорит: „кто все переведал, тот все людям простил“. Живя на свете, я убедилась, что я была не права, считая безнатурным одного Висленева; предо мною вскрылись с этой же стороны очень много людей, за которых мне приходилось краснеть. Все надо простить, все надо простить, иначе нельзя найти мира со своей совестью. Тайны моей не знает никто, кроме моего мужа, но к разгадке ее несколько приближались мать Висленева и друг мой Катерина Форова: они решили, что я вышла замуж за Синтянина из-за того, чтобы спасти Висленева!.. Бедные друзья мои! Они считают это возможным и они думают, что я могла бы это сделать! Они полагают, что я не поняла бы, что такою жертвой нельзя спасти человека, если он действительно любит и любил, а напротив, можно только погубить его и уронить себя! Нет, если бы дело шло о нем одном, я скорее бы понесла за ним его арестантскую суму, но не разбила бы его сердца! Какая Сибирь и какая каторга может сравниться с горем измены? Какие муки тяжелее и ужаснее нестерпимых мучений ревности? Я знаю эту змею… Нет! Я отдала себя за людей, которых я никогда не знала и которые никогда не узнают о моем существовании. Висленеву не принадлежит более ни одной капли моей любви: я полна к нему только одного сожаления, как к падшему человеку. Он не любил меня, *он уступал меня свободе*, и я потеряла любовь к нему за это оскорбление! Эта уступка меня моей свободе вычеркнула его из моего сердца раз и навсегда и без возврата. Скажу более: ревность мужа я вспоминаю гораздо спокойнее, чем эту постыдную любовь. Я чувствую и знаю, что могла снести все

оскорбления лично мне, но не могла стерпеть оскорблений моего чувства. Это дело выше моих сил. Затем обязательства верности моему мужу я несу и, конечно, донесу до гроба ненарушимыми, хотя судьбе было угодно и здесь послать мне тяжкое испытание: я встретила человека, достойного самой нежной привязанности и… против всех моих усилий, я давно люблю его. Это случилось, повторяю, против моей воли, моих желаний и усилий не питать к нему ничего исключительного, но… Бог милосерд: он любит другую, годы мои уже уходят, и я усерднее всех помогаю любви его к другой женщине. Все нарушение обета, данного мною моему мужу, заключается в одном, и я этого не скрою: во мне… с той роковой поры, как я люблю… живет неодолимое упование, что этот человек будет мой, а я его… Я гоню от себя эту мысль, но она, как тень моя, со мной неразлучна, но я делаю все, чтоб ей не было возле меня места. О том, что я люблю его, он не знает ничего и никогда ничего не узнает».

В эту минуту Вера во сне рассмеялась и за стеной как бы снова послышался шорох.

Александра Ивановна вздрогнула, но тотчас же оправилась, подписала свое писанье, запечатала его в большой конверт и надписала:

«Духовный отец мой, священник Евангел Минервин, возьмет этот конверт к себе и вскроет его при друзьях моих после моей смерти и после смерти моего мужа».

Окончив эту надпись, Синтянина заперла конверт в ящик и, облокотясь на комод, стала у него и задумалась.

Глава шестнадцатая
Ходит сон и дрема говорит

Луна уже блекла и синела, наступала предрассветная пора, был второй час за полночь. Лампа на столе выгорела и стухла. Синтянина все стояла на одном и том же месте.

«Все это кончится, – думала она, – он женится на Ларе, и тогда…» Она задрожала и, хрустнув хладеющими руками, прошептала: «О боже, боже! И еще я же сама должна этому помогать… но ведь я тоже человек, в моей душе тоже есть ревность, есть эти страшные порывы к жизни. Неужто мало я страдала! Неужто… О, нет! Избавь, избавь меня от этого, Создатель! Пускай, когда я сплю, мне и во сне снится счастье. Все кончено! Зачем эти тревоги? Я жизнь свою сожгла и лучше мне забыть о всем, что думалось прошедшею порой. Чего мне ждать? Ко мне не может прилететь уж вестник радости, или он будет… вестник смерти… Его я жду и встречу и уйду за ним… Туда, где ангелы, где мученица Флора».

И в уме Александры Ивановны потянулась долгая, тупая пауза, он словно уснул, свободный от всех треволнений; память, устав работать, легла как занавес, сокрывший от зрителя опустелую сцену, и возобладавший дух ее унесся и витал в безмятежных сферах. Это прекрасное, легкое состояние, ниспосылаемое как бы в ослабу душе, длилось долго: свежий ветер предосеннего утра плыл ровным потоком в окно и ласково шевелил распущенной косой Синтяниной, целовал ее чистые щеки и убаюкивал ее тихим свистом, проходя сквозь пазы растворенной рамы. Природа дышала. И вот вздох один глубже другого: рама встряхнулась на петлях, задрожало стекло, словно кому-то тесно, словно кто-то спешит на свиданье, вот даже кто-то ворвался, вот сзади Синтяниной послышался электрический треск и за спиной у нее что-то блеснуло и все осветилось светло-голубым пламенем.

Александра Ивановна обернулась и увидала, что на полу, возле шлейфа ее платья, горела спичка.

Генеральша сообразила, что она верно зажгла спичку, наступив на нее и быстро отбросила ее от себя дальше ногой; но чуть лишь блеснул на полете этот слабый огонь, она с ужасом ясно увидела очень

странную вещь: скрытый портрет Флоры, с выколотыми глазами, тихо спускался из-под кутавшей его занавесы и, качаясь с угла на угол, шел к ней…

– Нет, Флора, не надо, не надо, уйди! – вскрикнула Синтянина, быстро кинувшись в испуге в противоположный угол и тотчас же сама устыдилась своего страха и крика.

«Может быть, ничего этого и не было и мне только показалось, а я, между тем, подняла такой шум?» – подумала она оправляясь.

Но между тем, должно быть, что-то было, потому что в спальне снова послышалось чёрканье спички, и два удара косточкой тонкого пальчика по столу возвестили, что Вера не спит.

Александра Ивановна оборотилась и увидела трепещущий свет; Вера сидела в постели и зажигала спичкой свечу.

«Не она ли и минуту тому назад зажгла и бросила спичку? Я, забывшись, могла и не слыхать этого, но… Господи! портрет, действительно, стоит пред столом! Он действительно сошел со стены и… *он шел*, но он остановился!»

Синтянина остолбенела и не трогалась.

Вера взяла в руки портрет и позвала мачеху.

– Зачем ты ее так оскорбила? – спросила она своими знаками генеральшу. – Это нехорошо, смотри, она тобой теперь огорчена.

Александра Ивановна вздрогнула, сделала два шага к Вере и, торопливо озираясь, сказала рукой:

– Куда ты заставляешь меня смотреть?

– Назад.

– Чего?.. Кто там? скажи мне: я робею…

– Гляди!.. Она оскорблена… Зачем ее бояться?

– Не пугай меня, Вера! Я сегодня больна! Я никого не оскорбила.

Но девочка все острей и острей глядела в одну точку и не обращала внимания на последние мачехины слова.

– Гляди, гляди! – показывала она, ведя пальцем руки по воздуху.

– Ах, отстань, Вера!.. Не пугай!..

– Я не пугаю!.. Я не пугаю… Она здесь… ты тихо, тихо стой… вот, вот… не трогайся… не шевелись… она идет к тебе… она возле тебя…

– Оставь, прошу тебя оставь, – шептала генеральша, растерявшись, стыня от внезапного охватившего ее холодного тока.

– Какая добрая! – продолжала сообщать Вера, и вдруг, задыхаясь, схватила мачеху за руку и сказала:

– Бери, бери скорей… она тебе дает… Ах, ты, неловкая!.. теперь упало!

И в это же мгновение по полу действительно что-то стукнуло и покатилось.

Александра Ивановна оглянулась вокруг и не видела ничего, что бы могло причинить этот стук, но Вера скользнула под стол, и Синтянина ощутила на пальце своей опущенной руки холодное кольцо.

Она подняла руку: да; ей это не казалось, – это было действительно настоящее кольцо, ровное, простое золотое кольцо.

Изумлению ее не было меры. Она торопливо взяла это кольцо и посмотрела внутрь: видно было, что здесь когда-то была вырезана надпись, но потом сцарапана ножом и тщательно затерта.

– Откуда же оно взялось?

Вера тихо указала пальцем на угол протертого полотна в портрете: тут теперь была прореха и с испода значок от долго здесь лежавшего кольца.

Синтянина пожала плечами и, глядя на Веру, которая вешала на место портрет, безотчетно опять надела себе на палец кольцо.

– Второй раз поздравляю тебя! – сказала, прыгнув ей на шею, Вера и поцеловала мачеху в лоб.

Александра Ивановна замахала руками и хотела сбросить кольцо; но Вера ее остановила за руку и погрозила пальцем.

– Это нельзя! – сказала она: – этого никак нельзя! никак нельзя!

И с этим девочка погасила свечу, чему Синтянина была, впрочем, несказанно рада, потому что щеки ее алели предательским, ярким румянцем, и она была так сконфужена и взволнована, что не в силах была сделать ничего иного, как добрести до кровати, и, упав головой на подушки, заплакала слезами беспричинными, безотчетными, в которых и радость, и горе были смешаны вместе, и вместе лились на свободу.

– Нет; тут вокруг нас гнездятся какие-то чары, – думала она засыпая. – В мою жизнь… мешается кто-то такой, про кого не снилось земным мудрецам… или я мешаюсь в уме! О, ангел мой! О,

страдалица Флора! молись за меня! Зачем еще мне жить… жить хочется!

– И надо.

Молодая женщина вздрогнула и накрыла голову подушкой, чтобы ничего не слыхать.

А сон все ходит вокруг и дремб все ползет под подушку и шепчет: «жить надо! непременно надо!»

Коварный сон, ехидная дремб!

Глава семнадцатая
Черный день

Утро осветило Александру Ивановну во сне, продлившемся гораздо долее обыкновенного. Она спала сладко, дышала полно, уста ее улыбались и щеки горели ярким румянцем. В таком положении застала ее Вера, вставшая, по обыкновению своему, очень рано и к этой поре уже возвратившаяся с своей далекой утренней прогулки. Она подошла к мачехе, посмотрела на нее и, поставив у изголовья генеральши стакан молока, провела по ее горячей щеке свежею, озерною лилией. Холодный, густой и клейкий сок выбежал из чашки цветка и крупными, тяжелыми, как ртуть, каплями скатился по гладкой коже.

Синтянина открыла глаза и, увидав улыбающееся лицо падчерицы, сама отвечала ей ласковою улыбкой.

– Ты хорошо спала, – сказала ей своею ручною азбукой девушка. – Вставай, пора; довольно спать, пора проснуться.

Синтянина оперлась на локоть и, заглянув чрез дверь на залитую солнцем залу, вдруг беспричинно встревожилась.

Она еще раз посмотрела на Веру, еще раз взглянула на солнечный свет, и они оба показались ей странными: в косых лучах солнца было что-то зловещее, в них как будто что-то млело и тряслось.

Бывает такой странный свет: он гонит прочь покой нервозных душ и наполняет тяжкими предчувствиями душу.

Спокойное и даже приятное расположение духа, которым Александра Ивановна наслаждалась во сне, мгновенно ее оставило и заменилось тревожною тоской.

Она умылась, убрала наскоро голову и села к поданному ей стакану молока, но только что поднесла его ко рту, как глаза ее остановились на кольце и сердце вдруг упало и замерло.

Необыкновенного ничего не было: она только вспомнила про кольцо, которое ей так странно досталось, да в эту же секунду калитка стукнула немножко громче обыкновенного. Более ничего не было, но Александра Ивановна встревожилась, толкнула от себя стакан и бросилась бегом к окну.

По двору шла Форова: но как она шла и в каком представилась она виде? Измятая шляпка ее была набоку, платье на груди застегнуто наперекос, в одной руке длинная, сухая, ветвистая хворостина, другою локтем она прижимала к себе худой коленкоровый зонтик и тащила за собою, рукавами вниз, свое рыжее драповое пальто.

Она шла скоро, как летела, и вела по окнам острыми глазами.

– О, Боже мой! – воскликнула при этом виде Синтянина и, растворив с размаху окно, закричала: – Что сделалось… несчастие?

– Гибель, а не простое несчастие! – проговорила на бегу дрожащими губами Форова.

– О, говори скорей и сразу! – крикнула, рванувшись навстречу к ней, Синтянина: – Скорей и сразу!

– Подозеров убит! – отвечала Катерина Астафьевна, бросая в сторону свою хворостину, зонтик и пальто, и сама падая в кресло.

Генеральша взвизгнула, взялась за сердце и, отыскав дрожащею рукой спинку стула, тихо на него села. Она была бледна как плат и смотрела в глаза Форовой. Катерина Астафьевна, тяжело дыша, сидела пред нею с лицом покрытым пылью и полузавешанным прядями седых волос.

– Что ж дальше? Говори: я знаю за что это и я все снесу! – шептала генеральша.

– Дай мне скорей воды, я умираю жаждой.

Синтянина ей подала воды и приняла назад из рук ее пустой стакан.

– Твой муж…

– Ну да, ну что ж мой муж?.. Скорей, скорей!

– Удар, и пуля в старой ране опустилась книзу.

Стакан упал из рук Синтяниной и покатился по полу.

– Оба! – проговорила она и, обхватив голову руками, заплакала.

– Как был убит Подозеров и… что это такое, – заговорила, кряхтя и с остановками, Форова, – я этого не знаю… Ни от кого нельзя… добиться толку.

– Дуэль! Я так и думала, – прошептала генеральша, – я это чувствовала, но… меня обманули.

– Нет… Форов… говорит убийство… Весь город… мечется… бежит туда… А твой Иван Демьяныч… встал нынче утром… был

здоров и… вдруг пакет из Петербурга… ему советуют подать в отставку!

– Ну, ну же, Бога ради!

– За несмотрение… за слабость… за моего Форова с отцом Евангелом… будто они гордановских мужиков мутили. Иван Демьяныч как прочитал… так и покатился без языка.

– Скорей же едем! – и Александра Ивановна, накинув на себя серый суконный платок, схватила за руку Веру и бросилась к двери.

Форова едва плелась и не поспевала за нею.

– Ты на чем приехала сюда? – оборотилась к ней Синтянина.

– Все на твоей же лошади и… в твоей же карафашке.

– Так едем.

И Александра Ивановна, выбежав за ворота, вспрыгнула в тележку, втянула за собой Форову и Веру, и, повернув лошадь, погнала вскачь к городу.

Дорогой никто из них не говорил друг с другом ни о чем, но, переехав брод, Катерина Астафьевна вдруг вскрикнула благим матом и потянулась вбок с тележки.

Синтянина едва удержала ее за руку и тут увидала, что в нескольких шагах пред ними, на тряских извозчичьих дрожках ехал майор Форов в сопровождении обнимавшего его квартального.

– Мой Форов! Форов! – неистово закричала Катерина Астафьевна, между тем как Синтянина опять пустила лошадь вскачь, а Филетер Иванович вырвал у своего извозчика вожжи и осадил коня, задрав ему голову до самой дуги.

Глава восемнадцатая
Форов делается Макаром, на которого сыпятся шишки

Коренастый майор не только по виду был совершенно спокоен, но его и в самом деле ничто не беспокоило; он был в том же своем партикулярном сюртуке без одной пуговицы; в той же черной шелковой, доверху застегнутой жилетке; в военной фуражке с кокардой и с толстою крученою папироской.

– Торочка моя! Тора! Чего ты, глупая баба, плачешь? – заговорил он самым задушевным голосом, оборотясь на дрожках к жене.

– Куда?.. Куда тебя везут?

– Куда? А черт их знает, по начальству, – пошутил он, по обыкновению, выпуская букву ь в слове «начальство».

– Поди сюда скорей ко мне! Поди, мой Форов!

– Сейчас, – ответил майор, и с этим повернулся по-медвежьи на дрожках.

Полицейский его остановил и сказал, что этого нельзя.

– Чего нельзя? – огрызнулся майор. – Вы еще не знаете, что я хочу делать, а уж говорите нельзя. Учитесь прежде разуму, а после говорите!

И с этим он спрыгнул с извозчика и подбежал к жене.

– Чего ты, моя дурочка, перепугалась? Пустое дело: спрос и больше ничего… Я скоро вернусь… и башмаки тебе принесу.

Катерина Астафьевна ничего не могла проговорить и только манила его к себе ближе и ближе, и когда майор придвинулся к ней и стал на колесо тележки ногой, она обняла левою рукой его голову, а правою схватила его руку, прижала ее к своим запекшимся губам и вдруг погнулась и упала совсем на его сторону.

– Вот еще горе! Ей сделалось дурно! Фу, какая гадость! – сказал майор Синтяниной и, оборотясь к квартальному, проговорил гораздо громче: – Прошу вас дать воды моей жене, ей дурно!

– Я не обязан.

– Что? – крикнул азартно Форов, – вы врете! Вы обязаны дать больному помощь! – и тотчас же, оборотясь к двум проходящим

солдатам, сказал:

– Ребята, скачите в первый двор и вынесите скорей стакан воды: с майоршей обморок!

Солдатики оба бросились бегом и скоро возвратились с ковшом воды.

Синтянина стала мочить Катерине Астафьевне голову и прыскать ей лицо, а майор снова обратился к квартальному, который в это время сошел с дрожек и стоял у него за спиной.

– Вас бы надо по-старому поучить вашим обязанностям.

– Я вас прошу садиться и ехать со мной, – настаивал квартальный.

– А я не поеду, пока не провожу жену и не увижу ее дома, мой дом отсюда в двух шагах.

Занятая Форовой, Синтянина не замечала, что пред нею разгоралась опасная сцена, способная приумножить вины майора. Она обратила на это внимание уже тогда, когда увидала Филетера Ивановича впереди своей лошади, которую майор тянул под уздцы к воротам своего дома, между тем как квартальный заступал ему дорогу.

Вокруг уже была толпа зрителей всякого сорта.

– Прочь! – кричал Форов. – Не выводите меня из терпения. Закон больных щадит, и государственным преступникам теперь разрешают быть при больной жене.

– Вас вице-губернатор ждет, – напирал на него квартальный, начиная касаться его руки.

– Пусть черт бы ждал меня, не только ваш вице-губернатор. Я не оставлю среди улицы мою жену, когда она больна.

– А я вам не позволю, – и квартальный, ободряемый массой свидетелей, взял Форова за руку.

Майор побелел и гаркнул: прочь! таким яростным голосом, что народ отступил.

– Отойдите прочь!.. Не троньте меня!

Квартальный держал за руку Форова и озирался, но в это мгновение черный рукав майорского сюртука неожиданно описал полукруг и квартальный пошатнулся и отлетел на пять шагов от нанесенного ему удара.

Квартальный крикнул и кинулся в толпу, которая, в свою очередь, шарахнулась от него и захохотала.

Уличная сцена окрашивалась в свои вековечные грязные краски, но, к счастию генеральши, занятая бесчувственною Форовой, она не все здесь видела и еще того менее понимала.

Освободясь от полицейского, майор сделал знак Александре Ивановне, чтоб она крепче держала его больную жену, а сам тихо и осторожно подвел лошадь к воротам своего дома, который действительно был всего в двадцати шагах от места свалки.

Ворота Форовского дома не отворялись: они были забиты наглухо и во двор было невозможно въехать. Катерину Астафьевну приходилось снести на руках, и Форов исполнил это вместе с теми же двумя солдатами, которые прислужились ему водой.

Тихо, осторожно и ловко, с опытностию людей, переносивших раненых, они внесли недышащую Катерину Астафьевну в ее спальню и положили на кровать.

Синтянина была в большом затруднении, и затруднение ее с каждой минутой все возрастало, потому что с каждою минутой опасность увеличивалась разом в нескольких местах, где она хотела бы быть и куда влек ее прямой долг, но Форова была бездыханна, и при ее кипучей душе и незнающих удержу нервах, ей грозила большая опасность.

Генеральша, скрепя сердце, ринулась к больной, расстегнула ей платье и стала тереть ей уксусом лоб, виски, грудь, а в это же время скороговоркой расспрашивала Форова о происшедшем.

– За что они дрались?

– Ну, это все после, после, – отвечал майор.

– Но во всяком случае это была дуэль?

– Нет; не дуэль – убийство!

– Прошу вас говорить ясней.

– Это было убийство… самое подлое, самое предательское убийство.

– Но кто же убил?

– Мерзавцы! Разве вы не видите, кто на все способен? ведь за все, бездельники, берутся, даже уж в спириты лезут: ни от чего отказа, и из всего выходят целы.

– Подозеров наповал убит?

– Пулей в грудь, под пятое ребро, навылет в спину, но полчаса тому назад, когда я от него вышел, он еще дышал.

Синтянина благодарно перекрестилась.

– Но все равно, – махнул рукой майор, – рана мертвая.

– И он теперь один?

– Нет, там осталась Лариса.

– Лариса там? Что же с нею, бедной?

Форов процедил сквозь зубы:

– Что с ней?.. Рвет волосы, ревет и, стоя на коленях в ногах его постели, мешает фельдшеру.

– А Горданов?

– Ранен в пятку.

– Да время ль теперь для шуток, Филетер Иваныч?

– Я не шучу. Горданов ранен в пятку.

– Значит, Подозеров стрелял?

– Нимало.

Майор оглянулся и, увидав у двери снова появившегося квартального, прошептал на ухо генеральше:

– Эту пулю ему, подлецу, я засадил.

– Господи! что ж это такое у вас было?

– Ну, что это было? Ничего не было. После узнаете: видите вон птаха-квартаха торчит и слушает, а вот и, слава Богу, Торочка оживает! – молвил он, заметив движение век у жены.

– Это была бойня! – простонала, едва открывая свои глаза, Форова.

– Ну, Торочка, я и в поход… – заторопился майор и поцеловал женину руку.

Катерина Астафьевна смотрела на него без всякого выражения.

– И я, и я тебя оставлю, Катя, – рванулась Синтянина.

– Иди… но… попроси… ты за него… Ты генеральша… тебя все примут…

– Ничего не надо, – отказался Форов.

И они с Синтяниной вышли.

– Меня арестуют, – заговорил он, идучи по двору, – дуэль, плевать, три пятницы молока не есть: а вы… знайте-с, что поп Евангел уже арестован, и мы смутьяны… в бунте виноваты… Так вы, когда будет можно… позаботьтесь о ней… о Торочке.

– Ах, Боже! разом столько требующих забот, что не знаешь куда обернуться! Но не падайте же и вы духом, Филетер Иваныч!

– Из-за чего же? ведь два раза не повесят.

– Все Бог устроит; а теперь молитесь Ему о крепости душевной.

– Да зачем Его и беспокоить такою малостью? Я исполнил свой долг, сделал, что мне следовало сделать, и буду крепок… – А вон, глядите-ка – воскликнул он в калитке, увидя нескольких полицейских, несшихся взад и вперед на извозчиках. – Все курьеры, сорок пять тысяч курьеров; а когда, подлецы, втихомолку мутят да каверзят, тогда ни одного протоканальи нигде не видать… Садись! – заключил он, грубо крикнув на квартального.

Но квартальный оборотился к Синтяниной с просьбой быть свидетельницей, что Форов его ударил.

– Ах, идите вы себе, пожалуйста! Какое мне до вас дело, – отвечала, вспрыгнув в тележку, Синтянина и, горя нетерпением, шибко поехала к своему дому.

– А ты, любезный, значит не знаешь китайского правила: «чин чина почитай»? Ты смеешь просить генеральшу? Так вот же тебе за это наука!

И с этим Форов сел сам на дрожки, а квартального поставил в ноги между собой и извозчиком и повез его, утешая, что он так всем гораздо виднее и пригляднее.

Обгоняя Синтянину, Форов кивнул ей весело фуражкой.

– Ах, твори Бог свою волю! – прошептала генеральша, глядя вслед удалявшемуся Форову и еще нетерпеливее погоняя лошадь к дому.

Глава девятнадцатая
Несколько строк для объяснения дела

Положение дел нашей истории, дозволяющее заключить эту часть романа рассказанными событиями, может возбудить в ком-нибудь из наших читателей желание немедленно знать несколько более, чем сколько подневольное положение майора Форова дозволило ему открыть генеральше Синтяниной.

Как из дуэли вышла совсем не дуэль, а убийство, и почему Форов стрелял Горданову, как он выразился, в пятку?

Мы имеем возможность удовлетворить этому желанию, не рискуя таким образом предупредить события в предстоящем им развитии, и спешим служить этою возможностию лицам, заинтересованным судьбой наших героев.

После того как Филетер Иванович Форов расставил дуэлистов на месте и, педантически исполняя все обычаи поединка, еще раз предложил им примириться, ни Гордонов, ни Подозеров не ответили ему ни слова.

– За что я должен принять ваше молчание? – осведомился Форов.

– Пусть он просит прощенья, – отвечал Горданов хладнокровно, целя в одинокую белую березку.

– Я вас прошу, распоряжайтесь скорей стрелять! – проговорил едва слышно Подозеров. Форов ничего иного и не ожидал.

– Извольте же готовиться! – сказал он громко и, сделав шаг к Подозерову, шепнул: – кураж, кураж! и стойте больше правым боком… Глядите, он, каналья, как стоит. Ну, защити Бог правого!

Подозеров молча кивал в знак согласия головой, но он ничего не слыхал. Он думал совсем о другом. Он припоминал ее, какою *она* вчера была в осиннике, и… покраснел от мысли, что она его любит.

– Неужто это так?.. но кажется… да.

Умирать с *такою* уверенностью в любви *такой* женщины, как генеральша, и умирать в высочайшую минуту, когда это счастие только что сознано и ничем не омрачено – это казалось Подозерову благодатью, незаслуженно заключающей всю его жизнь прекрасной страницей.

Он послал благословение ей за эту смерть; вспомнил о Боге, но не послал Ему ни просьб, ни воздыхания и начал обеими руками поднимать пистолет, наводя его на Горданова как пушку.

Такой прием с оружием не обещал ничего доброго дуэлисту, и Форов это понимал, но делать было уж нечего, останавливаться было не время, да и Андрей Иваныч, очевидно, не мог быть иным, каким он был теперь.

– Извольте же! – возгласил еще раз Форов и, оглянувшись на высматривавшего из-за куста Висленева, стал немного в стороне, на половине расстояния между поединщиками. – Я буду говорить теперь вам: раз и два, и три и вы по слову «т р и» каждый спустите курок.

– Ладно, – отвечал, надвинув на лоб козырек фуражки, Горданов.

Подозеров молчал и держал свою пушку пред противником, по-видимому, не желая глядеть ему в лицо.

– Теперь я начинаю, – молвил майор, и точно фотограф, снимающий шапочку с камерной трубы, дал шаг назад и, выдвинув вперед руку с синим бумажным платком, громко и протяжно скомандовал: р-а-з, д-в-а и… Выстрел грянул.

Пистолет Горданова дымился, а Подозеров лежал навзничь и трепетал, как крылами трепещет подстреленная птица.

– Подлец! – заревел ошеломленный майор: – я говорил, что тебе быть от меня битым! – и он, одним прыжком достигнув Горданова, ударил его по щеке, так что тот зашатался. – Секундант трус! Ставьте на место убийцу, выстрел убитого теперь мой!

И с этим майор подбежал к лежащему на земле Подозерову и схватил его пистолет, но Горданова уже не было на месте: он и Висленев бежали рядом по поляне.

– А! так вот вы как! презренная мразь! – воскликнул майор и выстрелил.

Беглецы оба упали: Горданов от раны в пятку, а Висленев за компанию от страха. Через минуту они, впрочем, также оба вместе встали, и Висленев, подставив свое плечо под мышку Горданова, обнял его и потащил к оставленному под горой извозчику.

Форов остался один над Подозеровым, который слабо хрипел и у которого при каждом незаметном вздохе выступало на жилете все более и более крови.

Майор расстегнул жилет Андрея Ивановича, нащупал кое-как рану и, воткнув в нее ком грубой корпии, припасенной им про всякий случай в кармане, бросился сам на дорогу.

Невдалеке он заарестовал бабу, ехавшую в город с возом молодой капусты и, дав этой, ничего не понимавшей и упиравшейся бабе несколько толчков, насильно привел ее лошадь к тому месту, где лежал бесчувственный Подозеров. Здесь майор, не обращая внимания на кулаки и вопли женщины, сбросив половину кочней на землю, а из остальных устроил нечто вроде постели и, подняв тяжело раненного или убитого на свои руки, уложил его на воз, дал бабе рубль, и Подозерова повезли.

Майор во все время пути стоял на возу на коленях и держал голову Подозерова, помертвелое лицо которого начинало отливать синевой, несмотря на ярко освещавшее его солнце.

Этот восьмиверстный переезд на возу, который чуть волокла управляемая бабой крестьянская кляча, показался Форову за большой путь. С седой головы майора обильно катились на его загорелое лицо капли пота и, смешиваясь с пылью, ползли по его щекам грязными потоками. Толстое, коренастое тело Форова давило на его согнутые колена, и ноги его ныли, руки отекали, а поясницу ломило и гнуло. Но всего труднее было переносить пожилому майору то, что совершалось в его голове.

«Какая мерзость! Нет-с; какая неслыханная мерзость! – думал он. – Какая каторжная, наглая смелость и какой расчет! Он шел убить человека при двух свидетелях и не боялся, да и нечего ему было бояться. Чем я докажу, что он убил его как злодей, а не по правилам дуэли? Да первый же Висленев скажет, что я вру! А к этому же всему еще эта чертова ложь, будто я с Евангелом возмущал его крестьян. Какой я свидетель? Мне никто не поверит!»

При этом майор начал делать непривычные и всегда противные ему юридические соображения, которые не слагались и путались в его голове.

«Поведения я неодобрительного, – высчитывал майор, – известно всем, что я принимаю на нутро, ненавижу приказных, часто грублю разному начальству, стремлюсь, по общему выражению, к осуществлению несбыточных мечтаний и в Бога не верую… То есть черт меня знает, что я такое! Что тут возьмешь с такою аттестацией?

Всякий суд меня засудит!.. И надеяться не на что. Разве на Бога, как надеется моя жена. Да; ведь истинно более не на кого! Свидетели! – да кто же, какой черт велит подлецу, задумавши гадость, непременно сделать ее при свидетелях? Нет; это даже страшно, во что нынче обернулись эти господа: предусмотрительны, расчетливы, холодны… Неуязвимы ничем! В спириты идут; в попы пойдут… в монахи пойдут. Отчего же не пойдут? пойдут. Это уж начинается иезуитство. В шпионы пойдут… В шпионы!.. Да кто же взаправду Горданов? О, о-о! Нет, видно, прав поп Евангел, если Бог Саваоф за нас сверху не вступится, так мы мир удивим своею подлостию!»

И с этими-то мыслями майор въехал на возу в город; достиг, окруженный толпой любопытных, до квартиры Подозерова; снес и уложил его в постель и послал за женой, которая, как мы помним, осталась в эту ночь у Ларисы. Затем Форов хотел сходить домой, чтобы сменить причинившее ему зуд пропыленное белье, но был взят.

Горданов был гораздо счастливее. Он был уверен, что убил Подозерова, и исход дела предвидел тот же, какой мерещился и Форову, но с тою разницей, что для Горданова этот исход был не позором, а торжеством.

Павел Николаевич лежал на мягком матрасе, в блестящем серебристом белье; перевязка его позорной раны в ногу не причинила ему ни малейшей боли и расстройства, и он, обрызганный тонкими духами, глядел себе на розовые ногти и видел ясно вблизи желанный край своих стремлений.

Под подушкой у него было письмо княгини Казимиры, которая звала его в Петербург, чтобы «сделать большое дело!»

Бодростин был поставлен своими друзьями как шашка на кон, да притом и вместе с самою Бодростиной: княгиня Казимира вносила совсем новый элемент в жизнь.

– Гм! гм! однако у меня теперь уж слишком большой выбор! – утешался Горданов и расстилал пред собою большой замысел, которому все доселе бывшее должно служить не более как прелюдией.

Начав ползком, как кот, подкрадываться к цели, Горданов чувствовал уж теперь в своих когтях хвосты тех птиц, в которых хотел впиться. Теперь более чем когда-либо окрепло в нем убеждение, что в нашем обществе все прощено и все дозволено бесстыдной наглости и лицемерием прикрытому пороку.

Ошибался или не ошибался в этом Горданов – читатели увидят из следующей части нашего романа.

Часть четвертая
Мертвый узел

Глава первая
Тик и так

Рана, нанесенная Подозерову предательским выстрелом Горданова, была из ран тяжких и опасных, но не безусловно смертельных, и Подозеров не умер. Излечение таких сквозных ран навылет в грудь под пятое ребро слева относят к разряду чудесных, на самом же деле здесь гораздо менее принадлежит чуду врачевства, чем случаю. Все зависит от момента пролета пули по области, занимаемой сердцем. Отправления сердца, как известно, производятся постоянным его сокращением и расширением, – эти попеременно один за другим следующие моменты, называемые в медицине sistole[46] и diastole,[47] дают два звука: *тик* и *так*.

В первом из них орган сокращается в продольном своем диаметре и оставляет около себя место, по которому стороннее тело может пройти насквозь через грудь человека, не коснувшись сердца и не повредив его. Назад тому очень немного лет, в Москве один известный злодей, в минуту большой опасности быть пойманным, выстрелил себе в сердце и остался жив, потому что сердце его в момент прохождения пули было в состоянии сокращения: сердце Подозерова тоже сказало «тик» в то время, когда Горданов решал «так». Подозеров остался жить, но тем не менее он остановился на самом краю гроба: легкие его были поранены, и за этим последовали и кровоизлияние в полость груди, и удушающая легочная опухоль, и травматическая лихорадка. Прошло около месяца после бойни, устроенной Гордановым, а Подозеров все еще был ближе к смерти, чем к выздоровлению. Опасная лихорадка не уступала самому внимательному и искусному лечению.

На дворе в это время стояли человеконенавистные дни октября: ночью мокрая вьюга и изморозь, днем ливень, и в промежутках тяжелая серая мгла; грязь и мощеных, и немощеных улиц растворилась и топила и пешего, и конного. Мокрые заборы, мокрые крыши и запотелые окна словно плакали, а осклизшие деревья садов, доставлявших летом столько приятной тени своею зеленью, теперь

беспокойно качались и, скрипя на корнях, хлестали черными ветвями по стеклам не закрытых ставнями окон и наводили уныние.

Спальня Подозерова, где он лежал, была комната средней величины, она выходила в сад двумя окнами, в которые таким образом жутко стучали голые ветви. Во все это время Андрей Иванович не возвращался к сознательной жизни человека: он был чужд всяких забот и желаний и жил лишь специальною жизнию больного. Он постоянно или находился в полузабытьи, или, приходя в себя, сознавал лишь только то, на что обращали его внимание; отвечал на то, о чем его спрашивали; думал о том, что было предполагаемо ему для ответа, и никак не далее. Собственной инициативы у него не было ни в чем. Все прошедшее для него не существовало; никакое будущее ему не мерещилось; все настоящее сосредоточивалось в данной краткой терции, потребной для сознания предложенного вопроса. Он называл по именам Катерину Астафьевну Форову, генеральшу и Ларису, которых во все это время постоянно видел пред собою, но он ни разу не остановился на том, почему здесь, возле него, находятся именно эти, а не какие-нибудь другие лица; он ни разу не спросил ни одну из них: отчего все они так изменились, отчего Катерина Астафьевна осунулась, и все ее волосы сплошь побелели; отчего также похудела и пожелтела генеральша Александра Ивановна и нет в ней того спокойствия и самообладания, которые одних так успокаивали, а другим давали столько материала для рассуждений о ее бесчувственности. Его не интересовало, отчего он, открывая глаза, так часто видит ее в каком-то окаменелом состоянии, со взглядом, неподвижно вперенным в пустой угол полутемной комнаты; отчего белые пальцы ее упертой в висок руки нетерпеливо движутся и хрустят в своих суставах. Ему было все равно. Лара, пожалуй, еще больше могла остановить на себе его внимание, но он не замечал и того, что сталось с нею. Лариса не похудела, но ее лицо… погрубело. Она подурнела. На ней лежал след страдания тяжелого и долгого, но страдания не очищающего и возвышающего душу, а гнетущего страхом и досадой. Подозеров ничего этого не наблюдал и ни над чем не останавливался. Об отсутствующих же нечего было и говорить, он во всю свою болезнь ни разу не вспомнил ни про Горданова, ни про Висленева, не спросил про Филетера Ивановича и не полюбопытствовал, почему он не видал возле себя коренастого

майора, а между тем в положении всех этих лиц произошли значительные перемены с тех пор, как мы расстались с ними в конце третьей части нашего романа.

Глава вторая
Где обретается Форов

Вспомянутый нами майор Форов еще до сего времени не возвращался домой с тех пор, как мы видели его едущим на дрожках с избитым им квартальным надзирателем. На майора Форова обрушились все напасти: его воинственным поступком было как бы затушевано на время преступление Горданова. Уличная сцена майора, составлявшая относительно несколько позднейшую новость дня, была возведена в степень важного события, за которым дуэль Подозерова сходила на степень события гораздо низшего. Тот самый вице-губернатор, которого так бесцеремонно и нагло осмеивал Горданов, увидел в поступке Форова верное средство подслужиться общественному мнению, заинтересованному бравурствами Павла Николаевича, и ринулся со всею страстию и суровостью на беспомощного майора. Молодые, прилизанные и зашитые в вицмундиры канцелярские шавки, из породы еще не сознающих себя гордановцев, держали ту же ноту. В кабинете начальника было изречено слово о немедленном же и строжайшем аресте майора Форова, показавшего пример такого явного буйства и оскорбления должностного лица; в канцеляриях слово это облеклось плотию; там строчились бумаги, открывавшие Филетеру Ивановичу тяжелые двери тюрьмы, и этими дверями честный майор был отделен от мира, в котором он оказался вредным и опасным членом. О других героях этого дня пока было словно позабыто: некоторым занимавшимся их судьбой мнилось, что Горданова и Подозерова ждет тягчайшая участь впереди, но справедливость требует сказать, что двумя этими субъектами занимались лишь очень немногие из губернского бомонда; наибольшее же внимание масс принадлежало майору. По исконному обычаю масс радоваться всяким напастям полиции, у майора вдруг нашлось в городе очень много друзей, которые одобряли его поступок и передавали его из уст в уста с самыми невероятными преувеличениями, доходившими до того, что майор вдруг стал чем-то вроде сказочного богатыря, одаренного такою силой, что возьмет он за руку – летит рука прочь, схватит за ногу – нога прочь. Говорили, будто

бы Филетер Иванович совсем убил квартального, и утверждали, что он даже хотел перебить все начальство во всем его составе, и непременно исполнил бы это, но не выполнил такой программы лишь только по неполучению своевременно надлежащего подкрепления со стороны общества, и был заключен в тюрьму с помощью целого баталиона солдат. В городе оказалось очень много людей, которые искренне сожалели, что майору не была оказана надлежащая помощь; в тюрьму, куда посадили Филетера Ивановича, начали притекать обильные приношения булками, пирогами с горохом и вареною рыбой, а одна купчиха-вдова, ведшая тридцатилетнюю войну с полицией, даже послала Форову красный медный чайник, фунт чаю, пуховик, две подушки в темных ситцевых наволочках, частый роговой гребень, банку персидского порошку, соломенные бирюльки и пучок сухой травы. Майор принял все, не исключая травы и бирюлек, которые он выровнял и устроил из этого приношения очень удобные стельки в свои протекшие сапоги. Затем он преспокойно уселся жить в остроге, согревая себя купчихиным чаем из ее же медного чайника.

Глава третья
Каково поживают другие

Что касается до Горданова, Подозерова и Висленева, то о них вспомнили только на другой день и, ввиду болезненного состояния Горданова и Подозерова, подчинили их домашнему аресту в их собственных квартирах; когда же пришли к Висленеву с тем, чтобы пригласить его переехать на гауптвахту, то нашли в его комнате только обрывки газетных листов, которыми Иосаф Платонович обертывал вещи; сам же он еще вчера вечером уехал бог весть куда. Спрошенная о его исчезновении сестра его Лариса не могла дать никакого определительного ответа, и это вовсе не было с ее стороны лукавством: она в самом деле не знала, куда скрылся Иосаф. Она рассталась с братом еще утром, когда он, возвратясь с поединка, сразил ее вестью о смерти Подозерова. Не отходя с той поры от постели умирающего, Лариса ничего не знала о своем брате, людям же было известно лишь только то, что Иосаф Платонович вышел куда-то вскоре за бросившеюся из дому барышней и не возвращался домой до вечера, а потом пришел, уложил сам свои саквояжи, и как уехал, так уже и не возвращался. К розысканию его велено было принять самые тщательные меры, заключающиеся у нас, как известно, в переписке из части в часть, из квартала в квартал, – меры, приносящие какую-нибудь пользу тогда лишь, когда тот, о ком идет дело, сам желает быть пойманным.

Прошел месяц, а о Висленеве не было ни слуху, ни духу. Исчезновение его было загадкой и для сестры его, и для тетки, которые писали ему в Петербург на имя его жены, но письма их оставались без ответа, – на что, впрочем, и Катерина Астафьевна, и Лариса, занятые положением ближайших к ним лиц, не слишком и сетовали. Но наконец пришел ответ из Петербурга путем официальным. Местная предержащая власть сносилась с подлежащею властью столицы о разыскании Висленева и получила известие, что Иосаф Платонович в Питере не появлялся. Да и зачем ему было туда ехать? Чтобы попасть в лапы своей жены, от которой он во время своей кочевки уже немножко эмансипировался? Он даже льстил себя надеждой вовсе от нее

освободиться и начать свое «независимое существование», на что приближающее его сорокалетие давало ему в собственных глазах некоторое право. Но куда он исчез и пропал? Это оставалось тайной для всех… для всех, кроме одного Горданова, который недели чрез две после исчезновения Висленева получил из-за границы письмо, писанное рукой Иосафа Платоновича, но за подписью Espérance.[48] В этом письме злополучная Espérance, в которой Горданов отгадал брата Ларисы, жаловалась безжалостному Павлу Николаевичу на преследующую ее роковую судьбу и просила его «во имя их прежних отношений» прислать ей денег на имя общего их знакомого Joseph W. Горданов прочел это письмо и бросил его без всякого внимания. Он, во-первых, не видел в эту минуту никакой надобности делиться чем бы то ни было с Висленевым, а во-вторых, ему было и недосужно. Павел Николаевич сам собирался в путь и преодолевал затруднения, возникавшие пред ним по случаю собственной его подсудимости. Препятствия эти казались неодолимыми, но Горданов поборол их и, с помощью ходатайствовавшего за него пред властями Бодростина, уехал в Петербург к Михаилу Андреевичу, оставив по себе поручительство, что он явится к следствию, когда возвращение к Подозерову сознания и сил сделает возможными нужные с его стороны показания. Горданов представил целый ряд убедительнейших доказательств, что весьма важные предприятия потерпят и разрушатся от стеснения его свободы, и стеснение это было расширено. В наш век предприятий нельзя отказывать в таких мелочах крупному предпринимателю, каким несомненно представлялся Горданов всем или почти всем, кроме разве Подозерова, Форова, Катерины Астафьевны и генеральши, которые считали его не более как большим мошенником. Но им было теперь не до него: один из этих людей лежал на краю гроба, другой философствовал в остроге, а женщины переходили от одного страдальца к другому и не останавливались на том, что делается с негодяями.

Было и еще одно лицо, которое и эту оценку для Горданова признавало слишком преувеличенною: это лицо, находившее, что для Павла Николаевича слишком много, чтоб его признавали «большим мошенником», была Глафира Васильевна Бодростина, непостижимо тихо и ловко спрятавшаяся от молвы и очей во время всей последней передряги по поводу поединка. Она уехала в деревню, и во все это

время, употребляя ее же французскую фразеологию, она была sous le banc.[49] При всем провинциальном досужестве, про нее никто не вспомнил ни при одной смете. Но она не забыла своих слуг и друзей. Ее ловкая напрактикованная горничная приезжала в город и была два раза у Горданова. Глафира Васильевна, очевидно, была сильно заинтересована тем, чтоб Павел Николаевич получил возможность выехать в Петербург, но во всех хлопотах об этом она не приняла ни малейшего, по крайней мере видимого, участия. Ее словно не было в живых, и о ней только невзначай вспомнили два или три человека, которые, возвращаясь однажды ночью из клуба, неожиданно увидели слабый свет в окнах ее комнаты; но и тут, по всем наведенным на другой день справкам, оказалось, что Глафира Васильевна приезжала в город на короткое время и затем выехала. Куда? Об этом узнали не скоро. Она уехала не назад в свою деревню, а куда-то далеко: одни предполагали, что она отправилась в Петербург, чтобы, пользуясь болезнью Горданова, отговорить мужа от рискованного предприятия устроить фабрику мясных консервов, в которое вовлек его этот Горданов, давний враг Глафиры, которого она ненавидела; другие же думали, что она, рассорясь с мужем, поехала кутнуть за границу. Сколько-нибудь достоверные сведения о направлении, принятом Глафирой, имел один лишь торопливо отъезжавший из города Павел Николаевич Горданов, но он, разумеется, никому об этом ничего не говорил. Откровенность в этом случае не была в его планах, да ему было некогда: он сам только что получил разрешение съездить под поручительством в Петербург и торопился несказанно. Эта торопливость его в значительной мере поддерживала то мнение, что Бодростина поехала к мужу разрушать пагубное влияние на него Горданова и что сей последний гонится за нею, открывая таким образом игру в кошку и мышку.

Глава четвертая
Кошка и мышка

В догадке этой было нечто намекающее на что-то, существовавшее на самом деле. Горданов и Глафира должны были встретиться, но как и где?.. На это у них было расписание.

Подъезжая к московскому дебаркадеру железной дороги, по которой Горданов утекал из провинции, он тревожно смотрел из окна своего вагона и вдруг покраснел, увидев прохаживающуюся по террасе высокую даму в длинной бархатной тальме и такой же круглой шляпе, с густым вуалем. Дама тоже заметила его в окне, и они оба кивнули друг другу и встретились на платформе без удивления неожиданности, как встречаются два агента одного и того же дела, съехавшиеся по своим обязанностям. Дама эта была Глафира Васильевна Бодростина.

– Vous êtes bien aimable,[50] – сказал ей Горданов, сходя и протягивая ей свою руку. – Я никак не ожидал, чтобы вы меня даже встретили.

Бодростина вместо ответа спокойно подала ему свою правую руку, а левой откинула вуаль. Она тоже несколько переменилась с тех пор, как мы ее видели отъезжавшею из хуторка генеральши с потерпевшим тогда неожиданное поражение Гордановым. Глафира Васильевна немного побледнела, и прекрасные говорящие глаза ее утратили свою беспокойную тревожность: они теперь смотрели сосредоточеннее и спокойнее, и на всем лице ее выражалась сознательная решимость.

– Я вас ждала с нетерпением, – сказала она Горданову, сходя с ним под руку с крыльца дебаркадера вслед за носильщиками, укладывавшими на козлы наемной кареты щегольские чемоданы Павла Николаевича. – Мы должны видеться здесь в Москве самое короткое время и потом расстаться, и может быть очень надолго.

– Ты разве не едешь в Петербург?

– Я в Петербург не еду; вы поедете туда одни и непременно завтра же; я тоже уеду завтра, но нам не одна дорога.

– Ты куда?

– Я еду за границу, но садись, пожалуйста, в карету; теперь мы еще едем вместе.

– Я не решил, где мне остановиться, – проговорил Горданов, усаживаясь в экипаж. – Ты где стоишь? Я могу пристать где-нибудь поближе или возьму нумер в той же гостинице.

– Вы остановитесь у меня, – ответила ему скороговоркой Бодростина и, высунувшись из окна экипажа, велела кучеру ехать в одну из известнейших московских гостиниц.

– Я там живу уже неделю в ожидании моего мужа, – добавила она, обращаясь к Горданову. – У меня большой семейный нумер, и вам вовсе нет нужды искать для себя другого помещения и понапрасну прописываться в Москве.

– Ты, значит, делаешь меня на это время своим мужем? Это очень обязательно с твоей стороны.

Бодростина равнодушно посмотрела на него.

– Что ты на меня глядишь таким уничтожающим взглядом?

– Ничего, я так только немножко вам удивляюсь.

– Чему и в чем?

– Нам не к лицу эти лица. Я везу вас к себе просто для того, чтобы вы не прописывали в Москве своего имени, потому что вам его может быть не совсем удобно выставлять на коридорной дощечке, мимо которой ходят и читают все и каждый.

– Да, понимаю, понимаю. Довольно.

– Кажется, понятно.

И затем Глафира Васильевна, не касаясь никаких воспоминаний о том, что было в покинутом захолустье, не особенно сухим, но серьезным и деловым тоном заговорила с Гордановым о том, что он должен совершить в Петербурге в качестве ее агента при ее муже. Все это заключалось в нескольких словах, что Павел Николаевич должен способствовать старческим слабостям Михаила Андреевича Бодростина к графине Казимире и спутать его с нею как можно скандальнее и крепче. Горданов все это слушал и наконец возразил, что он только не понимает, зачем это нужно, но не получил никакого ответа, потому что экипаж в это время остановился у подъезда гостиницы.

Глава пятая
Nota bene на всякий случай

Нумер, который занимала Бодростина, состоял из четырех комнат, хорошо меблированных и устланных сплошь пушистыми, некогда весьма дорогими коврами. Комнаты отделялись одна от другой массивными перегородками из Орехового дерева, с тяжелою резьбой и точеными украшениями в полуготическом, полурусском стиле. Длинная комната направо из передней была занята под спальню и дорожный будуар Глафиры, а квадратная комнатка без окна, влево из передней, вмещала в себе застланную свежим бельем кровать, комод и несколько стульев.

Эту комнату Глафира Васильевна и отвела Горданову и велела в ней положить прибывшие с ним пожитки.

– Где же ваша собственная прислуга? – полюбопытствовал Горданов, позируя и оправляясь пред зеркалом в ожидании умыванья.

– Со мною нет здесь собственной прислуги, – отвечали Бодростина.

– Так вы путешествуете одни?

Глафира Васильевна слегка прижала нижнюю губу и склонила голову, что Горданов мог принять и за утвердительный ответ на его предположение, но что точно так жеудобно можно было отнести и просто к усилиям, с которыми Бодростина в это время открывала свой дорожный письменный бювар.

Пока Павел Николаевич умывался и прихорашивался, Бодростина писала, и когда Горданов взошел к ней с сигарой в зубах, одетый в тепленькую плюшевую курточку цвета шерсти молодого бобра, Глафира подняла на него глаза и, улыбнувшись, спросила:

– Что это за костюм?

– А что такое? – отвечал, оглядываясь, Горданов. – Что за вопрос? а? что тебе кажется в моем платье?

– Ничего… платье очень хорошее и удобное, чтоб от долгов бегать. Но как вы стали тревожны!

– Чему же вы это приписываете?

Бодростина пожала с чуть заметною улыбкой плечами и отвечала:

– Вероятно продолжительному сношению с глупыми людьми: это злит и портит характер.

– Да; вы правы – это портит характер.

– Особенно у тех, у кого он и без того был всегда гадок.

Горданов хотел отшутиться, но, взглянув на Бодростину и видя ее снова всю погруженною в писание, походил, посвистал и скрылся назад в свою комнату. Тут он пошуршал в своих саквояжах и, появясь через несколько минут в пальто и в шляпе, сказал:

– Я пойду пройдусь.

– Да; это прекрасно, – отвечала Бодростина, – только закутывайся хорошенько повыше кашне и надвигай пониже шляпу.

Горданов слегка покраснел и процедил сквозь зубы:

– Ну уж это даже не совсем и остроумно.

– Я вовсе и не хочу быть с вами остроумною, а говорю просто. Вы в самом деле подите походите, а я здесь кончу нужные письма и в пять часов мы будем обедать. Здесь прекрасный повар. А кстати, можете вы мне оказать услугу?

– Сделайте одолжение, приказывайте, – отвечал сухо Горданов, подправляя рукой загиб своего мехового воротника.

– J'ai bon appétit aujourd'hui.[51] Скажите, пожалуйста, чтобы для меня, между прочим, велели приготовить fricandeau sauce piquante. C'est délicieux, et j'espère que vous le trouverez a votre goût.[52]

– Извольте, – отвечал Павел Николаевич и, поворотись, вышел в коридор.

Это его обидело.

Он позвал слугу тотчас, как только переступил порог двери, и передал ему приказание Бодростиной. Он исполнил все это громко, нарочно с тем, чтобы Глафира слышала, как он обошелся с ее поручением, в котором Павел Николаевич видел явную цель его унизить.

Горданов был жестоко зол на себя и, быстро шагая по косым тротуарам Москвы, проводил самые нелестные для себя параллели между самим собою и своим bête noire,[53] Иосафом Висленевым.

– Недалеко, недалеко я отбежал от моего бедного приятеля, – говорил он, воспоминая свои собственные проделки с наивным Жозефом и проводя в сопоставление с ними то, что может делать с ним

Бодростина. Он все более и более убеждался, что и его положение в сущности немного прочнее положения Висленева.

– Не все ли равно, – рассуждал он: – я верховодил этим глупым Ясафкой по поводу сотни рублей; мною точно так же верховодят за несколько большие суммы. Мы оба одного разбора, только разных сортов, оба лентяи, оба хотели подняться на фу-фу, и одна нам и честь.

Глава шестая
Итог для новой сметы

Горданов припомнил, какие он роли отыгрывал в провинции и какой страх нагонял он там на добрых людей, и ему даже стало страшно.

– Что, – соображал он, – если бы из них кто-нибудь знал, на каком тонком-претонком волоске я мотаюсь? Если бы только кто-нибудь из них пронюхал, что у меня под ногами нет никакой почвы, что я зависимее каждого из них и что пропустить меня и сквозь сито, и сквозь решето зависит вполне от одного каприза этой женщины?.. Как бы презирал меня самый презренный из них! И он был бы прав и тысячу раз прав.

– Но полно, так ли? От каприза ли ее я, однако, завишу? – рассуждал он далее, приподымая слегка голову. – Нет; я ей нужен: я ее сообщник, я ее bravo,[54] ее наемный убийца; она не может без меня обойтись… Не может?.. А почему не может?.. Во мне есть решительность, есть воля, есть характер, – одним словом, во мне есть свойства, на которые она рассчитывает и которых нет у каждого встречного-поперечного… Но разве только один путь, одно средство, которым она может… развенчаться… избавиться от своего супруга… сбыть его и извести. И наконец, что у нее за думы, что у нее за запутанные планы? Просто не разберешь подчас, делает она что или не делает? Одно только мое большое и основательное знание этой женщины ручается мне, что она что-то заводит, – заводит далекое, прочное, что она облагает нас целым лагерем, и именно *нас*, т. е. всех нас, – не одного Михаила Андреевича, а всех как есть, и меня в том числе, и даже меня может быть первого. Какой демон, какая страшная женщина! Я ничего не видал, я не успел опомниться, как она опутала! Страшно представить себе, какая глубокая и в то же время какая скверная для меня разница между тем положением, в каком я виделся с нею там, в губернской гостинице, в первую ночь моего приезда, и теперь… когда она сама меня встречает, сама меня снаряжает наемным Мефистофелем к своему мужу, и между тем обращается со мною как со школьником, как с влюбленным гимназистом! Это черт знает что

такое! Она не удостаивает ответа моих попыток узнать, что такое все мы выплясываем по ее дудке! И… посылает меня заказывать фрикандо к обеду. Ее нынешнее обращение со мною ничем не цветнее некогда столь смешной для меня встречи Висленева с его генеральшей, а между тем Висленев – отпетый, патентованный гороховый шут и притча во языцех, а я… во всяком случае человек, над которым никто никогда не смеялся…

Горданов, все красневший по мере развития этих дум, вдруг остановился, усмехнулся и плюнул. Вокруг него трещали экипажи, сновали пешеходы, в воздухе летали хлопья мягкого снегу, а на мокрых ступенях Иверской часовни стояли черные, перемокшие монахини и кланялся народ.

– Как никто? Как никто не смеялся? – мысленно вопрошал себя Горданов и отвечал с иронией: – А Кишенский, а Алинка? Разве не по их милости я разорен и отброшен черт знает на какое расстояние от исполнения моего вернейшего и блестящего плана? Нет; я только честным людям умею не позволять наступать себе на ногу… я молодец на овец, а на молодца я сам овца… Да, да; меня спутало и погубило это якшанье со всею этой принципною сволочью, которая обворовала меня кругом… Но ничего, друзья, ничего. Палача, прежде чем сделать палачом, тоже пороли, – выпороли и вы меня, и еще до сих пор все порете; но уже зато как я оттерплюсь, да вас вздую, так вам небо покажется с баранью овчинку!

Павел Николаевич крякнул, повернувшись спиной к Иверской часовне, и, перейдя площадь, зашел в Гуринский трактир, уселся к столику и спросил себе чаю.

– Да; к черту все это! – думал он, – нечего себя обольщать, но нечего и робеть. Глафира, черт ее знает, она, кажется, несомненно умнее меня, да и потом у нее в руках вся сила. Я уже сделал промах, страшный промах, когда я по одному ее слову решился рвать всем носы в этом пошлом городишке! Глупец, я взялся за роль страшного и непобедимого силача с пустыми пятью-шестью тысячами рублей, которые она мне сунула, как будто я не мог и не должен был предвидеть, что этим широким разгоном моей бравурной репутации на малые средства она берет меня в свои лапы; что, издержав эти деньги, – как это и случилось теперь, – я должен шлепнуться со всей высоты моего аршинного величия? А вот же я этого не видел; вот же

я… я… умник Горданов, этого не предусмотрел! Правду говорят: кто поучает женщину, тот готовит на себя палку… И еще я имел глупость час тому назад лютовать! И еще я готов был изыскивать средство дать ей отпор… возмутиться… Против кого? Против нее, против единственного лица, держась за которое я должен выплыть на берег! И из-за чего я хотел возмутиться? Из-за самолюбия, оскорблений которого никто не видит, между тем кик я могу быть вынужден переносить не такие оскорбления на виду у целого света? Разве же не чистейшая это гиль теперь, мое достоинство? А ну его к дьяволу! Смирюсь, смирю себя пред нею, до чего она хочет; снесу от нее все! Пусть это будет мой самый трудный экзамен в борьбе за существование, и я должен его выдержать, если не хочу погибнуть, – и я не погибну. Она увидит, велика ли была ее проницательность, когда она располагала на мою «каторжную честность». Нет, дружок: a la guerre comme a la guerre.[55] Хитра ты, да ведь и я не промах: любуйся же теперь моей несмелостию и смирением: богатство и власть над Ларисой стоят того, чтобы мне еще потерпеть горя, но раз, что кончим мы с Бодростиным и ты будешь моя жена, а Лариса будет моя невольница… моя рыдающая Агарь… а я тебя… в бараний рог согну!..

И с этим Горданов опять встал, бросил на стол деньги за чай и ушел.

«Вот только одно бы мне еще узнать», – думал он, едучи на извозчике. – «Любит она меня хоть капельку, или не любит? Ну, да и прекрасно; нынче мы с нею все время будем одни… Не все же она будет тонировать да писать, авось и иное что будет?.. Да что же вправду, ведь женщина же она и человек!.. Ведь я же знаю, что кровь, а не вода течет в ней… Ну, ну, постой-ка, что ты заговоришь пред нашим смиренством… Эх, где ты мать черная немочь с лихорадушкой?»

Глава седьмая
Черная немочь

На дворе уже по-осеннему стемнело и был час обеда, к которому Глафира Васильевна ждала Горданова, полулежа с книгой на небольшом диванчике пред сервированным и освещенным двумя жирандолями столом.

Горданов вошел и тихо снял свое верхнее платье. Глафира взглянула на его прояснившееся лицо и в ту же минуту поняла, что Павел Николаевич обдумал свое положение, взвесил все pro и contra и решился не замечать ее первенства и господства, и она его за это похвалила.

«Умный человек! – мелькнуло в ее голове. – Что хотите, а с таким человеком все легче делается, чем с межеумком», – и она ласково позвала Горданова к столу, усердно его угощала и даже обмолвилась с ним на «ты».

– Кушай хорошенько, – сказала она, – на хлеб, на соль умные люди не дуются. Знаешь пословицу: губа толще, брюхо тоньше, – а ты и так не жирен. Ешь вот эту штучку, – угощала она, подвигая Горданову фрикасе из маленьких пичужек: – я это нарочно для тебя заказала, зная, что это твое любимое.

Горданов тоже уразумел, что Глафира поняла его и одобрила, и ласкает как покорившегося ребенка. Он уразумел и то, что этой покорностью он еще раз капитулировал, но он уже решился довершить в смирении свою «борьбу за существование» и не стоял ни за что.

– Вот видишь ли, Павел, как только ты вырвался от дураков и побыл час один сам с собою, у тебя даже вид сделался умней, – заговорила Бодростина, оставшись одна с Гордановым за десертом. – Теперь я опять на тебя надеюсь и полагаюсь.

– А то ты уже было перестала и надеяться?

– Я даже отчаялась.

– Я не понимал твоих требований и только, но я буду рад, если ты мне теперь расскажешь, чем ты мною недовольна? Ведь ты мною недовольна?

– Да.

– За что?

– Спроси свою совесть! – отвечала, глядя на носок своей туфли, Глафира.

Горданов просиял; он услышал в этих словах укоризну ревности и, тихо встав со своего места, подошел к Глафире и, наклонясь, поцеловал ее лежавшую на коленях руку.

Она этому не мешала.

– Глафира! – позвал Горданов.

Ответа не было.

– Глафира! Радость моя! Мое счастье, откликнись же!.. дай мне услышать твое слово!

– Радость твоя не Глафира.

– Нет? Что ты сказала? Разве не ты моя радость?

– Нет.

– Нет? Так скажи же мне *прямо*, Глафира; ты можешь что-нибудь сказать *прямо?*

– Что за вопрос! Разумеется, я вам могу и смею все говорить прямо.

– Без шуток?

– Спрашивай и увидишь.

– Ты хочешь быть моей женой?

– Н… н… ну, а как тебе это кажется?

– Мне кажется, что нет. Что ты на это скажешь?

– Ничего.

– Это разве ответ?

– Разумеется, и самый искренний… Я не знаю, что ты для меня сделаешь.

Горданов сел у ее ног и, взяв в свои руки руку Глафиры, прошептал, глядя ей в глаза:

– А если я сделаю все… тогда?

– Тогда?.. Я тоже сделаю все.

– То есть что же именно ты сделаешь?

– Все, что будет в моих силах.

– Ты будешь тогда моею женой?

Глафира наклонила молча голову.

– Что же это значит: да или нет?

– Да, и это может случиться, – уронила она улыбаясь.

– Может случиться!.. Здесь случай не должен иметь места!

– Он имеет место повсюду.

– Где нет воли.

– И где она есть.

– Это вздор.

– Это высшая правда.

– Высшая?.. В каком это смысле: в чрезвычайном может быть, в сверхъестественном?

– Может быть.

– Скажи, пожалуйста, ясней! Мы не ребята, чтобы сверхъестественностями заниматься. Кто может тебе помешать быть моею женой, когда мы покончим с Бодростиным?

– Тс!.. Тише!

– Ничего: мы здесь одни. Ну говори: кто, кто?

– Почем я знаю, что и кто? Да и к чему ты хочешь слов?

Она положила ему на лоб свою руку и, поправляя пальцем набежавший вперед локон волос, прошептала:

– Да… вот мы и одни… «какое счастье: ночь и мы одни». Чьи это стихи?

– Фета; но не в этом дело, а говори мне прямо, кто и что может мешать тебе выйти за меня замуж, когда не будет твоего мужа?

– Тсс!

Глафира быстро откинулась назад к спинке дивана и сказала:

– Ты глуп, если позволяешь себе так часто повторять это слово.

– Но мы одни.

– Одни!.. Во сне не бредь о том, чем занят, – кикимора услышит.

– Я не боюсь кикиморы; я не суевер.

– Ну, так я суеверка и прошу не говорить со мной иначе как с суеверкой.

– Ага, ты меня отводишь от прямого ответа; но это тебе не удастся.

– Отчего же? – И Глафира тихо улыбнулась.

– Оттого, что я не такой вздорный человек, чтобы меня можно было втравить в спор о вере или безверии, о боге или о демоне: верь или не верь в них, – мне это все равно, но отвечай мне ясно и положительно: кто и что тебе может помешать быть моею женой, когда… когда Бодростина не будет в живых.

– Совесть: я никогда не захочу расстроивать чужого счастья.

– Чьего счастья? Что за вздор.

– Счастья бедной Лары.

– Ты лжешь; ты знаешь, что я не думаю на ней жениться и не женюсь.

– А, жаль, она глупа и будет верною женой.

– Мне это все равно, ты не заговоришь меня ни Ларой и ничем на свете; дай мне ответ, что может помешать тебе быть моею женой, и тогда я отстану!.. А, а! ты молчишь, ты не знаешь, куда еще увильнуть! Так знай же, что я знаю, кто и что тебе может помешать! Ты любишь! Ты поймана! Ты любишь не меня, а Подозе…

Но Глафира быстрым движением руки захватила ему рот и воскликнула:

– Вы забываетесь, Горданов!

– Да, да, ты можешь делать все, что тебе угодно, но это тебе не поможет; я дал тебе слово добиться ответа, кто и что может тебе помешать быть моею женою, и я этого добьюсь. Более: я это проник и почти уже всего добился; твое смущение мне сказало кто…

– Кто?.. Кто?.. Кто?.. – перебила его речь, проникшаяся вдруг внезвпным беспокойством, Глафира. – Ты проник… ты добился…

и с этими словами, она вдруг сделала порывистое движение вперед и, стукнув три раза кряду похолодевшими белыми пальцами в жаркий лоб Горданова, прошептала:

– А кто помешал тебе убить того, кого ты сейчас назвал?

Горданов молчал.

– Что ты молчишь?

– Что же говорить? Его спас «тик и так»; это редкоснейший случай.

– Редкостный случай? Случай!.. Случай стал между твоею рукой и его беззащитной грудью?..

– Да, «тик и так».

– Да, «тик и так»; это случай? – шептала Бодростина. – Много вы знаете со своим «тик и так».

– А что же по-твоему его спасло?

– Я это знаю.

– Так скажи.

– Изволь: уйди-ка вон туда, за перегородку, и посмотри в угол.

– Что же я там увижу?

– Не знаю: посмотри, что-нибудь увидишь.

Горданов встал и, заглянув за дверь в полутемную комнату, в которую слабый свет чуть падал через резную кайму ореховой перегородки, сказал:

– Что же там смотреть? Платье да тень.

– Что такое: как платье да тень?

– Там платье.

– Какое платье? Там вовсе нет никакого платья. Там образ и я хотела указать на образ.

– А я там вижу платье, зеленое женское платье.

Бодростина побледнела.

– Ты его видишь и теперь? – спросила она падающим и прерывающимся голосом.

Горданов опять посмотрел и, ответив наскоро: «нет, теперь не вижу», схватил одну жирандоль и вышел с нею в темную комнату.

Угол был пуст, и сверху его на Горданова глядел благой, успокоивающий лик Спасителя. Горданов постоял и затем, возвратясь, сказал, что действительно угол пуст и платья никакого нет.

– Я знаю, знаю, знаю, – прошептала в ответ ему Бодростина, которая сидела, снова прислонясь к спинке дивана и, глядя вдаль прищуренными глазами, тихо обирала ветку винограда.

Но вдруг, сорвав устами последнюю ягоду с виноградной кисти, она сверкнула на Павла Николаевича гневным взглядом и, заметив его покушение о чем-то ее спросить, простонала:

– Молчи, пожалуйста, молчи! – И с этим нервно кинула ему в лицо оборванную кисть и, упав лицом и грудью на подушку дивана, тихо, но неудержимо зарыдала.

Глава восьмая
Немая исповедь

Горданов стоял над плачущей Глафирой и, кусая слегка губу, думал: «Ого-го! Куда это, однако, зашло. И корчит, и ломает. О, лукавая! Я дощупался до твоего злого лиха. Но дело, однако, зашло слишком далеко, она его любит не только со всею страстью, к которой она способна, но и со всею сентиментальностью, без которой не обходится любовь подобных ей погулявших барынь. Это надо покончить!» И с этим он сделал шаг к Глафире и коснулся слегка ее локтя, но тотчас же отскочил, потому что Глафира рванулась, как раненая львица, и, с судорожно подергивающимися щеками, вперив острые, блуждающие глаза в Горданова, заговорила:

– Да, да, да, есть… есть… его нет, но он есть, есть оно…

– О чем ты говоришь?

Глафира не обращала на него внимания и продолжала как бы сама с собой.

– Нет, это нестерпимо! Это несносно! – восклицала она слово от слова все громче и болезненнее, и при этом то ломала свои руки, то, хрустя ими, ударяла себя в грудь, и вдруг, как бы окаменев, заговорила быстрым истерическим шепотом:

– Это зеленое платье… ты видел его, и я его видела… Его нет и оно есть… Это она… я ее знаю, и ты, ты тоже узнаешь, и…

– Кто же это?

– Совесть.

– Успокойся, что с тобою сделалось! Как ты ужасно взволнована!

– Нет, я ничего…

И Бодростина тихо подала Горданову обе свои руки и задумалась и поникла головой, словно забылась.

Павел Николаевич подал ей стакан воды, она его спокойно выпила.

– Лучше тебе теперь? – спросил он.

– Да, мне лучше.

Она возвратила Горданову стакан, который тот принял из ее рук, и, поставив его на стол, проговорил:

– Ну и прекрасно, что лучше, но этого, однако, нельзя так оставить; ты больна. И с этим он направился к двери, чтобы позвонить слуге и послать за доктором, но Глафира, заметив его намерение, остановила его.

– Павел! Павел! – позвала она. – Что это? Ты хочешь посылать за доктором? Как это можно! Нет, это все пройдет само собой… Это со мной бывает… Я стала очень нервна и только… Я не знаю, что со мной делается.

– Да, вот и не знаешь, что это делается! Вот вы и все так, подобные барыни: жизни в вас в каждой в одной за десятерых, жизнь борется, бьется, а вы ее в тисках жмете… – заговорил было Горданов, желая прервать поток болезненных мечтаний Бодростиной, но она его сама перебила.

– Тсс!.. Перестань… Какая жизнь и куда ей рваться… Глупость. Совсем не то!

И она опять хрустнула сложенными в воздухе руками, потом ударила ими себя в грудь и снова, задыхаясь, прошептала:

– Дай мне воды… скорей, скорей воды! – И жадно глотая глоток за глотком, она продолжала шепотом: – бога ради не бойся меня и ничего не пугайся… Не зови никого… не надо чужих… Это пройдет… Мне хуже, если меня боятся… Зачем чужих? Когда мы двое… мы… – При этих словах она сделала усилие улыбнуться и пошутила: «Какое счастье: ночь и мы одни!» Но ее сейчас же снова передернуло, и она зашипела:

– Не мешай мне: я в памяти… я стараюсь… я помню… Ты сказал… это стихотворение Фета… «Ночь и мы одни!» Я помню, там на хуторе у Синтяниной… есть портрет… его замученной жены… Портрет без глаз… Покойница в таком зеленом платье… какое ты видел… Молчи! молчи! не спорь… покойной мученицы Флоры… Это так нужно… Природа возмущается тем, что я делаю… Горацио! Горацио!.. есть веши… те, которых нет… Ему, ему он хотел следовать – Горацио! Горацио! – И, повторяя это имя по поводу известного нам письма Подозерова, Глафира вдруг покрылась вся пламенем, и холодные руки ее, тихо лежавшие до сих пор в руках Горданова, задрожали, закорчились и, выскользнув на волю, стиснули его руки и быстро побежали вверх, как пальцы артиста, играющего на флейте.

Глава девятая
Без покаяния

В комнате царил немой ужас. Руки больной Глафиры дрожа скользили от кистей рук Горданова к его плечам и, то щипля, то скручивая рукава гордановского бархатного пиджака, взбежали вверх до его шеи, а оттуда обе разом упали вниз на лацканы, схватились за них и за петли, а на шипящих и ничего не выговаривающих устах Глафиры появилась тонкая свинцовая полоска мутной пены. Противный и ужасный вид этот невольно отбросил Горданова в сторону. Он отступил шаг назад, но наткнулся сзади на табурет и еще ближе столкнулся лицом с искаженным лицом Глафиры, в руках которой трещали и отрывались все крепче и крепче забираемые ею лацканы его платья. Бодростина вся менялась в лице и, делая неимоверные усилия возобладать над собою, напрасно старалась промолвить какое-то слово. От этих усилий глаза ее, под влиянием ужаса поразившей ее немоты, и вертелись, и словно оборачивались внутрь. Горданов каждое мгновение ждал, что она упадет, но она одолела себя и, сделав над собою последнее отчаянное усилие, одним прыжком перелетела на средину комнаты, но здесь упала на пол с замершими в ее руках лацканами его щегольской бобровой курточки. Свинец с уст ее исчез, и она лежала теперь с закрытыми глазами, стиснув зубы, и тяжело дышала всей грудью.

Горданов бросился в свою комнату, сменил пиджак и позвал девушку и лакея.

Глафиру Васильевну подняли и положили на диван, расшнуровали и прохладили ей голову компрессом. Через несколько минут она пришла в себя и, поводя вокруг глазами, остановила их на Горданове.

Девушка в это мгновение тихо вытянула из ослабевших рук больной лацканы гордановской куртки и осторожно бросила их под стул, откуда лакей также осторожно убрал их далее.

– Воздуху! – прошептала Глафира, остановив на Горданове глаза, наполненные страхом и страданием.

Тот понял и сейчас же распорядился, чтобы была подана коляска. Глафиру Васильевну вывели, усадили среди подушек, укутали ей ноги пледом и повезли, куда попало, по освещенной луной Москве. Рядом с нею сидела горничная из гостиницы, а на передней лавочке – Горданов. Они ездили долго, пока больная почувствовала усталость и позыв ко сну; тогда они вернулись, и Глафира тотчас же легла в постель. Девушка легла у нее в ногах на диванчике.

Горданов спал мертвым сном и очень удивился, когда, проснувшись, услышал спокойный и веселый голос Глафиры, занимавшейся с девушкой своим туалетом.

«Неужто же, – подумал он, – все это вчера было притворство? Одно из двух: или она теперешним весельем маскирует обнаружившуюся вчера свою ужасную болезнь, или она мастерски сыграла со мною новую плутовскую комедию, чтобы заставить меня оттолкнуть Ларису. Сам дьявол ее не разгадает. Она хочет, чтоб я бросил Ларису; будь по ее, я брошу мою Ларку, но брошу для того, чтобы крепче ее взять. Глафира не знает, что мне самому все это как нельзя более на руку».

С этим он оделся, вышел в зал и, написав пять строк к Ларе, положил в незапечатанном конверте в карман и ждал Глафиры.

Предстоящие минуты очень интересовали его: он ждал от Глафиры «презренного металла» и… удостоверения, в какой мере сердце ее занято привязанностью к другому человеку: до того ли это дошло, что он, Горданов, ей уже совсем противен до судорог, или… она его еще может переносить, и он может надеяться быть ее мужем и обладателем как бодростинского состояния, так и красоты Ларисы.

Глава десятая
С толку сбила

Вчерашней сцены не осталось и следа. Глафира была весела и простосердечна, что чрезвычайно шло ко всему ее живому существу. Когда она хотела быть ласковой, это ей до того удавалось, что обаянию ее подчинялись люди самые к ней нерасположенные, и она это, разумеется, знала. Горданов, расхаживая по зале, слушал, как она расспрашивала девушку о ее семье, о том, где она училась и пр., и пр. Эти расспросы предлагались таким участливым тоном и в такой мастерской последовательности, что из них составлялась самая нежнейшая музыка, постепенно все сильнее и сильнее захватывавшая сердце слушательницы. С каждою шпилькой, которую девушка, убирая голову Бодростиной, затыкала в ее непокорные волнистые волосы, Глафира пускала ей самый тонкий и болезненно острый укол в сердце, и слушавший всю эту игру Горданов не успел и уследить, как дело дошло до того, что голос девушки начал дрожать на низких нотах: она рассказывала, как она любила и что из той любви вышло… Как он, – этот вековечный он всех милых дев, – бросил ее; как она по нем плакала и убивалась, и как потом явилось оно – также вековечное и неизбежное третье, возникшее от любви двух существ, как это оно было завернуто в пеленку и одеяльце… все чистенькое-пречистенькое… и отнесено в Воспитательный дом с ноготочками, намеченными лаписом, и как этот лапис был съеден светом, и как потом и само *онотоже* будет съедено светом и пр., и пр. Одним словом, старая песня, которая, однако, вечно нова и не теряет интереса для своего певца.

Глафира Васильевна очаровывала девушку вниманием к этому рассказу и им же не допускала ее ни до каких речей о своем вчерашнем припадке.

С Гордановым она держалась той же тактики. Выйдя к нему в зал, она его встретила во всеоружии своей сверкающей красоты: подала ему руку и осведомилась, хорошо ли он спал? Он похвалился спокойным и хорошим сном, а она пожаловалась.

– Je n'ai pas fermé l'oeil tout la nuit,[56] – сказала она, наливая чай.

– Будто! Это досадно, а мы, кажется, вчера пред сном ведь сделали хорошую прогулку.

Бодростина пожала с недоумением плечами и, улыбаясь, отвечала:

– Ну вот подите же: не спала да и только! Верно оттого, что вы были моим таким близким соседом.

– Не верю!

Глафира сделала кокетливую гримасу.

– Очень жалко, – отвечала она, – всем дастся по вере их.

– Но я неверующий.

– Да я не знаю, чему вы тут не верите? что вблизи вас не спится? Вы борец за существование.

– А, вот ты куда метишь?

– Да; но вы, впрочем, правы. Не верьте этому больше, чем всему остальному, а то вы в самом деле возмечтаете, что вы очень большой хищный зверь, тогда как вы даже не мышь. Я спала крепко и пресладко и видела во сне прекрасного человека, который совсем не походил на вас.

– Не оттого ли вы так бодры и прекрасны?

– Вероятно.

Горданов, похлебывая чай, шутя подивился только, что за сравнение к нему применено, что он не зверь и даже не мышь!

– А конечно, – отвечала, зажигая пахитоску, Бодростина, – вы ни сетей не рвете и даже не умеете проникнуть по-мышиному в щелочку, и только бредом о своей Ларисе мешаете спящей в двух шагах от вас женщине забыть о своем соседстве.

– Вот вам письмо к этой Ларисе, – ответил ей на это Горданов, и подал конверт.

– На что же мне оно?

– Прочтите. – Я не желаю быть поверенной чужого чувства.

– Нет, ты прочти, и ты тогда увидишь, что здесь и слова нет о чувствах. Да; я прошу тебя, пожалуйста, прочти.

И он почти насильно всунул ей в руку развернутый листок, на который Глафира бросила нехотя взгляд и прочитала:

«Прошу вас, Лариса Платоновна, не думать, что я бежал из ваших палестин, оскорбленный вашим обращением к Подозерову. Спешу успокоить вас, что я вас никогда не любил, и после того, что было, вы

уже ни на что более мне не нужны и не интересны для моей любознательности».

Горданов зорко следил во все это время и за глазами Глафиры, и за всем ее существом, и не проморгнул движения ее бровей и белого мизинца ее руки, который, по мере чтения, все разгибался и, наконец выпрямясь, стал в уровень с устами Павла Николаевича. Горданов схватил этот шаловливый пальчик и, целуя его, спросил:

– Довольна ли ты мною теперь, Глафира?

– Я немножко нездорова, чтобы быть чем-нибудь очень довольною, – отвечала она спокойно, возвращая ему листок, и при этом как бы вдруг вспомнила:

– Нет ли у вас большой фотографии или карточки, снятой с вас вдвоем с женщиной?

– На что бы это вам?

– Мне нужно.

– Не могу этим служить.

– Так послужите. Возьмите Ципри-Кипри… Впрочем, эти одеваться не умеют.

– Да ну их к черту, разве без них мало!

– Именно; возьмите хорошую, но благопристойную…

– Даму из Амстердама, – подсказал Горданов.

Бодростина кинула ему в ответ утвердительный взгляд и в то же время, вынув из бумажника карточку Александры Ивановны Синтяниной, проговорила:

– Во вкусе можете не стесняться – blonde или brune[57] – это все равно; *оттуда* поза и фигура, а головка *отсюда*.

Горданов принял карточку и вздохнул.

– Конечно, нужно, чтобы стан как можно более отвечал телу, которое носит эту голову.

– Уж разумеется.

– И поза скромная, а не какая-нибудь, а là черт меня побери.

– Перестань, пожалуйста, меня учить.

– И платье черное, самое простое черное шелковое платье, какое есть непременно у каждой женщины.

– Да знаю же, все это знаю.

– Лишний раз повторить не мешает. И потом, когда дойдет дело до того, чтобы приставить эту головку к корпусу дамы, которая будет в

ваших объятиях, надо…

Горданов перебил ее и скороговоркой прочел:

– Надо поручить это дело какому-нибудь темному фотографщику… Найду такого из полячков или жидков.

– И чтобы на обороте карточки не было никакого адреса.

– Ах, какая ты беспокойная, уж об этом они сами побеспокоятся.

– Да, я беспокойна, но это и не мудрено; все это уж слишком долго тянется, – проговорила она с нетерпеливою гримасой.

– Ведь за тобою же дело. Скажи, и давно бы все прикончили, – ответил Горданов.

– Нет; дело не за мной, а за обстоятельствами. Я иду так, как мне следует идти. Поспешить в этом случае значит людей насмешить, а мне нужен свет, и он должен быть на моей стороне.

– Ну черт ли в нем тебе, и вряд ли это можно.

– Нет, извините, мне это нужно, и это можно! Свет не карает преступлений, но требует от них тайны. А впрочем, это уж мое дело.

– Позволь, однако, и мне дать тебе один совет, – заговорил Горданов, потряхивая в руке карточкой Синтяниной. – Ты, разумеется, рассчитываешь что-нибудь поставить на этой фотографии, которую мне заказываешь.

– Еще бы, конечно, мне это нужно не для того, чтобы раздражать мою ревность.

– Да перестань играть словами. А дело вот в чем: это ни к чему не поведет; на этот хрусталь ничто не воздействует.

– Ты бросаешься в игру слов: *свет* на него не воздействует?

– Не поверят, – отвечал, замотав головой, Горданов.

– Кому? Солнцу не поверят. Оставь со мною споры; ты мелко плаваешь, да и нам остается ровно столько времени, чтобы позавтракать и проститься, условясь кое о чем пред разлукой. Итак, еще раз: понимаешь ли ты, что ты должен делать? Бодростин должен быть весь в руках Казимиры, как Иов в руках сатаны, понимаешь? весь, совершенно весь. Я получила прекрасные вести. Казимира, как настоящая полька, влюбилась наконец в своего санкюлота… скрипача… Она готовилась быть матерью… Этим бесценным случаем мы должны воспользоваться, и это будущее дитя должно быть поставлено на счет Михаилу Андреевичу.

– Но тут… позволь!.. – Горданов рассмеялся и добавил: – в этом твоего мужа не уверишь.

– Почему?

– Почему? Потому что il a au moins soixante dix ans.[58]

– Tant mieux, mon cher, tant mieux! C'est un si grand âge,[59] что как не увлечься таким лестным поклепом! Он назовется автором, не бойтесь. Впрочем, и это тоже не ваше дело.

– Да уж… «мои дела», это, я вижу, что-то чернорабочее: делай, что велят, и не смей спрашивать, – сказал, с худо скрываемым неудовольствием, Горданов.

– Это так и следует: мужчины трутни, грубая сила. В улье господствуют бесполые, как я! Твое дело будет только уронить невзначай Казимире сказанную мною мысль о ребенке, а уж она сама ее разыграет, и затем ты мне опять там нужен, потому что когда яичница в шляпе будет приготовлена, тогда вы должны известить меня в Париж, – и вот все, что от вас требуется. Невелика услуга?

– Очень невелика. Но что же требуется? Чтоб он взял к себе этого ребенка, что ли?

– Нимало. Дитя непременно должно быть отдано в Воспитательный дом, и *непременно* при посредстве моего мужа.

– Ничего не понимаю, – проговорил Горданов.

– Право не понимаешь?

– Ровно ничего не понимаю.

– Ну, ты золотой человек, лети же мой немой посол и неси мою неписанную грамоту.

Глава одиннадцатая
Бриллиант и янтарь

Бодростина достала из портфеля пачку ассигнаций и, положив их пред Гордановым, сказала:

– Это тебе на первую жизнь в Петербурге и на первые уплаты по твоим долгам. Когда пришлешь мне фотографию, исполненную, как я велела, тогда получишь вдвое больше.

Горданов взял деньги и поцеловал ее руку. Он был смят и даже покраснел от сознания своего наемничьего положения на мелкие делишки, в значении которых ему даже не дают никакого отчета.

Он даже был жалок, и в его глазах блеснула предательская слеза унижения. Бодростина смотрела на него еще минуту, пока он нарочно долго копался, наклоняясь над своим портфелем, и, наконец встав, подошла к нему и взяла его голову. Горданов наклонился еще ниже. Глафира повернула к себе его лицо и поцеловала его поцелуем долгим и страстным. Он ожил… Но Глафира быстрым движением отбросила от себя обвившие ее руки Горданова и, погрозив ему с улыбкой пальцем, подавила пуговку электрического звонка и сама отошла и стала против зеркала.

Приказав вошедшему на этот зов слуге подать себе счет, Глафира добавила:

– Возьмите кстати у барина письмо и опустите его тотчас в ящик.

Слуга ответил:

– Слушаю-с.

И, взяв из рук Горданова письмо к Ларе, безмолвно удалился.

Глафира спокойно начала укладывать собственноручно различные мелочи своего дорожного багажа, посоветовав заняться тем же и Горданову.

Затем Бодростина посмотрела поданный ей счет, заплатила деньги и, велев выносить вещи, стала надевать пред зеркалом черную касторовую шляпу с длинным вуалем.

Горданов снарядился и, став сзади ее с дорожной сумкой через плечо, он смотрел на нее сухо и сурово.

Глафире все это было видно в зеркале, и она спросила его:

– О чем ты задумался?

– Я думаю о том, где у иных женщин та женская чувствительность, о которой болтают поэты?

– А некоторые женщины ее берегут.

– Берегут? гм! Для кого же они ее берегут?

– Для избранных.

– Для нескольких?

– Да, понемножку. Ведь ты и многие учили женщин, что всякая исключительная привязанность порабощает свободу, а кто же больший друг свободы, как не мы, несчастные порабощенные вами создания? Идем, однако: наши вещи уже взяты.

И с этим она пошла к двери, а Горданов за нею.

Сбежав на первую террасу лестницы, она полуоборотилась к нему и проговорила с улыбкой:

– Какой мерой человек мерит другому, такой возмерится и ему! – и снова побежала.

– Смотрите, чтоб это не приложилось и к вам, – отвечал вдогонку ей Горданов.

– О-о-о! не беспокойся! Для меня пора исключительных привязанностей прошла.

– Ты лжешь сама себе: в тебе еще целый вулкан жизни.

– А, это другое дело; но про такие серьезные дела, как скрытый во мне «вулкан жизни», мы можем договорить и в карете.

С этим она вступила в экипаж, а за ней и Горданов.

Через полчаса Павел Николаевич, заняв место в первоклассном вагоне Петербургской железной дороги, вышел к перилам, у которых, в ожидании отхода поезда, стояла по другой стороне Бодростина.

Он опять совладал с собой и смирился.

– Ну, еще раз прощай, «вулкан», – сказал он, смеясь и протягивая ей свою руку.

– Только, пожалуйста, не «вулкан», – ответила еще шутливее Глафира. – Вулкан остался там, где ты посеял свой ум… Ничего: авось два вырастут. А ты утешься: скучать не стоит долго по Ларисе, да она и сама скучать не будет долго.

– Ты это почему знаешь?

– Да разве дуры могут долго скучать!

– Она не так глупа, как ты думаешь.

– Нет, она именно гак глупа, как я думаю.

– Есть роли в жизни, для выполнения которых ум не требуется.

– Да; только она ни к одной из них негодна.

– Отчего же: очень много недалеких женщин, которые прекрасно составляют счастье мужей.

– Ты прав: великодушные дурочки. Да; это прекрасный сорт женщин, но они редки и она не из них.

– Ну, так из нее может выйти кому-нибудь путная любовница.

– Никогда на свете! Успешное исполнение такой роли требует характера.

– Ну, так в дорогие камелии пригодится.

– О, всего менее! Там нужен… талант! А впрочем, уже недолго ждать: le grand ressort et cassé,[60] как говорят французы: теперь скоро увидим, что она с собой поделает.

Раздался второй звонок.

Горданов протянул на прощанье руку и сказал:

– Ты умна, Глафира, но ты забыла еще один способ любить подобных женщин: с ними надо действовать по романсу: «Тебя томить, тебя терзать, твоим мучением наслаждаться».

– А ты таки достоялся здесь предо мной до того, чтобы проговориться, как ты думаешь с ней обойтись. Понимаю, и пусть это послужит тебе объяснением, почему я тебе не доверяюсь; пусть это послужит тебе и уроком, как глупо стараться заявлять свой ум. Но иди, тебя зовут.

Кондуктор действительно стоял возле Горданова и приглашал его в вагон.

Павел Николаевич стиснул руку Глафиры и шепнул ей:

– Ты бриллиант самых совершеннейших граней!

Бодростина, смеясь, покачала отрицательно головой.

– Что? Разве не бриллиант?

– Я-н-т-а-р-ь! – шепнула она, оглядываясь и слегка надвигая брови над улыбающимся лицом.

– Почему же не бриллиант, почему янтарь? – шептал, выглядывая из вагона, развеселившийся Горданов.

– Потому что в янтаре есть свое постоянное электричество, меж тем как бриллиант, чтобы блеснуть, нуждается в свете… Я полагаю,

что это, впрочем, совсем не интересно для того, кого заперли на защелку. Adieu![61]

Поезд тронулся и пополз.

– Sans adieu! Sans adieu! Je ne vous dis pas adieu![62] – крикнул, высовываясь назад, Горданов.

Бодростина только махнула ему, смеясь, рукой и в том же самом экипаже, в котором привезли сюда из гостиницы Горданова, отъехала на дебаркадер другой железной дороги. Не тяготясь большим крюком, она избрала окольный путь на запад и покатила к небольшому пограничному городку, на станции которого давно уже обращал на себя всеобщее внимание таинственный господин потерянного видя, встречавший каждый поезд, приезжающий из России.

Господин этот есть не кто иной, как злополучный Иосаф Платонович Висленев, писавший отсюда Горданову под псевдонимом покинутой Эсперансы и уготованный теперь в жертву новым судьбам, ведомым лишь богу на небе, да на земле грешной рабе его Глафире.

Глава тринадцатая
Собака и ее тень

За стеной, куда скрылись тени, началась шепотом беседа.

– И ты с тем это и пришла сюда, Катя? – внезапно послышалось из-за успокоившихся полос сукна.

Лариса тотчас же узнала голос генеральши Синтяниной.

– Да; я именно с этим пришла, – отвечал ей немножко грубоватый, но искренний голос Форовой, – я давно жду и не дождусь этой благословенной минутки, когда он придет в такой разум, чтоб я могла сказать ему: «прости меня, голубчик Андрюша, я была виновата пред тобою, сама хотела, чтобы ты женился на моей племяннице, ну а теперь каюсь тебе в этом и сама тебя прошу: брось ее, потому что Лариса не стоит путного человека».

– Горячо сказано, Катя.

– Горячо и праведно, моя милая.

– Ну, в таком случае мне остается только порадоваться, что мы с тобой сошлись на его крыльце, что он спит и что ты не можешь исполнить своего намерения.

– Я его непременно исполню, – отвечала Форова.

– Нет, не исполнишь: я уверена, что ты через минуту согласишься, что ты не имеешь никакого права вмешиваться таким образом в их дело.

– Ну, это старая песня; я много слыхала про эти невмешательства и не очень их почитаю. Нет, вмешивайся; если кому желаешь добра, так вмешивайся. А он мне просто жалости достоин.

Слышно было, как Форова сорвала с себя шляпу и бросила ее на стол.

– В этом ты права, – ответила ей тихо Синтянина.

– Да как же не права? Я тебе говорю, сколько я больная лежала да рассуждала про нашу Ларису Платоновну, сколько теперь к мужу в тюрьму по грязи шлепаю, или когда здесь над больным сижу, – все она у меня из головы неидет: что она такое? Нет, ты расскажи мне, пожалуйста, что она такое?

Синтянина промолчала.

– Молчишь, – нетерпеливо молвила Катерина Астафьевна, – это, мать моя, я и сама умею.

– Она… красавица, – сказала Синтянина.

– То есть писанка, которою цацкаются, да поцацкавшись, другому отдают, как писанное яичко на Велик День.

– Что же это позволяет тебе делать на ее счет такие заключения?

– Из чего я так заключаю?.. А вот из этого письмеца, которое мне какой-то благодетель прислал из Москвы. Возьми-ка его да поди к окну, прочитай.

Синтянина встала и через минуту воскликнула:

– Какая низость!

– Да; вот и рассуждай. Вот тебе и красавица. – Гордашка, и тот шлет отказ как шест.

– Анонимное письмо… копия… это все не стоит никакой веры.

– Нет, это верно, да что в самом деле нам себе врать: это так должно быть. Я помню, что встарь говорили: красота без нравов – это приманка без удочки; так оно и есть: подплывает карась, повертится да и уйдет, а там голец толкнется, пескарь губами пошлепает, пока разве какой шершавый ерш хапнет, да уж совсем слопает. Ларка… нет, эта Ларка роковая: твой муж правду говорит, что ее, как калмыцкую лошадь, один калмык переупрямит. В ответ на это замечание послышался только тихий вздох.

– Да, вот видишь ли, и вздохнула? А хочешь ли я тебе скажу, почему ты вздыхаешь? Потому, что ты сама согласна, что в ней, в нашей прекрасной Ларочке, нет ничего достойного любви или уважения.

Синтянина на это не ответила ни слова, а голова Ларисы судорожно оторвалась от спинки кресла и выдвинулась вперед с гневным взором и расширяющимися ноздрями.

Форова не прерывала нити занимающих ее мыслей и продолжала свой разговор.

– Нет, ты не отмалчивайся, – говорила она, – мы здесь одни, нас двух никто третий здесь не слышит, и я у тебя настоятельно спрашиваю: что же, уважаешь разве ты Ларису?

– Уважаю, – решительно ответила Синтянина.

– Лжешь! Ты честная женщина, ты никого не погубила и потому не можешь уважать такую метелицу.

– Она метелица, это правда, но это все оттого только, что она капризна, – отвечала генеральша.

– Да вот изволишь видеть: она только капризна, да пустоголова, а то всем бы взяла.

– Ну извини: у нее есть ум.

– Необыкновенно как умна! Цены себе даже не сложит, клочка не выберет, на какой бы себя повесить! И то бы ей хорошо, а это еще лучше того, ступит шаг да оглянется, пойдет вперед и опять воротится.

– Все это значит только то, что у нее беспокойное воображение.

– Ну, вот выдумай еще теперь беспокойное воображение! Все что-нибудь виновато, только не она сама! А я вам доложу-с одно, дорогая моя Александра Ивановна, что как вы этого ни называйте, – каприз ли это или по-новому беспокойное воображение, а с этим жить нельзя!

Генеральша пожала плечами и отвечала:

– Однако же люди живут с женщинами капризными.

– Живут-с? Да, с ними живут и маются и век свой губят. Из человека сила богатырь вышел бы, а кисейный рукав его на ветер пустит, и ученые люди вроде вас это оправдывают: «Женщина, женщина!» говорят. «Женщины несчастные, их надо во всем оправдывать».

– Я не оправдываю ни женщин, ни Ларисы, и, пожалуйста, прошу тебя, не считай меня женским адвокатом; бывают виноватые женщины, есть виноватые мужчины.

– Как же вы не оправдываете Ларису, когда вы ее даже уважаете? – настаивала майорша.

– Я в Ларисе уважаю то, что заслуживает уважения.

– Что же-с это, что, позвольте узнать? Что же вы в ней уважаете?

– Она строгая, честная девушка.

– Что-с?

– Она строгая к себе девушка; девушка честная, не болтушка, не сплетница; любит дом, любит чтение и беседу умных людей. А все остальное… от этого ей одной худо.

– Она строгая девушка? Она честная? Поздравляю!

– Разве ты о ней каким-нибудь образом узнала что-нибудь нехорошее?

– Нет, образом я ничего не узнала, а меня это как поленом в лоб свистнуло… но только нечего про это, нечего… А я сказала, что не

хочу, чтоб Андрей Иванович принимал как святыню ее, обцелованную мерзкими губами; я этого не хочу и не хочу, и так сделаю.

Разгорячившаяся Форова забылась и громко хлопнула по столу ладонью.

– Да! – подтвердила она, – я так сделаю: дрянь ее бросила, а хорошему я не дам с ней обручиться.

– Дрянь бросила, а хороший поднимет, – проговорила Синтянина. – Это так нередко бывает, моя Катя.

– Ну бывает или не бывает, а на этот раз так не будет! Клянусь богом, мужем моим, всем на свете клянусь: этого не будет! Подыми только его господь, а уж тогда я сама, я все ему открою, и он ее бросит.

– Как же ты можешь за это ручаться? Ну, ты скажешь ему, что она капризница, но большею частью все хорошенькие женщины капризны.

– Нет, я и другое еще скажу.

– Ну… ты, положим, скажешь, что она кого-то когда-то поцеловала что ли… – произнесла, несколько затрудняясь, генеральша, – но что же из этого?

– Так это ничего! Так это по-твоему ничего? Ну, не ожидала, чтобы ты, ты, строгая, чистая женщина, девушкам ночные поцелуи с мерзавцами советовала.

– Я и никогда этого не советовала, но скажу, что это бывает.

– И что это *ничего?*

– Почти. Спроси, пожалуйста, по совести всех дам, не случалось ли им поцеловать мужчину до замужества, и ручаюсь, что редкой этого не случалось; а между тем это не помешало многим из них быть потом и очень хорошими женами и матерями.

– Ну, а я говорю, что она не будет ни хорошей женой, ни хорошей матерью; мне это сердце мое сказало, да и я знаю, что Подозеров сам не станет по-твоему рассуждать. Я видела, как он смотрел на нее, когда был у тебя в последний раз пред дуэлью.

– Как он на нее смотрел? Я ничего особенного не видала.

– Именно особенно: совсем не так, как глядел на нее прежде. Бровки-то с губками видно уже напритерели, а живая душа за душу потянула.

– Что это?.. другая любовь, что ли?

– Да-с.

– Это любопытно, – уронила с легким смущением в голосе генеральша.

– А ты не любопытствуй, а то я ведь, пожалуй, и скажу.

– Пожалуйста, пожалуйста, скажи.

– Да ты же сама эта живая душа, вот кто!

– Ну ты, Катерина, в самом деле с ума сходишь.

– Нимало не схожу: ты его любишь, и он к тебе тоже всей душой потянулся, и, придет время, дотянется.

Генеральша еще более смущенным голосом спросила:

– Что за вздор такой, как это он – *дотянется?*

– Да отчего ж нет? Ты молода, ему тридцать пять лет, а мужу твоему дважды тридцать пять, да еще не с хвостиком ли? Иван Демьянович умрет, а ты за Андрюшу замуж выйдешь. Вот и весь сказ. – Не желаешь, чтобы так было?

Послышался шорох, и две женские фигуры в обеих смежных комнатах встали и двинулись: Лариса скользнула к кровати Подозерова и положила свою трепещущую руку на изголовье больного, а Александра Ивановна сделала шаг на средину комнаты и, сжав на груди руки, произнесла:

– Нет, нет, ты лжешь! Видит бог мое сердце, я не желаю смерти моему мужу! Я желаю ему выздоровления, жизни, покоя и примирения со всем, пред чем он не прав.

И это так и будет: доктор сегодня сказал, что Иван Демьянович уже положительно вне всякой опасности, и мы поедем в Петербург; там вынут его пулю, и он будет здоров.

– Да, да, все это вы сделаете, а все-таки будет так, как я сказала: старому гнить, а молодым жить. Ты этого не хочешь, но тебе это желается; оно так и выйдет.

При этих новых словах Форовой фигура генеральши, обрисовавшаяся темным силуэтом на сером фоне густых сумерек, поднялась с дивана и медленно повернулась.

– Катя! это уже наконец жестоко! – проговорила она и, закрыв рукой лицо, отошла к стене. Она как бы чего оробела, и на веках ее глаз повисли слезы.

В это же самое мгновенье, в другой комнате, Лара, упершись одною рукой в бледный лоб Подозерова и поднимая тоненьким

пальцем его зеницы, другою крепко сжала его руку и, глядя перепуганным взглядом в расширенные зрачки больного, шептала:

– Встаньте, встаньте же, встаньте! Проснитесь… я люблю вас!

Лариса должна была несколько раз кряду повторить свое признание, прежде чем обнаружилось хотя слабое действие того волшебства, на которое она рассчитывала. Но она так настойчиво теребила больного, что в его глазах наконец блеснула слабая искра сознания, и он вышел из своего окаменелого бесчувствия.

– Слышите ли вы, слышите ли, что я говорю вам? – добивалась шепотом Лара, во всю свою силу сжимая руку больного и удерживая пальцами другой руки веки его глаз.

– Слы…ш…ш…ш…у! – тихо протянул Подозеров.

– Узнаете ли вы меня?

– Уз…на…ю.

– Назовите же меня, назовите: кто я?

– Вы?..

Больной вдруг вперил глаза в лицо Лары и после долгого соображения ответил:

– Вы не она.

Лариса выбросила из своих рук его руку, выпрямилась и, закусив нижнюю губку, мысленно послала не ему, а многим другим одно общее проклятие, большая доля которого без раздела досталась генеральше.

Глава четырнадцатая
Раненого берут в плен

Описанная неожиданная сцена между Ларисой и Подозеровым произошла очень быстро и тихо, но тем не менее, нарушив безмолвие, царившее во все это время покоя больного, она не могла таиться от двух женщин, присутствовавших в другой комнате, если бы внимание их в эти минуты не было в сильнейшей степени отвлечено другою неожиданностью, которая, в свою очередь, не обратила на себя внимания Ларисы и Подозерова только потому, что первая была слишком занята своими мыслями, а второй был еще слишком слаб для того, чтобы соображать разом, что делается здесь и там в одно и то же время.

Дело в том, что прежде чем Лара приступила к Подозерову с решительным словом, на крыльце деревянного домика, занимаемого Андреем Ивановичем, послышались тяжелые шаги, и в тот момент, когда взволнованная генеральша отошла к стене, в темной передней показалась еще новая фигура, которой нельзя было ясно разглядеть, но которую сердце майорши назвало ей по имени.

Катерина Астафьевна, воззрясь в темноту, вдруг позабыла всякую осторожность, требуемую близостью больного и, отчаянно взвизгнув, кинулась вперед, обхватила вошедшую темную массу руками и замерла на ней.

Генеральша торопливо оправилась и зажгла спичкой свечу. Огонь осветил пред нею обросшую косматую фигуру майора Филетера Форова, к которому в исступлении самых смешанных чувств ужаса, радости и восторга, припала полновесная Катерина Астафьевна. Увидев при огне лицо мужа, майорша только откинула назад голову и, не выпуская майора из рук, закричала: «Фор! Фор! ты ли это, мой Фор!» – и начала покрывать поцелуями его сильно поседевшую голову и мокрое от дождя и снега лицо.

– Ты это? ты? Говори же мне, ты или нет? – добивалась она, разделяя каждое слово поцелуем, улыбкой и слезами.

– Ну вот тебе на! Я или нет? Разумеется, я, – отвечал майор.

– Господи! я глазам своим не верю, что это ты!

– Ну так поверь.

Майорша не отвечала: она, действительно, как бы не доверяя ни зрению своему, ни слуху, ни осязанию, жалась к мужу, давила его плечи своими локтями и судорожно ерошила и сжимала в дрожащих руках его седые волосы и обросшую в остроге бороду.

– Откуда же ты, да говори же скорее: убежал?.. Я тебя скрою…

– Ничуть я не убежал, и нечего тебе меня скрывать. Здравствуйте, Александра Ивановна!

Генеральша отвечала пожатием руки на его приветствие и со своей стороны спросила:

– Как это вы, Филетер Иванович?

– А очень просто: сначала на цепь посадили, а нынче спустили с цепи, – только и всего. Следствие затянулось; Горданов с поручительством уехал, и меня, в сравнение со сверстниками, на поруки выпустили. Спасибо господину Горданову!

– Да, спасибо ему, разбойнику, спасибо! Но что же мы стоим? Иди же, дружочек, садись и расскажи, как ты пришел… Только тихо говори, бедный Андрюша чуть жив.

– Пришел я очень просто: своими ногами, а Андрей Иванович где же лежит?

– Тут за стеной. Тише, он теперь спит, а мы с Сашутой тут и сидели… Ее Ивану Демьянычу, знаешь, тоже легче… да; Саша повезет его весной в Петербург, чтоб у него вынули пулю. Не хочешь ли чаю?

– Ничего, можно и чаю; я там привык эту дрянь пить.

– Садись же, а я скажу человеку, чтобы поставил самовар. Ты ведь не заходил домой… ты прямо?..

– Прямо, прямо из острога, – отвечал майор, усаживаясь рядом с Синтяниной на диване и принимаясь за сооружение себе своей обычной толстой папиросы.

– Я боялся идти домой, – заговорил он, обратясь к генеральше, когда жена его вышла. – Думал: войду в сумерках, застану одну Торочку: она, бедное творенье, перепугается, – и пошел к вам; а у вас говорят, что вы здесь, да вот как раз на нее и напал. Хотел было ей башмаки, да лавки заперты. А что, где теперь Лариса Платоновна?

– Она, верно, дома.

– Нет, я был у нее; ее дома нет. Я заходил к ней, чтобы занять пять целковых для своего поручителя, да не нашел ее и отдал ему с шеи

золотой крест, который мне Торочка в остроге повесила. Вы ей не говорите, а то обидится.

– А кто же за вас поручился? Впрочем, что я спрашиваю: конечно, друг ваш, отец Евангел.

– А вот же и не отец Евангел: зачем бы я Евангелу крест отдал?

– И правда: я вздор сказала.

– Да, кажется, что так. Нет, за меня не Евангел поручился, а целовальник Берко. Друг мой отец Евангел агитатор и сам под судом, а следовательно доверия не заслуживает. Другое дело жид Берко; он «честный еврей». Но все дело не в том, а что я такое вижу… тс!.. тс!.. тише.

Синтянина взглянула по направлению, по которому глядел в окно майор, и глазам ее представилась огненная звездочка. Еще мгновение, и эта звездочка вдруг красным зайцем перебежала по соседской крыше и закурилась дымом.

– Пожар! по соседству пожар, у соседей! – задыхаясь, прошептала, вбегая, Форова.

Майор, жена его и генеральша выбежали на крыльцо и убедились, что действительно в двух шагах начинался пожар, и что огонь через несколько минут угрожал неминуемою опасностью квартире Подозерова. Больного надо было спасать: надо было его взять и перенести, но куда? вот вопрос. Неужто в гостиницу? Но в гостиницах так беспокойно и бесприютно. К Форовым? но это далеко, и потом у них тоже не бог весть какие поместительные чертоги… К Синтяниным?.. У тех, разумеется, есть помещение, но генерал Иван Демьяныч сам очень слаб, и хотя он давно привык верить жене и нечего за нее опасаться, однако же он подозрителен, ревнив; старые страсти могут зашевелиться. Это промелькнуло в голове генеральши одновременно с мыслью взять к себе больного, и промелькнуло особенно ясно потому, что недавние намеки насчет ее чувства к Подозерову были так живы и, к крайнему ее стыду, к крайней досаде ее, не совсем безосновательны.

«Вот и казнь! – подумала она. – Вот и начинается казнь! Над чем бы я прежде не остановилась ни одного мгновения, над тем я теперь размышляю даже тогда, когда дело идет о спасении человека…»

Но пока генеральша предавалась этим размышлениям, на дворе и на улице закипела уже пожарная суматоха, и через минуту она должна

была неизбежно достичь до ушей больного и перепугать, а может быть и убить его своею внезапностью. Настояла крайняя необходимость сейчас же решиться, что предпринять к его спасению, – а между тем все только ахали и охали. Катерина Астафьевна бросалась то на огород, то за ворота, крича: «Ах, господи, ах, Николай угодник, что делать?» Синтянина же, решив взять ни на что несмотря больного к себе, побежала в кухню искать слугу Подозерова, а когда обе эти женщины снова столкнулись друг с другом, вбегая на крыльцо, вопрос уже был решен без всякого их участия. Они в сенях встретили Форова, который осторожно нес на руках человека, укутанного в долгорунную баранью шубу майора, а Лариса поддерживала ноги больного и прикрывала от ветра его истощенное тело. О том, кто эта ноша – нечего было спрашивать. Катерина Астафьевна и Синтянина только воскликнули в один голос: «куда вы это?» – на что Лара, не оборачиваясь к ним, ответила: «ко мне», – и эффектное перенесение шло далее, по ярко освещенному двору, по озаренным заревом улицам, мимо людей толпящихся, осуждающих, рассуждающих и не рассуждающих.

Синтянина и Форова последовали за Ларой и майором. Когда больного положили в кабинете отсутствующего Жозефа Висленева, Филетер Иванович поспешил опять на пожар и, найдя помощников, энергически принялся спасать подозеровские пожитки, перетаскивая их на висленевский двор. К утру все это было окончено, и хотя квартира Подозерова не сгорела, а только несколько потерпела от пожарного переполоха, но возвратиться в нее было ему неудобно, пока ее снова приведут в порядок; а тем временем обнаружились и другие препятствия, состоявшие главным образом в том, что Лара не хотела этого возвращения. Она дала это понять всем к ней близким в тот же самый вечер, как Подозеров был положен в кабинете ее брата.

Лара вдруг обнаружила быстрейшую распорядительность: она, с помощью двух слуг и Катерины Астафьевны с генеральшей, в несколько минут обратила комнату брата в удобное помещение для больного и, позвав врача, пользовавшего Подозерова, объявила Форовой и Синтяниной, что больной требует покоя и должен остаться исключительно на одних ее попечениях.

Генеральша и майорша переглянулись.

– Мы, значит, теперь здесь лишние? – спросила Катерина Астафьевна.

– Да, вам, тетя, хорошо бы посмотреть, что там… делается с его вещами, а здесь я сама со всем управлюсь, – спокойно отвечала Лара и ушла доканчивать свои распоряжения.

Форова и Синтянина остались вдвоем в пустой зале.

– Что же? это значит раненный теперь в плен взят что ли? – молвила майорша.

Синтянина в ответ на это только пожала плечами, и обе эти женщины молча пошли по домам, оставив Ларису полною госпожой ее пленника и властительницей его живота и смерти.

Глава пятнадцатая
Роза из сугроба

Больной оставался там, где его положили; время шло, и Лариса делала свое дело.

Чуть только Подозеров, получивши облегчение, начал снова явно понимать свое положение, Лара, строго удалявшая от больного всех и особенно Синтянину, открыла ему тайну унижения, претерпленного ею от Горданова.

Это было вечером, один на один: Лариса открыла Испанскому Дворянину все предшествовавшее получению от Павла Николаевича оскорбительного письма. При этом рассказе Ларису, конечно, нельзя было бы упрекнуть в особенной откровенности, – нет, она многое утаивала и совсем скрыла подробности поцелуя, данного ею Павлу Николаевичу на окне своей спальни; но чем не откровеннее она была по отношению к себе, тем резче и бесповоднее выходила наглость Горданова, а Подозеров был склонен верить на этот счет очень многому, и он, действительно, верил всему, что ему говорила Лариса. Когда последняя подала ему известное нам письмо Горданова, Подозеров, пробежав его, содрогнулся, откинул далеко от себя листок и проговорил:

– Я только одного не постигаю, как такой поступок до сих пор не наказан!

И Подозеров начал тихо вытирать платком свои бледные руки, в которых за минуту держал гордановское письмо.

– Кто же может его наказать? – молвила потерянно Лариса.

– Тот, кто имеет законное право за вас вступаться, – ваш брат Жозеф. Это его обязанность… по крайней мере до сих пор у вас нет другого защитника.

– Мой брат… где он? Мы не знаем, где он, и к тому… эта история с портфелем…

Подозеров поглядел на Ларису и, поправясь на изголовьи, ответил:

– Так вот в чем дело! Он не смеет?

– Да; я совершенно беспомощна, беззащитна и… у меня даже не может быть другого защитника, – хотела досказать Лара, но Подозеров понял ее и избавил от труда досказать это.

– Говорите, пожалуйста: чего вы еще боитесь, что еще вам угрожает?

– Я вся кругом обобрана… я нищая.

– Ах это!., да разве уже срок закладной дома минул?

– Да, и этот дом уже больше не мой; он будет продан, а я, как видите, – оболгана, поругана и обесчещена.

Лариса заплакала, склоня свою фарфоровую голову на белую ручку, по которой сбегал, извиваясь, как змея, черный локон.

Подозеров молча глядел несколько времени и наконец сказал даже:

– Что же теперь делать?

– Не знаю; я все потеряла, все… все… состояние, друзей и доброе имя.

– И отчего я здесь у вас не вижу… ни Катерины Астафьевны, ни майора, ни Синтяниной?

– Тетушке из Москвы прислали копию с этого письма; она всему верит и презирает меня.

– Боже! какой страшный мерзавец этот Горданов! Но будто уже это письмо могло влиять на Катерину Астафьевну и на других?

Лариса вместо ответа только хрустнула руками и прошептала:

– Я пойду в монастырь.

– Что такое? – переспросил ее изумленный Подозеров и, получив от нее подтверждение, что она непременно пойдет в монастырь, не возразил ей ни одного слова.

Наступила долгая пауза: Лариса плакала, Подозеров думал. Мысль Лары о монастыре подействовала на него чрезвычайно странно. Пред ним точно вдруг разогнулась страница одного из тех старинных романов, к которым Висленев намеревался обратиться за усвоением себе манер и приемов, сколько-нибудь пригодных для житья в обществе благопристойных женщин. В памяти Подозерова промелькнули «Чернец» и «Таинственная монахиня» и «Тайны Донаретского аббатства», и вслед за тем вечер на Синтянинском хуторе, когда отец Евангел читал наизусть на непередаваемом

французском языке стихи давно забытого французского поэта Климента Маро, оканчивающиеся строфой:

«Ainsi retournement humain se fait».

И Подозерову стало дико. Неужели в самом деле колесо совсем перевернулось, и начинается сначала?.. Но когда же все это случилось и как? Неужели это произошло во время его тяжкой борьбы между жизнию и смертию? Нет; это стряслось не вдруг: это шло чередом и полосой: мы сами только этого не замечали, и ныне дивимся, что общего между прошлым тех героинь, которые замыкались в монастыри, и прошлым сверстниц Лары, получивших более или менее невнятные уроки в словах пророков новизны и в примерах, ненадолго опередивших их мечтательниц, кинутых на распутьи жизни с их обманутыми надеждами и упованиями? Да; есть однако же между ними нечто общее, есть даже много общего: как преподаваемые встарь уроки «бабушек» проходили без проникновения в жизнь, так прошли по верхам и позднейшие уроки новых внушителей. По заслугам опороченное, недавнее юродство отрицательниц было выставлено пугалом для начинающих жить юношей и юниц последнего пятилетия, но в противовес ему не дано никакого живого идеала, способного возвысить молодую душу над уровнем вседневных столкновений теории и житейской практики. Как панацея от всех бед и неурядиц ставилась «бабушкина мораль», и к ней оборотили свои насупленные и недовольные лики юные внучки, с трепетом отрекшиеся от ужаснувшего их движения «бесповоротных» жриц недавно отошедшего или только отходящего культа; но этот поворот был не поворот по убеждению в превосходстве иной морали, а робкое пяченье назад с протестом к тому, что покинуто, и тайным презрением к тому, куда направилось отступление. Из отречения от недавних, ныне самих себя отрицающих отрицателей, при полном отсутствии всякого иного свежего и положительного идеала, вышло только новое, полнейшее отрицание: отрицание идеалов и отрицание отрицания. В жизни явились люди без прошлого и без всяких, хотя смутно определенных стремлений в будущем. Мужчины из числа этих перевертней, выбираясь из нового хаоса, ударились по пути иезуитского предательства. Коварство они возвели в добродетель, которою кичились и кичатся до сего дня, не краснея и не совестясь. Религия, школа, самое чувство любви к родине, – все это вдруг сделалось

предметом самой бессовестной эксплуатации. Женщины пошли по их стопам и даже обогнали их: вчерашние отрицательницы брака не пренебрегали никакими средствами обеспечить себя работником в лице мужа и влекли с собою неосторожных юношей к алтарю отрицаемой ими церкви. Этому изыскивались оправдания. Браки заключались для более удобного вступления в бесконечные новые браки. Затем посыпались, как из рога изобилия, просьбы о разводах и самые алчные иски на мужей… Все это шло быстро, с наглостию почти изумительною, и последняя вещь становилась действительно горше первой.

В этой суматохе от толпы новых лицемеров отделялся еще новейший ассортимент, который не знаем как и назвать. Эти гнушались ренегатством, признали за собою превосходство как пред погибающими, или уже погибшими откровенными отрицательницами, так и пред коварницами новейшего пошиба; но сами не могли избрать себе никакого неосудимого призвания. В своем шатании они обрели себя чуждыми всем и даже самим себе, и наибольшее их несчастие в том, что они чаще всего не сознают этой отчужденности до самых роковых минут в своей жизни. Они не знают, к чему они способны, куда бы хотели и чего бы хотели.

Красавица Лариса была из числа этих обреченных на несносное страдание существ последней культуры. Выросши на глазах заботливой, но слабой и недальновидной матери, Лариса выслушала от брата и его друзей самые суровые осуждения старой «бабушкиной морали», которой так или иначе держалось общество до проповедания учений, осмеявших эту старую мораль, и она охотно осудила эту мораль, но потом еще охотнее осудила и учения, склонявшие ее к первым осуждениям. Отбросив одно за другим, и то и другое, она осталась сама ни при чем, и так и жила, много читая, много слушая, но не симпатизируя ничему.

«У нее нет ничего, – решил, глядя на нее, Подозеров. – Она не обрежет волос, не забредит коммуной, не откроет швейной: все это для нее пустяки и утопия; но она и не склонит колена у алтаря и не помирится со скромною ролью простой, доброй семьянинки. К чему ей прилепиться и чем ей стать? Ей нечем жить, ей не к чему стремиться, а между тем девичья пора уходит, и особенно теперь, после огласки этой гнусной истории, не сладко ей, бедняжке!»

И он еще посмотрел на Ларису, и она показалась ему такою бедною и беспомощною, что он протянул ей руку и не успел одуматься и сообразить, как к руке этой, обхваченной жаркими руками Лары, прильнули ее влажные, трепещущие губы и канула горячая слеза.

Что могло привести Ларису к такому поступку? К нему побудило ее страшное сознание круглого одиночества, неодолимый натиск потребности казнить себя унижением и малодушная надежда, что за этим ударом ее самолюбию для нее настанет возможность стать под крыло вполне доброго человека, каким она признавала Подозерова.

В последнем расчете было кое-что верно.

Больной вскочил и дернул свою руку из рук Ларисы, но этим самым привлек ее к себе и почувствовал грудь ее у своей груди и заплаканное лицо ее у своего лица.

– О, умоляю вас, – шептала ему Лара. – Бога ради, не киньте меня вы… Выведите меня из моего ужасного, страшного положения, или иначе… я погибла!

– Чем, чем и как я могу помочь вам? Приказывайте! говорите!

– Как хотите.

– Я сделаю все, что могу… но что, что я могу сделать! Права заступиться за вас… я не имею… Вы не хотели этого сами…

– Это ничего не значит, – горячо перебила его Лара.

Подозеров взглянул на нее острым взглядом и прошептав: «как ничего не значит?» – повернул лицо к стене.

– Ничего не значит! Возьмите все права надо мною: я их даю вам.

Подозеров молчал, но сердце его сильно забилось.

Лариса стояла на прежнем месте возле его постели. В комнате продолжалось мертвое безмолвие.

«Чего она от меня хочет?» – думал больной, чувствуя, что сердце продолжает учащенно биться, и что на него от Лары опять пышет тонким ароматом, болезненно усиливающим его беспокойство.

Он решился еще раз просить Ларису сказать ему, приказать ему, что он должен для нее сделать, и, оборотясь к ней с этою целию, остолбенел. Лариса стояла на коленях, положив голову на край его кровати, и плакала.

– Зачем, зачем вы так страдаете? – проговорил он.

– Мне тяжко… за себя… за вас… мне жаль… прошедшего, – отвечала, не поднимая головы, Лариса.

У Подозерова захватило дыхание, и сердце его упало и заныло: он молча, слабою рукой коснулся волос на голове красавицы и прошептал:

– Боже! Да я ведь тот же, как и прежде. Научите меня только, что же нужно для того, чтобы вам было легче? Вы помните, я вам сказал: я вечно, вечно друг ваш!

Лариса подняла личико и, взглянув заплаканными глазками в пристально на нее глядевшие глаза Подозерова, молча сжала его руку.

– Говорите же, говорите, не мучьте меня: что надо делать?

– Вы за меня стрелялись?

– Нет.

– Вы не хотите мне сказать правды.

Ларисе стало досадно.

– Я говорю вам правду: я тогда был приведен этому многим, – многим, и вами в том числе, и Александрой Ивановной, и моею личною обидой. Я не знаю сам хорошо, за что я шел.

– За Синтянину, – прошептала, бледнея и потупляя глаза, Лариса.

– Нет… не знаю… мне просто… не занимательно жить.

– Почему? – прошептала Лара и, еще крепче сжав его руку, добавила:

– Пусть этого вперед не будет.

– Ну хорошо; но теперь дело не о мне, а о вас.

– Мне тогда будет хорошо, – трепеща продолжала Лариса, – тогда, когда…

Лариса встала на ноги; глаза ее загорелись, занавесились длинными веками и снова распахнулись.

Она теребила и мяла в руках руку Подозерова и наконец нетерпеливо сказала, морща лоб и брови:

– О, зачем вы не хотите понять меня?

– Нет; я не умею понять вас в эту минуту.

– Да, да! Непременно в эту минуту, или никогда! Андрей, я вас люблю! Не отвергайте меня! Бога ради не отвергайте! – настойчиво и твердо выговорила Лара и быстро выбежала из комнаты.

Глава шестнадцатая
На курьерских

Наступивший за сим день был решителем судьбы пленника Ларисы. Несмотря на разницу в нраве и образе мыслей этого человека с нравом и образом мыслей Висленева, с Подозеровым случилось то же самое, что некогда стряслось над братом Лары. Подозеров женился совсем нехотя, не думая и не гадая. Разница была только в побуждениях, ради которых эти два лица нашего романа посягнули на брак, да в том, что Лариса не искала ничьей посторонней помощи для обвенчания с собою Подозерова, а напротив, даже она устраняла всякое вмешательство самых близких людей в это дело.

После того случая, который рассказан в конце предшествовавшей главы, дело уже не могло остановиться и не могло кончиться иначе как браком. По крайней мере так решил после бессонной ночи честный Подозеров; так же казалось и не спавшей всю эту ночь своенравной Ларисе.

Подозеров, поворачивая с насупленными бровями свои подушки под головой, рассуждал: «Эта бедная девушка, если в нее всмотреться поближе… самое несчастное существо в мире. Оно просто *никто*… человек без прошлого! Как она все это мне сказала? Именно как дитя, в душе которого рождается неведомо что, совсем новое и необъяснимое никаким прошлым… С ней нельзя обходиться как со взрослым человеком: ее нужно жалеть и беречь… особенно… теперь, когда этот мерзавец ее так уронил… Но кто же станет теперь жалеть и беречь? Я должен на ней жениться, хотя и не чувствую к тому теперь любовного влечения. Да и не все ли мне равно: люблю ли я ее страстной любовью, или не люблю? Я, правда, не Печорин, но я равнодушен к жизни. Я вникал в нее, изучал ее и убедился, что вся она пустяки, вся не стоит хлопот и забот… Все, что я встречал и видел, все это тлен, суета и злоба; мне надоело далее все это рассматривать. Я слишком поздно узнал женщину, которая не есть злоба и суета, и тлен, и эта женщина взяла надо мной какое-то старшинство… и мне приятна эта власть ее надо мной; но кто сама эта женщина? Жертва. В ее

жертве ее прелесть, ее обаяние, и ее совершенство в громадности любви ее… любви без критики, без анализа…»

И в памяти Подозерова пронеслась вся его беседа в хуторной рощице с Синтяниной, и с каждым вспомянутым словом этой беседы все ближе и ближе, ясней и ясней являлась пред ним генеральша, с ее логикой простой, нехитростной любви.

«Великий Господи! Насколько вся эта христианская простота и покорность выше, прекраснее и сильнее всего, что я видел прекрасного и сильного в наилучших мужчинах! Как гадко мне теперешнее мое раздумье, когда бедная девушка, которую я любил, оклеветана, опозорена в этом мелком мирке, и когда я, будучи властен поставить ее на ноги, раздумываю: сделать это или не делать? Почему же не делать? Потому что она не выдерживает моей критики и сравнений с другою. А разве я сам выдерживаю с нею какое-нибудь сравнение? О чем тут думать, когда бедная Лара уже прямо сказала, что она меня любит и что ей не к кому, бедняжке, примкнуть. Что мне мешает назвать ее своею женой? Я разубедился немножко в Ларисе; предо мною мелькнуло невыгодное для нее сравнение, и только… И моя любовь рухнула от критики, ее одолела критика. Что же, если б *она*, эта страдалица, взглянула теперь в мое сердце? Как бы она должна была презирать меня с моею минутною любовью! Нет; это значит, что я не любил Ларису прежде, что она лишь *нравилась мне*, как могла нравиться и Горданову… что я любил в ней тогда мою утеху, мою мечту о счастии, а счастье… счастье в том, чтобы чувствовать себя слугой чужого счастья. Это одно, *это одно* только верно, и кто хочет дожить жизнь в мире с самим собой, тот должен руководиться одною этою истиной… Все другое к этому само приложится. Как?.. Но, господи, будто можно знать, что к чему и как приложится? Надо просто делать то, что можно делать, что требует счастие ближнего в эту данную минуту».

С такими мыслями Подозеров слегка забылся пред утром и с ними же, открыв глаза, увидел пред собою Ларису и протянул ей руку.

Лара опустила глаза.

– Вы не отчаивайтесь, – сказал ей тихо Подозеров. – Все поправимо.

Она пожала едва заметным движением его руку.

– Ошибки людям свойственны; не вы одни имели несчастие полюбить недостойного человека, – продолжал Андрей Иванович.

– Я его не любила, – прошептала в ответ Лариса.

– Ну, увлеклись, доверились… Все это вздор! Поверьте, все вздор, кроме одного добра, которое человек может сделать другому человеку.

– Вы ангел, Андрей Иваныч!

– О, нет! Не преувеличивайте пожалуйста! Я человек, и очень дурной человек. Посмотрите, куда я гожусь в сравнении со многими другими, которые вам сочувствуют?

Лара молча вскинула на него глазами и как бы спрашивала этим взглядом: кого он разумеет?

– Я говорю об Александре Ивановне и о майорше.

– Ах, они! – воскликнула, спохватясь, Лариса и, насупив бровки, добавила шепотом: – Я вам верю больше всех.

– Зачем же больше?.. Нет, вас любят нежно… преданно и Форовы, и генеральша…

– А вы? – спросила вдруг с тревогой Лара.

– И я.

– Вы меня прощаете?

– Прощаю ли я вас?

– Да.

– В чем же прощать?

– Ах, не говорите со мною таким образом!

– Но вы ни в чем предо мною не виноваты.

– Нет, это не так, не так!

– Совершенно так: я вас любил, но… но не нравился вам… И что же тут такого!

– Это не так, не так!

– Не так?

– Да, не так.

Лара закрыла ладонью глаза и прошептала:

– Не мучьте же меня; я уже сказала вам, что я люблю вас.

– Вы ошибаетесь, – ответил, покачав головой, Подозеров.

– Нет, нет, нет, я не ошибаюсь: я вас люблю.

– Нет, вы очень ошибаетесь. В вас говорит теперь жалость и сострадание ко мне, но все равно. Если б я не надеялся найти в себе силы устранить от вас всякий повод прийти со временем к сожалению

об этой ошибке, я бы не сказал вам того, что скажу сию секунду. Отвечайте мне прямо: хотите ли вы быть моею женой?

– Да!

– Дайте же вашу руку.

Лариса задрожала, схватила трепещущими руками его руку и второй раз припала к ней горячими устами.

Подозеров отдернул руку и, покраснев, вскричал:

– Никогда этого не делайте!

– Я так хочу!.. Оставьте! – простонала Лариса и, обвив руками шею Подозерова, робко нашла устами его уста. Подозеров сделал невольное, хотя и слабое, усилие отвернуться: он понял, что за человек Лариса, и в душе его мелькнуло… презрение к невесте.

Боже, какая это разница в сравнении с тою другою женщиной, образ которой нарисовался в это мгновение в его памяти! Какую противоположность представляет это судорожное метанье с тем твердым, самообладающим спокойствием той другой женщины!..

Лариса в это время тоже думала о той самой женщине и проговорила:

– В эту важную минуту я вас прошу только об одном, исполните ли вы мою просьбу?

– Конечно.

Лариса крепко сжала обе руки своего жениха и, краснея и потупляясь, проговорила:

– Пощадите мое чувство! Подозеров посмотрел на нее молча.

Лариса выбросила его руки и, закрыв ладонями свое пылающее лицо, прошептала:

– Не вспоминайте мне…

Она опять остановилась.

– О чем? Ну, договаривайте смело, о чем?

– О Синтяниной.

Подозеров промолчал. Лариса становилась ему почти противна; а она, уладив свою судьбу с Подозеровым, впала в новую суету и вовсе не замечала чувства, какое внушила своему будущему мужу…

Подозеров обрадовался, когда Лариса тотчас после этого разговора вышла, не дождавшись от него ответа. Он встал, запер за нею дверь и задумался… О чем? О том седом кавказском капитане, который в известном рассказе графа Льва Толстого, готовясь к

смертному бою, ломал голову над решением вопроса, возможна ли ревность без любви? Подозеров имел пред глазами живое доказательство, что такая ревность возможна, и ревнивая выходка Лары была для него противнее известной ему ревности ее брата в Павловском парке и сто раз недостойнее ревности генерала Синтянина.

«Однако с нею и не так легко, должно быть, будет, – подумал он. – Да, нелегко; но ведь только на картинах рисуют разбойников в плащах и с перьями на шляпах, а нищету с душистою геранью на окне; на самом деле все это гораздо хуже. И на словах тоже говорят, что можно жить не любя… да, можно, но каково это?»

Глава семнадцатая
Еще шибче

События эти, совершившиеся в глубокой тайне, разумеется, не были никому ни одним словом выданы ни Подозеровым, ни Ларисой; но тонкий и необъяснимо наблюдательный во всех подобных вещах женский взгляд прозрел их.

Катерина Астафьевна, навестив вечером того же дня племянницу, зашла прямо от нее к генеральше и сказала, за чашкой чаю, последней:

– А наша Лариса Платоновна что-то устроила!

– Что же такое она могла устроить? – спросила генеральша.

– Не знаю; сейчас я была у них, и они что-то оба очень вежливо друг с другом говорят и глазки потупляют.

– Ну, ты, Катя, кажется опять сплетничаешь.

– Сходи, матушка, сама и посмотри; навести больного-то после того, как он поправился.

Форова подчеркнула последнее слово и, протягивая на прощанье руку, добавила:

– В самом деле, он говорил, что очень желал бы тебя видеть.

С этим майорша ушла домой; но, посетив на другой день Синтянину, тотчас же, как только уселась, запытала:

– А что же, видела?

– Видела, – отвечала, не без усилия улыбнувшись, Александра Ивановна.

– Ну и поздравляю; а ничего бы не потеряла, если б и не глядя поверила мне.

Синтянина объявила, что Лариса сказала ей, что она выходит замуж за Подозерова.

– Это смех! – ответила майорша. – От досады замуж идет! Или она затем выходит, чтобы показать, что на ней еще и после амуров с Гордашкой честные люди могут жениться! Что же, дуракам закон не писан: пусть хватит шилом нашей патоки!.. Когда же будет эта их «маланьина свадьба»?

– Он мне сказал, что скоро… На этих днях, через неделю или через две.

– Пропал, брат, ты, бедный Андрей Иваныч!

– Полно тебе, Катя, пророчить.

– А не могу я не пророчить, милая, когда дар такой имею.

– Дар! – генеральша улыбнулась и спросила:

– Что же ты, святая что ли, что тебе дан дар пророчества?

– Ну вот, святая! Святая ли или клятая, а пророчествую. Валаамова ослица тоже ведь не святая была, а пророкала.

В эту минуту в комнату взошел майор Форов и рассказал, что он сейчас встретил Ларису, которая неожиданно сообщила ему, что выходит замуж за Подозерова и просит майора быть ее посаженым отцом.

– Чудесно! – воскликнула нетерпеливая Катерина Астафьевна. – Одна я пока еще осталась в непосвященных! Что же, ты ее похвалил и поздравил? – обратилась она к мужу.

– А разумеется поздравил и похвалил, – отвечал майор.

– И даже похвалил?

– Да ведь сказано же тебе, что похвалил.

– Мне кажется, что ты все это врешь.

– Нимало не вру; его бы я не похвалил, а ее отчего же не хвалить?

– Потому что это подлость.

– Какая подлость? Никакой я тут подлости не вижу. Вольно же мужчине делать глупость – жениться, – к бабе в батраки идти; а женщины дуры были бы, если б от этого счастья отказывались. В чем же тут подлость? Это принятие подданства, и ничего больше.

– За что же ты Иосафову свадьбу осуждал?

– А-а! там дело другое: там принуждение!

– А здесь умаливанье, просьбы.

– Почему ты это знаешь?

– Так: я пророчица.

– Ну и что же такое, если и просьбы? Она, значит, умная барышня и политичная; устраивается как может.

– Передовая!

– А конечно; вперед всех идет и честно просит! мне-де штатный дурак нужен, – не согласитесь ли вы быть моим штатным дураком? И что же, если есть такой согласный? И прекрасно! Хвалю ее, поздравляю и даже образом благословлю.

– Да ты еще знаешь ли, как благословляют-то образом?

– Нет, не знаю, но я сейчас прямо отсюда к Евангелу пойду и спрошу.

– Нет, по мне эта свадьба сто раз хуже нигилистической Ясафкиной свадьбы в Петербурге, потому что эта просто черт знает зачем идет замуж!

– Имеет выгоды, – отвечал майор.

– Да; она репутацию свою поправляет; но его-то, его-то, шута, что волочит в эту гибель?

– Его?.. А что же, это и ему хорошо: это тешит его испанское дворянство. И благо им обоим: пусть себе совершенствуются.

– Ну, пропадать же им! В этом браке несчастие и погибель.

– Отчего же погибель? – отозвался майор, – мало ли людей бывают несчастливы в браке, но находят свое счастие за браком.

– Да, вот это что! – вспылила Катерина Астафьевна, – так, по-твоему, что такое брак? Вздор, форма, фить – и ничего более.

– Брак?.. нынче это для многих женщин средство переменять мужей и не слыть нигилисткой.

– Вы дурак, господин майор! – проговорила, побагровев, майорша.

– Это как угодно, – я говорю, как понимаю.

– А ты зачем сюда пришел?

– Да я к Евангелу в гости иду и за новым журналом зашел, а больше ни за чем: я ругаться с тобою не хочу.

– Ну так бери книгу и отправляйся вон, гадостный нигилист. Седых волос-то своих постыдился бы!

– Я их и стыжусь, но не помогает, – все больше седеют.

После этих слов Форов незлобиво простился и ушел, а через десять дней отец Евангел, в небольшой деревенской церкви, сочетал нерушимыми узами Подозерова и Ларису. Свадьба эта, которую майорша называла «маланьиной свадьбой», совершилась тихо, при одних свидетелях, после чего у молодых был скромный ужин для близких людей. Веселья не было никакого, напротив, все вышло, по мнению Форовой, «не по-людски».

Невеста приехала в церковь озабоченная, сердитая, уехала с мужем надутая, встретила гостей у себя дома рассеянно и сидела за столом недовольная.

Лариса понимала, что она выходит замуж как-то очень не серьезно, и чувствовала, что это понимает не одна она, и вследствие того она ощущала досаду на всех, особенно на тех, кто был определеннее ее, а таковы были все. Особенно же ей были неприятны всякие превосходства в сравнениях: она как бы боялась их, и в этом-то роде определялись ее отношения к Синтяниной. Лара не ревновала к ней мужа, но она боялась не совладеть с нею, а к тому же после венчания Лариса начала думать: не напрасно ли она поторопилась, что, может быть, лучше было бы… уехать куда-нибудь, вместо того, чтобы выходить замуж.

«Маланьина свадьба» выходила прескучная!

Никакие попытки друзей придать оживление этому бедному торжеству не удавались, а напротив, как будто еще более портили вечер.

Поэтический отец Евангел явился с целым запасом теплоты и светлоты: поздравил молодых, весь сияя радостию и доброжеланиями, подал Подозерову от своего усердия небольшую икону, а Ларисе преподнес большой венок, добытый им к этому случаю из бодростинских оранжерей. Поднося цветы, «поэтический поп» приветствовал красавицу-невесту восторженными стихами, в которых величал женщину «жемчужиной в венке творений». «Ты вся любовь!

Ты вся любовь!» – восклицал он своим звонким тенором, держа пред Ларисой венок:

Все дни твои – кругом извитые ступени
Широкой лестницы любви.

Он декламировал, указывая на Подозерова, что ей «дано его покоить, судьбу и жизнь его делить; его все радости удвоить, его печали раздвоить», и заключил свое поэтическое поздравление словами:

И я, возникший для волненья
За жизнь собратий и мою,
Тебе венец благословенья

От всех рожденных подаю.

И с этим он, отмахнув полу своей голубой кашемировой рясы на коричневом подбое и держа в руках венок пред своими глазами, подал его воспетой им невесте.

Евангелу зааплодировали и Синтянина, и Форов, и Катерина Астафьевна, и даже его собственная попадья. Да и невозможно было оставаться равнодушным при виде этого до умиления восторженного священника.

Поп Евангел и в самом деле был столько прекрасен, что вызывал восторги и хваления. Этому могла не поддаться только одна виновница торжества, то есть сама Лариса. Лариса нашла эту восторженность не идущею к делу, и усилившимся недовольным выражением лица дала почувствовать, что и величание ее «жемчужиной в венке творений», и воспевание любви, и указание обязанности «его печали раздвоить», и наконец самый венок, – все это напрасно, все это ей не нужно, и она отнюдь не хочет врисовывать себя в пасторально-буколическую картину, начертанную Евангелом. Лариса постаралась выразить все это так внушительно, что не было никого, кто бы ее не понял, и майор Форов, чтобы перебить неприятную натянутость и вместе с тем слегка наказать свою капризную племянницу, вмешался с своим тостом и сказал:

– А я вам, уважаемая Лариса Платоновна, попросту, как хохлы, скажу: «будь здорова як корова, щедровата як земля и плодовита як свинья!» Желаю вам сто лет здравствовать и двадцать на четвереньках ползать!

При этой шутке старого циника Лариса совсем вспылила и хотя промолчала, но покраснела от досады до самых ушей. Не удавалось ничто, и гости рано стали прощаться. Лариса никого не удерживала и не провожала далее залы. Подозеров один благодарил гостей и жал им в передней руки.

С Ларисой оставалась одна Синтянина, но и та ее через минуту оставила.

Лара отвергнула услуги генеральши, желавшей быть при ее туалете, и Александра Ивановна, принимая в передней из рук Подозерова свою шаль, сказала ему:

– Ну, идите теперь к вашей жене. Желаю вам с нею бесконечного счастия. Любите ее и… и… больше ничего, любите ее, по английским обетам брака, здоровую и больную, счастливую и несчастную, утешающую вас или… да одним словом, *любите* ее всегда, вечно, при всех случайностях. В твердой решимости любить такая великая сила. Затем еще раз: будьте счастливы и прощайте!

Она крепко сжала его руку и твердою поступью вышла за дверь, ключ которой поворотился за генеральшей одновременно с ключом, щелкнувшим в замке спальни Ларисы, искавшей в тишине и уединении исхода душившей ее досады на то, что она вышла замуж, на то, что на свете есть люди, которые поступают так или иначе, зная, почему они так поступают, на то, что она лишена такого ведения и не знает, где его найти, на то, наконец, что она не видит, на что бы ей рассердиться.

И благой рок помог ей в этом: прекрасные глаза ее загорелись гневом и ноздри расширились: она увидела прощание генеральши с ее мужем и нашла в этом непримиримую обиду.

Она заперлась в спальне и предоставила своему мужу полную свободу размышлять о своей выходке наедине в его кабинете.

Что могло обещать такое начало и как его принял молодой муж красавицы Ларисы?

Глава восемнадцатая
Майор и Катерина Астафьевна

У Катерины Астафьевны, несмотря на ее чувствительные нервы, от природы было железное здоровье, а жизнь еще крепче закалила ее. Происходя от бедных родителей и никогда не быв красивою, хотя, впрочем, она была очень миловидною, Катерина Астафьевна не находила себе жениха между губернскими франтами и до тридцати лет жила при своей сестре, Висленевой, бегая по хозяйству, да купая и нянчая ее детей. Из этой роли ее вывела Крымская война, когда Катерина Астафьевна, по неодолимым побуждениям своего кипучего сердца, поступила в общину сестер милосердия и отбыла всю тяжкую оборону Севастополя, служила выздоравливавшим и умиравшим его защитникам, великие заслуги которых отечеству оценены лишь ныне. Там же, в Крыму, Катерина Астафьевна выхолила и вынянчила привезенного к ней с перевязочного пункта майора Форова и, ухаживая за ним, полюбила его как прямого, отважного и бескорыстнейшего человека. Полюбить известные достоинства в человеке для Катерины Астафьевны значило полюбить самого этого человека; она не успела пережить самых первых восторгов по поводу рассказов, которыми оживавший Форов очаровал ее, как Отелло очаровал свою Дездемону, – как уже дело было сделано: искренняя простолюдинка Катерина Астафьевна всем существом своим привязалась к дружившему с солдатами и огрызавшемуся на старших Филетеру Ивановичу. Майор отвечал ей тем же, и хотя они друг с другом ни о чем не условливались и в любви друг другу не объяснялись, но когда майор стал, к концу кампании, на ноги, они с Катериной Астафьевной очутились вместе, сначала под обозною фурой, потом в татарской мазанке, потом на постоялом дворе, а там уже так и закочевали вдвоем по городам и городишкам, куда гоняла майора служба, до тех пор, пока он, наконец, вылетел из этой службы по поводу той же Катерины Астафьевны. Дело это заключалось в том, что неверующий майор Филетер Иванович, соединясь неразлучным союзом с глубоко верующею и убежденною, но крайне оригинальной Катериной Астафьевной, лет восемь кряду забывал перевенчаться с

нею. Пока они кочевали с полком, им ничто и не напоминало об этом упущении. Катерина Астафьевна, при ее вечном и неуклонном стремлении вмешиваться во всякое чужое горе и помогать ему по своим силам и разумению, к своим собственным делам обнаруживала полное равнодушие, а майор еще превосходил ее в этом. Катерина Астафьевна была любимицей всех, начиная с полкового командира и кончая последним фурштатом. Солдаты же того батальона, которым командовал майор, просто боготворили ее: все они знали Катерину Астафьевну, и Катерина Астафьевна тоже всех их знала по именам и по достоинствам. Она была их утешительницей, душеприказчицей, казначеем, лекарем и духовною матерью: ей первой бежал солдатик открыть свое горе, заключавшееся в потере штыка, или в иной подобной беде, значения которой не понять тому, кто не носил ранца за плечами, – и Катерина Астафьевна не читала никаких моралей и наставлений, а прямо помогала, как находила возможным. Ей мастеровой солдат отдавал на сбережение свой тяжким трудом собранный грош; ее звали к себе умирающие и изустно завещали ей, как распорядиться бывшими у нее на сохранении пятью или шестью рублями, к ней же приходили на дух те, кого «бес смущал» сбежать или сделать другую гадость, давали ей слово воздержаться и просили прочитать за них «тайный акахист», чему многие смущаемые солдатики приписывают неодолимое значение. Катерина Астафьевна со всем этим умела управляться в совершенстве, и такая жизнь, и такие труды не только нимало не тяготили ее, но она даже почитала себя необыкновенно счастливою и, как в песне поется, «не думала ни о чем в свете тужить».

Врагов, или таких недругов, которым бы она добра не желала, у нее не было. Если она замечала между товарищами майора людей не совсем хороших, то старалась извинять их воспитанием и т. п., и все-таки не выдавала их и не уклонялась от их общества. Исключение составляли люди надменные и хитрые: этих Катерина Астафьевна, по прямоте своей натуры, ненавидела; но, во-первых, таких людей, слава богу, было немного в армейском полку, куда Форов попал по своему капризу, несмотря на полученное им высшее военное образование; во-вторых, майор, весьма равнодушный к себе самому и, по-видимому, никогда не заботившийся ни о каких выгодах и для Катерины Астафьевны, не стерпел бы ни малейшего оскорбления, ей сделанного,

и наконец, в-третьих, «майорша» и сама умела постоять за себя и дать сдачи заносчивому чванству. Поэтому ее никто не трогал, и она жила прекрасно.

Но при всем своем прямодушии, незлобии и доброте, не находившей унижения ни в какой услуге ближнему, Катерина Астафьевна была, однако, очень горда. Не любя жеманства и всякой сентиментальности, она не переносила невежества, нахальства, заносчивости и фанфаронства, и боже сохрани, чтобы кто-нибудь попытался третировать ее ниже того, как она сама себя ставила: она *отделывала* за такие вещи так, что человек этого потом во всю жизнь не позабывал.

Солдаты, со свойственною им отличною меткостью определений, говорили про Катерину Астафьевну, что она не живет по пословице: «хоть горшком меня зови, да не ставь только к жару», а что она наблюдает другую пословицу: «хоть полы мною мой, но не называй меня тряпкой».

Это было совершенно верное и мастерское определение характера Катерины Астафьевны, и в силу этого-то самого характера столь терпеливая во всех нуждах и лишениях подруга майора не стерпела, когда при перемене полкового командира вновь вступивший в командование полковник, из старых товарищей Форова по военной академии, не пригласил ее на полковой бал, куда были позваны жены всех семейных офицеров.

Катерина Астафьевна горячо приняла к сердцу эту обиду и, не укоряя Форова, поставившего ее в такое положение, велела денщику стащить с чердака свой старый чемодан и начала укладывать свои немудрые пожитки.

Хотела ли она расстаться с майором и куда-нибудь уехать? Это осталось ее тайной; но майор, увидев эти сборы, тотчас же надел мундир и отправился к полковому командиру с просьбой об отставке.

На вопрос удивленного полковника: зачем Форов так неожиданно покидает службу? – Филетер Иванович резко отвечал, что он «с подлецами служить не может».

– Что это значит? – громко и сердито вскрикнул на него полковой командир.

– Ничего больше, как то, что я не хочу служить с тем, кто способен обижать женщину, и прошу вас сделать распоряжение об

увольнении меня в отставку. А если вам угодно со мною стреляться, так я готов с моим удовольствием.

Полковой командир не захотел затевать «истории» с Филетером Ивановичем на первых порах своего командирства, и майор Форов благополучно вылетел в отставку.

С Катериной Астафьевной у Форова не было никаких объяснений: они совершенно освоились с манерой жить, ничего друг другу не ставя на вид и не внушая, но в совершенстве понимая один другого без всяких разговоров.

Вскоре за сим Катерина Астафьевна сдала плачущим солдатам все хранившиеся у нее на руках их собственные деньги, а затем майор распростился со своим батальоном, сел с своею подругой в рогожную кибитку и поехал.

За заставой ждал их сюрприз: в темной луговине, у моста, стояла куча солдат, которые, при приближении майорской кибитки, сняли шапки и зарыдали.

Майор, натолкнувшись на эту засаду, задергался и засуетился.

– Чего? чего, дурачье, высыпали? а? Пошли назад! Вас вот палками за это взлупят! – закричал он, стараясь в зычном окрике скрыть дрожание голоса, изменявшего ему от слез, поднимавшихся к горлу.

Солдаты плакали; Катерина Астафьевна тоже плакала и, развязав за спиной майора кошелочку с яблоками, печеными яйцами и пирогами, заготовленными на дорогу, стала бросать эту провизию солдатам, которые сию же минуту обсыпали кибитку, нахлынули к ней и начали ловить и целовать ее руки.

– Фу, пусто вам будь! – воскликнул майор, – вы, канальи, этак просто задавите! – И он, выскочив из кибитки, скомандовал к кабаку, купил ведро водки, распил ее со старыми товарищами и наказал им служить верой и правдой и слушаться начальства, дал старшему из своего скудного кошелька десять рублей и сел в повозку; но, садясь, он почувствовал в ногах у себя что-то теплое и мягкое, живое и слегка визжащее.

– Стой! Что это такое тут возится? – запытал удивленный майор.

– Драдедам, ваше высокоблагородие, – конфузливо отвечал ему шепотом ближе других стоявший к нему солдатик.

Майор выразил изумление. «Драдедам» было не что иное как превосходная лягавая собака чистейшей, столь редкой ныне маркловской породы. Собака эта, составлявшая предмет всеобщей зависти, принадлежала полицеймейстеру города, из которого уезжал майор. Эту собаку, имевшую кличку Трафадан и переименованную солдатами в «Драдедама», полицеймейстер ценил и берег как зеницу ока. Родовитого пса этого сторожила вся полиция гораздо бдительнее, чем всю остальную собственность целого города, и вдруг этот редкий пес, этот Драдедам, со стиснутою ремнем мордой и завязанный в рединный мешок, является в ногах, в кибитке отъезжающего майора!

– Ребята! Что же вы это, с ума что ли сошли, чтобы меня с краденой собакой из полка выпроваживать? Кто вас этому научил? – заговорил майор.

– Никто, ваше высокоблагородие, мы по своему усердию вас награждаем.

– Чудовый кобель, ваше высокоблагородие! – подхватывали другие.

– Берите, берите, ваше высокоблагородие: мы вам жертвуем Драдедашку! – вскрикивали третьи. – Пошел, братец ямщик, пошел, пошел!

И солдатики загагайкали на лошадей и замахали руками.

– Стойте, дураки: разве благородно нам воровскую собаку увезть?

– Эх, ваше высокоблагородие! Отец вы наш, командирша-матушка: да что вам на это глядеть? Да разве вы похожи на благородных? Ну, ну! Эх вы, голубчики! Пошел, ямщик, пошел, пошел!

И по тройке со всех сторон захлестали сломанные с придорожных ракит прутья; лошади рванулись и понеслись, не чуя удерживавших их вожжей.

А вслед еще долго слышались подгонные крики: «Ну, ну! Валяй, валяй, ребята! Прощайте, наш отец с матерью!.. Прощай, Драдедашка!»

Под эти крики едва державшийся на облучке ямщик и отчаявшиеся в своем благополучии майор и Катерина Астафьевна и визжавший в мешке Драдедам во мгновение ока долетели на перепуганной тройке до крыльца следующей почтовой станции, где привычные кони сразу стали.

Здесь майор хотел сейчас же высвободить из мешка и отпустить назад полученную им «в награду» краденую полицеймейстерскую собаку, как ямщик подступил к нему с советом этого не делать.

– Все единственно это, – заговорил он, – пусть уж она лучше пропадет, ваше высокоблагородие, а только тут не вытаскивайте; смотритель увидит, все разбрешет, и кавалерам за это достанется.

– И то правда! – смекнул майор и добавил, – а ты же, каналья, разве не расскажешь?

– Да мне что ж казать? У меня у самого братья в солдатах есть.

– Ну так что ж, что братья твои в солдатах служат?

– А должны же мы хороших начальников почитать. Вишь вон, что сказали, что вы, баят, на благородного-то не похожи.

Майор дал ямщику полтину и покатил далее с Катериной Астафьевной и с Драдедамом, которого оба они стали с той поры любить и холить, как за достоинство этой доброй и умной собаки, так и за то, что она была для них воспоминанием такого оригинального и теплого прощанья с простосердечными друзьями.

Глава девятнадцатая
О тех же самых

Прибыв в город, где у Катерины Астафьевны был известный нам маленький домик с наглухо забитыми воротами, изгнанный майор и его подруга водворились здесь вместе с Драдедамом. Прошел год, два и три, а они по-прежнему жили все в тех же неоформленных отношениях, и очень возможно, что дожили бы в них и до смерти, если бы некоторая невинная хитрость и некоторая благоразумная глупость не поставила эту оригинальную чету в законное соотношение.

Филетер Форов, выйдя в отставку и водворясь среди родства Катерины Астафьевны, сначала был предметом некоторого недоброжелательства и косых взглядов со стороны Ларисиной матери; да и сама Лара, подрастая, стала смущаться по поводу отношений тетки к Форову; но Филетер Иванович не обращал на это внимания. Майор Филетер Иванович не искал ни друзей, ни приятелей: он повторял на все свое любимое «наплевать», лежебочествовал, слегка попивал, читал с утра до поздней ночи и порой ругал все силы, господствия, начальства и власти.

Но Катерину Астафьевну это сокрушало, и сокрушало в одном отношении. Она боялась за *душу* Форова и всегда лелеяла заветную мечту «привести его к Богу».

Эта мысль в первый раз сверкнула в ее голове, когда принесенный в госпиталь раненый майор пришел в себя и, поведя глазами, остановил их на чепце Катерины Астафьевны и зашевелил губами.

– Что вам: верно, желаете батюшку позвать? – участливо спросила она раненого.

– Совсем нет; а я хочу выплюнуть, – отвечал Форов, отделя опухшим языком от поднебесья сгусток запекшейся крови.

– Вы не веруете в Бога? – грустно вопросила религиозная Катерина Астафьевна.

Майор качнул утвердительно головой.

– Ах, это ужасное несчастие!

И с тех пор она начала нежно за ним ухаживать и положила в сердце своем надежду «привести его к Богу»; но это ей никогда не

удавалось и не удалось до сих пор.

Во все время службы майора в полку она не без труда достигла только одного, чтобы майор не гасил на ночь лампады, которую она, на свои трудовые деньги, теплила пред образом, а днем не закуривал от этой лампады своих растрепанных толстых папирос; но удержать его от богохульных выходок в разговорах она не могла, и радовалась лишь тому, что он подобных выходок не дозволял себе при солдатах, при которых даже и крестился и целовал крест. По удалении же в свой городок, подруга майора, возобновив дружеские связи с Синтяниной, открыла ей свои заботы насчет обращения Форова и была несказанно рада, замечая, что Филетер Иванович, что называется, полюбил генеральшу.

– Нравится она тебе, моя Сашурочка-то? – говорила Катерина Астафьевна, заглядывая в глаза майору.

– Прекрасная женщина, – отвечал Форов.

– А ведь что ее делает такою прекрасною женщиной?

– Что? Я не знаю что: так, хорошая зародилась.

– Нет; она христианка.

– Ну да, рассказывай! Будто нет богомольных подлецов, точно так же, как и подлецов не молящихся?

И майор отходил от жены с явным нежеланием продолжать подобные разговоры.

Затем он сошелся у той же Синтяниной с отцом Евангелом и заспорил было на свои любимые темы о несообразности вещественного поста, о словесной молитве, о священстве, которое он назвал «сословием духовных адвокатов»; но начитанный и либеральный Евангел шутя оконфузил майора и шутя успокоил его словами, что «не ядый о Господе не ест, ибо лишает себя для Бога, и ядый о Господе ест, ибо вкушая хвалит Бога».

Форов сказал:

– Если так, то не о чем спорить. Впрочем, я в этом и не знаток.

– А в чем же вы по этой части великий знаток?

– В чем? В том, что ясно разумом постигаю моим.

– Например-с?

– Например, я постигаю, что никакой всемогущий опекун в дела здешнего мира не мешается.

– Так-с. Это вы разумом постигли?

– Да, разумеется, потому что иначе разве могли бы быть такие несправедливости, видя которые у всякого мало-мальски честного человека все кишки в брюхе от негодования вертятся.

– А мы можем ли постигать, что справедливо и что несправедливо?

– Вот тебе на еще! Конечно можем, потому что мы факт видим.

– А факт-то иногда совсем не то выражает, что оно значит.

– Темно.

– А вот я вас сейчас в этом просвещу, если угодно.

– Сделайте милость.

– Извольте-с. Положим, что есть на свете мать, добрая, предобрая женщина, которая мухи не обидит. Допускаете вы, что может быть на свете такая женщина?

– Ну-с, допускаю: вот моя Торочка такая.

– Ну-с, прекрасно! Теперь допустим, что у Катерины Астафьевны есть дитя.

– Не могу этого допустить, потому что она уже не в таких летах, чтобы детей иметь.

– Ну, все равно: допустим это как предположение.

– Зачем же допускать нелепые предположения.

Евангел улыбнулся и сказал:

– Вы мелочный человек: вас занимает процесс спора, а не искомое; но все равно-с. Извольте, ну нет у нее ребенка, так у нее есть вот собака Драдедам, а этот Драдедам пользуется ее вниманием, которого он почему-нибудь заслуживает.

– Допускаю.

– Теперь-с, если б этот Драдедам был болен и ему нужно было дать мяса, а купить его негде.

– Ну-с?

– Вот Катерина Астафьевна берет ножик и режет голову курице и варит из нее Драдедаму похлебку: справедливо это или нет?

– Справедливо, потому что Драдедам благороднейшее создание.

– Так-с: а курица, которой отрезали голову, непременно думала, что с нею поступали ужасно несправедливо.

– Что же вы этим доказали?

– То, что факт жестокости тут есть: курица убита, – это для нее жестоко и с ее куриной точки зрения несправедливо, а между тем вы

сами, существо гораздо высшее и умнейшее курицы, нашли все это справедливым.

– Гм!

– Да так-с. Есть будто факт жестокосердия, но и его нет.

– Ну уж этого совсем не понимаю: и оно есть, и его нет.

– Да нет-с ее, жестокости, нет, ибо Катерина Астафьевна остается столь же доброю после накормления курицей Драдедама, как была до сего случая и во время сего случая. Вот вам – есть факт жестокости и несправедливости, а он вовсе не значит того, чем кажется. Теперь возражайте!

– Я не хочу вам возражать, – отвечал, подумав, Форов.

– А почему, спрошу?

– Почему?.. потому что я в этом не силен, а вы много над этим думали и имеете начитанность и можете меня сбить, чего я отнюдь не желаю.

– Почему же вы не желаете прийти к какой-нибудь истине и разубедиться в заблуждении?

– Так, не желаю, потому что не хочу забивать себе и без того темные памороки этою путаницей.

– Памороки не хотите забывать? Гм! Нет-с, это не потому.

– А почему же?

Евангел снова улыбнулся и, сжав легонько руку майора немножко пониже локтя, ласково проговорил:

– Вы потому не хотите об этом говорить и думать как следует, что души вашей коснулось святое сомнение в справедливости рутины безверия! И посмотрите зато сюда!

С этим отец Евангел, подвинув слегка майора к себе, показал ему через дверь другой комнаты, как Катерина Астафьевна, слышавшая весь их разговор, вдруг упала на колени и, протянув руки к освященному лампадой образ-пику, плакала радостными и благодарными слезами.

– Эти слезы с неба, – шепнул Евангел.

– Бабье, ото всего плачут, – сухо отвечал, отворачиваясь, майор.

Но веселый Евангел вдруг смутился и, взяв майора за руку, тем же добродушным тоном проговорил:

– Бабье-с? Вы сказали бабье?.. Это недостойно вашей образованности… Женщины – это прелесть! Они наши мироносицы:

без их слез этот злой мир заскоруз бы-с!

– Вы диалектик.

– Да-с: я диалектик; а вы баба, ибо боитесь свободомыслия и бежите чистого чувства, женской слезой пробужденного. Что-с? Ха-ха-ха… Да вы ничего, не робейте: То ведь проходит!

Глава двадцатая
Еще о них же

На другой день после этой беседы, происходившей задолго пред теми событиями, с которых мы начали свое повествование, майор Форов, часу в десятом утра, пришел пешком к отцу Евангелу и сказал, что он ему очень поправился.

– Неужели? – отвечал веселый священник. – Что ж, это прекрасно: это значит, мы честные люди, да!.. а жены у нас с вами еще лучше нас самих. Я вам вот сейчас и покажу мою жену: она гораздо лучше меня. Паинька! Паинька! Паинька! – закричал отец Евангел, удерживая за руку майора и засматривая в дверь соседнего покоя.

– Чего тебе нужно, Паинька? – послышался оттуда звонкий, симпатический, молодой голос.

– «Паинька», это она меня так зовет, – объяснил майору Евангел. – Мы привыкли друг на друга все «ты паинька» да «ты паинька», да так уж свои имена совсем и позабыли… Да иди же сюда, Паинька! – возвысил он несколько нетерпеливо свой голос.

В дверях показалась небольшая и довольно худенькая, несколько нестройно сложенная молодая женщина, с очень добрыми большими коричневыми глазами и тоненькими колечками темных волос на висках.

Она была одета в светлое ситцевое платье и держала в одной руке полоскательную фарфоровую чашку с обваренным миндалем, который обчищала другою, свободною рукой.

– Ну что ты здесь, Паинька? Какой ты беспокойный, что отрываешь меня без толку? – заговорила она, ласково глядя на мужа и на майора.

– Как без толку, когда гость пришел.

– Ну так что же гость пришел? Они к нам часто будут ходить.

– Превосходно сказано, – воскликнул Форов. – Буду-с.

– Да; она у меня преумная, эта Пайка, – молвил, слегка обнимая жену, Евангел.

– Ну вот уж и умная! Вы ему не верьте: я в лесу выросла, верее молилась и пню поклонялася, – так откуда я умная буду?

– Нет; вы ей не верьте: она преумная, – уверял, смеясь и тряся майора за руку, Евангел. – Она вдруг иногда, знаете, такое скажет, что только рот разинешь. А они, Паинька, в Бога изволят не веровать, – обратился он, указывая жене на майора.

– Ну так что же такое; они после поверят.

– Видите, как рассуждает!

– Да что ж ты надо мной смеешься? Разумеется, что не всем в одно время верить. Ведь они добрые?

– Ну так что же, что добрый? А как он в царстве небесном будет? Его не пустят.

– Нет, пустят.

– Извольте вы с ней спорить! – рассмеялся Евангел. – Я тебе, Пайка, говорю: его к верующим не пустят; тебе, попадье, нельзя этого не знать.

– Ну, его к неверующим пустят.

– Видите, видите, какая бедовая моя Пайка! У-у-у-х, с ядовитостью женщина! – продолжал он, тихонько с нежностью и восторгом трогая жену за ее свежий раздвоившийся подбородок, и в то же время, оборотясь к майору, добавил: – Ужасно хитрая-с! Ужасно! Один я ее только постигаю, а вы о ней если сделаете заключение по этому первому свиданию, так непременно ошибетесь.

– Да я их совсем и не в первый раз вижу, – перебила его попадья, перемывая в той же полоскательной чашке свой миндаль. – Я их уже видела на висленевском дворе, и мы кланялись.

– Не помню-с, – отвечал майор, с любовию артиста разглядывая это прекрасное творение, как раз подходящее, по его мнению, к типу наипочтеннейших женщин на свете.

– Как же не помните, – толковала попадья, – вы еще шли с супругой… или кто она вам доводится, Катерина-то Астафьевна?.. Да! вы шли по двору, а мы с генеральшей Александрой Ивановной сидели под окном, вишни чистили и вам кланялись.

– Не помню-с.

– Как же-с, а я помню: вы вот теперь в штанах, а тогда были в подштанах.

– Как в подштанах-с? – изумился майор.

– Так, в этаких в белых, со штрифами.

Майор засмеялся, а отец Евангел, хохоча и ударяя себя ладонями по коленам, восклицал:

– Ах, Паинька! Паинька! проговорились вы, прелесть моя, проговорились!

Попадья слегка вспыхнула и хотела возражать мужу, но как тот махал на нее руками и кричал: «т-с, т-с, т-с! молчи, Пайка, молчи, а то хуже скажешь», то она быстро выбежала вон и начала хлопотать о закуске.

– Какая чудесная женщина! – сказал, глядя вслед ей, майор.

– То есть превосходнейшая-с, а не только чудесная, – согласился с ним Евангел. – Видите, всех хочет в царство небесное поместить: мы будем в своем царстве небесном, и ни в своем.

Евангел расхохотался.

– Вы давно женаты? – спросил майор.

– Семь лет женат, да-с, семь лет, но в том числе она три года была в гусара влюблена, а однако еще я всякий день в ней открываю новые достоинства.

– Гм!.. а в гусара-таки была влюблена?

– Ужасно-с! Каких это ей, бедненькой, мук стоило, если бы вы знали! Я ей студентом нравился, а в рясе разонравился, потому что они очень танцы любили, да! А тут гусары пришли, ну, шнурочки, усики, глазки… Она, бедняжка, одним и пленилась… Иссохла вся, до горловой чахотки чуть не дошла, и все у меня на груди плакала. «Зачем, – бывало говорит, – Паинька, я не могу тебя любить, как я его люблю?»

– Ну, а вы же что?

– Стыдно сказать, право.

– Однако же?

– Да что-с? сижу бывало, глажу ее по головке да и реву вместе с нею. И даже что-с? – продолжал он, понизив голос и отводя майора к окну: – Я уже раз совсем порешил: уйди, говорю, коли со мной так жить тяжело; но она, услыхав от меня об этом, разрыдалась и вдруг улыбается: «Нет, – говорит, – Паинька, я никуда не хочу: я после этого теперь опять тебя больше люблю». Она влюбчива, да-с. Это один, один ее порок: восторженна и в восторге сейчас влюбляется.

– Однако же, черт возьми, позвольте мне вас уважать! – закричал зычно майор.

– Нет-с; это ее надо за это уважать: скудельный сосуд, а совладала с собою, и все для меня!.. А вот и она, Паинька, а что же, душка, водочки-то? – вопросил он входящую жену, увидев, что на подносе, который она несла, не было ни графина, ни рюмки.

– А кто же станет водку пить?

– А вот они, Филетер Иванович.

– Вы пьете разве? – отнеслась попадья к майору и, получив от него короткий, но утвердительный ответ, принесла графин и рюмку и, поставив их на стол, сказала:

– Не хорошо, кто пьет вино.

– Отчего-с? – спросил, принимаясь за рюмку, майор.

– Так… мысли дурные от вина приходят.

– Ну, мне не приходят.

– Как не приходят; а вон вы почему же до сих пор не женитесь?

Майор перестал закусывать и с удивлением смотрел на сидевшую у стола с подпертым на руку подбородочком попадью; но ту это нимало не смутило, и она спокойно продолжала:

– Что вы на меня так смотрите-то? Разве же это хорошо так женщину конфузить?

– Послушайте, моя милая! – ласково заговорил с ней майор, но она его тотчас же перебила.

– Ничего, ничего, «моя милая!» – передразнила его попадья, – не знаю я что ль? А мне вашей Катерины Ас-тафьевны жалко, – вот вам и сказ, и я насчет вас своему Паиньке давно сказала, что вы недобрый и жестокий человек.

– Вот тебе и раз! Да позвольте же-с: я ведь Катерину Астафьевну все равно люблю-с.

– Да-а! Нет, это не все равно: если вы так, не обвенчавшись, прежде ее умрете, она не будет за вас пенсиона получать.

Попадья говорила все это с самым серьезным и сосредоточенным видом и с глубочайшею заботливостью о Катерине Астафьевне. Ее не развлекал ни веселый смех мужа, наблюдавшего трагикомическое положение Форова, ни удивление самого майора, который был поражен простотой и оригинальностью приведенного ею довода в пользу брака, и наконец, отерев салфеткой усы и подойдя к попадье, попросил у нее ручку.

– Зачем же это? – спросила она.

– Я женюсь и вас матерью посаженою прошу.

– Непременно?

– Всенепременно и как можно скорее; а то, действительно, пенсион может пропасть.

– Ну, за это вы умник, и я не жалею, что мы познакомились, – отвечала ему весело попадья, с радостью подавая свою руку.

– А я так буду сожалеть об этом, – отвечал, громко чмокнув ее ручонку, Форов. – Теперь мне в первый раз завидно, что у другого человека будет жена лучше моей.

– О, не завидуйте, не завидуйте, ваша добрее.

– Почему же вы это знаете?

– Да ведь она вас целует? Уже наверно целует?

– Случается; редко, но случается.

– Ну вот видите! А уж я бы не поцеловала.

– Это почему?

– Потому что от вас водкой пахнет.

– Покорно вас благодарю-с, – отвечал, комически поклонясь и шаркнув ногой, майор, и затем еще раз поцеловал на прощанье руку у попадьи и откланялся.

Глава двадцать первая
Свадьба Форовых

У калитки, до которой Евангел провожал Форова, майор на минутку остановился и сказал:

– Так как же-с это… того…

– Вы насчет свадьбы?

– Да.

– Что ж, приходите, я перевенчаю и денег за венец не возьму. Приходите вечерком в воскресенье чай пить: я на сих днях огласку сделаю, а в воскресенье и перевенчаемся.

– А не очень это скоро?

– Нет; чем же скоро? чем скорее, тем оно вернее, а то ведь Паинька правду говорит: знаете, вдруг кран-кен, а женщина останется ни при чем.

– Хорошо-с, я приду в воскресенье венчаться. А жена у вас, черт возьми, все-таки удивительная!

– Да ведь я и говорил, что вы на нее будете удивляться и не поймете ее. Я все время за вами наблюдал, как вы с нею говорили, и думал: «ах, как бы этот ее не понял»! Но нет, вижу, и вы не поняли.

– Почему же вы это так думаете? А может быть я ее и понял?

– Нет, где вам ее понять! Ее один я понимаю. Ну, говорите: кто такая она, по-вашему, если вы ее поняли?

– Она?.. она… положительная и самая реальная натура.

Евангел, что называется, закис со смеху.

– Чего же вы помираете? – вопросил майор.

– А того, что она совсем не положительная и не реальная натура. А она… позвольте-ка мне взять вас за ухо.

И Евангел, принагнув к себе слегка голову майора, прошептал ему на ухо:

– Моя жена дурочка.

– То есть вы думаете, что она не умна?

– Она совершенная дурочка.

– А чем же она рассуждает?

– А вот этим вот! – воскликнул Евангел, тронув майора за ту часть груди, где сердце. – Как же вы этого не заметили, что она, где хочет быть умною дамой, сейчас глупость скажет, – как о ваших белых панталонах вышло; а где по естественному своему чувству говорит, так что твой министр юстиции. Вы ее, пожалуйста, не ослушайтесь, потому что я вам это по опыту говорю, что уж она как рассудит, так это непременно так надо сделать.

Майор посмотрел на священника, и видя, что тот говорит с ним совершенно серьезно, провел себя руками по груди и громко плюнул в сторону.

– Ага! вот значит, видите, что промахнулись! Ну ничего, ничего: в самом деле не все сразу. Приходите-ка прежде венчаться.

Майор еще раз повторил обещание прийти, и действительно пришел в назначенный вечер к Евангелу вместе с Катериной Астафьевной, которой майор ничего не рассказал о своих намерениях, и потому она была только удивлена, увидя, что неверующий Филетер Иваныч, при звоне к вечерне, прошел вместе с Евангелом в церковь и стал в алтаре. Но когда окончилась вечерняя и среди церкви поставили аналой, зажгли пред ним свечи и вынесли венцы, сердце бедной женщины сжалось от неведомого страха, и она, обратясь к Евангеловой попадье и к стоявшим с нею Синтяниной и Ларисе, залепетала:

– Дружочки мои, а кто же здесь невеста?

– Верно, ты, – отвечала ей Синтянина.

Катерина Астафьевна потерянно защипала свою верхнюю губу, что у нее было знаком высшего волнения, и страшно испугалась, когда майор взял ее молча за руку и повел к аналою, у которого уже стоял облаченный в ризу Евангел и возглашал:

– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно.

Во все время венчального обряда Катерина Астафьевна жарко молилась и плакала, обтирая слезы рукавом своего поношенного, куцего коричневого шерстяного платья, меж тем как гривенниковая свеча в другой ее руке выбивала дробь и поджигала скрещенную на ее груди темную шелковую косыночку.

Обряд был кончен, и Евангел первый поздравил майора и Катерину Астафьевну мужем и женой.

Затем их поздравили и остальные друзья, а потом все пили у Евангела чай, ходили с ним на его просо и наконец вернулись к скромному ужину и тут только хватились: где же майорша?

Исчезновение ее удивило всех, и все бросились отыскивать ее, кто куда вздумал. Искали ее и на кухне, и в сенях, и в саду, и на рубежах на поле, и даже в темной церкви, где, думалось некоторым, не осталась ли она незаметно для всех помолиться и не запер ли ее там сторож? Но все эти поиски были тщетны, и гости, и хозяева впали в немалую тревогу.

А Катерина Астафьевна меж тем сидела в небольшой темной пасеке отца Евангела и, прислонясь спиной и затылком к пчелиному улью, в котором изредка раздавалось тихое жужжание пчел, глядела неподвижным взглядом в усеянное звездами небо.

В таком положении отыскал ее здесь майор и, назвав ее по имени, укорял за беспокойство, которое она наделала всем своею отлучкой.

Катерина Астафьевна, не переменяя положения, только перевела на мужа глаза.

– Пойдем ужинать! – звал ее майор.

– Форов! – проговорила она тихо в ответ ему, – скажи мне правду: сам ли ты это сделал?

– Нет, не сам.

– Я так и думала.

– Да; это попадья меня принудила.

– Не сам… попадья принудила, – повторила за ним с расстановкой жена, и с этим вдруг громко всхлипнула, нагнула лицо в колени и заплакала.

– Что же, тебе обидно, что ли? – осведомился майор.

– Конечно, обидно… очень обидно, Форов! – отвечала, качая головой, майорша. – Ты сам в семь лет нашей жизни никогда, никогда про меня не вспомнил.

– Да я никогда и не позабывал про тебя, Тора.

– Нет, забывал; всегда забывал! Верно я скверная женщина: не умела я заслужить у тебя внимания.

– Полно тебе, Торочка! Какого же еще больше внимания, когда ты теперь моя жена?

– Нет, это все не то: это не ты сделал, а Бог так через добрых людей учинил, чтобы сократить число грехов моих, а ты сам… до сих

пор башмаков мне не купил.

– Что за вздор такой? Какие тебе нужны башмаки? Разве не у тебя все мои деньги? Я ведь в них отчета не спрашиваю: покупай на них себе что хочешь.

– Нет, это все не то – «покупай», а ты должен помнить, когда у тебя в Крыму в госпитале на ноге рожа была, я тебе из моего саквояжа большие башмаки сшила.

– Ну помню, что ж далее?

– Ты сказал мне тогда, что первый раз как выйдешь, купишь мне башмаки.

– Ну?

– Ну, и я вот семь лет этих башмаков прождала, когда ты их принесешь, и ты их мне не принес.

– Э! полно, мать моя, глупости-то такие припоминать! Вставай-ка, да пойдем ужинать.

И майор взял жену за руку и потянул ее, но она не поднималась: она продолжала сетовать, что ей до сих пор не куплены и не принесены те башмаки, обещание которых напоминало пожилой Катерине Астафьевне тоже не совсем молодое и уже давно минувшее время, предшествовавшее бесповоротному шагу в любви ее к майору.

Филетер Иванович, чтобы утешить жену, поцеловал ее в ее полуседую голову и сказал:

– Куплю, Тора! честное слово, куплю и принесу!

– Нет, я знаю, что не принесешь; ты обо мне не можешь думать, как другие о женщине думают… Да, ты не можешь; у тебя не такая натура, и это мне больно за тебя… потому что ты об этом будешь горько и горько тужить.

– Ну, так что ж, развестись что ли хочешь, если я такой подлый?

– Как развестись?

– Как? Разве ты забыла, что ведь мы обвенчались?

Катерина Астафьевна в последние минуты своего меланхолического настроения действительно позабыла об этом, и при теперешнем шуточном напоминании мужа о разводе сердце ее внезапно вскипело, и она, обхватив обеими руками лохматую голову Форова, воскликнула, глядя на небо:

– Боже мой! Боже мой! за что же ты послал мне, грешной, так много такого хорошего счастия?

Глава двадцать вторая
Язык сердца

Майорша плакала и тужила совсем не о тех башмаках, о которых она говорила: и башмаки, и брак, и все прочее было с ее стороны только придиркой, предлогом к сетованию: душа же ее рвалась к иному утешению, о котором она до сегодняшнего вечера не думала и не заботилась. Зато эта беззаботность теперь показалась ей ужасною и страшною: она охватила все ее существо в эти минуты ееуединения и выражалась в ней теми прихотливыми переходами и переливами разнообразных чувств и ощущений, какие она проявляла в своей беседе с мужем.

– Одного, – говорила она, – одного только теперь я бы желала, и радость моя была бы безмерна… – и на том слове она остановилась.

– Чего же это?

– Нет, Фор, ты этого не поймешь.

– Да попробуй, пожалуйста.

– Нет, мой Фор, незачем, незачем: этого говорить нельзя, если ты сам не чувствуешь.

– Решительно не чувствую и не знаю, что надо чувствовать, – отвечал майор.

– Ну и прекрасно: ничего не надо. Встань с травы, росно, – и вон все сюда идут.

С этим майорша приподнялась и пошла навстречу шедшим к ней Евангелу, его попадье, Синтяниной и Ларисе.

В походке, которою майорша приближалась к пришедшим, легко можно было заметить наплыв новых, овладевших ею волнений. Она тронулась тихо и шагом неспешным, но потом пошла шибче и наконец побежала и, схватив за руку попадью, остановилась, не зная, что делать далее.

Попадья поняла ее своим сердцем и заговорила:

– Это не я, душка, не я!

– Ну, так ты! – кинулась майорша к Синтяниной.

– И не я, Катя, – отвечала генеральша.

– Ангелы небесные! – воскликнула майорша и, прижав к своим губам руки попадьи и Синтяниной, впилась в них нервным, прерывистым и страстным поцелуем, который, вероятно, длился бы до нового истерического припадка, если б отец Евангел не подсунул шутя своей бороды к лицам этих трех скученных женщин.

Увидав пред собою эту мягкую светлорусую бороду и пару знакомых веселых голубых глаз, Катерина Астафьевна выпустила руки обеих женщин и, кинувшись к Евангелу, прошептала:

– Ах, батюшка… мне так досадно: я хотела бы пред этим… исповедаться… но…

– Но отпущаются тебе все грехи твои, чадо, – отвечал добродушный Евангел, кладя ей на оба плеча свои руки, которые Катерина Астафьевна схватила так же внезапно, как за минуту пред сим руки дам, и так же горячо их поцеловала.

Потом они с Евангелом поцеловали друг друга и при этом перешепнулись: Форова сказала: «Батюшка, простится ли мне?», а Евангел ответил: «И не помянется-с».

И с этим он перехватил ее руку себе под руку, а под другую взял генеральшу и, скомандовав: раз, два и три! пустился резвым бегом к дому, где на чистом столе готов был скромный, даже почти бедный ужин. Но было за этим ужином шумно и весело и раздавались еще после него оживленные речи, которые не все переговорились под кровлей Евангела до поздней ночи, и опять возобновились в саду, где гости и провожавший их хозяин остановились на минуту полюбоваться тихим покоем деревьев, трав и цветов, облитых бледно-желтым светом луны.

Тут, по знаку, данному Евангелом, все в молчании стали прислушиваться к таинственным звукам полуночи: то что-то хрустнет, то вздохнет, шепчет и тает, и тает долго и чуть слышимо уху…

– Люблю эти звуки, – тихо молвил Евангел, – и ухожу часто сюда послушать их; а на полях и у лесов, на опушках, они еще чище. Где дальше человеческая злоба, там этот язык сейчас и звучнее.

Форову это дало случай возразить, что он этой сентиментальности не понимает.

– А вот Гете понимал, – заметил Евангел, – а Иоанн Дамаскин еще больше понимал. Припомните-ка поэму Алексея Толстого; Иоанн говорит: «Неодолимый их призыв меня влечет к себе все более… о,

отпусти меня, калиф, дозволь дышать и петь на воле». Вот что говорят эти звуки: они выманивают нас на волю петь из-под сарая.

– Наплевать на этакую волю, чтобы петь да дышать только: мне больше нравятся звуки Марсельезы в рабочих улицах Парижа, – отвечал Форов.

– Париж! город! – воскликнул с кротким предостережением Евангел. – Нет, нет, не ими освятится вода, не они раскуют мечи на орала! Первый город на земле сгородил Каин; он первый и брата убил. Заметьте, – создатель города есть и творец смерти; а Авель стадо пас, и кроткие наследят землю. Нет, сестры и братья, множитесь, населяйте землю и садите в нее семена, а не башенье стройте, ибо с башен смешенье идет.

– А в саду дьявол убедил человека не слушаться бога, – перебил майор.

– Да, это в Эдемском саду; но зато в Гефсиманском саду случилось другое: там Бог сам себя предал страданьям. Впрочем, вы стоите на той степени развития, на которой говорится «несть Бог», и жертвы этой понять лишены. Спросим лучше дам. Кто с майором и кто за меня?

– Все с вами, – откликнулись попадья, генеральша и майорша.

Лариса вертела в руке одуванчик и молчала.

– Ну, а вы, барышня? – отнесся к ней Евангел.

– Не знаю, – отвечала она, покачав головой и обдув пушок стебелька, бросила его в траву и сказала:

– Не пора ли нам в город?

Это напоминанье было не особенно приятно для гостей, но все стали прощаться с сожалением, что поздно, и что надо прощаться с поэтическим попом.

Пылкая Катерина Астафьевна даже прямо сказала, что она с радостью просидела бы тут до утра и всю жизнь прослушала бы Евангела, но попадья ответила ей:

– А я его никогда не слушаю.

– Господи, как все пары курьезно подтасовываются! – воскликнула, смеясь и усаживаясь в экипаж, генеральша.

– Превосходно подтасовываются-с, превосходно-с! – отвечал ей Евангел. – Единомыслие недаром не даровано, да-с! Тогда бы стоп вся машина; тоска, скука и сон согласия, и заслуги миролюбия нет. Все

кончено! Нет-с, а вы тяготы друг друга носите, так и исполните закон Христов.

– А как же «возлюбим друг друга»? – заметил майор.

– А так: прежде «возлюбим друг друга» и тогда «единомыслием исповемы», – отвечал ему Евангел, пожимая руку майора и подставляя ему свою русую бороду.

– Да я уже тебя и люблю, – отвечал, обнимая его, майор.

И они поцеловались, и с тех пор, обмолвясь на «ты», сделались теми неразрывнейшими друзьями, какими мы их видели в продолжение всей нашей истории.

Эта дружба противомышленников, соединившихся в единомыслии любви, была величайшею радостью Катерины Астафьевны, видевшей в этом новую прекрасную черту в характере своего мужа и залог того, что он когда-нибудь изменит свои суждения.

Глава двадцать третья
Горшок сталкивается с горшком

Супружеская жизнь Форовых могла служить явным опровержением пословицы, выписанной над этою главой: у них никогда не было разлада; они не только никогда друг с другом не ссорились, но даже не умели и дуться друг на друга.

«Стоит ли это того, чтобы не ладить?» – говорила себе майорша при каких-нибудь несогласиях с мужем, и несогласия их ладу не мешали.

«Наплевать!» – думал себе майор, если не удавалось ему в чем-нибудь убедить жену, и тоже не находил в этом никаких поводов к разладу.

Катерина Астафьевна помнила слова Евангела, что так даже и необходимо; да и в самом деле, не все ли близкие и милые ей люди несли тяготы друг друга? Много начитанный, поэтический и глубоко проникавший в самую суть вещей Евангел проводил свою жизнь с доброю дурочкой и сделал из нее Паиньку, от которой его, однако, потягивало в поля, помечтать среди ночных звуков; Форов смирился пред лампадами Катерины Астафьевны и ел ради нее целые посты огурцы и картофель, а она… она любила Форова больше всего на свете, отнюдь не считая его лучшим человеком и даже скорбя об его заблуждениях и слабостях. Синтянина… но эта уже несла тяготу, с которой не могла сравниться тягота всех прочих; все они жили с добрыми людьми, которых, вдобавок к тому, любили, а та отдала себя человеку, который был мстителен, коварен, холоден…

Глядя на Евангела, Катерина Астафьевна благословляла жизнь в ее благе; сливаясь душой с душой Синтяннной, она благоговела пред могуществом воли, торжествующим в святой силе терпения, и чувствовала себя исполненной удивления и радости о их совершенстве, до которого сама не мечтала достигнуть, не замечая, что иногда их даже превосходит.

Жизнь ее была так полна, что она никуда не хотела заглядывать из этого мирка, где пред нею стояли драгоценные сосуды ее веры, надежды и любви.

Но ей был нужен и еще один сосуд, сосуд, в который бы лился фиал ее горести: этот сосуд была бессодержательная Лариса.

Мы видели, как майорша хлопотала то устроить, то расстроить племянницыну свадьбу с Подозеровым и как ни то, ни другое ей не удавалось и шло как раз против ее желаний. Когда свадьба эта была уже решена, Катерина Астафьевна подчинилась судьбе, и даже мало-помалу опять начала радоваться, что племянница устраивается и выходит замуж за честного человека. Она даже рвалась помогать Ларисе в ее свадебных сборах и, смиряя свое кипучее сердце, переносила холодное устранение ее от этих хлопот; но того, что она увидела на свадебном пиру Ларисы, Катерина Астафьевна уже не могла перенесть. Никем незамеченная, она ушла домой ни с кем не простясь; сняла, разорвав в нескольких местах, свое новое шерстяное платье и, легши в постель, послала кухарку за гофманскими каплями.

Такое поведение майорши удивило возвратившегося, через час после ее прихода, мужа.

– Ночью посылать женщину за пустыми каплями!.. какая глупость! – заговорил он, начиная разоблачаться.

Майорша как будто этого только и ждала. Она вскочила и начала майору рацею о том, что для него жена не значит ничего, и он, может быть, даже был бы рад ее смерти.

– Нет, я только был бы рад, если бы ты немножечко замолчала, – отвечал спокойно майор.

– Никогда я теперь не замолчу.

– Ну, и очень глупо: ты будешь мешать мне спать.

– А ты можешь спать?

– Отчего же мне не спать?

– Ты можешь… ты можешь спать?

– Да, конечно могу! А ты почему не можешь?

– Потому, что я не могу спать от мысли, какое несчастие несходная пара.

– Ну, вот еще!.. Наплевать.

И майор поставил на стул свечу, взял книгу и повалился на диванчик.

Майорша дергалась, вздыхала, майор читал и потом вдруг дунул на свечу, повернулся к стене и заснул, но ненадолго.

Услышав, что муж спит, Катерина Астафьевна сначала заплакала, и потом мало-помалу разошлась и зарыдала истерически.

– Что, что, что такое с тобой? – спрашивал спросонья майор.

Она все рыдала.

– Ну, на вот капли, – проговорил он, встав и подавая жене принесенный из аптеки флакончик.

Катерина Астафьевна нетерпеливо отодвинула его руку.

– И из-за чего? Из-за чего? – ворчал он. – Люди женились, да что нам до этого? Не хорошо они будут жить, опять-таки это не наше же дело. Но чтоб из-за этого не спать ночи…

Но майорша вдруг снова вскочила и, передразнивая мужа, заговорила:

– «Не спать ночи! Не спать ночи!» Эка невидаль какая, не спать ночь! Вам это ничего: поделом вам, что вы не спите, а за что вы людям-то добрым дни и ночи испортили?

– Кто это мы?

– Все вы, вот этакие говоруны!.. Это все ты, седой нигилист, да братец ее Иосафушка-дурачок, да его приятели так Ларочку просветили.

– Поп Евангел же ведь ей другое благовествовал. Отчего же ты с него за нее не взыскиваешь?

– Поп Евангел! Нечего вам про попа Евангела. Вам до него далеко; а тут ни поп, ни архиерей ничего не поделают, когда на одного попа стало семь жидовин. Что отец добрый в душу посадит, то лихой гость за один раз выдернет.

– Ну, ты кончила? – вопросил, поворачиваясь в своей постели, майор.

– Нет, не кончила. Вы десятки лет из двора в двор ходите да везде свое мерзкое сомнение во всем разносите, а вам начнешь говорить, – так сейчас в минуту и кончи! Верно, правда глаз колет.

– Я спать хочу.

– А я тебе, седой нигилист, говорю, что ты не должен спать, что ты должен стать на колени, да плакать, да молиться, да говорить: отпусти, Боже, безумие мое и положи хранение моим устам!

– Ну, уж этого не будет.

– Нет будет, будет, если ты не загрубелая тварь, которой не касается человеческое горе, будет, когда ты увидишь, что у этой пары

за жизнь пойдет, и вспомнишь, что во всем этом твой вклад есть. Да, твой, твой, – нечего головой мотать, потому что если бы не ты, она либо братцевым ходом пошла, и тогда нам не было бы до нее дела; либо она была бы простая добрая мать и жена, и создала бы и себе, и людям счастие, а теперь она что такое?

– Черт ее знает что?

– Именно черт ее знает что: всякого сметья по лопате и от всех ворот поворот; а отцы этому делу вы. Да, да, нечего глаза-то на меня лупить; вы не сорванцы, не мерзавцы, а добрые болтуны, неряхи словесные! Вы хуже негодяев, вреднее, потому что тех как познают, так в три шеи выпроводят, а вас еще жалеть будут.

– Кончила?

– Нет, да ты и не надейся, чтоб я кончила.

– А это другое дело! – сказал майор и, присевши на свой диван, начал обуваться.

– Что это: ты хочешь уйти? – вопросила его майорши.

– Да, больше ничего не остается.

– И уходи, батюшка, – не испугаешь; а что сказано, то свято.

– Ты сумасшедшая баба.

– Нет, я не сумасшедшая, а я знаю, о чем я сокрушаюсь. Я сокрушаюсь о том, что вас много, что во всяком поганом городишке дома одного не осталось, куда бы такой короткобрюхий сверчок, вроде тебя, с рацеями не бегал, да не чирикал бы из-за печки с малыми детями! – напирала майорша на Филетера Ивановича, встав со своего ложа. – Ну, куда ты собрался! – и майорша сама подала мужу его фуражку, которую майор нетерпеливо вырвал из ее рук и ушел, громко хлопнув дверью.

– А на дворе дождь, – сказала, возвратясь назад, кухарка, запиравшая за майором калитку.

– Дождь? зимой дождь? Да, правда, весь день была оттепель и моросило.

Катерина Астафьевна присела и стала слушать, как капли дождя тихо стучали по ставням, точно где-то невдалеке просо просевали.

В таком положении застал ее и возвратившийся через час, весь измокший, майор.

Он вошел несколько запыхавшись и, сняв с себя мокрое пальто и фуражку, прямо присел на край жениной постели и проговорил:

– Знаешь, Торочка, какие дела?

– Нет, Фоша, не знаю; но только говори скорей, бога ради, а то сердце не на месте. Ты *там* был?

– Да, почти…

– Сними, дружок, скорей сапоги, а то они, небось, мокры.

– Нет, ты слушай, что было. Я вышел злой и хотел пройти вокруг квартала, как вдруг мне навстречу синтянинской кучер: пожалуйте, говорит, к генералу, – очень просят.

– Ну! что у них?

– Ничего.

– Да что ты врешь: как ничего?

– Нет, ты слушай. Я был у Синтянина, и выхожу, а дождь как из ведра, и ветер, и темь, и снег мокрый вместе с дождем – словом халепа, а не погода.

– Бедный!

– Нет, ты слушай: не я самый бедный. Выхожу я на улицу, а впереди меня идет человек… мужчина…

– Ну, мужчина?

– Да; в шинели, высокий… идет тихо и вдруг подошел к углу и этак «фю-фю-фю», посвистал. Я смотрю, что это такое?.. А он еще прошел, да на другом угле опять: «фю-фю-фю», да и на третьем так же, и на четвертом. Кой, думаю себе, черт: кто это такой и чего ему нужно? да за ним.

– Ах, Форов, зачем ты это?

– А что?

– Он мог тебя убить.

– Ну, вот же не убил, а только удивил и потешил. Вижу я, что он вошел на висленевский двор, и я за ним, и хап его за полу: что, мол, вам здесь угодно? А он… одним словом, узнаешь, кто это был?

– Боюсь, что узнаю.

– И я боюсь, что ты узнала: это был Андрей Подозеров.

Катерина Астафьевна только рукой хлопнула по постели.

– Поняла? – спросил ее муж.

– Да, да, я все поняла, на своем пиру да без последнего блюда.

– Я ему сказал, что если он не возьмет ее отсюда и не уедет с нею в такое место, где бы она была с ним одна и где бы он мог ее перевоспитать…

Но майорша на этом слове зажала мужу рот и сказала:

– Замолчи, сделай свое одолжение: я не могу этого слушать. Какое перевоспитание? Когда мужу перевоспитывать? Это вздор, вздор, вздор! Хорошо перевоспитывать жен князьям да графам, а не бедным людям, которым надо хребтом хлеба кусок доставать.

– Да и уехать-то еще на горе нельзя!

– И слава богу.

– Нет, беда!

– Да говори, пожалуйста, сразу!

– Синтянин получил из Питера важные вести. Очень важные, очень важные. Я всего не знаю, и того, что он мне сообщил, сказать не могу, но вот тебе общее очертание дел: Синтянин не простил своего увольнения.

– Я так и думала.

– Нет, не простил! Он как крот копался и, лежа долго на постели, прокопал удивительные ходы. Ты знаешь, кто ему ногу подставил, что он полетел? Это сделал Горданов!.. Теперь понимаешь, какой гусь сей мерзавец Горданов? Но они уж очень заручились и зазнались: Бодростина из Парижа в Петербург святою приехала: Даниила пророка вызывает к себе; муж ее чуть в Сибирь не угодил, и в этой святой да в Горданове своих спасителей видит, а Горданов… Да он тоже слишком уже полагается на свое, так сказать, сверхъестественное положение… Синтянина не надуешь; он все пронюхал и он прав: они не могли все это даром делать, по любви к искусству, нет; их манит преступление, большое, страшное и выгодное…

– Да говори, Форочка, говори: ведь я не болтунья.

– Синтянин думает… что они хотят извести Бодростина и…

– И что еще?

– И не своими руками, а…

– Шепни, дружок, шепни.

– Тут Иосаф и Лариса должны быть на смете.

– Иосаф и Лариса!.. и Лара!

– Ну, так он говорит.

– О! он старый воробей: его не обманешь; но если Горданов то, что ты сказал, так они все совершат, и его не уловишь.

– Горданов то самое, что я сказал. Но ждать недолго. Бодростина, Бодростин, Горданов и дурачок Иосаф все завтра будут сюда и мы

посмотрим, кто кого: мы их, или они нас?

– Да ты что же, Форов?.. Неужто ты с Синтяниным вместе?

– Фуй!.. Бог меня оборони! И майор перекрестился и добавил: – Нет, теперь нет союзов, а все на ножах!

Но Катерина Астафьевна не слыхала этих последних слов. Она только видела, что ее муж перекрестился и, погруженная в свои мысли, не спала всю ночь, ожидая утра, когда можно будет идти в церковь и потом на смертный бой с Ларисой.

Часть пятая
Темные силы

Глава первая
Два Вавилона

Пока в маленьком городке люди оживали из мертвых, женились и ссорились, то улаживая, то расстраивая свои маленькие делишки, другие герои нашего рассказа заняты были делами, если не более достойными, то более крупными. Париж деятельнейшим образом сносился с Петербургом об окончании плана, в силу которого Бодростина должна была овдоветь, получить всю благоприобретенную часть мужнина состояния и наградить Горданова своею рукой и богатством.

Бельэтаж большого дома на Литейной, где жили Михаил Андреевич Бодростин и Павел Николаевич Горданов, почти ежедневно корреспондировал с небольшим, но удобным и хорошо меблированным отделением маленького Hôtel de Maroc в rue de Seine, [63] где обитала Глафира Васильевна, и наверху, двумя этажами выше над нею, местился в крошечной мансарде Иосаф Платонович Висленев.

Формы постоянных сношений этих двух ложементов разнообразны и многоразличны, но по характеру их было ясно, что Париж играет, а Петербург пляшет под звуки волшебной флейты. Писал ли из Петербурга в Париж Михаил Андреевич Бодростин или Горданов, или, вероятно многими позабытый, счастливый чухонец Генрих Ропшин, все выходило одно и то же: резкие и шутливые, даже полунасмешливые письма Бодростина, короткие и загадочные рапорты Горданова и точные донесения Ропшина, – все это были материалы, при помощи которых Глафира Васильевна подготовляла постановку последней драмы, которую она сочинила для своего бенефиса, сама расписав в ней роли. Все шло к тому, что надо было три раза хлопнуть в ладоши и занавес взовьется, и пред зрителем совершится акт хитрого и далеко рассчитанного злодейства без наказания порока и без торжества правды.

Всеобщее нетерпение по ту и по другую сторону завесы давно тихо шепчет слово «пора» и, наконец, это слово громко произносится самим гением всей истории, Глафирой.

В самом деле ей пора восторжествовать и успокоиться: ей, может быть, более чем всем надоели все эти осторожные подходы, личины и маскарад.

Кто не видал Глафиру Васильевну с той поры, как она рассталась с Гордановым в Москве, тот непременно должен был бы крайне удивиться перемене, происшедшей в ней в течение ее полугодового отсутствия из России. Житье в Париже до такой степени ее изменило, что человеку, не очень пристально в нее вглядывающемуся, даже вовсе не легко было бы ее узнать. Сверкающая красота ее померкла; глаза, вместо прежнего пламенного, обдающего жаром взгляда, смотрят только тревожно, остро и подозрительно; у углов губ пролегла тонкая морщинка; под глазами заметны темноватые круги, и вся кожа, так недавно вызывавшая у старого Бодростина комплименты ее свежести и аромату, подцветилась желтоватым янтарным отливом.

Глафира была теперь янтарь, но янтарь забытый, залежавшийся и как будто утративший всю свою электрическую силу от долгого бездействия. Однако, это, может быть, так только казалось. Взглянем на нее поближе.

Парижское утро начинается очень рано в том, далеко не аристократическом квартале, где среди rue de Seine местился незамечательный Hôtel de Maroc, избранный по особым соображениям Бодростиной для ее жительства. На заре звонкие плиты узких тротуаров оглашаются громким хлопаньем тяжелой обуви работников, рано покидающих свои постели и поспешающих к делу. Вслед затем раздаются звонки и слышится стук железных скоб у дверей лавчонок, где эти же рабочие добиваются получить свою утреннюю порцию мутного абсенту; затем гремят фуры перевозчиков мебели, бегут комиссионеры со своими носилками, кухарки со своими саками, гризетки со своими корзинками и кошками, и… день настал со всею его суетой: спать невозможно.

Лучшее помещение, которое занимала в скромном отеле Глафира Васильевна Бодростина, в этом отношении было самое худшее, потому что оно выходило на улицу, и огромные окна ее невысокого бельэтажа нимало не защищали ее от раннего уличного шума и треска. Поэтому Бодростина просыпалась очень рано, почти одновременно с небогатым населением небогатого квартала; Висленев, комната которого была

гораздо выше над землей, имел больше покоя и мог спать дольше. Но о нем речь впереди.

Квартал уже более получаса тому назад простучал и прогремел свою утреннюю тревогу, и под окнами Hôtel de Maroc уже закурилась жаровня жарильщицы каштанов, когда в одном из окон бельэтажа зашевелилась густая занавеска, и Глафира Васильевна, стуча деревянными каблучками изящных туфель, потянула шнуры оконной шторы и, взяв с камина небольшой, старинной работы, ящичек из сердолика с янтарем и бирюзой, снова легла в свою постель.

Час был еще ранний, и Бодростина, не желая звать прислугу, открыла свой античный ящик и стала перебирать аккуратно сложенные в нем письма.

Солнце, несмотря на ранний час утра, уже тепло освещало комнату, меблированную высокою старинною мебелью, и в нише, где помещалась кровать Глафиры, было столько света, что наша героиня могла свободно пробегать открытый ею архив. Она этим и занималась, она его пробегала, беспрестанно останавливаясь и задумываясь то над тем, то над другим листком, и затем опять брала новые.

По сосредоточенному выражению ее лица нельзя было усомниться, что пред ней лежали не бальные записочки и не родственные письма о бабушкином здоровье, а переписка деловая и строгая, требующая проверки прошлому, обозрения настоящему и решения в будущем.

Вот в ее руках белый листок толстой бумаги с переплетенным вензелем М. Б. Это первое письмо, полученное Глафирой за границей от ее мужа. Письмо не длинно, – оно начинается на одной странице и кончается на другой. В нем Михаил Андреевич отвечает жене на ее, полное негодования, письмо по поводу дошедших до нее слухов о его романе с княгиней Казимирой Антоновной Вахтерминской. Михаил Андреевич извиняется пред женой, что он отвечает ей не скоро, потому что долго был очень занят одним весьма выгодным предприятием и потом, не опровергая слуха о княгине Казимире, отшучивается довольно наглою шуткой, добавляя:

– А что касается до ваших предостережений меня насчет ее предательского нрава, то будьте, chère amie, спокойны и на мой, и на свой счет, потому что je la tiens hors de vue.[64]

Вот другие листки иной, совсем ординарной бумаги, иногда короткие и недописанные, иногда же исписанные вдоль и поперек твердым, ровным почерком: это письма Горданова. Их много, даже можно бы сказать их слишком много, если бы число их пришлось сравнивать с короткими письмами Бодростина, но довольно многочисленные письма Горданова исчезали среди целого вороха высыпанных Глафирой на колени скромных листков синеватой клетчатой бумаги, исписанных мелким бисерным почерком Ропшина. Чухонец был вернее всех и писал Глафире аккуратно почти всякий день в течение всего ее отсутствия.

Два остальных письма Бодростина, из которых одно последовало чрез три месяца после первого, а другое – совсем на днях, были очень коротки и лаконичны. В первом из них Бодростин опять извинялся пред женой, что он ей за недосугом не пишет; говорил о своих обширных и выгодных торговых предприятиях, которые должны его обогатить и, наконец, удивлялся жене, чего она сидит в Париже и еще, вдобавок, в этом отвратительном квартале гризет и студентов. «Я этого не могу понять, – добавлял он, – если бы ты была старее пятнадцатью или двадцатью годами, я бы готов был поверить, что ты *заинтересовалась* юношеской любовью какого-нибудь студиозуса; но ты еще молода для такой глупости. Спиритизму же твоему, я признаюсь тебе, что ты хочешь делай, не верю, и когда Горданов недавно сказал мне с чьих-то слов, что ты живешь в Hôtel de Магос, потому что там близко обитает какой-то генерал вашего ордена, которого посещает *сам* Аллан Кардек, мне это даже сделалось смешно. Hôtel de Maroc и Аллан Кардек – конечно, даже одно соединение этих звуков имеет нечто внушающее, но что касается до генерала, то у тебя не может быть такого дурного вкуса… Кстати здесь, где теперь так много, очень много даже, может быть слишком много молодых генералов, мною замечено, что как бы ни был молод генерал, от него непременно начинает пахнуть старыми фортепиано. Особый и необъяснимый в естествознании закон… Да неужто же, ma chère, ты в самом деле еще склонна во что-нибудь верить и особенно верить в такую чепуху, как спиритизм? А впрочем, ma foi,[65] все веры одинаково нелепы, и потому делай что хочешь», – заканчивал Михаил Андреевич, и в post scriptum осведомлялся о Висленеве, называя его

«рыцарем печального образа и эсклавом, текущим за колесницей своей победительницы».

Третье, самое недавнее письмо говорило, что Михаил Андреевич на сих лишь днях едва свалил с шеи большие и совершенно непредвиденные хлопоты, и очень рад будет вырваться домой в деревню, где, по его распоряжению, быстро идут постройки фабрики и заводов, на коих будут выделываться в обширном размере разные животные продукты.

Глафира Васильевна знала все эти «большие и совершенно непредвиденные обстоятельства», о которых так коротко извещал ее муж, и знала даже и то, что он еще вовсе не свалил их с шеи и что ему не уехать из Петербурга без ее помощи.

Глава вторая
Нимфа и сатир

Из обстоятельных донесений Горданова, заплетавшего узлы вокруг престарелого Бодростина, и из подробнейших отчетов Ропшина, шпионившего за Гордановым с усердием ревнивого влюбленного, всячески старающегося опорочить и унизить своего соперника (каковым Ропшин считал Горданова), Глафира знала все и могла поверить всякую математическую выкладку действием обратным. Ропшин зорко следил за Гордановым и за Кишенским, который входил в компанию с Бодростиным в качестве капиталиста и предал его, при посредстве жены Висленева, в руки ловкой княгини Казимиры. Неблазный чухонец доносил Глафире на всю эту компанию, обвиняя ее в таких кознях и каверзах, которые в самом деле заключали в себе много возмутительного, но тем не менее не возмущали Глафиры. Для нее ничто не было ново: ни подлость Горданова, ни дряблая, старческая ветренность мужа, ни характер проделок Казимиры, и отчеты Ропшина ей были нужны только затем, чтобы поверять образ действий Павла Николаевича, которым Глафира теперь имела основание быть совершенно довольною. Горданов вел дело именно так, как было нужно Глафире. Пользуясь слабостью Бодростина к его уму и талантам, он тотчас же, по прибытии в Петербург, возобладал и двумя другими его слабостями. Он раздражил и раздул в нем дух промышленной предприимчивости, игравший в Михаиле Андреевиче всегда и особенно возбужденный в последние годы при безобразном разгаре всеобщей страсти к быстрой наживе. Но особенно посчастливилось Павлу Николаевичу сблизиться с мужем Глафиры, благодаря княгине Казимире, которая очаровала Бодростина с первой же встречи у Кишенского, залучившего к себе Михаила Андреевича для ознакомления с одною из тех афер, которыми ловкие столичные люди как сетями улавливают заезжих в столицу предприимчивых людей провинциальных. Волокитство старика за Казимирой началось с первых же дней их встречи, и Ципри-Кипри очень мало преувеличивала положение дел, описанных ею в известном нам письме ее к Подозерову. Но ухаживанье Бодростина за

великолепною княгиней до приезда Горданова ограничивалось стороной чисто художественной. Михаил Андреевич, изживший весь свой век то в доморощенном помещичьем разврате, то в легких победах над легкими же дамами губернского бомонда, где внимание Бодростина всегда высоко ценилось, сохранил очень много охоты к делам этого сорта и, встретив красивую и шикарную княгиню, почувствовал неодолимое влеченье поклоняться ее красоте. Кишенский заметил это и не дал этой искре погаснуть. Он немедленно же появился в небогатом нумере, куда Казимира приехала с железной дороги вместе с польским скрипачом и с золотою рыбкой, которую привезла в маленьком изящном акварие. Кишенский, окинув взором занимаемое Казимирой помещение и ее необременительный багаж и выждав минуту, когда скрипач оставил их вдвоем tête-a-tête, прямо и бесцеремонно спросил:

– Вы вся тут, ваше сиятельство?

– Вся, – отвечала княгиня.

– Так надо, значит, у кого-нибудь перехватить.

– Ну, у кого же? – полюбопытствовала княгиня. – У вас ведь не перехватишь, не дадите.

– У меня!.. про меня и говорить нечего: я и не дам, да у меня и нет сумм, которые были бы достойны такой дамы, как вы, а вот вчерашнего барина у меня вы не заприметили ли?

– Да это, кажется, Бодростин?

– Кажется, – повторил, улыбаясь, Кишенский. – Ах матушка, ваше сиятельство: разве можно так говорить про такой кусочек?

– А что такое?

– Да как же-с: это *именно* Бодростин; то есть *он сам*, настоящий. – Бодростин, старой подруги вашей Глафиры Акатовой законный супруг и обладатель ее прелестей, которые, между нами говоря, все одного вашего мизинчика не стоят и… кроме того обладатель целых двутьму динариев, пенязей, злотниц и ворохов зерна бурмитского.

– Что же ему здесь нужно?

– Да вот подите же: еще богаче быть хочет. Это уж такова человеческая алчность вообще, а у него в особенности. Он на все жаден, и его за это Бог накажет.

– А что такое?

– Да как же, разве вы вчера ничего не заметили?

– Решительно ничего. А что же такое, скажите пожалуйста.

– Как вы вчера не заметили, как он в вас стрелял взорами?

– Ну уж это сочинение! – молвила, закрасневшись, Казимира. Она живо сознавала и чувствовала, что Кишенский говорит правду и что он заметил именно то самое, что она и сама заметила, и идет именно прямо к тому, что ее занимало в ее затруднительнейшем положении, без гроша денег и со скрипачом, и золотою рыбкой.

Кишенскому не было ни малейшего труда прочесть и истолковать себе смущение Казимиры, и он, нимало не медля, тронул ее слегка за руку и сказал самым кротким тоном:

– Ну так, матушка-княгиня, и прекрасно. Этой первой мысли, теперь вас посетившей, и не переменяйте. Так и будет сделано. Понимаете: сделано честно, бескорыстно, без всякого куртажа.

Казимира еще более покраснела и пролепетала:

– Что вы это такое?.. почему вы знаете мои теперешние мысли?

– Знаю-с, – отвечал смело жид.

– Я вовсе и не думаю о Бодростине, и что он мне такое?

– Он?.. он ничего, дрянь, старый мешок с деньгами, а… ваше сиятельство – женщина с сердцем, и тот, кого вы любите, беден и сир… Правду я говорю? Надо *чем-нибудь* пожертвовать, – это лучше, чем все потерять, матушка-княгиня.

Матушка-княгиня не возражала, но благодарно пожала мошенническую руку Кишенского, а тот позже внушал Михаилу Андреевичу, что для приобретения настоящего апломба в среде крупных дельцов Петербурга надо не пренебрегать ничем, на чем можно основать свою силу и значение. Перечисляя многоразличные атрибуты такой обстановки, Кишенский дошел и до совета Бодростину блеснуть блестящею женщиной.

– Эта статья нынче много весит и заставляет говорить о человеке, – решил он и затем смело посоветовал Бодростину не пренебрегать этой статьей, тем более, что она может доставлять приятное развлечение.

– Согласен, батюшка, с вами, – отвечал ему Бодростин, – но, во-первых, я стар…

– Ну это не резон, – перебил его Кишенский, – старому утеха нужнее, чем молодому.

– Пожалуй, что вы и правы, но ведь я, как знаете, женат.

– Ну, помилуйте, кто же в наше время из порядочных людей с женами живет? У нас в Петербурге уж и приказные нынче это за моветон считают.

– Канальи!

– Да что канальи, не они в том виноваты, а это уж таков век. А к тому же ведь я это советую вам не всерьез, а только для блезиру и притом имея в виду одно случайное обстоятельство.

– Случайное обстоятельство!

– Да.

– В этом роде?

– Да, в этом роде.

– Что же это такое: уж не ту ли вы француженочку хотите отбить у графа, что была с ним вчера на пуанте?

– Ну вот: нашли что отбивать: – француженку! Что она такое значит?

– Ну нет, вы этого не говорите: она хороша.

– Хороша-с, черт ее знает что она такое: без рода, без племени. Нет, надо изловить знаменитость.

– Певицу или танцовщицу что ль?

– Ну что за танцовщицы! Нет, надо блеснуть дамочкой из света, с именем и, пожалуй, с титулом, и я в том смысле веду с вами и речь. Вы видели у меня вчера княгиню Вахтерминскую?

– Прелесть!

– Надеюсь, что прелесть, а у нее, кажется, дорожный баул пустенек и…

– Да будто вы это считаете возможным? – вопросил в недоумении Бодростин.

– То есть я ничего особенного не считаю возможным, но вполне уверен в одной возможности крайне обязать и разодолжить ее при ее нынешних обстоятельствах и сделать ее своею attachée,[66] бывать с нею, где с такими дамами принято быть; принимать в ее доме…

– Но позвольте, – возразил Бодростин, – я заметил, что при ней этот польский скрипач.

– Ага, вы это заметили! Я тоже заметил, что вы это взяли на примечание. О, да вы ходок по этой части!

– Да как же не заметить: ведь это сейчас видно.

– Ну и пускай себе будет видно: этими господами стесняться нечего, да и это, наконец, уж ее дело или их общее дело, а не наше. Мы же свое начнем по порядку, оно у нас порядком тогда и пойдет. Вот она теперь третью неделю живет в нумерке, и ведь она же, не видя этому никакого исхода, конечно о чем-нибудь думает.

– Конечно.

– То-то-с что «конечно». А о чем в таком положении думают дамы, у которых нить благодатного притока оборвалась – это вам тоже должно быть известно.

– По крайней мере догадываться можно.

– Да-с, можно даже и не ошибаться. Так вот у нее теперь первое и даже самое страстное, пожалуй, желание иметь свой ложемент, то есть хорошенькую уютную квартирку и пару сереньких лошадок с колясочкой, хоть не очень сердитой цены. И все это она, разумеется, примет с нежнейшею благодарностью.

– Вы думаете?

– Да непременно так-с, примет и еще с нежнейшею благодарностью и обязательством, чтоб этот ее скрипач поселился отдельно, и она вошла бы в приготовленный нами для нее уголок с одною золотою рыбкой. И мы будем навещать ее в одиночестве и любоваться, как ее золотая рыбочка плещется, потом иногда прокатимся с ней на ее коняшках попросту: вы рядком с ней, а я на передней лавочке.

– Что же, это все ничего… то есть это очень приятно.

– Да и воистину-с, чтобы вы знали, приятно и вам и мне, потому что я по всем этим местам рыщу по своей обязанности фельетониста. Знаете, ведь «эпиграмма-хохотунья трется, вьется средь народа, и тут, увидевши урода, ему и вцепится в глаза». Таков наш хлеб, и вот как собаке снится хлеб, а рыбка – рыбаку, я и проектирую наши будущие parties de plaisir:[67] мне хлеб, а вам рыбка. Идет что ли? Надо пользоваться обстоятельствами и временем, иначе, извините меня, я знаток в таких делах: этакая женщина как Казимира с ее наружностью, именем и ласками, долго в запамяти в Петербурге не останется и далеко пойдет.

Бодростин, которому Казимира нравилась безмерно и который млел от одной мысли завладеть ею на тех или других основаниях, разрешил Кишенскому пользоваться и временем, и обстоятельствами,

и не прошло недели, как прекрасная Казимира приехала к Михаилу Андреевичу на своих лошадях и в своей коляске просить его о каком-то ничтожном совете и тут же пригласила его в свой салон и при этом нежно, нежно и крепко пожала его руку.

Глава третья
Собаке снится хлеб, а рыба – рыбаку

С тех пор Михаил Андреевич сделался хозяином Казимириных апартаментов и опекуном жизни «маленькой княгини»; но все это ограничивалось для него лишь правом беседовать с нею вдвоем, целовать ее ручки, щекотать перышком ее шейку и платить ее большие, большие расходы по счетам, шедшим через руки Кишенского и непомерно возраставшим от его прикосновения.

Механика, устроенная Кишенским, шла прекрасно: Бодростин не успел оглянуться, как Казимира сделалась его потребностью: он у нее отдыхал от хлопот, она его смешила и тешила своею грациозною игривостью и остроумием, взятыми на память из Парижа; у нее собирались нужные Бодростину люди, при посредстве которых старик одновременно раскидывал свои широкие коммерческие планы и в то же время молодел душой и телом.

Скрипач не мешал ничему. Кишенский, бывший душой всего этого дела, все обставил безукоризненно, и сам пил, ел, золотил руки и наслаждался, лелея дальновидный план обобрать Бодростина вконец. Плана этого Кишенский, разумеется, не открывал никому, а тем менее Казимире, которая с первого же шага сметила, что верткий фельетонист, шпион, социалист и закладчик, хлопочет недаром и не из-за того, чтобы только попить и поесть у нее на бодростинский счет. Но она не шла далее предположения, что Кишенский устроил ее карьеру с тем, чтобы поживиться от счетов и расходов. Она легко смекнула, что если это дело пойдет таким течением на год, на два, то Кишенский может нажить с этой сделки шесть-семь тысяч рублей. Казимире было жаль этих денег, но с другой стороны она не могла рассчитывать, чтоб история эта потянулась на год, на два. Она понимала, что как ни очаровался ею Бодростин и как заботливо ни станет она охранять это очарование, старик все-таки не поставит ради ее на карту все свое положение, и недалеко время, когда серым лошадям станет нечего есть и нечем будет платить за роскошный ложемент, и не на что станет жить бедному скрипачу, изгнанному из квартиры княгини и удостоивавшемуся от нее ласки и утешения в

уютных двух комнатках, нанятых им отдельно vis-a-vis[68] с квартирой Казимиры.

Скрипач, взирая по вечерам на освещенные окна княгининых апартаментов, тоже смекал, что все это непрочно, что все это может кончиться прежде, чем успеешь спохватиться.

При таком согласии во взгляде влюбленных они нашли случай друг с другом объясниться и результатом их переговоров у Казимиры явилось решение попросить у Бодростина тысячу рублей взаймы без посредства Кишенского. Решение это удалось без малейшего затруднения и притом с соблюдением полнейшего достоинства. Через месяц заем повторился еще на одну тысячу, а немного спустя встретился еще экстренный случай, по которому потребовалось три тысячи… Бодростин все давал, но наконец и ему наскучило давать, да и Казимире стало неловко просить. Тогда в один прелестный день Кишенский, посетив свои редакции, где в одной он гремел против распущенности современных нравов, а в другой – настрочил сквозной намек о некоей очаровательной княгине В., возвратился домой и, сидя за ширмой в закладной комнате, слышал, как кто-то толкнулся с просьбой ссуды под вексель г. Бодростина.

Кишенского это изумило. Никак не думая, чтобы Бодростин мог нуждаться в наличных деньгах, Кишенский принял из рук дамы-посредницы вексель, списал его в памятную книжечку и возвратил с отказом в дисконте.

Ему, может быть, следовало бы известить об этом Бодростина, но долговременная жизнь на ножах отуманила его прозорливость и отучила его от всякой искренности.

– Чего доброго, может быть, и в самом деле Бодростин совсем не так благонадежен, как говорят, – думал Кишенский и продолжал помалкивать.

Время шло. Михаил Андреевич расходовался сам на свои предприятия и платил расходы Казимиры, платил и расходы Кишенского по отыскиванию путей к осуществлению великого дела освещения городов удивительно дешевым способом, а Кишенский грел руки со счетов Казимиры и рвал куртажи с тех ловких людей, которым предавал Бодростина, расхваливая в газетах и их самих, и их гениальные планы, а между тем земля, полнящаяся слухами, стала этим временем доносить Кишенскому вести, что то там, то в другом

месте, еще и еще проскальзывают то собственные векселя Бодростина, то бланкированные им векселя Казимиры.

Кишенский заподозрил, что дело что-то нечисто, и сообщил о том жене Висленева, которая поэкзаменовала Казимиру и, заметив в ней некоторое смущение, пришла к тем же самым заключениям, что и Кишенский. Тут непременно должна была крыться какая-нибудь темная штука. Тихон Ларионович понял, что княгиня хотела его одурачить, и решился наказать ее. Он мог бы наказать ее и больно, открыв всю эту историю Бодростину, но этим бы все расстроилось, и сам Кишенский лишился бы хороших доходов. Он предпочел только *проучить* «маленькую княгиню» и, удалясь под различными предлогами от участия в ее делах с Бодростиным, поговорил о своих подозрениях при Ципри-Кипри, результатом чего явилось известное письмо последней к Подозерову. Кишенский думал пугнуть их Глафирой и промахнулся, – той это было только на руку.

Глава четвертая
Другой рыбак с иною отвагой

Командированный в силу этих известий Горданов застал дело в тяжком кризисе. Кишенский прятался и писал в своих фельетонах намеки на то самое мошенничество, которое сам устроил; Михаил Бодростин был смущен полученными им по городской почте анонимными письмами, извещавшими его, что указываемое в такой-то газете дело о фальшивых векселях непосредственно касается его. С одной стороны угрожающий по этому случаю скандал, а с другой – подрыв кредита раздражал его безмерно, и смущенный старик доверял свою досаду одной Казимире, но та на эту пору тоже не находила у себя для него запаса утешений.

Внезапное прибытие Горданова в Петербург в эти смятенные дни было для Михаила Андреевича величайшею радостию. Он все рассказал Горданову и попросил его разыскать, в чем может заключаться дело, и вывесть все на чистую воду, если можно, однако, без всякой огласки.

Горданов взялся все обделать и поскакал. Он побывал, где знал, в разных местах и потом у Кишенского, который, при виде его, улыбнулся, сгас и напомнил ему о долге.

– Мой долг будет красен платежом, – отвечал ему с презрением Горданов, – а вы вот скажите мне: что за слухи ходят о Бодростинских бланках и векселях?

Кишенский отозвался болезнью и полным об этом неведением, но присоветывал, однако же, Горданову толкнуться к начальнику сыскной полиции, или к обер-полицеймейстеру, а также поговорить с Казимирой и кстати подумать о долге. Горданов на первый совет, куда ему толкнуться, ничего не ответил, а о долге обещал поговорить послезавтра, и прямо отправился к княгине Казимире.

Конфиденции, которые имел Павел Николаевич с очаровательною, беспаспортною княгиней, повели к тому, что Михаил Андреевич видел ее милые слезы, приял ее раскаяние в увлечении недостойным человеком и, разжалобясь, остался сам ее единственным утешителем, тогда как Горданов отправился немедленно переместить скрипача, так

чтобы не было и следа. С этих пор отношения Бодростина к красавице-княгине вступили в совершенно новую фазу, причем немало значения имели усердие и талант Горданова.

Княгиня ни за что не хотела расстаться со своим скрипачом. Даже сознавшись, под страшными угрозами Горданова, в том, что фальшивые векселя от имени Бодростина фабриковал скрипач и что он же делал от его имени ручательные подписи на обязательствах, которые она сама писала по его просьбам, княгиня ни за что не хотела оставить своего возлюбленного.

– Мы лучше бежим оба из России, – сказала она Горданову, ломая свои руки.

– Постойте, постойте! – отвечал ей спокойно, соображая и обдумывая, Горданов. – Бежать хорошо, но именно, как вы сказали, надо «лучше бежать», а не кое-как.

И он предложил ей короткий и ясный план выпроводить артиста одного.

Княгиня отвечала отрицательно.

– Отчего же-с? – допрашивал Горданов. – Если любите его, так и будете любить: пусть он подождет вас где-нибудь заграницей, а вы пока здесь… хорошенько подкуетесь на золотые подковки.

– Нет, это невозможно.

– Ревнуете что ли вы его?

– Да, и ревную, и…

– Вы, пожалуйста, договаривайте, а то ведь время дорого, и каждую минуту на след этой проделки может накинуться полиция. Почему вы не можете с ним разлучиться?

Княгиня молчала.

– Залог его любви что ли, вы, может быть, храните? – отбил бесцеремонно Горданов.

Княгиня вспыхнула и взглянула на дельца умоляющим взглядом.

– Понимаю вас, понимаю, – успокоил ее Горданов. – Но, вероятно, еще не скоро?.. Ну, так мы вот что… Что у вас есть залог его любви – это даже прекрасно, но сам он здесь теперь не у места и делу мешает: он вас тоже верно ревнует?

– Ну, конечно… разве ему приятно? – отвечала сквозь слезы княгиня.

– Да, да, разумеется, я так и думал, но, впрочем, это уж всегда так бывает. Оттого все у вас до сих пор так вяло и шло, что вы связаны его мучениями.

Княгиня вдруг вздрогнула и зарыдала.

– Ну-с, не убивайтесь, – утешал ее Горданов, – положитесь на меня. Я так устрою, что вам никакого труда не будет стоить приласкать старичка. Что в самом деле: он ведь тоже что дитя… чем тут терзаться-то?

Княгиня молчала.

– Да, приласкайте его родственно, но хорошенько, – повторил Горданов, – так, чтоб у него ушки на макушке запрыгали, и всю эту беду с векселями мы сбудем и новую добудем… а того молодца мы пока припрячем от глаз подалее. Хорошо?.. ну и прекрасно! А вы тем временем позакрепитесь, позаручитесь капитальцем на свою и на младенцеву долю…

Княгиня не выдержала и произнесла с омерзением:

– Фуй, Горданов, что вы говорите!

– Дело говорю-с, дело. И главное, все это будет сделано без посредства этого подлого жида Тишки.

– Ах да! уж бога ради только без него!

– Да уж об этом вы не хлопочите: я его сам ненавижу, поверьте, не менее вашего.

– Он такой негодяй!.. мне даже один вид его вселяет отвращение.

– Конечно, вид его прегнусный.

– Ну уж я не знаю, но я его всегда терпеть не могла, а в теперешнем моем положении…

– Да, в теперешнем вашем положении это совсем не годится. Ну, вы его зато более и не увидите. А во всем остальном прошу вас не того… не возмущаться. Что делать, судьба! помните, как это говорит прекрасная Елена: «Судьба!»

Княгиня покачала головой и хрустнула энергически пальцами, оглянулась по сторонам покоя и тяжело вздохнула, как бы от нестерпимой боли.

– Что-с? – шепнул ей в это время Горданов.

– Да ничего… «судьба… судьба!»

Горданов встал и проговорил:

– А судьбе благоразумие велит покоряться. – Он протянул княгине руку.

– Я покоряюсь, – молвила в ответ княгиня.

Затем, когда был доставлен Бодростин и когда он был оставлен при требующей прощения и утешения княгине, Павел Николаевич в самые часы их нежных излияний друг пред другом предался неожиданному коварству.

Глава пятая
Рыбак рыбака видит

Горданов обещал княгине, что спрячет ее скрипача где-нибудь неподалеку за чертой Петербурга, но спрячет так удобно, что для влюбленных останется еще возможность хотя редких свиданий, но устроил все иначе.

Вместо того, чтобы хлопотать о перевозе счастливого артиста за городскую черту, Горданов, явясь к нему на другое утро, предъявил ему бумагу, по силе которой всякая полицейская власть обязана была оказывать Павлу Николаевичу содействие в поимке названного в ней артиста.

Тот оторопел и, растерявшись, только осматривал Горданова с ног до головы. Он, очевидно, никогда не видал птиц такого полета.

– Вы не выдумайте, однако, защищаться, – заговорил тихо Горданов, заметив, что артист, собравшись с мыслями, озирается по сторонам: – это будет бесполезно, потому что, во-первых, я не позволю вам сойти с места и у меня в кармане револьвер, а во-вторых, я совсем не то, за что вы меня принимаете. Вам этого не понять; я Федот, да не тот: а пришел вас спасти. Поняли теперь?

– Н… н… е… т, – беззвучно уронил потерявшийся артист.

– Нет? очень жаль, а мне разъяснять вам это некогда, но, впрочем, странно, что вы, будучи поляком, этого не понимаете: я иду дорогой, проложенною вашими же соотчичами, служу и вашим, и нашим. Бегите пока можете: я вас отпускаю, но бегите ловко, не попадайтесь под мой след, за вами могут пуститься другие охотники, не из наших… Те уж не будут так милостивы, как я.

– Но за что же вы ко мне так милостивы?

– Ну уж это мое дело. Я знаю, что вам меня вознаграждать нечем.

– Совершенно нечем.

– Но, однако, вы мне отдадите что у вас есть готового?

– То есть, что же такое вы желаете получить?

– То есть я желаю получить векселя княгини с бодростинскими надписями.

Артист начал было уверять, что у него ничего подобного нет, но когда Горданов пугнул его обыском, то он струсил и смятенно подал два векселя, которые Павел Николаевич прочел, посмотрел и объявил, что работа в своем роде совершеннейшая, и затем спрятал векселя в карман, а артисту велел как можно скорее убираться, о чем тот и не заставлял себе более повторять.

Он одевался, лепеча Горданову, что, едучи в Россию, он никак не думал заниматься здесь подобными делами, но что его неудачи шли за неудачей, музыки его никто не хотел слушать и вот…

Горданов этому даже пособолезновал и сказал, что наша петербургская публика в музыкальном отношении очень разборчива, и что у нас немало европейских знаменитостей проваливалось, а затем дал артисту нотацию не бросаться ни на одну железную дорогу, ибо там ему угрожал бы телеграф, а посоветовал ему сесть на финляндский пароход и благополучно удирать в Стокгольм, а оттуда в любое место, где могут найтись охотники слушать его музыку.

Артист так и сделал. О княгине он было заикнулся, но Горданов так веско и внушительно помахал пальцем, что тот и язык потерял.

– Вы об этом и думать не смейте! И писать ей не смейте, иначе вы погибли, – наказывал Горданов.

– А она?

– О ней не беспокойтесь. Разве вы не понимаете, в чем дело и почему вас только высылают?

Артист при всем горестном своем положении осклабился.

– Она остается здесь, потому что ее присутствие тут доставляет удовольствие… – Тут Горданов пригнулся и шепнул что-то на ухо артисту. Тот даже присел.

Через час он уже плыл под густым дымом финляндского парохода.

Выпроводив артиста с такими напутствиями, Павел Николаевич стройно установлял отношения Бодростина с княгиней Казимирой, которая хватилась скрипача на другой день, но, пометавшись всюду, убедилась, что его нет и искать его негде. Кризис разрешился у ней обилием нервных слез и припадком отчаянной раздражительности, которую Бодростин не знал как успокоить и искал в этом случае помощи и содействия Горданова, но тоже искал напрасно, потому что и

Ропшин, и слуги, разосланные за Павлом Николаевичем, нигде его не могли отыскать.

Его лишь случайно нашел Кишенский на станции Варшавской железной дороги. Они оба столкнулись, отвернулись друг от друга и разошлись, но потом снова столкнулись и заговорили, когда поезд отъехал и они остались на платформе.

– Вы верно кого-нибудь хотели проводить? – спросил Кишенский, здравствуясь с Гордановым.

– Да-с, я-с хотел-с кого-то проводить; а вы тоже проводить желали? – отвечал не без насмешки в голосе Горданов.

– Да, и я.

– Только не удалось?

– Не удалось.

– Представьте, и мне тоже! Как вы думаете, где он теперь, каналья?

– Вы о ком же говорите?

– Да все о нем же, о нем.

– То есть…

– То есть о том, кого вы хотели встретить, или проводить, да не проводили и не встретили. Скажите, дорого вам платят за вашу службу по этой части?

– Я думаю, столько же, сколько и вам.

– Столько же!.. ну, этого быть не может.

– А отчего вы так думаете?

– Да вы не стоите столько, сколько я.

– Вот как!

– Конечно! Я о вас полюбопытствовал: вы ведь употребляетесь для дел грязненьких, грубых этаких… да?

– Да-с; я языков не знаю, – отвечал спокойно Кишенский.

– Ну, не одно это только, что вы языков не знаете, а о вас… вообще, я думаю, очень многого недостает для тонких сношений.

– Например-с, чего же бы это еще мне недостает?

– Например? Нечего тут например! Например, вы вот совсем для хорошего общества не годитесь.

– Да я и не гонюсь-с за этим обществом-с, и не гонюсь-с; но вы напрасно тоже думаете, что вас озолотят. Надуют-с! Уж много таких же, как вы, франтов разлетались: думали тоже, что им за их бон-тон

невесть сколько отсыпят. Вздор-с! и здесь есть кому деньги-то забирать…

– Да вы много понимаете! – ответил с презрением Горданов.

– Я-то понимаю. Я знаю из-за чего вы сюда ударились. – При этих словах Кишенский побагровел от досады и молвил: – но вы не беспокойтесь, кто бы вас ни защищал за ваши обещания открыть что-то важное, вы мне все-таки отдадите деньги, потому что вы их должны.

– Да, должен, не спорю, но отдам не скоро, – отвечал, насмехаясь над ним, Горданов.

– Да-с, отдадите.

– Только не скоро.

– И это же подло. Чем же вы хвастаетесь? Тем, что вам удалось представиться важным деятелем, способным обнаружить неведомо какие махинации, и что я принужден долг вам отсрочить как нужному человеку, я отсрочу-с, отсрочу; но… но мы с вами, господин Горданов, все-таки сочтемся.

– Как же, как же: непременно сочтемся, я вот удостоверюсь, правду ли вы мне все это сказали, и тогда сочтемся.

– Да, сочтемся-с, потому, знаете ли, что я вам скажу: я видел много всяких мошенников и плутов, но со всеми с ними можно вести дело, а с такими людьми, какие теперь пошли…

– И плутовать нельзя?

– Именно.

– Это значит, близка кончина мира.

– И я то же думаю.

– Ну, так советую же вам прочее время живота вашего скончать в мире и покаянии, – сказал ему насмешливо Горданов и, крикнув кучера, уехал, взметая пыль в глаза оставшемуся на тротуаре ростовщику.

– Ослушаться и представить на него ко взысканию? – думал, идучи в одну из своих редакций, Кишенский, но… во-первых, у него ничего нет и он отсидится в долговом, да и только, и кроме того… беды наживешь: разорвать все эти связи, станут на каждом шагу придираться по кассе… Вот черт возьми что страшно-то и скверно, а впрочем, дьявол меня дернул разоблачать пред ним тайны учреждения! Все это несдержанное зло закипело, а он этим может воспользоваться

и перессорить меня с начальством… Да! Как бы не так: сейчас и перессорит? Да кто же ему поверит?.. Кто же у нас кому-нибудь верит? и мне не верят, и ему не поверят, как я сам никому не верю… Кругом пошло!

Но мы оставим на время и Кишенского, как оставили артиста, и поспешим к позабытой нами Глафире Васильевне, которая во все это время, как мы окидывали беглым взором операции наших достойных деятелей, продолжает оставаться сидя в своей постели пред ларцом, из которого на ее колени высыпана куча пестрых листков почтовой бумаги.

Глава шестая
Отбой

Глафира Васильевна имела пред собою обстоятельную летопись всех петербургских событий и притом с различных сторон. Помимо вести от Горданова, Ропшина и самого Бодростина, были еще письма Ципри-Кипри (она получала по десяти рублей за каждое письмо с доносом на Горданова), и наконец вчера Глафира получила два письма, из которых одно было написано почерком, заставившим Висленева затрепетать.

Бодрсстина это заметила и спросила Жозефа о причине его замешательства, но он мог только молча указать рукой на пакет.

Глафира разорвала конверт и, прочтя внизу исписанного листка имя «Кишенский», махнула Висленеву рукой, чтоб он вышел.

Это было час за полночь по возвращении Бодростиной и состоявшего при ней Висленева со спиритской беседы у Аллана Кардека, куда Бодростина учащала с неизменным постоянством и где давно освоилась со всеми прибывающими медиумами, видящими, слышащими, пишущими, рисующими или говорящими, и со всеми «философами», убежденными в истине спиритской системы, но ничего необыкновенным путем не видящих, не слышащих и не говорящих. Глафира Васильевна принадлежала к последним, то есть к спиритам, не одаренным необыкновенными способностями, а только «убежденным в учении спиритизма и в способности медиумов». Висленев же был медиум видящий, слышащий, пишущий и говорящий. Способности эти обнаружились в нем быстро и внезапно, сначала предчувствиями, которые он имел, поджидая Бодростину в пограничном городишке, откуда после своего побега прислал Горданову письмо, подписанное псевдонимом Espérance, а потом… потом духи начали писать его рукой увещания Бодростиной полюбить Иосафа Платоновича. Глафира Васильевна читала эти «обещания» духа и, по-видимому, внимала им и верила, но… но для Висленева все еще не наступало счастливого времени, когда подобные увещания духа были бы излишними.

Так было во все время состояния Висленева заграницей при особе Бодростиной и так стояло дело и в минуту, когда Глафира, прочтя подпись Кишенского под полученным ею письмом, дала Висленеву рукой знак удалиться.

Кто (как мы), долго не видя Висленева, увидал бы его в эту минуту, или вообще увидал бы его с тех пор, как он выскочил из фиакра, подав руку траурной Бодростиной и сопровождал ее, неся за нею шаль, тот нашел бы в нем ужасную перемену: темя его еще более проредело, нос вытянулся, и на бледных щеках обозначались красноватые, как будто наинъекцированные кармином жилки; глаза его точно сейчас только проснулись, и в них было какое-то смущение, смешанное с робостью и риском на «авось вынесет», на «была не была». Вся его фигура носила отпечаток снедавших его беспокойства, страсти и нерешимости.

Увидев противный для него почерк Кишенского и вслед затем мановение руки, которым Бодростина удаляла его из своей комнаты, он не осмелился возражать ей, но и не тронулся к двери, не вышел, а помялся на одном месте, робко присел на стул и поник головой долу.

Бодростина внимательно читала письмо Ккшенского и, дочитав его до конца, оборотила листок и начала читать наново. Затем она положила письмо на колени и, разорвав другой конверт, принялась читать послание Горданова.

В это время Висленев встал и тихо заходил по устланной толстым зеленым сукном комнате. Он шагал из угла в угол, то закидывая голову назад и глядя в потолок, то быстро опуская ее на грудь и как бы о чем-то задумываясь. Во все это время уста его что-то шептали, иногда довольно слышно, а руки делали вздрагивающие движения, меж тем как сам он приближался по диагонали к Бодростиной и вдруг, внезапно остановясь возле ее кресла, тихо и как будто небрежно взял с ее колен письмо Кишенского и хотел его пробежать, но Глафира, не прекращая чтения другого письма, молча взяла из рук Висленева похищенный им листок и положила его к себе в карман.

Висленев, не смущаясь, отошел; еще несколько раз прошелся из конца в конец комнаты и потом, тихо приблизясь к двери, осторожно вышел и побрел по темной лестнице в свою мансарду.

«Черный царь» из поэмы Фрейлиграта, уходя в палатку со своим барабаном, в который он бил, находясь в позорном плену, не был так

жалок и несчастлив, как Висленев – этот вождь разбежавшегося воинства, состоящий ныне на хлебах из милости.

Бодростина не обратила на него никакого внимания и продолжала читать и перечитывать полученные ею письма, морщила лоб и болезненно оживлялась. Да и было от чего.

Кишенский, которого она презирала и с которым давно не хотела иметь никаких сношений, зная всю неприязнь к нему Глафиры, решился писать ей об обстоятельствах важных и притом таких, которые он, при всей своей зоркости, почитал совершенно неизвестными Бодростиной, меж тем как они были ей известны, но только частями, и становились тем интереснее при разъяснении их с новой точки зрения. Кишенский имел те же взгляды, что и Ропшин, служивший шпионом Глафиры за один поцелуй, купленный ценой предательства и подлога. Он видел, что Горданов путает и запутывает старика Бодростина с самыми темными предпринимателями, отбивая тем практику у самого Кишенского, который имел в виду сделать все это сам с непосредственною выгодой для себя. Не сознаваясь, разумеется, в этой последней мысли, Кишенский становился пред Глафирой на некоторую нравственную высоту, и чувствуя, что ему не совсем ловко стоять пред этою умною женщиной в такой неестественной для него позиции, оправдывался, что «хотя ему и не к лицу проповедовать мораль, но что есть на свете вещи, которые все извиняют». Таким образом извинившись пред Глафирой в том, что он позволяет себе стать за какую-то честность и обличать какое-то зло, он перешел к изложению более или менее известной нам истории сближения Михаила Андреевича Бодростина с княгиней Казимирой, указывал несомненное участие во всем этом Павла Горданова, который опутывал Бодростина с помощью разной сволочи, собирающейся на рауты и ужины Казимиры, и… Тут г. Кишенский опять встретил необходимость извиняться и подкреплять себя различными наведениями и сопоставлениями. Он писал Бодростиной, чтоб она приезжала «спасать мужа или его состояние, потому что сношения с гнуснейшими негодяями, вовлекающими его в отчаянные предприятия, угрожают ему несомненной бедой, то есть разорением». Но, выдавая Горданова, Кишенский хорошо понимал, что Глафира, зная его, конечно станет доискиваться: какие выгоды имеет он предостерегать ее и вредить Горданову? А Кишенский не мог указать

никаких таких выгод, чтоб они показались Глафире вероятными, и потому прямо писал: «Не удивляйтесь моему поступку, почему я все это вам довожу: не хочу вам лгать, я действую в этом случае по мстительности, потому что Горданов мне сделал страшные неприятности и защитился такими путями, которых нет на свете презреннее и хуже, а я на это даже не могу намекнуть в печати, потому что, как вы знаете, Горданов всегда умел держаться так, что он ничем не известен и о нем нет повода говорить; во-вторых, это небезопасно, потому что его протекторы могут меня преследовать, а в-третьих, что самое главное, наша петербургская печать в этом случае уподобилась тому пастуху в басне, который, шутя, кричал: „волки, волки!“, когда никаких волков не было, и к которому никто не вышел на помощь, когда действительно напал на него волк. Так и с нами: помните бывало мы от скуки, шутя себе, выкрикиваем: „шпион, шпион!“ и все думали, что это ничего, а между тем вышло, что мы этою легкомысленностию наделали себе ужасный вред, и нынче, когда таковые вправду из нашего лагеря размножились, Мы уже настоящего шпиона обличить не можем, ибо всякий подумает, что это не более как по-старому: со злости и понапрасну. Не только печатать, а даже и дружески предупреждать стало бесполезно, и я прекрасно это чувствую сию минуту, дописывая вам настоящие строки, но верьте мне, что я вам говорю правду, верьте… верьте хоть ради того, черт возьми, что стоя этак на ножах друг с другом, как стали у нас друг с другом все в России, приходится верить, что без доверия жить нельзя, что… одним словом, *надоверить*».

«И это пишет Кишенский», – подумала Глафира и, отбросив его листок, с несравненно большим вниманием обратилась ко второму письму. Это было коротенькое письмо, в котором Павел Николаевич выписал шутя известные слова Диккенса в одной из блестящих глав его романа «Домби и Сын», именно в главе, где описывается рождение этого сына. «Священнейшее таинство природы совершилось: за всколыхнувшимися завесами кровати послышался плач нового пришельца в этот мир скорби». Далее он прибавлял, что непосредственно затем исполнено таинство велений Глафиры, то есть, что «новый пришелец в мир скорби» изнесен из комнаты, где он увидел свет, на руках Михаила Андреевича и им же передан женщине, которая благополучно сдала его в Воспитательный Дом. «Теперь, –

кончал Горданов, – не имея чести знать далее ваших планов, заключаю мое сказание тем, что „cela vous concerne, madame“.»[69]

Прочитав эти письма по возвращении с Висленевым из спиритической беседы, Глафира Васильевна уже не спала, и шум рано просыпающегося квартала не обеспокоил ее, а напротив, был ей даже приятен: живая натура этой женщины требовала не сна, а деятельности, и притом, может быть, такой кипучей, какой Глафира Бодростина до сих пор не оказывала ни разу.

Глава седьмая
Monsieur Borne

Переглядев наскоро все письма, за которыми мы ее оставили, Глафира торопливо свалила весь этот архив назад в античный ларец и, накинув на себя темный пеплум на мягкой индийской подкладке, позвонила служанку и велела ей позвать monsieur Borné.

Девушка ответила «oui, madame»[70] и, возвратясь через минуту назад, объявила, что требуемая особа сейчас явится.

Особа эта была не кто иной как наш приятель Иосаф Платонович Висленев.

Несмотря на то, что Жозеф, чуждый тревог своей принципальши, спал крепким сном, когда его разбудили, он успел встать и одеться так проворно, что Глафира Васильевна, делавшая в это время свой туалет, испугалась и воскликнула:

– Боже мой! ma chère,[71] сюда идет мужчина! Но служанка, выглянув из-за двери, которую хотела запереть, тотчас же отменила это намерение и отвечала:

– Mais non, madame. C'est monsieur Borné.[72]

Но Глафиру Васильевну это все-таки не успокоило, и она, приказав служанке опустить портьеру, сказала Висленеву по-русски, чтоб он подождал ее в коридоре.

– Хорошо-с, я пробегу газеты *здесь*, – отозвался Жозеф.

– Нет, пробегите их гораздо лучше *там*, – отвечала из-за драпировки Глафира.

– То есть где это там?.. Опять идти к себе наверх?

– Нет, присядьте просто на лестнице или походите по коридору.

– Да, присядьте на лестнице, – недовольно пробурчал себе под нос Висленев, и, выйдя за дверь, в самом деле присел на окне и задумался, глядя на бродившую по двору пеструю цецарскую наседку привратницы. Он думал и имел, по-видимому, не сладкую думу, потому что опущенные книзу веки его глаз, несмотря на недавнее утреннее омовение их при утреннем туалете, начинали видимо тяжелеть, и, наконец, на одной реснице его проступила и повисла слеза, которую он тщательно заслонил газетным листом от

пробегавшей мимо его в ту минуту горничной, и так в этом положении и остался.

«Боже, боже! – думал он, припоминая цецарку и ее цыплят. – Когда мы приехали сюда с Северной железной дороги и я вошел к привратнице спросить: нет ли здесь помещения, меня встретила вот эта самая пестрая курочка и она тогда сама мне казалась небольшим цыпленочком, и вот она уже нанесла яиц и выводит своих детей, а… меня тоже все еще водят и водят, и не ведаю я, зачем я хожу…»

Он припомнил все, что он вынес, – конечно не во всю свою жизнь, – нет; это было бы слишком много, да и напрасно, потому что все претерпенное им в Петербурге, до бегства по оброку в провинцию, он уже давно позабыл и, вероятно, даже считал несуществовавшим, как позабыл и считал никогда не существовавшим происшествие с гордановским портфелем, до сих пор ничем не оконченное и как будто позабытое самим Гордановым; и зеленое платье… странное зеленое платье, которое бросило в окно выпавший из рук его нож… Как человек, ведущий постоянную большую игру, он давно пустил все это насмарку; но неудач, которые преследовали его с той поры, как он встретил в чужих краях Глафиру, он не мог забыть ни на минуту. В его страданиях была уже та старческая особенность, что он не чувствовал крупнейших ударов, нанесенных ему несколько времени назад, но нервно трепетал и замирал от всякого булавочного укола в недавнем; а они, эти уколы, были часты и жгли его как моксы гальванической щетки. Они все у него на счету и все составляют ряд ступеней, по которым он дошел до нынешнего своего положения с кличкой monsieur Borné.[73]

Вот краткий, но грустный перечень этих несчастий: беды начались с самого начала, или, лучше сказать, они и не прерывались. Самая встреча Жозефа с Глафирой была совсем не такою, какой он ожидал: Бодростина даже не остановилась в том городке, где он ее ждал, и не опочила в нанятой Жозефом садовой беседке, которую Висленев на последние деньги убрал цветами и пр. Нет, эта холодная женщина едва кое-как наскоро повидалась с ним чрез окно вагона и, велев ему догонять ее со следующим же поездом в Прагу, понеслась далее. Это, разумеется, было очень неприятно и само по себе, потому что добрый и любящий Жозеф ожидал совсем не такого свидания, но сюда примешивалась еще другая гадость: Глафира пригласила его

налету ехать за нею в Прагу, что Жозеф, конечно, охотно бы и исполнил, если б у него были деньги, или была, по крайней мере, наглость попросить их тут же у Глафиры; но как у Иосафа Платоновича не было ни того, ни другого, то он не мог выехать, и вместо того, чтобы лететь в Прагу с следующим поездом, как желало его влюбленное сердце, он должен был еще завести с Глафирой Васильевной переписку о займе трехсот гульденов. Наконец он получил от нее эти деньги, но не прямо из ее рук, а чрез контору, и с наказом, для вящего маскирования этих отношений, расписаться в получении этих денег, как мажордом Бодростиной, что Висленев в точности и исполнил, хотя и улыбался женскому капризу Глафиры, наименовавшей его в переводном векселе своим мажордомом… Помнит он далее, как он летел в Прагу, как он, задыхаясь, вбежал в нумер отеля, где пребывала Глафира, и… и потерял с этой минуты свое положение равноправного с нею человека. Он помнит Глафиру, окруженную каким-то чехом, двумя южными славянами с греческим типом и двумя пожилыми русскими дамами с седыми пуклями; он помнит все эти лица и помнит, что прежде чем он решил себе, чему приписать их присутствие в помещении Бодростиной, она, не дав ему вымолвить слова и не допустив его поставить на пол его бедный саквояж, сказала:

– А вот, наконец, и мой мажордом; теперь, chère princesse,[74] мы можем ехать. Вы не развязывайте ваших вещей, monsieur Joseph: мы сегодня же выезжаем. Вот вам деньги, отправьтесь на железную дорогу и заготовьте семейное купе для меня с баронессой и с княгиней, и возьмите место второго класса себе.

– Возьмите, любезный, там также место и моему стряпчему, – добавила седая баронесса, вынимая из портмоне двумя пальцами австрийскую ассигнацию.

– Да, возьмите место стряпчему баронессы, – приказала ему Глафира, и обратила свой слух и все свое внимание к речам чеха, говорившего об утрате славянами надежды на Россию.

Глафира, казалось, была вся поглощена речами этого единоплеменника, но человек, более Висленева наблюдательный, не мог бы не заметить, что она искоса зорко и даже несколько тревожно следила за всеми действиями и движениями Жозефа, и когда он вышел, даже подавила в себе вздох отрадного успокоения.

Висленев мог гордиться, что он в точности понял камертон Глафиры и в совершенстве запел под него, Глафира могла быть покойна, что с этой поры Висленев уже не выйдет из своей лакейской роли.

Так и сталось: в Праге Иосаф Платонович не имел минуты, чтобы переговорить с Глафирой наедине; путешествуя до Парижа в сообществе стряпчего баронессы, он совсем почти не видал Глафиры, кроме двух исключительных случаев, когда она звала его и давала ему поручения при таможенном досмотре вещей. С баронессиным стряпчим, словом компанионом по второклассному вагону, новый мажордом говорил мало и неохотно: его унижало в его собственных глазах это сообщество с человеком, возведенным в звание стряпчего, очевидно, единственно ради важности, а в самом деле бывшего просто громадным дворецким, которому было поручено ведение дорожных расходов и счетов и переписки по требованию денег от управителей домов и земель баронессы. Принужденное сообщество с таким человеком, разумеется, и не могло приносить Вислеиеву особого удовольствия, тем более, что Иосаф Платонович с первых же слов своего попутчика убедился, что тот стоял на самой невысокой степени умственного развития и, по несомненному преобладанию в нем реализма, добивался только сравнительных выводов своего положения при баронессе и положения Висленева при его госпоже Бодростиной. Он жаловался ему на беспокойство характера и причудливость баронессы и описывал трудность своего положения, весьма часто низводимого беспокойною принципалкой до роли чисто лакейской. Висленев, не желая продолжать этого разговора, отвечал, что в его положении ничего подобного нет, да и быть не может, как по характеру госпожи Бодростиной, так особенно по его личному характеру, о котором он отозвался с большим почтением, как о характере, не допускающем ни малейшей приниженности. Баронессин стряпчий ему позавидовал, и эта зависть еще увеличилась в нем, когда он, сообщив Висленеву цифру своего жалования, узнал от Иосафа Платоновича, что Бодростина платит ему гораздо дороже, – именно сто рублей в месяц. Висленев никак не мог оценить себя дешевле этой круглой цифры и столь раздражил этим хвастовством баронессиного стряпчего, что тот решил во что бы то ни стало немедленно же требовать себе прибавки «в сравнении со сверстниками», и, перенося в Кельне сак

своей баронессы, уже достаточно сгрубил ей и дал ей почувствовать свое неудовольствие.

Глава восьмая
Парижские беды Monsieur Borné

В Париже с Жозефом сделалось нечто еще более мудреное. Снося свою унизительную роль дорогой, Висленев надеялся, что он в первый и в последний раз разыгрывает роль мажордома, и твердо ступил на землю Парижа. И в самом деле, здесь он у самого амбаркадера был приглашен Глафирой в экипаж, сел с нею рядом, надулся и промолчал во все время переезда, пока карета остановилась пред темным подъездом Hôtel de Maroc в rue Seine.

Это притворное, капризное дутье на Глафиру было новым неблагоразумием со стороны Жозефа. Отмалчиваясь и дуясь, он нисколько не затруднял положения Глафиры, которая равнодушно смотрела на дома улиц и не думала о Висленеве. Это дутье даже дало Глафире повод поставить его в Париже на еще более обидную ногу, чем прежде. Глафира заняла в Hôtel de Maroc лучшее отделение и потребовала une petite chambre[75] отдельно для своего секретаря. Висленев, слыша эти распоряжения, усугублял свое молчаливое неудовольствие, не захотел окинуть глазом открытую пред ним мансарду верхнего этажа и за то был помещен в такой гадостной лачуге, что и Бодростина, при всей своей пренебрежительности к нему, не оставила бы его там ни на одну минуту, если б она видела эту жалкую клетку в одно низенькое длинное окошечко под самым склоном косого потолка. Но Глафира никогда здесь не была, никогда не видала помещения своего несчастного секретаря и мажордома, и он так и завалялся тут, в этом никому непотребном чуланишке.

Помнит он первые свои дни в Париже, те дни, когда он еще устанавливался и дулся, как бы имея право на что-то претендовать. Он упорно оставался в своей конуре и ничего в ней не приводил в порядок, и не шел к Глафире. Он хотел показать ко всему полное презрение и заставить Бодростину это заметить, но это положительно не удавалось. Глафира Васильевна не только не роптала на него за его отсутствие, но в пять часов вечера прислала ему пакетик, в котором был стофранковый билет и лаконическая записка карандашом, извещавшая его, что он здесь может располагать своим временем, как

ему угодно, и кушать где найдет удобнее, в любую пору, так как стола дома не будет. О назначении приложенных ста франков не было сказано: это было дано на хлеб насущный. Висленев, впрочем, думал было возвратить эти деньги, или намеревался хоть поговорить, что принимает их на благородных кондициях взаймы, но дверь Бодростиной была заперта, а затем, когда голод заставил его почать ассигнацию, он уже не думал о ней разговаривать. Теперь он только соображал о положении, в котором очутился, и о том, какое взято самою Глафирой, конечно, по собственной своей воле. По его мнению, ей, разумеется, совсем не так следовало бы жить, и Висленев об этом очень резонно рассуждал.

– Я бежал, я ушел от долгов и от суда по этой скверной истории Горданова с Подозеровым, мне уже так и быть… мне простительно скитаться и жить как попало в таком мурье, потому что я и беден, и боюсь обвинения в убийстве, да и не хочу попасть в тюрьму за долги, но ей… Я этого решительно не понимаю; я решительно не понимаю и не могу понять, зачем она так странно ведет себя? Что за выходки такие, и для чего она нырнула прямо сюда, в этот гадостный квартал и… и возится с какими-то старухами и стариками… тогда как мы могли жить… могли жить… совсем иначе и без всяких стариков… Да что это, наконец, за глупость в самом деле.

Висленеву стало так грустно, так досадно, даже так страшно, что он не выдержал и в сумерки второго дня своего пребывания в Париже сбежал с своей мансарды и толкнулся в двери Бодростиной. К великому его счастию, двери эти на сей раз были не заперты, и Иосаф Платонович, получив разрешение взойти, очутился в приятном полумраке пред самою Глафирой, которая лежала на мягком оттомане пред тлеющим камином и грациозно куталась в волнистом пледе.

Здесь было так хорошо, тепло, уютно; темно-пунцовый свет раскаленных угольев нерешительно и томно сливался на средине комнаты с серым светом сумерек, и в этом слиянии как бы на самой черте его колебалась тонущая в мягких подушках дивана Глафира.

Она была очень хороша и в эти минуты особенно напоминала одну из фей Шехеразады: вокруг нее были даже клубы какого-то курения, или это, может быть, только казалось.

Увидав в такой обстановке свою очаровательницу, Висленев позабыл все неудовольствия и пени и, швырнув куда попало фуражку,

бросился к оттоману, стал на колени и, схватив руку Глафиры, прильнул к ней страстным и долгим поцелуем. Разум его замутился.

Мягкий шелковый пеплум Глафиры издавал тончайший запах свежего сена, – запах, сообщенный ему, в свою очередь, очень причудливыми духами. Все более и более сгущающийся сумрак, наступая сзади ее темною стеной, точно придвигал ее к огню камина, свет которого ограничивался все более и более тесным кругом. Остальной мир весь был темен, и в маленьком пятне света были только он и *она*.

Висленев вскинул голову и взглянул в ярко освещенное лицо Глафиры. Она глядела на него спокойными, задумчивыми глазами и, медленно подняв руку, стала тихо перебирать его волосы.

Это произвело на Иосафа Платоновича особенное, как бы магнетическое, действие, под влиянием которого он, припав устами к другой руке Глафиры, присел на пол и положил голову на край дивана. Прошло несколько минут, и темнота еще гуще скутала эту пару, и магнетизм шевелившейся на голове Висленева нежной руки, вместе с усыпляющим теплом камина, помутил ясность представлений в его уме до того, что он изумился, увидя над своим лицом лицо Глафиры. Бодростина, облокотясь на руку и склонясь, смотрела на него через лоб.

– Вы, кажется, спите? – спросила она его бодрым и свежим голосом, внезапно разогнавшим всю таинственность и все чары полумрака.

– Да, я было задремал, – отвечал Висленев, рассчитывая огорчить этими словами женское самолюбие Глафиры, но Бодростина повернула эту сонливость в укор ему и добавила с усмешкой:

– Хорошо, очень хорошо! Два дня дулся, а на третий пришел да и спит… Нет, если вы такой, то я не хочу идти за вас замуж!

Висленев, боясь попасть в решительный тон, отвечал лишь с легким неудовольствием, что он не понимает даже, к чему тут речь о браке, когда она замужем и он женат, но положение его таково, что и без брака заставляет желать немалого.

– Ничего меньше, – отвечала Глафира, – или все, или ничего.

– Да я имею одно «ничего», – обиженно молвил Висленев. – Я ведь вам по правде скажу, я ровно ничего не понимаю, что такое вы из

меня строите. Это какое-то вышучиванье: что же я шут что ли в самом деле, чтобы слыть мажордомом?

– А вам разве не все равно, чем вы слывете и как называетесь?

– Извините меня, но мне это совсем не все равно.

– В таком случае, конечно… я очень сожалею, что я прибегла к этим небольшим хитростям… Но я ведь в простоте моей судила по себе, что дело не в названии вещи, а в ее сути.

– Да ведь у меня же нет никакой и сути?

– А-а! если так, если для вас суть заключается не в том, чтобы видеть меня и быть вместе со мною, то, разумеется, это не годится, и вы свободны меня оставить.

При этих словах она быстро отняла свою руку от его головы и начала зажигать спичку, держа ее в таком отдалении между собою и Висленевым, что последний должен был посторониться и сел поодаль, ближе к камину.

– Быть при вас, – повторил он вздыхая. – Да, суть в том, чтобы быть при вас, но *чем быть*? Вот в чем дело! Гм… вы говорите о своей простоте, а между тем вы сделали меня вашим слугой.

– А вы хотите, чтоб я себя компрометировала, чтобы вы слыли моим любовником. Вас унижает быть моим слугой?

– Да-с, унижает, потому что дело в том, *каким* слугой быть! Слугой, да не дворецким.

– Да, ну это, может быть, мой промах, но что делать, надо поступать так, как позволяют обстоятельства.

– Таких обстоятельств нет, которые бы заставляли человека унижать другого равного до подобной низкой роли, до какой низведен я, потому что это остается на всю жизнь.

Бодростина расхохоталась и возразила:

– Какой вздор вы говорите! Почему же это останется на всю жизнь? Разве все рыцари не бывали, в свою очередь, прежде оруженосцами?

– То рыцари и тогда был век, а теперь другой, и кто видел меня при вас в этом шутовском положении лакея, для того уже я вечно останусь шутом.

– А я вам говорю, что это неправда.

– Нет-с, это правда, и мне очень невесело, что я в этом водевиле из господ попал в лакеи.

– А вы были господином? Это для меня новость.

Глафира тихо засмеялась и снова добродушно коснулась рукой его головы.

– Если я и не был особенным господином, то… все-таки до сих пор я никогда не был и лакеем, – проговорил смущенный Висленев.

– Ну, так успокойтесь же, вы и теперь никак не лакей, а если уже вам непременно хочется приравнивать свое положение к водевильным ролям, то вы «Стряпчий под столом».

Глафира опять рассмеялась и затем серьезнейшим и спокойным тоном прочитала своему собеседнику нотацию за его недоверие к ней и недальновидность. Она разъяснила ему все самомалейшие его сомнения с такою ясностию, что Иосаф Платонович навсегда и прочно убедился не только в целесообразности, но даже и в необходимости всех ее планов и предначертаний. Висленев без большого труда уверовал, что Бодростина не могла и не может выдавать его иначе, как выдает, то есть за ее мажордома, потому что баронесса и графиня, доводясь родственницами Михаила Андрееeича, не преминули бы сделать своих заключений насчет пребывания Иосафа при ее особе и не только повредили бы ей в России, но и здесь на месте, в Париже, не дали бы ступить шага в тот круг, где она намерена встретить людей, способных разъяснить томящие ее отвлеченные вопросы. Одним словом, она прямо объявила, что главнейшая цель ее прибытия в Париж есть сближение с Алланом Кардеком и другими влиятельнейшими лицами спиритических кружков.

– Ваша роль, – добавила она, поднимаясь с дивана и становясь пред Висленевым, – ваша роль, пока мы здесь и пока наши отношения не могут быть иными как они есть, вполне зависит от вас. Назвать вас тем, чем вы названы, я была вынуждена условиями моего и вашего положения, и от вас зависит все это даже и здесь сделать или очень для вас тяжелым, как это было до сей минуты, или же… эта фиктивная разница может вовсе исчезнуть. Как вы хотите?

– Разумеется, я бы хотел, чтоб она исчезла.

– В таком случае – я не помню, право… мне кажется, когда мы были там… на хуторе, у Синтяниной…

– Да-с.

– Когда мы были там после последнего раза, как был у меня Сумасшедший Бедуин и рассказывал про своего Испанского

Дворянина.

– Пред самою дуэлью Горданова?

– Да, пред самым убийством Подозерова.

– Вы говорите убийством?

– Да, я говорю «убийством». Пред самым этим событием вы говорили, что вы порой нечто такое чувствуете… что на вас как будто что-то такое находило или находит?

– Ах, да… вы про это! Да, я иногда нечто этакое как будто ощущал.

– Что же именно такое?

– То есть, как вам сказать: что такое именно, этого я вам рассказать не могу, но ощущал и именно что-то странное.

– На что же это, например, хоть похоже?

– Решительно, что ни на что не похоже, а совсем что-то такое… понять нельзя!

– Эту способность в вас следовало бы определить. Я подозреваю в вас способность сделаться медиумом, а если вы медиум, то поздравляю: вы можете доставить бесконечную пользу и себе, и обществу.

– Что же, я готов, – отвечал Висленев.

– Но только я говорю: вас надо испытать.

– С величайшим моим удовольствием.

– И тогда если окажется, что вы медиум и, как я полагаю, сильный медиум…

– Непременно сильный, я это чувствую.

– Тогда, каково бы ни было ваше положение, оно не только не помешает нам быть всегда вместе в полном равенстве, но общество само станет у вас заискивать и вы ему станете предписывать.

Бодростина замолчала; Висленев тоже безмолвствовал. Он что-то прозревал в напущенном Глафирой тумане, и вдали для него уже где-то мелодически рокотали приветные колокольчики, на звуки которых он готов был спешить, как новый Вадим. В ушах у него тихо звонило, опущенные руки тяжелели, под языком становилось солоно, он в самом деле имел теперь право сказать, что ощущает нечто неестественное, и естественным путем едва мог прошипеть:

– А что же такое, например, я буду после обществу предписывать?

– Взгляды, мнения, мало ли что!

– Да, да, да, понимаю.

– Как посредник высших сил, вы можете сделать очень много, можете реформировать нравственность, разъяснять неразрешимые до сих пор дилеммы… ну, вообще обновлять, освежать, очищать человеческое мышление.

– Да, да, понимаю: обновлять мышление и только.

– Как и только! – удивилась Глафира.

– Да; то есть можно только предписывать, обновлять мышление… реформировать мораль и тому подобное, а ничего практического, реального предписывать нельзя?

– Ничего реального?.. Гм! – Глафира рассмеялась и добавила, – а вам, верно, думалось, что вы можете дать предписание перевезти к вам кассы Ротшильда или Томсона Бонара?

– Нет, я знаю, что этого нельзя.

– Напрасно вы это знаете таким образом, потому что это, весьма напротив, не нельзя, а возможно.

У Висленева даже горло внутрь в грудь потянуло.

– Как же возможно велеть привезти к себе кассы?

– Отчего же, если это будет внушено хорошим умом…

– Позвольте! позвольте! – перебил, вскочив с места, Висленев. – Теперь я понимаю.

– Едва ли?

– Нет-с, понимаю, совершенно понимаю.

При этом он раскатился веселым смехом и заходил по комнате.

Глафира молча зажгла свечи и пересела на другой диван.

– Теперь я понимаю все, – заговорил, остановясь с таинственным видом, Висленев. – Я понимаю вас, понимаю ваше отступничество от прежних идей, и я вас оправдываю.

– Благодарю, – уронила Бодростина, начиная разрезывать новый том «Revue Spirite».[76]

– Да, я не только вас оправдываю, но я даже пойду по вашим стопам смелее и далее. Извольте-с, извольте! уверенный отныне, что разрушение традиций и морали путем ласкового спиритизма гораздо удобнее в наш век, чем путем грубого материализма, я… я не только с свободною совестью перехожу на вашу сторону, но… но я с этой минуты делаюсь ревностнейшим гонителем всякого грубого материализма, кроме…

– Конечно, кроме материализма в любви, – перебила с улыбкой Бодростина.

– И то нет; я вовсе не то хотел сказать, а я хотел бы, кроме всего этого, еще где-нибудь разразиться против материализма жестокою статьей и поставить свое имя в числе его ярых врагов.

– Место готово.

– Где же?

– Идите переоденьтесь и едем.

Висленев встал, переоделся и поехал, и от этого ему сделалось хуже.

Глава девятая
Он теряет свое имя и получает имя Устина

Итак, они вышли, сели в фиакр и поехали. Ехали много ли, мало ли, долго ли, коротко ли, и остановились: сердце у Жозефа упало как перед экзаменом и он перекрестился в потемках.

Теперь они уже не ехали, а шли.

Припоминает Висленев, что он был введен Глафирой в почтенное собрание, где встретил очень много самых разнообразных и странных лиц, с именами и без имен, с следами искры божией и без этого божественного знака, но все были равны, без чинов и без различий положения. Однако, при всей своей ненаблюдательности, Висленев усмотрел, что и здесь есть свои деления, свой «естественный подбор», своя аристократия и свой плебс, – первых меньше, последних целая масса; физиономии первых спокойны и свидетельствуют о savoir-faire; [77] лица плебса дышат поэтическим смущением и тревогой простодушных пастушков, пришедших к волшебнице отыскивать следы отогнанных ночью коней и волов своего стада.

По своей ненаходчивости и запуганности Висленев всего легче склонен был примкнуть к искателям стад, но Глафира, вошедшая при содействии своей графини и баронессы в аристократию спиритизма, выдвинула своего печального рыцаря вперед и дала ему помазание savoir-faire. Висленев начал пророчествовать, в чем ему немало помогли давние упражнения в этом роде в нигилистических кружках Петербурга. Кроме того, священнодействие это здесь ему было облегчено необыкновенно ловким приемом Глафиры, которая у подъезда сказала ему, что он не должен говорить по-французски, чтобы не стесняться своим тяжелым выговором и, введя, тотчас отрекомендовала русским человеком, совсем не понимающим французского языка, но одаренным замечательными медиумическими способностями, и, в доказательство его несведущности в языке, громко сказала по-французски:

– Cet homme est *borné*, mais il donne souvent des réponses aux questions les plus profondes.[78]

Все блажные и блаженные окинули Висленева внимательным взглядом, и в дальних рядах, где расслышана была только часть этой рекомендации, прокатило имя *monsieur Borné*, нового медиума, нового адепта великого нового учения.

Таким образом с Висленевым здесь на первом же шагу повторилось то же самое, чем он так обижался в Петербурге, где люди легкомысленно затеряли его собственное имя и усвоили ему название «Алинкина мужа». Теперь здесь, в спиритском кружке Парижа, он делался monsieur Borné, что ему тоже, конечно, не было особенно приятно, но на что он вначале не мог возразить по обязанности притворяться не понимающим французского языка, а потом… потом ему некогда было с этим возиться: его заставили молиться «неведомому богу»; он удивлялся тому, что чертили медиумы, слушал, вдохновлялся, уразумевал, что все это и сам он может делать не хуже добрых людей и наконец, получив поручение, для пробы своих способностей, вопросить духов: кто его гений-хранитель? начертал бестрепетною рукой: «Благочестивый Устин».

Это было первое несчастие, которого никто не может понять и оценить, если мы не скажем, в чем дело! А дело было в том, что Иосаф Платонович действительно не хотел записать себе в покровители никакого Устина. Изо всех имен христианских писателей Жозеф с великою натугой мог припомнить одно имя Блаженного Августина и хотел его объявить и записать своим покровителем, но… но написал, вместо Блаженный Августин «Благочестивый Устин», то есть вместо почтенного авторитетного духа записал какого-то незнакомца, который бог весть кто и невесть от кого назван «благочестивым».

Это до такой степени рассердило и смутило Жозефа, что он сейчас же хотел зачеркнуть Благочестивого Устина и написать себе иного гения, но Глафира остановила его решительным движением и объявила, что это невозможно, что духи не ошибаются.

Потом она взглянула на бумагу, одобрительно кивнула Висленеву и перевела собранию имя гения-покровителя нового медиума, причем поставила на вид и его смущение, и то, что он написал имя, вовсе о нем не думая.

– О, это прекрасно! Вдохновенно! Божественно! – послышалось со всех сторон.

– Это так и должно быть, – произнес, возведя к небу резко очерченные темною каемочкой глаза, тихий отец парижских спиритов и, заложив по своей привычке левую руку за борт доверху застегнутого длиннополого коричневого сюртука, положил два пальца правой руки на руку тощего молодого человека с зеленовато-желтым лицом и некоторым намеком на бакенбарды.

Тот сию же секунду взял со стола перо с длинною ручкою из розового коралла, развернул золотообрезную книгу в темном сафьяне и начертал на надлежащем месте: против имени Monsieur Borné наименование его патрона: «Pieux Justin».[79]

Имя и значение Жозефа было составлено, и ему оставалось теперь только работать на этом амплуа сообщителя откровений Благочестивого Устина. Он в этом и подвизался, подвизался много, упорно и с постоянством, приобрел навык вещать поучениями и отвечать на вопросы открытые и закрытые, и делал это ловко и слыл медиумом отличным, но собственные дела его по снисканию фавора у Бодростиной не подвигались. Она была вечно окружена сторонними людьми, у ее скромного отеля всегда можно было видеть чей-нибудь экипаж из именитых иностранцев и не менее именитых заезжих соотечественниц: она была, по всеобщему мнению, образцовая спиритка и добродетельнейшая женщина, а он… он был медиум и monsieur Borné.

В таком положении были дела их до самой той минуты, когда Глафира Васильевна попросила Жозефа подождать ее за ее дверью, и он, сидя на лестничном окне, перепустил перед своими мысленными очами ленту своих невеселых воспоминаний. Но вот сердце Жозефа встрепенулось; он услыхал сзади себя бодрый голос Глафиры, которой он приготовил сегодня эффектнейший, по его соображениям, сюрприз, вовсе не ожидая, что и она тоже, в свою очередь, не без готовности удивить его.

Глава десятая
Устин не помог

Дверь, за которою сидел на окошечке Висленев, тихо отворилась, и на площадку лестницы вышла Глафира Васильевна, по обыкновению, вся в черном, с черным антука в руках и с лицом, завешенным до подбородка черною вуалеткой с вышитыми мушками.

Стройная и сильная фигура ее была прекрасна: все на ней было свежо, чисто и необыкновенно ловко, и, вдобавок, все, что было на ней, точно с нею сливалось: ее скрипящий башмачок, ее шелестящее платье, этот прыгающий в ее руке тонкий антука и эта пестрая вуалетка, из-под которой еще ярче сверкают ее страстные глаза и которая прибавляет столько нежности открытой нижней части лица, – все это было прекрасно, все увеличивало ее обаяние и давало ей еще новый шик. Горданов, разжигая Висленева, сравнивал генеральшу Синтянину с Гибралтаром. Это шло к Александре Ивановне, если сравнивать ее с Гибралтаром в настоящем ее положении, в руках английской нации, сынам которой, к чести их, так мало свойственна измена. Глафиру тоже можно было сравнить *с* Гибралтаром, но только с изменником-комендантом в цитадели. Этот неуловимый запах, эта неопределенная атмосфера изменничества, растлевающие и деморализующие гарнизон и сбивающие с толку силы осаждающей армии, носились и веяли вокруг ее, и пахнули из ее глаз на оторопевшего Жозефа, проходя мимо которого, она сказала:

– Пойдемте!

Тонкий, долгий, белый и волокнистый Висленев соскочил с окна и засеменил за нею.

Сойдя вниз на улицу, они взяли фиакр. В первом же доме, где они очутились, Висленев был удивлен, услыхав, что Глафира прощается и говорит о каких-то своих внезапных, но тягостных предчувствиях и о немедленном выезде в Россию. Иосаф Платонович решительно не мог верить ни словам спутницы, ни своим собственным ушам, но тем не менее обтекал с нею огромный круг ее спиритского знакомства, посетил с ней всех ее бедных, видел своими собственными глазами, как она отсчитала и отдала в спиритскую кассу круглую сумму на

благотворительные дела, и наконец, очутясь после всей этой гоньбы, усталый и изнеможенный, в квартире Глафиры, спросил ее: неужто они в самом деле уезжают назад? и получил ответ: да, я уезжаю.

– Когда же мы едем? – осведомился Висленев и получил в ответ: сегодня.

– Фу, черт возьми! Но это невозможно сегодня! – возразил он, и на это уже вовсе не удостоился ответа, между тем как приготовления к отъезду видимо довершались, и monsieur Borné был даже вытеснен ради этих сборов из удобного помещения Глафиры к себе на душную вышку, где он едва мог стоять выпрямясь.

Нежданная весть о столь внезапном и быстром отъезде срезала Висленева, и быстрые ноги его зашатались; возвратясь в свою конурку, он забегал по ней, изогнувшись, из угла в угол и наконец встал посредине, упер перст в лоб и стоял, держа на плечах своих потолок, как Атлас держит землю. Monsieur Borné пришла счастливая мысль удержать Бодростину от немедленного выезда, доказав ей неосновательность ее предчувствий, и он тотчас же подсел, согнувши ноги, к окошечку и написал к себе письмо от Благочестивого Устина. На этот раз Благочестивый Устин предостерегал «желающую выехать», чтоб она не выезжала, пока пройдет опасность, о которой Благочестивый Устин обещался заблаговременно известить, а в другом… в другом он философствовал о браке и отвечал на выставленный Висленевым вопрос о том, как смотрят на брак в высших мирах. Благочестивый Устин говорил о браке, как об учреждении божественном в смысле союза любви, и отрицал его значение гражданское, – выводом из всего этого выходило отрицание брака с достоверным ручательством, что в высших областях нет никаких положений ни о каком браке, в полном смысле этого понятия, и что потому понятия эти суетны, вздорны и не стоят внимания. Благочестивый Устин ручался, что все нарушения условной морали в сношении полов есть только земная выдумка и притом самая несостоятельная, ибо в существе всякая нарушительница этой морали, даже в самой крайней мере, менее преступна, чем дитя, сорвавшее стручок гороха из чужого огорода, «ибо снабдить чем бы то ни было своим собственным гораздо добродетельнее, чем взять что-нибудь чужое».

Последнее сравнение и силлогизм, которым Иосаф Висленев придавал особенное значение, он почерпнул из «Корана» Стерна, несколько томиков которого, будучи приобретены Жозефом, составили его избранную библиотеку, вместе с «Парижским цирюльником» Поль де-Кока, «Хромым бесом» Лесажа и «Книгой духов», собранною из сверхъестественных сочинений Алланом Кардеком. Жозеф почерпнул из Стерна оригинальность для своих суждений, из Поль де-Кока – веселость и игривость, из Лесажа – способную предприимчивость, из Аллана Кардека – смелость говорить вещим языком ветхий вздор спиритской философии. Всем этим он заряжался как темная фокусная бутылка с различными напитками и разливал по рюмочкам, что кому требовалось, но… но хмель его не туманил той, для которой вызывались все эти туманные картины: спиритка Глафира была к одной части откровений равнодушна, а к другой – даже относилась с обидным и схизматическим недоверием. К последней области относились все либеральные сообщения Благочестивого Устина о браке. Глафира крепко стояла за брак по форме, как он принят, и не убеждалась никакими, ни естественными, ни сверхъестественными доводами в пользу признания его только по сущности. Не признавая революции, проповедуемой Висленевым при содействии Благочестивого Устина и других духов, она оказалась непреклонною рабой законов европейского общества и приводила Иосафа в отчаяние. Дожив до такого возраста, в котором любовь уже начинает повиноваться разуму, и притом преследуя цели совсем не любовные и имея пред глазами столь жалкого соблазнителя, как Висленев, Глафира небрегла словами любви и стала в известном смысле plus royaliste que le roi.[80] Она сказала Висленеву раз и навсегда, что она уже не ребенок и знает, что такое значит любовь человека к чужой жене, и потому поверит только в любовь *своего* мужа.

– Того, который вас не любит и обманывает? – поставил ей на вид Висленев.

– А разве женщину менее обманывает тот, кто говорит ей, что любит ее, и между тем ничего не делает, чтобы дать законное значение этой любви, – отвечала Глафира.

– Что же для этого надо сделать?

– Надо быть моим мужем.

– Но вы замужем.

– По русским законам допускается не один брак.

– Да, я знаю, что можно выйти замуж и во второй раз.

– И даже в третий.

– Прекрасно-с; но ведь все это, конечно, не вдруг?

– О, разумеется, не вдруг.

– Так ведь, стало быть, нужно, чтобы прежде муж ваш умер.

– Может быть.

– А как это сделать? Это не от нас зависит, и он может прожить очень долго.

– Ну уж я вам не могу отвечать, как это сделать, и от кого это зависит, и сколько он еще может прожить, – небрежно молвила Глафира, и с тех пор не сказала Висленеву более ни одного положительного слова, а только, по его выражению, все «упорно стояла на браке».

Нимало не изменили ее настроения и последние откровения, полученные Иосафом в его каморке от Благочестивого Устина и других духов, переселенных за свои совершенства в высшие обители. Просмотрев предъявленные Висленевым предостережения насчет выезда, Глафира, которую Иосаф застал за уборкой своих дорожных вещей, спокойно взяла этот листок и, сунув его в объемистый портфель, набитый такою же литературой monsieur Borné, продолжала свое дело.

Иосафа это обидело, и он, дождавшись конца Глафириной работы, спросил ее: неужто она и после этого едет?

– Непременно еду, – отвечала Глафира. – А что такое может помешать?

– А это обещание!

– О, что могут значить эти пустяки!

– Как пустяки? Так вы, значит, этому не верите?

– Не верю.

– На каком же это основании?

– Я имею основание.

– Да вы что же… вы, может быть, отвергаете весь спиритизм?

– Нет, я его не отвергаю.

– Так… вы отвергаете его опытную часть: отвергаете вероятность общений? Это значит отвергаете все.

– Нисколько; напротив, я не только не отвергаю общений, но я ими-то теперь и руководствуюсь.

– А если руководствуетесь, то вам в таком случае нельзя ехать.

– Нет, именно потому-то мне и должно ехать, – отвечала Глафира и, выдвинув мизинцем из кучи не убранных еще со стола бумаг листок, проговорила:

– Вот не хотите ли это прослушать?

На листке собственным почерком Глафиры было написано всего только два слова: «revenez bientôt».[81]

– Что ж это такое? – воскликнул Висленев, который смекнул, что тут нечто скрывается, и в руках которого эта страшная бумажка затрепетала. – Что это? – повторил он.

– Это? Разве вы не видите? Это общение.

– Но ведь это вы сами написали?

– Да, я сама. А что такое?

– Да ничего-с… Но вы ведь не имеете медиумических способностей.

– То есть я их не имела до сегодняшнего дня, но когда вы прислали мне ваше запрещение ехать, я была этим смущена и, начав томиться, вдруг почувствовала в руке какое-то мление.

– А-а! Я это знаю: это обман, это просто судороги.

– Нет, извините, совсем не судороги, а этакое совершенно особенное тяготение… потребность писать, и только что взяла карандаш, как вдруг на бумаге без всякого моего желания получились вот эти самые слова.

Висленев очутился в положении самом затруднительном: он понял, что Глафира наконец посягнула и на последнее его достояние, на его дар пророчества. Он решил биться за это до последних сил.

– Позвольте, – пролепетал он, – я не отвергаю, что это, пожалуй, могло быть и могло быть именно точно так, как вы рассказываете, но ведь вы позабываете самое главное, что в этих вещах нужны опытность и осторожность. Вы должны знать, что ведь между духами есть очень много вчерашних людей.

– Я это знаю.

– Да-с; есть духи шаловливые, легкие, ветреные, которым не только ничего не значит врать и паясничать, которые даже находят в том удовольствие и нарочно для своей потехи готовы Бог весть что

внушать человеку. Бывали ведь случаи ужасных ошибок, что слушались долго какого-нибудь великого духа, а потом вдруг выходило, что это гаерничал какой-нибудь самозванец, бродяжка, дрянь.

– Ах, знаю, знаю! Я, к сожалению, это очень хорошо знаю и должна сказать вам очень не отрадную весть.

– Именно-с? – вопросил Висленев, предчувствуя, что ему готовится удар еще более тяжкий.

– Известно вот что, что ваш Благочестивый Устин…

– Ну, уж что касается Благочестивого Устина, то его не надо беспокоить, – перебил Висленев.

– Нет; да что тут о беспокойстве! А дело вот в чем, что никакого Благочестивого Устина не было и нет.

– Как нет-с! Как не было и нет-с никакого Устина! Покорно вас благодарю за такое сообщение! А кто же это по-вашему мой гений-хранитель?

– Не знаю, совершенно не знаю.

– Значит, по-вашему, у меня нет что ли совсем гения?

– Не знаю.

– Но кто же тогда столько времени писал моею рукой?

– Ах! то ужасная мошенница, которую, когда она была на земле, звали Ребекка Шарп.

– Вздор-с! не верю, это вздор: я никакой Ребекки Шарп не знаю вовсе.

– Да вам и не нужно ее знать, а она вами действовала… гадкая бездельница: вы были ее игрушкой.

– Но кто же она такая-с?

– Она?.. она лицо довольно известное: она героиня романа Теккерея «Ярмарка тщеславия». О, она известная, известная плутовка!

– Кто вам это открыл?

– Сам Теккерей.

– Это, может быть, не верно: это, может быть, легкий и шаловливый дух над вами потешается.

– Ну, нет.

– Нет-с; это надо поверить. Мы сейчас это поверим, – и Висленев засуетился, отыскивая по столу карандаш, но Глафира взяла его за руку и сказала, что никакой поверки не нужно: с этим она обернула пред

глазами Висленева бумажку, на которой он за несколько минут прочел «revenez bientôt» и указала на другие строки, в которых резко отрицался Благочестивый Устин и все сообщения, сделанные от его имени презренною Ребеккой Шарп, а всего горестнее то, что открытие это было подписано авторитетным духом, именем которого, по спиритскому катехизису, не смеют злоупотреблять духи мелкие и шаловливые.

– Ну да, – произнес Висленев сквозь зубы, кладя на стол бумажку, – да, все это прекрасно, и на это нельзя возражать, но только скажите, до чего мы дойдем, наконец, таким образом?

Он не замечал, что в своей потерянности он вел разговор о том, о чем думал, и вовсе не о том, о чем хотел говорить.

Мало обращавшая на него внимание Глафира заметила это и, улыбнувшись, спросила:

– А как вы думаете: до чего мы дойдем?

– Да что же, – продолжал рассуждать Висленев, – мы прежде все отвергали и тогда нас звали нигилистами, теперь за все хватаемся и надо всем сами смеемся… и… черт знает, как нас назвать?

Бодростина глядела на него молча и по лицу ее бегала улыбка.

– Право, – продолжал Висленев, – ведь это все выходит какое-то поголовное шарлатанство всем: и безверием, и верой, и материей, и духом. Да что же такое мы сами? Нет. Я вас спрашиваю: что же мы? Всякая сволочь имеет себе название, а мы… мы какие-то темные силы, из которых неведомо что выйдет.

– Вы делаете открытие, – уронила Глафира.

– Да что же-с? Я говорю истину.

– И я с вами не спорю.

– Все этак друг с другом… на ножах, и во всем без удержа… разойдемся, и в конце друг друга перережем, что ли?

– На ножах и без удержа, – повторила за ним Глафира, – и друг друга перережем. А что же далее? Я вас с любопытством слушаю: оказывается, что вы тоже и говорящий медиум.

– Да-с, «говорящий», я говорящий… Благодарю вас покорно! Заговоришь, заговоришь разными велениями и разными языками, как…

Но с этим Висленев встал и, отойдя от Бодростиной, прислонился к косяку окна.

Меж тем Глафира позвала хозяина маленького отеля и, не обращая никакого внимания на Висленева, сделала расчет за свое помещение и за каморку Жозефа. Затем она отдала приказание приготовить ей к вечеру фиакр и отвезти на железную дорогу ее багаж. Когда все это было сказано, она отрадно вздохнула из полной груди, взяла книгу и стала читать, как будто ничего ее не ожидало.

Ей наконец надоело это скитанье, надоели эти долгие сборы к устройству себя на незыблемом основании, с полновластием богатства, и она теперь чувствовала себя прекрасно, как дитя, в окне которого уже занялась заря его именинного дня.

Она не заметила, как Висленев, тотчас по выходе хозяина отеля, обернулся к ней и лепетал: «как же я? что же теперь будет со мной?», и когда он в десятый раз повторил ей этот вопрос и несмело коснулся ее руки, она еще раз вздохнула и, как бы что-то припоминая, проговорила:

– Да, в самом деле: как же вы и что будет теперь с вами?

– Я решительно не знаю этого: вы совсем сбили меня с толку; я совсем потерялся.

– Постойте!.. Как же это я в самом деле… так рассеянно?.. Спросите скорее Устина!

Висленев взглянул на нее, потом покачал укоризненно головой и, наконец не выдержав, отвернулся и рассмеялся.

Когда он оборотился полуоборотом к Глафире, желая взглянуть на нее искоса и с тем вместе скрыть от нее так некстати прорвавшийся смех, он увидал, что Бодростина тоже смеется и… оба вдруг сняли свои маски и оба искренно расхохотались в глаза друг другу.

Глава одиннадцатая
В шутовском колпаке

Никто в такой мере, как Висленев, не представлял собою наглядного примера, как искренно и неудержимо способен иногда человек хохотать над самим собою и над своим горем. Иосаф Платонович просто покатывался со смеху: повиснув на одном месте, он чуть только начинал успокоиваться, как, взглянув на Бодростину, быстро перескакивал на другой стул и заливался снова.

– Бога ради!.. – умолял он, – не смешите меня более, а то я… умру.

– Упаси Бог от такого несчастия, – отвечала серьезно Глафира. – С кем же я тогда останусь?

Висленев опять покатился, закашлялся и, отбежав в угол, застонал и заохал. В состоянии его было что-то истерическое и Глафира, сжались над ним, встала и подала ему стакан воды.

Жозеф пил эту воду с такою же жадностию, с какою некогда отпивался этим напитком у Горданова от истерики, возбужденной в нем притеснениями его жены и немилосердого Кишенского. Разница заключалась только в том, что та давняя истерика вела его к потере чувств и к совершенному расслаблению и упадку жизненности, меж тем как теперь с каждым глотком воды, поданной ему белыми, античными руками Глафиры, в него лилась сила безотчетной радости, упования и надежд. Он схватил руки Бодростиной и припал к ним своими устами.

– Не покидайте меня! – шептал он между поцелуями.

– Я и не думала вас покидать, – отвечала, не отнимая у него своих рук, Глафира.

– Но ведь вы знаете, что мне нельзя возвращаться в Россию.

– Отчего нельзя?.. Нет, я этого не знала.

– Да как же не знали! Меня там схватят.

– За долги?

– Ну, разумеется. Чуть я только появлюсь в Петербурге, сейчас и пожалуйте в Tarasen Garten, это порядок известный.

– Пустяки, у вас есть дети: вас нельзя сажать в долговую тюрьму.

Висленев замотал головой.

– Нет, – отвечал он, – вы это говорите на общих основаниях, а мое положение особенное, ножевое, меня не защитит и то, что у меня есть дети, то есть я хотел сказать, что… ко мне приписаны дети.

Бодростина выразила недоумение, но Висленев, сверх всякого чаяния, очень обстоятельно разъяснил особенные преимущества своего положения. Оказывалось, что они состояли в том, что вообще претензии бывают предъявляемы от сторонних лиц, а его может посадить собственная, по его выражению, «родная жена» и мать тех самых детей, которыми он мог бы несколько защищаться от иска лица постороннего. Он здраво выводил, что, при представленной им роковой комбинации, всякое правительственное попечение о детской судьбе естественно сделается излишним, и вот в этом-то и заключалась привилегия его положения.

Глафира Васильевна не ожидала от Иосафа такой далекой и тонкой казуистической предусмотрительности. Такая комбинация, какую вывел Висленев, ей не приходила в голову и, по своей крайней курьезности и новости, поставила ее в невозможность обнять и разъяснить ее себе сразу.

«Что же в самом деле, – подумала Глафира, – ведь оно совершенно логично, что если сама мать детей скажет: я не требую содействия моего мужа в содержании ребят, а прошу посадить его за долг мне в тюрьму, то, кажется, и взаправду едва ли найдутся логические причины отказать ей в такой справедливости».

Глафира едва сдержала на своем лице улыбку, вызванную этими соображениями о логике юридической справедливости вексельного права, и, желая успокоить злополучного Висленева, сказала, что предполагаемая им комбинация так нова, что едва ли предусмотрена законом и, вероятно, еще составит вопрос, который может разрешиться в благоприятном для Иосафа смысле. Но Жозеф едва дал окончить Бодростиной ее утешительные слова и заговорил:

– Нет-с, нет-с; я слуга ваш покорный, чтоб я стал на это полагаться. Знаю я-с, как там в Петербурге на это смотрят. Гм!.. Покорно вас благодарю!.. Нет; там нашему брату мужчине пощады не ждать: там этот женский вопрос и все эти разные служебные якобинцы и разные пунцовые филантропы… Куда там с ними мужчине!.. Они

сейчас все повернут в интересах женского вопроса и… мое почтение, мужа поминай как звали.

– Бедные женщины! все на них, даже и друзьям женского вопроса – и тем достается.

– Да-с, друзья… Знаем мы этих друзей. Нужно равноправие, а я во все газеты посылал статьи об открытии мужского вопроса и нигде не печатают. Будто мы тем и виноваты, что мы родимся мужчинами, и за то женщины имеют привилегию на всеобщее послабление к нашим обидам, меж тем как мы даже вопроса о себе поднять не можем нигде, кроме духовных журналов, которых никто не читает… Это тоже прекрасно! Нет-с; уж я лучше сгину, пропаду здесь на чужбине, заграницей, но в Россию, где женский вопрос, – не поеду. Ни за что, ни за что на свете не поеду!

– Какой вы, однако, злой!

– Нет-с, извините меня. Это не я зол, а скорее другие злы, – отвечал он запальчиво и развил, что если в России все таким образом пойдет, то это непременно кончится ни больше, ни меньше как тем, что оттуда все мужчины убегут в Англию или в Германию, и над Невой и Волгой разовьется царство амазонок.

– Ну, а если бы там наконец решились в уровень с женским вопросом поднять мужской вопрос? – спросила Глафира.

– Ни за что этого не будет, – отвечал со вздохом Висленев.

– Ну, а если бы?

– Нечего невозможного и предполагать, когда у наших монгольских выродков все такие инстинкты, что они все на свете готовы для женщин сделать. И оно и понятно: в женщин влюбляются и подделываются к их воле и желаниям, а мы, мужчины, что такое?.. Мы постоянно нуждаемся в женской ласке, в привете; чувствуем любовь, привыкаем к женщинам, наконец… против нас все, против нас наконец сама природа! Мы так несовершенно и мерзко созданы, что одни жить не можем. Ну что уж тут еще остается толковать? Гибель, гибель, гибель нашему полу в России, и более ничего!

Бодростина весело рассмеялась и заметила своему собеседнику, что он неосторожно богохульствует, порицая совершенство творения, чего ему, как спириту, делать не надлежит; но он категорически опроверг это обвинение и доказал, что именно как спирит-то он и прав, потому что признает планету и обитающие на ней организмы

еще в периоде самого раннего развития и верит, что в далеком или в недалеком будущем воспоследуют усовершенствования, при которых нынешняя и все более и более усиливающаяся власть женщин над мужчинами упразднится.

– В таком случае зачем же вы мне говорите столько времени, что вы меня любите? – промолвила Бодростина.

– Говорю, потому что люблю вас, – отвечал, всплеснув руками, Висленев.

– Нет, а вы гораздо лучше от этого эманципируйтесь.

– А что делать, когда не могу.

– Значит, кто же над вами деспотствует: женщина или вы сами?

– Сам, я сам, я знаю, что я сам.

– Ну так эманципируйтесь от себя.

– Не могу-с, в том-то все и дело, что не могу, так скверно создан.

Собеседники снова вместе засмеялись и Бодростина, не отрицая настояний Жозефа, что он «скверно создан», отвечала, что женщины гораздо покорнее мужчин воле Промысла, устроившего все так, как оно устроено, и затем прямо поворотила речи к насущному вопросу дня, то есть к тому, как быть с собою злополучному Иосафу?

По ее мнению, ему не оставалось ничего иного, как ехать с нею назад в Россию, а по его соображениям это было крайне рискованно, и хотя Глафира обнадеживала его, что ее брат Грегуар Акатов (которого знавал в старину и Висленев) теперь председатель чуть ли не полусотни самых невероятных комиссий и комитетов и ему не будет стоить особого труда поднять в одном из этих серьезных учреждений интересующий Иосафа мужской вопрос, а может быть даже нарядить для этого вопроса особую комиссию, с выделением из нее особого комитета, но бедный Жозеф все мотал головой и твердил:

– Нет, нет! Но шутить довольно, как бы то ни было, а в Россию ехать не могу.

– Но где же вы будете жить за границей?

– И за границей мне жить негде.

– Так как же быть?

– Я опять-таки и этого не знаю.

– Но кто же это должен знать?

– И того не знаю.

Глафира улыбнулась и пожала плечами, – Висленев тоже улыбался: дела его, как мы видим, были нехороши, но он был уверен, что в его положении начинает действовать какое-то облегчающее обстоятельство, – его в этом убеждало его предчувствие, и он не ошибался: Глафира Васильевна не хотела его покинуть, ибо приближались уже лукавые дни, когда волокнистый Borné спиритских собраний Парижа должен был совершить на родине разбойничьи дела, к которым он давно предназначался…

Глава двенадцатая
В дыму и в искрах

Глафире немного стоило, однако, труда показать Висленеву всю бесцельность его дальнейшего пребывания за границей после ее отъезда. Висленев сам знал, что он остается ни при чем, и хотя страх долговой тюрьмы в России был так велик, что испепелял в нем даже самый недуг любви к Глафире, когда Глафира, приняв серьезную мину, сказала ему, что все эти страхи в существе не очень страшны, и что она дает ему слово не только провезти его благополучно чрез Петербург, но даже и увезти к себе а деревню, то Иосаф выразил полное желание ее слушать и сказал:

– Конечно, я понимаю, что возможно и спастись, потому что в Петербурге я могу никуда не выходить и сидеть, запершись, в какой-нибудь комнате, а в вашей деревне там все эти становые и все прочее в вашей воле, да и к тому же я могу переезжать из уезда в уезд, и меня моя драгоценная супруга не изловит.

Он даже предался мечтам по этому случаю, как он будет перебегать из Бодростинского имения в одном уезде в другое, его же имение, находящееся в другом уезде, и сделается таким образом неуловимым для беспощадной жены своей и ее друга Кишенского; и Иосаф Платонович, уносясь такими мечтами, сделался даже весел и начал трунить над затруднительным положением, в которое он поставит этим коварством несчастных становых; но Глафира неожиданно разбила весь этот хитрый план и разрушила его счастливую иллюзию. Она назвала все это ребяческою полумерой и на место невинной затеи Висленева докончить дни свои в укрывательстве от тюрьмы, сказала, что уж пора его совсем освободить от всех этих утеснений и эманципировать его таким благонадежным способом, чтобы он везде свободно ходил и всем показывался, но был бы неуязвим для своих недругов.

Мысль эта, разумеется, представилась Висленеву очаровательною, но он, считая ее слишком невероятною, опять требовал объяснения, а Глафира ему этого объяснения не давала.

– Я вам не могу этого рассказать, как я думаю это сделать, но я это сделаю, – отвечала она на его вопрос.

– Вы это так думаете только, или вы в этом уверены?

– Это иначе не может быть, как я вам говорю.

– Но в таком случае почему же вы не хотите ничего сказать мне: как вы это сделаете?

– Потому что вам этого не нужно знать, пока это сделается.

– Вот тебе и раз: но ведь я же должен быть в чем-нибудь уверен!

– Ну, и будьте уверены *во мне*.

– Гм!.. в вас… Я это слышал.

– Что?.. разве вы мне не верите?

– Нет, нет; не то… не то… я вам верю, но ведь… позвольте-с… ведь это все меня довольно близко касается и уж по тому одному я должен… поймите, я *должен* знать, что вы со мной намерены делать?

– Нет, вы именно этого не *должны*.

– Почему-с? скажите мне разумную причину: почему?

– Потому что вы… «скверно сотворены».

– Гм! шутка не ответ.

– Я и не шучу и мне даже некогда с вами шутить, потому что я сейчас уезжаю, и вот, я вижу, идут комиссионеры за моими вещами и приведен фиакр. Хотите положиться на меня и ехать со мною назад в Россию с твердою верой, что я вас спасу, так идите, забирайте свой багаж и поедем, а не надеетесь на меня, так надейтесь на себя с Благочестивым Устином и оставайтесь.

В это время в комнату вошли комиссионеры и Глафира им указала на свои упакованные веши, которые те должны были взять и доставить на железную дорогу.

– Подождите же, я сейчас притащу свой саквояж, – пусть они и его захватят, – произнес скороговоркой Висленев.

– Только, пожалуйста, поскорей, а то мы можем опоздать на поезд, – торопила его Глафира.

– О, не бойтесь, не бойтесь: я в одну минуту! – воскликнул на быстром бегу Висленев и действительно не более как через пять минут явился с пустым саквояжем в одной руке, с тросточкой, зонтиком и пледом – в другой, и с бархатною фуражкой на голове.

Сдав вещи комиссионерам, он сам сел с Глафирой в фиакр и через час уже ехал с нею в первоклассном вагоне по Северной железной

дороге.

До Берлина они нигде не останавливались, и Жозеф повеселел. Он был доволен тем, что едет с Глафирой рядом в одном и том же классе, и предавался размышлениям насчет того, что с ним должно произойти в ближайшем будущем.

Он уже давно потерял всякую надежду овладеть любовью Глафиры, «поддавшейся, по его словам, новому тяготению на брак», и даже не верил, чтоб она когда-нибудь вступила с ним и в брак, «потому что какая ей и этом выгода?» Но, размышлял он далее: кто знает, чем черт не шутит… по крайней мере в романах, над которыми я последнее время поработал, все говорят о женских капризах, а ее поведение по отношению ко мне странно… Уж там как это ни разбирай, а оно странно! Она все-таки принимает во мне участие… Зачем же, почему и для чего это ей, если б она мною не интересовалась?.. Гм! Нет, во всем этом я вижу… я вижу ясные шансы, позволяющие мне надеяться, но только одно скверно, что я женат, а она замужем и нам невозможно жениться. Разве тайно… в Молдавии, чтобы поп обвенчал и в книжку нигде не записывал?

Эта блестящая мысль его посетила ночью, и он тотчас же поспешил сообщить ее Глафире, с предложением повернуть из Берлина в Молдавию и обвенчаться, но Глафира не соблазнилась этим и отвечала:

– Что же это будет за брак такой?

– Да отчего же: ведь если это для совести, так там тоже православный священник нас будет венчать.

– Прекрасный план, – заметила ему, отворачиваясь. Глафира.

– Ну, а если для положения, – бурчал Висленев, – так тогда уже разумеется…

– Что? – уронила, глядя в окно, Бодростина.

– Тогда ничего сделать нельзя, пока Михаил Андреевич жив, – ответил, вздохнув, Висленев.

– Ну, вот то-то и есть, а есть вещи и еще важнейшие, чем положение: это деньги.

– Да, деньги, деньги очень важны и делают большой эффект в жизни, – повторил Жозеф слова, некогда сказанные в губернской гостинице Гордановым.

– А все эти деньги могли бы и должны… быть ваши… то есть ваши, если только…

При этих словах Глафира еще больше подалась в окно и тотчас же увидала возле своего лица любопытный лик Жозефа, неотступно желавшего знать: в чем дело? какое «если» может разрушить замреявший пред очами души его «большой эффект в жизни»?

Он так неотступно приставал с этим вопросом к Глафире, что она наконец сказала ему, как бы нехотя, что «если» заключается в том, что значительнейшая доля состояния ее мужа может достаться его племяннику Кюлевейну.

– Этому кавалерийскому дураку-то? – воскликнул с сознанием огромных своих преимуществ Висленев.

– Да, этому дураку.

– Ну, уж это глупость.

– Глупость, да весьма вероятная и возможная, и притом такая, которой нельзя отвратить.

– Нельзя?

– Я думаю.

Они замолчали и продолжали по-прежнему сидеть друг против друга, глядя в открытое окно, мимо которого свистел ветер и неслись красные искры из трубы быстро мчавшегося локомотива.

Поезд летел, грохотал и подскакивал на смычках рельсов: Висленев все смотрел на дым, на искры и начал думать: почему не предотвратят этих искр? Почему на трубе локомотива не устроят какого-нибудь искрогасителя? И вдруг встрепенулся, что ему до этого совсем нет никакого дела, а что гораздо важнее найти средство, как бы не досталось все Кюлевейну, и чуть только он пораздумал над этим, как сейчас же ему показалось, что искомое средство есть и что он его даже нашел.

Жозеф откашлянулся, крякнул раз, крякнул еще и, взглядывая на Глафиру, произнес:

– А что… если…

Она молча устремила на него свои глаза и, казалось, желала помочь ему высказываться, но Жозеф ощущал в этом некоторое затруднение: ему казалось, что его голос упал и не слышен среди шума движения, да и притом вагон, покачивая их на своих рессорах,

постоянно меняет положение их лиц: они трясутся, вздрагивают и точно куда-то уносятся, как Каин и его тень.

«Что же, все это вздор, почему не сказать», – думал Висленев и, набрав храбрости, молвил:

– А что если этого Кюлевейна не станет? Он единственный прямой наследник Михаила Андреевича или есть еще и другие?

– Я никого другого не знаю, – отвечала грубым контральто Глафира, – но я не понимаю вас, почему это его вдруг не станет?

– А если его… того?

И Висленев, сложив кисть левой руки чайничком, сделал вид, как будто что-то наливает; но в это время колесо вагона подпрыгнуло и запищало на переводной стрелке и собеседники, попятясь назад, подались в глубь своих мягких кресел.

В вагоне, кроме их двух, все спали. Когда поезд остановился у платформы станции, Глафира встала с места. Она оправила юбку своего суконного платья и, насупя брови, сказала Висленеву: «Вы начинаете говорить странные глупости».

С этим она вышла, и не смевший следовать за нею Жозеф видел из окна, как она быстро, как темный дух, носилась, ходя взад и вперед по платформе. Несмотря на то, что на дворе еще стояли первые числа марта и что ночной воздух под Берлином был очень влажен и прохладен, Бодростина обмахивалась платком и жадно впивала в себя холодные струи свежей атмосферы.

Висленев это видел и понимал, что путешественница чем-то сильно взволнована, но он этого не приписывал своим словам, – до того он сам привык к их ничтожеству, – не соединял он этого и с резким ответом, с которым Глафира вышла из вагона, – это тоже для него была не новость и даже не редкость; но он очень испугался, когда послышался последний звонок и вслед затем поезд тронулся одновременно с кондукторским свистком, а Глафира не входила.

Глава тринадцатая
На краю погибели

Это обстоятельство чуть не стоило жизни бедному Висленеву. Почувствовав, что поезд тронулся и покатился, Иосаф Платонович заметался, затрясся, кинулся внутрь вагона, наступив на ноги двум спавшим пассажирам, потом метнулся назад, высунулся в окно, звал, кричал и наконец, быстро оторвавшись от окна, кинулся опрометью к двери и едва был удержан на вагонной ступени кондуктором: иначе он непременно слетел бы вниз и был бы или разрезан на рельсах, или сдавлен между буферами. Но, к счастию для него и для нас, этого несчастйя не случилось, благодаря бдительности и немецкой аккуратности кондуктора, который не ограничился тем, что изловив Висленева на краю пропасти, он неотступно усадил его на место и, ввиду его необъяснимого волнения, присел возле него сам, чтобы не допустить его возобновить свою попытку броситься под вагон. А что Висленев имел намерение найти смерть на рельсах, в этом не сомневался ни сам кондуктор, ни те из пассажиров, которых Жозеф разбудил, наступив на их мозоли. К тому же, на несчастье путешественника, он будучи рьяным врагом классицизма, не знал тоже никаких и новых языков и мог говорить только на своем родном. Мешая русские слова с немецкими, он высказывал свои опасения за судьбу оставшейся на станции своей сопутницы, но его никто не понимал и в ответ на все его моления, жалобы и порывы вскочить немецкий кондуктор, с длинным лицом, похожим на гороховую колбасу, присаживал его мощною рукой на место и приговаривал: «Seien Sie ruhig»,[82] и затем продолжал вести вполголоса беседу с теми из пассажиров, которые проснулись и любопытно наблюдали эту сцену.

Плохо понимавший по-немецки Висленев не обращал внимания на их разговор, в котором до ушей его чаше других слов долетало слово verrückt[83] и к отягчению своего положения оставался в безвестности о том, что его считают сумасшедшим. В его расстроенном воображении мелькнула мысль, что Глафира на него донесла и выдала его, а сама скрылась, а ему уже нет спасения. Это

было ужасное состояние, и Висленев, потеряв надежду вырваться из-под присмотра или объясниться с суровым кондуктором, ехал в полном отчаянии. Он считал себя погибшим, видел себя уже расстрелянным, повешенным, затерянным, пропавшим без вести и… упав духом, проклинал Глафиру. Иногда только ему входило в голову, что она, может быть, и в мысли не имела доносить на то, что он сделал чайником руку, а просто упустила поезд. Но он не хотел ее жалеть, он и тут хотел клясть и клял, если не за предательство и коварство, то за «проклятые женские фантазии», ради которых она вышла из вагона и пошла расхаживать.

«Чего? чего она вышла?» – вопрошал он самого себя и. сжимая кулак свободной от кондукторского ареста руки, цедил сквозь зубы: «ух, как бы я, с каким то есть я удовольствием всех этих женщин выпорол! Чудесно бы это было, и мужья бы меня даже наверно похвалили».

Но в то самое время, когда он, изнывая в своем бессилии, в сотый раз повторял это невинное желание, под колесом вагона раздался спять визг переводной стрелки, ход поезда стал умереннее и очам страдающего Жозефа представилась живая цветущая красотою и здоровьем Глафира.

Так как в этом романе читателям уже не раз приходилось встречать сцены, относительно которых, при поверхностном на них взгляде, необходимо должно возникнуть предположение, что в разыгрывании их участвуют неведомые силы незримого мира, – тогда как ученым реалистам нашего времени достоверно известно, что нет никакого иного живого мира, кроме того, венцом которого мы имеем честь числить нас самих, – то необходимо сказать, что внезапное появление Бодростиной в вагоне не должно быть относимо к ряду необъяснимых явлений вроде зеленого платья, кирасирского мундира с разрезанною спинкой; Гордановского секрета разбогатеть, Сннтянинского кольца с соскобленною надписью; болезненного припадка Глафиры и других темных явлений, разъяснение которых остается за автором в недоимке. Теперь мы уже не так далеки от всех этих разгадок, но разъяснение появления Бодростиной на всем ходу вагона не станем даже откладывать ни на минуту и займемся им тотчас же, – дадим его как задаток к тем расплатам, какие за нами числятся и

которые мы в свое время надеемся произвести самою натуральною и ходячею монетой.

Дело было весьма просто и могло показаться странным и невероятным не по существу своему, а по взгляду, который имел на него смотрящий.

Глафира Бодростина, издавна начертав себе план завладеть огромным состоянием своего мужа, ускользавшим от нее по ее же собственной вине, по ее неспособности совладать с собою в первые годы своего замужества и лицемерно или искренно составить себе прочную репутацию, взялась за это дело несколько поздно; но она, как мы видели, не теряла надежды привести все к такому концу, какой для нее был нужен. Все это она вела исподволь, медленно и расчетливо, соединяя множество лиц и их страстей и влечений к одному фокусу стекла, чрез которое желала показать миру акт своего торжества. Простой план известь мужа и овладеть его состоянием был известен, кроме ее самой, одному Горданову, но Горданов недаром додумывался в Москве до того, что это не весь план, а не более как только намек на то, чего желает и к чему стремится Глафира. Горданов не ошибался, что если бы дело шло только о том, чтоб убить Бодростина, то это можно было бы давно сделать и ядом, и кинжалом, но Глафира чего-то, по-видимому, выжидала. Это путало соображения Горданова. Он не ошибался: она путала многих и не без умысла, и в числе этих многих его более, чем кого-нибудь другого. Глафира сама опасалась, что Горданов это прозрел и насторожил внимание, но она была твердо уверена, что он не может разгадать ее плана в его целом. Целое это было известно только ей одной и притом часто изменялось то в той, то в другой детали, от совершенно случайных обстоятельств.

По непонятному влечению контрастов, Глафира страстно любила Подозерова: это продолжалось уже целые два года, и к концу того периода, с которого началась наша история, чувства Глафиры дошли до неодолимой страсти. Она некогда ухаживала за Подозеровым и искала сближения с ним по тому стереотипному способу, которым не брезгают многие; но Подозеров, вечно занятый делами крестьян, недаром слыл чудаком. Чувствуя омерзение к разносторонней «направленской» лжи, с таким избытком переполняющей в наше время жизнь так называемых «мыслящих деятелей» того или другого закала, он с чувством глубокой и нервной гадливости удалялся от битых ходов

и искал своей доли в безыскусственном и простом выполнении своих обязанностей, из которых первейшею считал заботу о своем собственном усовершенствовании. Умная и начитанная Глафира часто с ним беседовала и полюбила его ум, взгляды и правила, а потом, увидав, что и самая жизнь его строго гармонирует с этими правилами, полюбила и его самого… по контрасту, но он не мог или не хотел быть ее любовником. Это она видела и остановилась охотиться за ним на этом поле. Даже более: раздумав, она поняла, что он и не хорош был бы любовником, что, изменив в этом случае своим правилам, он потерял бы весь свой букет и перестал бы походить на самого себя. Тогда он перестал бы быть интересным, и всякий гусар, всякий беспардонный враль, даже всякий нигилист в этой роли были бы интереснее его. Но другое дело, если б он был ее муж… На этом она останавливалась с сладостнейшими мечтами; она впадала в самую пасторальную сентиментальность, доходя даже до того, что воображала его каким-то ребенком, а себя – его пестуньей, строила планы, как бы она лелеяла его покой, окружа его довольством, любовию, вниманием. Она уносилась так далеко, что, подобно тому как сказочная невеста ссорилась с своим женихом по поводу выбора мужа для их будущей дочери, она негодовала на себя, когда ей приходила в голову мысль, что воображаемый муж ее Подозеров наскучит ей, и она ему изменит… и как он это снесет? Испанским Дворянином, Горацием, благословляющим за то и за другое, или… холодно пренебрежет ею и бросит ее без внимания? Бросит ее… красавицу… богачку? А что же: она ведь не Лариса, она знает, что это возможно. Она это предвидела, негодовала на это и даже готова была плакать. Пусть психологи объяснят, почему любовь порочных людей бывает такою сентиментальною и противоречащею всем другим чертам их характера; но это бывает так и это так было с Глафирой и с ее любовью к Подозерову. Вызвав из блужданья в пространстве Горданова, она хотела его рукой освободиться от мужа и тогда… обмануть Горданова и выйти за Подозерова, если он женится… Если?.. Но почему же нет? И наконец самая забота об этом приносила уже ей удовольствие, но все это рушилось, сначала благодаря смазливому личику и какой-то таинственной прелести Лары. Потом эта дуэль, в которой Горданов настолько превзошел самого себя в предательстве и слепой наглости, что Глафира этого даже не ожидала, а потом… потом

все докончило известие о свадьбе Лары, сообщенное Гордановым в том же самом письме, при котором была прислана в Париж прекрасная фотографическая карточка, изображающая генеральшу Синтянину в нежнейшей позе с Павлом Николаевичем. Сентиментальная любовь Глафиры была с корнем вырвана этим известием, и с нею откинуты все затеи по сердечной части, но… нечто, впрочем, осталось. Главное дело теперь было исправить репутацию. При помощи спиритизма и денег это было устроено так легко, что Глафира через месяц после приезда в Париж была принята самыми суровыми ревнительницами добродетели, получила от них выражения внимания и дружбы и даже свободно могла бы делать втайне какие угодно тайные дела, и в свете ей нашлась бы поддержка, и всякий намек на ее прошедшее почитался бы не иначе, как злонамеренной клеветой. Но Глафира не спешила пользоваться этою легкою победой, она выждала известий о появлении и о сдаче новорожденного младенца княгини Казимиры. Между тем бедный квартал, в котором она жила, заговорил о ее святости, доброте и христианском милосердии. Как актрисы собирают нумера газет, в которых с похвалой отзываются об их дебютах, так Бодростина собирала нумера, где парижские фельетонисты мелких газет писали напыщенный вздор о ее благодеяниях. Все это, разумеется, стоило денег, но Глафира на это не скупилась. По мере выхода этих газетных мадригалов, Глафира посылала их в Петербург, где Горданов должен был хлопотать, чтоб ее в газетах бранили за благодеяния, расточаемые иностранцам. Другие газеты спешили услужливо оспаривать эти нападки, и имя Глафиры делалось предметом разговоров и толков. Она приобрела несколько бессильных врагов и множество друзей, имеющих вес и значение в сферах, где космополитизм Глафиры давал ей наилучшую рекомендацию.

Таким образом она возвращалась на родину с целою батареей презервативов, долженствовавших охранять ее от заболеваний недугами, которые должна была породить ее собственная злая воля. Но приближение к развязке запутанных ею узлов все-таки действовало на нее неприятно… Натура в ней, против воли ее, возмущалась, и в сердце ее шевелилося нечто вроде молитвы: да идет сия чаша мимо. Ее душевное состояние было подобно состоянию деспота, который стремится к абсолютному тиранству, опираясь на содействие низких клевретов и предателей: она против воли своей презирала тех, на кого

опиралась, и с неудовольствием уважала тех, кого ненавидела. Отсюда получило свое начало, может быть не всегда уместное ее полупрезрительное отношение ко всем ее темным ангелам, не исключая самого старшего из них, Павла Николаевича Горданова. Когда эти люди слепо исполняли ее волю, она еще сносила свое положение, но когда тот или другой из ее пособников неосторожно давал чувствовать, что он проникает в ее план и даже сам может ей его подсказывать, то ею овладевало чувство нестерпимой гадливости. Поэтому, когда Висленев, коснувшись в разговоре с нею опасности, какую имеет для нее пребывание в живых племянника ее мужа, ничего не значащего кавалериста Кюлевейна, выговорил: «а если его… того?» и при этом сделал выразительный знак кистью руки, согнутой в виде чайничка, Глафире сделалось невыносимо противно, что ее проник и понял этот глубоко презираемый ею monsieur Borné, сохраняемый и приготовляемый ею хотя и на самую решительную, но в то же время на самую низкую послугу.

Эта гадливость была поводом к тому, что Глафира, во-первых, далеко откинулась от Висленева в глубину своего дивана; во-вторых, что она назвала слова его глупостью, несмотря на то, что они выражали ее собственное мнение, и, в-третьих, что она выбежала, ища воздуху, ветру, чтоб он обдул и освежил ее от тлетворной близости жалкого Жозефа. Глафира оставалась на платформе станции до последней минуты, и потом, дав кондуктору в руку талер, ехала стоя на площадке у двери вагона. Висленеву этого не пришло в голову и он жестоко страдал, то порываясь бежать, то пытаясь сообщить попутчикам свое затруднительное положение. Он лепетал, подбирая через пятое на десятое немецкие слова о своей спутнице, об их разговоре насчет одного больного, который будто бы не хотел принимать лекарств и которому он советовал дать это лекарство обманом. При этом Висленев опять изображал из свободной руки чайничек и прихлебывал воздух, но всем этим только потешал не понимавших его немцев и наконец распотешил и Глафиру, которая с прибытием в Берлин взошла в вагон.

Ее появление чрезвычайно сконфузило Жозефа, он залепетал было какие-то объяснения, но та, не слушая его, поблагодарила кондуктора, что он поберег ее спутника, и велела ему отпустить руку

Жозефа, а тому дала знак помогать ей собирать находившиеся при ней дорожные мелочи ее багажа.

Пассажиры толпились у выхода, и в толпе можно было заметить спокойное и даже веселое лицо Бодростиной и робкий, тревожный зрак Висленева. Приближение к России наполняло беспокойное воображение Жозефа неописанными страхами, и Иосаф Платонович уже млел и терялся в Берлине, а завтра ждал его еще больший страх и ужас: завтра он будет в отечестве, «которого и дым нам сладок и приятен», и увидит наконец свою жену и ее малюток, которые, без сомнения, выросли и похорошели в это время, как он находился в бегах из Петербурга.

«Да и сколько их тоже теперь у меня? это интересно», – думал он, поспешая за Бодростиной и закрывая себе лицо коробкой с ее шляпой. «Ух, отцы мои родные, жутко мне, жутко! Ух, матушка святая Русь, если бы ты была умница, да провалилась бы в тартарары и вместе с моею женой, и с детьми, и со всеми твоими женскими и не женскими вопросами! То-то бы я благословил за это Господа!»

И Висленев начал часто креститься рукой по груди под бортом своего пальтишка.

Глава четырнадцатая
В черном цвете

Несмотря на то, что Берлин – город не только не русский, но даже не особенно расположенный к России, все русские свободомышленники, к числу которых по привычке причислял себя и Жозеф Висленев, останавливаясь в Берлине на обратном пути из Лондона или Парижа, обыкновенно предвкушали и предвкушают здесь нечто отечественное, или, лучше сказать, петербургское. Этому, может быть, много содействует и внешнее сходство обеих столиц. Те же прямые, широкие улицы, те же здания казенноказарменного характера, те же стоячие воротники, те же немецкие вывески и та же немецкая речь и паспортная строгость, одним словом, многое и многое напоминающее, что человек уже находится в преддверии русской столицы.

Висленев ощущал все это с чуткостью самого тонкокожего инсекта, и чуть только они с Глафирой пристали в гостинице, он тотчас выразил чрезвычайную деятельность. Нимало не заботясь о том, где его поместят и как будут трактовать в краткое время пребывания в Берлине, он бросил свой саквояж в передней нумера, где расположилась отдохнуть Глафира, и попросил у нее взаймы десять талеров. (Он давно забыл, как имеют свои собственные деньги, и постоянно брал у всех, у кого мог, взаймы, и всегда маленькими суммами, и притом, к чести его, всегда выпрашивал их с большим смущением и на самый кратчайший срок).

Бодростина никогда ему не отказывала в ссуде, но и никогда не давала ему более, чем он просил, да и поступи она иначе, он бы этим ужасно обиделся. Так и на этот раз она дала ему требуемые десять талеров и, отпуская его из дому, наказала, чтоб он не забалтывался и помнил, что они сегодня же вечером выезжают.

– О, не беспокойтесь, не беспокойтесь, уж я не опоздаю, – отвечал Жозеф, – я иду по делу, и вы увидите, что я эти несколько часов пребывания в Берлине употреблю для себя с большою пользой.

С этими словами он бросился за двери и убежал.

Глафира осталась одна и, улегшись одетая в довольно жесткое кресло, думала и дремала, дремала и думала. С тех пор как она получала, оказавшееся потом ложным, известие о смерти Подозерова, будто бы убитого Гордановым на дуэли, к ней редкими, но смелыми приступами начало подкрадываться одно странное чувство, несколько общее с тем, что ощущала во все знаменательные минуты своей жизни Лариса. При первом известии, что Подозеров убит, Глафира не столько сожалела о нем, сколько затруднялась определить: зачем же теперь ей все то, что она затеяла и что совершает? Она находила, что все это напрасный труд и риск, что для нее почти все равно, пусть все идет своим порядком, что она теперь ни к кому уже не чувствует особенной нежности. Это был тот же разлом, с тем же ощущением своей духовной нищеты, то же самое «нечем жить», которое томило и обращало бог весть во что красавицу Лару. Бодростина выехала из деревни на окончание дела неохотно: она даже чувствовала лень все это доделывать и даже охотно бы все это бросила, если бы не история с завещанием, которую нельзя было оставить, потому что не ровен час: Бодростин сам мог пожелать взять это завещание для какой-нибудь перемены, чухонец Ропшин мог взревновать и изменить ей… Всего этого можно было опасаться. Это и подвигло Глафиру ехать поправлять свою репутацию с целью освободиться от мужа и стать полновластною госпожой. Известие о выздоровлении и женитьбе Подозерова не изменило ее настроения. Впрочем, в Париже разлом и лень еще щадили ее, но дорогой, когда она скрылась от Висленева из вагона и ехала на площадке, обдуваемая ветром и осыпаемая искрами, она опять ощутила подступ этого внутреннего татя. Внутренний голос зашептал ей под свист ветра: «Брось! На что тебе все это? Твоему мужу и без того недолго остается жить… Он стар; он сам скоро умрет своею естественною смертью… На что тебе этот грех его насильственной кончины?»

«Ни на что», – решительно отвечала она сама себе, и чувствовала, что разлом овладевает ею все сильнее, и даже испугалась. «Как же теперь оставить: чем удовлетворить и куда деть всю эту несытую сволочь? Все они, стоя на ножах друг с другом, переревнуются, перессорятся, и кто сдуру, кто из мстительности, все выдадут друг друга и ее в том числе». Тяжелые эти мысли ее и соображения не разогнал, а только рассеял на минуту своими представлениями в

вагоне Висленев, и зато, как только он ушел, оставив ее одну в нумере берлинской гостиницы, все они снова повисли пред нею в воздухе и качались скучно и безотвязно.

«Надо доделывать, – опять шептало ей ее соображение, – ну, пусть так; ну, пусть надо: допустим даже, что все это удастся и благополучно сойдет с рук; ну, что же тогда далее? *Чем жить?..* Умом? Господи, но ведь не в акушерки же мне поступать! Умом можно жить, живучи полною жизнью и сердцем… Стало быть, надо жить сердцем?»

Глафира положила руку на грудь и покачала головой.

«Нет, – проговорила она себе, – нет, довольно этого, довольно: я уже не могу любить… Довольно, довольно: мне нравился чистый, нравственный контраст самой меня, но… но я не могу быть любима своим чистым, нравственным контрастом, да и… я чувствую, что и я его мало, очень мало любила…» А все остальное ей было безразлично противно. Ей даже стало мерзко играть в ту игру, которую она ведет с Висленевым, Ропшиным и Гордановым, из которых каждый втайне один от другого рассчитывает быть ее мужем… Какой позор! Эта мизерия Висленев, или, еще гаже, этот чухонец Ропшин… О, спаси боже, какая гадость!.. А Горданов?.. этот холодный злодей и мерзавец, наглый, самонадеянный, злой, коварный предатель и ее пагубник…

Глафира при этом воспоминании даже вся покраснела, сжала кулаки и, скрипнув зубами, почувствовала неодолимое и страстное желание впиться своими пальцами в его шею и задушить его, как она едва этого не сделала полгода тому назад в Москве, при воспоминании, что он не только убил душевно ее самое, но и старался физически убить Подозерова, единственного человека, чья нравственная чистота влекла ее порой к примирению с оскорбленным ею и отворачивающимся от нее человеческим миром. Она глубоко ненавидела одного Горданова и ему одному… одному ему на свете она хотела отомстить за себя тяжело и больно, и это было в ее руках. На этом она вела игру, которая вся теперь была роздана и которую уже настал час разыгрывать.

«Вничью», – опять подсказал ей смущающий голос. «Вничью, потому что… что же ты сделаешь после всего этого с самою собою?»

– Я буду богата, – утешала себя Глафира.

– Ну, а далее? – переговаривался голос.

– А далее?.. А далее?.. Я не знаю, что далее… И она лежала, кусая себе губы, и досадливо вглядывалась в ту страшную духовную нищету свою, которая готовилаей после осуществления ее плана обладать громадным вещественным богатством, и в эти минуты Глафира была *человек*, более чем все ее партнеры. Она видела и мысленно измеряла глубину своего падения и слала горькие пени и проклятия тому, кто оторвал ее от дающих опору преданий и опрокинул пред ней все идеалы простого добра и простого счастия…

С ней и над ней загодя совершалась казнь отрицания, неотразимая для всякого отрицателя, посягнувшего на все святое души, но не лишенного того, что называется *натурой*. Она вкушала муки духовного нищенства, и в этом было ее преимущество пред Гордановым и братией, и в этом же заключалось и сугубое несчастие, ибо естественная природа зла, порождающая одно зло из другого, не пускала ее назад.

Все тяжкие выводы духовного прозрения вдаль не помогали ей нимало: выходило, что она должна довершить то, что затеяла, хотя бы только для того, чтоб отделаться от стаи воронов, которых она вызвала сама и которых вид ей столько теперь досадлив и неприятен.

Она вздохнула, оглянулась вокруг по пустому покою и, хрустнув пальцами схваченных рук, бросила их с досадой на колени и, закрыв глаза, опустила голову и задремала.

Серый сумрак густел, по коридорам гостиницы, вдали, раздавались шаги и смолкали, в комнате же была ненарушимая тишь, среди которой слышалось глубокое сонное дыхание Глафиры. Она спала неспокойно, – нет, спокойный сон тоже давно ее оставил, но дремота ее была тяжелая и крепкая, соответствующая большой потребности отдыха и большому желанию хоть на время уйти от себя и позабыться.

Потребность в отдыхе удовлетворялась вполне, желание позабыться – лишь в самой малой степени: могучий, прочный и выносливый организм Глафиры довольствовался самым незначительным физическим отдыхом, и ее силы возрождались и нервы становились спокойны и крепки; но забытье, которого она жаждала, ее позабыло. Оно носилось где-то выше, лишь нижним краем своей туманной одежды сокрывая от Глафиры головы и лица фигур, наполнивших ее дорожный приют, но она узнавала их темные

контуры. Они шевелились и все ближе и ближе выдвигались из глубины покоя к ее креслу, и тут вдруг все затряслось, спуталось, упало на пол тяжелою длинною куклою и застонало.

Глафира вздрогнула, обвела комнату полудремотным взглядом и заметила, что по полу комнаты прокатились один за другим два мягкие клубка серой пряжи. Бодростина догадалась, что это были две немецкие мыши, но она не могла понять, что за коричневый череп кивает ей вылезая из полу в темном угле? Она всматривается и видит, что это в самом деле череп, и вот, когда движения его стали тише, вот видны ясно два белые глаза.

Бодростина встала, направилась к этому таинственному предмету и, толкнув его ногой, равнодушно отошла и стала пред окном, в которое были видны берлинские кровли и вспыхнувшие вдали рожки газа.

Предмет, казавшийся кивающею адамовой головой, был полукруглый кожаный баул, который мыши столкнули с дорожного сундука, а что такое были два белые глаза, это даже и не занимало Глафиру: она знала, что это две замаскировавшие замки перламутровые пуговицы. Она чувствовала себя теперь свежею и бодрою, и относилась к недавнему своему разлому как к слабости, которую надо откинуть, и только торопила время:

– Скорей бы, скорей! – думала она, – скорее ехать и все бы скорее… Но уже пора ехать! где же запропастился Висленев?

Она вынула из-за корсажа часы, поднесла их к самым глазам и, отличив черную стрелку на белом циферблате, нетерпеливо молвила про себя:

– Где может до сих пор оставаться этот дурак?

Но прежде чем она успела составить себе какую-нибудь догадку в ответ на это пытанье, ее поразил странный шорох за дощатою перегородкой, отделяющей переднюю.

«Что это?» – подумала Глафира и громко крикнула:

– Эй! кто там?

Ответа не было.

– Aber sagen Sie doch: wer 1st da?[84] – спросила она еще настойчивее и громче, но ответа снова не было, а только шорох послышался еще яснее и торопливее.

– Как это, однако, глупо, что я оставила незапертою дверь за этим болваном! – подумала Бодростина, и хотя не струсив, однако немного покраснев от мысли, что во время дремоты к ней очень легко мог забраться вор или даже дерзкий грабитель, который, будучи теперь захвачен ею на месте преступления, может ни за что ни про что пырнуть ее ножом и дать всей судьбе ее такое заключение, никого она сама никак не выводила ни из своего прошлого, ни из настоящего.

Глава пятнадцатая
Удивил!

Опасения Глафиры, однако же, были напрасны: шорох за перегородкой не заключал в себе ничего страшного и угрожающего, а, напротив, обещал нечто смешнее. В этом Бодростина удостоверилась в ту же минуту, когда, пожелав разрешить свое недоумение, черкнула зажигательной спичкой о стоявшую на столе плитку опиленного песчаника.

– Не зажигайте, не зажигайте, бога ради, огня! – Прокричал ей из-за перегородки знакомый голос Висленева, и шорох оберточной бумагой стал слышен еще резче и торопливее.

– Что это за вздор еще? – спросила Глафира, опустив незажженную спичку.

– Нет, нет, нет, это не вздор: пожалуйста, не зажигайте.

– Да что вы с ума что ли сошли?

– Нет; только одну минуточку; еще одну только минуточку не зажигайте, а потом можно.

Глафира вместо ответа черкнула новою спичкой, но та, вероятно, отсырела и не загорелась; другая тоже, у третьей отскочила головка; зажигая четвертую, Бодростина уронила на пол весь зажигательный снаряд и стала подбирать его.

Во все это время Висленев усиленно ворочался, кряхтел и пыжился.

Но вот Глафира зажгла огонь, и в ту же самую секунду Жозеф сделал самодовольное «у-у-ф», и добавил: «фу ты, господи, как я вспотел!»

– Что даже находите нужным объявить об этом, – отозвалась Бодростина, зажигая от одной свечи другую на подзеркальной доске. – Но пожалуйте-ка сюда.

– Сейчас-с.

И затем прошла еще минута, а Висленев не появлялся, между тем как в узкий просвет под дверью Глафире были видны Висленевские сапоги.

– Да идите же скорее, а то мы из-за вас еще опоздаем, – крикнула Глафира.

– Иду-с, иду.

И сапоги засуетились около двери, но опять ни с места.

Глафира подошла скорыми шагами к двери, быстро отмахнула ее одним движением, но отмахнула не без труда и не без усилия, потому что за дверью цепко держался за ручку и наконец вылетел на средину комнаты… кто?.. Как назвать это лицо? Глафира отступила два шага назад. Вместо Жозефа пред ней стоял… чужой человек, брюнет, с лицом, тщательно закрытым ладонями.

– Да что же это, наконец, такое? – воскликнула Глафира и, одним движением отведя руки незнакомца от его таинственного лица, расхохоталась.

Пред нею стоял Висленев, но не Висленев белый и волокнистый, а жгучий, пламенный брюнет, с темною родинкой на лбу у правой брови и с другою такою же наперекось посередине левой щеки.

Лишь фигура да взор напоминали прежнего Висленева: он также мялся на месте и то тупил глаза вниз, то хотел их поднять и рассмеяться, что ему, наконец, и удалось. Видя недоумение Глафиры, он вдруг принял из несмелой и потерянной позы самую развязную, и шаркнув и размашисто поклонясь пред Бодростиной, отнес в сторону руку и произнес:

– Как вы находите?

– Довольно отвратительно. Объяснитесь, пожалуйста, что это за маскарад? Для чего это вы изволили окраситься в эту вороную масть и расписали себе родимыми бородавками фронтон?

– Так… совершенно так, потому что это так нужно, – отвечал Висленев.

– Трус, – произнесла, презрительно покачав на него головой, Глафира. – Ах, какой трус, и жалкий, презренный трус, теряющий сознание и не ведающий, что он делает.

– Можете говорить, что вам угодно, а всякий борется за существование, как он умеет, – отвечал, обижаясь, Жозеф. – Я за границей, при иностранных законах о праве женщины не трусил, и никогда бы не струсил, и не побоялся моей жены, будь я ей хоть даже вдесятеро более должен, но когда мы въезжаем в Россию, где на

стороне женщин законы, тут… я, как мужчина, обязан сберечь свою свободу от жениной власти; да-с, я это обязан!

Глафира не возражала ни слова и, глядя молча на перекрашенного Висленева. размышляла: как ей с ним выть? Удобно ли ей везти его с собою далее, после его предусмотрительной, но неожиданной выходки? Ее вдруг посетила мысль; не сделал ли он это еще в каких-нибудь иных целях?.. Кто его знает: он что-то долго ходил, мог зайти куда-нибудь в богатый магазин и… пожалуй, чего доброго, что-нибудь стянул? Что же удивительного для человека, который решился уже однажды подрезать приятельский портфель, доверенный ему на сохранение? Но она еще посмотрела и решила, что это подозрение не может иметь места, потому что где ему решиться и что-нибудь сделать самому! Но про всякий случай… про всякий случай она сказала, что она с ним рядом в одном вагоне не поедет.

– Это почему? – полюбопытствовал Жозеф.

– А потому, что тот же цирюльник, который вас раскрашивал, конечно мог заподозрить ваше поведение и вероятно уже до сих пор указал на вас полиции.

Иосаф Платонович затрясся и лепетал, что он красился у самого простого мастера, в глухой улице, и что нынче красятся многие очень порядочные люди, а что родинки он сам сделал себе ляписом. Впрочем, он не сопротивлялся Глафириному решению и, схватив свой саквояж, побежал на железную дорогу, чтобы взять себе место во второклассном вагоне. Тут он забился ранее всех в темный угол и, замирая со страха, дожидал отхода поезда, меж тем как выехавшая позже его из нумера Бодростипа спокойно поместилась в купе первого класса.

Глава шестнадцатая
Висленев въезжает в Петербург

Во всю последнюю путину Жозеф не покидал своего угла и показался Глафире лишь в Эйдкунене, у таможенного прилавка, но затем, переехав русскую границу, он начал ей досаждать на каждой станции, подбегая к окну ее вагона и прося ее «серьезно» сказать ему: имеет ли она средство спасти его? Глафира несколько раз отвечала ему на это утвердительно, но потом ей надоело повторять ему одно и то же, и Висленев, не получая новых подтверждений на свои докучанья, стал варьировать вопросы. Теперь ондобивался, скоро ли, по прибытии в Петербург, надеется Глафира улучить минуту, чтобы заняться его делом.

– Скажите мне это, бога ради, потому что это мне очень важно… это меня беспокоит, – говорил он. – Успокойте же меня, скажите: когда вы начнете?

– В первую же минуту, как только сниму в Петербур ге мою дорожную шляпку, – отвечала Глафира.

– Ах, не шутите, пожалуйста: мне не до шуток.

– Я не шучу и даю вам слово, что я прежде всего займусь вашим делом. Вы будете первою моею заботой в России.

– Честное слово?

– Честнейшее, какое только я могу дать.

– Я вам верю!

И он крепко пожимал и встряхивал руку, которую ему нехотя подавала Бодростина, и убегал в свой вагон, но на следующей остановке опять появлялся возле окна и вопрошал:

– Так честное слово?

– Да, – отвечала коротко Бодростина, и при дальнейших остановках не стала открывать своего окна и притворялась спящею.

Жозеф не осмеливался ее беспокоить и довольствовался тем, что бродил возле ее вагона, жалостно засматривая и вздыхая, и затем исчезал до новой остановки.

Чем ближе они подъезжали к Петербургу, тем злополучный Жозеф становился все смущеннее и жалче, и когда за три последние

станции на стекле окна показался двигающийся серебряный пятачок, что выходило от прижатого Висленевым к стеклу кончика своего носа, то Глафира даже сжалилась над ним и, открыв окно, сказала ему самым искренним и задушевным тоном, что она бдит над ним, просит его успокоиться и уверяет его, что ему ровно нечего бояться.

– Ваше смущение и тревога могут гораздо более вам вредить, чем все на свете, потому что оно выдаст вас на первом же шагу. Оставьте это и будьте веселы, – посоветовала Бодростина, но Висленев отвечал, что он первого шага отнюдь не боится, ибо первый шаг для него уже достаточно обезопасен, но зато следующие шаги, следующие дни и минуты… вот что его сокрушало!

Но в этом он уже не получил утешения: Глафира не слушала его слов. По мере окончательного приближения к Петербургу, где она готовилась дать большое генеральное сражение мужу, Казимире и всем их окружающим, Бодростина и сама была неспокойна и, сосредоточенно углубляясь в свои соображения, кусала свои алые губы и не слушала дребезжанья своего партнера.

Висленев едва добился от нее на последней остановке ответа на вопрос: не будет ли их кто-нибудь встречать?

Глафира успокоила его, что о ее приезде никто не может знать; что для нее самой необходимо, чтобы приезд ее в Петербург был для всех неожиданностию и что потому их никто не встретит.

– Ну, а если это случайно случится, что кто-нибудь будет на станции, например, моя жена? – продолжал он в тревоге.

– Ну, случайность чем же можно предотвратить? Впрочем, ведь теперь уже вечер и вы перекрашены.

– Да; но по вас могут догадаться, ведь вы в своем виде въезжаете.

– Ну, уж я, разумеется, перекрашиваться не буду; но вы, как остановится поезд, берите свой сак, садитесь в первую карету и подъезжайте к подъезду: я сяду и вас никто не увидит.

Это была последняя их умолвка на дороге, и через несколько минут езды пред ними завиднелись вдали блудящие звездочки петербургских огней, а наконец вот он и сам «полнощных стран краса и диво».

Суматоха, обыкновенно происходящая при выходе из вагона, поглотила внимание Глафиры настолько, что она, не ожидая помощи Висленева, почти и позабыла о нем, но он сам напоминал ей о себе и

удивил ее еще более, чем в Берлине. В то время, как носильщики несли за нею к выходу ее багаж, к ней подскочил высокий человек, с огромною, длинною и окладистою черной бородой и усами, и прошептал:

– Скорей, скорей… все готово, карета у подъезда и вот ее нумер, а я бегу, потому что… видите, сколько женщин. – И с этим незнакомец сунул ей жестянку нанятой им кареты, а сам юркнул в толпу и исчез.

Излишне было бы говорить, что этот чернобородый усач был опять не кто иной, как тот же Висленев. Но когда же успела вырасти у него борода? Где он нашел место поддеть ее: неужто там же в вагоне, или где-нибудь за углом, отыскивая карету? Глафира, однако, не имела времени останавливаться над разрешением этого курьезного вопроса и, сев в карету, была поражена новым странным явлением: бородач очутился у ее дверец, захлопнул их и, взвившись змеем, уже красовался на козлах рядом с кучером и притом в вязаном, полосатом британском колпачке на голове.

– Фу, боже мой, что делает этот дурак, является в город таким полосатым шутом? – воскликнула с негодованием Глафира и, опустив переднее стекло экипажа, дернула Жозефа за руку и спросила его по-французски: на что это он делает?

– Ах, оставьте, бога ради, оставьте меня, – ответил ей, робко озираясь по сторонам, Висленев.

– Зачем же вы, как шут, сидите на козлах? Велите остановиться и идите, спрячьтесь в карету.

– Нет, ни за что на свете! Мне здесь лучше: пусть меня считают лакеем; так безопасней.

– Но где вы это все взяли?

– В Берлине купил, в табачной лавке.

– Как глупо!

– Ничего-с, ничего не глупо: меня никто не видал, как я покупал, как вез и как надел в темном угле, за дровами, когда бегал нанимать карету.

– Ну оставайтесь, где хотите, – решила Глафира, опуская стекло.

Карета ехала, ехала и наконец, заворачивая из улицы в улицу, остановилась у подъезда большого дома на Литейной: здесь жили Бодростин, Горданов и Ропшин.

Глава семнадцатая
Потоп

Как только экипаж остановился, Висленев соскочил с козел. Бодростина думала, что он хочет открыть ей дверцы, но она ошиблась: его не было. Она вышла сама и, полагая, что Жозеф снова удрал куда-нибудь за угол, чтобы снять с себя бороду и усы, стала всходить по освещенной лестнице, приготовляясь, в каком тоне встретить мужа, Павла Николаевича и Ропшина, если они дома. Но приготовления эти были напрасны, потому что тех, кого она ожидала увидеть, не было дома, и квартира представляла нечто странное: парадная дверь была распахнута настежь и открывала большую, светлую переднюю, где, в различных позах недоумения, находились три лакея на ногах и четвертый, самый младший, лежал у самой двери на полу, с разинутым в немом удивлении ртом.

Все это представляло живую картину, которую, однако же, Глафира не остановилась рассматривать, а, вступив в комнату, спросила:

– Где барин?

Ответа не было; картина продолжалась. Когда она повторила вопрос, один из лакеев кое-как процедил ей:

– Их дома нет-с, – и с этим схватил лампу и побежал в глубь помещения.

– Дома ли г. Горданов?

– Нет-с; их тоже нет, – отвечал другой лакей, схватил из-за шкафа половую щетку и побежал за первым.

Глафира спросила о Ропшине и получила опять такой же ответ, после которого третий лакей убежал, схватив железную кочережку от пылающего камина.

Все это имело вид какого-то погрома или партизанского сбора на рекогносцировку, и Бодростина потребовала объяснения этим странностям у последнего, четвертого лакея, все еще остававшегося на полу, но и этот, опомнясь, быстро вскочил, запер на задвижку дверь, и взяв в обе руки стоячую, тяжелую ясеневую вешалку, устремился с нею по тому же направлению, куда поскакали его товарищи.

Глафира не могла понять, что такое происходит, и пошла в полутьме анфиладой незнакомых комнат, в ту сторону, куда помчались ополченные лакеи. Ею руководил долетавший до нее шум, вдруг обратившийся в гвалт настоящей осады.

Глафира удвоила шаги, путаясь о мебель, и завидела наконец отраженную полосу света. Она огляделась. Покой, где она находилась, был застлан пушистым ковром и уставлен мягкою, бархатною мебелью. Это был кабинет старика; влево за драпированными дверями виднелась его спальня, а правее – продолговатая комната или широкий коридор, совсем без мебели, и в конце-то этой комнаты запертая дверь, у которой теперь толпились все четыре лакея, суетясь, споря, не соглашаясь и в то же время штурмуя эту дверь и кочергой, и щеткой, между тем как четвертый, позже всех прибывший с ясеневою вешалкой, действовал ею, как стенобойною машиной.

Бодростина взяла одного из осаждавших за плечо и отвела в сторону.

– Что это вы делаете? Что здесь за шум и за гвалт у вас?

Лакей был некоторое время в замешательстве, но потом отвечал:

– Господ нету дома; мы все сидим и в шашки занимаемся, а Петр правительственную газету читал, а он позвонил вот точно так, как изволите слышать кто-то теперь звонит. Я Петру Афанасьеву говорю: отопри, говорю, Петр Афанасьев, а Петр Афанасьев как отодвинул задвижку, да только хотел спросить – кого ему нужно? А он как сиганет вперед, да прямо через Петра Афанасьева. Петр Афанасьев, непосдержавшись, упал да и с ног… Ах, как кто-то звонит!.. А он прямо через Петра Афанасьева, да вот как изволите видеть… через все комнаты проскочил, в баринову ванну попал, сел и заперся.

– Да кто же, кто же такой? – добивалась Глафира, начиная опасаться, не набредет ли она на разгадку необъяснимого события.

– Неизвестно-с, – отвечал лакей, – больше нельзя полагать, как или турок, или вроде славянских братии, что в каретах возили… Ах, как звонит, проклятый!

И с этим лакей, позвав с собою двух других своих сотоварищей, бросились отпирать двери, не покидая своих орудий, на случай, если бы звонок возвещал новое вторжение. У двери ванной комнаты остался один действовавший вешалкой, который при новой суматохе

остановился и, будучи отстранен Глафирой от двери, обтирал пот, выступавший крупными каплями на его лице.

Глафира меж тем припала глазами к замочной скважине и видя, что в комнате темно, позвала Висленева.

– Это вы здесь? – крикнула она сердито.

– Я, – робко и едва слышно отозвался у самой двери Висленев.

– Отпирайте скорей!

– Ни за что на свете!

Зная трусливое упрямство Жозефа, Глафира и не настаивала. Она обратилась к снова предстоявшим ей в сборе слугам и сказала, кто она такая и кто незнакомец, заперший себя в ванной комнате Михаила Андреевича.

– Это один наш знакомый, сумасшедший. Не трогайте его, пусть он сидит, где ему хочется, он приехал со мною и я сейчас напишу его родным, чтобы его взяли.

С этим она, обойдя с огнем всю квартиру, распорядилась внести свои вещи в кабинет мужа, а сама наскоро умылась, сделала без всякой сторонней помощи довольно скромный туалет и, послав человека за новою каретой, присела у мужниного письменного стола и написала: «Я еду к брату Григорию и через час возвращусь. Если вы ранее меня возвратитесь от княгини Казимиры, то распорядитесь избрать мне в вашей квартире уголок для моего приюта».

Глафира хотела оставить этот листок на письменном столе, но вдруг передумала; разорвала бумажку в клочки и написала на другой следующее: «Осмотрев вашу квартиру, я избираю себе для помещения ваш кабинет и прошу возле поместить мою горничную, о выборе которой для меня прикажите позаботиться monsieur Ропшину. Глафира».

Написав эту записочку, она вложила ее в конверт и велела другому лакею немедленно отнести ее к Михаилу Андреевичу в квартиру Казимиры.

Потом Бодростина еще написала короткую, но обстоятельную и вежливую записку к жене Висленева, давно потерянной нами из виду рыжей и статной Алине. Глафира извещала ее, что ее муж Жозеф, давно страдая какими-то непонятными душевными недугами, наконец совсем сошел в Париже с ума, и что она, Глафира, не желая оставить его в таком положении на чужбине, привезла его с собою в Россию. Но

так как он иногда бывает довольно беспокоен и требует постоянного за собою надзора, то она просила Алину нимало не медля приехать за Жозефом и получить его в свое распоряжение.

Этого письма уже не с кем было отправить сию же минуту, потому что все люди были в разгоне, и Глафира, поручив его отнести оставшемуся единственному слуге, уехала в приведенной ей извозчичьей карете, меж тем как вслед за ее отъездом пошли звонок за звонком, и один за другим появились: Бодростин, Горданов, Ропшин и наконец даже Кишенский. Все они были довольно разнообразно смущены неожиданным и внезапным прибытием Глафиры и суетились и метались по квартире.

Один, кто мог бы сообщить им какие-нибудь сведения, был Висленев, но о нем не было и помину, он сидел крепко-накрепко запершись в ванной и хранил глубочайшее молчание. Наконец слуги, замечая смятение господ, сказали, что с барыней еще приехал сумасшедший высокий, черный барин, с огромною бородой и в полосатой шапке.

– Это верно он! – воскликнул Ропшин.

– Кто *он?* кто *он?* – суетливо и с неудовольствием спрашивал старик Бодростин.

– Кто же, как не Висленев? Мы от него сейчас можем узнать, куда поехала Глафира Васильевна.

– Да, как не он! – отрицал старик, – вы из ума выжили: Висленев белобрысый, а этот, слышите вы, говорят, огромный, черный и бородастый, и потом еще сумасшедший… Это не кто иной, как Водопьянов… то есть я хотел сказать «Сумасшедший Бедуин».

– Но где же они могли встретиться?

– А вот мы это сейчас узнаем. Люди! все сколько вас есть, скорее сюда слесаря и отмычками отпереть дверь в ванную.

Разгон слуг последовал еще сильнейший, а в то *кремя* как Бодростин, Ропшин, Горданов и Кишенский остались одни, последний вспомнил, что с ним в пальто есть связка ключей, и кинулся за ними, чтобы попробовать отпереть загадочную дверь. Через минуту железо ключа застучало около замочной скважины, и в то же мгновение в ванной послышался странный гул: там хлынула из крана вода, что-то застучало и загремело вниз по открытой спускной медной трубе.

– Великий боже! что же это там за черт такой сумасшедший? – восклицал Бодростин, сообщавший свое смятение прочим, а черт, распоряжавшийся в ванной, тоже был не в лучшем положении. Заслышав у двери злейшего своего врага Кишенского, Жозеф с силой отчаяния хватался за все, что нащупывал под руками, и наконец, осязав кран, дернул его так усердно, что тот совсем выскочил вон и вода засвистала через край ванны на средину комнаты и через минуту уже стремилась отсюда быстрыми потоками под дверь в другие покои, угрожая наводнением всей квартире.

– Запирайте кран! запирайте кран! – кричали ему все, стуча кулаками в крепкие двери ванной, но увы, – заключенный не мог исполнить этого требования, потому что выдернутый кран упал в сточную трубу. Совершенно потерянный Жозеф стоял как мраморный дельфин, окачиваемый брызгами фонтана, меж тем как Бодростин, Горданов, Ропшин и Кишенский, запруживая приток воды из-под дверей скомканным ковром, насели на этот ковер и старались сколько возможно препятствовать распространению потопа.

– Боже мой! боже! ну день, ну… ну что же это такое: сто тысяч требовать за дитя, которое сама же она просила меня передать акушерке? Где я возьму ей сто тысяч и притом к завтрашнему дню? А между тем она завтра подаст просьбу… уголовный суд, скамья подсудимых, улики прислуги и… Сибирь, Сибирь и… в эту-то пору жена!

Так, сидя вместо пресса на ковре, рассуждал Бодростин и уныло водил глазами по лицам своих сотоварищей, которые казались ему еще унылее и хранили молчание.

В этом положении и застали их набежавшие слуги и слесари, подоспевшие сюда как раз в то время, когда карета Глафиры остановилась у большого роскошного дома на одной из петербургских набережных.

Оставив виденную нами глупую и шутовскую суматоху в доме мужа, Глафира спокойно всходила по широкой лестнице темного камня в апартаменты, откуда она хотела пустить туман и смятение по направлениям, хватающим далее пределов ее семейного круга.

Замечательная красота ее и ум скрывали волнение, которое она ощущала, идучи с непреклонною волей и с хорошо обдуманным намерением, но и с полным сознанием, что она начинает играть огнем.

Подойдя к двери, она на минуту остановилась и, прежде чем взяться за ручку, насупила брови и еще раз продумала: хорошо ли она это делает? Но, вероятно, по ее расчетам выходило хорошо, потому что она сказала в успокоение себе: «Вздор! все они здесь на ножах, и в ложке воды готовы потопить друг друга. Кураж, Глафира, кураж, и хотя вы, Павел Николаевич, загарантировались, но на всякого мудреца бывает довольно простоты!» – и с этим она смелою рукой пожала белую пуговку звонка.

Воодушевившейся, расчетливой Бодростиной и в ум не приходило в эту минуту, что поучение ее о простоте, нападающей на мудрецов, может быть ни для кого не имеет столько подходящего значения, как для нее самой, с которой не спускает очей своего мщения униженный и оскорбленный и в жизни никогда не прощавший ни одной своей обиды генерал Синтянин. Белоусый, сухой старик, сняв с себя с обидой мундир, затаил на сердце всю злобу своего унижения и, сидя по отставному положению в мерлушечьем архалучке, зорко презирал вдаль и вглубь своими бесцветными глазами и кое в чем жестоко ошибался… Синтянин считал Глафиру женщиной черною и коварною и предчувствовал давно задуманный ею преступный замысел, но он был уверен, что Глафира без памяти любит Горданова и ведет все к тому, чтобы быть его женой. Эта ошибка была причиной того, что Синтянин, преследуя одну мысль – отмстить Горданову, без прямого намерения расставил погибельные сети Глафире. В эти-то сети она и заносила теперь ногу…

Глава восемнадцатая
Проба пера и чернил

За порогом двери, у которой мы оставили Глафиру Васильевну Бодростину, не жил ни чародей, ни волхв, ни заклинатель, а была квартира брата ее, Григория Васильевича, или Грегуара. Это достойное небольшого внимания лицо до сих пор еще почти не появлялось в нашей повести, хотя имя его упоминали и Глафира, и Горданов, и Подозеров, последний даже обращался однажды к Григорью Васильевичу с просьбой «принять его на какую-нибудь службу, хоть, например, в писаря, в его департамент». Глафира Васильевна еще ранее вспоминала о старшем брате со вздохом, а Горданов на вопросы, предложенные о нем когда-то Глафирой, отвечал с смущением.

Грегуар управлял департаментом и слыл человеком отменных дарований, рассчитывал или, по крайней мере, мечтал на директорстве не остановиться.

С сестрой они были в открытом разладе с тех пор, как она, воспламененная идеями до-дарвинской эпохи петербургской культуры, принесла Горданову свою молодую и беззаветную любовь. Грегуар не особенно строго осудил поведение сестры и, оставаясь хорошим сыном для покинутых родителей и примерным чиновником для начальства, он даже навещал инкогнито Глафиру в ее маленькой коммуне; но, когда сестра покинула Горданова и сделалась Бодростиной, Грегуара это возмутило и в нем заиграли служебно-якобинские симпатии петербургского социального чиновника. Ему более нравилось видеть сестру коммунисткой, чем предводительшей, ибо он «свято верил», что самое спасительное дело для России «пустить ей кровь и повыдергать зубы». Затем во все то время, как сестра его портила, поправляла, и опять портила, и снова поправляла свое общественное положение, он поднимался по службе, схоронил мать и отца, благословивших его у своего гроба; женился на состоятельной девушке из хорошей семьи и, метя в сладких мечтах со временем в министры, шел верною дорогой новейших карьеристов, то есть заседал в двадцати комитетах, отличался искусством слагать

фразы и блистал проповедью прогресса и гуманности, доводящею до сонной одури.

От природы он был гораздо глупее своей сестры и сознавал это без всякой зависти и желчи: напротив, он любил Глафиру, гордился ею и порой даже находил удовольствие ею хвастаться. Он был убежден и готов был других убеждать, что его сестра – весьма редкая и замечательная женщина, что у нее ума палата и столько смелости, силы, сообразительности и энергии, что она могла бы и должна бы блистать своими талантами, если бы не недостаток выдержанности, который свел ее на битую тропинку.

С Михаилом Андреевичем Бодростиным Грегуар был знаком и считал его дураком, которого его сестра непременно должна была водить за нос. Михаил Андреевич, в свою очередь, невысоко ставил Грегуара. Они изредка делали друг другу визит, и тем оканчивались все их сношения. Впрочем, в нынешний свой приезд в Петербург, Бодростин, затеяв торговые предприятия, в которые втравливали его Кишенский и Горданов, имел дела по департаменту Грегуара, и они видались друг с другом несколько чаще.

В глубине чиновничьей души Грегуар, впрочем, даже чувствовал некоторое удовольствие числиться родственником такого родовитого барина, как Бодростин, и это обстоятельство было известно его жене, умной и несколько ядовитой женщине, сохранившей себя без пятна и порока и почитавшей себя вправе казнить всякую язю в людях, начиная с известной ей суетной мелочности ее мужа.

В семье Грегуара отчасти было то же самое, что и в семье Бодростиных: жена его была умнее его самого, обладала несравненно большею против него проницательностию, опиралась на свое хорошее родство и привыкла довольно бесцеремонно не скрывать пред мужем своего превосходства. Отсюда мир семьи их не был мир вожделенный, а, напротив, довольно натянутый, и с возрастом единственного сына их, которого мать любила без памяти, а отец, занятый своими комитетами, довольно бесстрастно, супруги незаметно раздвинулись на большую дистанцию. Признав волей-неволей несомненные преимущества своей жены, Грегуар не входил с ней ни в какую борьбу и даже был очень рад, что она вся предалась воспитанию сына, с которым ему не было ни времени, ни охоты заниматься. Грегуар отец и Грегуар сын едва были знакомы друг с другом, и войти в ближайшие

отношения им даже не предвиделось повода: Грегуар младший привык считать себя вполне зависимым от одной матери, а отца считал не более как за милого гостя и даже слегка над ним подтрунивал, отчего, впрочем, мать его обыкновенно воздерживала, не замечая, что сама первая его всему обучила своим живым примером.

Родители столкнулись на вопросе о судьбе сына только при выборе заведения, где младший Грегуар должен был получить образование. Отец, разумеется, желал видеть в сыне современного реалиста, руководясь теориями, к которым мать питала отвращение. Но мать восстала решительно и победила.

– Я хочу вести моего сына тем путем, который даст ведомые результаты, и, как мать, не позволю делать над ним опытов, – решила она твердо и неуклонно.

Грегуар на это было возразил, что и он, «как отец», тоже имеет свои права и может пробовать, но, получив ответ, что он «не отец, а только родитель», отступил и, махнув рукой, оставил жене делать с сыном, что ей угодно. С этих пор он еще более предался комитетам, укреплял связи, завязывал связишки и утвердил за собою в обществе репутацию добрейшего человека, а дома, в глазах жены и одиннадцатилетнего сына, был существом, к которому жена относилась с обидною снисходительностью, а иногда даже и с легкою тенью презрения.

В эту-то семью постучалась Глафира с целию помириться с давно не виденным братом; познакомиться с его женой, о которой она имела довольно смутное понятие, и заставить Грегуара старшего тряхнуть его связями в пользу предпринятого ею плана положить к своим ногам Михаила Андреевича Бодростина и стать над ним во всеоружии силы, какую она теперь должна получить над ним, как женщина достойного почтения образа жизни, над мужем безнравственным, мотом и аферистом, запутанным в скандальную историю с проходимкой, угрожающею ему уголовным судом за похищение ребенка. Вместе с тем Глафира надеялась проследить с помощию брата: не предал ли ее где-нибудь Горданов.

Глава девятнадцатая
Свой своему поневоле друг

Когда Глафира вступила в квартиру брата, Грегуара старшего не было дома.

Бодростину это не остановило: она прошла в зал и велела доложить о себе невестке, которая сидела в это время в смежной гостиной и проходила с сыном его завтрашний урок.

Глафира видела тени обеих фигур матери и сына, слышала, как человек произнес ее имя, слышала, как хозяйка потребовала от человека повторения этого имени, и вслед за тем молча встала и вышла куда-то далее, а слегка сконфуженный лакей, выйдя на цыпочках, прошептал, что Григория Васильевича нет дома.

– Хорошо, я подожду, – ответила ему Бодростина, – а вы зажгите свечи в его кабинете и подайте мне туда чаю.

Ее смелость и твердость подействовали воодушевляющим образом на лакея, который тотчас же пошел исполнять ее приказания, меж тем как сама Глафира, бросив на диван шаль, плавною походкой вошла в освещенную комнату, где сидел над книгой ее племянник.

Подойдя к мальчику, она обняла его и, поцеловав в голову, назвала себя его теткой и спросила о его отце и о матери; но прежде чем ребенок собрался ей ответить, из дверей внутренней комнаты вышла сама его мать.

Невестка Бодростиной была небольшая и не особенно красивая женщина, лет тридцати, блондинка, с тонкими губами, прямым носом и серыми острыми глазами.

Увидев сына близ Глафиры, которая, сидя в кресле, держала его у своего плеча, дама эта слегка передернулась и, изменясь в лице, сказала:

– Если не ошибаюсь, вы сестра моего мужа?

– Да; хоть поздно, но позвольте нам родными счесться, – отвечала Глафира.

Они пожали друг другу руки, причем жена Грегуара тотчас же сказала сыну, чтоб он убирал свои книги и шел к себе, а сама попросила гостью в кабинет мужа.

Глафира видела и понимала, что ее здесь глубоко презирают и как от чумы прибирают от нее дитя, чтоб она не испортила его своим прикосновением, и она удвоила осторожность и любезность.

Зная, что ничем нельзя так расположить в свою пользу любящую мать, как метким словом о ее ребенке, Глафира прямо заговорила о заметной с первого взгляда скромности и выдержанности младшего Грегуара.

– Да, – ответила мать, – он не худой мальчик; но он еще слишком молод, чтобы делать о нем заключения.

– Вы как хотите его воспитывать?

– Как бог приведет: он теперь учится в хорошей школе.

Глафира почувствовала, что ей не удается разговориться с невесткой, потому что та, не продолжая речей о воспитании, быстро поднялась с места и сказала:

– Муж мой должен тотчас вернуться.

– Ах, вы за ним, верно, послали? – догадалась Глафира.

– Да, он сейчас будет.

И действительно, в эту минуту послышался звонок: это был Грегуар.

– Вот он! – проговорила Грегуарова жена и тотчас же вышла.

Брат Глафиры сильно изменился в течение многих лет, в которые они не видались с сестрой. Теперь ему было за сорок; высокая, некогда стройная его фигура сделалась сухощавою, угловатою; голубые глаза обесцветились, седые бакенбарды и назад закинутые поредевшие волосы на голове придавали ему стереотипный вид петербургского чиновника.

Глафире было не трудно заметить, что Грегуар с неудовольствием взглянул вслед своей удалявшейся жене.

Брат и сестра встретились довольно спокойно, но приветливо.

Грегуар, давно приучивший себя, ради прогресса и гуманности, равнодушно и безразлично относиться к добру и злу, подал сестре руку и начал со стереотипной фразы о том, что они давно не видались.

– Да, давно, – отвечала ему Глафира, – но тем не менее я всегда была уверена, что мы с тобой не разошлись.

– Из-за чего же? Полно, сделай милость: я очень рад тебя видеть.

– Да, и потому теперь, когда мне нужна была твоя помощь, я решила к тебе прямо обратиться.

– И прекрасно сделала. Чем могу служить?

Глафира сообщила брату о доходивших до нее в Париж странных слухах насчет ее мужа, о его безумных, рискованных предприятиях и еще более о его странной связи с княгиней Казимирой, связи, которая стоила старику чудовищных денег и, наконец, угрожала теперь скандалом по случаю пропажи ребенка.

– Слышал, слышал, – ответил Грегуар, – это значит: после старости пришедшей был припадок сумасшедший.

– Да уж как знаешь, но это надо остановить; я тебя прошу помочь мне как-нибудь в этом случае.

– Очень рад, очень рад, но как же помочь? Глафира пожала плечами и проговорила:

– Что ж делать? Мне бы не хотелось, но обстоятельства такого рода, что я вынуждена поступить против моих желаний; я решила обратиться к властям.

– Это очень просто.

Глафира не ожидала такого согласия и продолжала:

– Очень просто, если ты мне поможешь: один из наиболее вредных людей, стоящих около моего мужа, конечно, Горданов.

– Очень умный человек, – перебил Грегуар.

Этот отзыв еще более удивил Глафиру.

– Да; он умный, но вредный. Это темный человек, – проговорила она и прибавила, что хотела бы прежде всего знать о нем Грегуарово мнение; так как говорят, что Горданов пользуется каким-то особенным положением.

– Я не знаю; нынче так много говорят про особенные положения, что не разберешь, кто чем пользуется, – отвечал Грегуар. – Во всяком случае ты можешь отнестись…

Грегуар назвал одного из должностных лиц, к которому и советовал обратиться Глафире.

– Но как же это сделать?

– Если хочешь, я завтра повидаюсь и предупрежу, а ты поезжай.

– Да согласится ли он принять во мне участие, если в самом деле Горданов имеет покровителя? Не связаны ли они чем?

– Связаны, как все у нас в Петербурге связаны – враждой друг к другу. Здесь, душа моя, все на ножах. Да ты давно в Петербурге?

– Нет, только что приехала, и первый шаг мой был к тебе, а потому и спешу домой.

Глафира приподнялась с места.

– Надеюсь, мы будем видеться?

– Да, да, конечно, мы будем видеться, – ответил Грегуар. – Но куда же ты так спешишь?

– Мне пора; я еще не успела оправиться; притом твоя жена, кажется, меня недолюбливает.

Грегуар махнул рукой.

– Что? – переспросила его, улыбнувшись, Глафира.

– Да бог с ней, – ответил Грегуар.

– У вас, кажется, действительно все друг с другом на ножах.

– По крайней мере на ножичках, – отшутился, пожав руку сестры, Грегуар, и тихо пошел вслед за нею к двери.

– Так я не буду ее беспокоить и прощаться с ней: ты передай ей мой поклон. А завтра мы с тобой в котором часу увидимся?

– Мы с тобой увидимся, если хочешь, часа в четыре.

– Прекрасно; ты ко мне приезжай обедать.

– Пожалуй; а туда я съезжу утром и дам тебе знать.

На этом они расстались. Глафира села в свой экипаж и возвратилась в квартиру мужа, где застала описанный нами в последней главе беспорядок: потоп, произведенный Висленевым.

Появление Глафиры еще более увеличило этот беспорядок, но к прекращению его послужило письмо, которое вручил Глафире Васильевне человек, посланный ею час тому назад с запиской к Алине.

Алина, известясь о привозе ее сумасшедшего мужа, не замедлила ответить Бодростиной, что она сама нездорова и приехать не может, что помещение ее в настоящее время очень тесно и неудобно для приема больного, находящегося в таком положении, в каком находится Жозеф, и что потому она просит охранить его до завтрашнего дня, пока она распорядится: или поместить Жозефа в доме умалишенных, или устроить его как-нибудь иначе.

Прочитав это письмо тотчас после короткого и быстрого свидания с мужем, Гордановым, Ропшиным и Кишенским, Глафире не было особенного труда убедить их, что вытащенный из ванной комнаты и безмолвствовавший мокрый Жозеф возвратился в умопомешательстве,

во имя которого ему должны быть оставлены безнаказанно все его чудачества и прощены все беспокойства, причиненные им в доме.

С мужем Глафира держалась довольно холодно. Она отговорилась усталостью, головною болью и прежде всего пожелала успокоиться.

Доставленная, по ее распоряжению, Ропшиным горничная, устроила ей спальню в кабинете Бодростина, и Глафира уснула.

Кишенский ушел к себе; Михаил Андреевич поместился в спальне, а Висленев был взят Гордановым.

Иосаф Платонович нисколько не протестовал против данной ему клички человека сумасшедшего, даже более: он содействовал укреплению установившегося мнения, ибо, не желая притворяться сумасшедшим, был как нельзя более похож на помешанного, и Горданов, поговорив с ним немного, убедился, что Жозеф в самом деле не в здравом рассудке: он ничего не сообщал и только хлопотал об одном: чтобы находиться в комнате, постоянно запертой на замок, ключ от которого был бы у него в кармане. Когда это было для него сделано, он вздохнул и осведомился:

– Правда ли, что скопцы дают деньги?

– Кому? – спросил его Горданов.

– Ну тем, кто идет в их веру.

– Да, говорят, что дают. А что такое? Не хочешь ли ты в скопцы идти? Прекрасно бы, братец мой, сделал, и мне бы деньжонок дал. Скопцы богатые.

– Нет; я это так, – уронил Жозеф и, спрятав ключ, укутался в одеяло и вздыхал всю ночь, а к утру забредил скопцами.

Глава двадцатая
Ошибка

Глафира еще спала, когда ей был доставлен чрез курьера конверт; Грегуар извещал сестру, что он уже виделся с генералом, который может оказать ей защиту против хищников, опутавших ее мужа, и советовал ей, не теряя времени, тотчас ехать к его превосходительству.

Одеться и собраться для Глафиры было делом одной минуты, и через полчаса ее наемный экипаж остановился у небольшого каменного дома, где жил генерал. Едва Глафира вступила в переднюю главного помещения этого дома, человек в полуформенном платье, спросив ее фамилию, тотчас же пригласил ее наверх и сказал, что генерал ее ждет.

На верхней террасе лестницы фамилия ее другим таким же человеком была передана третьему, и Глафиру Васильевну провели через небольшую гостиную в комнату, разделенную надвое драпировкой.

Здесь, спиной к драпировке, а лицом к двери, за небольшим письменным столом, покрытым в порядке разложенными кипами бумаг, сидел генерал: он был немного лыс, с очень добрыми, но привыкшими гневаться серыми глазками. При входе Бодростиной, генерал читал и подписывал бумаги, не приподнялся и не тронулся с места, а только окинул гостью проницательным взглядом и, протянув ей левую руку, проговорил:

– Добро пожаловать. Чем могу вам служить? И с этим он указал ей на кресло, стоявшее против него по другую сторону стола.

– Генерал, моя просьба странного свойства, – начала Глафира, – я иду против мужа с тем, чтобы защитить его и выпутать из очень странной истории.

– Это я знаю-с, – ответил генерал, не прерывая ни на минуту чтения и подписывания бумаг. – Что же далее?

– Мой муж – богатый человек; он всегда имел слабость верить в свои коммерческие соображения и им овладел дух крайней предприимчивости, несвойственной ни его летам, ни его положению; он расстраивает свое состояние.

– Это теперь сплошь и рядом со многими, но я ничего не могу тут сделать, – отвечал генерал с привычной ясностью и скоростью настоящего делового человека.

– Но он находится в руках таких людей, которые просто спекулируют на его доверчивости и увлечении.

– Мошенниками полон свет, – перебил генерал, – но пока эти мошенники не попадаются, на них при нынешних порядках нет управы. Я вижу, что я знаю все, что вы мне хотите сказать: я давно знаю эту клику, которая доит вашего мужа, но это все бесполезно; другое дело, если бы вы могли мне дать какие-нибудь доказательства.

Глафире прежде всего, разумеется, хотелось знать: действительно ли Горданов успел заручиться каким-либо покровительством. Постоянно вращаясь в мире интриг и не имея права рассчитывать ни на какую преданность со стороны Горданова, она опасалась, что и он, не доверяя ей, точно так же, может статься, предпочел устроиться иным способом и, может быть, выдал ее намерения. Поэтому Глафира прямо спросила своего собеседника: что ему известно о Павле Николаевиче?

Генерал, не выпуская пера, только взглянул на нее и ничего не ответил.

Бодростина поняла, что она сделала неловкость. К тому же она ясно видела, что генерал принимает ее не с аттенцией, на какую она имела бы, кажется, право по своему положению. Это нехорошо действовало на Глафиру, и она, оставив свое намерение выспросить о Горданове, прямо перешла к другому.

– Мне кажется, генерал, – сказала она, – что здесь есть еще одна особа, против которой я тоже не могу вам представить никаких улик юридических, но которой поведение настолько явно, что, мне кажется, необходимо остановить ее от азартных покушений на моего мужа.

– Про кого вы говорите?

– Я говорю про княгиню Казимиру Вахтерминскую.

– В чем же дело?

– Она требует с моего мужа пятьдесят или даже сто тысяч рублей за то, что он имел неосторожность отослать в Воспитательный дом рожденного ею назад тому два месяца ребенка, которого она ставит на счет моему мужу.

– Да, но это ее сиятельство может ставить на счет кому ей угодно.

– Но она ставит именно мужу моему, а не кому-нибудь другому.

– Ну-с, – продолжал генерал, – так чем же я тут могу вам помочь?

– Сделайте, что вы хотите, генерал, но я обращаюсь к вашей милости и на вас одних надеюсь.

Генерал ни слова не ответил и продолжал молча читать и подписывать одну за другою бумаги.

Глафира находила свое положение затруднительным и, помолчав, начала излагать свои подозрения насчет самого способа выдачи векселей ее мужа, причем упомянула и об исчезнувшем артисте.

– Да ведь то-то и есть, что он исчез, – проворчал генерал, не прерывая своего писанья и чтения.

– Но как же мог он исчезнуть?

– А вот отгадайте! – отвечал генерал, опять занимаясь своим делом.

Дальше не могло быть никакого разговора.

Глафира поднялась и спросила:

– Что же, могу ли я на что-нибудь надеяться, генерал?

– Я могу ее пугнуть, если она пуглива, и больше ничего.

Бодростина раскланялась, генерал опять подал ей левую руку и сказал на дорогу доброе пожелание, но на сей раз не удостоил уже взгляда.

Глафира вышла и уехала весьма недовольная своим сегодняшним утром и решила забыть об этой незадаче и действовать самой, тем более, что это ее и не пугало.

Но в чем же здесь ошибка?

Большую ошибку в чем-то здесь видел генерал: он, оставшись, по выходе Глафиры, один в своей комнате, подписал еще несколько бумаг и затем, вскочив вдруг с места, отпер несгораемый шкаф, помещавшийся за драпировкой. Здесь он без затруднения нашел среди множества бумаг письмо, писанное в довольно коротком тоне генералом Синтяниным, с просьбой обратить внимание на Горданова, который, по догадкам Ивана Демьяновича, имел замыслы на жизнь Бодростина с тем, чтобы жениться на его вдове.

«Черт возьми, не может же быть, чтобы старик Синтянин так ошибался! А между тем, если она его любит и за него невестится, то с какой стати ей его выдавать и даже путать? Нет; тут что-то не чисто, и

я *их* на этом барине накрою», – решил генерал и подавил электрическую пуговку в своем столе.

– Перушкина! – сказал он вошедшему дежурному чиновнику.

Почти в это же самое мгновение пред ним появился неслышными шагами пожилой человек, остриженный по-купечески, в скобку, и одетый в простой, длиннополый, купеческий сюртук.

– Андрей Парфеныч! – сказал ему генерал, – поглядело ли твое степенство на эту барыню, которая сейчас вышла?

– Как же-с, ваше превосходительство, поглядел, – отвечал вошедший.

– Это она?

– Так-с.

– Григорья Васильевича Акатова сестрица?

– Слышал-с.

– Ее надо изловить: сумеешь ли?

Андрей Парфенович тряхнул головой, вздохнул и произнес:

– Службу свою должно исполнять, ваше превосходительство.

– То-то! Я на тебя надеюсь. Ты один эту механику проследить можешь; тут дело темное: вор на вора в донос идет.

Андрей Парфенович покачал головой.

– Что?

– Ученые-с, говорю: беда с ними.

– Да, но смотри не суди об этой барыне по Григорию Васильевичу, у этой под каблуком больше ума, чем у ее брата во лбу. Горданова ты тоже знаешь? – И генерал вскинул острый взгляд на Андрея Парфеновича.

– Довольно о них известны.

– И понимаешь, чем он держится?

– Помилуйте, как не понимать-с.

– Так ты должен понимать и то, сколько я тебе верю в этом деле. Поймай мне этого Горданова!

Андрей Парфенович молчал.

– Можешь?

– Постараюсь.

Генерал хлопнул его по плечу и проговорил с расстановкой на ухо:

– Поймай его, и я этого не забуду.

– Изловлю-с.

– Тут есть еще княгинька Вахтерминская.

– Знаю-с.

– Действительно ли ты ее знаешь?

Андрей Парфенович развел руками и ответил:

– Как не знать! Да ведь она тоже при тех самых делах, что и господин Горданов.

– Излови их, и я тебя озолочу.

Глава двадцать первая
Старые приятели

Возвратясь домой, Глафира Васильевна не застала мужа.

Встревоженный угрозой судом, которую сделала ему вчерашний день княгиня Казимира, Михаил Андреевич не отдавал себе ясного отчета в положении своих дел: он даже не думал о жене и хлопотал только об одном: как бы разойтись с Казимирой. Под неотступным давлением этой заботы, он, как только встал, бросился рыскать по городу, чтоб искать денег, нужных для сделки с Казимирой. Он даже завернул в департамент к Грегуару и просил его, не может ли тот помочь ему в этом случае.

Грегуар, разумеется, ничем ему помочь не мог и отделался только общими сожалениями, которые потерявшийся Бодростин склонен был теперь принимать как некоторую, хотя малоценную, но все-таки приятную монету.

– Нет, за что же-с? За что же? – жалостно вопиял он к Грегуару, – ну, скажите, бога ради, ну кто же в свою жизнь был богу не грешен, царю не виноват? Ну, она очень хорошенькая женщинка, даже милая женщинка, с талантами, с лоском, ну, я бывал, но помилуйте, чтобы подвести меня под такую глупую штуку, как покража ребенка… Ну, зачем мне было его сбывать?

– Совершенно верю.

– Да как же-с! Спроси она у меня на его обеспечение три, пять тысяч, я бы дал-с, охотно бы дал. Я даже все это предлагал, но она стояла за свое renommée[85]… Ну, я поддался: в самом деле она молода, княгиня; она говорила, что боится, чтобы как-нибудь не прознал об этом князь и не затеял развода. Как я ни предлагал ей секретно устроить ребенка, как это делается и как и мне доводилось в старину делывать с женщинами старого закала, но она ни за что не хотела. Стояла на том, что ребенка этого не должно быть следа. И тут совершенная случайность… Она говорит: «вынесите», я только вынес, и остальное все было сделано мимо моей воли. Куда его девали? Черт все это знает! И вдруг, ни с того, ни с сего, угрожать уголовным судом за покражу ребенка… Ну, скажите, ведь это ума помрачение! А между

тем меня, в мои года, женатого человека, сведут на скамью подсудимых!..

Бодростин ужасался и ерошил свои беранжеровские седые кудри.

Грегуар пробовал заговорить о выгодах современного суда: защите адвокатов и т. п., но Бодростин этим не мог успокоиться. Все выгоды современного судопроизводства мало его обольщали, и он говорил:

– Прекрасно-с, я не отчаиваюсь, что при даровитом адвокате может быть меня и оправдают, все это очень может быть, но все-таки я буду на скамье подсудимых.

– Быть под судом это еще не стыдно.

– Как, скажите пожалуйста, не стыдно! Как не стыдно-с? мне шестьдесят семь лет…

– Будто вам уже столько?

– Да-с, как раз столько, и в эти-то годы попасть в такое дело и слушать, как при всех будут вылетать такие слова, к каким прибегают эти ваши хваленые адвокаты: «связь», «волокитство в такие годы», и всякие сему подобные дрязги, и все это наружу, обо всем этом при тысяче ушей станут рассказывать, и потом я должен приводить всякие мелочи, а газеты их распечатают… Нет, бога ради, ведь этого перенести нельзя! А потом, потом, кроме того, я вам скажу, что я и не ручаюсь, что меня и не обвинят; во-первых, вы говорите современный суд и улики, но для меня этот современный суд и система внутреннего убеждения, а не формальных улик, даже гораздо хуже. Да тут, покорно вас благодарю, с внутренними убеждениями и с этою слабостью общества к женскому вопросу, тут-с она, каналья, будет всегда права: она заплачет, и ради ее прекрасных глаз…

– Вы заплачьте, – пошутил бесстрастно Григорий Васильевич.

– Вы очень остроумно шутите, но я буду очень некрасив-с, когда я буду плакать. Нынче Любимы Торцовы не в моде, а в ходу «самопомощь» Смайльса.

– В таком случае надо стараться уладить это дело миром.

– Да я уже просил ее и умолял, но ничего не успел.

– Представьте ей, что и для нее этот скандал также невыгоден.

– Все представлял-с, все представлял, но она на все доводы одно отвечает: что для нее пятьдесят тысяч более принесут выгоды, чем сколько невыгоды принесет скандал. Мне наконец начинает сдаваться,

что она даже совсем и не на суд надеется, а на несколько особенные власти.

– Очень может быть.

– Да-с; она… она что-то такое особенное, и потому я вас прошу, – это, разумеется, с моей стороны маленькая неловкость, так как я муж вашей сестры, но в наш век кто же безгрешен?

– Да это что и говорить!

– Да; я знаю, что вы человек толерантный и к тому же вы обладаете счастливым даром слова: я слыхал, как вы говорите в ученых обществах (Грегуар немного сконфузился).

– Нет, право, право, я это без лести говорю, вы удивительно умеете владеть словом: ради бога, съездите вы к ней, пусть это будет еще одна последняя проба; поговорите, упросите ее как-нибудь кончить, и потом где бы нибудь мы с вами увидались.

– Я буду у вас сегодня обедать, я дал слово сестре.

– Ну, вот и прекрасно. Так бога ради!

– Я с своей стороны с удовольствием.

– В таком случае когда же? – вопросил, приподнимаясь, Бодростин, – вам ведь некогда; все эта служба проклятая.

– Да, «все оды пишем, и ни себе, ни им похвал не слышим», но я поеду, я поеду.

– А между тем ведь это нужно бы скоро, очень скоро! нетерпеливая она, черт ее возьми.

– Кипит?

– Как гейзер.

– Ну, в таком случае служба не медведь, в лес не уйдет, а я поеду к ней, когда вы хотите.

– Пожалуйста! поезжайте и предложите ей… десять, ну наконец пятнадцать тысяч: более не могу. Ей-богу не могу.

– Да когда она встает?

– Теперь самое время, вот теперь.

Деловой Грегуар обещал тотчас же ехать, и они расстались.

Глава двадцать вторая
Объяснение

В это самое время Глафира Васильевна, затворившись в кабинете Бодростина, беседовала с Гордановым. Она выслушала его отчет о их петербургском житье-бытье во время ее отсутствия, о предприятиях ее мужа, о его сношениях с княгиней Казимирой, о векселях, о Кишенском и проч. Глафира была не в духе после свидания с генералом, но доклад Горданова ее развлек и даже начал забавлять, когда Павел Николаевич представлял ей в комическом виде любовь ее мужа и особенно его предприятия. В самом деле, чего тут только не было: и аэростаты, и газодвигатели, и ступоходы по земле, и времясчислители, и музыкальные ноты-самоучки, и уборные кабинеты для дам на улицах, и наконец пружинные подошвы к обуви, с помощью которых человеку будет стоить только желать идти, а уже пружины будут переставлять его ноги.

Глафира надо всем этим посмеялась и потом сразу спросила Павла Николаевича о его особенном служении.

– Ты, кажется, уж очень бравируешь своим положением, – заметила она. – Это небезопасно!

– Нимало. Да обо мне речь впереди, скажи-ка лучше, что ты за птица. Мне это становится очень неясным. То мы с тобой нигилистничали…

– То есть это вы нигилистничали, – перебила его Глафира.

– Ну ты, вы, мы, они; ты даже все местоимения в своем разговоре перемешала, но кто бы ни нигилистничал, все-таки я думаю, что можно было отдать голову свою на отсечение, что никто не увидит тебя в этой черной рясе, в усменном поясе, верующею в господа бога, пророчествующею, вызывающею духов, чертей и дьяволов. И попался я, скажу тебе откровенно, Глафира. Когда ты меня выписала, ты мне сказала, что у меня есть своя каторжная совесть. Да, у меня именно есть моя каторжная совесть; я своих не выдаю, а ты… во-первых, ты меня больше не любишь, это ясно.

– А во-вторых? – спросила Глафира.

– А во-вторых, ты имеешь какое-то влечение, род недуга, к этому Подозерову.

– Ну-с, в-третьих?

– В-третьих, ты все путаешь и напутала чего-то такого, в чем нет ни плана, ни смысла.

– Вы, мой друг, очень наблюдательны.

– А что, разве это неправда?

– Нет: именно это все правда: я перехитрила и спуталась.

– Ну да, лукавь как знаешь, а дело в том, что, видя все это, я готов сказать тебе: «Прости, прощай, приют родимый», и позаботиться о себе сам.

– То есть уехать к Ларе?

– Нет; не уехать к Ларе. Это могло годиться прежде, но я был такой дурак, что позволил тебе и в этом помешать мне.

– Поверь, не стоит сожаления.

– Ну, это мне лучше знать, стоит это или не стоит сожаления, но только я ведь не Висленев; я до конца таким путем не пойду; ты должна мне дать верное ручательство: хочешь или не хочешь ты быть моей женой?

– Для этого, Павел Николаевич, прежде всего нужно, чтоб я могла быть чьею-нибудь женой. Вы забываете, что я в некотором роде замужем, – проговорила Бодростина, пародируя известные слова из реплики Анны Андреевны в пьесе «Ревизор».

Но Горданов отвечал ей, что это разумеется само собою, что он очень хорошо понимает необходимость прежде покончить с ее мужем, но не понимает только того, для чего предпринята была эта продолжительная спиритская комедия: поездка в Париж, слоняние по Европе и наконец выдуманная Глафирой путаница в сношениях ее мужа с Казимирой.

Глафира насупила брови.

– Я ничего не перемудрила, я иду так, как мне должно идти, – отвечала она, – и поверьте, Павел Николаевич, что у меня совести во всяком случае не меньше, чем у вас, – я говорю, конечно, о той совести, о которой нам с вами прилично говорить.

– Верю; но скажи мне, когда же ты желаешь сделаться вдовой?

– Какой нескладный вопрос: разве мое дело выражать эти желания.

– Но во всяком случае теперь уже можно?

– Разумеется; и как можно скорей.

– Здесь?

– Ни в каком случае; мы уедем туда, к себе, и там…

– Да, там.

– А ты можешь ли ехать?

– Мои дела именно туда-то меня и зовут.

– Что же это такое, можно узнать?

– Отчасти можно.

– Я слушаю.

– Я только боюсь, что ты расчувствуешься.

– Пожалуйста, не бойся.

– Я имею план кое-что сварганить из этого неудовольствия крестьян, из их тяжбы со мною. Понимаешь, тут участие в этом Форова, попа Евангела, покровительство всему этому Подозерова и разные, разные такие вещи… Все это в ансамбле имеет демократический оттенок и легко может быть представлено под известным углом зрения. Притом же и дело наше о дуэли еще не окончено: я докажу, что меня хотели убить, здесь знают об этом, – наконец, что не успел я повернуться, как меня ранили, и потом Висленев, он будет свидетельствовать.

– Да, ну на Висленева не надейся; сумасшедший свидетель небольшая помощь.

– Но ведь он не настоящий сумасшедший.

– Не знаю, как тебе сказать, я психиатрией не занималась; но это дело второстепенной важности. Достаточно того, что мы можем ехать и кончить; а между тем я думаю, что ты по своей каторжной совести все-таки услужил же мне какою-нибудь службой?

– Надеюсь.

– Я вам позволила пограбить и запутать моего мужа, но вы уж очень поусердствовали. Скажи же, пожалуйста, неужто в самом деле должно этой госпоже Казимире отдать пятьдесят тысяч или видеть Михаила Андреевича на скамье подсудимых?

– Нет, я этого не думаю.

– Ты, конечно, помнишь, что я не хотела доводить дела до такой крайности, да это и расстроило бы все наши планы.

– У меня есть на нее узда, – проговорил Горданов и, вынув из кармана бумажник, достал оттуда тот вексель, который он отобрал у польского скрипача, отправляя его за границу.

Глафира пробежала эту бумажку, покраснев, положила ее в карман своего платья и протянула Павлу Николаевичу руку.

– Поль! – прошептала она, привлекая слегка к себе Горданова, – я буду твоя, твоя, если ты…

– Условие, – произнес с улыбкой, наклоняясь к ней, Горданов.

– Да; условие: если ты верен мне, Поль.

Этот неожиданный вопрос смутил Горданова.

Глафира это заметила, а ее левый глаз сделался круглым и забегал:

– Ты изменил мне?! – вскричала она, быстро сорвавшись с места.

Горданов спокойно покачал, в знак отрицания, головой. Глафира прочла по его лицу, что он ее не выдал, и, обняв его голову, проворковала ему радостные надежды.

– Теперь, – сказала она, – мы можем действовать смело, никакие отсрочки нам больше не нужны и никто нам не страшен: Синтянин безвластен; его жена замарана интригой с тобою: фотография, которую ты прислал мне, сослужит нам свою службу; Форов и Евангел причастны к делу о волнении крестьян; Висленев сумасшедший; Подозеров зачеркнут вовсе. Остается одно: чтобы нам не мешал Кюлевейн. С него надо начать.

– Это пустяки, – отвечал Горданов.

Глава двадцать третья
Висленев вместо хождения по оброку отпускается на волю, без выкупа

В тот момент, когда окончился вышеупомянутый разговор Павла Горданова с Глафирой, к дому подъехала карета и из нее вышел Бодростин, пасмурный и убитый, а вслед за ним Грегуар. Они долго и медленно входили по лестнице, останавливались, перешептывались и наконец вступили в апартаменты.

Был час обеда. В столовой уже была подана закуска.

Злополучный старик Михаил Андреевич был так растерян, что ничего не замечал. Он едва поздоровался с женой, мимоходом пожал руку Горданову и начал ходить по комнате, останавливаясь то у одного, то у другого стола, передвигая и переставляя на них бесцельно разные мелкие вещи. Глафира видела это, но беседовала с братом.

Брат и сестра, несмотря на долговременную их разлуку друг с другом, ничего не находили особенно живого сообщить один другому: чиновник говорил в насмешливом тоне о Петербурге, о России, о русском направлении, о немцах, о политике, о банках, о женщинах, о женском труде, то сочувственно, то иронически, но с постоянным соблюдением особого известного ему секрета – как все это переделать по-новому.

Среди этих его разговоров, которых никто с особенным вниманием не слушал, глазам присутствовавших предстал Кишенский.

Он был несколько взволнован и, расшаркавшись впопыхах исключительно пред одною Глафирой Васильевной, вручил ей маленький конвертик, в котором был листок, исписанный рукой Алины.

Глафира пробежала этот листок и потом лукаво улыбнулась, и сказала:

– Вот, господа, преинтересное дело и прекрасный образчик современных петербургских нравов! Вы, господин Кишенский, позволите мне не делать секрета из этого письма?

Кишенский покраснел и, немного замявшись, ответил:

– Я не смею вам запретить поступать как вам угодно с письмом, которое к вам адресовано.

– Да, вы правы, – и Глафира, возвысив голос, обратилась к присутствовавшим: – Здесь речь идет, господа, о несчастном Иосафе Висленеве, которого я кстати нынче с утра не видала: где он? Жив ли он, бедняжка?

– Он сидит запершись в моей комнате, – ответил на ее вопрос вошедший в это время белобрысый секретарь Ропшин.

– Merci,[86] – молвила ему с ласковым наклонением головы Глафира. – Не потяготитесь им ради бога: он так жалок и несчастен.

Ропшин поклонился, Глафира продолжала:

– Этот злосчастный Жозеф, как вам всем вероятно известно, много должен своей жене или господину Кишенскому, я, признаюсь, не знаю, кому и как приходится этот долг.

– Он должен своей жене, а совсем не мне, – отвечал Кишенский.

– Ну да. В таком положении этот бедный человек года полтора тому назад прибежал, скрываясь от долгов, к своей сестре Ларисе, та заложила для него свой дом. Он повертелся с этими деньгами, хотел заплатить, но с ним что-то случилось. Бог его знает: не ручаюсь, может быть его за границей обыграли, или просто обобрали, что было вовсе и не трудно, так как он вообще давно очень плохо за себя отвечает; но как бы там ни было, а в конце концов я его встретила за границей почти полупомешанного: это было в маленьком городишке, в Саксонии.

– А ему, кажется, не с чего было и с ума сходить, – вставил Грегуар.

– Как бы там ни было, но он был в таком состоянии, в каком нельзя бросить человека, которого мы когда-нибудь знали, и я взяла его с собою, потому что отправить его назад не было возможности. Живучи в Париже, я старалась, сколько могла, его рассеять, и признаюсь, много рассчитывала на это рассеяние, но ему ничто не помогло, и только, мне кажется, он стал еще хуже.

– Какое у него помешательство? – спросил Грегуар, – мрачное или розовое?

– Пестрое, – ответила Глафира, – и потому самое опасное, за него нельзя отвечать ни одну минуту: дорогой он чуть не бросился под вагон; в Берлине ему вздумалось выкраситься, и вот вы увидите, на что

он похож; вчера он ехал в Петербурге на козлах, в шутовском колпаке; потом чуть не залился в ванной; теперь сидит запертый в комнате Генриха. Между тем я со вчерашнего дня веду переписку с его супругой. Я просила Алину Дмитриевну исполнить прямой ее долг: взять ее сумасшедшего мужа; но она вчера отказала мне в этом под предлогом своей болезни и тесноты своего помещения, а сегодня письмо, в котором она вовсе отказывается принять его.

Бодростина засмеялась и добавила:

– Алина Дмитриевна Висленева великодушно предоставляет нам позаботиться о ее сумасшедшем муже; эта добрая женщина нам доверяет: или посадить его в сумасшедший дом, для чего г. Кишенский уполномочен вручить нам от нее и просьбу об освидетельствовании; или же взять его к себе в деревню, где, по ее соображениям, природа, свежий воздух и простые нравы могут благодетельно подействовать на расстройство его душевных способностей.

Глафира пожала плечами, взвела глаза к небу и, улыбнувшись, произнесла:

– Это прелестно!

– Это черт знает что, – возмутился незлобивый Грегуар, – я его могу отдать на счет какого-нибудь общества в частную лечебницу сумасшедших.

– Да это все совсем не потому-с, – вмешался Кишенский, – Алина Дмитриевна действительно больна, Алину Дмитриевну действительно лечат лучшие доктора в городе, и потом Алина Дмитриевна и без того много теряет.

– В муже? – пошутил Грегуар.

– Да-с; с его помешательством Алина Дмитриевна теряет на нем до тридцати тысяч рублей.

– Великий боже, да когда же у него были такие деньги?

– Я не знаю-с, но он должен по законным документам. Ведь вот он и за сестрин дом деньги взял, и их тоже, говорят, нет.

Глафира встала и, окинув презрительным взглядом Кишенского, проговорила:

– Но вы, может быть, еще напрасно тужите, может быть он еще излечим, и, наконец, может быть он даже совсем не сумасшедший.

С этим она вышла и, пройдя через несколько комнат к двери Ропшина, тронулась за замочную ручку, но замок был заперт.

– Отопритесь, Жозеф, – позвала она.

– Извините, я этого не могу, – отвечал Висленев.

– Но я вам принесла радость.

– Ни за что на свете не могу.

– Вы свободны, поймите вы: я говорю вам – вы свободны.

– Нет-с и не говорите лучше, ни за что на свете!

– Отопрись, болван, – прошипел внушительно подошедший к ним в эту минуту Горданов.

– Ты сам болван и скотина, – азартно отозвался Жозеф.

– Нате же читайте, несчастный, – молвила Глафира и подсунула в щель под дверь полученное ею письмо Алины.

И не прошло минуты, как за запертою дверью послышался неистовый визг; ключ повернулся в замке, дверь с шумом распахнулась; Иосаф Висленев вылетел из нее кубарем, смеясь и кривляясь, через все комнаты пред изумленными глазами Бодростина, Грегуара, Ропшина и Кишенского.

Ни при каких уговорах он не мог бы поступить с таким рассчитанным тактом: лучшего доказательства его сумасшествия уж было не нужно.

Кишенский посмотрел на него и, когда растрепанный Висленев остановился, подумал, как бы он его с сумасшедших глаз чем не хватил.

– Ну так владейте же им сами, – сказал он, юркнул и исчез за дверью.

Глава двадцать четвертая
Зато делается очень худо Бодростину

Увидев бегство Кишенского, Иосаф Платонович не знал уже меры своим восторгам: он кидался на шею Бодростину и другим мужчинам, лобызал их, и наконец, остановившись пред Глафирой, поклонился ей чуть не до земли и воскликнул:

– Глафира Васильевна, вы такое сделали, что после этого вы великий маг и волшебник.

– А ты, братец, совершенный гороховый шут, – ответил ему смущенный его курбетами Бодростин, едва оторвавшись от своих тяжелых мыслей на минуту. – Помилуй скажи, только бог знает что наделал нам здесь вчера и уже опять продолжаешь делать сегодня такое же самое, что я в жизнь не видал.

– Я свободен, – отвечал ему немного спокойнее Висленев.

– Ну так что же, неужели и с ума сходить от того, что ты свободен?

– Да-с, я свободен, вы этого не можете понимать, а я понимаю.

– Ты, верно, понимаешь так, что ты теперь свободен делать глупости.

– Я свободен-с, свободен-с, и нечего вам больше мне об этом говорить, – опять ответил Висленев, и снова продолжал вертеться, рассказывая Грегуару, в каких он был затруднительных обстоятельствах, как его заел в России женский вопрос, который он сам поддерживал, и как он от этого ужасного вопроса гиб и страдал, и совершенно погиб бы, если б его не спасла Глафира Васильевна, самому ему неведомо какими путями.

Этот оживленный и оригинальный разговор занимал все общество во время закуски и продолжался за обедом, и его, вероятно, еще стало бы надолго, если бы во время обеда не произошло одного нового, весьма странного обстоятельства.

Когда было подано четвертое кушанье, в передней послышался звонок. Никто на это не обратил внимания, кроме Михаила Андреевича, но и тот, смешавшись на минуту, тотчас же поправился и сказал:

– Это верно Кюлевейн, он всегда опаздывает. Но это совсем не был Кюлевейн – Михаил Андреевич ошибся.

Прошло две-три минуты после звонка, а в комнату никто не являлся.

– Что же это? газеты, письма? что это такое может быть? – спросил, обращаясь к одному из слуг, снова начинавший терять спокойствие, Бодростин. Ему было не по себе, потому что Грегуар, ездивший по его поручению к Казимире, привез дурные вести. Княгиня ничего не уступала из своих требований, и шесть часов сегодняшнего вечера были последним сроком, до которого она давала льготу престарелому обожателю. Казимире было некогда ждать, и она хотела во что бы то ни стало кончить дело без суда, потому что она спешила выехать за границу, где ждал ее давно отторгнутый от ее сердца скрипач.

Смущение, выразившееся на лице Михаила Андреевича, становилось всеобщим. В передней слышался какой-то шум: кто-то в чем-то спорил, кто-то приказывал и наконец требовал.

Михаил Андреевич взглянул на висевшие на стене часы: стрелка как раз стояла на роковом месте: было шесть часов и несколько минут.

– Это она! Она, проклятая! Ее даже не удержало то, что здесь моя жена.

Глафира тоже понимала, что значит этот звонок.

– Да ободритесь, – сказала, она, не без иронии мужу.

Михаил Андреевич в самом деле почувствовал потребность ободриться и, возвысив голос, сказал оставшемуся слуге:

– Выйди, братец, узнай, что там такое?

Слуга приотворил дверь, и в эту минуту до слуха присутствовавших долетели следующие слова, произнесенные молодым и сильным, звучным контральто:

– Скажи твоему барину, что я здесь и не выйду отсюда без его ответа.

Не оставалось никакого сомнения, что это был голос княгини Казимиры: ее польский акцент был слишком знаком присутствующим для того, чтобы еще осталось какое-нибудь сомнение, что это была она. В этом хотел бы усомниться, но тщетно, один Михаил Андреевич, которому вошедший человек подал на подносе большой незапечатанный конверт.

Михаил Андреевич тревожно глядел на человека, на присутствующих, взял трепетною рукой этот конверт, и, раскрыв его, вынул оттуда листок и, растерявшись, начал читать вслух. Он, вероятно, хотел этим показать, что он не боится этого письма и несколько затушевать свое неловкое положение; но первые слова, которые он прочел громко, были: «Милостивый государь, вы подлец!»

– Это, верно, к вам или к тебе, – обратился он к Ропшину и к Горданову, суя им это письмо и надеясь таким образом еще на какую-то хитрость; он думал, что Горданов или Ропшин его поддержат. Но Горданов взял из рук Михаила Андреевича роковое письмо и прочитал дальше: «Вы подлец! Куда вы дели моего ребенка? Если вы сейчас не дадите мне известное удовлетворение, то я сию же минуту еду отсюда к прокурору».

– Нет, это должно быть не ко мне, а к кому-нибудь другому, – сказал Горданов, передавая с хладнокровным видом этот листок Ропшину, но тот смешался, покраснел и отвечал, что к нему не может быть такого письма.

– Так к кому же это?

– Во всяком случае не ко мне, – проговорил Грегуар.

– И тоже не ко мне-с, не ко мне, – отчурался Висленев.

– Ну, так отдайте назад и скажите, что это не сюда следует, – молвил Горданов, протягивая письмо к лакею, но Михаил Андреевич перехватил листок, встал с ним и заколебался.

Остальные сотрапезники сидели за столом в недоумении. Бодро встала одна Глафира. Она показала мужу рукой на дверь кабинета и, взяв письмо из его рук, сказала ему по-французски:

– Идите туда.

Затем, бросив на прибор свою салфетку, спокойным шагом вышла в переднюю и пригласила за собою в зал ожидавшую в передней Казимиру.

– Вот положение, – протянул, по выходе сестры, Грегуар.

Ропшин молчал, Горданов тоже, но Висленев весело расхохотался и, вскочив, начал бегать по комнате и, махая руками, восклицал:

– Нет-с, это женский вопрос! вот вам что такое женский вопрос!

– Перестаньте срамиться, – остановил его Грегуар, но Жозеф бойко его отпарировал и отвечал:

– Никогда не перестану-с, никогда, потому что я много от этого пострадал и своему полу не изменю!

Глава двадцать пятая
Две кометы

Аудиенция Глафиры с княгиней Казимирой не была полною неожиданностию ни для той, ни для другой из этих почтенных дам. Павел Николаевич Горданов, по указанию Глафиры, еще утром научил Казимиру произвести скандал, пользуясь кратковременным пребыванием здесь Бодростиной. Ему нетрудно было убедить княгиню, что таким образом она поставит старика в крайнее положение, и что, находясь под сугубым давлением страха и скандала, он верно употребит последние усилия удовлетворить ее требования.

Казимира находила это практичным и потому ни на минуту не поддалась убеждениям Грегуара, а напротив была непреклонна и явилась в дом к Бодростину именно в обеденный час, когда вся семья и гости должны были быть в сборе. Разумеется, не было это неожиданностью и для Глафиры, которая ждала княгиню во всеоружии своей силы и ловкости. И вот наконец две кометы встретились.

Закрыв дверь в столовую и внутренние комнаты, Глафира Васильевна, явясь через зал, открыла дверь в переднюю, где княгиня Казимира ожидала ответа на свое письмо. Одетая в пышное черное платье и в бархатную кофту, опушенную чернобурой лисицей, она стояла в передней, оборотясь лицом к окнам и спиной к зальной двери, откуда появилась Глафира Васильевна.

– Княгиня, я вас прошу не отказать мне в минуте свидания, – пригласила ее Глафира Васильевна.

Казимира, не ожидавшая такого оборота дела, на мгновение смешалась, но тотчас же смело вскинула голову и бойко пошла за Глафирой. Та села у фортепиано и показала гостье на кресло против себя.

– Вы пришли не ко мне, а к моему мужу?

– Да, – отвечала Казимира.

– И по делу, в которое мне, как жене его, может быть неудобно было бы вмешиваться, но (Глафира едва заметно улыбнулась) с тех пор, как мы с вами расстались, свет пошел наизнанку, и я нахожу себя вынужденной просить вас объясниться со мною.

– Для меня все равно, – отвечала Казимира.

– Я так и думала, тем более что я все это дело знаю и вам не будет стоить никакого труда повторить мне вашу претензию: вы хотите от моего мужа денег.

– Да.

– За вашего пропавшего ребенка?

– Да.

– Мой муж так неловко поставил себя в этом деле, что он должен удовлетворить вас; – это бесспорно, но дело может казаться несколько спорным в отношении цены: вы сколько просите?

– Пятьдесят тысяч.

– Вы хотите пятьдесят тысяч: это дорого.

Казимира бросила гневный взгляд и сказала:

– Я не знаю, во сколько вы хотите ценить честь женщины моего положения, но я меньше не возьму; притом это уголовное дело.

– Да, да, я очень хорошо понимаю, это, действительно, уголовное дело; но, княгиня, тут ведь куда ни глянь, вокруг все уголовные дела. Это модный цвет, который нынче носят, но я все-таки хочу это кончить. Я вам решилась предложить кончить все это несколько меньшею суммой.

– Например?

– Например, я вам могу дать пятьсот рублей.

Казимира вспыхнула и грозно встала с места.

– Позвольте, княгиня, я ведь еще не кончила; я согласна, что пятьсот рублей это огромная разница против того, что вы желаете получить с моего мужа, но зато я вам дам в прибавок вот этот вексель.

Глафира, стоя в эту минуту по другую сторону фортепиано, развернула и показала княгине фальшивый вексель от имени Бодростина, писанный ее рукой.

Казимира смешалась, и чтобы не выдать своего замешательства, защурив глаза, старалась как бы убедиться в достоинствах предъявленной ей бумаги.

– Вы, ваше сиятельство, не беспокойтесь, – проговорила, опуская в карман бумажку, Глафира: – вексель этот не подлежит ни малейшему сомнению, он такое же уголовное дело, как то, которым вы угрожаете моему мужу, но с тою разницей, что он составляет дело более доказательное, и чтобы убедить вас в том, что я прочно стою на моей

почве, я попрошу вас не выходить отсюда прежде, чем вы получите удостоверение. Вы сию минуту убедитесь, что для нас с вами обоюдно гораздо выгоднее сойтись на миролюбивых соглашениях.

– Откуда это могло взяться? – прошептала потерявшаяся Казимира.

Но в это время Глафира Васильевна, приотворив дверь в столовую, громко крикнула:

– Горданов, ayez la bonté,[87] на одну минутку.

Павел Николаевич, обтирая салфеткой усы, вошел твердой и спокойной поступью и слегка кивнул Казимире, которая стояла теперь в конце фортепиано, опершись рукой о деку.

– Помогите мне кончить с княгиней, – начала Глафира.

– С удовольствием-с.

– Княгиня Казимира Антоновна, угодно вам получить тысячу рублей и этот вексель? С тысячью рублей вы можете спокойно уехать за границу.

– Но мое будущее, – сказала Казимира.

– О, княгиня, оно достаточно обеспечено вашим новым положением и во всяком случае о нем не место здесь говорить. Угодно вам или не угодно?

Казимира взглянула на Горданова и, укусив свою алую губку, отвечала:

– Хорошо-с.

– Павел Николаевич, – молвила ласково Глафира, – потрудитесь написать в кабинете маленькую записочку от княгини…

Княгиня было запротестовала против писания каких бы то ни было записок, но дело было уже так на мази, что Глафире Васильевне не стоило большого труда уговорить ее согласиться и на это. Шансы так переменились, что теперь Глафира угрожала, и княгине не осталось ничего больше, как согласиться.

Горданов в одну минуту составил маленькую мировую записочку, в которой княгиня в самых ясных и не совсем удобных для нее выражениях отрекалась от начатия когда бы то ни было своей претензии против Бодростина. И записочка эта была подписана трепетною рукою Казимиры, причем Глафира вручила ей честным образом и обещанную тысячу рублей, и вексель. Схватив в свои руки этот листок, Казимира быстро разорвала его на мелкие кусочки и,

вспыхнув до ушей, скомкала эти клочки в руке и со словом «подлец» бросила их в глаза Горданову и, никому не поклонясь, пошла назад в двери.

Горданов было сделал вслед за нею нетерпеливое движение, но Глафира удержала его за руку и сказала:

– Останьтесь, она имеет достаточную причину волноваться.

Таким образом в этот великий день было совершено два освобождения: получили право новой жизни Висленев и Бодростин, и оба они были обязаны этим Глафире, акции которой, давно возвышенные на светской бирже, стали теперь далеко выше пари и на базаре домашней суеты. Оба они были до умиления тронуты; у старика на глазах даже сверкали слезы, а Висленев почти плакал, а через час, взойдя в кабинет Бодростина, фамильярно хлопнул его по плечу и шепнул:

– А что, дядя: ведь мы свободны!

Михаил Андреевич вспомнил, что он сумасшедший, и не рассердился, а Жозеф, еще похлопав ободрительно Бодростина, пошел к Глафире и спросил:

– Можно ли мне пойти погулять?

– Куда? – довольно строго спросила его Глафира.

– Ну… так немножко… проветриться.

– Можете, только прошу вас никуда не заходить.

– Нет; куда же заходить?

– Бог вас знает: может быть вы вздумаете показаться брюнетом жене.

– Нет, что вы это! Я скорей бы с удовольствием зашел на минутку к Ванскок, потому что я эту высокую женщину вполне уважаю…

– Нет, нет: этого нельзя.

– Отчего же? Она ведь очень, очень честная.

– Ну, просто нельзя.

Висленев стоял: ему страсть хотелось побывать у Ванскок, и он ждал разрешения: почему же ему этого не позволяют?

Глафира это поняла и отвечала ему на его безмолвный вопрос:

– Да неужто вы даже этого не понимаете, почему женщина может не желать, чтобы человек не был у другой женщины, которую он еще, к тому же, хвалит?

– Нет, понимаю, понимаю! – воскликнул в восторге Висленев и убежал, отпросившись в театр, но с намерением забежать по дороге к Ванскок.

Владея натурой быстрой, поднимавшейся до великого разгара страстей и вслед затем падавшей до совершенного бесстрастия, Глафира никогда не предполагала такого измельчания характеров, какое увидела при первых же своих столкновениях и победах. Все это делало в ее глазах еще более мелкими тех людей, с которыми она сталкивалась, и она теперь еще больше не жалела о своем утреннем визите к генералу. В ней мелькнула уверенность, что если Горданов ее еще до сих пор и не выдал, то непременно выдаст в минуту опасности, если дело убийства пойдет неладно.

В Петербурге теперь ничто более ее не задерживало, а Михаил Андреевич, после тех передряг, какие он перенес здесь, сам рад был расстаться с Северною Пальмирой. Бодростина решила, что им нужно уехать в деревню.

Решение это не встретило ни малейшего противоречия, и день отъезда был назначен вскоре.

В три-четыре дня, которые Глафира провела в Петербурге, она виделась только с братом и остальное время все почти была дома безвыходно. Один раз лишь, пред самым отъездом, она была опять у генерала, благодарила его за участие, рассказала ему, что все дело кончено миролюбиво, и ни о чем его больше не просила.

Казимира уехала из Петербурга в тот же день, что и было совершенно уместно, потому что Глафира Васильевна, сообщая генералу о своем успехе в этой сделке, улыбаясь, передала ему клочки разорванного Казимирой векселя.

«Это большая шельма, это тонкая барыня», – подумал генерал и оставил эти клочки у себя, причем Глафире показалось, и совершенно небезосновательно, что его превосходительство не без цели завладел этими клочками, потому что он обмолвился при ней, сказав про себя:

– Таковы-то и все у них слуги верные.

Висленев, прослушав оперу «Руслан», забежал-таки к честнейшей Ванскок и сообщил ей, что он спирит и ведет подкоп против новейших перевертней, но та выгнала его вон. В день отъезда он раньше всех впрыгнул в карету, которая должна была отвезть их на железную дорогу, и раньше всех вскочил в отдельное первоклассное купе.

Михаил Андреевич сидел посреди дивана, обитого белым сукном: он был в легком, светлом пиджаке, в соломенной шляпе, а вокруг него, не сводя с него глаз, как черные вороны, уселись: Глафира, Горданов и Висленев. С ними же до Москвы выехал и наследник Бодростина Кюлевейн.

В Москве они остановились на три дня, но в эти три дня случилось небольшое происшествие.

Желая вознаградить себя за сидение в Петербурге, Жозеф, призаняв у Глафиры Васильевны двадцать пять рублей, носился по Москве: сделал визиты нескольким здешним гражданам, обедал в «Эрмитаже», был в театре и наконец в один вечер посетил вместе с Гордановым и Кюлевейном «Грузины», слушал там цыган, пил шампанское, напился допьяна и на возвратном пути был свидетелем одного неприятного события. Кюлевейн, которого вместе с Висленевым едва посадили в карету, вдруг начал икать, как-то особенно корчиться и извиваться червем и на полдороге к гостинице умер.

Событие было самое неприятное, страшно поразившее Бодростина, тронувшее, впрочем, и Глафиру; однако тронувшее не особенно сильно, потому что Глафира, узнав о том, где были молодые господа прежде трагического конца своей гулянки, отнеслась к этому с крайним осуждением. Висленев же был более смущен, чем поражен: он не мог никак понять, как это все случилось, и, проснувшись на другое утро, прежде всего обратился за разъяснениями к Горданову, но тот ему отвечал только:

– Ты уж молчи по крайней мере, а не расспрашивай.

– Нет, да я-то что же такое тут, Паша; я-то что же? отчего же мне не расспрашивать?

– Отчего тебе не расспрашивать? будто ты не знаешь, что ты сделал?

– Я сделал, что такое?

– Ты сделал, что такое? Не ты разве давал ему содовые порошки?

– Ну я, ну так что ж такое! Но я вообще сам был немножко, знаешь, того.

– Да, немножко того, но, однако, дело свое сделал. Нет, я, черт тебя возьми, с тобой больше пьяным быть не хочу. С тобой не дай бог

на одной дороге встречаться, ишь ты, каналья, какой стал решительный…

Висленев испугался; однако не без некоторого удовольствия поверил, что он решительный.

Между тем Кюлевейна схоронили; поезжане еще пробыли в Москве по этому поводу лишних три дня, употребленные частью на хлопоты о том, чтобы тело умершего кавалериста не было вскрыто, так как смерть его казалась всем очевидною. Врач дал свидетельство, что он умер от удара, и концы были брошены, если не в воду, то в могилу Ваганькова кладбища.

Михаил Андреевич оставался без наследника и заговорил с Ропшиным о необходимости взять из Опекунского Совета духовное завещание.

Крылатые слова, сказанные об этом стариком, исполнили глубочайшего страха Глафиру. Она давно не казалась такою смятенною и испуганною, как при этой вести. И в самом деле было чего бояться: если только Бодростин возьмет завещание и увидит, что там написано, то опять все труды и заботы, все хлопоты и злодеяния, все это могло пойти на ветер.

Горданов по этому поводу заявил мысль, что надо тут же кончить и с Бодростиным, но две смерти разом имели большое неудобство: Глафира признала это невозможным и направила дело иначе: она умолила мужа подождать и не возмущать теперь души ее заботами о состоянии.

– На что оно мне? на что? – говорила она, вздыхая, – мне ничего не нужно, я все отжила и ко всему равнодушна, – и в этих ее словах была своя доля правды, а так как они высказывались еще с усиленною задушевностью, то имели свое веское впечатление.

– Не узнаю, не узнаю моей жены, – говорил Бодростин. – А впрочем, – сообщил он по секрету Ропшину, – я ей готовлю сюрприз, и ты смотри не проговорись: восьмого ноября, в день моего ангела, я передам ей все, понимаешь, все как есть. Она этого стоит.

– О, еще бы! – воскликнул Ропшин и, разумеется, все это сообщил Глафире Васильевне.

Положение секретаря было ужасное: два завещания могли встретиться, и третий документ, о котором замышлял Бодростин, должен был писаться в отмену того завещания, которое сожжено, но

которое подписывал в качестве свидетеля Подозеров… Все это составляло такую кашу, в которой очень не мудрено было затонуть с какою хочешь изворотливостью.

– Но вы, Генрих, разве непременно будете свидетельствовать, что вы подписывали не то завещание, которое лежит в конверте?

– Я не знаю; я падаю духом при одной мысли, что все откроется.

– Мы поддержим ваш дух, – прошептала, сжав его руку, Глафира. – За вашу преданность мне, Генрих, я заплачу всею моею жизнью. Только подождите, – дайте мне освободиться от всех этих уз.

– Да; пора, – отвечал смелее, чем всегда, Ропшин.

Глафире это показалось очень неприятно и она прекратила разговор, сказав, что против свидетельства Подозерова она примет верные меры, и долго совещалась об этом с Гордановым.

Висленев же, чем ближе подъезжал к родным местам, тем становился бойче и живее: пестрое помешательство у него переходило в розовое: он обещал Горданову устроить рандевушку с сестрой, пробрав ее предварительно за то, что она вышла за тряпку, а сам постоянно пел схваченную со слуха в «Руслане» песню Фарлафа:

Близок уж час торжества моего,
Могучий соперник теперь мне не страшен.

– Да; только гляди, Фарлаф, не сфарлафь в решительную минуту, – говорил ему Горданов, понимая его песню.

– О, не сфарлафлю, не сфарлафлю, брат, – мне уж надоело. Пора, пора: мне Глафира и ее состояние, а тебе моя сестра, и я дам вам десять тысяч. Помогай только ты мне, а уж я тебе помогу.

Глава двадцать шестая
Маланьина свадьба

Один известный французский рецензент, делая обзор русского романа, дал самый восторженный отзыв о дарованиях русских беллетристов, но при том ужаснулся «бедности содержания» русского романа. Он полагал, что усмотренная им «бедность содержания» зависит от сухости фантазии русских романистов, а не от бедности самой жизни, которую должен воспроизводить в своем труде художник. Между тем, справедливо замеченная «бедность содержания» русских повестей и романов находится в прямом соотношении к характеру русской жизни. Романы, сюжеты которых заимствованы из времен Петра Великого, Бирона, Анны Ивановны, Елисаветы и даже императора Александра Первого, далеко не безупречные в отношении мастерства рассказа, отнюдь не страдают «бедностью содержания», которая становится уделом русского повествования в то время, когда, по чьему-то характерному выражению, в романе и повести у нас варьировались только два положения: «влюбился да женился, или влюбился да застрелился». Эта пора сугубо бедных содержанием беллетристических произведений в то же самое время была порой замечательного процветания русского искусства и передала нам несколько имен, славных в летописях литературы по искусству живописания. Воспроизводя жизнь общества, отстраненного порядком вещей от всякого участия в вопросах, выходящих из рам домашнего строя и совершения карьер, романисты указанной поры, действуя под тяжким цензурным давлением, вынуждены были избрать одно из оставшихся для них направлений: или достижение занимательности произведений посредством фальшивых эффектов в сочинении, или же замену эффектов фабулы высокими достоинствами выполнения, экспрессией лиц, тончайшею разработкой самых мелких душевных движений и микроскопическою наблюдательностью в области физиологии чувства. К счастию для русского искусства и к чести для наших писателей, художественное чутье их не позволило им увлечься на вредный путь фальшивого эффектничанья, а обратило их на второй из указанных путей, и при

«бедности содержания» у нас появились произведения, достойные глубокого внимания по высокой прелести своей жизненной правды, поэтичности выведенных типов, колориту внутреннего освещения и выразительности обликов. У нас между художниками-повествователями явились такие мастера по отделке, как в живописи Клод Лоррен – по солнечному освещению, Яков Рюисдаль – по безотчетной грусти тихих сцен, Поль Поттер – по умению соединять в поэтические группы самых непоэтических домашних животных и т. п. Если история живописи указывает на беспримерную законченность произведений Жерарда Дова, который выделывал чешуйки на селедке и, написав лицо человека, изобразил в зрачках его отражение окна, а в нем прохожего, то и русская словесность имела представителей в работах, которых законченность подробностей поразительна не менее, чем в картинах Жерарда Дова. Большая законченность рисунка стала у нас необходимым условием его достоинств. Картины с композицией, более обширною, при которой уже невозможна такая отделка подробностей, к какой мы привыкли, многим стали казаться оскорблением искусства, а между тем развивающаяся общественная жизнь новейшей поры, со всею ее правдой и ложью, мимо воли романиста, начала ставить его в необходимость отказаться от выделки чешуек селедки и отражения окна в глазу человека. В обществе проявилось желание иметь новые картины, захватывающие большие кругозоры и представляющие на них разом многообразные сцены современной действительности с ее разнообразными элементами, взбаламученными недавним целебным возмущением воды и ныне оседающими и кристаллизующимися в ту или другую сторону. Новейшая литература сделала несколько опытов представить такие картины, и они приняты обществом с удовольствием и вместе с недоумением. Публика всматривалась в них и видела на полотне общий знакомый вид, но ей не нравилась неровность отделки. Ей хотелось соединения широких комбинаций с мелочами выполнения на всех планах. Явились и в этом роде опыты, которые и были встречены неравнодушно, но мелкость отделки наводила скуку; и вместо жизни и колорита являлась одна пестрота, уничтожавшая картину.

Когда в русской печати, после прекрасных произведений, «бедных содержанием», появилась повесть с общественными вопросами («Накануне»), читатели находили, что это интересная повесть, но

только «нет таких людей, какие описаны». С тех пор почти каждое беллетристическое произведение, намекающее на новые кристаллизации элементов, встречалось с большим или меньшим вниманием, но с постоянным недоверием к изображению нового кристалла. В нем узнавали только нечто похожее на действительность, но гневались на недостатки, неполноту и недоконченность изображения и потом через несколько времени начинали узнавать в нем родовые и видовые черты.

Это же самое происходит отчасти с изображаемыми в этом романе двумя лицами: Подозеровым и его женой Ларисой, и особенно с последней. По отношению к первому, снисходительнейшие читатели еще милостиво извиняют автора приведением в его оправдание слов Гоголя, что «хорошего русского человека будто бы рельефно нельзя изображать», но зато по отношению к Ларе суд этот гораздо строже: автор слышит укоризны за неясность нравственного образа этой женщины, напоминающей, по словам некоторых судей, таких известных им лиц, которые, «не называясь умопомешанными, поступают как сумасшедшие».

В этом сходстве, которое находят между Ларой и знакомыми читателям с известной стороны лицами, автор видит для себя достаточное успокоение.

Действуя под неотступным давлением сомнений, без сильных влечений и антипатий, при безмерности довольно мелкого самолюбия и крайнем беспокойстве воображения, Лариса в течение года своего замужества с Подозеровым успела пройти большую драму без действия, с одним лишь глухим, безмолвным протестом против всего и с оскорбляющим жизнь бесстрастием. Между тем утром, перед наступлением которого Катерина Астафьевна Форова, окупировав «Маланьину свадьбу», уснула с намерением идти на другой день на смертный бой с Ларой, и между нынешним днем, когда мы готовы снова встретить Ларису, лежит целая бездна, в которой нет ничего ужасающего, а только одна тягость и томление, уничтожающие всякую цену жизни.

Пробежим вскользь это грустное существование, приостанавливаясь лишь на минуты на главных его эпизодах.

Первое утро медового месяца Лары было началом новых несогласий между ею и людьми, принимавшими в ней живое участие.

Катерина Астафьевна, проспав в это утро несколько долее обыкновенного, очень удивилась, когда, придя к новобрачным, застала все в полном порядке, но в таком порядке, который был бы уместен в обыкновенной поре жизни, а не на второй день супружества. Подозеров занимался в кабинете, а Лара, совсем одетая, сидела на своем обычном месте, в гостиной, и читала книгу. Катерине Астафьевне не с чего было начать войны, в целях которой она сюда прибыла. Это еще более рассердило майоршу, и, походив из угла в угол пред сидящею Ларисой, она, наконец, остановилась и спросила:

– Ну, что же, ты счастлива?

– Очень, – отвечала с тихим наклонением головы Лара.

– Что же ты так отвечаешь?

– Как же вам отвечать, ma tante?[88]

– Как?.. Тетка ее спрашивает: счастлива ли она?.. а она жантильничает. – Катерина Астафьевна вздохнула, встала и добавила, – пойду к твоему мужу: так ли он счастлив, как ты?

Придя к Подозерову, она, к удивлению своему, увидала, что и он ничем не смущен, а, напротив, как будто только еще более сосредоточен и занят делом, за которым она его застала.

– Что это такое, что и в такой день вас занимает? – спросила она.

– А это женины дела по залогу ее дома, – отвечал Подозеров, подавая стул тетке.

– Что же в них, в этих делах?

– Гм… ну, я надеюсь, что можно будет кое-как вывернуться.

– Можно?

– Да; по крайней мере я так думаю.

– Что же, это хорошо, – ответила, не думая что говорит, Форова и, худо скрывая свое неудовольствие, очень скоро ушла к Синтяниной, к которой явилась оживленная искусственною веселостью, и, комически шаркая и приседая, принесла генеральше поздравления.

– С чем? – спросила та.

– Ни с чем, – отвечала ей майорша и рассказала, что она застала у новобрачных, скрыв, впрочем, то, что муж ее видел ночную прогулку Подозерова под дождем и снегом. Это было так неприятно Катерине Астафьевне, что она даже, злясь, не хотела упоминать об этом событии и, возвратясь домой, просила майора точно также ничего никогда не

говорить об этом, на что Филетер Иванович, разумеется, и изъявил полное согласие, добавив, что ему «это наплевать».

Но чем кротче это всеми принималось, тем более Форова обнаруживала беспокойства и желания проникнуть в тайну семейного быта новобрачной племянницы и изобретала в своей голове планы, как бы за это взяться, и сердилась, когда Синтянина, кротко выслушивая эти планы, или разбивала их, или шутила и говорила, что майорше просто нечего делать.

– Люди поженились и живут, и пусть их живут, – говорила Синтянина, но Форова думала не так: «Маланьина свадьба» казалась ей не браком, а какою-то глупостью, которая непременно должна иметь быстрый, внезапный и грустный конец, но самим новобрачным майорша этого, разумеется, не высказывала, да вскоре перестала говорить об этом и Синтяниной и своему мужу, так как первая в ответ на ее пророчества называла ее «сорокой», а второй, не дослушивая речей жены, отвечал:

– Оставь, пожалуйста, матушка: мне это наплевать.

– Это вы на брак-то, господин Форов, плюете?

– Да.

– Ну, так вы дурак?

– Ну, так что же такое, что дурак?

– То, что брак это наша святыня жизни.

– Ну, так что же такое, и наплевать.

Форова нетерпеливо сердилась на эти отзывы, но потом перестала обращать на них внимание и зато еще более усердно занималась шпионством за племянницей и заботой, дабы вместо форменного союза ее с мужем между ними возник крепкий союз сердечный.

К осуществлению таких хлопот Катерине Астафьевне не замедлил представиться случай: финансовые дела Ларисы, да и собственная хлопотливость Подозерова не давали ему пребывать в покое. Оставив службу по неудовольствию с Бодростиным, он теперь, женившись, не мог ехать и *в* Петербург, тем паче, что брат Глафиры Грегуар, значительно переменившийся с тех пор, как знал его Подозеров, не отозвался на его письмо, да Подозерову, в его новом положении, уже невозможно было ограничиваться теми бессребренническими желаниями, какие он высказывал в своем письме к Грегуару, когда просил взять его хоть в писаря. Надо было думать о хлебе более

питательном, и в этом случае Подозерову оказал непрошенную, но очень важную услугу генерал Синтянин.

Муж Александры Ивановны в эту пору сделался особенно приязнен с Катериной Астафьевной, охотнее всех выслушивал ее неудовольствия на «глупый характер» Ларисы и, действительно, сочувствовал положению Подозерова.

– Да-с, – говорил он, – мне Андрей Ивановича жаль-с: я всегда говорил, что Лариса Платоновна – особа очень поэтическая-с, а все эти поэтические особы очень прозаичны-с. Да-с, им надо угождать, да угождать.

– Да ведь неизвестно, Иван Демьяныч, в чем им и угождать-то-с.

– Все знаю-с: таким поэтическим барышням надо за старичков выходить, те угодливее: она будет капризничать, а он пред ней на коленочках стоять.

– Или, еще лучше, за казачьих офицеров, – вмешался майор Форов, – потому что казак как раз за нагайку возьмется и поэтическое недовольство получит исход.

Оригинальное мнение майора заставило генерала рассмеяться, а Катерина Астафьевна вспыхнула и, сказав мужу, что нагайка была бы уместнее на тех, кто рассуждает так, как он, выжила его из комнаты, где шла эта беседа.

Предпочтение, которое Катерина Астафьевна оказывала в эту пору разговорам с генералом, подвигнуло и его принять участие в заботах о судьбе новобрачных, и Иван Демьянович, вытребовав к себе в одно прекрасное утро майоршу, сообщил ей, что один петербургский генерал, именно тот самый, у которого Глафира искала защиты от Горданова, Кишенского и компании, купил в их губернии прекрасное имение и по знакомству с Иваном Демьяновичем просил его рекомендовать из местных людей основательного и честного человека и поставить его немедленно в том имении управителем.

– Так что же, батюшка Иван Демьяныч. Андрюшу туда поставьте, – воскликнула Форова.

– Да я так-с было и думал ему предложить.

– Ему, ему, непременно ему, потому что, во-первых, честней его человека нет, а потом он и основательный, да ему это теперь и нужно.

– Что ж: я очень рад служить, если это ему будет по вкусу.

– Помилуйте, отчего же не по вкусу; он любит уединение и пусть живет в деревне, да и она там скорее одумается.

Катерина Астафьевна побежала послом к Подозерову и через несколько минут возвратилась с его согласием и благодарностию, а через два дня Андрей Иванович уже уехал на свой новый пост принимать имение и устраивать себе там жилье.

Этим временем Катерина Астафьевна, без всякого приглашения со стороны Ларисы, явилась к ней погостить и слегка бунтовала, нарушая учрежденный Ларисой порядок жизни. Майорша, под предлогом рассеянности, беспрестанно перетаскивала из кабинета Подозерова в комнату Лары разные мелкие вещи, но Лара тихо, но тщательно возвращала их опять в кабинет; Катерина Астафьевна постоянно заговаривала с Ларой о ее муже и о ее делах, но та уклонялась от этих разговоров и старалась читать. Кончилось это тем, что тетка с племянницей ссорились, выражая, впрочем, свой гнев разными способами: майорша – язвительными словами, а Лариса – упорным молчанием и кажущеюся нечувствительностью.

Наконец Катерина Астафьевна не выдержала и спросила:

– Ты, кажется мне, вовсе не любишь своего мужа?

Лара промолчала.

– Слышишь, о чем я с тобой говорю? – загорячилась, толкая свой чепец, Форова.

– Слышу; но не знаю, почему это вам так кажется?

– А отчего же ты про него ничего не говоришь?

– Какая странная претензия!

– Нисколько не странная: я сама женщина и сама любила и знаю, что про любимого человека говорить хочется. А тебе верно нет?

– Нет; я не люблю слов.

– Не любишь слов, да и живешь скверно.

– Как же я живу?

– «Как живу!» Скверно, сударыня, живешь! У вас скука, у вас тоска, у вас дутье да молчанка: эта игра не ведет к добру. Лариса! Ларочка! я тебе, от сердца добра желая, это говорю!

И Форова закрыла ладонями рук страницы книги, которую читала Лариса.

– Ах, как это несносно! – воскликнула Лара и встала с места.

Майорша вспыхнула.

– Лариса! – сказала она строго, отбросив книжку, – ты мне не чужая, а своя, я сестра твоей матери.

Но Лара перебила ее нетерпеливым вопросом:

– Чего вы от меня, тетушка, хотите? Муж мой что ли прислал вас ко мне с этими переговорами?

– Нет; твой муж ничего не говорил мне; а я сама… ты знаешь, какая история предшествовала твоей свадьбе…

Лара покраснела и отвечала:

– Никакой я не знаю истории и никакой истории не было.

– Лара, ты должна постараться, чтобы твоего мужа ничто не смущало, чтоб он, закрыв венцом твой неосторожный шаг, был уверен, что ты этого стоишь.

– Надеюсь, что стою.

– Да что же ему-то из этого проку, что ты стоишь, да только молчишь, супишься, да губы дуешь: велика ли в этом радость, особенно в самом начале.

– Ну, что же делать, когда я такая: пусть любят такую, какая я есть.

– Капризов нельзя любить.

– Отчего же: кто любит, тот все любит.

– Ну, извини меня, а уж скажу тебе, что если бы такие комедии на первых порах, да на другой нрав…

– Ничего бы не было точно так же.

– Ни до чего нельзя договориться! – вскричала, схватясь с места, Катерина Астафьевна и начала собираться домой, что было привычным ее приемом при всяком гневе.

Лариса молчала и не останавливала тетку, что ту еще более бесило.

– Тупица, капризница и бесчувственная! – произнесла на прощанье Форова и, хлопнув дверью, вышла, слегла и занемогла от крайней досады, что не только не может ничего уладить, но даже не в состоянии сама себе уяснить, почему это так скверно началось житье у племянницы с мужем.

Бестолковая «маланьина свадьба» сокрушала Катерину Астафьевну, да и недаром.

Глава двадцать седьмая
Куда кривая выносит

Подозеров был весь поглощен занятиями по своим новым обязанностям. Вступив в управление и упорядочив кое-как на скорую руку давно заброшенный флигелек, он приехал в город на короткое время и тут же, уладив отсрочку по закладу Ларисиного дома, успокоил жену, что дом ее будет цел и что она может жить, не изменяя никаким своим привычкам, и сам снова уехал в деревню. Дело поглощало все его время, так что он, возвращаясь к ночи домой, падал и засыпал как убитый и, приехав к жене после двух недель такой жизни, был неузнаваем: лицо его обветрело, поступь стала тверже, голос решительнее и спокойнее, что, очевидно, было в прямом соотношении с состоянием нервов.

Он опять пробыл в городе сутки, справился о состоянии и нуждах жены, все что нужно устроил и уехал.

Ларису это смутило.

– Что же это: неужто он хочет постоянно вести такую жизнь? Неужто он мною пренебрегает?.. О, нет! Разве это возможно!

Лариса вскочила, схватила зеркало и, разглядывая себя, повторила:

– Нет, нет, это невозможно!

– Да и за что же? – раздумывала она, ходя по своей одинокой зале. – За то, что я немножко капризна, но это мое воспитание виновато, но я не зла, я ничего дурного несделала… и Господи, какая скука!

Она провела ночь без сна и несколько раз принималась плакать, а утром написала Форовой, прося ее прийти, с тем чтобы взять лошадей и прокатиться к Подозерову, навестить его сюрпризом.

Вместо ответа на это приглашение к Ларисе явились майор и Евангел, и первый из них сейчас же, полушутя, полусерьезно, сделал ей выговор, зачем она писала.

– Во-первых, – говорил он, – разве вы не знаете, что моя жена нездорова, а во-вторых, у нас нет людей для разноски корреспонденции.

– Тетя больна! – воскликнула Лариса.

– А вы этого и не знали.

– Нет, не знала.

– Удивительно! А вы разве у генеральши не бываете?

– Да; я… как-то давно… сижу дома.

– Ага! Впрочем, это до меня не касается, а по предмету вашего посольства скажу вам свой совет, что никакие провожатые зам не нужны, а возьмите-ка хорошую троечку, да и катните к мужу.

– Да, конечно, но… одной скучно, дядя.

– Одной… к мужу… скучно!..

Майор шаркнул ногой, поклонился и проговорил:

– Благодарю-с, не ожидал.

Он приставил ко лбу палец и начал вырубать:

– Молоденькой, хорошенькой дамочке одной к мужу ехать скучно… Прекрасно-с! А при третьем лице, при провожатом вроде старухи-тетки, вам будет веселей… Нет, нет, именно: благодарю, не ожидал. Мне это напоминает Поль-де-Коковскую няньку, охранительницу невинности, или мадемуазель Жиро…

– Дядя! – воскликнула Лариса, с желанием остановить майора от дальнейших сравнений.

– Чего-с?

– Как вы говорите?

– А как еще с вами надо говорить? Вы чудиха и больше ничего; вас надо бы как непоседливую курицу взбрызнуть водой, да жигучею крапивкой пострекать.

– Вы циник.

– И что же такое? я этим горжусь. Зато у меня нет никаких потаенных безнравственных мыслей и поступков: я не растлеваю ничем моей головы и знаете, что я вам скажу, мое милое дитя: я против вас гораздо целомудреннее, даже я пред вами сама скромность и добродетель.

– Дядя! Вы, кажется, не думаете, что вы говорите.

– Нет, я думаю-с, и по самому зрелому размышлению не верю в вашу добродетель. Тсс… тсс… тсс!.. позвольте мне договорить. Я всегда имел большое доверие к женщинам простого, естественного взгляда на жизнь и никогда в этом не каялся. Брехливая собачка чаше всего только полает, а молчаливая тяпнет там, где и сама не думает; а

вы ведь весь свой век все отмалчиваетесь и до сих пор вот тупите глазки, точно находитесь в том возрасте, когда верят, что детей нянька в фартучке приносит.

Лара молчала.

– Это прескверно-с, – продолжал майор, – и если бы вы, выходя замуж, спросили старика-дядю, как вам счастливее жить с мужем, то я, по моей цинической философии, научил бы вас этому вернее всякой мадам Жанлис. Я бы вам сказал: не надейтесь, дитя мое, на свой ум, потому что, хоть это для вас, может быть, покажется и обидным, но я, оставаясь верным самому себе, имею очень невысокое мнение о женском уме вообще и о вашем в особенности.

– Дядя! Да что же это наконец такое?

– Не сердитесь-с, не сердитесь.

– Но вы уже говорите мне невыносимые дерзости.

– Я говорю вам только правду, сущую правду, которую подлец не скажет. Подлец будет вам напевать, что вы красавица и умница, что у вас во лбу звезда, а под косой месяц, а я вам говорю: вы не умны, да-с; и вы сделали одну ошибку, став не из-за чего в холодные и натянутые отношения к вашему мужу, которого я признаю большим чудаком, но прекрасным человеком, а теперь делаете другую, когда продолжаете эту бескровную войну не тем оружием, которым способны наилучше владеть ваши войска. Извините меня, что я вам скажу: вы не должны ни о чем думать. Да-с, положительно так! Ум… ум не всем дается-с, и это штука, сударыня моя, довольно серьезная; это орудие, которым нужно владеть с тонким расчетом, тут нужны хорошо обученные артиллеристы, но вам это и не нужно, и именно потому, что у вас пейзаж очень хорош: вы рисунком берите. Да-с; пусть ум остается на долю дурнушек, которым, чтобы владеть человеком, нужны черт знает какие пособия высшей школы: и ум, и добродетели, и характер; а вы и женщины, вам подобной живописи, имеете привилегию побеждать злополучный мужской пол, играя на низшем регистре. То есть я это все говорю в рассуждении того, что вы ведь очень хороши собою…

– Да; но я клянусь, что едва ли какая-нибудь красивая женщина слыхала такие странные комплименты своей красоте.

– Ну, вот видите ли: я веду серьезный разговор, а вы называете мои слова то дерзостями, то комплиментами, тогда как я не говорю ни того, ни другого, а просто проповедую вам великую вселенскую

правду, которая заключается в том, что когда красивая женщина не хочет сделать своей красоты источником привязанности избранного человека, а расплывается в неведомо каких соображениях, то она не любит ни этого человека, ни самое себя, то есть она, попросту говоря, дура.

– Тсс!.. полно ты, полно грубиянить, – остановил его Евангел.

– А что ж, разве я не прав! Красота – сила, и такая здоровенная, что с нею силы, гораздо ее совершеннейшие, часто не справятся.

Евангел молчал и созерцал тоже молчавшую и морщившую свой белый лоб Ларису, а Форов, скрутив и раскурив новую папиросу, продолжал:

– Поверьте мне, прекрасная племянница, что тысячи и тысячи самых достойнейших женщин не раз втайне завидуют легкости, с которою красавицам дается овладевать привязанностями самых серьезных и честных людей. Что там ни говорите, женщин добродетельных люди уважают, а красивых – любят. Это очень несправедливо, но что делать, когда это всегда уж так было, есть и будет! Вон еще в библейской древности Иаков Лию не любил, а Рахиль любил, а я Рахиль не уважаю.

– Ты этого не смеешь, – прошептал Евангел.

– Нет, очень смею: она, как все красавицы, была и своенравна, и не умна.

– Ты этого не знаешь.

– Напротив, знаю, а это вы, батюшка, по своему иезуитству изволите это отрицать.

– Ты врешь.

– Прекрасно! Значит, вы одобряете, как она мужа в наем отдавала?

Евангел махнул молча рукой.

– Ага! – продолжал Форов, – и все красавицы таковы, и потому-то справедливая природа так и разделяет, что одним дает красоту, а другим – ум и добродетель.

– Дядя, но ведь это уже в самом деле… по крайней мере резкость: вы во второй раз называете меня дурой.

– Да, ты постоянно резок; даже уж очень резок, – вмешался Евангел и пояснил мягко, что хотя замеченный Форовым раздел действительно как будто существует, но в этом виновата не природа, для которой нет оснований обделять прекрасное тело добрыми

свойствами, а виноваты в том люди, потому что они красавицам больше прощают, больше льстятся и тем кружат им головы и портят сердца, делают их своенравными, заносчивыми, и тогда уж плохо тем, кому придется с такою женщиной жить.

– Все это ложь, все расточаемая ложь виновата, – твердил он, – и таковых испорченных красавиц надо обильно жалеть, потому что как бы они могли быть прекрасны, сколько бы они счастья могли принести и себе, и семье, а между тем, как они часто живут только на горе себе и на горе другим. Ведь это предосадно-с, преобидно и преоскорбительно! И вы, Лариса Платоновна, когда вам Бог дарует дочку, подобную вам своею красой, блюдите, Бога ради, сей прелестный цветок от дыхания лести и, сделайте милость, воспрепятствуйте этому грубому мнению, которое имеет насчет красоты ваш циник-дядя: он врет, что красотой успешнее играть на низших регистрах; нет-с, красота, как совершенство природы, должна брать могучие и гармоничные аккорды на самых высших регистрах. Разве не Агнесса Сорель воскресила чувство чести в Карле Седьмом? Разве не Ментенон поселила в Людовике Четырнадцатом любовь к ученым? Разве красота не совершала Данииловых чудес укрощения зверей; разве не показала этого, например, прелестная Дивке над датским Христианом; Настасья Романовна – над нашим Грозным?..

– Ну, пошел причитать! – сказал, смеясь, Форов.

– Именно причитаю, именно причитаю, потому что я долго слушал твою грубость, а в моих устах дрожит хвала Творцу, в Его прелестнейших творениях, и я… я на себе испытал возвышающее действие красоты на высшие регистры моих способностей. Да-с; область красы это самый высокий регистр, она всегда на меня действует. Не могу я видеть ваших затруднений; пусть Филетер остается при жене, а я вас сопровожду к супругу. Да, сейчас сопровожду.

И Евангел сбегал, нанял бодрую тройку ямских коней и через час катил в сумеречной мгле, населяя мреющую даль образами своей фантазии, в которой роились истина, добро и красота, и красота во всем: в правде, в добре, в гармонии. Он всячески старался развлекать молчаливую Лару и все вдохновлялся, все говорил и все старался оправдать, всему найти извинение. Время пролетело незаметно.

– А вот что-то сереет, – заметил Евангел, – и я слышу собачий лай: неужто мы это уже приехали?

– Приехали, – отвечал ямщик.

– Фу, как скоро!

– Лошадок не пожалел, да и ты, батюшка, больно уж складно говоришь и время крадешь.

Евангел на это ничего не отвечал: он с предупредительной угодливостью высаживал Лару, и они, пройдя через небольшие темные сени, вошли в обиталище Подозерова, но не застали его. Андрей Иванович уехал в город.

Это неприятно поразило Лару: она не хотела и взглянуть на помещение мужа и пожелала тотчас же возвратиться назад.

Обратный путь уже не был так оживлен, потому что Евангел точно что-то почуял и молчал под стать Ларе, а ямщик пробовал было завести раза два песню, но обрывал ее ударами кнута по шее лошади и тоже умолкал. Так они и приехали, но не вместе, потому что Евангел встал на повороте к своему жилью, а Лариса вбежала во двор и еще более удивилась: окна ее флигеля были темны.

– Где же это он? У Синтяниных светится на мезонине и в кабинете… неужели он там?

Ревность защемила Ларису.

Она выбежала на крыльцо и, встретив горничную девушку, узнала от нее, что в кабинете сидит генерал и Форов, а на мезонине – глухонемая Вера, а генеральши совсем нет дома.

– Нет дома!.. где же она?

– У Катерины Астафьевны.

У Ларисы словно холодная змея обвилась вокруг сердца.

– Это свидание, – сказала она себе, – они все против меня; они восстановляют против меня моего мужа и может быть теперь, в эти самые минуты, там строятся козни… Но я жена, я имею право… пока еще это не пустило корней.

И Лара торопливыми шагами вышла за ворота, взяла извозчика и велела ехать к Форовым.

Глава двадцать восьмая
Те же раны

Переступив порог коротко знакомой ей калитки форовского домика, Лара остановилась: сквозь отворы неплотных ставень ей была видна комната, где за чайным столом сидели Катерина Астафьевна, а возле нее, друг против друга, Подозеров и Синтянина.

Объятому ревностью сердцу Лары показалось, что эти два лица помещаются слишком близко друг к другу, что лица их чересчур оживлены и что особенно ее муж находится в возбужденном состоянии. На каждое слово Синтяниной он отвечает целыми длинными репликами и то краснеет, то бледнеет.

Лара употребила все усилия, чтобы подслушать эту беседу: разговор шел о ней.

– Нет, ни вы, тетушка, ни вы, Александра Ивановна, не правы, – говорил ее муж.

– Ах, батюшка: я уже молчу, молчу, – отвечала Форова. – Я говорила, говорила, да и устала, ум помутился и язык притупился, а все одно и то же: тебя спросишь, выходит, что ты доволен женой и что вы будто живете прекрасно, и жена твоя тоже своею жизнью не нахвалится, а на наш взгляд жизнь ваша самая отвратительная.

– Чем-с? вы скажите же, чем?

– Тем, что она самая скучная, что же тут похвалить?

– Мы не ссорились и, вероятно, никогда не поссоримся.

– Ах, милый племянник, извини пожалуйста: я стара, меня этим не обманешь: лучше бы вы ссорились, да поссорившись, сладко мирились, а то… нечему, нечему радоваться.

– Маленькая ссора часто то же самое, что гроза, после нее воздух чище и солнце светит ярче, – молвила генеральша.

Подозеров вспыхнул.

– Ведь вы меня просто пытаете, – сказал он. – Я целый час пробыл здесь в цензуре, какой не ожидал. Вы уяснили меня себе при мне самом. Это очень оригинальное положение. По-вашему, я виноват в том, что моя жена не весела, не счастлива и… и может быть не знает, чего ей надо. Вы делаете мне намеки, прямой смысл которых, если

позволите прямо выразиться, заключается в том, что продолжение жизни в таком порядке, каким она началась, может повести к бедам. То есть к каким же это бедам? Я помогу вам объяснить это: вы пугаете меня охлаждением ко мне моей жены и… и всем, что за этим может следовать при ее красоте и молодости. Должен признать, что вы правы, но так как мы здесь все друзья и ведем разговор не для того, чтобы спорить и пререкаться, а для того, чтобы до чего-нибудь договориться, то я вам, если угодно, выскажу, что у меня на душе. Лара не вправе требовать от меня горячей и пылкой любви.

– Тогда для чего же вы на ней женились?

– Потому что она этого хотела.

Обе женщины невольно переглянулись.

– Позвольте, – молвила генеральша, – но ведь вы Лару любили?

– У меня была к ней привязанность, доходившая до обожания.

– И отчего же она вдруг исчезла? – подхватила Форова.

– Нет, не вдруг, Катерина Астафьевна, но, впрочем, довольно быстро.

– По какой же это причине?

– Причина? – повторил Подозеров. – А причина та, что Александра Ивановна дала мне очень хороший урок.

Генеральша покраснела и, нагнувшись к работе, проговорила:

– Что? что? Я вам давала урок против Лары?

– Нет, за Лару.

– Где и когда?

– Вечером, накануне дуэли, в вашем осиновом лесочке.

Подозеров припомнил Синтяниной, что в том разговоре она убеждала его, что штудировать жизнь есть вещь ненормальная, что молодой девушке нет дела до такого штудированья, а что ей надо жить, и человеку, который ее любит, нужно «добиваться» ее любви.

– Я в самом деле нашел, что это справедливо и что у такой женщины, как Лара, любви надо добиваться. Но чтобы добиваться ее, значит жертвовать своими убеждениями, свободой мысли, свободой отношений к честным людям, а я этим жертвовать не могу, потому что тогда во мне не осталось бы ничего.

– Но вы, однако, от ее руки не отказывались?

– Зачем же, когда она мне сама прежде отказала?

– Но ты, батюшка мой, за нее свой лоб подставлял.

– Что же такое? И кроме: того, я не за нее одну стрелялся.

Произошла маленькая пауза, после которой Форова, вздохнув, произнесла:

– Худо же тебе будет жить, моя бедная Лара!

– Напрасно вы ее оплакиваете. Поверьте, что если она вверила мне свою свободу, то я ничем не злоупотреблю. Как она поставила свою жизнь, так она и будет стоять, и я не ворохну ее и буду ей всегда преданнейшим другом.

– Только другом?

– Да; только тем, чем она хочет меня видеть.

– А полна от этого ее жизнь?

– Я не знаю; впрочем, не думаю.

– Ну, а вы же допускаете, что не теперь, так со временем она может пожелать ее восполнить?

– Очень может быть.

– Кто же будет виноват в том, что может произойти?

– Произойти?.. Я не знаю, о чем вы говорите? Если она полюбит кого-нибудь, в этом никто не будет виноват, а если она меня обманет, то в этом, разумеется, она будет виновата.

– А не вы?

– Я!.. С какой же стати? Она мне вверила свою свободу, я верю ей. Кто обманет, тот будет жалок.

– Это значит, что ты ее не любишь, – молвила Форова.

– Думайте как вам угодно, я запретить не властен, но я властен жить для жены и для того, что я считаю достойным забот честного человека.

– С обоими с вами, господа, пива не сваришь, – проговорила генеральша, и, начав собираться домой, добавила: – Оставим все это своему течению.

Вслед за нею поднялся и Подозеров.

Катерина Астафьевна молчала, но, когда Подозеров подал ей руку, она покачала головой и проговорила:

– Нет; кончено все: не она тебя не любит, а ты, Андрюша, к ней равнодушен. Иначе бы так не рассуждал. Жалко мне вас, жалко; очень уж вы оба себя уважаете, лучше бы этого немножко поменьше.

– И главное, что все это не так, – неосторожно молвила, совсем прощаясь, генеральша.

– И именно не так: ох, я вижу, вижу, что тебя что-то другое делает таким неуязвимым и спокойным.

– Вы отчасти правы; но знаете ли, что это такое?

– То-то не знаю, а хотела бы знать.

– Я вас удовлетворю. В жизни моей я пламенно добивался одного: господства над собою, и нынешняя жизнь моя дает обильную пищу этому труду, другого же я ничего не ищу, потому что мне ничего искать не хочется.

Катерина Астафьевна еще раз качнула головой, и гости вышли.

Лариса видела, как они сошли со двора, и пошла рядом и слышала, как Синтянина сказала Подозерову:

– Вы, Андрей Иванович, совершеннейший чудак, и Катя верно отгадывает, что вы уж через меру себя уважаете.

– Да, это быть может, но это единственное средство быть достойным того, что дороже обрывков ничтожного счастия.

Лара вернулась домой почти одновременно с мужем, который ее встретил, испугался немножко ее бледности и никак не мог добиться, где она была.

Она сидела бледная и, держа в своих руках руки мужа, глядела на него острым лихорадочным взглядом.

– Что с тобой, Лариса? – молвил муж. – Ты, может быть, больна?

– Нет; но… я видела тебя…

– Ах, да, я был у Форовых и проводил оттуда генеральшу.

Лариса изо всех сил сжала руки мужа и прошептала:

– Бога ради… оставь ее.

– Что за просьба, Лара?

– Я умоляю тебя! – и Лара заплакала.

– Мой милый друг, – отвечал Подозеров, – я тебя не понимаю, ты видишь, я постоянно занят и живу, никого не видя, один в деревне… За что же ты хочешь лишить меня старых друзей?

– Я буду жить с тобою в деревне.

– Ты соскучишься.

– О, нет, нет, я не соскучусь.

– Ну, прекрасно; это можно будет только летом, когда я устрою что-нибудь более чем две комнаты, в которых мещуся; но и тогда, Лариса, я не могу оставить моих друзей.

– Не можешь?

– Нет, не могу, да и для чего тебе это?

Был момент, удобный для самых задушевных объяснений, но Лариса им не воспользовалась: она встала, ушла к себе и заперлась.

Так и продолжалась жизнь наших супругов в течение целого года: со стороны мужа шла ровная предупредительность, а со стороны Лары – натянутое молчание, прерывавшееся для разнообразия лишь вспышками вроде описанной и заключавшееся тоже внезапным обрывом на недоговоренном слове. Один мотив неудовольствия оставался неизменным: это ревность к генеральше, и как скоро это раз прорвалось наружу и из тайны Лары и ее мужа сделалось известно всему дому, с нею уже не было мирной справы. Александра Ивановна смутилась этим известием, стала тщательно удаляться от встреч с Ларой и еще более с ее мужем: генерал, от внимания которого не могло укрыться это охлаждение, только улыбнулся и назвал Лару «дурой», сказав:

– Она судит, верно, по себе-с.

Форов сказал «наплевать», а Катерина Астафьевна, которая была первою из набредших на мысль о существовании такой ревности и последнею из отрицавших ее на словах, наконец разошлась с племянницей далее всех. Это последовало после отчаянной схватки, на которую майорша наскочила с азартом своей кипучей души, когда убедилась, что племянница считает своею соперницей в сердце мужа нежно любимую Катериной Астафьевной Синтянину, да и самое ее, Форову, в чем-то обвиняет.

– Матушка! – воскликнула, внезапно появясь к Ларисе, едва поправившаяся майорша, – ты что это еще за чудеса откидываешь? сама с мужем жить не умеешь, а чище себя людей мараешь!

И, начав на эту тему, она отчитала ей все, что принесла на сердце, и заключила:

– Стало быть, вот ты какая новейшая женщина; добрая жена радовалась бы, что ее муж не с какими-нибудь вертопрашными женщинами знаком, а дружит с женщиной честнейшею и прекрасною, с такою женщиной, у которой не было, да и нет и не может быть супирантов, а тебе это-то и скверно. Дура ты, сударыня!

– Да, – уронила Лариса, – мне надоели уж все эти причитыванья. Я может быть и гадкая, и скверная, но не могу же я подделываться под

образец Александры Ивановны. Это для меня недостижимо. Я простая женщина и хочу простого с собою обращения.

– Ах, оставь, пожалуйста: какая ты простая и какое с тобою простое обращение возможно, когда к тебе на козе не подъедешь: утром спит, в полдень не в духе, вечером нервы расстроены. Не хотела тебя бранить, но выбранила, тьфу! пусто тебе будь совсем! Прощай и не зови меня теткой.

Этим окончилось объяснение с Ларой, продолжавшей выжидать благого поворота в своей скучной жизни от капризов случая, и случай поспел ей на помощь: случай этот был возвращение Бодростиной со свитой в мирные Палестины отчего края.

Глава двадцать девятая
Неожиданные события

Жозеф не возвратился к сестре, а прямо поселился у Бодростиных и долго не показывался в городе. Ему было совестно ехать туда по двум причинам: во-первых, он не знал, что ответить сестре о деньгах, которые взял под залог ее дома с обещанием возвратить их, а во-вторых, выкрашенные в Берлине волосы его отросли и у него была теперь двуцветная голова: у корня волос белокурая, а ниже – черная. Последнему горю он, впрочем, надеялся помочь при помощи публикуемых «Вальдегановских щеток для отрождения волос в натуральный их цвет», но как сказать сестре, что все деньги, взятые за ее дом, он проиграл в рулетку, еще в ожидании Бодростиной за границу?

Он долго думал и наконец решил, что скажет, будто его обокрали. Нехорошо это немножко, что его все постоянно обворовывают, ну да что же делать?

Прибыли из Петербурга и раствор, и щеточка, которою Жозеф хотел «отродить» свои волосы, но тут он спохватился, что от этой смази волосы его почернеют, тогда как ему, чтобы «отродиться», надо быть блондином.

Приходилось долгожданные Вальдегановские щетки бросить и ждать всего от времени, но тем часом начиналось дело о дуэли, затянувшееся за отсутствием прикосновенных лиц, и произошло маленькое qui pro quo,[89] вследствие которого Глафира настойчиво требовала, чтобы Жозеф повидался с сестрой, и как это ни тяжело, а постарался привести, при ее посредстве, Подозерова к соглашению не раздувать дуэльной истории возведением больших обвинений на Горданова, потому что иначе и тот с своей стороны поведет кляузу.

– Я согласен, совершенно с вами согласен, – отвечал Висленев, – я не люблю его, но раз что уже Подозеров муж моей сестры, я должен его оберегать. Только вот видите, мне нельзя ехать: я весь пестрый.

– Пустяки, мы выпишем Лару сюда.

– Но знаете, я все-таки… не хотел бы… и здесь ей в этом виде предъявляться. Они, провинциалы, еще черт знает как на все на это

смотрят.

– Вы скажетесь больным, сляжете в постель и обвяжете голову.

– Да; вот разве в самом деле так, обвязать голову, это отлично.

– А то можете и обриться.

– Какая мысль! Это еще лучше! Я именно лучше обреюсь и слягу, а вы напишите сестре, что я болен. Только какую бы мне изобресть болезнь?

– Да не все ли равно: ну хоть геморрой.

– Геморрой?

Висленев сделал гримасу.

– Нет, – сказал он, – мне гораздо более нравятся нервы.

– Геморрой, геморрой, вы потому и обреетесь от головной боли.

– Ну, пожалуй.

Все это так и исполнилось: один обрил голову, другая написала письмо к Ларе. Та получила это письмо без мужа и стала в тупик: ехать ей, или не ехать в тот дом, где бывает Горданов?

Малое благоразумие Лары сказало ей, что этого не следовало бы делать, и голос этот был до того внушителен, что Лариса, не видясь с Синтяниной и с теткой, позвала на совет майора.

Филетер Иванович подумал минуту и отвечал, что и по его мнению лучше не ездить.

– Ну, а если мой брат очень болен?

– Не может этого быть.

– Почему же, разве он не человек?

– Не человек-то он это уже положительно не человек, а, кроме того, я вижу явную несообразность в письме: не может быть никаких повреждений в том, чего нет.

– Я вас не понимаю.

– Тут госпожа Бодростина пишет, что у вашего брата страшно болит голова, а разве у него была голова?

– Ах вы, дядя, всегда только злословите.

– А вам, верно, хочется ехать? так вы в таком случае делайте, что вам нравится. О чем же спорить?

– Нет, я вовсе не хочу.

– Ну, да это потому, что я сказал сейчас, что вам «хочется», так вам и расхотелось, а если я скажу «вам не хочется», так вы опять захотите. Я не понимаю, зачем вы спрашиваете у кого-нибудь совета.

– И действительно, лучше не спрашивать.

– Да, конечно-с: вам ведь, чтобы давать благой совет, надо все говорить в противную сторону. Чтобы вы не утопились, вам надо говорить: «утопитесь, Лариса Платоновна», а сказать вам: «не топитесь», так вы непременно утопитесь. Это, положим, штука не мудреная, говорить и таким образом ума хватит, но ведь для этого надо быть немножко вашим шутом или подлецом, вроде тех, кто вам льстит за ваш рисунок, а мне ничто это не по плечу.

– Извините, что я вас побеспокоила: я не знала, что и вы также требовательны, и хотите, чтобы все с вами только соглашались.

– Нет-с, я вовсе, вовсе этого не хочу: я люблю и уважаю в человеке его независимое мнение; но когда спорят не для того, чтобы уяснить себе что-нибудь и стать ближе к истине, а только для того, чтоб противоречить, – этого я терпеть не могу, этим я тягощусь и даже обижаюсь.

– Но я вам, впрочем, и не противоречила.

– И прекрасно, и я не буду вам противоречить, потому что все равно, вы никого не слушаетесь.

Лара промолчала: ей было очень тяжело, она чувствовала, что расходится с последним из всех некогда близких ей людей, и все это ни за что, ни про что, за одно желание быть самой по себе.

– Что же делать? «Покориться, смириться», – говорил ей ее внутренний голос. Она чувствовала, что дядя Форов говорит ей правду, она и сама понимала, что она легко могла всем надоесть своим тяжелым, неприятным характером, и она даже оплакала это несчастие и почувствовала неодолимое влечение поехать к Бодростиной, видеть брата и Глафиру, которая никогда не говорила с нею сурово и всегда ею любовалась.

В тот же вечер Лариса сидела в комнате, где пред открытым окном в сад помещался в глубоком кресле Жозеф, покрытый легким шелковым шлафроком, из отставного гардероба, Бодростина, и в белом ночном колпаке, позаимствованном оттуда же.

Жозеф не говорил сестре о деньгах, а она его о них не спрашивала. К тому же, брат и сестра почти не оставались наедине, потому что Глафира Васильевна считала своею обязанностию ласкать «бедную Лару». Лариса провела ночь в смежной с Глафирой комнате и

долго говорила о своем житье, о муже, о тетке, о Синтяниной, о своем неодолимом от последней отвращении.

– Я не понимаю, что это такое, – передавала она, – я знаю, что она очень честная и добрая женщина, но в ней есть что-то такое… что я не могу переносить.

– В ней слишком много самоуверенности и гордости собою.

– Нет; она ко мне всегда была добра, но… я все это приписываю тому, что о ней так много, много мне говорят: ну, я хуже ее, ну, я не могу быть таким совершенством, но… не убить же мне себя за это.

– Полно, Лара, ты не знаешь себе цены! – перебила Бодростина. – Ты везде и всегда будешь отличена и замечена.

На Ларису повеяло приятным ароматом этой нехитрой лести, и она начала снисходительно великодушничать, настаивая, что во всяком случае признает за Синтяниной достоинства, но… что ей с нею тяжело, и гораздо легче с людьми простыми, грешными и отпускающими чужие прегрешения.

Бодростина одобрила ее чувства, и Лара, проснувшись утром, почувствовала себя прекрасно; день провела весело, хотя и волновалась слегка, что не приехал бы муж и не было бы ему очень неприятно, что она остается в бодростинском обществе. Но Глафира, заметив это, выразила готовность не удерживать Ларису, чтоб избавить ее от неприятностей и перетолков. Лара сейчас же это отвергла и провела день и вечер с братом и с Глафирой, а ночь – исключительно с одною последнею, и на второе утро почувствовала себя еще бодрее и веселее. Доброго настроения ее духа нимало не испортила даже откровенность Жозефа, который, наконец, решился признаться сестре, что он прогусарил ее деньгами, но только уже не оправдывался тем, что его обокрали, как он думал сказать прежде, а прямо открылся, что, переехав границу, куда должен был бежать от преследования за дуэль, он в первом же городе попал на большую игру и, желая поправить трудные обстоятельства, рискнул, и сначала очень много выиграл, но увлекся, не умел вовремя забастовать и проигрался в пух.

Лара не расспрашивала его, как и чем он намерен жить далее и в каком положении его дела, но Жозеф был любопытнее и искренно подивился, что сестрин дом до сих пор не продан.

– Как это ты извернулась? – спросил он и, получив в ответ, что Подозеров как-то сделался с кредиторами, похвалил зятя и сказал, что

он человек аккуратный и деловой и в буржуазной честности ему отказать невозможно.

Но час спустя после этого мнение Жозефа о Подозерове жестоко изменилось. Поводом к этому послужило маленькое обстоятельство, которого Висленев никак не ожидал. Дело заключалось в том, что Глафира Васильевна, получив согласие Ларисы погостить у нее еще несколько дней, посылала в город нарочного с поручением известить, что Лара остается у Бодростиных и что если муж ее приедет в город, то она просит его дать ей знать. Посланный застал Подозерова в городе и возвратился к вечеру с двумя письмами: одним к Ларе, другим – к ее брату. В первом Андрей Иванович просил жену не беспокоиться и гостить сколько ей прогостится, а во втором он сообщал Жозефу, что он приискал человека, который согласен ссудить ему на не особенно тяжких условиях сумму денег, необходимую для выкупа Ларисиного дома, но что этот заимодавец, доверяя деньги Подозерову под его личное обязательство, желает только, чтобы вексель подписали два лица с взаимною друг за друга порукой. Подозеров говорил, что он находит неловким вовлекать в это семейное дело чужих людей, и потому обращается к Иосафу Платоновичу с просьбой, не угодно ли ему будет соблюсти требуемую заимодавцем формальность? «Она вас не привлечет ни к какой ответственности, потому что я верно расчел мои средства, – писал Подозеров, – но если б и встретилась какая-нибудь неточность в моем расчете, то кому же ближе вас пособить поправить это дело вашей сестры?»

Висленев, прочитав это письмо, вспылил, и разорвав листок в мелкие кусочки, воскликнул:

– Каков-с господин Подозеров! что он мне предлагает: ручаться за него; подписывать с ним вексель? Да что у нас с ним общего, кроме того, что моя сестра с ним вокруг налоя походила? Нет, это уж очень ловко!

Слушатели пожелали знать в чем дело, и Жозеф рассказал содержание письма, кое-что утаив и кое-что прибавив, но все-таки не мог изменить дело настолько, чтоб и в его изложении весь поступок Подозерова перестал быть свидетельством заботливости о Ларисе, и потому в утешение Жозефу никто не сказал ни одного слова, и он один без поддержки разъяснял, что это требование ничто иное как большое нахальство, удобное лишь с очень молодыми и неопытными людьми;

но что он не таков, что у него, к несчастию, в подобных делах уже есть опытность, и он, зная что такое вексель, вперед ни за что никакого обязательства не подпишет, да и признает всякое обязательство на себя глупостью, потому что, во-первых, он имеет болезненные припадки, с которыми его нельзя посадить в долговую тюрьму, а во-вторых, это, по его выводу, было бы то же самое, что убить курицу, которая несет золотые яйца.

– Положительно так, это положительно так, – говорил он, – потому что я в этом случае до болезненности щекотлив и чуть я знаю, что кто-нибудь имеет на меня юридические права, я сейчас теряюсь, падаю духом и не могу ничего сочинять, и следовательно и теряю шансы вознаградить сестру. Это я и называю убить курицу, которая может нести золотые яйца.

Его оставили в его гневе и в его самообожании. Бодростина все свое внимание перенесла исключительно на одну Ларису, которая видимо была смущена и равнодушием мужа к ее отсутствию, и его благородными хлопотами о ее делах.

Глафира Васильевна все это повыспросила и, открыв, что Ларе хочется быть любимою мужем, или, по крайней мере, что ее мучит недостаток восторженного обожания с его стороны, пустила в чашу ее бед каплю нового острого яда.

– Ma chère,[90] – сказала она, – такова всегдашняя судьба хорошей и честной женщины. Что бы кто ни говорил, мужчины по преимуществу – порода очень завистливая: все, что им принадлежит по праву, их уже не занимает. Пословица очень верно говорит, что «хороша та девушка, которая другим засватана», и действительно, плохой жених всегда торит дорогу лучшему. Тут у господ мужчин нет гордости и лучший не обижается, что ему предшествовал худший.

– Это не у всех одинаково, – отвечала Лариса, насупив брови, под неприятными воспоминаниями, что муж ее был нечувствителен ни к каким ее приемам; но Бодростина ее опровергла.

Глафира Васильевна обстоятельно доказывала мелочность мужской натуры; говорила о преимуществах, которые имеют над ними легкие женщины, потому лишь, что они, маня их наслаждением, не дают им над собою никаких прав и заведомо не принимают на себя никаких обязанностей, и вдруг неожиданно произнесла имя Горданова.

Лара вздрогнула при этой внезапности и, взяв Глафиру за руку, прошептала:

– Бога ради, ни слова об этом человеке.

– О, будь покойна: то, что я скажу, не составляет ничего важного, я просто припомнила в пример, что этот человек, по-видимому, столь холодный и самообладающий, при известии о твоей свадьбе стал такая кислая дрянь, как и все, – точно так же одурел, точно так же злился, корчился, не ел и не находил смысла в своем существовании. Он даже был глупее чем другие, и точно гусар старинных времен проводил целые дни в размышлении, как бы тебя похитить. Я уж не знаю, что может быть этого пошлее.

Но Ларе эта пошлость не показалась такою пошлою, и она только прошептала:

– Зачем ты мне все это говоришь?

– Затем, что я уверена, что в тебе этот рассказ только может усилить твое справедливое негодование против этого злого человека и укрепить уважение, какое ты питаешь к твоему достойному мужу.

Лариса промолчала и всю ночь пугалась во сне похищения. Горданов ей был страшен как демон, и она даже должна была проснуться с отчаянным криком, потому что видела себя лежащею на руке Павла Николаевича и над собою его черные глаза и смуглый облик, который все разгорался и делался сначала медным, потом красноогненным и жег ее, не говоря ей ни слова.

Пробужденная от этого тяжелого сновидения Глафирой, Лара рассказала ей свой страшный сон, а та ее обласкала, успокоила и сказала, что она еще ребенок, и ей снятся детские сны.

Но сама Бодростина про себя помышляла, что если Лару так смущает сновиденье, то как же должна подействовать на нее приготовленная ей действительность?

Глава тридцатая
Убеждения храброго майора колеблются

Пребывание Ларисы у Бодростиной не оставалось тайной ни для Катерины Астафьевны, ни для Синтяниной, которые, разумеется, и, разойдясь с Ларой, не переставали ею интересоваться. Обеих этих женщин новое сближение Ларисы с Глафирой поразило чрезвычайно неприятно. С тех пор как Бодростина укатила за границу, ни та, ни другая из названных нами двух дам не имели о ней никаких обстоятельных сведений, но с возвращением Глафиры Васильевны в свои палестины, молва быстро протрубила и про ее новую славу, и про ее полную власть над мужем, и про ее высокие добродетели и спиритизм.

Катерина Астафьевна и генеральша приняли эти вести с большим сомнением: первая, толкнув на себе чепец и почесав в седых волосах вязальным прутком, сказала, что «это ничего более, как кот посхимился», а вторая только качнула головой и улыбнулась.

С тем же недоверием встретили эту весть и генерал, и Форов, явившийся на этот случай в чрезвычайном раздражении.

– Тому-с, что она забрала в руки-с Михаила Андреевича, я готов-с верить, – сказал генерал, – да это и не мудрено-с, если правда, что он в Петербурге так попался с какою-то барынькой…

– А она этим, конечно, воспользовалась.

– А зачем бы ей не воспользоваться? – вставил не терпящий сплетен майор и сейчас развил, что Глафира Васильевна «баба ловкая и левою рукой не крестится».

– Ни левою, ни правою она не крестится, а это пребывание Горданова в милости у Бодростина, да еще и вступление его в компанионство и в должность главноуправителя делами… все это… ее штуки-с, штуки, штуки!

– Ну, Горданов старику и самому нравится.

– А старушке еще более? Вот это-то и скверно-с, что ей-то он нравится еще более.

– Что же тут скверно? Я ничего не вижу скверного. Вещь самая естественная. Благородный английский лорд и поэт Байрон, которого

так терпеть не может ваша супруга, удостоверяет нас, что даже:

– при темпераменте
Весьма холодном, дамы нет,
Которая б не променяла
На ротмистра здоровых лет
Едва живого генерала.

Генерал обиделся: ему не понравились приведенные Форозым стихи, и он, сверкнув своими белесоватыми глазами, прошипел:

– Чего моя супруга терпеть не может, то всегда и скверно, и мерзко, – и с этим он поцеловал два раза кряду руку помещавшейся за рабочим столиком жены и, надувшись, вышел а другую комнату.

Форов остался на жертву двум женщинам: своей жене и генеральше, из которых первая яростно накинулась на него за его бестактность в только что оконченном разговоре, между тем как другая молчала, давая своим молчанием согласие на слова Катерины Астафьевны.

Майор храбро отбивался от нападок жены и внушал ей, что в его словах не было никакой бестактности.

– Другое дело, – барабанил он, – если б я на слова его превосходительства, что все нетерпимое Александрой Ивановной скверно или мерзко, ответил ему, что и терпимое ею не всегда вполне превосходно, чему он сам может служить лучшим доказательством, но я ведь этого не сказал.

Катерина Астафьезна побледнела, зашикала и бросилась запирать двери, за которые удалился генерал, Александра Ивановна, подняв лицо от работы, тихо рассмеялась.

– Вы, Филетер Иваныч, в своем роде совершенство, – проговорила она.

– Скажи, зол ты что ли на что-нибудь: чего ты это ко всем придираешься? – спросила Катерина Астафьевна.

– Ни на что я не зол, а уж очень долго беседовал с благородным человеком.

Обе дамы посмотрели на него молча.

– Что-с, – продолжал майор, – вас удивляет, что мне хорошие люди опротивели? Истинно, истинно говорю так-с, и потому я чувствую желание заступаться и за добрую барыню Глафиру Васильевну, и за господина Горданова. Да что, в самом деле, эти по крайней мере не дремлют, а мы сидим.

– Кто ж тебе не велит идти на службу: ты еще здоров и можешь служить, чтоб у жены были крепкие башмаки, – вмешалась Форова.

– Не в том дело-с, моя почтенная, не в том.

– А в чем же?

– А хоть бы в том, например, что некоторые убеждения мои начинают лететь «кувырком», как в некотором роде честь изображаемой ныне на театрах Прекрасной Алены.

– Ну да: твои убеждения! какие там у тебя убеждения?

Майор не обиделся, но попросил так не говорить и старался внушить, что у него есть, или по крайней мере были, убеждения и даже очень последовательные, во главе которых, например, стояло убеждение, что род людской хоть понемножечку все умнеет, тогда как он глупеет. Майор рассказал, что их зовут на суд за дуэль, и что Андрей Иванович Подозеров ни более, ни менее как желает, чтобы, при следствии о дуэли его с Гордановым, не выдавать этого негодяя с его предательством и оставить все это втуне.

– Так, дескать, была дуэль, да и только.

– Что же это за фантазия еще?

– А вот извольте спросить: а я это понимаю: достопочтенная племянница моей жены, Лариса Платоновна, пребывая у господ Бодростиных, имела свидание с господином Гордановым…

– Ты врешь! – прибавила майорша.

– Ничего я не вру-с, она имела с господином Гордановым свидание и объяснение; она убедилась во всей его пред всеми правоте и невинности; была тронута его великодушием…

– Ты врешь, Форов!

– Да фу, черт возьми совсем: не вру я, а правду говорю! Она была всем, всем тронута, потому что я иначе не могу себе объяснить письма, которое она прислала своему мужу с радостною вестью, что Горданов оказался вовсе ни в чем пред ней не виноватым, а у Подозерова просит извинения и не хочет поддерживать того обвинения, что будто мы в него стреляли предательски.

– Она с ума сошла!

– Нет-с, не сошла, а это совсем другое; эта дама желает иметь своего Адама, который плясал бы по ее дудке, и вот второе мое убеждение полетело кувырком: я был убежден, что у женщин взаправду идет дело о серьезности их положения, а им нужна только лесть, чему-нибудь это все равно – хоть уму, или красоте, или добродетели, уменью солить огурцы, или «работать над Боклем». Лишь бы лесть, и отныне я убежден, что ловко льстя добродетели женщины, легко можно овладеть добродетелью самой добродетельнейшей. Я даже имею один такой пример.

– Далее?

– А далее то, что я был убежден в расширении чувства строгой справедливости в человечестве и разубедился и в этом: я вижу, что теперь просто какое-то царство негодяев, ибо их считают своею обязанностию щадить те самые черные люди, которых те топят. Господин Подозеров не моего романа, но я его всегда считал отличным буржуа, и вдруг этот буржуа становится на рыцарские ходули и вещает мне, что он ни одного слова не скажет против Горданова, что он *не может* позволить ему превзойти себя в великодушии; что он не может заставить себя стоять на одной доске с этим… прощелыгой; что он мстит ему тем, что его презирает-с.

– Одним словом, целая комедия: один великодушнее другого, а другой великодушнее одного.

– Если презрение есть великодушие, то будь по-твоему, но тут нет места никакому великодушию, тут именно одно презрение и гордость, сатанински воспрянувшая при одном сближении, которое его жена сделала между ним и Гордановым. Я вас, милостивые государыни, предупреждаю, что дело кончено! Понимаете-с; я говорю не о деле с дуэлью, которое теперь кончится, разумеется, вздором, а о деле брака Ларисы Платоновны. Он кончен, пошабашен и крест на нем водружен.

Обе дамы остро смотрели на майора, под грубыми словами которого давно слышали огорчавшую его тяжелую драму.

Филетер Иванович постоял, отворотясь, у окна и, с большими хитростями стянув на усы слезу, быстрым движением обтер рукавом щеку и, оборотясь к жене, проговорил мягким, сострадательным голосом:

– Да, мой друг Лара, – это кончено.

– Разве он тебе это сказал?

– Нет, не сказал. Это-то и скверно. Я не верю тем, кто говорит, что он расстанется: эти разводятся и сводятся как петербургские мосты, но кто молча это задумал, как Подозеров, тот это сделает крепко.

– Ты, Фор, ведь можешь ошибаться?

– Не-ет; нет, я не ошибаюсь! Он это решил.

– Этому надо помочь; это надо уладить.

– Этому невозможно помочь.

– Он должен же пожалеть самого себя, если не ее.

– Нет, он себя не пожалеет.

– Разбитая жизнь…

– Что ему разбитая жизнь? Пусть возьмет меня господин черт, если я не видел, как в его глазах сверкнул Испанский Дворянин, когда пришлось сблизить имя Горданова с именем его жены! Нет, ей нет теперь спасенья. Этот брак расторгнут – и четвертое мое убеждение «кувырком»! Я видел, как этот кроткий пейзаж прореяло тихою молоньей, и убедился, что испанские дворяне – народ страшный и прекрасный, а вслед затем «кувырком» пошло пятое убеждение, что свободу женщин состроят не ораторы этого слова, а такие благодатные натуры, как мой поп Евангел, который плакал со своею женой, что она влюблена, да советовал ей от него убежать. А за этим шестое: я разубедился, чтобы могли заставить серьезно относиться к себе женщин моралисты и эмансипаторы; нет, это опять-таки те же испанские дворяне сделают. Наконец, если вам угодно, я получил новое убеждение. Я убедился, что и эту силу испанского дворянства создала тоже женщина, то есть высокий, высокий идеал женщины, при котором все низшие комбинации бессильны ни восторгать, ни огорчать. Глядя на этого Подозерова, с каким он достоинством встретил нанесенное ему оскорбление, и как гордо, спокойно и высоко стал над ним, я понял, что идеал есть величайшая сила, что искренний идеалист непобедим и что я всю жизнь мою заблуждался и говорил вздор, ибо я сам есмь пламеннейший идеалист, скрывавшийся под чужою кличкой. Да-с; этакие перетурбации над собою, милостивые государыни, перенести нелегко, а я их только что перенес и вот я почему зол.

И майор замолчал. Ему никто не отвечал: жена его сидела глядя на генеральшу, а та скоро и скоро метала иголкой, стараясь опахнуть

рукой свое зардевшееся лицо. Внутреннее волнение, которое ощущали обе эти женщины, отняло у них охоту к слову, но зато они в это время обе без речей понимали, *в ком* эта сила, обессиливающая все низшие комбинации в человеке, для которого любовь не одно лишь обладанье, а неодолимая тяга к постижению высшего счастия в соревновании существу, нас превышающему в своей силе правды, добра и самоотвержения.

Глава тридцать первая
Чего достиг Ропшин

Лариса, пробыв четыре дня у Бодростиной и притом оскорбясь на то, что она здесь гостила в то самое время, когда муж ее был в городе, не могла придумать, как ей возвратиться с наибольшим сохранением своего достоинства, сильно страдавшего, по ее мнению, от той невозмутимости, с которою муж отнесся к ее отсутствию. Наблюдательное око Глафиры это видело и предусматривало все, чем можно воспользоваться из этого недовольства.

Глафире, стоявшей уже на самом рубеже исполнения ее давнего замысла – убить мужа и овладеть его состоянием, была очень невыгодна молва, что между нею и Гордановым есть какой-либо остаток привязанности. Горданов же был ей, конечно, необходим, потому что, кроме него, она ни на кого не могла положиться в этом трудном деле, за которое, не желая ничем рисковать, сама взяться не хотела, точно так же, как не намерен был подвергать себя непосредственному риску и Горданов, предоставивший к завершению всего плана омраченного Жозефа. Но Жозеф без Горданова то же, что тело без души, а Горданов, подозреваемый в сердечной интимности с Глафирой, опять неудобен и опасен. Всякая неловкость с его стороны ее компрометировала бы, а его неудача прямо выдала бы ее. Глафира никогда не упускала этого из вида и потому ревностно заботилась о так называемых «ширмах». Заметив, что Лара в девушках начала серьезно нравиться Горданову, Бодростина испугалась, чтобы Павел Николаевич как-нибудь не женился и тогда, с утратой выгод от вдовства Глафиры, не охладел бы к «общему делу»; но теперь замужняя Лариса была такими прелестными ширмами, расставить которые между собою и своим браво Глафира желала и даже считала необходимым, особенно теперь, когда она впала в новое беспокойство от изъявленного Михаилом Андреевичем намерения передать ей все состояние по новому духовному завещанию, в отмену того, которое некогда сожгла Глафира пред глазами Ропшина, подменив фальшивым. Теперь было ровно не за что убивать Михаила Андреевича, и между тем теперь-то и настала необходимость его убить, и эта необходимость

росла и увеличивалась ежесекундно. Чем старик решительнее говорил с Ропшиным о своем намерении немедленно взять прежде отданное завещание, тем гибель его становилась ближе и неотвратимее. Это признал даже сам Ропшин, изнемогавший от страха при мысли о том, что произойдет, когда пакет будет взят и Бодростин увидит, как он был предательски и коварно обманут.

– Тогда все мы погибнем, – говорил он Глафире, только что сообщив пред этим, что уже написано новое завещание и что Михаил Андреевич хочет немедленно заменить им то, которое хранится в Москве.

Бодростиной настала новая забота успокоивать Ропшина, что в эту пору уже было далеко не так легко, как во время оно, потому что теперь Ропшин страшился не того, что его прогонят с места, а ему грозила серьезная опасность повозить тачку в Нерчинских рудниках. Правда, Глафира в тайной аудиенции клялась ему, что, в случае несчастия, она все возьмет на себя, но он видимо мало верил ее клятвам и плохо ими успокоивался. Неприступной Глафире Васильевне оставалось одно: опоить его как дурманом страстию и усыпить его тревоги, но… Глафира не могла принудить себя идти с этим человеком далее кокетства, а этого уже было мало. Ропшин стал для нее самым опасным из преданных ей людей: она замирала от страха, что он в одну прелестную минуту кинется в ноги ее мужу и во всем повинится, так как в этом Ропшин имел слабую надежду на пренебрежительное прощение со стороны Бодростина. Зная барские замашки Михаила Андреевича, лойяльный юноша уповал, что Бодростин плюнет ему в лицо, выгонит его вон, может быть даст сгоряча пинка ногой, и все это будет один на один и тем и кончится, хотя, разумеется, кончится далеко не так, как некогда мечтал этот чухонец, тоже возлелеявший в себе надежду обладать и роскошною вдовой, и ее миллионами.

Ропшин предавался этим мечтам не так, как Горданов или Висленев: он думал свою думу без шуму и, однако, тем не менее не только надеялся, но даже имел некоторые основания думать, что его расчет повернее и пообстоятельнее, чем у обоих других претендентов, цену которых во мнении Бодростиной он понимал прекрасно. Внезапная смерть в Москве Кюлевейна тоже не прошла у Ропшина без примечания: он заподозрил, что это неспроста сталось, и получил еще

новое понятие о Горданове и о Висленеве, да усмотрел кое-что и в Глафире, наружная строгость и спиритизм которой было поставили его на некоторое время в сильное затруднение, но он вскоре же заметил, что все это вздор и что Глафира только рядится в благочестие. Страсть его разгоралась. Глядя на Глафиру с робким замиранием сердца днем, он не освобождался от своего томления ночью и думал о том блаженном часе, когда он, ничтожная «ревельская килька», как называл его Бодростин, считавший для него высокою даже любовь жениной горничной, завладеет самою его женой и ее состоянием.

Ропшин знал, что он может посягать на такое завладение и, укрепляясь в этой мысли, стал наконец в ней так тверд, что Глафира начала ощущать сильное беспокойство по поводу его притязаний, пренебречь которыми обстоятельства ей решительно не позволяли.

Настал наконец день нового и неожиданного для нес унижения, которое сначала носилось в виде предчувствия необходимости ухаживать за Ропшиным и наконец явилось в форме явного сознания необходимости угождать ему. Приходилось идти несколько далее, чем думалось…

Бесстрашную Глафиру объял некоторый страх и в ней заговорило чувство гордости, которое надо было как-нибудь успокоить, а успокоения этого не в чем было искать.

Генрих Иванович, в одну из уединенных прогулок Глафиры по парку, предстал ей неожиданно и, поговорив с ней о своих постоянных теперешних опасениях, прямо сказал, что он поставлен ею в затруднительнейшее положение ни за что и ни про что: между тем как и Висленев, и Горданов гораздо более его пользуются и ее сообществом, и ее вниманием.

– Бедное дитя, вы ревнуете? – молвила никак не ожидавшая такой откровенности Глафира.

– Признаюсь вам, Глафира Васильевна, что как я ни ничтожен, но и у меня есть сердце, и я… я вас люблю, – решился ответить Ропшин.

У Глафиры слегка сжало сердце, как будто при внезапном колебании палубы на судне, которое до сих пор шло не качаясь, хотя по разгуливающемуся ветру и давно уже можно было ожидать качки. Она поняла, что теперь ей, чтобы не сплошать и не сдаться ничтожному секретарю, которого она должна была бояться, остается только одно: проводить его как-нибудь до тех пор, пока смерть Кюлевейна

немножко позабудется, и тогда Горданов научит и натравит Висленева покончить с ее мужем. А до тех пор… до тех пор надо лавировать и делать посильные уступки Ропшину, ограждаясь лишь от уступок самых крайних, которые возмущали ее как женщину. Она верила в свой ум и надеялась спустить с рук это затруднение, пройдя его на компромиссах, которые, по ее соображениям, должны были ей удаваться, а там наступит и желанная развязка с Бодростиным, и тогда можно будет выпроводить Ропшина за двери вместе и с Гордановым, и с невиннейшим Висленевым.

Последний и его сестра и понадобились Глафире в минуту соображений, промелькнувших у нее по случаю выраженной Ропшиным ревности. Глафира нашла удобным построить на них комбинацию, которая должна спутать Ропшина и провести его.

Выслушав его пени, она сказала:

– Вот вы какой ревнивец! В наш век у нас в России это редкость.

– Я не русский, – отвечал со смирением Ропшин.

– Это очень оригинально! мне это нравится, что вы: меня ревнуете, и хотя женщины, как я, привыкшие к полной свободе своих действий, считают это неудобным стеснением, но chacun a son caprice, [91] и я вам позволю меня немножко ревновать.

– Я бы смел просить у вас позволить мне иметь немножко права на нечто другое.

Глафира остановилась.

– То есть что же это за просьба? – Произнесла она своим густым контральто, с отзвуком легкого смеха.

– Я просил бы позволить мне быть немножко более уверенным…

– Вера никогда не мешает.

– Но трудно верить, когда… нет спокойствия… нет ничего, что бы в моем теперешнем положении хоть немножко ясно обозначалось. Поверьте, Глафира Васильевна, что я иногда переживаю такие минуты, что… готов не знаю что с собой сделать.

– Vous me troublez! [92]

И Глафира закинула голову, причем по прекрасному лицу ее лег красноватый оттенок заходящего солнца.

– Я не знаю, насколько это вас беспокоит, – отвечал Ропшин, – но… зачем вы меня так мучаете?

– Я! Вас? Чем?

Глафира покраснела и независимо от солнца, но тотчас взяла другой тон и, возвысив голос, сказала:

– O-o! mon cher ami, c'est une chose insupportable,[93] вы мне все твердите я да я, как будто все дело только в одних вас!

И с этим она, кивнув головой, описала на земле круг хвостом своего шумящего платья, и быстрым шагом тронулась вперед.

Ропшин сробел, и ему она сугубо нравилась в этой дерзости, и он, оставшись один посреди дорожки, думал:

«Терпение, а потом справимся».

И он в этот вечер все мечтал о русской женщине и находил в ней особенные достоинства, особый шик, что-то еще полудикое и в то же время мягкое, что-то такое, отчего припоминается и степь с ковылем-травой, и златогривый конь русской сказки, и змея на солнце.

Ропшин был в поэтическом восторге и, неожиданно посетив Висленева, отобрал у него взятые тем из библиотеки сочинения Пушкина и долго ходил по своей комнате, тихо скандуя переложение сербской песни: «Не косись пугливым оком; ног на воздух не мечи; в поле гладком и широком своенравно не скачи».

Поздно он уже погасил свечу, подошел к открытому окну в сад, над которым сверху стояла луна, и еще повторил особенно ему понравившуюся строфу: «В мерный круг твой бег направлю укороченной уздой».

С этим он юркнул в постель, под свою шертинговую простыню, и решил, что он вел себя хорошо, что за сим он войдет еще смелее и в конце концов все будет прекрасно.

В то время, как Ропшин уже был в полусне, и притом в приятнейшем полусне, потому что ожившие его надежды дали ослабу томившей его страсти, он почувствовал, что его запертая дверь слегка колышется, и кто-то зовет его по имени.

Он вскочил, повернул ключ и увидел пред собой гордо относившуюся к нему горничную Глафиры, которая прошептала ему:

– Сойдите тихо… барыня ждет вас на балконе.

И с этим скрылась, негодуя на его дезабилье, которое Ропшин привел в порядок живою рукой и, как легкий мяч неслышно скатился со второго этажа вниз, прошел ряд комнат и ступил на балкон, на котором сидела закутанная в большой черный кашемировый платок Глафира.

Она была замечательно неспокойна и при появлении Ропшина окинула его тревожным взглядом. Глафира уже чувствовала полный страх пред этим человеком, а по развившейся в ней крайней подозрительности не могла успокоить себя, что он не пойдет с отчаянья и не начнет как-нибудь поправлять свое положение полной откровенностью пред ее мужем.

– Послушайте, – сказала она, успокоенная веселым и счастливым выражением лица, которое имел представший ей Ропшин, – вот в чем дело: я гораздо скрытнее, чем вы думаете, но вы сегодня коснулись одной очень больной, очень больной моей струны… Мой муж, как вам известно, имеет слабость все прощать Горданову и верить в него.

– Да; это большая слабость.

– Но я, терпя это, никогда не думала, чтобы люди, и тем более вы, верили, что для меня что-нибудь значит этот негодяй, которому, может быть, даже хочется показать, что он что-нибудь для меня значит.

– Это очень может быть.

– Так помогите же мне нарядить его в дурацкий колпак.

– С удовольствием, все, что могу…

– Я выпишу сюда сестру Висленева, Ларису…

– Это прекрасно.

– Да; тогда все увидят, за кем он гнался здесь и за кем гонится. Избави меня бог от такой чести!

– Это превосходная мысль, – одобрил Ропшин, – но не помешал бы господин Висленев…

– Ах, полноте, пожалуйста: разве этот шут может чему-нибудь мешать! Он может только быть полезен… Но помогайте и вы, – прибавила Глафира, протягивая руку.

Ропшин с жаром коснулся ее губами.

Глафира отвечала тихим пожатием и, удаляясь, таинственно проговорила:

– Тогда будет гораздо свободнее.

– О-о вы! – начал было Ропшин, но, не находя более слов, только еще раз чмокнул Глафирину руку и уснул на заре, при воспоминании о шелесте ее платья, щелканьи каблучков ее туфель и при мечте о том, что принесет с собою то время, когда, по словам Глафиры, «будет свободнее».

Глава тридцать вторая
За ширмами

Бодростиной не стоило особого труда вызвать Ларису на новые беседы о Горданове. Под живым впечатлением своих снов и мечтаний о старомодном намерении Горданова увезть ее, Лара часто склонялась к тайным думам о том, как же это он мог бы ее увезть?

«Где же это он меня думал сокрыть – в степи, на башне или в подземелье?.. И это после тех наглостей и того нахальства?.. Неужто он еще смеет думать, что я стала бы с ним говорить и могла бы его простить и даже забыть для него мой долг моему честному мужу?..»

Лара даже покраснела, сколько от негодования и гнева, столько же и от досады, что никак не могла представить себя похищаемою и сама искала случая молвить Бодростиной, что ее безмерно удивляет гордановская наглость.

Наконец это ей удалось: представился случай, и Лара весьма кстати высказала, насколько она изумлена переданным ей слухом о Горданове, – вообще весьма нелепым во всякое время, но уже превосходящим все на свете, если принять во внимание наглое письмо, какое он прислал ей из Москвы.

Глафира по поводу этого письма выразила изумление, а когда Лара рассказала ей, в чем дело, она позволила себе считать это невероятным, странным и даже просто невозможным.

– Я, к сожалению, очень хорошо знаю Горданова, – сказала она, – и знаю все, что он способен сделать: он может убить, отравить, но писать такие письма… нет; я не могу этому верить.

– Но это так было!

– Здесь должна быть какая-нибудь ошибка.

Лариса в самом деле стала находить, что здесь было бы очень уместно предполагать ошибку, потому что можно ли, чтоб ей, такой красавице, было оказано такое пренебрежение?..

Соглашаться с Глафирой Ларисе было тем приятнее, что согласие это было в противоречии с мнением, сложившимся о Горданове в обществе людей, родных ей по крови или преданных по чувству, а это и было то, что требовалось ее натурой. Сутки Лара укреплялась в этом

убеждении, а к концу этих суток и всякий след сомнения в виновности Горданова исчез в душе ее. Поводом к этому было письмо Павла Николаевича, принесенное Ларе в конвертике, надписанном рукой ее брата. Письмо было утонченно вежливое и грустное. Горданов начинал с того, что он находится в совершенно исключительных обстоятельствах для его чести и потому просит, как милосердия, прочесть его строки. Потом он передавал, что до его сведения дошел ужасный слух о письме, полученном Ларой. Этой случайности он придавал ужасающее значение и едва в силах был его изъяснить одним намеком, так как распространяться об этом ему не позволяет скромность. По намекам же дело в том, что то письмо, которое попало в руки Лары, назначено было для другой женщины, меж тем, как письмо, написанное к Ларе, получено тою.

Кто эта женщина, очевидно страшно докучавшая собой Горданову? – это так заняло Лару, что она не положила никакого заключения о том, насколько вероятно объяснение Горданова. Предъявив вечером письмо, как удивительную вещь, Глафире, Лариса прямо потребовала ее мнения: кого бы мог касаться гордановский намек. У Лары достало духа выразить свое подозрение, не касается ли это Синтяниной.

Глафира сначала подумала, потом пожала плечами и улыбнулась.

Лариса продолжала проверять эти подозрения; приводила недавно слышанные ею слова Форова о женщинах крепких и молчаливых, но кусающихся, и, причисляя Синтянину к этой категории, нашла много подозрений, что это непременно она была втихомолку ее соперницей в любви Горданова.

Подозрения Лары перешли в уверенность, когда ей, под большою, конечно, клятвой, была показана Глафирой фотография, изображающая генеральшу вместе с Гордановым. Ей было страшно и гадко, глядя на это изображение; она видела его и ему не доверяла, но это не мешало ей чаще и чаще размышлять о Горданове. А между тем Горданов, получавший обо всем этом добрые сведения от Глафиры, просил Жозефа пособить ему оправдаться пред его сестрой и сказал, что он ждет от нее ответа на его письмо.

Жозеф передал это Ларе и, узнав от нее, что она не намерена отвечать Горданову, сообщил об этом сему последнему, с добавлением,

что, по его мнению, Горданову было бы необходимо лично видеться и объясниться с Ларисой.

– О, я бы дорого за это дал, – отвечал Горданов.

– А сколько именно? – весело вопросил Висленев.

– Очень дорого.

– Да говори, говори, сколько? я может быть что-нибудь бы придумал. Дашь пятьсот рублей?

– Больше дам.

– Тысячу?

– Больше.

Висленев смутился, покраснел и отвечал:

– Ты врешь.

– Нимало: я говорю истинную правду. Я не пожалею целой крупной статьи на то, чтоб иметь случай лично оправдаться пред твоею сестрой.

– О какой ты говоришь статье?

– О твоем мне долге в тысячу восемьсот рублей.

Висленев покраснел еще более и, смешавшись, произнес, что ему показалось, будто Горданов написал какую-нибудь статью.

– Ну вот еще вздор, стану я статью писать, – ответил Горданов, – я ценю только действительные ценности.

– А у тебя моя расписка разве цела?

– Да как же иначе.

– А я, право, про нее было совсем и позабыл, потому что уже это давно…

– Да, я жду долго.

Висленев хотел было сказать, что и самый долг-то этот черт знает какого происхождения, да и расписка писана вдвое, но, подумав, нашел это и неблагородным, и бесполезным, и потому, вздохнув, молвил:

– Хорошо, приезжай ко мне послезавтра, я тебе устрою свидание с сестрой.

– Спасибо.

– Только уж прихвати с собой и расписку.

– Ладно.

– Да, пожалуйста… потому что я про нее позабыл, а я хочу все покончить, чтоб у меня ни с кем никаких счетов не было.

– Гут, гут, – шутил, прощаясь, Горданов.

– То-то; пожалуйста привези ее, а то я теперь, вспомнивши про нее, буду неспокоен.

– Будь уверен.

– Да ты уж лучше того… если хочешь, приезжай завтра.

– Пожалуй.

– Да, гораздо лучше завтра, а то… у меня такой проклятый характер, что я терпеть не могу знать, что я должен, а между тем и всякий день убеждаюсь, что мне просто нет средств знать, кому я не должен.

– Да, ты-таки позапутался, – сказал Горданов, – вот и по конторским бодростинским счетам я встретил – за тобою значатся частенькие записи.

– Значатся?

– Да.

– Это черт знает что! И какие там могут быть записи? все мелочь какая-нибудь: на квартиру в Париже, или на карманный расход, – на обувь, да на пару платья, а то уж я себе ведь ровно ничего лишнего не позволяю. Разве вот недавно вальдегановские щеточки и жидкость выписал, так ведь это же такие пустяки: всего на десять с чем-то рублей. Или там что на дороге для меня Глафира Васильевна издержала и то записано?

– Нет, этого не записано.

– То-то, потому что… – Висленев чуть не проговорился, что он путешествовал в качестве метрдотеля, но спохватился и добавил, – потому что это тогда было бы ужасно.

– А главное гадко, что ты все это как-то берешь часто, по мелочам и все через женщин. Это тебе ужасно вредит.

– Ох, да не говори же этого, бога ради! – воскликнул Жозеф, – все это я сам отлично знаю, но не могу я занимать крупными кушами… Я и сам бы очень рад брать тысячами, но у меня таланта на это нет, а что касается того, что я все беру через женщин, то ведь это случайность. Больше ничего как случайность: мужчины не дают, – женщины в этом случае гораздо добрее, и потом, я признаюсь тебе, что я никогда не думал, чтобы Глафира Васильевна передала мои записочки в контору. Ты ей это не говори, но, по-моему, с ее стороны не совсем хороша такая мелочность… Пустые десятки или сотни рублей и их записывать!.. Нехорошо.

– Друг любезный, из мелочей составляются неоплатные долги.

– Ну, вот уж и неоплатные!

– А как ты думаешь, сколько ты должен Бодростиным?

– Рублей тысячу.

– Нет, более четырех.

– Тьфу, черт возьми! Это она на меня приписала, ей-богу приписала.

– А ты для чего же не считаешь, а потом удивляешься? Там твои расписки есть.

– Что же, мой дорогой Паша, считать, когда все равно… Нет притоков, да и полно.

Висленев, вскочив с места и швырнув перышко, которым ковырял в зубах, воскликнул с досадой:

– Собой бы, кажется, пожертвовал, чтобы со всеми расплатиться. Придет время, увидишь, что я честно разделаюсь и с тобой, и с Бодростиными, и со всеми, со всеми.

Он даже пообещал, что и Кишенскому, и жене своей он со временем заплатит.

– Вот с тобою, – высчитывал он, – я уже сделываюсь, с Бодростиным тоже сделаюсь.

– Надо сделываться с Бодростиной, а не с Бодростиным, – перебил его Горданов.

Висленев не понял и переспросил.

– Надо просто прикончить старика, да и квит, а потом женись на его вдове и владей и ею самою, и состоянием.

Висленев поморщился.

– Что? она тебя любит.

– Страшно, – прошептал он.

– Чего же?

– Так, знаешь… убивать-то… нет привычки.

– Хвастаешься, что свободен от предрассудков, а мешок с костями развязать боишься.

– Да, брат, говори-ка ты… «мешок с костями». Нет, оно, ей-богу, страшно.

Висленев задумался.

– Волка бояться и в лес не ходить, – проповедывал ему Горданов.

– Да, ведь хорошо не бояться, Поль, но черт его знает почему, а все преступления имеют почему-то свойство обнаруживаться.

– Кровь что ли завопиет? – засмеялся Горданов, и стал язвительно разбирать ходячее мнение о голосе крови и о том, что будто бы все преступления рано или поздно открываются. Он говорил доказательно и с успехом убедил Жозефа, что целые массы преступлений остаются неоткрытыми, и что они и должны так оставаться, если делаются с умом и с расчетом, а, главное, без сентиментальничанья, чему и привел в доказательство недавнюю смерть Кюлевейна.

Это Жозефа ободрило, и он заспорил только против одного, что Кюлевейна отравил не он, а Горданов.

– Ну, и что же такое, – отвечал Павел Николаевич, – говоря между четырех глаз, я тебе, пожалуй, и скажу, что действительно его я отравил, а не ты, но ведь я же никакого угрызения по этому случаю не чувствую.

– Будто не чувствуешь?

– Решительно не чувствую.

– Таки ни малейшего?

– Ни крошечного.

– Это бы хорошо! – воскликнул Жозеф и сам весь сладострастно пожался, зажмурился и, протянув пальцы, проговорил, – я чувствую, что надо только начать.

– Все дело за началом.

– Так постой же! – вскричал, вскакивая с места, Жозеф, – спрячься вот здесь за ширмы, я сейчас приведу сюда сестру.

– Зачем же сейчас?

– Нет, нет, сейчас, сию минуту: я хочу непременно сейчас это начать, чтоб еще как-нибудь не передумать. Ведь ты меня не обманешь: ты отдашь мне мою расписку?

– То есть тебе я ее не отдам, а я вручу ее твоей сестре, когда ее увижу.

– Ну так, тогда тем более вам надо сейчас видеться: сию минуту!

И Висленев бросился как угорелый из комнаты, оставив одного Горданова, а через пять минут невдалеке послышались быстрые торопливые шаги Жозефа и легкие шаги Лары и шорох ее платья.

Горданов схватил свой хлыст с тонким трехгранным стилетом в рукоятке и фуражку и стал за ширмами у висленевской кровати.

Сестра и брат подошли к двери: Лара как бы что-то предчувствовала и, остановясь, спросила:

– Что это за таинственность: зачем ты меня зовешь к себе?

– Нужно, Ларочка, друг мой, нужно, – и Висленев, распахнув пред сестрой дверь, добавил, – видишь, здесь нет никого, входи же бога ради.

Лариса переступила порог и огляделась. Потом она сделала шаг вперед и, робко заглянув за ширму, остолбенела: пред нею стоял Горданов, а ее брат в то же мгновение запер дверь на замок и положил ключ в карман.

Лара в изумлении отступила шаг назад и прошептала: «что это?». Горданов выступил с скромнейшим поклоном и заговорил, что он не виноват, что он не смел бы просить у нее свидания, но когда это так случилось, то он просит не отказать ему в милости выслушать его объяснение.

– Я не хочу ничего, ничего, – проговорила Лариса и, порываясь к двери, крикнула брату, – ключ? где ключ?

Но Жозеф вместо ответа сжал на груди руки и умолял Лару ради его выслушать, что ей хочет сказать Горданов.

– Ради меня! ради меня! – просил он, ловя и целуя сестрины руки. – Ты не знаешь: от этого зависит мое спасение.

Лариса не знала, что ей делать, но брат ее был в таком отчаянии, а Горданов так кроток, – он так заботился облегчить ее смущение, и сам, отстраняя Жозефа, сказал ему, что он ему делает большую неприятность, подвергая этому насилию Ларису. Он говорил, что, видя ее нынешнее к нему отвращение, он не хочет и беспокоить ее никаким словом. С этим он вырвал у Жозефа ключ, отпер дверь, вышел из комнаты и уехал.

Лара была страшно смущена и страшно недовольна на брата, а тот находил основательные причины к неудовольствию на нее. Он сообщил ей свои затруднительные дела, открылся, что он претерпел в Париже, проговорился, в каких он отличался ролях и как в Петербурге был на волос от погибели, но спасен Глафирой от рук жены, а теперь вдруг видит, что все это напрасно, что он опять в том же положении, из какого считал себя освобожденным, и даже еще хуже, так как будет иметь врагом Горданова, который всегда может его погубить.

– Неужто же ты, Лара, будешь смотреть спокойно, как меня, твоего брата, повезут в острог? Пожалей же меня наконец, – приставал он, – не губи меня вдосталь: ведь я и так всю мою жизнь провел бог знает как, то в тюрьме, то в ссылке за политику, а потом очутился в таких жестоких комбинациях, что от женского вопроса у меня весь мозг высох и уже сердце перестает биться. Еще одна какая-нибудь напасть, и я лишусь рассудка и, может быть, стану такое что-нибудь делать, что тебе будет совестно и страшно.

Лара нетерпеливо пожелала знать, чего он от нее хочет?

– Ангел, душка, лапочка моя, Лара: возьми у него мою расписку. Он сказал, что он тебе ее отдаст. Мне больше ничего не нужно: мне он ее не отдаст, а тебе он все отдаст, потому что он в тебя страстно влюблен.

– Ты говоришь нестерпимый вздор, Жозеф, с какой стати он мне подарит твой долг?

– Он мне это сам сказал, Ларочка, сам вот на том самом месте! Он влюблен в тебя.

– Он наглец, о котором я не хочу ничего слышать.

– Не хочешь слышать! Лара, и это ты говоришь брату! А тебе будет приятно, когда твоего братишку поведут в тюрьму? Лара! я, конечно, несчастлив, но вспомни, что я тебе ведь все, все уступал. Правда, что я потом все это взял назад, но человека надо судить не по поступкам, а по намерениям, а ведь намерения мои все-таки всегда были хорошие, а ты теперь…

Он вдруг оборвал речь, схватил руки сестры и, обливая их слезами, молил:

– Спаси, спаси меня, Лара!

– Чем?.. своим бесславием?

– Нет, просто, просто… Никакого бесславия не надо; он приедет и привезет мой документ, а ты возьми его. Ларочка, возьми! Ради господа бога, ради покойного отца и мамы, возьми! А я, вот тебе крест, если я после этого хоть когда-нибудь подпишу на бумаге свое имя!

Лара просила день подумать об этом.

В этот день Жозеф слетал к Горданову с вестями, что каприз его, вероятно, непременно будет удовлетворен.

– Я стараюсь, Паша, – говорил он, – всячески для тебя стараюсь.

– Да, ты старайся.

– Не знаю, что выйдет, но надеюсь, и ты будь покоен. Жди, я тебя извещу.

Горданов обещал ждать, а Жозеф все убивался пред сестрой и добился, что она наконец решилась посоветоваться с Бодростиной.

– Я не вижу в этом ничего особенного, – отвечала Глафира.

– Во всяком случае это очень неприятно.

– Немножко, да; но чтобы очень… Почему же? Он в тебя влюблен…

– Тем хуже.

Но Глафира сделала благочестивую мину и рассказала, как много иногда приходится благотворительным дамам точно таких столкновений и как часто их красота и обаяние служат великую службу самым святым делам.

– Разумеется, – заключила она, – в сношениях такого рода нужны такт и уменье себя держать, но, кажется, тебе этого не занимать стать. А если ты боишься и не надеешься на себя, тогда, конечно, другое дело.

Бояться! не надеяться на себя!.. Разве Лариса могла что-нибудь подобное чувствовать, а тем более сознаваться в этом?

Она отвергла это категорически, а засим уже не оставалось поводов отказываться выручить брата из его петли, и Лара наконец решилась сказать Жозефу:

– Ну, отстань только, пожалуйста, хорошо: я выйду!

Висленев сейчас же покатил к Горданову и пригласил его к себе завтра пред вечером, заключив это свидание небольшим торгом, чтобы к векселю в тысячу восемьсот рублей Горданов накинул ему сто рублей наличностью.

Павел Николаевич не постоял за эту надбавку, а на другой день, вечером, он имел вполне благоприятный случай опровергнуть пред Ларой все подозрения и коснуться той темной власти, которая руководила всеми его поступками.

Не делая формального признания, он ей открылся в самой жгучей страсти, и она его выслушала. Затем они стали появляться вместе и в гостиной, и в столовой. Висленев всячески содействовал их сближению, которое, впрочем, не переходило пределов простого дружества, о чем Жозеф, может быть, и сожалел, в чем, может быть, и сомневался, так как тотчас же после устроенного им свидания Лары с

Гордановым в своей комнате начал писать Павлу Николаевичу записочки о ссуде его деньгами, по одной стереотипной форме, постоянно в таких выражениях: «Поль, если ты любишь мою бедную сестренку Лару, пришли мне, пожалуйста, столько-то рублей».

Горданов смеялся над этими записками, называл Жозефа в глаза Калхасом, но деньги все-таки давал, в размере десяти процентов с выпрашиваемой суммы, ввиду чего Жозеф должен был сильно возвышать цифру своих требований, так как, чтобы получить сто рублей, надо было просить тысячу. Но расписок опытный и хитрый Жозеф уже не давал и не употреблял слов ни «заем», ни «отдача», а просто держался формулы: «если любишь, то пришли».

Лара ничего про это не знала, хотя учредившийся порядок не был тайной не только для бодростинского дома, но также и для Подозерова, до которого, мимо его воли, дошли слухи о записках, какие шлет Горданову Жозеф. Андрей Иванович написал жене коротенькое приглашение повидаться. Лара показала его Глафире, и та удивилась.

– Я полагала, что по крайней мере хоть этого Горация страсть не делает рабом, но верно и его если не любовь, то ревность сводит с рельсов.

– Ты думаешь, что это он меня ревнует?

– О боже, да что же иное? Ты, Лара, можешь прекрасно употребить это в свою пользу: он теперь подогрет настолько, насколько нужно; ты знаешь его слабую струну и, стало быть, понимаешь, что нужно делать. Ступай же, ma chère. Успокой и мужа, и Синтянину.

Глава тридцать третья
Во всей красоте

Глафира не напрасно, отпуская Лару, не давала ей никаких подробных советов: одной зароненной мысли о необходимости играть ревностью мужа было довольно, и вариации, какие Лариса сама могла придумать на этот мотив, конечно, должны были выйти оригинальнее, чем если бы она действовала по научению.

Прибыв домой после двухнедельного отсутствия, Лара встретила ожидавшего ее в городе мужа с надутостью и даже как будто с гневом, что он ее потревожил.

Оправясь в своей комнате, она вошла к нему и прямо спросила: зачем он ее звал?

– Я хотел поговорить с тобою, Лара, – отвечал Подозеров.

– О чем?

Он подвинул ей кресло и сказал:

– А вот присядь.

Лариса села и опять спросила:

– Ну, что такое будете говорить?

– Я считал своим долгом предупредить тебя, про всякий случай, насчет твоего брата…

– Что вам помешал мой бедный брат?

– Мне ничего, но тебе он вредит.

– Я этому не верю.

– Он занимает у Горданова деньги и пишет ему записки, чтобы тот дал ему, «если любит тебя».

– Этого не может быть.

– И мне так казалось, но про это вдруг заговорили, и мне это стало очень неприятно.

– Вам неприятно?!

Лариса сделала гримасу.

– Что же тебя удивляет, что мне это неприятно? Ты мне не чужая, и мне твое счастие близко.

– Счастье! – воскликнула Лара и, рассмеявшись, добавила, – да кто это все доносит: тетушка Форова, или ваша божественная

Александра Ивановна? О, я ее знаю, я ее знаю!

– То-то и есть что ни та, ни другая.

– Нет; верно уж если не та, так другая: Александре Ивановне может быть больно, что не все пред нею благоговеют и не ее именем относятся к Горданову.

– Лара, к чему же тут, мой друг, имя Александры Ивановны?

– К тому, что я ее ненавижу.

Подозеров встал с места и минуту молчал. Лариса не сводила с него глаз и тихо повторила:

– Да, да, ненавижу.

– Вы бессовестно обмануты, Лара.

– Нет, нет, я знаю, что она хитрая, предательница и водит вас за нос.

– Вы безумная женщина, – произнес Подозеров и, отбросив ногой стул, начал ходить по комнате.

Лара, просидев минуту, встала и хотела выйти.

– Куда же вы? – остановил ее муж.

– А о чем нам еще говорить? Вы шпионите за мною, продолжайте же, я вам желаю успеха.

– Говорите все, я вас не стану останавливать и не оскорблю.

– Еще бы! вы жалуетесь, что вы на мне женились нехотя, без любви; что я вас упросила на мне жениться; вы полагаете, что уж вы мне сделали такое благодеяние, которого никто бы, кроме вас, не оказал.

– Представьте же себе, что я ничего этого не думаю, и хоть немножко успокойте свое тревожное воображение.

– Нет, вы это говорили! Вы хотите показать, что я даже не стою вашего внимания, что вы предоставляете мне полную свободу чувств и поступков, а между тем требуете меня чуть не через полицию, когда люди оказывают мне малейшее уважение и ласку. Вы фразер, и больше ничего как фразер.

Подозеров старался успокоить жену, представляя ей ее неправоту пред ним и особенно пред Синтяниной. Он доказал ей, что действительно не желал и не станет стеснять ее свободы, но как близкий ей человек считает своею обязанностью сказать ей свой дружеский совет.

– А я в нем не нуждаюсь, – отвечала Лара. – Если вы уважаете мою свободу, то вы должны не принуждать меня слушать ваши советы.

– А если это поведет к несчастиям?

– Пусть, но я хочу быть свободна.

– К большим несчастиям, Лара.

– Пусть.

– Вы говорите как дитя. Мне жаль вас; я не желаю, чтобы это случилось с вами. Лара! Ты когда-то хотела ехать ко мне в деревню: я живу очень тесно и, зная твою привычку к этому удобному домику, я не хотел лишать тебя необходимого комфорта; я не принял тогда твоей жертвы, но нынче я тебя прошу: поедем в деревню! Теперь лето; я себя устрою кое-как в чуланчике, а ты займешь комнату, а тем временем кончится постройка, и к зиме ты будешь помещена совсем удобно.

Лариса покачала отрицательно головой.

– Ты не хочешь?

– Да, не хочу.

– Почему же, Лара?

– Потому что вы меня станете стеснять сообществом лиц, которых я не хочу видеть, потому что вы мне будете давать советы, потому что… я ненавижу все, что вы любите.

– Лара, Лара! Как вы несчастливы: вы принимаете своих друзей за врагов, а врагов – за друзей.

Лариса отвечала, что, во-первых, это не ее вина в том, что друзья бывают хуже врагов, а во-вторых, это и неправда, и затем, добавила она с нетерпением:

– Оставьте, потому что я все равно сделаю все наперекор тому, как вы мне скажете!

Муж не настаивал более и уехал, а Лариса осталась в городе и упорно затворницей просидела дома целый месяц, едва лишь по вечерам выходя в цветник, чтобы подышать чистым воздухом. Ни Синтянина, ни Форовы ее не беспокоили; от Бодростиных тоже не было никаких засылов, а муж хотя и приезжал раза три, но они уже не находили предмета для разговора, что, однако же, вовсе не мешало Ларисе находить ему для противоречий по поводу всякого слова, произносимого Подозеровым. Если муж говорил, что сегодня жарко, Лариса отвечала, что вовсе не жарко; если он говорил, что прохладно,

у нее, наоборот, выходило жарко. О близких лицах Подозеров уже вовсе не заговаривал.

Так кончалось лето. В последней половине августа Глафира Васильевна тихо праздновала день своего рождения и прислала за Ларисой экипаж. Лара подумала и поехала, а приехав, осталась и загостилась долго.

В бодростинском доме пользовались последними погожими днями. Устраивались беспрерывные прогулки на лошадях и катанья по воде. Горданов был в качестве главноуправителя безотлучно здесь, потому что теперь они с Михаилом Андреевичем усиленно хлопотали о скорейшей отстройке и открытии завода мясных консервов, который строился в пяти верстах, в том селе, к которому примыкал собственный хутор Горданова. Дело о дуэли было кончено ничтожным взысканием в виде короткого ареста, и в бодростинском доме все этому очень радовались и занимались по утрам своими делами, а вечерами катались, играли и пели. Одним словом, здесь шла жизнь, без всякого сравнения более заманчивая, чем та, какую Лариса создала себе в своем доме, и Ларе не мудрено было загоститься долее, чем хотела. Обитатели дома сходились только к обеду, а утром все работали, даже не исключая Висленева, который, не имея занятий, купил себе трех орлят, запер их в холодный подвал и хотел приучить садиться к его ногам или летать над его головой.

Такую задачу Жозеф поставил себе с особенною целью, к которой подвел его Горданов, вперив ему мысль, что он может «устранить» Бодростина очень хитро, не сам, а чужими руками: попросту сказать, Горданов учил его возбудить беспорядки между крестьянами и, доведя дело до сумятицы, черкнуть Михаила Андреевича под бок.

– Это превосходная мысль, – отвечал Вислснев, – но только как же… на чем это замутить?

– Надо ждать случая и пользоваться всяким пустяком, самое главное – суеверием. Вот ты теперь известный спирит; с тобою сносятся духи, у тебя были необыкновенные пестрые волосы, ты себе и укрепляй пока этакую необычайную репутацию.

Висленев решился ее укреплять, но не знал, что бы такое придумать, а тут ему попался мальчишка, продававший орлиный выводок. Жозеф купил за полтинник орлят и начал их школить: это ему доставляло большое удовольствие. Посадив птиц в темный

прохладный подвал, он аккуратно всякое утро спускался туда с мальчиком, который нес на доске кусочки сырого мяса. Жозеф, всоруженный двумя палками, сначала задавал на орлят сердитый окрик, а потом одною палкой дразнил их, а другою – бил, и таким образом не без удовольствия проводил в прохладе целые часы, то дразня бедных своих заключенных, то валяясь на холодном каменном выступе стены и распевая арию Фарлафа: «Близок уж час торжества моего».

Он здесь так обжился, что сюда приходили звать его к столу, здесь навещали его и Бодростин, и Глафира, и Горданов, и Жозеф задавал пред ними свои представления с орлами, из которых один, потеряв в сражениях глаз, все косился и, действуя на отчаянность, рисковал иногда налетать на Висленева, несмотря на жестокие удары палкой.

– Черт знает, чем ты, любезный друг, занимаешься! – говорил ему Бодростин.

Но Висленев только кивал головой: дескать «ничего, ничего, посмотрим» и опять, накидываясь на орла, повторял: «Близок уж час торжества моего».

– Да, я не сомневаюсь более, что он, бедный, навсегда останется сумасшедшим, – решил Бодростин, и это решение стало всеобщим.

А между тем ушли и последние летние дни; на деревьях замелькали желтые листья; подул ветерок, и Лариса вдруг явилась назад в город.

Псдозерова не было; Жозеф посещал сестру немножко воровски и не часто. С Подозеровым они встретились только однажды, и Жозеф было вначале сконфузился, но потом, видя, что зять с ним вежлив, приободрился и потом говорил сестре:

– Благоверный-то твой гриб съел!

– А что такое?

– Так, ничего, очень уж вежлив со мною.

Прошло еще две недели: ветер стал еще резче, листьев половина опала и в огородах застучал заступ.

Александра Ивановна давно решила оставить свою городскую квартиру в доме Висленева, как потому, что натянутые отношения с Ларисой делали жизнь на одном с нею дворе крайне неприятною, так и потому, что, за получением генералом отставки, квартира в городе, при их ограниченном состоянии, делалась совершенный излишеством. Они

решили совсем поселиться у себя на хуторе, где к двум небольшим знакомым нам комнаткам была пригорожена третья, имевшая назначение быть кабинетом генерала.

Мебель и вещи Синтяниных почти уже все были перевезены, и генерал с женой оставались на биваках. В дом уже готовились перебраться новые жильцы, которым Подозеров сдал синтянинскую квартиру на условии – заплатить за шесть лет вперед, чтобы таким оборотом сделаться с залогодателем.

Был шестой час серого сентябрьского дня: генеральша и майор Форов стояли в огороде, где глухонемая Вера и две женщины срезали ножницами головки семянных овощей и цветов. И Синтянина, и майор оба были не в духе: Александре Ивановне нелегко было покидать этот дом, где прошла вся ее жизнь, а Форову было досадно, что они теперь будут далее друг от друга и, стало быть, станут реже видеться.

– Спасибо вам за это, – говорила ему генеральша.

– Совершенно не за что: я не о вас хлопочу, а о себе. Я тоже хочу продать домишко и поеду куда-нибудь, куплю себе хуторишко над Днепром.

– Зачем же так далеко?

– Там небо синее и водка дешевле.

– Не водка манит вас, Филетер Иванович. Что вам за охота всегда представлять себя таким циником?

– А чем же мне себя представлять? Не начать же мне на шестом десятке лет врать или сплетничать? Вы разве не видите, что мою старуху это извело совсем?

– Какой ангел эта Катя!

– Заказная, готовых таких не получите; одно слово: мать Софья обо всех сохнет.

– А вы нет?

– Я?.. А мне что такое? По мне наплевать, но я не хочу, чтоб она все это видела и мучилась, и потому мы с нею махнем туда к Киеву: она там будет по монастырям ходить, а я… к студентам имею слабость… заведу знакомства.

– И мы к вам приедем.

– Пожалуй, приезжайте, только я вам не обещаю, что вы меня не возненавидите.

– Это отчего?

– Так; я связи со всем прошедшим разрываю. Надоело мне здесь всё и все; я хочу нового места и новых людей, которые не смеялись бы надо мной, когда я стану переменяться. А здесь я жить не могу, потому что беспрестанно впадаю в противоречия. И это на каждом шагу; вот даже и сейчас: иду к вам, а по улице Горданов едет, да Ларисе Платоновне кланяется. Какое мне до этого дело? А я сержусь. Иосаф Платоныч в бодростинском доме дурака представляет: что мне до этого? Наплевать бы, хоть бы он и на голове ходил, а я сержусь. Увидал его сейчас на дворе – орет, что не позволит зятю так распоряжаться сестриным домом, потому что сам нашел жильца, который предлагает на двести рублей в год более. Он дело говорит, а я сержусь, зачем он говорит против Подозерова. Висленев хочет сдать дом под контору для бодростинских фабрик, и это очень умно, потому что и берет дорого, И сдает исправным плательщикам, а, главное, мне ни до чего этого дела нет, а я сержусь. И спросите меня из-за чего? Из-за того, что здесь Горданов будет вертеться. А что мне до всего этого за дело! Да хоть он внедрись тут…

– Т-с! – остановила его, потянув его за руку, Александра Ивановна и, указав глазами на дорожку, по которой шибко шла к беседке Лариса, сама начала стричь головки семенников.

Лара не шла, а почти бежала прямо к уединенной старой беседке с перебитыми окнами.

– Что это с нею? – пробурчал Форов, но сейчас же добавил, – матушки мои, какой срам!

За Ларисой смело выступал Горданов, которого сопровождал Жозеф, остановившийся на половине дороги и быстро повернувший назад.

– Послушайте, что же это такое? – прошептал Форов и проворно запрыгал через гряды к беседке, сокрывшей Горданова и Ларису, но вдруг повернул и пошел, смущенно улыбаясь, назад.

– Ничего, – сказал он, – не беспокойтесь: надо же нам быть умнее всего этого.

Но в эту же минуту послышался шелест платья, и Лара, с расширенными зрачками глаз, прямо неслась по направлению к майору и генеральше, и бросилась последней на шею.

– Бога ради! – процедила она. – Я этого не хотела, я отказалась принять этого человека, и когда брат привел его, я бросилась черным

ходом, но Жозеф… Ах! ах!

Она закрыла руками глаза и спрятала лицо на плече Синтяниной: на пороге садовой калитки стоял в дорожном тулупчике Подозеров, а возле него, размахивая руками, горячился Жозеф и юля все хотел заслонять собою мало потерявшегося Горданова.

– Я не позволю, – кричал Жозеф, – сестра женщина, она не понимает, но я понимаю, какая разница между семьюстами рублей в год, за которые отдаете вы, или девятьюстами, как я отдал.

Подозеров не отвечал ему ни слова. Он глядел то на жену, то на Горданова, как будто не верил своим глазам, и, наконец, оборотясь к Форову, спросил:

– Как это могло случиться?

– Они, кажется, осматривают дом.

– Да, именно дом, – подхватил Висленев и хотел опять сказать что-то обстоятельное о цене найма, но Форов так стиснул его за руки, что он только взвизгнул и, отлетев назад, проговорил:

– А я все-таки сестры обижать не позволю…

Глава тридцать четвертая
Начало конца

Форов мог сделать Висленеву что-нибудь худшее, но Подозеров отвлек его за руку и, шепнув: «не марайте руки, Филетер Иваныч», добавил, что он едет сию же минуту назад в деревню и просит с собой Форова. Майор согласился. Он целые два дня и две ночи провел с Подозеровым, приводя в порядок хозяйственные бумаги по имению, и не спросил: зачем это делается? На третий день они оба вместе поехали на хутор к Синтяниным, которые только что окончательно туда переехали. Подозеров казался совершенно спокойным и самообладающим: он, извиняясь пред Синтяниным, объявил ему, что по своим обстоятельствам должен непременно немедленно же оставить место и ехать в Петербург, и потому представляет все счеты и просит его уволить, а вместо себя рекомендовал Форова, но Филетер Иваныч поблагодарил за честь и объявил, что он ни за что на себя никакого управительства не примет, потому что он слаб и непременно всех перебалует.

Синтянин не возражал ни слова: он деликатно предложил только Подозерову рекомендовать его тому генералу, к которому недавно притекали Глафира и княгиня Казимира и еще прежде их и, может быть, прямее их ничтожный камень, которым небрегут зиждущие описываемые события, но который тихо, тихо поднимается, чтобы стать во главу угла.

Подозеров поблагодарил и принял от Синтянина карточку, а вслед затем Иван Демьянович обещал написать и особое письмо и пожелал знать, о чем собственно ему просить? в чем более всего Подозеров может нуждаться?

– Я считал бы излишним указывать это в письме, – отвечал Подозеров, – но если уж это надо, то он мне в самом деле может оказать огромное одолжение: я хочу, чтобы моя жена получила право на развод со мною, и вину готов принять на себя.

– Но вас тогда обрекут на безбрачие.

– Что ж такое? тем лучше: я убедился, что я вовсе неспособен к семейной жизни.

– Вы благороднейший человек, – ответил ему, пожимая руку, Синтянин, и осведомясь, что Подозеров намерен ехать завтра же, обещал приехать с женой проводить его.

– Пожалуйста, – попросил его Подозеров.

– Непременно-с, достойнейший Андрей Иванович, непременно приедем-с, – говорил генерал, провожая и желая тем ему заявить свою особенную аттенцию.

На другой день, часа за полтора до отхода поезда железной дороги, дом Ларисы наполнился старыми, давно не бывавшими здесь друзьями: сюда пришли и Синтянины, и Катерина Астафьевна, и отец Евангел, а Филетер Иванович не разлучался с Подозеровым со вчерашнего вечера и ночевал с ним в его кабинете, где Андрей Иванович передал ему все домашние бумаги Ларисы и сообщил планы, как он что думал повесть и как, по его мнению, надо бы вести для спасения заложенного дома.

– Впрочем, – добавил он, – все это я говорю вам, Филетер Иваныч, только про всякий случай, а я думаю, что ничего так не будет, как я предполагал.

Майор ответил, что он в этом даже уверен, но продолжал все выслушивать и замечать у себя в книжечке, находившейся при просаленном и пустом бумажнике.

О Ларе они друг с другом не проронили ни одного слова; Подозеров и сам с женой не виделся с той самой поры, когда он ее будто не заметил на огороде.

Лара сидела одна в своей комнате: она провела ночь без сна и утром не выходила. Муж постучал к ней пред обедом: она отперла дверь и снова села на место.

– Лара, я уезжаю, – начал Подозеров.

– Куда и зачем? – уронила она едва слышно, и в голосе у нее зазвучали слезы.

– Я не совсем точно выразился, Лариса: я должен вам сказать, что мы расстаемся.

– Какая к этому причина? – и она докончила едва слышно, – вы меня можете обвинять во всем, но я ничего дурного до сих пор против вас не сделала. У меня, может быть, дурной характер, но неужели этого нельзя простить?

Подозеров заколебался: слезы жены и слово «простить» ослабляли его решимость.

– Лара, дело не в прощении: я вам простил и отпустил все, но дело и не в характере вашем, а в том, что у нас с вами нет того, что может сделать жизнь приятною и плодотворною: мы можем только портить ее один другому и действовать друг на друга огрубляющим образом, а не совершенствующим.

– Ах, уж мне это совершенствование! Берите, Андрей Иваныч, жизнь проще, не ищите идеалов.

– Извините, Лара, я так жить не могу.

– Ну, так вы никогда не будете счастливы.

– Это всего вероятнее, но дело решенное, и вы, я думаю, с тем согласитесь, что у нас единства вкусов нет.

– Нет.

– Единомыслия и единства убеждений тоже нет?

– Да, их нет.

– Взгляды на жизнь и правила у нас разные.

– Да, и мои верно хуже?

– Я этого не говорю.

– Но друзья ваши, конечно, так вам это разъясняли.

– Оставимте моих друзей, но ваши и мои правила не сходятся, – значит нам единомыслить не о чем, укреплять друг друга не в чем, стремиться к одному и тому же по одной дороге некуда: словом, жить вместе, уважая друг друга, нельзя, а жить, не уважая один другого, это… это ни к чему хорошему не ведет, и мы расстаемся.

– Только уж, пожалуйста, совсем.

– О, непременно! К сожалению, разводы у нас трудны: и стоят денег, но тем не менее я употреблю все усилия дать вам средства вести против меня процесс.

– Хорошо.

И супруги разошлись и более не виделись до самой той поры, когда друзья приехали проводить отъезжающего.

При этом случае опять не было никаких ни разговоров, ни урезониваний: все знали, в чем дело, и скорбели, но хранили молчание.

Вещи отъезжающего были уложены, и до отъезда оставалось уже несколько минут, а Лара не выходила.

Отец Евангел бродил по комнате и, заходя в углы, кусал свою бороду и чмокал сожалительно губами; Катерина Астафьевна ломала руки; генеральша была бледна как плат; а майор, по общему замечанию, вдруг похудел.

Настало время отъезда. Подозеров подошел к двери жениной спальни и сказал, что он желает проститься. Дверь отворилась, и он вошел к Ларисе.

– Ах, змея! – прошептала Катерина Астафьевна, – да неужто же она даже не выйдет его проводить?

– И не должна, – отвечал стоявший возле жены лицом кокну Форов.

– Это почему?

– Потому что он этого не стоит. Если бы у нее муж выл какой ей нужен, так она бы его и встречала, и провожала.

– То есть это вроде тебя бы что-нибудь.

– Нет, что-нибудь вроде меня ее давно бы бросил…

– И вам их не жаль? – проронила Синтянина.

– Ни малешенько.

– А отчего же это вы похудели?

– Овса мало получаю, – ответил майор, но слыша, что Подозеров один выходит в залу из комнаты жены, нетерпеливо дернул носом и заплакал.

Все встали и начали прощаться, а Синтянина этим временем обтерла молча своим платком лицо майора, чему тот нимало не препятствовал, но когда генеральша прошептала: «Вы, Филетер Иванович, святой», – он резко ответил:

– Чего же вы ко мне не прикладываетесь! – и с этим юркнул и убежал из дома и уже объявился у вагона, где поджидал свою компанию с сильно наплаканными глазами.

Лары так и не было: в то время, как мужа ее уносил быстрый поезд, она в сильнейшем расстройстве скакала в деревню к Бодростиной, которой стремилась излить свою душу и получить от нее укрепление.

Но тут произошла вещь самая неожиданная, поразившая Лару жестоко и разразившаяся целою цепью самых непредвиденных событий: столь милостивая к Ларисе Глафира встретила ее сухо, выслушала с изумлением и, сильно соболезнуя об исходе, какой

приняло дело, советовала Ларе немедленно же послать вдогонку за мужем депешу или даже ехать вслед за ним в Петербург и стараться все поправить.

– Судите сами, chère Lara, – говорила она, – какое же будет ваше положение: вы так молоды, так хороши и… припомните стих Пушкина: «свет не карает преступлений, но тайны требует у них», меж тем как вы все начали оглаской и… я боюсь, как бы вы себе не заперли повсюду двери.

Гордость Лары страшно возмутилась этим наставлением, и она, посидев очень короткое время у Бодростиной, уехала, захватив с собой в качестве утешителя Жозефа, а на другой день прибыл к ним и другой утешитель – сам Павел Николаевич Горданов, которого потерявшаяся Лариса приняла и выслушивала его суждения с братом о лицемерии провинциальном и о толерантности столиц.

– А всего лучше, – говорил ей Жозеф, – валяй-ка, сестренка, за границу.

– Да, проехаться в подобных обстоятельствах дело великое, – поддержал Горданов и описал прелести заграничного вояжа, пока Подозеров настроит в Петербурге дело о разводе.

– Прекрасно, Лара: ей-богу, ступай ты от этих дураков за границу, – уговаривал Лару брат по отъезде Горданова, – а там освободишься от своего Фалалея Трифоновича и выходи замуж за Горданова, а я тоже женюсь и заживем.

Лариса возразила брату только против того, что он уже женат и что ему жениться не совсем удобно; но когда об этом зашел разговор другой раз, то Горданов поддержал Жозефа, сказав, что развестись у нас трудно, но жениться два раза гораздо легче, как и два раза замуж выйти – тоже.

Лару это заняло, и она с любопытством слушала, как Горданов доказывал ей, что если никто из родных не вмешается в брак, то кому же какое дело протестовать. Он привел ей в пример несколько дам, благополучно вышедших замуж от живых мужей, и Лара согласилась, что это хорошее средство для поправления фальшивых положений в глазах света, «не карающего преступлений, но требующего для них тайны». А через неделю Лара взяла деньги, назначавшиеся на выкуп ее дома, и в один день собралась за границу.

Об этом случайно узнал Форов, а жена его даже не хотела этому и верить, но, гуляя вечером и придя на станцию железной дороги, она, к крайнему своему удивлению, увидела Ларисину девочку с багажом.

– Послушай, матушка Зинка, или, как тебя… Малаша: куда едет твоя барыня?

– Неизвестно-с, Катерина Астафьевна.

– Полно врать!

– Ей-богу неизвестно.

– К барину небось спешит?

– Ничего не знаю-с.

– Врешь; знаешь, да не хочешь сказать, – кинула ей Форова, отходя в сторону и тщетно отыскивая в толпе Ларису. Ее, однако, нигде не было видно, и чем майорша больше суетилась и толкалась, тем только чаще попадались ей в глаза одни и те же лица, с неудовольствием отворачивавшиеся от ее засмотров и отвечавшие ей энергическими толчками на ее плавательные движения, с помощию которых она подвигалась наугад в этой сутолоке.

Но вот прозвонил звонок, все хлынуло к дверям, ринулось за решетку, а ее не пускают.

– Нельзя, нельзя, не велено без билета! – внушает ей, отводя ее рукой, жандарм.

– Позволь, любезнейший, хоть на минутку, – упрашивает Катерина Астафьевна, распаляемая самой ей непонятным жаром томительного предчувствия, – Позволь, голубчик, позволь, батюшка.

Но жандарм был непреклонен.

– Возьмите билет, тогда, – говорит, – пущу.

Вот прозвучал и второй звонок: все уселись по местам; платформа пустеет, только изредка пробегают поездные, поправляя сигнальный шнур; вот и все двери вагонов заперты, и Катерина Астафьевна бежит вдоль решетки, проницая взором каждое окно, как вдруг ее кто-то толкнул и, перескочив за решетку, стремглав вскочил в вагон.

– Великий боже, это Горданов!

Катерина Астафьевна не взвидела света и, оком прозрения заметив за опущенною шторой одного вагонного окна черный глаз Ларисы, бросилась к кассе.

– Билет мне, билет! – шипела она, колотя рукой в закрытую форточку кассирской будки, но форточка не отпиралась, а между тем

на платформе прозвенел третий звонок.

Отчаянная Форова с воплем бросилась назад к поезду, но пред нею уже только мелькнул красный флаг заднего вагона, и в воздухе звучало баф-тум, баф-тум…

Но наконец затихло и это.

Катерина Астафьевна швырнула на пол чепец и зарыдала, вопя:

– Лара! дитя мое! моя девочка! что ты наделала? Куда тебя повез этот злодей?

Но прошли первые истерические порывы и Катерина Астафьевна, встав на ноги, подошла, шатаясь, к кассе, с вопросом: когда она может ехать? Ей отвечали, что следующий поезд пойдет завтра.

– Завтра!.. Это ужасно. А как же я видела там сейчас собирают опять какие-то вагоны… Я видела.

– Да; это через час пойдет товарный поезд, – отвечал ей кассир, – но, – добавил он, – на этих поездах пассажиров не возят.

– Батюшка, как-нибудь! – умоляла майорша, но требование ее не могло быть удовлетворено: ей рассказали, что при товарных поездах люди только принимаются со скотом.

– Как со скотом? Расскажите же мне толком: как это со скотом? Я поеду со скотом.

– Если у вас будет лошадь или корова, или другая скотина, вы можете ее провожать.

Катерина Астафьевна подхватила чепец, исчезла, и менее чем через час снова явилась на станцию с узелочком в сопровождении майора, который держал под рукой визжавшего поросенка.

– Стой здесь, – сказал Форов жене, – а я пойду сдам этого путешественника и запишу при нем тебя.

И через десять минут Катерина Астафьевна уже мчалась по тому самому направлению, по которому час тому назад унеслась Лариса. На дворе уже была ночь, звезды сияли во все небо, ветер несся быстрою струей вокруг открытой платформы и прохлаждал горячечный жар майорши, которая сидела на полу между ящиками и бочками, в коленях у нее помещался поросенок и она кормила его булочкой, доставая ее из своего узелочка одною рукой, меж тем как другою ударяла себя в грудь, и то порицала себя за гордыню, что сердилась на Лару и не видалась с нею последнее время и тем дала усилиться Жозефу и проклятому Гордашке, то, подняв глаза к звездному небу,

шептала вслух восторженные молитвы. Она не замечала, как мимо мелькали полустанции и станции и как луч восходящего солнца осветил ее на бегущей платформе коленопреклоненную с развевающимися по ветру добела поседевшими косами и устами, шепчущими крылатые мольбы богу милосердия.

Глава тридцать пятая
Близок уж час торжества

Ненавистный соперник Ропшина умчался далеко. Все это сделалось чрезвычайно быстро и неожиданно и совершенно против всякого желания и всех расчетов Глафиры. Она никак не ожидала от Горданова такой глупой безрасчетливости в такое кипучее время. Кроме того, она была оскорблена этим побегом не только как заговорщица, но и как женщина. Она поняла, что чары ее уже уходят и даже совсем отошли; что она только действует на юность, да на глупость, – на Ропшина, да на Висленева, а разборчивый Горданов уже нагло и дерзко манкирует ее тридцатилетнею красой, открыто предпочитая ей юную прелесть молодой Лары, за которою он бросился, покинув все дела и все замыслы, и умчался очертя голову.

Ропшин довольно близко отгадывал то, что должна была чувствовать Бодростина, получив доставленное им известие о побеге Горданова с Ларисой.

Сообщив это Глафире, секретарь доложил ей почтительно, что Горданов пропасть не может, что он дал слово вернуться из отлучки через месяц, чему Ропшин и советовал верить.

– Но, – прибавил он со вздохом, – нам это все мало поможет.

Глафира поглядела ему в глаза и спросила: что он хочет этим сказать?

– В течение месяца, Глафира Васильевна, много может случиться: я не отвечаю, что в это время все не откроется Михаилу Андреичу про завещание.

– Но кто же ему может это открыть?

Ропшин поднял голову так, как он ее никогда еще не поднимал пред Глафирой, и смело произнес:

– Я сам.

– Ага! вот в чем дело! – подумала та и, покачав головой, добавила, что она этому не верит.

– Нет-с, я уверяю вас, что долее ждать нельзя.

Глафира закусила губу и после минутной паузы ответила, что он и не будет ожидать долее, и с этим она сделала шаг в глубину комнаты и

спросила с легкой улыбкой:

– Говорите прямо: чего вы хотите? Что вам нужно за ваше молчание?

Ропшин оробел и пролепетал, что его смущает страх, что он не может быть покоен и даже не спит, потому что ему по целым ночам чудится, что его запирают в его комнате и хотят взять.

– Приходите сюда, ко мне, когда вам сделается очень страшно.

– Я не шучу-с: мне страшно… и я не сплю; как ночь, я в страхе.

– Ну, приходите сюда: у меня здесь горит лампада.

Ропшин кинулся пред ней на колена и, схватив ее руку, прильнул к ней устами.

– Через час, когда разойдемся, моя дверь будет отперта, – проговорила, отстраняя его от себя, Бодростина и, возвратясь в свою половину, после того как семейство разошлось по своим спальням, она отпустила свою горничную, стала против окна и, глядя на те самые звезды, которые светили теперь едущей майорше Форовой, задумалась и потом рассмеялась и сказала себе:

– Я все, все предвидела, но никогда не думала, чтобы мне пришлось играть такую роль. Но неужто же на этом остановиться и потерять все, все, что уже сделано? Нет, нет, вперед!

В это время дверь тихо отворилась и на пороге появился Ропшин.

– Вы аккуратны, как часовая стрелка, – встретила его улыбкой Глафира.

– Как немец-с, – отвечал ей Ропшин, пожирая ее глазами и, осторожно положив на стул ключ от своей комнаты, подошел к столу и завернул кран лампы.

– Так, – сказал он, – будет гораздо безопаснее, потому что хотя к вам и никто не смеет взойти, но все-таки свет.

Впрочем, опасения Ропшина были не совсем излишни, потому что Жозеф, обрадованный отъездом Горданова, не спал и, видя из своего окна свет в окне Глафиры, сошел заглянуть под штору, но труд его был напрасен, и тяжелые шторы не позволили ему ничего видеть, да и огонь стух при самом его приближении.

Слегка подвыпивший за ужином Жозеф должен был ограничиться только тем, что посидел под окном своего кумира и, распевая: «Близок уж час торжества моего», напугал суеверных сторожей, которые

рассказывали потом, что слышали, как завывает коровья смерть, о которой тогда толковали, будто она ходит по селам.

Висленев, узнав об этом чрез слуг, был чрезвычайно рад, что его принимают за коровью смерть: это, с одной стороны, возвышало в его глазах его мистическое значение, а с другой – он набрел на мысль: нельзя ли взбудоражить мужиков, что скотский падеж пошел по селам от скота, нагнанного Бодростиным на его невиданную и неслыханную консервную фабрику? Жозеф положил агитировать в этом смысле и, припоминая поучение Горданова не пренебрегать ничем, начал свою агитацию, внушая встречному и поперечному из крестьян злые намеки, с надеждой, что авось что-нибудь из этого да разыграется.

Александра Ивановна Синтянина едва только через несколько дней после происшествия узнала об исчезновении Ларисы и Форовой, и то весть об этом пришла на хутор чрез отца Евангела, который, долго не видя майора, ходил осведомляться о нем, но его не видал, а только узнал о том, что все разъехались, и что сам майор как ушел провожать жену, с той поры еще не бывал назад.

Где он мог быть? Куда он делся в то время, когда он один мог сообщить интереснейшие сведения?

Это чрезвычайно занимало и священника, и генеральшу, но ответа на это ниоткуда не слышалось.

Наконец, в один прекрасный день майор явился, как с неба, к Синтяниной и прямо начал со слов:

– Жена вам кланяется!

– Боже, что это такое: где Катя? Что с нею?

– Я получил от нее письмо, – отвечал майор, вручая ей листочек, на котором Катерина Астафьевна извещала, что она, доехав до Москвы, искала здесь Ларису совершенно понапрасну и потом отправилась в Петербург, где надеялась отыскать племянницу, но тоже опять ошиблась. Ни ее, ни Горданова нет и следа. – Я же, – добавляла майорша, – вчера вспомнила, что я уже неделю не обедала, и присела в Гостином дворе у саечника поесть теплого супцу и горько заплакала, вспомнив, что все деньги протратила даром и мне не на что вернуться, а между тем ты, мой бедный Форушка, сидишь без гроша и без хлеба.

– Как же это, Филетер Иванович, почему не обратились вы к нам? – остановилась генеральша.

– Читайте, читайте далее.

Синтянина далее вычитала, что здесь под навесами Гостиного двора плачущая Катерина Астафьевна неожиданно увидала Подозерова и была им утешена, как будто ангелом, и поселилась у него вместе с ним на одной квартире, открыла ему все и старается его утешить и разыскать Ларису.

– Аминь, – решил Форов, и на вопрос генеральши: что будет дальше? отвечал, что он ничего не знает.

Генерал слегка осудил майоршу за привязанность к Ларе, но Форов заступился за жену и сказал:

– Что ж вас тут удивляет? она ее любит, а коли любит, и толковать нечего.

– Это вы-с виноваты, – шутил генерал, – вы должны были внушать, что недостойное уважения любить не следует.

– Ну да, как раз! тогда я прежде всего должен бы внушать ей, чтоб она первого меня не любила.

– Разве вы себя не уважаете?

– А вы себя уважаете?

– Конечно, уважаю.

– Ну, а я себя нисколько.

– Вот как!

– Да разумеется-с! Да и за что же мне себя уважать, когда я дожил до старости и не сделал ничего достойного моих знаний, побуждений и способностей, а только слонялся, да разговоры разговаривал? Прощайте-с.

– Куда же вы? оставайтесь, поговорим, – упрашивали его Синтянины, но Филетер Иванович наотрез отказался и отвечал, что он столько в свою жизнь наговорил, что как вспомнит все выговоренное и что из этого всего могло лечь на юные души, то ему противно всякое место, где нужно говорить.

– Прощайте, – добавил он, – я люблю осенние дни и мне теперь приятно и хочется поговеть и поисповедываться государыне широкой пустыне.

Глава тридцать шестая
Где лара

Неподалеку от Ясс, в Молдавии, на невысоком, но крутом глинистом берегу стоит безобразный, но довольно большой дом, частию сложенный из местного широкого кирпича, частию сбитый из глины и покрытый местами черепицей, местами соломой. В нем два этажа и еще небольшая, совершенно раскрытая вышка. Общий характер постройки самый странный: дом смахивает немножко на корчму, немножко на развалившийся замок, его точно застраивал рыцарь и докончил жид, тем не менее он ни замок и ни корчма, а боярский дом, принадлежащий довольно богатой усадьбе. Он почти пуст и не меблирован, и в его окнах много выбитых стекол, особенно на втором этаже. Внизу несколько крепче, но и то не совсем крепко, ветер ходит по всем покоям, гудит в трубах и хлопает дверями.

Был шестой час вечера; на дворе совсем смерклось, когда у развалившихся ворот этого дворца остановилась пара лошадей, и из забрызганной грязью каруцы выскочил человек в шубе и меховой шапочке и, пролезши под своды низкой калитки, постучался в крошечное окошечко, где едва мерцал свет плошки.

Ему отперла дверь старая, черная молдаванка, с заросшею седыми волосами бородавкой, и снова юркнула в свою яму.

Путник, ощупью держась стены, а потом веревки, протянутой вдоль высокой покривившейся лестницы, стал подниматься наверх.

В это самое время в большой, круглой, темной и сырой казарме второго этажа, из угла, встала легкая фигура и, сделав шаг вперед, остановилась и начала прислушиваться.

Все, казалось, было тихо.

Робкая фигура, дрожа, нащупала стену, пошла вдоль нее и, ощупав под ногами какую-то упругую, колючую мякоть, забрала ее дрожащими от холода руками и сунула в большое черное отверстие.

Через минуту она нашла спичку и, черкнув ею по стене, начала зажигать вереск.

Бледная искра спички коснулась смолистых игол и красный огонь прыгнул по куче вереска, но тотчас же захлебнулся густым, желтым

дымом, который было пополз сначала в трубу, но потом внезапно метнулся назад и заслонил всю комнату; послышался раздирающий писк, множество мелких существ зареяли, описывая в воздухе косые линии.

Это были летучие мыши, расположившиеся зимовать в трубе нежилого дома и обеспокоенные так неожиданно несносным им куревом. Целое гнездо их, снявшись с своих крючьев, упали вниз и, вырываясь из огня, носились, цепляясь за что попало.

Особа, которая зажигала камин, бросилась в угол и, облепленная потерявшими сознание животными, вскрикнула и закрыла руками глаза.

В эту самую минуту нижний гость отворил дверь и, недоумевая, крикнул:

– Лара!

– Боже! Кто здесь? Спасите меня! – отвечала, бросаясь к нему в совершенном отчаянии, Лариса.

– Ты видишь: я тебя нашел, – проговорил знакомый голос Горданова.

Лариса дрожала и молча искала рукой, не держится ли где-нибудь за ее волосы мышь.

Горданов вынул из кармана свечу и зажег ее.

– Едем, – сказал он. – Я совсем на пути; ты мне наделала хлопот: я потерял ноги, искавши тебя целые двое суток, но, наконец, едем.

– В Россию?

– Да; но на самое короткое время.

– Ни за что, ни на один час!

– Лариса, оставь этот тон! разве ты не знаешь, что я этого не люблю? Или ты забыла, что я могу с тобою сделать?

Лара молчала.

– Едем, едем сейчас, без всяких разговоров, или я не пожалею себя и накажу твое упрямство!

– О, делайте что хотите! Я знаю все, на что вы способны; я знаю, кто вы и что вы хотите делать. Я от вас не скрою: я вас любила, и вас одних, одних на целом свете; вам я была бы преданною, покорною женой, и я преступница, я вышла за вас здесь замуж от живого мужа; я надеялась, что вы сдержите ваши обещания, что вы будете здесь работать и… я перенесла бы от вас все. Но когда вы снова

поворачиваете меня туда, где совершился мой позор, где я не могу ни в чьих глазах иметь другого имени, как вашей любовницы, и должна буду оставаться в этом звании, когда вы вздумаете жениться…

– Это возможно; но вы знаете, что этого никогда не будет.

– О, теперь я понимаю, зачем вы были страстны и не хотели дожидаться моего развода с мужем, а обвенчали меня с собою.

– Я всегда тебе говорил, что у нас развестись нельзя, а жениться на двух можно: я так сделал, и если мне еще раз вздумается жениться, то мы будем только квиты: у тебя два мужа, а у меня будет две жены, и ты должна знать и молчать об этом или идти в Сибирь. Вот тебе все начистоту: едешь ты теперь или не едешь?

– Я лучше умру здесь.

– Пожалуй, я упрашивать не люблю, да мне и некогда: ты и сама приедешь.

И он спокойно поворотился, кивнул ей и уехал.

Ему, действительно, было некогда: одна часть его программы была исполнена удачно: он владел прелестнейшею женщиной и уверен был в нерасторжимости своего права над нею. Оставалась другая часть, самая важная: сочинить бунт среди невозмутимой тишины святого своим терпением края; сбыть в этот бунт Бодростина, завладеть его состоянием и потом одним смелым секретом взять такой куш, пред которым должны разинуть от удивления рты великие прожектеры.

Селадонничать было некогда, и чуть только восторги насыщенной страсти немножко охладели, в Горданове закипела жажда довершить свои предприятия, распустив все препятствия как плетенку, вытягиваемую в одну нитку. Овладев Ларой, он не мог упустить из виду и Глафиру, так как она была альфа и омега, начало и конец всего дела.

Горданов несся в Россию, как дерзкий коршун на недоеденную падаль, и немножко боялся только одного: не подсел ли там кто-нибудь еще похищнее.

Часть шестая
Через край

Глава первая
Вести о Горданове

Была вторая половина октября. Поля, запорошенные пушистым снежком, скрипели после долгой растопки и глядели весело. Из окон маленького домика Синтяникского хутора было видно все пространство, отделяющее хутор от Бодростинской усадьбы. Вечером, в один из сухих и погожих дней, обитатели хуторка были осчастливлены посещением, которое их очень удивило: к ним приехал старик Бодростин.

Михаил Андреевич вздумал навестить старого генерала в его несчастии, каковым имел основание считать его внезапную и непрошеную отставку, но Бодростин сам показался и хозяевам, и бывшему у них на этот раз Форову гораздо несчастнее генерала. Бедным, запоздавшим на свете русским вольтерьянцем, очевидно, совсем овладела шарлатанская клика его жены, и Бодростин плясал под ее дудку: он более получаса читал пред Синтяниной похвальное слово Глафире Васильевне, расточал всякие похвалы ее уму и сердцу; укорял себя за несправедливости к ней в прешедшем и благоговейно изумлялся могучим силам спиритского учения, сделавшего Глафиру столь образцово-нравственною, что равной ей теперь как бы и не было на свете. Правда, он по старой привычке, позволял себе слегка подтрунивать над ее «общениями» с духами, которые после ее знакомств с Алланом Кардеком избрали ее своим органом для передачи смертным их бессмертных откровений, но, при всем том, видел несомненное чудо в происшедшем в Глафире нравственном перевороте и слегка кичился ее новыми знакомствами в светском круге, которого он прежде убегал, но который все-таки был ему более по кости и по нраву, чем тот, откуда он восхитил себе жену, пленясь ее красотой и особенным, в то время довольно любопытным, жанром.

Киченье Бодростина слегка задело плебейские черты характера Синтянина, и он ядовито заметил, что ни в чем произошедшем с Глафирой чуда не видит и ничему не удивляется, ибо Глафире Васильевне прошли годы искать в жизни только одних удовольствий, а названным Бодростиным почтенным дамам-аристократкам вообще

нечего делать и они от скуки рады пристать ко всему, что с виду нравственно и дает какую-нибудь возможность докукой морали заглушать голос совести, тревожимый старыми грехами.

Старики поспорили, и генерал, задетый за живое значением, какое Бодростин придавал дамам светского круга, а может быть и еще чем-нибудь иным, так расходился, что удивил свою жену, объявясь вдруг таким яростным врагом завезенного Бодростиной спиритизма, каким он не был даже по отношению к нигилизму, привезенному некогда Висленевым. Синтянин удивил жену еще и тем, что он в споре с Бодростиным обнаружил начитанность, которую приобрел, проведя год своей болезни за чтением духовных книг, и помощию которой забил вольтерьянца в угол, откуда тот освободился лишь, представив самое веское, по его мнению, доказательство благого влияния своей жены на «растленные души погибающих людей».

– Вы ведь например, конечно, знаете Горданова, сказал Бодростин, – и знаете его ум и находчивость?

– Да-с, имею-с это-с удовольствие-с, – отвечал генерал со своими *с*, что выражало уже высокую степень раздражения.

– Да, я знаю, что вы его знаете и даже знаю, что вы его не любите, – продолжал Бодростин, – и я его сам немножко не люблю, но и немножко люблю. Я не люблю его нравственности, но люблю его за неутомимую энергию и за смелость и реальность; такие люди нам нужны; но я, конечно, не одобряю всех его нравственных качеств и поступков, особенно против Подозерова… Его жена… ну да… что делать: кто богу не грешен, царю не виноват; но пусть уж, что стряслось, то пусть бы и было. Поволочился и довольно. Имел успех, ну и оставь ее; но сбить молоденькую бабочку совсем с толку, рассорить ее и заставить расстаться с мужем, подвергнуть ее всем тягостям фальшивого положения в обществе, где она имела свое место, – я этого не одобряю…

– Горданов-с закоренелый-с негодяй-с, – отвечал, засверкав своими белыми глазами, генерал Синтянин.

– И против этого я, пожалуй, не возражаю: он немножко уж слишком реальная натура.

– Я бы его расстрелял, а потом бы-с повесил-с, а потом бы…

– Что же бы потом еще сделали? Расстреляли или повесили, уж и конец, более уже ничего не сделаете, а вот моя Глафира его гораздо

злее расказнила: она совершила над ним нравственную казнь, вывернула пред ним его совесть и заставила отречься от самого себя и со скрежетом зубовным оторвать от себя то, что было мило. Короче, она одним своим письмом обратила его на путь истинный. Да-с, полагаю, что и всякий должен признать здесь силу.

Эффект, произведенный этою новостью, был чрезвычайный: генерал, жена его, майор и отец Евангел безмолвствовали и ждали пояснения с очевидным страхом. Бодростин им рассказывал, что обращенный на правую стезю Горданов возгнушался своего безнравственного поведения и в порыве покаяния оставил бедную Лару, сам упрашивая ее вернуться к ее законным обязанностям.

Повествователь остановился, слушатели безмолвствовали.

Бодростин продолжал. Он рассказал, что Лара versa des larmes amères,[94] однако же оказалась упорною, и Горданов был вынужден оставить ее за границей, а сам возвратился на днях один в свою деревушку, где и живет затворником, оплакивая свои заблуждения и ошибки.

Когда Бодростин кончил, присутствовавшие продолжали хранить молчание.

Это показалось Михаилу Андреевичу так неловко, что, ни к кому исключительно не относясь, спросил:

– Что же вы, господа, на все это скажете?

Но он не скоро дождался ответа, и то, как слушатели отозвались на его вопрос, не могло показаться ему удовлетворительным. Майор Форов, первый из выслушавших эту повесть Гордановского обращения, встал с места и, презрительно плюнув, отошел к окну. Бодростин повторил ему свой вопрос, но получил в ответ одно коротенькое: «наплевать». Потом, сожалительно закачав головой, поднялся и молча направился в сторону Евангел. Бодростин и его спросил, но священник лишь развел руками и сказал:

– Это по-нашему называется: укравши Часовник, «услыши Господи правду мою» воспевать, Этак не идет-с.

Бодростин перевел вопрошающий взгляд на генерала, но тот сейчас же встал и, закурив трубку, проговорил:

– Тут всего интереснее только то: зачем все это делается с такой помпой?

– Какая же помпа, mon cher Иван Демьяныч? В чем тут помпа? Я не его партизан, но… il faut avoir un peu d'indulgence pour lui.[95]

Но на это слово из-за стола быстро встала Синтянина и, вся негодующая, твердо произнесла:

– Нет никакого снисхождения человеку, который имел дух так поступить с женщиной.

– Сжечь его? – пошутил Бодростин. – А? сжечь? Аутодафе, с раздуваньем дамскими опахалами?

Но шутка вышла не у места: блуждавшая по лицу Синтяниной тень смущения исчезла, и Александра Ивановна, уставив свой прямой взгляд в лицо Бодростина, проговорила:

– Я удивляюсь вам, Михаил Андреевич, как вы, несомненно образованный человек, находите удобным говорить в таком тоне при женщине о другой женщине и еще, вдобавок, о моей знакомой, более… о моем друге… да, прошу вас знать, что я считаю бедную Лару моим другом, и если вы будете иметь случай, то прошу вас не отказать мне в одолжении, где только будет удобно говорить, что Лара мой самый близкий, самый искренний друг, что я ее люблю нежнейшим образом и сострадаю всею душой ее положению. Я как нельзя более сочувствую ее упрямству и… употреблю все мои усилия быть ей полезною.

Несмотря на большой светский навык, Бодростин плохо отшутился и уехал крайне недовольный тем, что он в этом визите вышел как бы неловким подсыльным вестовщиком, в каковой должности его признала Синтянина своим поручением трубить о ее дружбе и сочувствии ко всеми покинутой Ларе.

Глава вторая
Синтянина берет на себя трудную заботу

Так почти и вышло, как предполагал Бодростин: простясь с ним, ему не слали вослед благожеланий, а кляли его новость и были полны нехороших чувств к нему самому.

Старый генерал был в духе и заговорил первый: его утешало, что его жена так отбрила и поставила в такое незавидное положение «этого аристократишку», а об остальном он мало думал. По отъезде Бодростина, он подошел к жене и, поцеловав ее руку, сказал:

– Благодарю-с вас, Сашенька-с; благодарю. Ничего-с, ничего, что вы назвались ее другом: поганое к чистому не пристает.

Александру Ивановну от этого одобрения слегка передернуло, и она, покусав губы, сухо сказала:

– Никто не может гордиться своею чистотой: весь белый свет довольно черен.

– Э, нет-с, извините-с, кроме вас-с, кроме вас-с!

И с этим генерал отправился в свой кабинетик писать одну из тех своих таинственных корреспонденций, к которым он издавна приобрел привычку и в которых и теперь упражнялся по любви к искусству, а может быть, и по чему-нибудь другому, но как на это в доме не обращали никогда внимания, то еще менее было повода остановиться на этом теперь, когда самым жгучим вопросом для генеральши сделалась судьба Ларисы. Где же в самом деле она, бедняжка? На чьих руках осталось это бедное, слабое, самонадеянное и бессильное существо?.. От одного размышления об этом Синтяниной становилось страшно, тем более, что Бодростин, сообщив новость о гордановском покаянии, ничем не умел пояснить и дополнить своих сказаний насчет Лары. Александра Ивановна, так же, как ее муж, нимало не верила сказке, сложенной на сей случай о Горданове. Они допускали, что задавленный Висленев мог подчиниться Глафире и верить, что с ним сообщается «Благочестивый Устин», но раскаявшийся Горданов, Горданов спирит… Это превосходило всякое вероятие. Генерал, со свойственною ему подозрительностью, клялся жене, что это не что

иное, как новая ловушка, и та чувствовала, что в этом подозрении много правды. Генеральше было, впрочем, не до Горданова.

Пораженная участью бедной Лары, она прежде всего хотела разузнать о ней и с этою целью упросила Филетера Ивановича съездить к Бодростиным и выспросить что-нибудь от Висленева. Форов в точности исполнил эту просьбу: он был в бодростинском имении, видел Глафиру, видел Висленева и не принес ровно никаких известий о Ларе. И благочестивая Глафира, и жалкий медиум равнодушно отвечали, что они не расспрашивали Горданова о Ларисе, и что это до них не касается, причем Висленев после разговора с майором надумался обидеться, что Форов так бесцеремонно обратился к нему после того, что между ними было при гордановской дуэли, но Форов не счел нужным давать ему объяснений.

Тем не менее первая попытка Синтяниной разыскать Лару осталась без всяких результатов, и генеральша решилась прямо обратиться к Глафире. Александра Ивановна написала Бодростиной письмо, в котором прямо попросила ее, в величайшее для нее одолжение, узнать от Горданова, где и в каком положении он оставил Лару. Бодростина на это не ответила, но Синтянина не сконфузилась и послала ей другое письмо, что было потребностью и для самой генеральши, так как ее тревога за Ларису усилилась до такой степени, что она не могла спать и не умела ни одной строки написать об этом Форовой в Петербург. Глафира наконец ответила, но ответила вздор, что ей неловко допрашивать Горданова, и она «об известной особе» ничего наверное не знает, а полагает, что они расстались навсегда, так как та осталась глуха к убеждениям совести, которые ей представил Горданов. Эта бесцеремонная наглость и лицемерие до того возмутили Синтянину, что она в негодовании разорвала письмо Бодростиной в мелкие клочки и упросила мужа, чтоб он, пользуясь последними погожими днями и тем, что ему теперь несколько полегче, съездил отдать визит Бодростину и добился, что они знают о Ларисе.

Иван Демьянович исполнил эту просьбу: он ездил в Рыбацкое, с непременным намерением разузнать о Ларисе как можно более. Его самого тоже очень интересовала ее судьба, хотя совсем по другим побуждениям, чем жену, но и он, однако, вернулся тоже ни с чем, если не считать усилившегося кашля и крайнего раздражения, в каком он давно не бывал. Все, что он мог сообщить, заключалось в том, что

Бодростина не спиритка, а Тартюф в женской юбке и должна иметь какие-нибудь гнуснейшие планы; но как Александра Ивановна была и сама того мнения, то она могла только подивиться вместе с мужем, что этого никто, кроме их, как будто не видит. Тем не менее дело все-таки не подвигалось, и Синтянина задумалась. – Где же, наконец, эта бедная Лара с ее молодостью, красотой, испорченною репутацией, капризным характером, малым умом и большою самонадеянностью? От одних мыслей, которые приходили по этому поводу в голову молодой, но искушенной в жизни женщины, ее бросало в жар и в озноб.

После двух суток мучительного раздумья Александра Ивановна наконец пришла к невероятному решению: она положила подавить в себе все неприязненные чувства и сама ехать к Бодростиной.

Глава третья
Превыше мира и страстей

Свидание свое с Бодростиной генеральша не откладывала и поехала к ней на другой же день. Для этого визита ею было выбрано предобеденное время, с тою целью, чтобы в эти часы застать Глафиру одну, без гостей, и узнать как можно более в возможно короткое время. Но Александра Ивановна ошиблась: у Глафиры еще с утра были ее графиня и баронесса, и Синтянина волей и неволей должна была оставаться в их обществе, чем она, впрочем, и не очень тяготилась, ибо нашла в этом для себя очень много занимательного. Во-первых, она не узнала самой Глафиры и была поражена ею. Хотя Синтянина всегда многого ожидала от разносторонних способностей этой женщины, но тем не менее она была поражена отчетливостью произведенной Глафирой над собою работы по выполнению роли и должна была сознаться, что при всех своих волнениях залюбовалась ею. Ничего прошлого и следа не было в нынешней Глафире. Синтянина увидала пред собою женщину, чуждую всего земного, недоступную земным скорбям и радостям, – одним словом, существо превыше мира и страстей. Какую она себе усвоила бесстрастную, мягкую речь, какие тихие, спокойные движения, какой у нее установился на все оригинальный взгляд, мистический и в то же время институтски-мечтательный!.. И все это у нее выходило так натурально, что хотелось любоваться этою артистическою игрой, на что генеральша и истратила гораздо больше времени, чем следовало. Она со вниманием слушала очень долгий разговор, который шел у этих дам о самых возвышенных предметах, об абсолютном состоянии духа, о средствах примирения неладов между нравственной и физической природой человека, о тайных стремлениях души и т. п.

Графиня и баронесса обедали у Бодростиной, и потому у Синтяниной была отнята всякая надежда пересидеть их, и она должна была прямо просить Глафиру Васильевну о минуте разговора наедине, в чем та ей, разумеется, не отказала. Они взошли в маленький, полутемный будуар, и Синтянина прямо сказала, что она находится в величайшей тревоге по случаю дошедших до нее известий о Ларисе и

во что бы то ни стало хочет добиться, где эта бедняжка и в каком положении?

Глафира была так умна, что, очутясь наедине с Синтяниной, сейчас же сбавила с себя значительную долю духовной строгости и заговорила о Ларисе с величайшим участием, не упустив, однако, сказать, что Лара «очень милое, но, по ее мнению, совершенно погибшее создание, которое, сделавши ложный шаг, не находит в себе сил остановиться и выйти на другую дорогу». Укорять или порицать людей за нежелание перемениться и исправиться стало любимою темой Глафиры с тех пор, как она сама решилась считать себя и изменившеюся, и исправившеюся, благо ей это было так легко и так доступно.

Но приговор о неисправимости Лары показался Синтяниной обидным, и она ответила своей собеседнице, что нравственные переломы требуют времени, и, к тому же, на свете есть такие ложные шаги, от которых поворот назад иногда только увеличивает фальшь положения. Бодростина увидела здесь шпильку, и между двумя дамами началась легкая перепалка. Глафира сказала, что она не узнает Синтянину в этих словах и никогда бы не ожидала от нее таких суждений.

– А я между тем была всегда точно такая и всегда думала так, как говорю в эту минуту, – спокойно отвечала Синтянина.

Бодростина, желая запутать свою собеседницу, заметила, что она думает таким образом, конечно, потому, что не знает, как тяжело женщине переносить фальшивое положение.

– Это правда, – отвечала Синтянина, – я, слава богу, не имела в моей жизни такого опыта, но… я кое-что видела и знаю, что обо всем этом всякой женщине надо думать прежде, чем с нею что-нибудь случится.

– А если бы с вами что-нибудь такое случилось прежде, чем вы получили опыт и стали так рассуждать? Неужто вы не спешили бы, по крайней мере, хоть поправить вашу ошибку?

– Если бы… Я вам скажу откровенно: я не могу думать, чтоб это сталось, потому что я… стара и трусиха; но если бы со мною случилось такое несчастие, то, смею вас уверить, я не захотела бы искать спасения в повороте назад. Это проводится в иных романах, но и там это в честных людях производит отвращение и от героинь, и от

автора, и в жизни… не дай бог мне видеть женщины, которую, как Катя Шорова говорила: «повозят, повозят, назад привезут».

– Другими словами: вы оправдываете упорство Ларисы оставаться в связи с Гордановым?

– Я одобряю, что она предпочитает муки страдания малодушному возвращению. Пусть муж Лары простит ее и позовет к себе, – это их дело; но самой ей возвращаться после того, что было… это невозможно без потери последнего к себе и к нему уважения. Притом же она еще, может быть, любит Горданова.

Бодростина покачала головой и томно проговорила:

– К чему может вести такая любовь? Только к вечной гибели, к аду, где нет ни раскаяния, ни исправления.

Александра Ивановна прервала поток красноречия Глафиры, заметив, что она высказалась не против раскаяния, а против перевертничества и отступничества и, так сказать, искания небесных благ земными путями; из чего выходило, что Синтянина, вовсе не желая бросить камней в огород Бодростиной, беспрестанно в него попадала. Левый глаз Глафиры потерял спокойствие и забегал, как у кошки: она не выдержала и назвала правила Синтяниной противными требованию общественной нравственности, на что та в свою очередь сказала, что требование переходов и возвратов противно женской натуре и невыполнимо в союзе такого свойства, как супружество. Короче, эти две дамы посчитались до того, что Бодростина наконец сказала, что теория Синтяниной, конечно, выгоднее и приятнее, ибо жить безнаказанно с кем *хочешь* вместо того, чтобы жить с кем *должно*, это все, чего может пожелать современная разнузданность.

Генеральше кровь слегка стукнула в виски, она удержала себя и ответила только, что безнаказанно жить с кем должно для честной женщины невозможно, потому что такая жизнь всегда более или менее сама в себе заключает казнь, и свет, исполняющий в таких случаях роль палача, при всех своих лицемериях, отчасти справедлив.

– И вы бы его спокойно несли, этот суд? – воскликнула Бодростина.

– Конечно, несла бы, если была бы его достойна.

– И несли бы безропотно!

– На кого же и за что могла бы роптать?

– И вы не пожелали бы сбросить с себя этой фальши?

– Сбросить? Но зачем же я могла бы пожелать сбросить то, чего мне гораздо проще было не брать?

– А если б это было нужно для блага того… ну того, кого вы любите, что ли?

Этот неловкий вопрос бросил некоторый свет на то, что сделано с бедной Ларой. Александра Ивановна поспешила ответить, что она об этом не думала, но что, вероятно, если б оказалось, что ее бог наказал человеком, который, принявши от нее любовь, еще готов принять и даже потребовать ее отречения от любви к нему для его счастия, то она бы… пропала.

– Так пусть она… – начала было Бодростина и чуть не договорила: «пусть она пропадет», но тотчас спохватилась и молвила: – пусть она скрывается пока… пока это все уляжется…

– Это никогда не уляжется в сердце ее мужа, которое она разбила, как девчонка бьет глиняную куклу.

– Время, – начала было Бодростина банальную фразу о все сглаживающем времени, но Синтянина нетерпеливо перебила ее замечанием, что есть раны, для которых нет исцеления ни во времени, ни в возврате к прежнему образу жизни.

Более ничего не могла обездоленная своею неудачей Александра Ивановна выпытать о том, где находится Лариса. На прощанье она сделала последнюю попытку: скрепя сердце, она, во имя бога, просила Глафиру серьезно допросить об этом Горданова; но та ответила, что она его уже наводила на этот разговор, но что он уклоняется от ответа.

– Я вас прошу не «наводить» его, а просто спросить, чтобы он ответил прямо, – добивалась генеральша, но Бодростина только изумилась: – разве это возможно!?..

– Ведь au fond[96] мы все-таки не имеем права говорить об их отношениях, – заметила она, и когда Синтянина возразила ей на то, что они не дети, чтобы не знать этого, то она очень игриво назвала ее циником.

Но тем не менее Александра Ивановна все-таки от нее не отстала и, чтобы не смущать строгого целомудрия Глафиры, умоляла ее спросить Горданова письмом, так как бумага и перо не краснеют.

– O, ma plume ne vaut rien,[97] – ответила ей решительно Бодростина.

После этого добиваться было нечего, и дамы простились, но Синтянина, выехав от Бодростиной, не поехала домой, а повернула в город, с намерением послать немедленно депешу Форовой. Но тут ее осветила еще одна мысль: не скрывается ли Лара у самого Горданова, и нет ли во всем этом просто-напросто игры в жмурки… Из-за чего же тогда она встревожит Петербург и расшевелит больные раны Форовой и Подозерова?

– Но как быть: через кого в этом удостовериться? Ни муж, ни Форов не могут ехать к этому герою… Евангел… но его даже грех просить об этом. И за что подвергать кого-нибудь из них такому унижению? Да они и не пойдут: мужчины мелочны, чтобы смирить себя до этого… Нечего раздумывать: я *сама поеду к* Горданову, сама все узнаю! Решено: я должна к нему ехать.

И Синтянина круто поворотила лошадь и, хлыстнув коня, понеслась по тряскому, мерзлому проселку к деревушке Горданова.

Глава четвертая
След

Синтянина не давала отдыха своей лошади, она спешила, да и старалась шибкой ездой заглушить заговоривший в ней неприятный голос сомнения: хорошо ли она делает, что едет в усадьбу Горданова? Она сама сознавала, что тут что-то неладно, что ей ни в каком случае не должно было отваживаться на это посещение. Но Синтянина старалась не слыхать этого голоса и успокоивала себя тем, что в поступке ее нет никакого особого риска; она надеялась встретить кого-нибудь из людей, дать денег и выведать, нет ли там Лары. С небольшим в полчаса она доехала до гордановской усадьбы и встретила… самого Павла Николаевича.

Горданов в меховом архалучке прогуливался с золотистою борзою собакой. Он увидел Синтянину ранее, чем она его заметила, и встретил Александру Ивановну в упор, на повороте узкой дорожки.

При приближении ее он приподнял фуражку. Синтянина несколько смешалась, но остановила лошадь и сделала знак, что хочет с ним говорить.

Горданов перепрыгнул через канаву и подошел к ее тюльбюри.

– Вас может несколько удивить, если я вам скажу, что я приехала к вам, – начала генеральша.

– Нимало, – отвечал Горданов, – очень рад, чем могу вам служить?

– Я хочу знать, где Лара?

– Пожалуйста, войдемте ко мне.

«Ага! Так вот где она! Мои догадки меня не обманули!» – подумала Синтянина.

Они тронулись рядом к дому: генеральша ехала по дороге, а Горданов шел по окраине. Он казался очень грустным и задумчивым: они друг с другом ничего не говорили.

У крыльца он велел человеку принять лошадь Синтяниной и, введя ее в маленькую гостиную, попросил подождать. Генеральша осталась одна. Прошло несколько минут. Это ей было неприятно, и у нее мелькнула мысль велеть подать свою лошадь и уехать, но в эту

самую минуту в комнату вошел переодетый Горданов. Он извинился, что заставил себя ждать, и спросил, чем может служить.

– Где же Лара? – обратилась к нему нетерпеливо Синтянина.

– Присядьте на одну минуту.

Генеральша опустилась на диван и снова повторила свой вопрос.

– Мне нелегко отвечать вам на это, – начал тихо Горданов.

– Как! разве ее здесь нет?

– Здесь?.. С какой же стати?

– С какой стати? – воскликнула, вскочив с места, Синтянина и, вся покраснев от гнева и досады, строго спросила:

– Что ж это значит, господин Горданов?

– А что такое-с?

– Зачем же вы пригласили меня взойти в этот дом?

– Извините, я не имею обычая говорить у порога с теми, кто ко мне приезжает. Вы приехали, я вас вежливо принял, и только.

– И только, – повторила, отворотясь от него, генернальша и пошла к двери, но здесь на минуту остановилась и сказала: – Будьте по крайней мере великодушны: скажите, где вы ее оставили?

– Не имею причин скрываться. Я оставил ее в Яссах.

– В Яссах?

– Да.

– Вы это серьезно говорите?

– К чему мне лгать? – отвечал, пожав плечами, Горданов.

Синтянина ничего более не добилась, вышла, спросила себе свою лошадь и уехала.

На дворе уже было около пяти часов, и осеннее небо начало темнеть, но Синтянина рассчитывала, что она еще успеет до темноты доехать до города и послать телеграмму Форовой в Петербург, а затем возьмет с собою Филетера Ивановича и возвратится с ним к себе на хутор.

Выехав с этим расчетом из гордановской усадьбы, она повернула к городу и опять не жалела лошади, но сумерки летели быстрее коня и окутали ее темным туманом прежде, чем она достигла того брода, у которого читатель некогда видел ее в начале романа беседовавшей с Катериной Астафьевной.

Молодая женщина ехала в большом смущении и от приема Горданова, и от раскаяния, что она сделала этот неосторожный визит, и

от известия об Яссах. Какая цель оставаться Ларисе?

– Это невероятно, это невозможно! Тут непременно должна скрываться какая-то темная тайна: но какая?

Под влиянием своих мыслей Александра Ивановна и не заметила, как совсем смерклось, и была очень испугана, когда ее опытный конь, достигнув брода и продавив передними ногами покрывавший реку тонкий ледок, вдруг испугался, взвился на дыбы и чуть не выронил ее, а в эту же минуту пред нею точно выплыл из морозного тумана Светозар Водопьянов.

Синтянина разделяла со многими некоторое беспокойство при виде этого чудака ли, шута, или ясновидящего, но вообще странного и тяжело, словно магнетически действующего человека. Тем более не принес он ей особого удовольствия теперь, когда так внезапно выделился из тумана, крикнул на ее лошадь, крикнул самой ей «берегись» и опять сник, точно слился с тем же туманом.

– Он ли это, то есть сам ли это Сумасшедший Бедуин, или это мне показалось? Фу! а нервы между тем так и заговорили и по всей потянуло холодом.

Синтянина хлыстнула вожжей и, переехав реку, остановилась у знакомого нам форовского домика: она хотела посоветоваться с майором, напиться у него теплого чаю, составить депешу и отправить ее с помощию Филетера Ивановича, уехать с ним вместе домой. Но, к сожалению, она не застала майора дома: служанка майора сказала ей, что за ним час тому назад приходил слуга из Борисоглебской гостиницы. Эта самая обыкновенная весть подействовала на Синтянину чрезвычайно странно, и она тотчас же, как только ей подали самовар, послала в эту гостиницу просить Форова немедленно прийти домой, но посланная женщина возвратилась одна с клочком грязной бумажки, на которой рукой Филетера Ивановича было написано: «Не могу идти домой, – спешите сами сюда, здесь слово и дело».

Записка эта еще больше увеличила беспокойство генеральши: лаконизм, хотя и свойственный манере Филетера Ивановича, показался ей в этот раз как-то необычаен и многозначителен: не мог же Форов вызвать ее в гостиницу для пустяков!

– Это непременно должно касаться Ларисы, – решила Синтянина и, закутавшись вуалем, пошла в сопровождении служанки.

Глава пятая
Лара отыскана и устроена

Дойдя под порывами осеннего ветра до темного подъезда гостиницы, Синтянина остановилась внизу, за дверью, и послала пришедшую с нею женщину наверх за майором, который сию же минуту показался наверху тускло освещенной лестницы и сказал:

– Скорее, скорее идите: здесь Лара!

Генеральша вбежала на лестницу и бросилась в указанную ей Форовым слабо освещенную узкую комнатку.

Лариса сидела на кровати, пред печкой, которая топилась, освещая ее лицо неровными пятнами; руки ее потерянно лежали на коленях, глаза смотрели устало, но спокойно. Она переменилась страшно: это были какие-то останки прежней Лары. Увидя Синтянину, она через силу улыбнулась и затем осталась бесчувственною к волнению, обнаруженному генеральшей: она давала ласкать и целовать себя, и сама не говорила ни слова.

– Боже! как ты здесь, и зачем ты здесь? – наконец спросила ее Синтянина.

– Где же мне теперь быть? – отвечала, затрудняясь, Лара.

Синтянина поняла, что она сказала некоторую неловкость, и очень обрадовалась, когда Форов заговорил против намерения Ларисы оставаться в этой гадкой гостинице и нежелание ее перейти к нему, в спальню Катерины Астафьевны; но Лариса в ответ на все это только махала рукой и наконец сказала:

– Нет, дядя, нет, оставьте об этом… Мне везде хорошо: я уже ко всему привыкла. И ты, Alexandrine, тоже не беспокойся, – добавила она и, нежно пожав ее руку, заключила, – комната сейчас согреется и я усну: мне очень нужен покой, а завтра меня навестят, и вы, дядя, тоже зайдите ко мне… Я вам дам знать, когда вы можете ко мне придти.

Синтянину она не пригласила к себе и даже не спросила у нее ни о ком и ни о чем… Глядя на Лару, по ее лицу нельзя было прочесть ничего, кроме утомления и некоторой тревоги. Она даже видимо выживала от себя Синтянину, и когда та с Форовым встали, она

торопливо пожала им на пороге руки и тотчас же повернула в двери ключ.

– Хотела или не хотела она меня видеть? – спросила Синтянина у Филетера Ивановича, очутясь с ним на улице.

– Да, когда я сказал ей, что вы меня зовете и что не лучше ли позвать вас к ней, она отвечала: «пожалуй», – и вслед за тем Форов рассказал, что Лариса приехала вечером, выбрала себе эту гадкую гостиницу сама, прислала за ним полового и просила его немедленно же, сегодня вечером, известить о ее приезде брата или Горданова.

– К кому же вы поедете?

– А уж, конечно, возьму сейчас извозчика и поеду в Рыбацкое к Висленеву, пусть он сам извещает своего друга.

– Да, не ездите к Горданову.

– Еще бы, он, подлец, меня собаками затравит, да скажет, что это случай. Висленев, по крайней мере, гадина беззубая, а впрочем, я бы ничего не имел против того, чтоб один из них был повешен на кишках другого.

Майор и генеральша решили не посылать депеши, чтобы не смущать Подозерова, а написали простое извещение Форовой, предоставляя ее усмотрению сказать или не сказать мужу Лары о ее возвращении, и затем уехали. Филетер Иванович ночевал в кабинете у генерала и рано утром отправился к Бодростиным для переговоров с Висленевым, а к вечеру возвратился с известием, что он ездил не по что и привез ничего.

По его рассказу выходило, что внезапное прибытие Ларисы никого не удивило и не тронуло.

– Даже посылать, – говорил он, – не хотели, и я ничего бы не добился, если бы не секретарь Ропшин, который, провожая меня, дал слово немедленно послать Горданову извещение о приехавшей. Форов утверждал, что бедный чухонец чрезвычайно рад этому случаю и видит в Ларисе громоотвод от Павла Николаевича.

Прошла неделя, в течение которой Синтянина волновалась за Лару, но уже не решалась пытаться ни на какое с нею сближение, и на хуторе появился Форов с новыми и странными новостями: у Горданова оказалась в городе очень хорошая квартира, в которой он, однако же, не жил. В ней-то, ко всеобщему удивлению, и поместилась Лариса.

Синтянину не поразило, что разойтись с Ларой было противно планам Горданова, но она не могла постичь, как он и Лара признали удобным поселиться maritalement,[98] здесь, в губернском городе, где подобное положение для женщины должно быть гораздо несноснее, чем в столице. Но тем не менее Филетер Иванович не шутил: Горданов действительно устроился вместе с Ларой.

Это произвело на Синтянину самое неприятное впечатление, и она из-за этого поспорила с майором, который находил, что это все равно, как они теперь будут жить…

– Совсем нет, совсем нет! Зачем они вернулись сюда, в этот городишко? Зачем они не остались за границей или в Петербурге, где ей было бы гораздо легче?.. Зачем он ее притащил сюда напоказ… Да, да, именно напоказ! – горячилась Александра Ивановна.

Через несколько дней она узнала от майора, что *Гордановы* (то есть Горданов и Лара) живут прекрасно, что делали вечерок, на котором были кой-кто из служебной знати, и Лариса держалась открыто хозяйкой.

– И что вас это так удивляет? – сказал Филетер Иванович, заметив смущение на лице Синтяниной, – разве же она на самом деле не хозяйка? Не все ли равно, «и с трубами свадьба, и без труб свадьба». Но эта «беструбная свадьба» не успокоила его собеседницу, и та только пытала себя: зачем они бравируют? Горданов, по-видимому, просто *щеголяет* Ларой, но она…

Синтяниной хотелось знать: неужто Лара спокойно принимает обидное снисхождение своих мужских гостей? Майор этого не умел рассказать, но зато он сообщил, что Висленев тоже был на пиру «беструбной свадьбы» сестры и, говорят, очень всех забавлял и делал различные спиритские прорицания.

– Бедный Жосеф! – подумала Александра Ивановна, – скоро его, должно быть, уж заставят для общей потехи под биллиардом лазить… И как все это быстро идет с ним и невозможно, чтоб это скоро не пришло к какой-нибудь решительной развязке.

Глава шестая
Битый небитого везет

Александра Ивановна каждый день ждала новостей, и они не замедлили. Через неделю она услыхала, что Лариса покинула свою городскую квартиру и спешно уехала к Бодростиным, где с Гордановым случилось несчастие: он ходил на охоту и, перелезая где-то через плетень, зацепил курком ружья за хворостину и выстрелил себе в руку. Еще три дня спустя, рано утром, крестьянский мальчик из Рыбацкого доставил генеральше записку, писанную карандашом незнакомою рукой, но подписанною именем Ларисы. В записке этой Лара умоляла немедленно посетить ее, потому что умирает и хочет что-то сказать. Подписано имя Лары, но рука не ее. Это поставило Синтянину в затруднение. Но наводить справки было некогда. Александра Ивановна сейчас же послала лошадь за Форовым, и как только майор приехал, вместе отправились в Рыбацкое. Одна она не могла решиться туда ехать. Ее вводил в сомнение незнакомый почерк, очевидно торопливо и едва ли не под страхом тайны писанного письма, и ей про всякий случай необходимою казалась помощь мужчины.

Когда они доехали до Рыбацкого, короткий осенний день уже начал меркнуть. В окнах бодростинского дома светились огни. На крыльце приезжие встретились со слугами, которые бежали с пустою суповою вазой: господа кушали. В передней, где они спросили о здоровье Ларисы, из столовой залы был слышен говор многих голосов, между которыми можно было отличить голос Висленева. О приезжих, вероятно, тотчас доложили, потому что в зале мгновенно стихло и послышался голос Глафиры: «проводить их во флигель».

Этот странный прием не обещал ничего доброго. Да и чего доброго можно было ожидать для Лары в этом доме, куда привел ее злой случай?

– Где она? в каком флигеле? – настойчиво спрашивала у слуг Синтянина, и, получив ответ, что Лара в тепличном флигеле, вышла назад на крыльцо; обошла полукруг, образуемый небольшою домовою теплицей, составлявшею зимний сад при доме, и вступила в

совершенно темный подъезд двухэтажной пристройки, в конце теплицы. Генеральша знала, что эта пристройка и называется тепличным флигелем. Ей было известно расположение этого высокого, островерхого домика, построенного павильоном, в смешанном и прихотливом вкусе. Здесь внизу были сени, передняя и зала с широкими окнами. В этом зале была когда-то устроена водолечебная для сумасшедшего брата Бодростина, которого тут лечили обливаньями и который здесь же и умер в припадках бешенства. Синтянина знала эту залу, когда она уже была обращена в кегельную. Но в потолке ее еще оставался круглый прорез, через который во время оно из соответствующей комнаты верхнего этажа лили на больного с высоты воду. В верхнем этаже было пять комнат, и все они были теперь заняты библиотекой, с которою Синтянина была хорошо знакома, потому что, пользуясь позволением Михаила Андреевича, она даже в его отсутствие часто сама брала себе отсюда разные книги. В этих пяти комнатах, расположенных вокруг залы, той самой, где оставался незаделанный прорез, никогда никто не жил, и, кроме книжных шкафов, нескольких столов и старинных, вышедших из моды кресел, табуреток, здесь не было никакой мебели. Зная все это, Синтянина сообразила, что Ларе, да еще больной, здесь решительно негде было помещаться, и усомнилась, не ослышалась ли она. Но человек вел ее и Форова именно в этот флигель. Он вел их чрез темную нижнюю переднюю и такую же темную лестницу в первую библиотечную комнату, где на старинном мраморном столе горела одинокая свеча в огромном бронзовом подсвечнике с широким поддонником. В комнате налево дверь была полуотворена и там виднелся огонь и слышался стук ложки о тарелку. Синтянина было направилась к этой двери, но слуга остановил ее и шепнул, что «здесь барин».

– Какой барин?

– А Павел Николаевич Горданов-с, – отвечал слуга.

– А где же Лариса Платоновна?

– Они вот тут-с, – и с этим он показал на темную залу, по полу которой из дальней комнаты тянулась слабая полоса закрытой зонтиком свечи.

Синтянина начала быстро снимать верхнюю одежду, чтобы не входить к больной в холодном платье. Когда она отдавала на руки

слуге свои вещи, из комнаты Павла Николаевича вышел другой слуга с серебряным подносом, на котором стояла посуда, и в отворенную дверь пред нею мелькнул сам Горданов; он был одет в том меховом архалучке, в котором она его встретила у его усадьбы, и, стоя посреди устилавшего всю комнату пушистого ковра, чистил левою рукой перышком зубы, между тем как правая его рука очень интересно покоилась на белой перевязи через грудь и левое плечо.

Синтянина прошла чрез комнату, где горничная девушка, нагнувшись над тазом, набивала рубленым льдом гуттаперчевый пузырь, – дальше была комната, в которой лежала Лариса… Боже, но Лариса ли это? Даже против того, какою Синтянина видела ее несколько дней тому назад, ее нельзя узнать: только глаза да очертания, но ни свежести, ни молодости нет и тени… Она лежала навзничь с неподвижно уложенною среди подушки головой, с лицом и глазами, устремленными в ту сторону, откуда должна была войти гостья, и хотела приветствовать ее улыбкой, но улыбки не вышло, и она поспешила только попросить у Александры Ивановны извинения, что ее беспокоила.

– Что ты, бог с тобою, Лара, есть ли о чем говорить! – отвечала Синтянина, подавая ей обе руки, из которых она только до одной коснулась слабою, дрожащею рукой, вытянув ее с усилием из-под одеяла.

– Нет, я виновата, потому что я бог знает из-за чего испугалась и все преувеличила.

– Но что же такое с тобою: чем ты больна?

– Пустяки; я хотела сбежать с лестницы, спотыкнулась, упала и немножко зашибла себе плечо… а потом… – Она вдруг потянула к себе Синтянину за руку и прошептала: – бога ради не говори, что я за тобой посылала, но ночуй здесь со мной, бога ради, бога ради!

Синтянина в ответ сжала ее руку.

Здороваясь с Форовым, Лариса повторила, что она упала с лестницы.

– И вывихнули плечо? – договорил майор. – Гм!.. обыкновенно при этих случаях ломают руки или ноги, иногда ребра, но плечо… это довольно удивительно.

Лара слегка смешалась, а Форов, вертя себе толстую папироску, продолжал развивать, где, в каких местах обыкновенно всего чаще и

всего естественнее бывают вывихи и переломы при падениях с лестниц, и затем добавил, что о вывихе плеча при подобном казусе он слышит первый раз в жизни.

В момент заключения этих рассуждений в комнату вошла горничная с пузырем льда, который надо было положить Ларисе на больное место, и Форов с своею толстою папиросой должен был удалиться в другую комнату, а Синтянина, став у изголовья, помогла горничной приподнять голову и плечи больной, которая решительно не могла ворохнуться, и при всей осторожности горничной глухо застонала, закусив губу.

Было ясно, что с нею случилось нечто необычайное, что она скрывала, сваливая на падение с лестницы.

Не успели уложить Лару, как в комнату ее вошла Бодростина: она очень ласково повидалась с Синтяниной, поинтересовалась здоровьем Ларисы и, выходя, дала понять Александре Ивановне, что желала бы с нею говорить. Та встала, и они вышли в соседнюю комнату.

– Она, слава богу, безопасна, – начала Бодростина.

– Да, но я и Филетер Иванович решились не оставлять Ларису, пока ей не будет лучше; надеюсь, вы позволите.

Бодростина благодарила в самых теплых выражениях и рассказала, что она не знает, как упала Лара, потому что это как-то случилось ночью: она хотела что-то принесть или кого-то позвать снизу к больному и оступилась, но, – добавила она, – гораздо опаснее сам Горданов, и что всего хуже, он ранен и не хочет лечиться.

– Отчего же?

– Бог их знает: они оба стали какие-то чудаки. Я имею некоторые подозрения… мне кажется, что этот выстрел не случайность. Тут не без причины со стороны этой Ларисы. Она не ужилась со своим первым мужем и, кажется, не уживется и со вторым.

Генеральша хотела остановить Бодростину: почему она называет Горданова вторым *мужем* Лары, но оставила это и спросила: что же такое было?

– Я ничего наверное не знаю, но у них в городе был вечер, на котором были очень многие и, между прочим, какой-то приезжий художник или что-то в этом роде, и я думаю, что они поссорились за Лару.

– Другими словами, вы думаете, что это была дуэль?

– Быть может. Признаюсь, Лариса удивительно неловка в своих делах.

И Бодростина с этим вышла.

На прощанье она добавила, что ей все это очень неприятно видеть в своем доме, но что, конечно, пока Синтянина здесь, расстояния между домом и флигелем не существует.

Из этого генеральша легко могла заключить, что без нее между домом, где обитает чистая Глафира, и флигелем, где местится порочная Лара, ископана целая пропасть… Бедная Лара!

Александра Ивановна с нетерпением ожидала ночной тишины, надеясь, что Лариса ей что-нибудь расскажет.

Глава седьмая
Беседы сумасшедшего бедуина

Синтянина не ошиблась: Лара сама искала объяснения, и чуть только Синтянина появилась в ее комнате, она закивала ей головой и зашептала:

– Слушай, слушай, Саша! это все ложь, все неправда, что они хотят сочинять.

Лара была в волнении, и Синтянина просила ее успокоиться, но та продолжала:

– Нет, нет, я должна это сказать: я упала не с лестницы… Это было другое, совсем другое; я не скажу этого, но ты сама… я слышала… тс-тс… Тут какие-то говорящие стены… Здесь сегодня, завтра будут… убивать.

– Убивать! что ты? бог с тобою.

– Да!

– Кого же? кого?

Лара схватила ее рукой и, привлекши к себе, прошептала: «Придвинься ближе. Он говорит, стрелялся за меня, все вздор… Его рука здорова, как моя, я это видела и вот…»

Лара просунула дрожащую руку под изголовье, достала оттуда отрезанный рукав мужской сорочки и, подавая его своей собеседнице, молвила: «вот она, кровь, за меня пролитая».

Эта «кровь» была обыкновенное красное чернило: в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Лара отвернулась в сторону и не смотрела.

Синтянина держала рукав и недоумевала: для чего нужна Горданову эта фальшивая рана?.. Прежде чем она успела прийти к какому-нибудь заключению, ее пришли звать к чаю. Так как она отказалась идти в дом, то Глафира приказала сказать, что, желая быть вместе с Александрой Ивановной, она велела подать чай к одной из зал павильона.

Как это ни было неприятно для генеральши, но уклониться уже было невозможно и через полчаса она должна была выйти в ярко

освещенную библиотечную комнату, окна которой были завешаны темными коленкоровыми шторами.

Тут был сервирован чай и собралось общество, состоящее из самого Михаила Андреевича, Горданова с подвязанною рукой, Висленева и Сумасшедшего Бедуина, которого Синтянина никак не ожидала встретить и который, раскланиваясь с нею, объявил, что очень рад увидеть ее пред своим воскресением.

Несмотря на близкое присутствие больной, гости и хозяева были довольно спокойны; а Висленев казался даже несколько искусственно оживлен и, не глядя в глаза Синтяниной, все заводил речь о каком-то известном ему помещике, который благословил дочь-девушку за женатого и сам их выпроводил.

Жозеф этим хотел, по-видимому, оправдать свои отношения к сестре и Горданову, но его труд был вотще: ни Синтянина и никто другой его не слушали. Разговор держался то около дел завода, устраиваемого Бодростиным и Гордановым, то около водопьяновского «воскресения из мертвых», о котором тот говорил нынче с особенной приятностью.

Синтянина менее слушала, чем наблюдала, и ее особенно занимало, как Горданов, будучи утонченно холоден к ней, в то же время интересничал с своею подвязанною рукой.

Меж тем общий шуточный разговор свернул на нешуточный предмет, на который чаще всего сбивались все речи при Водопьянове: заговорили о смерти.

Синтянина находила этот разговор несколько неудобным для слуха больной и, встав, опустила тихонько дверные портьеры. Глафира поняла это и, чтобы дать иной тон речи, шутливо просила Водопьянова, потчуя его чаем, «попробовать пред смертью положить себе в этот чай рому», а он отвечал ей, что он «попробует пред смертью чаю без рому».

Глафира относилась к Водопьянову несколько свысока и вызывала его на споры о его спиритских верованиях с иронией. Она как будто давала ему чувствовать, что она здесь настоящая спиритка, а он не спирит, а просто какой-то блажной дурачок. Сумасшедший Бедуин нимало на это не гневался, но отвечал на слова Бодростиной неохотно и более говорил с Филетером Ивановичем, который, находясь здесь почти поневоле и постоянно отворачиваясь от Жозефа и от Горданова,

был очень рад спорить о вещах отвлеченных и в качестве «грубого материалиста и нигилиста», не обинуясь, называл спиритизм вздором и химерой. Они спорили жарко, касаясь самых разнообразных предметов. Водопьянов ловко подбирал доводы к своим положениям; история гражданская и библейская давала ему бездну примеров участия неизвестных нам сил в делах смертных, причем он с удивительною памятливостью перечислял эти явления; в философии разных эпох он черпал доказательства вечности духа и неземного его происхождения; в религиях находил сходство со спиритскими верованиями. Говоря о естествоведении, намечал усовершенствования и открытия, которые, по его мнению, уже становились на очередь: утверждал, что скоро должны произойти великие открытия в аэронавтике, что разъяснится сущность электрической и магнитной сил, после чего человеческое слово сделается лишним, и все позднейшие люди будут понимать друг друга без слов, как теперь понимают только влюбленные, находящиеся под особенно сильным тяготением противоположных токов. Окончив с землей, он пустился путешествовать по мирам и носил за собою слушателей, соображал, где какая организация должна быть пригодною для воплощенного там духа, хвалил жизнь на Юпитере, мечтал, как он будет переселяться на планеты, и представлял это для человека таким высоким блаженством, что Синтянина невольно воскликнула:

– В самом деле хорошо бы, если б это было так!

– Это непременно так, – утвердил Водопьянов, – мы воскреснем и улетим-с!

– И если б умирать было легко, – вставил Бодростин.

– Умирать совершенно легко, – отвечал ему Светозар.

– А зачем же болезнь?

– Болезнь – это хорошо: это узел развязывается, – худо, если он рвется.

И с этим он заговорил туманными фразами о том, что душа оставляет тело ранее видимой смерти; что ее уже нет с телом во время агонии, и что потому-то умирать очень нетрудно.

– А потом… потом, – заговорил он, – если связь духа разорвана мгновенно, как при насильственной смерти, то он не знает, куда ему деться, и стоит над своим телом, слушает молитвы, смотрит на свой

гроб и сопровождает свою погребальную процессию и всех беспокоит и сам себя не может понять.

– Он этак может кого-нибудь испугать, – пошутил Горданов.

– А может, – отвечал, вздыхая и закатив глаза, Водопьянов, – очень может, ужасно может. Ему даже есть до этого дело.

В эту минуту на фронтоне дома пробило восемь часов. Висленев при первом звуке этого боя побледнел и хотел вынуть свои часы, но, взглянув на Бодростину, остановился, удержав руку у сердца. В это же мгновение и в комнате Лары послышался тревожный дребезжащий звон колокольчика.

Синтянина бросилась к больной и застала ее разбросавшею лед и одеяло.

– Что… било восемь часов? – заговорила, порываясь с постели, Лариса и, получив подтверждение, спросила Синтянину, – где брат? где Иосаф?

– Там сидит, где и все… за чаем.

– Бога ради иди же туда… иди, иди скорее туда, и пусть он будет там, где и все.

Синтянина хотела что-то возразить, хотела помочь Ларисе снова улечься, но та нетерпеливо замахала рукой и, задыхаясь, показала ей на двери.

Генеральша повиновалась и вышла, но когда она воротилась к оставленному ею на минуту обществу, Иосафа Висленева там уже не было.

Глава восьмая
Светозарово воскресенье

Исчезновение Жозефа смутило Александру Ивановну, но она ничего не могла сделать. Не идти же ей в самом деле тревожить больную Лару. Разговор и без него продолжался не прерываясь. Бодростин с Гордановым толковали о их фабрике бульона и мясных консервов, которая служила пугалом для крестьян, приписывавших нагнанному скоту начавшийся коровий падеж.

Бодростин кряхтел от этого скотского падежа и с неудовольствием слушал рассказ, что мужики колдуют, и сам говорил, что, когда он возвращался прошедшею ночью с фабрики, его страшно перепугали бабы, которые, несмотря на теперешние холода, были обнажены и, распустив волосы, со стоном и криком опахивали деревню.

– Вот и нынче та же комедия: староста просил меня не выезжать в это время.

– Отчего же?

– Черт их знает: он говорит: «не ровен час». Случай, говорит, где-то был, что бабы убили приказчика, который им попался навстречу: эти дуры думают, что «коровья смерть» прикидывается мужчиной. Вот вы, любезный Светозар Владенович, как специалист по этой части… Ага! да он спит.

Водопьянов молчал и сидел, закрыв глаза и опустив на грудь голову.

Бодростин громко назвал Водопьянова по имени.

Сумасшедший Бедуин поднял с сонных глаз веки и, взглянув на всех, точно он проспал столетие, как славный Поток-богатырь, встал и пошел в смежную круглую залу.

– Он непременно исчезнет, – пошутила Глафира и, поднявшись, пошла за ним следом, но, подойдя с улыбкой к порогу круглой залы, внезапно отступила с смущением назад и воскликнула:

– Что это такое?

Вся зала была освещена через свой стеклянный купол ярко-пунцовым светом. Водопьянова не было, но зато старинные кресла от

стен пошли на средину вместе с ковром, покрывавшим комнату, и, ударяясь друг о друга, быстро летели с шумом одно за другим вниз.

– Великий боже! он провалился в люк! – воскликнула Бодростина и в сопровождении подбежавших к ней мужа и гостей кинулась к прорезу, через который увидала внизу освещенную тем же красным освещением какую-то фантастическую кучу, из которой выбивался Сумасшедший Бедуин, и, не обращая ни малейшего внимания на зов его сверху, вышел в двери смежной комнаты нижнего этажа. Он все это сделал очень быстро и с какою-то борьбой, меж тем как на ярко освещенном лице его сверкали резкие огненные линии.

– Я вам ручаюсь, что он ушел, – воскликнула, оборотясь к мужу, Глафира, но тот вместо ответа обратил внимание на страшное освещение комнаты.

– Это непременно пожар! – воскликнул он, бросаясь к завешенным окнам, и отдернул занавесу: в открытое окно ярко светило красное зарево пожара. – И сейчас за рощей: это горит наша фабрика! Лошадь, скорее мне лошадь!

Глафира его удерживала, но он ее не послушал, и чрез минуту все мужчины, за исключением Горданова, бросились вниз, а Синтянина пошла в комнату, соседнюю с той, где лежала Лариса, и, став у окна за занавесу, начала наблюдать разгоравшийся пожар. Зарево становилось все ярче; и двор, и лес, и парк, – все было освещено, как при самой блестящей иллюминации. Синтянина видела, как Михаилу Андреевичу подали беговые дрожки и как он пустил в карьер лошадь с самого места, и в то же самое мгновение она услыхала шорох в круглой зале. Это была Бодростина и Горданов. Глафира приотворила дверь и, увидав, что в комнате никого нет, так как Синтянина стояла за шторой, сказала Горданову:

– Я трепещу, что этот дурак все испортит.

– Нет, он на все решился и хорошо научен. Уж если удался поджог, то что за мудрость выскочить и стать на мосту: он уверен, что это безопасно.

Глафира не отвечала.

Синтянина стояла ни жива ни мертва за шторой: она не хотела их подслушивать, но и не хотела теперь себя обнаружить, да к этому не было уже времени, потому что в эту минуту в воздухе раздался страшный треск и вслед за тем такой ужасающий рев, что и Глафира, и

Горданов бросились в разные стороны: первая – в большой дом, второй – в свою комнату.

Александра Ивановна выскользнула из-за занавесы и, тщательно притворив дверь в комнату больной, открыла настежь окно и в немом ужасе прислушивалась к неописуемому реву и треску, который несся по лесу. Ей смутно представлялись слышанные полуслова и полунамеки; она не могла дать себе отчета, долго ли пробыла здесь, как вдруг увидала бегущую изо всех сил по дому человеческую фигуру с криком: «Убился, упал с моста… наповал убит!»

В этом вестнике Синтянина узнала Висленева. Его окружили несколько человек и стали расспрашивать: он вертелся, вырывался и говорил торопливым голосом: «Да, да, я видел: все кости, как в мешке».

И с этим он вырвался и побежал в дом, а из леса показалась толпа людей, которые несли что-то тяжелое и объемистое.

У Синтяниной замерло дыхание.

«Кончено, думала она, кончено! Вот эти намеки: Бодростина нет более на свете!»

Но она ошиблась: из толпы, несшей тяжелую ношу, выделился Шоров и кричал навстречу бежавшим из дома людям и встревоженной Глафире:

– Успокойтесь, успокойтесь! Есть беда, но не та: здесь вышла ошибка.

– Как, что? Какая ошибка! Это вздор; не может быть ошибки! – отвечал ему Висленев, увлекая вперед под руку дрожащую Глафиру.

– Господа, это ошибка! – повторил Форов. – Михаил Андреевич жив, а это упал с моста и до смерти расшибся Водопьянов. Его лошадь чего-то испугалась и слетела с ним вместе под мост на камни с восьмисаженной высоты. И вот он: смотрите его: да, он и лошадь мертвы, но его мальчишка дает еще признаки жизни.

Меж тем это «темное и объемистое», что несли за Форовым, пронесли за самым окном, и это был труп Светозара Владеновича…

Вслед за этим ехал сзади сам живой Бодростин и, громко крича на людей, приказывал «нести это в контору».

– Болван! – послышалось с зубным скрежетом сбоку Синтяниной.

Она оглянулась и увидела в смежном окне голову Горданова, который тотчас же хлопнул рамой и спрятался.

Как и что такое случилось?

Говорили, что покойник, выйдя из дому, позвал своего мальчика, сел на дрожки и поехал по направлению к горящей фабрике, где ему лежала дорога домой, и благополучно достиг узкого моста через крутой, глубочайший овраг, усеянный острыми камнями. Но здесь лошадь его чего-то испугалась, взвилась на дыбы, кинулась в сторону; перила ее не удержали, и она слетела вниз и убилась, и убила и седоков.

– Да и как не убиться, – рассуждали об этом люди, – когда оттуда камень кинешь, так чуть не сто перечтешь, пока он долетит донизу.

– Но чего же могла испугаться лошадь?

Бабы, которые, колдуя, опахивали кровью смерть на поле, откуда мост был как на ладони, видели, что на мост выбежало что-то белое и затем все уже оставалось покрыто мраком.

В доме повторяли: какой ужасный случай!

И это, действительно, был случай, но не совсем случайный, как думала Синтянина и как еще тверже знала Лариса: это была только *ошибка*.

Глава девятая
Дело темной ночи

Внезапная смерть Водопьянова произвела самое тягостное впечатление не только на весь бодростинский дом, но и на все село. Это была словно прелюдия к драме, которая ждалась издавна и представлялась неминучею. В селе опять были вспомянуты все злые предзнаменования: и раки, выползавшие на берег, и куцый мундир Бодростина с разрезанною спиной.

Все становились суеверными, не исключая даже неверующих. Заразительный ужас, как волны, заходил по дому и по деревне, на которую недавно налегла беда от коровьей смерти, – великого несчастия, приписываемого крестьянами нагону сборного скота на консервную фабрику и необычному за ним уходу. Ко всему этому теперь являлось подозрение, что пожар – не случайность, что крестьяне, вероятно, подожгли завод со злости и может быть нарочно разобрали перила моста, чтобы погубить таким образом Михаила Андреевича.

Висленев высчитывал все это как по-писанному, и Бодростин находил эти расчеты вероятными.

Азарт пророчества, овладевший Висленевым, был так велик, что Глафира даже сочла нужным заметить, что ведь он сумасшедший, но муж остановил ее, сказав, что в этих словах нет ничего сумасшедшего.

В город было послано немедленно известие о необычайном происшествии. Тело Сумасшедшего Бедуина положено в конторе, и к нему приставлен караул; в доме и в деревне никто не спал. Михаил Андреевич сидел с женой и рассказывал, как, по его соображению, могло случиться это ужасное несчастие с Водопьяновым. Он был уверен, что лошадь покойного испугалась бабьего обхода и, поднявшись на дыбы, бросилась в сторону и опрокинулась за перилы, которые не были особенно крепки и которые, как ему донесли, найдены там же под мостом совершенно изломанными. Впрочем, Михаил Андреевич был гораздо более занят своим сгоревшим заводам и пропажей разбежавшихся по лесам быков. Они сорвались во время пожара и в перепуге и бешенстве ударились по лесам, что и было

причиной того адского рева и треска, который несся, как ураган, пред вестью о смерти бедного Водопьянова.

Шум разбудил и уснувшую было Лару. Она проснулась и, будучи не в силах понять причины слышанных звуков, спросила о них горничную. Та проговорилась ей о происшедшем. Лариса схватила свою голову и, вся трепеща, уверяла, что ее покидает рассудок и что она хочет приготовить себя к смерти: она требовала к себе священника, но желала, чтоб о призыве его не знали ни Бодростины, ни брат ее, ни Горданов. Форов взялся это устроить: он ушел очень рано и в десятом часу утра уже вернулся с Евангелом.

«Поэтический поп», не подавая виду, что он пришел по вызову, пронес дароносицу под рясой, но как он ни был осторожен, Горданов почуял своим тонким чувством, что от него что-то скрывают, и не успела Синтянина оставить больную со священником в комнате, как Павел Николаевич вдруг вышел в перепуге из своей комнаты и торопливо направился прямо к Ларисиной двери. Это было очень неожиданно, странно и неловко. Синтянина, только что присевшая было около работавшей здесь горничной, тотчас же встала и сказала ему по-французски: «вам туда нельзя взойти».

– Отчего это? – отозвался Горданов на том же языке.

– Оттого, что вы там теперь лишний, – и с этим генеральша заперла дверь на замок и, опустив ключ в карман своего платья, села на прежнее место и стала говорить с девушкой о ее шитье.

Горданов тихо отошел, но через минуту снова появился из своей комнаты и сказал:

– Строго говоря, милостивая государыня, вы едва ли имеете право делать то, что вы делаете.

Синтянина не ответила.

Он прошелся по комнате и снова повторил то же самое, но гораздо более резким тоном, и добавил:

– Вы верно позабыли, что ваш муж теперь уже не имеет более средств ни ссылать, ни высылать.

Синтянина посмотрела на него долгим, пристальным взглядом и сказала, подчеркивая свои слова, что она всегда делает только то, на что имеет право, и находит себя и теперь в праве заметить ему, что он поступает очень неосторожно, вынув из-за перевязи свою раненую руку и действуя ею, как здоровою.

Горданов смешался и быстро сунул руку за перевязь. Он был очень смешон: спесь и наглый вид соскочили с него, как позолота.

– Вы не знаете моих прав на нее, – прошипел он.

– Я и не хочу их знать, ответила сухо генеральша.

– Нет, если бы; вы узнали *все*, вы бы со мною так не говорили, потому что я имею права…

В эту минуту отец Евангел постучался из Ларисиной комнаты. Синтянина повернула ключ и, выпустив бледного и расстроенного Евангела, сама ушла к больной на его место.

Лариса казалась значительно успокоившеюся: она пожала руку Синтяниной, поблагодарила ее за хлопоты и еще раз прошептала:

– Не оставляй меня, бога ради, пока я умру или в силах буду отсюда уехать.

Генеральша успокоила, как умела, больную и весь день не выходила из ее комнаты. Наступил вечер. Утомленная Александра Ивановна легла в постель и уснула. Вдруг ее кто-то толкнул. Она пробудилась и, к удивлению, увидела Ларису, которая стояла пред нею бледная, слабая, едва держась на ногах.

Вокруг царствовала глубочайшая тишина, посреди которой Синтянина, казалось, слышала робкое и скорое биение сердца Лары. По комнате слабо разливался свет ночной лампады, который едва позволял различать предметы. Молодая женщина всматривалась в лицо Ларисы, прислушивалась и, ничего не слыша, решительно не понимала, для чего та ее разбудила и заставляет ее знаками молчать.

Но вот где-то вдали глухо прозвучали часы. По едва слышному, но крепкому металлическому тону старой пружины, Синтянина сообразила, что это пробили часы внизу, в той большой комнате, куда в приснопамятный вечер провалился Водопьянов, и только что раздался последний удар, как послышался какой-то глухой шум. Лара крепко сжала руку Синтяниной и, приложив палец к своим губам, шепнула: «слушай!». Синтянина привстала, приблизила ухо к открытому отверстию печного отдушника, на который указала Лариса, и, напрягая слух, стала вслушиваться. Сначала ничего нельзя было разобрать, кроме гула, отдававшегося от двух голосов, которые говорили между собою в круглой зале, но мало-помалу стали долетать членораздельные звуки и наконец явственно раздалось слово «ошибка».

Это был голос Висленева.

– Ну, так теперь терпи, если ошибся, – отвечал ему Горданов.

– Нет, я уже два года кряду терпел и более мне надоело терпеть приходить в роли сумасшедшего.

– Надоело! ты еще не пивши говоришь уже, что кисло.

– Да, да, не пивши… именно, не пивши: мне надоело стоять по уста в воде и не сметь напиться. И одурел и отупел в этой вечной истоме и вижу, что я служу только игрушкой, которую заводят то на спиритизм, то на сумасшествие… Я, по ее милости, сумасшедший… Понимаешь: кровь, голова… все это горит, сердце… у меня уже сделалось хроническое трепетание сердца, пульс постоянно дрожит, как струна, и все вокруг мутится, все путается, и я как сумасшедший; между тем, как она загадывает мне загадку за загадкой, как сказочная царевна Ивану-дурачку.

– Но нельзя же, милый друг, чтобы такая женщина, как Глафира, была без своих капризов. Ведь все они такие, красавицы-то.

– Ну, лжешь, моя сестра не такая.

– А почему ты знаешь?

– Я знаю, я вижу: ты из нее что хочешь делаешь, и я тебе помогал, а ты мне не хочешь помочь.

– Какой черт вам может помочь, когда вы друг друга упрямее: она своею верой прониклась, и любит человека, а не хочет его осчастливить без брака, а ты не умеешь ничего устроить.

– Я устроил-с, устроил: я жизнью рисковал: если б это так не удалось, и лошадь не опрокинулась, то Водопьянов мог бы меня смять и самого в пропасть кинуть.

– Разумеется, мог.

– Да и теперь еще его мальчик жив и может выздороветь и доказать.

– Ну, зачем же это допустить?

– Да; я и не хочу этого допустить. Дай мне, Паша, яду.

– Зачем? чтобы ты опять ошибся?

– Нет, я не ошибусь.

– Ну, то-то: Михаилу Андреевичу и без того недолго жить.

– Недолго! нет-с, он так привык жить, что, пожалуй, еще десять лет протянет.

– Да, десять-то, пожалуй, протянет, но уж не больше.

– Не больше! не больше, ты говоришь? Но разве можно ждать десять лет?

– Это смотря по тому, какова твоя страсть?

– Какова страсть! – воскликнул Висленев. – А вот-с какова моя страсть, что я его этим на сих же днях покончу.

– Ты действуешь очертя голову.

– Все равно, мне все равно: я уж сам себе надоел: я не хочу более слыть сумасшедшим.

– Меж тем как в этом твое спасение: этак ты хоть и попадешься, так тебя присяжные оправдают, но я тебе не советую, и яд тебе дал для мальчишки.

– Ладно, ладно, – твое дело было дать, а я распоряжусь как захочу.

– Ну, черт тебя возьми, – ты в самом деле какая-то отчаянная голова.

– Да, я на все решился.

Щелкнул дверной замок, и руки Ларисы вторили ему, щелкнув в своих суставах.

– Ты поняла? – спросила она, сделав над ухом Синтяниной трубку из своих холодных ладоней. Та сжала ей в ответ руки.

– Так слушай же, – залепетала ей на ухо Лара. – Точно так они говорили за четыре дня назад: брат хотел взбунтовать мужиков, зажечь завод и выманить Бодростина, а мужики убили бы его. Потом третьего дня он опять приходил в два часа к Горданову и говорил, что на мужиков не надеется и хочет сам привести план в исполнение: он хотел выскочить из куста навстречу лошади на мосту и рассчитывал, что это сойдет ему, потому что его считают помешанным. Вчера жертвой этого стал Водопьянов, завтра будет мальчик, послезавтра Бодростин… Это ужасно! ужасно!

– Лара! скажи же мне, зачем ты здесь: зачем ты с ними?

Больная заломала руки и прошипела:

– Я не могу иначе.

– Почему?

– Это тайна: этот дьявол связал меня с собою.

– Разорви эту тайну.

– Не могу: я низкая, гадкая женщина, у меня нет силы снести наказание и срам.

– Но, по крайней мере, отчего ты больна?

– От страха, от ужасных открытий, что я была женой честного человека и теперь жена разбойника.

– Жена!.. Ты сказала «жена»?

– Н… да, нет, но это все равно.

– Совсем не все равно.

– Ах, нет, оставь об этом… Я испугалась, узнав, что он ранен, – залепетала Лара, стараясь замять вопросы Александры Ивановны, и рассказала, что она попала сюда по требованию Горданова. Здесь она убедилась, что он не имеет никакой раны, потом услыхала переговоры Горданова с братом, с которым они были притворно враги и не говорили друг с другом, а ночью сходились в нижней зале и совещались. Взволнованная Лариса кинулась, чтобы помешать им, и упала в тот самый люк, куда тихо сполз с ковром Водопьянов, но она не была так счастлива, как покойный Светозар, и сильно повредила себе плечо.

– И потом, – добавляла она, – они с братом… угрожали мне страшными угрозами… и я вызвала тебя и дядю… Они боятся тебя, твоего мужа, дядю и Евангела… Они вас всех оклевещут.

– Пустяки, – отвечала генеральша, – пустяки: нам они ничего не могут сделать, но этого так оставить нельзя когда людей убивают.

Глава десятая
Пред последним ударом

Атмосфера бодростинского дома была Синтяниной невыносима, и она всячески желала расстаться с этим гнездом. Утром горничная Глафиры Васильевны доставив Александре Ивановне записку, в которой хозяйка, жалуясь на свое расстроенное состояние, усердно просила гостью навестить ее. Отказать в этом не было никакого основания, и генеральша, приведя в порядок свой туалет, отправилась к Бодростиной. Лара тем временем также хотела привести себя в порядок. Больной, казалось, было лучше, то есть она была крепче на ногах и менее нервна, но зато более пасмурна, несообщительна и тем сильнее напоминала собой прежнюю Лару.

Так отозвалась о ее здоровье Бодростиной Синтянина, когда они сели вдвоем за утренний кофе в Глафирином кабинете.

Бодростина казалась несколько утомленною, что было и не диво для такого положения, в котором находились дела; однако же она делала над собою усилия и в своей любезности дошла до того, что, усаживая Синтянину, сама подвинула ей под ноги скамейку. Но предательский левый глаз Глафиры не хотел гармонировать с мягкостью выражения другого своего товарища и вертелся, и юлил, и шпилил собеседницу, стараясь проникать сокровеннейшие углы ее души.

Глафира говорила о Ларе в тоне мягком и снисходительном, хотя и небезобидном; о Горданове – с презрением, близким к ненависти, о Висленеве – с жалостью и с иронией, о своем муже – с величайшим почтением.

– Одна его бесконечная терпимость может обернуть к нему всякое сердце, – говорила она, давая сквозь эти слова чувствовать, что ее собственное сердце давно оборотилось к мужу.

Бесцельный и бессодержательный разговор этот докончил тягостное впечатление бодростинского дома на генеральшу, и она, возвратясь к Ларисе, объявила ей, что желает непременно съездить домой.

К удивлению Синтяниной, Лара ей нимало не противоречила: напротив, она даже как будто сама выживала ее. Такие быстрые и непостижимые перемены были в характере Ларисы, и генеральше оставалось воспользоваться новым настроением больной. Она сказала Ларе, что будет навещать ее, и уехала без всяких уговоров и удержек со стороны Ларисы. С той что-то поделалось в те полтора-два часа, которые Синтянина просидела с Бодростиной. В этом и не было ошибки: тотчас по уходе Синтяниной Лара, едва держась на ногах, вышла из комнаты и через час возвратилась вся бледная, расстроенная и упала в кресло, сжимая рукой в кармане блузы небольшой бумажный сверточек. Это, по ее соображениям, был тот самый яд, о котором брат ее разговаривал ночью с Гордановым. Лара похитила этот яд с тем, чтоб устранить преступление, но, решась на этот шаг, она не имела силы владеть собою, и потому, когда к ней заглянул в двери Горданов, она сразу почувствовала себя до того дурно, что тот бросился, чтобы поддержать ее, и без умысла взял ее за руку, в которой была роковая бумажка.

Лариса вскрикнула и, борясь между страхом и слабостью, пыталась взять ее назад.

– Отдай, – говорила она, – отдай мне это… я уничтожу…

– А ты это взяла сама?

Лара молчала.

– Ты это сама взяла?.. Как ты узнала, что это такое?

– Это яд.

– Как ты узнала это, несчастная?

– Здесь все слышно.

Горданов торопливо высыпал за форточку порошок и, разорвав на мелкие кусочки бумажку, пристально посмотрел на стены Ларисиной комнаты, и, поравнявшись с медным печным отдушником, остолбенел: через этот отдушник слышно было тихое движение мягкой щетки, которою слуга мел круглую залу в нижнем этаже павильона.

«Вот так штука», – подумал Горданов и спросил Ларису, где эту ночь спала Синтянина. Узнав, что она спала именно здесь, вблизи этого акустического отверстия, Горданов прошипел:

– Так и она слышала?

Лариса молчала.

– И кто же, она или ты, решили взять это?

Горданов указал на окно, за которое выбросил порошок.

Лара молчала.

– Она или ты? – повторил Горданов. – Что же, скажете вы или нет? Слышите, Лара?

– Она, – прошептала Лариса.

– Ага!

И Горданов вышел, вскоре смененный Александрой Ивановной, на которую Ларисе теперь было неловко и совестно смотреть и за которую она даже боялась.

Вот в чем заключалась причина непонятной перемены в Ларисе!

Глава одиннадцатая
Вор у вора дубинку украл

Александра Ивановна, решив, что всего случившегося нельзя оставлять без внимания, напрасно ломала голову, как открыть мужу то, что она слышала и чего боялась. Генерал встретил ее тем, что просил успокоиться и сказал, что ему все известно. И с этих пор она убедилась, что муж ее, действительно, все знает. Прошел месяц, Александра Ивановна наслаждалась тишиной своего домашнего житья-бытья, которое, ей казалось, стало тихим и приятным после пребывания в бодростинском доме, откуда порой лишь доходили до нее некоторые новости.

Но одно, по-видимому, весьма простое обстоятельство смутило и стало тревожить Александру Ивановну. Вскоре по возвращении ее от Бодростиных Иван Демьянович получил из Петербурга письмо, которого, разумеется, никому не показал, но сказал, что это пишет ему какой-то его старый друг Семен Семенович Ворошилов, который будто бы едет сюда в их губернию, чтобы купить здесь себе на старость лет небольшое именьице на деньги, собранные от тяжких и честных трудов своей жизни.

В известии этом, как видим, не было ничего необыкновенного, но оно смутило Александру Ивановну, частию по безотчетному предчувствию, а еще более по тому особенному впечатлению, какое письмо этого «некоего Ворошилова» произвело на генерала, оживив и наэлектризовав его до того, что он, несмотря на свои немощи, во что бы то ни стало, непременно хотел ехать встречать своего друга в город. Александре Ивановне стоило бы большого труда удержать мужа от этой поездки, да может быть она в этом и вовсе не успела бы, если бы, к счастию ее, под тот день, когда генерал ожидал приезда Ворошилова, у ворот их усадьбы поздним вечером не остановился извозчичий экипаж, из которого вышел совершенно незнакомый человек. Гость был мужчина лет под пятьдесят, плотный, высокого роста, гладко выбритый, в старомодном картузе с коричневым бархатным околышем и в старомодной шинели с капюшоном.

Он обратился с вопросом к встретившему его на дворе работнику и затем прямо направился к крыльцу.

– Кто бы это такой? – вопросила Александра Ивановна, глядя на дверь, в которую должен был войти незнакомец.

Сидевший тут же генерал не мог ответить жене на этот вопрос и только пожал плечами и встал с места.

Александре Ивановне показалось, что муж ее находится в некотором смущении, и она не ошиблась. Когда гость появился в передней и спросил мягким, вкрадчивым голосом генерала, тот, стоя на пороге зальной двери, в недоумении ответил:

– Я сам-с, к вашим услугам. С кем имею честь видеться?

– Карташов, – тихо произнес гость, глядя через свои золотые очки.

Звук этой фамилии толкнул генерала, как электрическая искра. Он живо протянул приезжему руку и произнес:

– Я вас ждал завтра.

– Я поторопился и приехал ранее.

– Прошу вас в мой кабинет.

И гость, и хозяин скрылись в маленькую комнату, куда генерал потребовал свечи, и сюда же ему и гостю подавали чай.

Беседа их продолжалась очень долго, и генеральша, посылая туда стаканы чая, никак не могла себе уяснить, что это за господин Карташов, про которого она никогда ничего не слыхала.

Ближе видеть этого гостя ей не удалось: он уехал поздно, прямо из кабинета, и в зал не входил.

На другое утро Александра Ивановна полюбопытствовала спросить о нем и получила от мужа ответ, что это и есть тот самый его приятель, которого он ожидал.

«Старый приятель, и между тем они встретились так, как будто в глаза один другого никогда не видали… Нет, это что-нибудь не так», – подумала генеральша и, поглядев в глаза мужу, спросила его:

– Как же это он называл своего приятеля Ворошиловым, когда этот носит фамилию Карташов?

– Ну уж так-с, – отвечал генерал. – А впрочем, я не помню, чтоб он называл себя Карташовым.

– Но я это слышала.

– Могла ослышаться.

– Так какая же его настоящая фамилия: Карташов или Ворошилов?

– Ворошилов-с, Ворошилов, Семен Семеныч Ворошилов, прекраснейший человек, он завтра у нас будет обедать, и с ним приедет еще его землемер, простой очень человек.

– И у того две фамилии?

– Нет-с, одна: его зовут Андрей Парфеныч Перушкин.

Генеральша улыбнулась.

– Что же тут смешного?

– Так, я думаю об этой фамилии.

– Фамилия самая обыкновенная.

– Даже очень мягкая и приятная. Я читала, что Крылов один раз нарочно нанял себе квартиру в доме, хозяин которого назывался Блинов. Ивану Андреевичу очень понравился звук этой фамилии, и он решил, что это непременно очень добрый человек.

– А вышло что?

– А вышло, что это был большой сутяга и плут.

– Вот как! Ну, разумеется, фамилия Бодростин или Горданов, или Висленев гораздо лучше звучат, – отвечал с неудовольствием генерал, не отвыкший ядовито досадовать на свою кантонистскую фамилию.

Этим разговор о новоприезжих гостях и окончился, а на другой день они припожаловали сами, и большой Ворошилов в своих золотых очках и в шинели, и Андрей Парфенович Перушкин, маленький кубарик, с крошечными, острыми коричневыми глазками, с толстыми, выпуклыми пунцовыми щечками, как у рисованого амура. Они приехали вместе и привезли с собой что-то длинное, завернутое в рогожу, и прямо с этою кладью проникли опять в кабинет Ивана Демьяновича, где и оставались до самого обеда. Александра Ивановна увидала их только за столом и не могла перестать удивляться, что ни Ворошилов вовсе не похож на помещика, а весь типичный петербургский чиновник старинного закала, ни Перушкин не отвечает приданной ему землемерской профессии, а имеет все приемы и замашки столичного мещанина из разряда занимающихся хождением по делам.

Впрочем, оба они были несомненно люди умные, ловкие и что называется «бывалые» и немножко оригиналы. Особенно таким можно назвать было Перушкина, который казался человеком беззаботнейшим

и невиннейшим; знал бездну анекдотов, умел их рассказывать; ядовито острил простонародным языком и овладел вниманием глухонемой Веры, показывая ей разные фокусы с кольцом, которое то исчезало из его сжатой руки, то висело у него на лбу, то моталось на спаренной нитке.

Генерал после беседы с этими гостями был необыкновенно весел: румянец полосами выступал у него вверху щек, он точно скинул с костей десять лет и даже бравировал, шаркая ногами и становясь пред открытою форткой.

Ворошилов оказался тоже человеком крайне любезным: он говорил с генеральшей так, как будто давно знал ее, и просил у нее фотографическую карточку, чтоб отослать своей жене, но Синтянина ему в этом должна была отказать, потому что она с прошлого года не делала своих портретов, и последний отдала Ларе, которая желала его иметь.

После обеда гости снова заперлись в кабинете с генералом, а вечером Перушкин, для забавы Веры, магнетизировал петуха, брал голою рукой раскаленную самоварную конфорку, показывал, как можно лить фальшивые монеты с помощью одной распиленной колодочки и, измяв между ладонями мякиш пеклеванного хлеба, изумительно отчетливо оттиснул на клочке почтовой бумажки водянистую сеть ассигнации.

Наблюдая этого занимательного человека, Александра Ивановна совсем перестала верить, что он землемер, и имела к тому основания, хотя и Ворошилов, и Перушкин говорили при ней немножко об имениях и собирались съездить к Бодростину, чтобы посоветоваться с ним об этом предмете, но явилось новое странное обстоятельство, еще более убедившее Синтянину, что все эти разговоры о покупке имения не более как выдумка, и что цель приезда этих господ совсем иная.

Обстоятельство это заключалось в том, что к генеральше на другой день пришел Форов и, увидя Ворошилова и Перушкина, начал ее уверять, что он видел, как эти люди въезжали с разносчиками в бодростинскую деревню.

– Что вы за вздор говорите, майор?

– Истина, истина: я сам их видел и не могу их не узнать, несмотря на то, что они гримированы мастерски и костюмировались так, как будто целый век проходили в тулупах: эти лица были ваши гости –

Ворошилов и Перушкин. Я поздравляю вас: мы в среде самых достопочтенных людей. – И майор захохотал и добавил: – Вор у вора дубину-с крадет! Генеральша хотела спросить мужа, что значит этот непонятный маскарад, цель и значение которого Иван Демьянович непременно знал, но решила лучше не спрашивать, потому что все равно ничего бы не узнала.

Между тем всякий день приносил ей новые подозрения. Так, прислуга, отодвигая от стены на средину комод в кабинете генерала, набрела на те палки, которые привезли Ворошилов и Перушкин, и генеральша, раскрыв машинально рогожу, в которую они были увернуты, открыла, что эти палки не что иное, как перила моста, с которого упал Водопьянов. Одни концы этих палок изломаны, другие же – гладко отрезаны пилой и припечатаны тремя печатями, из которых в одной Александре Ивановне не трудно было узнать печать ее мужа. Далее в этом же свертке нашлась маленькая ручная пила с щегольскою точеною ручкой… Что все это за таинственности? Генеральша ждала со дня на день Форову, но та не приезжала сама и ничего не писала из Петербурга.

Ворошилов и Перушкин два дня не являлись, но зато из бодростинских палестин пришли вести, что у крестьян совсем погибает весь скот, и что они приходили гурьбой к Бодростину просить, чтоб он выгнал из села остатки своего фабричного скота. Бодростин их прогнал; был большой шум, и в дело вмешался чиновник, расследовавший причины смерти Водопьянова, грозил послать в город за военною командой. По селу, говорят, бродят какие-то знахари и заговорщики и между ними будто бы видели Висленева, который тоже совсем пристал к чародеям.

Глава двенадцатая
Огненный змей

Вблизи бодростинской усадьбы есть Аленин Верх. Это большая котловина среди дремучего леса. Лес в этом месте не отборный, а мешанный, и оттого, что ни дерево, то и своя особая физиономия и фигура: тут коренастые серьезные дубы, пахучие липы, в цветах которых летом гудят рои пчел, косматая ива, осины, клены, березы, дикая яблоня, черемуха и рябина, – все это живет здесь рядом, и оттого здешняя зелень пестра, разнообразна и дробится на множество оттенков. Теперь, осенью, разумеется, не то: суровые ветры оборвали и разнесли по полям и оврагам убранство деревьев, но и белое рубище, в которое облекла их приближающаяся зима, на каждого пало по-своему: снеговая пыль, едва кое-где мелкими точками севшая по гладким ветвям лип и отрогам дубов, сверкает серебряною пронизью по сплетению ивы; кучами лежит она на грушах и яблонях, и длинною вожжей повисла вдоль густых, тонких прутьев плакучей березы. Совсем иначе рассеребрила эта белая пороша поднизи елей и сосен, и еще иначе запорошила она мохнатые, зеленые кусты низкого дрока и рослой орешины, из-за которых то здесь, то там выглядывали красные кисти рябины.

Таков был этот лес тою порой, когда бодростинские крестьяне собрались добывать в нем *живой огонь*, который, по народному поверью, должен был *попалить коровью смерть*.

Добывание огня как последнее, крайнее и притом несомненно действительное средство было несколько дней тому назад: место для этого было избрано на большой луговине, где стояла лесничья избушка. Это было широкое, ровное место, окруженное с трех сторон рослыми деревьями и кустами, тогда как с четвертой его стороны шла проезжая дорога. За этим проселком начинался пологий скат, за которым ниже расстилалась обширная ровная площадь, покрытая летом густою шелковистою травой, а теперь заледеневшая и скрытая сплошь снежным налетом: это бездонное болото, из которого вытекает река.

Временем для добывания огня назначался вечер Михайлова дня. Сельские знахари и звездочеты утверждают, что огонь, добытый в этот день чествования первого Архангела небесных воинств, непобедим и всемогущ, как часть огненной силы покорных великому стратигу ополченных духов.

Пять дней тому назад стариковскою радой, собравшеюся на задок за подобиями, было решено на Михайлов день уничтожить весь старый огонь и добыть новый, живой, «из непорочного дерева».

Тайнодействие это всем селом ждалось не без нетерпения и не без священного страха: о нем шли тихие речи вечерами в избах, освещенных лучиной, и такая же тихая, но плывучая молва об этом обтекала окрестные села. Везде, куда ее доносило, она была утешительницей упавших духом от страха коровьей смерти баб; она осеняла особенною серьезностию пасмурные лица унывших мужиков и воодушевляла нетерпеливою радостью обоего пола подростков, которых молодая кровь скучала в дымных хатах и чуяла раздольный вечер огничанья в лесу, где должно собираться премного всякого народа, и где при всех изъявится чудо: из холодного дерева закурится и полохнет пламенем сокрытый живой огонь.

Еще день спустя старики вновь сошлись на маслобойне у богатого мужика, у которого пали все его восемь коров. Тут деды рядили: кому быть главарем, чтобы огневым делом править? Не полагаясь на самих себя, они постановили привезть на то из далекой деревни старого мужика, по прозванью Сухого Мартына, да дать ему в подмогу кузнеца Ковзу, да еще Памфилку-дурачка, на том основании, что кузнец по своему ремеслу в огне толк знает, а Памфилка-дурак «божий человек». Миру же этих возлюбленных и призванных к делу людей бесперечь во всем слушаться.

Сталося по-сказанному, как по-писанному: привезен был из далекого села высокий, как свая, белый, с бородой в прозелень столетний мужик Сухой Мартын, и повели его старики по дорогам место выбирать, где живой огонь тереть.

Сухой Мартын выбрал для этого барскую березовую рощу за волоком, но Михаил Андреевич не позволил здесь добывать огня, боясь, что лес сожгут. Принасупилось крестьянство и повело Мартына по другим путям, и стал Мартын на взлобочке за гуменником и молвил:

– Вот тутотка тоже нам будет, православные, Господу помолиться и на бродячую смерть живой огонь пустить.

Но Михаил Андреевич и здесь не дозволил этой радости: неладно ему казалось соседство огня со скирдами сухой ржи и пшеницы.

Вдвое против прежнего огорчились мужики, и прошло сквозь них лукавое слово, что не хочет барин конца беде их и горести, и что, напротив того, видно любо ему гореванье их, так как и допреж сего не хотел он ни мудреного завода своего ни ставить, ни выгнать накупной скот, от которого вокруг мор пошел.

И ворча про себя, повел народ Сухого Мартына на третий путь: на соседнюю казенную землю. И вот стал Мартын на прогалине, оборотясь с согнутою спиной к лесничьей хате, а лицом – к бездонному болоту, из которого течет лесная река; сорвал он с куста три кисти алой рябины, проглотил из них три зерна, а остальное заткнул себе за ремешок старой рыжей шляпы и, обведя костылем по воздуху вокруг всего леса, топнул трижды лаптем по мерзлой груде и, воткнув тут костыль, молвил:

– Здесь, ребята, сведем жив огонь на землю!

Снял Мартын с своей седой головы порыжелый шлык, положил на себя широкий крест и стал творить краткую молитву, а вокруг него, крестяся, вздыхая и охая, зашевелились мужики, и на том самом месте, где бил в груду Мартынов лапоть, высился уже длинный шест и на нем наверху торчал голый коровий череп.

Место было облюбовано и занято, и было то место не барское, а на государевой земле, в божьем лесу, где, мнилось мужикам, никто им не может положить зарока низвесть из древа и воздуха живой огонь на землю.

И повелел потом мужикам Сухой Мартын, чтобы в каждой избе было жарко вытоплена подовая печь и чтоб и стар и млад, и парень и девка, и старики, и малые ребята, все в тех печах перепарились, а женатый народ с того вечера чтобы про жен позабыл до самой до той поры, пока сойдет на землю и будет принесен во двор новый живой огонь.

О сумерках Ковза кузнец и дурачок Памфилка из двора во двор пошли по деревне повещать народу мыться и чиститься, отрещися жен и готовиться видеть «Божье чудесо». Подойдут к волоковому окну,

стукнут палочкой, крикнут: «Печи топите, мойтеся, правьтеся, жен берегитеся: завтра огонь на коровью смерть!» – И пойдут далее.

Не успели они таким образом обойти деревню из двора во двор, как уж на том конце, с которого они начали, закурилася не в урочный час лохматая, низкая кровля, а через час все большое село, как кит на море, дохнуло: сизый дым взмыл кверху как покаянный вздох о греховном ропоте, которым в горе своем согрешил народ, и, разостлавшись облаком, пошел по поднебесью; из щелей и из окон пополз на простор густой потный пар, и из темных дверей то одной, то другой избы стали выскакивать докрасна взогретые мужики. Тут на морозце терлись они горстями молодым, чуть покрывавшим землю снежком и снова ныряли, как куклы, в ящик.

Еще малый час, и все это стихло: село погрузилось в сон. В воздухе только лишь пахло стынущим паром, да глухо кряхтя, капали жизнь в темных хлевушках издыхающие коровы. Да еще снилося многим сквозь крепкий сон, будто вдоль по селу прозвенела колокольцем тройка, а молодым бабам, что спали теперь, исполняя завет Сухого Мартына, на горячих печах, с непривычки всю ночь до утра мерещился огненный змей: обвивал он их своими жаркими кольцами; жег и путал цепким хвостом ноги резвые; туманил глаза, вея на них крыльями, не давал убегать, прилащивал крепкою чарой, медом, расписным пряником и, ударяясь о сыру землю, скидывался от разу стройным молодцом, в картузе с козырьком на лихих кудрях, и ласкался опять и тряс в карманах серебром и орехами, и где силой, где ухваткой улещал и обманывал.

И пронесся он, этот огненный змей, из двора во двор, вдоль всего села в архангельскую ночь, и смутил он там все, что было живо и молодо, и прошла о том весть по всему селу: со стыда рдели, говоря о том одна другой говорливые, и никли робкими глазами скромницы, никогда не чаявшие на себя такой напасти, как слет огненного змея.

Сухой Мартын сам только головой тряс, да послал ребят, чтоб около коровьей головы в Аленином Верху повесили сухую змеиную сорочку, да двух сорок вниз головами, что и было исполнено.

Глава тринадцатая
События ближатся

Михаил Андреевич узнал случайно об этом казусе от Висленева, спозаранку шатавшегося между крестьянами и к утреннему чаю явившегося поздравить Бодростина с наступившим днем его именин. Михаил Андреевич позабыл даже о своей досаде по случаю сгоревшего завода и о других неприятностях, в число которых входил и крестьянский ропот на занос падежа покупным скотом. Огненный змей, облетевший вдруг все село и смутивший разом всех женщин, до того рассмешил его, что он, расхохотавшись, не без удовольствия поострил насчет сельского целомудрия и неразборчивости демона. Висленев же объявил, что напишет об этом корреспонденцию в «Revue Spirite», как о случае «эпидемического наваждения». Бодростин его отговаривал.

– Пригрело их на печах-то, вот им Адонисы с орехами и с двугривенными и пошли сниться, – убеждал он Жозефа, но тот, в свою очередь, стоял на том, что это необъяснимо.

– Да и объяснять не стоит: одни и те же у них фантазии и одни и те же и сны.

– Нет-с, извините, я только не помню теперь, где это я читал, но я непременно где-то читал об этаких эпидемических случаях… Ей-богу читал, ей-богу читал!

– Что-ж, очень может быть, что и читал: вздору всякого много написано.

– Нет, ей-богу, я читал, и вот позвольте вспомнить, или в книжке «О явлении духов», или в сборнике Кроу, о котором когда-то здесь же говорил Водопьянов.

При этом имени сидевшая в кабинете мужа Глафира слегка наморщила лоб.

– Да, да, именно или там, или у Кроу, а впрочем, привидение с пёсьею головой, которое показывалось в Фонтенеблоском лесу, ведь видели все, – спорил Висленев.

– Полно тебе, бога ради, верить таким вздорам! – заметил Бодростин.

– Да-с; чего же тут не верить, когда и протоколы об этом составлены и «следствие было», как говаривал покойный Водопьянов, – снова брякнул Жозеф.

Глафира строго сверкнула на него левым глазом.

– А вот, позвольте-с, я еще лучше вспомнил, – продолжал Висленев, – дело в том, что однажды целый французский полк заснул на привале в развалинах, и чтоб это было достоверно, то я знаю и имя полка; это именно был полк Латур-д'Овернский, да-с! Только вдруг все солдаты, которых в полку, конечно, бывает довольно много, увидали, что по стенам ходило одно окровавленное привидение, да-с, да-с, все! И этого мало, но все солдаты, которых, опять упоминаю, в полку бывает довольно много, и офицеры почувствовали, что это окровавленное привидение пожало им руки. Да-с, в одно и то же время всем, и все это записано в летописях Латур-д'Овернского полка. По крайней мере, я так читал в известной книге бенедиктинца аббата Августина Калмета.

– Но извини меня, милый друг, а я не знаю ничего на свете глупее того, о чем ты ведешь разговоры, – воскликнул Бодростин.

– Почему же, друг мой? – ласково молвила Глафира.

– Потому что я решительно не думаю, чтобы кто-нибудь путный человек мог не в шутку рассуждать о таких вещах, как видения.

– Покойный Водопьянов… – перебил Висленев.

Глафира вспыхнула: ей было ужасно неприятно трепанье этого имени человеком, совершившим с ним то, что совершил Жозеф.

– Ах, пощадите от этого разговора. Он вовсе некстати, тем более, что мне нужно о деле переговорить с мужем, – заметила Глафира, выразительно смотря на Михаила Андреевича.

– Поди, любезнейший, погуляй по воздуху, – обратился Бодростин к Жозефу.

Висленев хлопал молча глазами.

– Поди же, поди, побегай.

– Помилуйте, зачем же мне гулять, когда я этого совсем не хочу? Я не дитя и не комнатная собака, чтобы меня насильно гулять водить.

– Да мне это нужно, братец, чтобы ты ушел! Как же ты этого не понимаешь, что я хочу поговорить с своею женой.

– Вы бы прямо так и сказали, – отвечал Жозеф и с неудовольствием начал искать своей шапки.

– Да вот я теперь прямо тебе и говорю: ступай вон.

Висленев только несколько громче, чем следовало, затворил за собою дверь и молвил себе:

– Каково положение! И, небось, найдутся господа, которые стали бы уверять, что и это можно поправить?

Выйдя на крыльцо, Висленев остановился и вдруг потерял нить своих мыслей при виде происходившей пред ним странной сцены. Два молодые лакея, поднимая комки мерзлой земли, отгоняли ими Памфилку-дурака, который плакал и, несмотря ни на что, лез к дому.

– Чего это он? – полюбопытствовал Жозеф, и, к крайнему своему удивлению, получил ответ, что дурачок добивается именно его видеть.

– Что тебе нужно, Памфил?

Слюнявый заика Памфил подскочил к Висленеву и заговорил картавя:

– Ись цейти бьются со мной: я пьисей тебя звать в свайку игьять, а они бьются. Пойдем, дядя, пойдем с тобой в свайку игьять! – И он ухватил Висленева под локоть и не отпускал его, настаивая, чтобы тот шел с ним играть в свайку.

Сколько Жозеф ни отбивался от дурака, как его ни урезонивал, что он не умеет играть в свайку, тот все-таки не отставал и, махая у него пред глазами острым гвоздем, твердил:

– Ничего: пойдем, пойдем…

На счастье Жозефа показался конюх с метлой и испуганный дурачок убежал; но не успел Висленев пройти полуверсты по дорожке за сад, где он хотел погулять и хоть немножко размыкать терзавшие его мысли, как Памфил пред ним снова как из земли вырос и опять пошел приставать к нему с своею свайкой.

Висленев решительно не мог отвязаться от этого дурака, который его тормошил, совал ему в руки свайку и наконец затеял открытую борьбу, которая невесть чем бы кончилась, если бы на помощь Жозефу не подоспели мужики, шедшие делать последние приготовления для добывания живого огня. Они отвели дурака и за то узнали от Жозефа, что вряд ли им удастся их дело и там, где они теперь расположились, потому что Михаил Андреевич послал ночью в город просить начальство, чтоб их прогнали из Аленнина Верха.

Мужики со злости бросили в землю топоры, которые несли на плечах, и заговорили:

– Да что он… попутало его, что ли?

– Музыки его за это вой как откостят! – вмешался дурак.

– Нет; этот барин греха над собой ждет, – прокатило в народе.

Так после ночи огненного змея в селе Бодростине начался архангельский день.

Каково-то он кончится?

Глава четырнадцатая
Последние вспышки старого огня

В эти же часы генерал Синтянин и жена его ехали парой в крытых дрожках в бодростинскую усадьбу, на именины Михаила Андреевича.

Осень опоздала, и день восьмого ноября был еще без санного пути, хотя земля вся сплошь была засеяна редким снежком. Утро было погожее, но бессолнечное. Экипаж синтянинский подвигался тихо, – больной генерал не мог выносить скорой езды по мерзлым кочкам. Было уже около полудня, когда они подъехали к старому лесу, в двух верстах за бодростинским барским гумном, и тут заметили, что их старый кучер вдруг снял шапку и начал набожно креститься. Генеральша выглянула из-под верха экипажа и увидела, что на широкой поляне, насупротив лесниковой избушки, три человека с топорами в руках ладили что-то вроде обыкновенных пилыдичьих козел. Над этими козлами невдалеке торчал высокий кол с насаженным на него рогатым коровьим черепом и отбитым горлом глиняного кувшина; на другом шесте моталась змеиная кожа, а по ветвям дерев висели пряди пакли. Синтянина никак не могла понять, для чего собрались здесь эти люди, и что такое они здесь устраивают; но кучер разъяснил ей недоразумение, ответив, что это готовится огничанье. Разговаривая о «непорочном огне», генерал с женой не заметили, как они доехали до гуменника, и здесь их дрожки покренились набок. Кучер соскочил подвертывать гайку, а до слуха генерала и его жены достигли из группы заиндевевших деревьев очень странные слова: кто-то настойчиво повторял: «вы должны, вы должны ему этого не позволять и требовать! Что тут такое, что он барин? Черт с ним, что он барин, – и в нем одно дыхание, а не два, а государь и начальство всегда за вас, а не за господ».

Голос этот показался знакомым и мужу, и жене, и когда последняя выглянула из экипажа, она совершенно неожиданно увидела Висленева, стоявшего за большим скирдом в сообществе четырех мужиков, которым Жозеф внушал, а те его слушали. Заметив Синтяниных, Иосаф Платонович смутился и сначала вильнул за скирд, но потом тотчас же вышел и показался на дороге, между тем как

разговаривавшие с ним мужики быстро скрылись. Генеральша взглянула потихоньку на мужа и заметила острый, проницательный взгляд, который он бросил в сторону Висленева. Иван Демьянович стал громко звать Жозефа.

Тот еще более смутился и видимо затруднялся, идти ли ему на этот зов, или притвориться, что он не слышит, хотя не было никакой возможности не слыхать, ибо дорога, по которой ехали Синтянины, и тропинка, по которой шел Висленев, здесь почти совсем сходились. Синтяниной неприятно было, зачем Иван Демьянович так назойливо его кличет, и она спросила: какая в том надобность и что за охота?

А что-с? ннчего-с, я хочу его подвезти-с; он далеко отошел, – отвечал генерал, не глядя в глаза жене.

Висленев, наконец, должен был оглянуться и, повернув, подошел к проезжавшим: он был непозволительно сконфужен и перепуган и озирался, как заяц.

– Ничего-с, ничего-с, – звал генерал, – не конфузьтесь! пожалуйте-ка сюда: прокатитесь с нами.

И с этим он снял свою запасную шинель с передней лавочки дрожек и усадил тут Висленева прямо против себя и тотчас же начал допрашивать, не сводя своих пристальных, холодных глаз с потупленного висленевского взора.

– С мужиками говорили-с, а? Умен русский мужичок, ух, умен! О чем, позвольте знать, вы с ними беседовали-с?

Генеральше это было ужасно противно, а Висленеву даже жутко, но Иван Демьянович был немилосерд и продолжал допрашивать… Висленев болтал какой-то вздор, к которому генеральша не прислушивалась, потому что она думала в это время совсем о других вещах, – именно о нем же самом, жалком, замыканном бог весть до чего. Он ей в эти минуты был близок и жалок, почти мил, как мило матери ее погибшее дитя, которому уже никто ничего не дарит, кроме заслуженной им насмешки да укоризны.

Так они втроем доехали до самого крыльца. Пред крыльцом стояла куча мужиков, которые, при их приближении, сняли шапки и низко поклонились. На их поклон ответили и генерал и его жена, но Висленев даже не притронулся к своей фуражке.

– Они вам кланяются-с, а вы не кланяетесь-с, – сказал генерал. – Это не по-демократически-с и не хорошо-с не отвечать простому

человеку-с на его вежливость.

Висленев покраснел, быстро оборотился лицом к мужикам, поклонился им чрезвычайно скорым поклоном и, ни с того, ни с сего, шаркнул ножкой.

Генерал рассмеялся.

В доме собралось много гостей, приехавших и из деревень, и из города поздравить Михаила Андреевича, который был очень любезен и весел, вертелся попрыгунчиком пред дамами, отпускал bons mots[99] направо и налево и тряс своими белыми беранжеровскими кудерьками.

Генерал и его жена застали Бодростина, сообщавшего кучке гостей что-то необыкновенно курьезное: он то смеялся, то ставил знаки восклицания и при приближении генерала заговорил:

– А вот и кстати наш почтенный генерал: ответите ли, ваше превосходительство, на вопрос: в какое время люди должны обедать?

– Говорят, что какой-то классический мудрец сказал, что «богатый когда хочет-с, а бедный когда может-с».

– А вот и выходит, что ваш мудрец классически соврал! – зачастил Бодростин, – у нас бедный обедает когда может, а богатый – когда ему мужик позволит.

Генерал этого не понял, а Бодростин, полюбовавшись его недоумением, объяснил ему, что мужики еще вчера затеяли добывать «живой огонь» и присылали депутацию просить, чтобы сегодня с сумерек во всем господском доме были потушены все огни и залиты дрова в печках, так чтобы нигде не было ни искорки, потому что иначе добытый новый огонь не будет иметь своей чудесной силы и не попалит коровьей смерти.

– Я им, разумеется, отказал, – продолжал Бодростин. – Помилуйте, сколько дней им есть в году, когда могут себе делать всякие глупости, какие им придут в голову, так нет, – вот подай им непременно сегодня, когда у меня гости. – «Ноне, говорят, Михаил Архангел живет, он Божью огненную силу правит: нам в этот самый в его день надыть».

– Ну, уж я слуга покорный, – по их дудке плясать не буду. Велел их вчера прогнать, а они сегодня утром еще где тебе до зари опять собрались чуть не всею гурьбой, а теперь опять… Скажите пожалуйста, какая наглость и ведь какова настойчивость. Видели вы их?

– Да-с, видел-с, – отвечал генерал.

– Не отходят прочь да и баста. Три раза посылал отгонять – нет, опять сызнова тут. Ведь это… воля ваша, нельзя же позволять этим лордам проделывать всякие штуки над разжалованным дворянством!..

В эту минуту человек попросил Бодростина в разрядную к конторщику. Михаил Андреевич вышел и скоро возвратился веселый и, развязно смеясь, похвалил практический ум своего конторщика, который присоветовал ему просто-напросто немножко принадуть мужиков, дав им обещание, что огней в доме не будет, а между тем праздновать себе праздник, опустив шторы, как будто бы ничего и не было.

О плане этом никто не высказал никакого мнения, да едва ли о нем не все тотчас же и позабыли. Что же касается до генеральши, то она даже совсем не обращала внимания на эту перемолвку. Ее занимал другой вопрос: где же Лариса? Она глядела на все стороны и видела всех: даже, к немалому своему удивлению, открыла в одном угле Ворошилова, который сидел, утупив свои золотые очки в какой-то кипсек, но Лары между гостями не было. Это смутило Синтянину, и она подумала:

– Так вот до чего дошло: ее считают недостойною порядочного общества! ее не принимают! И кто же изгоняет ее? Глафира Бодростина! Бедная Лара!

Синтянина пошла к Ларисе.

Она застала Лару одну в ее комнате во флигеле, насупленную и надутую, но одетую чрезвычайно к лицу и по-гостиному… Она ждала, что ее позовут, и ждала напрасно. Она поняла, что гостья это видит, и просила ее:

– Ты была уже там?

Синтянина молча кивнула ей утвердительно головой и тотчас же заговорила о сторонних пустяках, но, увидав, что у Лары краснеют веки и на ресницах накипают слезы, не выдержала и, бросясь к ней, обняла ее. Обе заплакали, склонясь на плечо друг другу.

– Не жалей меня, – прошептала Лариса, – я этого стою, и они правы…

– Никто не прав, обижая другого человека с намерением, – отвечала Синтянина, но Лара прервала ее слова и воскликнула с жаром:

– О! если бы ты знала, как я страдаю!
В это время генеральшу попросили к столу.
– Иди, ради бога иди, – шепнула ей Лариса.

Глава пятнадцатая
Красное пятно

Обед шел очень оживленно и даже весело. Целое море огня с зажженных во множестве бра, люстр и канделябр освещало большое общество, усевшееся за длинный стол в высокой белой с позолотой зале в два света. На хорах гремел хор музыки, звуки которой должны были долетать и до одинокой Лары, и до крестьян, оплакивавших своих коровушек и собиравшихся на огничанье.

Этою стороной именинный обед Бодростина немножко напоминал «Пир во время чумы»: здесь шум и оживленное веселье, а там за стенами одинокие слезы и мирское горе. Но ни хозяин, ни гости, никто не думал об этом. Именинник сиял и рассыпался в любезностях с дамами, жена его, снявшая для сегодняшнего торжества свой обычный черный костюм и одетая в белое платье с веткой мирта на голове, была очаровательна и, вдобавок, необыкновенно ласкова и внимательна к мужу. Зоилы говорили, что этому и должно приписывать перемену в характере Бодростина. Он долго ухаживал за своею женой после петербургской пертурбации с Казимирой, и целомудренная Глафира наконец простила ему ветреную Казимиру. Она не скрывала этого и постоянно обращалась к нему с каким-нибудь ласковым словом при каждом антракте музыки, и надо ей отдать справедливость, – каждое ее слово было умно, тонко, сказано у места и в самом деле обязывало самые нельстивые уста к комплиментам этой умной и ловкой женщине. Старик Бодростин таял; Горданов, который сидел рядом с Висленевым, обратил на это внимание Жозефа, в котором и без того кипела ревность и опасение, что Глафира его совсем выгонит.

– Вижу, – прошептал Висленев и позеленел. Ревность душила его.

Обед уже приходил к концу, как внезапно случилось не особенно значительное, но довольно неприятное обстоятельство: подавали шампанское двух сортов: белое и розовое, – Глафира выбрала себе последнее.

Заиграли туш; все начали поздравлять именинника, а хозяйка в неизменном настроении своей любезности встала со своего места и,

обойдя стол, подошла к мужу с намерением чокнуться с ним своим бокалом.

Увидав, что жена идет к нему, Михаил Андреевич быстро схватил свой бокал и, порывшись в боковом кармане своего фрака, поспешил к ней навстречу. Они сошлись как раз за спиной Ропшина. Руки их были протянуты друг к другу. В руке Глафиры был бокал с розовым шампанским, а в руке ее мужа – сложенный лист бумаги, подавая который, Бодростин улыбался. Но в то самое мгновение, когда Глафира Васильевна с ласковою улыбкой сказала: «живи много лет, Michel», она поскользнулась, и ее вино целиком выплеснулось на грудь Михаила Андреевича и, пенясь, потекло по гофрировке его рубашки, точно жидкая, старческая, пенящаяся кровь. Михаил Андреевич выронил бумагу, которую держал в руках. Сконфузившаяся на минуту Глафира взглянула на пол и сказала:

– Это я поскользнулась о яблочное зерно. – И с этим она быстро взяла полный бокал Ропшина, чокнулась им с мужем, выпила его залпом и, пожав крепко руку Михаила Андреевича, поцеловала его в лоб и пошла, весело шутя, на свое место, меж тем как Бодростин кидал недовольные взгляды на сконфуженного метрдотеля, поднявшего и уносившего зернышко, меж тем как Ропшин поднял и подал ему бумагу.

– Спрячь и отдай ей, – ответил, не принимая бумаги, Михаил Андреевич, сидевший с заправленною за галстух салфеткой, чтобы не было видно его вином облитой рубашки.

– Что это за бумага? – полюбопытствовал после обеда у Ропшина Висленев.

– Отгадайте.

– Почему я могу отгадать?

– Спросите духов.

– Нет, я вас прошу сказать мне!

– А, если просите, это другое дело: это дарственная запись, которою Михаил Андреевич дарит Глафире Васильевне все свое состояние.

Висленев разинул рот.

Меж тем Михаил Андреевич появился переодетый в чистое белье, но гневный и страшно недовольный. Ему доложили, что мужики опять собираются и просят велеть погасить огни. Глафира рассеяла его гнев:

она предложила прогулку в Аленин Верх, где мужики добывают из дерева живой огонь, а на это время в парадных комнатах, окна которых видны из деревни, погасят огни.

– Тех же господ, кто не хочет идти смотреть на проказы нашей русской Титании над Обероном, – добавила она, – я приглашаю ко мне на мою половину.

Но это было напрасно: все хотели видеть проказы русской Титании, и вереница экипажей понесла гостей к Аленину Верху.

Огни в большинстве комнат сгасли и в доме остались только сама госпожа, прислуга да генеральша, ускользнувшая к Ларе.

Глава шестнадцатая
Живой огонь

Тайнодействие с огнем началось гораздо ранее, чем гости в господском доме сели за праздничную трапезу. Убогий обед на селе у крестьян отошел на ранях, и к полдню во всех избах был уже везде залит огонь, и люди начинали снаряжаться на огничанье. При деле нужны были немалые распорядки, и потому Сухой Мартын, видя, что Ковза-кузнец уже с ног сбился, а в Памфилке-дурачке нет ему никакой помощи, взял себе еще двух положайников, десятского Дербака да захожего ружейного слесаря, который называл себя без имени Ермолаичем, – человека, всех удивлявшего своим досужеством. Он всего с неделю зашел откуда-то сюда и всем понравился. Кому завязанное ремнем ружьишко поправил, кому другою какою угодой угодил, а наипаче баб обласкал своим досужеством: той замок в скрыне справил, той фольгой всю божницу расцветил, той старую прялку так наладил, что она так и гремит его славу по всему селу.

Все эти четыре человека: Ковза-кузнец, дурак Памфил, Дербак десятский и захожий слесарь Ермолаич, тотчас после обеда, разделясь попарно, обошли все село и заглянули в каждую печь и залили сами во всяком доме всякую искорку; повторили строго-настрого всем и каждому, чтобы, боже упаси, никто не смел ни серинки вздуть, ни огнивом в кремень ударить, а наипаче трубки не курить. Затем настал час запирать избы и задворки и всего осторожнее крепко-накрепко защитить коровьи закуты, положив у каждой из них пред дверью крестом кочергу, помело и лопату. Это необходимая предосторожность, чтобы, когда сойдет живой огонь и мертвая мара взмечется, так нельзя было ей в какой-нибудь захлевушине спрятаться.

Наказов этих никому не надо было повторять: все они исполнялись в точности, и еще на дворе было довольно светло, как все, что нужно было, в точности выполнено: лопаты, кочерги были разложены, и крестьяне, и стар и млад, снаряжались в путь.

Многие мужики даже уже тронулись: нахлобучив шапки, они потянулись кучками через зады к Аленину Верху, а за ними, толкаясь и подпрыгивая, плелися подростки обоего пола. Из последних у каждого

были в руках у кого черенок, у кого старая черная корчажка, – у двух или у трех из наиболее зажиточных дворов висели на кушаках фонари с сальными огарками, а, кроме того, они волокли в охапках лучину и сухой хворост.

Короткий осенний день рано сумеречил, и только что чуть начало сереть, на пороге Старостиной избы показался седой главарь всей колдовской справы, Сухой Мартын, а с ним его два положайника: прохожий Ермолаич с балалайкой и с дудкой, и Памфилка-дурак с своею свайкой. Кузнеца Ковзы и десятского Дербака уже не было: они ранее ушли в Аленин Верх с топорами и веревками излаживать последние приготовления к добыче живого огня. С ними ушло много и других рукодельных людей, а остальные сплошною вереницей выходили теперь вслед за главарем, который тихо шагал, неся пред собой на груди образ Архангела и читая ему шепотом молитву неканонического сложения.

В последней толпе было много и старух, и небольших девочек, взрослые же девки и все молодые женщины оставались еще на селе, но не для того, чтобы бездействовать, – нет, совсем напротив: им тоже была важная работа, и, для наблюдения строя над ними, Сухим Мартыном была поставлена своя особая главариха, старая вдова Мавра, с красными змеиными глазами без век и без ресниц, а в подмогу ей даны две положницы: здоровенная русая девка Евдоха, с косой до самых ног, да бойкая гулевая солдатка Веретеница.

Чуть мужики с своим главарем скрылись за селом, бабы поскидывали с себя в избах понявы, распустили по плечам косы, подмазали лица – кто тертым кирпичом, кто мелом, кто сажей, взяли в руки что кому вздумалось из печной утвари и стали таковы, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Через полчаса вслед за мужиками выступали отрядом женщины, все босые, в одних длинных сорочках, с растрепанными волосами, с испачканными кирпичом и сажей лицами и вооруженные цепами, косами, граблями и вилами. Вышли они на улицу посемейно; здесь по одной из крайних десяти дворов впряглись в опрокинутую кверху сошниками соху, а одиннадцатая села верхом на сошные обжи и захлестала громко длинным пастушьим кнутом. На этот звук сейчас же из-за недалекого угла выскакала верхом на маленьком бодром коньке гулевая солдатка Веретеница и протяжно заунывно аукнула.

– Ау! – отозвались ей в стылом воздухе с другого конца села, и на улице, точно так же верхом на лохматой чалой лошади, показалась здоровенная русая девка Евдоха.

Обе положайницы съехались, повернули коней головами к воротам широкого кириллина задворка и обе разом завыли волчихами, да так зычно и жалостно, что даже кони их со страху шарахнулись и ушами запряли, а пешие раздетые бабы стали креститься и между собою шептаться:

– Точно ли это Евдоха с солдаткой: не ведьмы ли?

Шабаш начинался: только что завывалы провыли свой первый сигнал, ворота задворка скрыпнули и из-под его темных навесов, мотая головой и хлопая длинными ушами, выехал белый конь, покрытый широким белым веретьем, а на этом старом смирном коне сидела, как смерть худая, вдова Мавра с красными глазами без век, в длинном мертвецком саване и лыком подпоясанная. Не успел показаться круп ее белого коня, как из-за него, словно воробьи из гнезда, выпорхнули на разношерстных пахотных лошадках целым конным отрядом до полутора десятка баб, кто в полушубке навыворот, кто в зипуне наопашь, иные зашароварившись ногами в рукава, другие сидя на одном коне по двое, и у всякой в руке или звонкий цеп с дубиной, или тяжелые, трезубые навозные вилы.

Непривычные к такому наезду лошаденки, несмотря на свое врожденное смиренство, храпнули и, замотавшись, разнеслись было в разные стороны, но повода были крепки, и наездницы, владея ими своими сильными руками, скоро справились и собрались вокруг Мавры в длинном саване.

Настала торжественная минута: вдова размахнула свой саван, подняла над головой широкую печную заслонку из листового железа и, ударив по ней жестяным ковшом, затряслась и крикнула:

– Сторонися, смерть, пред бабьею ногой!

И заляскали вслед за нею о древки сухие цепы, заколотили емки и ухваты, зазвенели серпы и косы, задребезжали спицами трезубые вилы; сотни звонких, громких голосов, кто во что горазд, взвизгнули, гаркнули, крикнули: «згинь, пропади отсюда, коровья смерть!» и, переливаясь, понеслись, то заглушаемые шумом, то всплывающие поверх его вновь.

Село опустело, но еще не совсем: оставались старушки с малыми внучками, но вот и они показались. Одна за другою, они тянули на поводках остающихся в живых коровушек, а девчонки сзади подхлестывали животин хворостинками. Все это потянуло к тому же самому центру, на Аленин Верх, где надлежало добыть живой огонь, сжечь на нем соломенную чучелу коровьей смерти или мары, перегнать через ее пламя весь живой скот и потом опахать село, с девственным пламенем, на раздетых бабах.

В опустелых избах остались только те, кто ходить не мог. Здесь темень; только изредка можно было слышать дряхлый кашель недвижимой старухи да безнадежный плач понапрасно надрывавших себя грудных детей, покинутых без присмотра в лубочных зыбках.

Все остальное как вымерло, и на пустую деревню с нагорья светили лишь праздничные огни двухэтажных господских палат и оттуда же сквозь открытые форточки окон неслись с высоких гор звуки пиршествующей музыки, исполнявшей на эту пору известный хор из «Роберта»:

«В закон, в закон себе поставил
Для радости, для радости лишь жить».

Теперь это еще более напоминало «Пир во время чумы» и придавало общей картине зловещий характер, значение которого вполне можно было определить, лишь заглянув под нахлобученные шапки мужиков, когда до их слуха ветер доносил порой вздымающие сердце звуки мейерберовских хоров. Яркое, праздничное освещение дома мутило их глаза и гнело разум досадой на невнятую просьбу их, а настрадавшиеся сердца переполняло страхом, что ради этого непотушенного огня «живой огонь» или совсем не сойдет на землю, или же если и сойдет, то будет недействителен.

Тьмы тем злых пожеланий и проклятий летели сюда на эти звуки и на этот огонь из холодного Аленина Верха, где теперь одни впотьмах валяли из привезенного воза соломы огромнейшую чучелу мары, меж тем как другие путали и цепляли множество вожжей к концам большой сухостойной красной сосны, спиленной и переложенной на козлах крест-накрест с сухостойною же черною липой.

Барское пиршество и опасения занесенной Висленевым тревоги, что и здесь того гляди барским рачением последует помеха, изменяли характер тихой торжественности, какую имело дело во время сборов, и в души людей начало красться раздражение, росшее быстро. Мужики работали, супясь, озираясь, толкая друг дружку и ворча, как медведи.

Но вот наконец все налажено: высокая соломенная кукла мары поднята на большой камень, на котором надлежит ее сжечь живым огнем, и стоит она почти вровень с деревьями: по древяным ветвям навешана длинная пряжа; в кошелке под разбитым громом дубом копошится белый петух-получник. Сухой Мартын положил образ Архангела на белом ручнике на высокий пень спиленного дерева, снял шляпу и, перекрестясь, начал молиться.

Мужики делали то же самое, и сердца их укрощались духом молитвы.

– Теперь все ли, робя?

– Все.

Сухой Мартын накрылся шляпой, за ним то же сделали другие.

– Бабы в своем ли уповоде?

– За мостом стоят, огня ждут, – отвечали положайники.

– Старожухи чтобы на всех дорогах глядели.

– Глядят.

– Никого чтобы не пускали, ни конного, ни пешего, а наипаче с огнем!

– По две везде стоят, не пустят.

– Кто силом попрет, живому не быть!

– Не быть!

– Ну и с господом!

Главарь и мужики опять перекрестились. Сухой Мартын сел верхом на ствол сосны, положенной накрест утвержденной на козлах липы, а народ расхватал концы привязанных к дереву вожжей.

Сухой Мартын поблагословил воздух на все стороны и, выхватив из-за пояса топор, воткнул его пред собой в дерево.

Народ тихим, гнусливым унисоном затянул:

Помоги, архангелы,
Помоги, святители:
Добыть огня чистого

С древа непорочного.

По мере того как допевалось это заклинательное моленье, концы веревок натягивались, как струны, и с последним звуком слился звук визжащего трения: длинное бревно челноком заныряло взад и вперед по другому бревну, а с ним замелькал то туда, то сюда старый Сухой Мартын. Едва держась на своем полете за воткнутый топор, он быстро начал впадать от качания в шаманский азарт: ему чудились вокруг него разные руки: черные, белые, медно-кованные и серебряные, и все они тянули его и качали, и сбрасывали, а он им противился и выкликал:

– Вортодуб! Вертогор! Трескун! Полоскун! Бодняк! Регла! Авсень! Таусень! Ух, бух, бух, бух! Слышу соломенный дух! Стой, стой! Два супостата, Смерть и Живот, борются и огнем мигают!

И Сухой Мартын соскочил с бревна и, воззрясь из-под рваной рукавицы в далекую темь, закричал:

– Чур, все ни с места! Смерть или Живот!

Глава семнадцатая
Ларисина тайна

В то самое время, как в Аленином Верхе происходили описанные события, Александра Ивановна Синтянина, пройдя темными переходами, отворила дверь в комнату Лары и изумилась, что здесь была совершенная темнота.

Молодой женщине вдруг пришло в мысль: не сделала ли чего-нибудь с собою Лариса, по меньшей мере не покинула ли она внезапно этого неприветливого и страшного дома и не ушла ли куда глаза глядят?

Пораженная этою мыслью, Александра Ивановна остановилась на пороге. В комнате не было заметно ни малейшего признака жизни.

Александра Ивановна, безуспешно всматриваясь в эту темь, решилась позвать Ларису и, сдерживая в груди дыхание, окликнула ее тихо и нерешительно.

– Я здесь, – отозвалась ей так же тихо Лариса и сейчас же спросила, – что тебе от меня нужно, Alexandrine?

– Ничего не нужно, друг мой Лара, но я устала и пришла к тебе посидеть, – отвечала генеральша, идя на голос к окну, в сером фоне которого на морозном небе мерцали редкие звезды, а внизу на подоконнике был чуть заметен силуэт Ларисы.

Александра Ивановна подошла к ней и, заглянув ей в лицо, заметила, что она плачет.

– Ты сидишь впотьмах?

– Да, мне так лучше, – отвечала Лара.

– Тебе, может быть, неприятно, что я пришла?

– Нет, отчего же? мне все равно.

– Может быть мне уйти?

– Как хочешь.

– Так прощай, – молвила генеральша, – протягивая ей руку.

– Прощай.

– Дай же мне твою руку!

Лариса молча положила пальцы своей руки на руку Синтяниной и прошептала:

– Прощай и… не сердись, что я такая неприветливая…

И с этим она не выдержала и неожиданно громко зарыдала.

– О, боже мой, какое горе, – произнесла Синтянина и, поискав ногой стула и не найдя его, опустилась пред Ларисой на колени, сжала ее руки и поцеловала их.

– Ах, Саша, что ты делаешь! – отозвалась Лариса и поспешно сама поцеловала ее руки.

– Лара, – сказала ей Синтянина, – позволь мне быть с тобою откровенною: я много старше тебя; я знаю тебя с твоего детства, я люблю тебя и мне ясно, что ты несчастлива.

– Очень, очень несчастлива.

– Поговорим же, подумаем об этом; совсем непоправимых положений нет.

– Мое непоправимо.

– Это ты все надумала в своем одиночестве, а я хочу напомнить тебе о людях, способных христиански отнестись ко всякому несчастию…

Лариса быстро ее перебила.

– Ты хочешь мне говорить о моем муже? Я и так думала о нем весь вечер под звуки этой музыки.

– И плакала?

– Да, плакала.

– О чем?

Лариса промолчала.

– Говори же: одолей себя, смирись, сознайся!

И Синтянина снова сжала ее руки.

– Что ж пользы будет в этом, – отвечала Лариса. – Неужели же ты хотела бы, чтоб я разыграла в жизни один из Авдеевских романов?

– Ах, боже мой, да что тебе эти романы, – послушай своего сердца. Ведь ты еще его любишь?

– Да.

– Я вижу, тебя мучит совесть.

– О, да! Страшно, страшно мучит, и мне мало всех моих мучений, чтоб отстрадать мою вину: но я *должна* идти все далее и далее.

– Это вздор.

Лара покачала головой и, усмехнувшись, прошептала:

– Нет, не вздор.

– Ты должна положить конец своим унижениям.

– Я этого не могу, понимаешь – я *не могу*, я хочу и не могу.

– Я понимаю, что ты не можешь и не должна сделать тур, какой делали героини тех романов, но если твой муж позовет тебя как добрый, любящий человек, как христианин простит тебя и примет не как жену, а как несчастного друга…

– Для меня бессильно все, даже и религия.

– Дай мне договорить: ты не права; христианская религия не кладет никаких границ великодушию. Конечно, есть чувства… есть вещи… которыми возмущается натура и… я понимаю твои затруднения! Но пойми же меня: разве бы ты не рвалась к Подозерову, если б он был в несчастии, в горе, в болезни?

– О, всюду, всюду, но… ты не понимаешь, что говоришь: *я* не *могу… Я не могу* ничего этого сделать; я связана.

Синтянина возразила ей, что Подозеров ее законный муж, что его права так велики и сильны пред законом, что их никто не смеет оспорить, и заключила она:

– Если ты позволишь, я напишу твоему мужу, и ручаюсь тебе за него…

Ларису передернуло.

– *Ты за него* ручаешься!

– Да, *я за него* ручаюсь, что он будет счастлив, доставив тебе, разбитой, покой и отдых от твоих несчастий, – тем более, что он умеет быть самым нетребовательным другом, и ты еще можешь в тишине дожить век с ним.

Лариса сделала еще более резкое, нетерпеливое движение.

– Ты сердишься?

– Нет, – отвечала Лара, – нет, я не сержусь, но вот что, я не могу сносить этого тона, каким ты говоришь о моем бывшем муже. Мне все это дорого стоит. Я уважаю тебя, ты хорошая, добрая, честная женщина; я нередко сама хочу тебя видеть, но когда мы свидимся… в меня просто вселяется дьявол, и… прости меня, сделай милость, я не хотела бы сказать тебе то, что сейчас должно быть скажу: я ненавижу тебя за все и особенно за твою заботу обо мне. Тетя Катерина Астафьевна права: во мне бушует Саул при приближении кротости Давида.

– Ты просто больна; тебя надо лечить.

– Нет, я не больна, а твои превосходства взяли у меня душу моего мужа.

– О, если тебя только это смущает, то…

– Нет, молчи, перебила ее Лара, – ты знаешь ли, что я сделала? Я двумужница! Я венчалась с Гордановым!

Синтянина стояла как ошеломленная.

– Да, да, – повторила Лара, – с тобой говорит двумужница, о которой ему стоит сказать слово, чтобы свести на каторгу, и он скажет это слово, если я окажу ему малейшее неповиновение.

– Ты шутишь, Лара?

– О, да, да; это шутка: они надо мною шутят, они бесчеловечно шутят, но мне это уже надоело, и я не шучу.

При этих словах она вскочила с места и, скрежеща зубами, вскричала:

– Он хочет убить Бодростина и, женясь тайно на мне, жениться на Глафире, но этого не будет, не будет! Я им отомщу, отомщу…

Она зашаталась на ногах и, произнеся: «я их всех погублю!» – упала на прежнее место.

– Оставь их, оставь этот дом…

– Нет, никогда! – простонала Лара. – И теперь это поздно: я их предала, а они уже все совершили.

– Бежим, бога ради бежим!

– Бежать!.. Стой!.. Что это такое?

По лестнице слышались чьи-то шаги, кто-то спешил, падал, вскакивал и бежал снова, и наконец с шумом растворилась дверь, и кто-то, ворвавшись, закричал:

– Лариса! Лара! Alexandrine! Где вы? – откликнитесь бога ради!

Это был голос Бодростиной.

Лариса и Синтянина остались как окаменевшие: на них напал ужас, а вбежавшая Глафира металась впотьмах, наконец нащупала их платья и, схватись за них дрожащими руками, трепеща, глядела в непроглядную темень, откуда опять было слышались шум, шаги и паденья.

– Закройте меня! – простонала Глафира.

На Синтянину напал ужас. Ближе и ближе несся шум, и в шуме в этом было что-то страшное и зловещее. Меж тем кто-то прежде

ворвавшийся путался в переходах, тяжко дышал, бился о двери и, спотыкаясь, шептал:

– Где ты! где же ты наконец… я наконец сделал все, что ты хотела… ты свободна… вдова… наконец я тебя заслужил.

Холодные мурашки, бегавшие по телу генеральши, скинулись горячим песком; ее горло схватила судорога, и она сама была готова упасть вместе с Ларисой и Бодростиной. Ум ее был точно парализован, а слух поражен всеобщим и громким хлопаньем дверей, такою беготней, таким содомом, от которого трясся весь дом. И весь этот поток лавиной стремился все ближе и ближе, и вот еще хлоп, свист и шорох, в узких пазах двери сверкнули огненные линии… и из уст Лары вырвался раздирающий вопль.

Пред ними на полу вертелся Жозеф Висленев, с окровавленными руками и лицом, на котором была размазанная и смешанная с потом кровь.

– Убийца! – вскрикнула страшным голосом Лара.

Глава восемнадцатая
Соломенный дух

Когда господа выехали смотреть огничанье, на дворе уже стояла свежая и морозная ночь. Ртуть в термометрах на окнах бодростинского дома быстро опускалась, и из-за углов надворных строений порывало сухою студеною пылью. Можно было предвидеть, что погода разыграется; но в лесу, где крестьяне надрывались над добыванием огня, было тихо. Редкие звезды чуть мерцали и замирали; ни одна снежинка не искрилась и было очень темно. Стороннему человеку теперь нелегко попасть сюда, потому что не только сама поляна, но и все ведущие к ней дороги тщательно оберегались от захожего и заезжего. С той минуты, как Сухому Мартыну что-то привиделось, досмотр был еще строже. В морозной мгле то тихо выплывали и исчезали, то быстро скакали взад и вперед и чем-то размахивали какие-то темные гномы – это были знакомые нам сторожевые бабелины, вооруженные тяжелыми цепами. Чем ближе к Аленину Верху, тем патрули этих амазонок становились чаще и духом воинственнее и нетерпеливее. Дело с огнем не ладилось. С тех пор, как Сухой Мартын зря перервал работу, терли они дерево час, трут другой, а огня нет. Засинеет будто что-то на самой стычке деревьев и даже сильно горячим пахнет, а огня нет. Мужики приналягут, сил и рук не щадят, но все попусту… все сейчас же, как словно по злому наговору, и захолоднеет: ни дымка, ни теплой струйки, точно все водой залито.

– Дело нечисто, тут что-то сделано, – загудел народ и, посбросав последнее платье с плеч, мужики так отчаянно заработали, что на плечах у них задымились рубахи; в воздухе стал потный пар, лица раскраснелись, как репы; набожные восклицания и дикая ругань перемешивались в один нестройный гул, но проку все нет; дерево не дает огня.

Кто-то крикнул, что не хорошо место.

Слово это пришлось по сердцу: мужики решили перенести весь снаряд на другое место. Закипела новая работа: вся справа перетянулась на другую половину поляны; здесь опять пропели «помоги святители» и стали снова тереть, но опять без успеха.

– Две тому причины есть: либо промеж нас есть кто нечистый, либо всему делу вина, что в барском доме старый огонь горит.

Нечистым себя никто не признал, стало быть барский дом виноват, а на него власти нет.

– Это баре вредят, – проревело в народе.

Сухой Мартын изшатался и полуодурелый сошел с дерева, а вместо него мотался на бревне злой Дербак. Он сидел неловко; бревно его беспрестанно щемило то за икры, то за голени, и с досады он становился еще злее, надрывался, и не зная, что делать, кричал, подражая перепелу: «быть-убить, драть-драть, быть-убить, драть-драть». Высокие ели и сосны, замыкавшие кольцом поляну, гудели и точно заказывали, чтобы звучное эхо не разносило лихих слов.

Неподалеку в стороне, у корней старой ели, сидел на промерзлой кочке Сухой Мартын. Он с трудом переводил дыхание и, опершись подбородком на длинный костыль, молчал; вокруг него, привалясь кто как попало на землю, отдыхали безуспешно оттершие свою очередь мужики и раздраженно толковали о своей незадаче.

Мужики, ища виноватого, метались то на того, то на другого; теперь они роптали на Сухого Мартына, что негоже место взял. Они утверждали, что надо бы тереть на задворках, но обескураженный главарь все молчал и наконец, собравшись с духом, едва молвил: что они бают не дело, что огничать надо на чистом месте.

– Ну так надо было стать на поле, – возразил ему какой-то щетинистый спорщик.

– На поле, разумеется на поле: поле от лешего дальше и богу милее: оно христианским потом полито, – поддержал спорщика козелковатый голос.

– Лес богу ближе, лес в небо дыра, – едва дыша отвечал Сухой Мартын, а против лешего у нас на сучьях пряжа развешана.

– Леший на пряжу никак не пойдет, – проговорил кто-то в пользу Мартына.

– Ему нельзя, он если сюда ступит, сейчас в пряжу запутается, – пропел второй голос.

– Ну так надо было стать посреди лесу, чтобы к божьему слуху ближе, – возразил опять спорщик.

– Божье ухо во весь мир, – отвечал, оправляясь, Мартын и зачитал искаженный текст псалма: «Живый в помощи Вышняго».

Это всем очень понравилось.

Мужики внимали сказанию о необъятности божией силы и власти, а Сухой Мартын, окончив псалом, пустился своими красками изображать величие творца. Он описывал, как господь облачается небесами, препоясуется зорями, а вокруг него ангелов больше, чем просяных зерен в самом большом закроме.

Мужики, всегда любящие беседу о грандиозных вещах, поглотились вниманием и приумолкли: вышла даже пауза, в конце которой молодой голос робко запытал:

– А правда ли, что бог старый месяц на звезды крошит?

– Неправда, – отвечал Мартын.

– Чего он их станет из старого крошить, когда от него нам всей новины не пересмотреть, а звезды окна: из них ангелы вылетают, – возразил начинавший передаваться на Мартынову сторону спорщик.

– Ну, это врешь, – опроверг его козелковатый голос. – На что ангел станет в окно сигать? Ангелу во всем небеси везде дверь, а звезда пламень, она на то поставлена, чтоб гореть, когда месяц спать идет.

– Неправда; а зачем она порой и тогда светит, когда месяц яснит?

Астроном сбился этим возражением и, затрудняясь отвечать, замолчал, но вместо его в тишине отозвался новый оратор.

– Звезда стражница, – сказал он, – звезда все видит, она видела, как Кавель Кавеля убил. Месяц увидал, да испугался, как християнская кровь брызнула, и сейчас спрятался, а звезда все над Кавелем плыла, богу злодея показывала.

– Кавеля?

– Нет, Кавеля.

– Да ведь кто кого убил-то: Кавель Кавеля?

– Нет, Кавель Кавеля.

– Врешь, Кавель Кавеля.

Спор становился очень затруднительным, только было слышно: «Кавель Кавеля», «нет, Кавель Кавеля». На чьей стороне была правда ветхозаветного факта – различить было невозможно, и дело грозило дойти до брани, если бы в ту минуту неразрешаемых сомнений из темной мглы на счастье не выплыл маленький положайник Ермолаич и, упадая от усталости к пенушку, не заговорил сладким, немного искусственным голосом.

– Ух, устал я, раб господень, устал, ребятушки: дайте присесть посидеть, ваших умных слов послушать.

И он, перекатясь котом, поместился между мужиков, прислонясь спиной к кочке, на которой сидел Сухой Мартын.

– О чем, пареньки-братцы, спорили: о страшном или о божественном; о древней о бабушке или о красной о девушке? – заговорил он тем же сладким голосом.

Ему рассказали о луне, о звездах и о Кавеле с Кавелем.

– Ух, Кавели, Кавели, давние люди, что нам до них, братцы, божий работнички: их бог рассудил, а насчет неба загадка есть: что стоит, мол, поле полеванское и много на нем скота гореванского, а стережет его один пастух, как ягодка. И идет он, божьи людцы, тот пастушок, лесом не хрустнет, и идет он плесом не всплеснет и в сухой траве не зацепится, и в рыхлом снежку не увязнет, а кто да досуж разумом, тот мне сейчас этого пастушка отгадает.

– Это красное солнышко, – отозвались хором.

– Оно и есть, оно и есть, молодцы государевы мужички, божьи молитвеннички. Ух да ребятки! я зову: кто отгадает? а они в одно, что и говорить: умудряет Господь, умудряет. Да и славно же вам тут; ишь полегли в снежку, как зайчики под сосенкой, и потягиваются, да дедушку Мартына слушают.

Сухой Мартын затряс бородой и, покачав головой, с неудовольствием отозвался, что мало его здесь слушают, что каждый тут про себя хочет большим главарем быть.

– А-а, ну это худо, худо… так нельзя, государевы мужички, невозможно; нельзя всем главарями быть. – И загадочный Ермолаич начал рассказывать, что на божием свете ровни нет; на что-де лес дерево, а и тот в себе разный порядок держит. – Гляньте-ка, вон гляньте: видите небось: все капралы поскидали кафтаны, а вон божия сосеночка промежду всех другой закон бережет: стоит вся в листве, как егарь в мундирчике, да командует: кому когда просыпаться и из теплых ветров одежду брать. Надо, надо, людцы, главаря слушаться.

– А что же его слушать, когда по его команде огня нет, – запротестовали мужики.

– Будет еще, божьи детки, будет. Сейчас нетути, а потом и будет: видите, греет, курит, а станут дуть, огня нет. Поры значит нет, а придет пора, будет.

– Говорят, что с того, что в барских хоромах старый огонь сидит?

– Ну, как знать, как знать, голуби, которы молоды.

Ермолаич все старался шутить в рифму и вообще вел речь, отзывавшуюся искусственною выделанностию простонародного говора.

– Нет, это уж мы верно знаем, – отвечал Ермолаичу спорливый мужик.

– Да; нам баил сам пегий барин, что помещик, баит, огонь нарочно не хочет гасить.

– Когда он это баил, пегий барин? – переспросил Ермолаич и, в десятый раз с величайшим вниманием прослушав краткое изложение утренней беседы Висленева с мужиками за гуменником, заговорил:

– Ну его, ну его, этого пегого барчука, что его слушать!

– А отчего и не послушать-то? Нет, он все за мужиков всегда рассуждает.

– Он дело баит: побить, говорит, их всех, да и на что того лучше?

– Ну дело! легка ли стать! Не слушайте его: ишь он как шелудовый торопится, когда еще и баня не топится. Глядите-ка лучше вон как мужички-то приналегли, ажно древо визжит! Ух! верти, верти круче! Ух! вот сейчас возлетит орел во рту огонь, а по конец его хвоста и будет коровья смерть.

Народ налегал; вожжи ходили как струны и бревно летало стрелой; но спорливый мужик у кочки и здесь ворчал под руку, что все это ничего не значит, хоть и добыли огонь: не поможет дегтярный крест, когда животворящий не помог.

Ермолаич и ему стал поддакивать.

– Ну да, – засластил ои своим мягким голоском, – кто спорит, животворный крест дехтярного завсегда старше, а знаешь присловье: «почитай молитву, не порочь ворожбы».

Это встретило общее одобрение, и кто-то сейчас же завел, как где-то вдалеке с коровьей смертью хотели одни попы крестом да молитвой справиться и не позволяли колдовать: билися они колотилися, и ничего не вышло. И шел вот по лесу мужик, так плохенький беднячок, и коров у него отроду ни одной не было, а звали его Афанасий и был он травкой подпоясан, а в той-то траве была трава змеино видище. Вот он идет раз, видит сидит в лесу при чищобе на пенечке бурый медведь и говорит: «Мужик Афанасий травкой подпоясан, это я сам и есть

коровья смерть, только мне божьих мужичков очень жаль стало: ступай, скажи, пусть они мне выведут в лес одну белую корову, а черных и пестрых весь день за рога держут, я так и быть съем белую корову, и от вас и уйду». Сделали так по его, как он требовал, сейчас и мор перестал.

– Да уж медведь степенный зверь, он ни в жизнь не обманет.

– А степенен да глуп: если он в колоду лапу завязит, так не вытащит, все когти рвет, а как вынуть, про то сноровки нет.

– Где же ему сноровки, медведю, взять, – вмешался другой мужик, – вон я в городе слона приводили – видел: на что больше медведя, а тоже булку ему дадут, так он ее в себя не жевамши, как купец в комод, положит.

– Медведь думец, – поправил третий мужик, – он не глуп, у него дум в голове страсть как много сидят, а только наружу ничего не выходит, а то бы он всех научил.

Но спорщик на все это ответил сомненьем и даже не видал причины, для коей бы коровья смерть медведем сидела. С этим согласились и другие.

– Да; ведь смерть нежить, у нее лица нет, на что же ей скидываться, – поддержал козелковатый.

– Как же лица нет, когда она без глаз видит и в церкви так пишется?

– Да, у смерти лица нет, у нее облик, – вставил чужой мужик, – один облик, вот все равно как у кикиморы. У той тоже ведь лица нет… так на мордочке-то ничего не видать, даже никакой облики, вся в кастрику обвалена, а все прядет и напрядет себе в зиму семьдесят семь одежек, а все без застежек, потому уж ей застежек пришить нечем.

– А кащей, вон хоть с ноготь, обличье имеет, у нас дед один его видел, так, говорит, личико махонькое-махонькое, как затертый пятиалтынник.

– Про это и попы не знают, какое у нежити обличие, – отозвался на эти слова звонкоголосый мужичок и сейчас же сам заговорил, что у них в селе есть образ пророка Сисания и при нем списаны двенадцать сестер лихорадок, все как есть просто голыми бабами наружу выставлены, а рожи им все повыпечены, потому что как кто ставит пророку свечу, сейчас самым огнем бабу в морду ткнет, чтоб ее лица не значилось.

– Да и архангел их, этих двенадцать сестер, тоже огненными прутьями страсть как порет, чтоб они народ не трясли, – пояснил другой мужик из того же села и добавил, как он раз замерзал в пургу и самого архангела видел.

– Замерзал, – говорит, – я, замерзал и все Егорью молился и стал вдруг видеть, что в полугорье недалече сам Егорий середь белого снегу на белом коне стоит, позади его яснит широк бел шатер, а он сам на ледяное копье опирается, а вокруг его волки, которые на него бросились, все ледянками стали.

– А я один раз холеру видел, – произнес еще один голос, и вмешавшийся в разговор крестьянин рассказал, как пред тем года четыре назад у них холере быть, и он раз пошел весной на двор, вилой навоз ковырять, а на навозе, откуда ни возьмись, петух, сам поет, а перья на нем все болтаются: это и была холера, которая в ту пору, значит, еще только прилетела да села.

Разговор стал сбиваться и путаться: кто-то заговорил, что на Волхове на реке всякую ночь гроб плывет, а мертвец ревет, вокруг свечи горят и ладан пышет, а покойник в вечный колокол бьет и на Ивана царя грозится. Не умолк этот рассказчик, как другой стал сказывать, куда кони пропадают, сваливая все это на вину живущей где-то на турецкой земле белой кобылицы с золотою гривой, которую если только конь заслышит, как она по ночам ржет, то уж непременно уйдет к ней, хоть его за семью замками на цепях держи. За этим пошла речь о замках, о разрыв-траве и как ее узнавать, когда сено косят и косы ломятся, и о том, что разрыв-трава одну кошку не разрывает, но что за то кошке дана другая напасть: она если вареного гороху съест, сейчас оглохнет. Оказывалось, впрочем, что и ей еще не хуже всех, потому что мышь, если в церкви под царские врата шмыгнет, так за то летучей должна скинуться.

Беседа эта на всех, кто ее слушал, производила тихое, снотворное впечатление, такое, что и строптивый мужик не возражал, а Ермолаич, зевая и крестя рот, пропел: да, да, все всему глас подает, и слушает дуброва, как вода говорит: «побежим, побежим», а бережки шепотят: «постоим, постоим», а травка зовет: «пошатаемся». Но с этим рассказчик быстро встал, и за ним торопливо вскочили другие. Великое тайнодействие на поляне совершалось: красная сосна, врезаясь в черную липу, пилила пилой, в воздухе сильно пахло

горячим деревом и смолой и прозрачная синеватая светящаяся нитка мигала на одном месте в воздухе.

– Ну, ну, сынки-хватки, дочки-полизушки: наляжь! – крикнул, бросаясь к добычникам, Ермолаич.

Еще секунда, и огонь добыт; сынки-хватки, дымяся потом, еще сильней налегли; дочки-полизушки сунулись к дымящимся бревнам с пригоршнями сухих стружек и с оттопыренными губами, готовыми раздуть затлевшуюся искру в полымя, как вдруг натянутые безмерным усердием концы веревок лопнули; с этим вместе обе стены трущих огонь крестьян, оторвавшись, разом упали: расшатанное бревно взвизгнуло, размахнулось и многих больно зашибло.

Послышались тяжкие стоны, затем хохот, затем в разных местах адский шум, восклик, зов на помощь и снова стон ужасный, отчаянный; и все снова затихло, точно ничего не случилось, меж тем как произошло нечто замечательное: Михаила Андреевича Бодростина не стало в числе живых, и разрешить, кто положил его на месте, было не легче, чем разрешить спор о Кавеле и Кавеле.

Глава девятнадцатая
Коровья смерть

Ряд экипажей, выехавших с бодростинсккми гостями посмотреть на проказы русских Титаний и Оберона, подвергшись неоднократным остановкам от бабьих объездов, благополучно достиг Аленина Верха. Патрули напрасно останавливали и старались удержать господ, – их не слушали, и рослые господские кони, взмахнув хвостами, оставляли далеко позади себя заморенных крестьянских кляч и их татуированных всадниц. Сторожевым бабам не оставалось ничего иного, как только гнаться за господами, и они, нахлестывая своих клячонок, скакали, отчаянно крича и вопия о помощи.

Первыми на место огничанья примчались троечные дрожки, на которых ехали Бодростин, Горданов и Висленев. Михаил Андреевич чувствовал, что дело становится неладно, и велел кучеру остановиться на углу поляны, за густою купой деревьев. Здесь он хотел подождать отставших от него гостей, чтобы сказать им, что затею смотреть огничанье надо оставить и повернуть скорее другою дорогой назад. Но сзади по пятам гнались бабы: стук некованных копыт их коней уже был слышен близехонько. Они настигали, и как настигнут, может произойти невесть что. Где гости: впереди погони, или уже опережены, и погоня мчится только за Бодростиным? В этом, казалось, необходимо удостовериться. Опасность еще не представлялась особенно большою, но про всякий случай Бодростин, оставив дрожки на дороге, сам быстро спрыгнул и отошел с тростью в руке под нависшие ветви ели. За ним последовал Горданов. Висленев же остался на дрожках и, спустясь на подножье крыла, притаился, как будто его и не было.

– Где он?., где же этот наш бэбэ? – беспокоился о нем Бодростин. – Возьмите его, пожалуйста, Горданов, а то его какая-нибудь Авдоха толкнет по макушке, и он будет готов.

Горданов прыгнул к дрожкам, которые кучер из предосторожности отодвинул к опушке под ветви, но Жозефа на дрожках не было. Горданов позвал его. Жозеф не отзывался: он сидел на подножье крыла, спустя ноги на землю и, весь дрожа, держался за

бронзу козел и за спицы колес. В этом положении открыл его Горданов и, схватив за руку, повлек за собою.

– Не могу, – говорил Жозеф, но Горданов его тащил, и когда они были возле Бодростина, Жозеф вдруг кинулся к нему и залепетал:

– Михаил Андреевич, я боюсь!.. мне страшно!..

– Чего же, любезный, страшно?

– Не знаю, но право… так страшно.

– Чего? чего? – повторил Горданов. – Где твоя сигара?

– Сигара?.. да, у меня горит сигара. Бога ради возьмите, Михаил Андреич, мою сигару!

И Жозеф внезапно ткнул в руку Бодростина огнем сигары, которую за секунду пред этим всунул ему Горданов.

Бодростин громко вскрикнул от обжога; сигара полетела на землю, искры ее рассыпались в воздухе понизу, а в то же время поверху над всею группой замелькали цепы, точно длинные черные змеи. Раздался вой, бухнул во что-то тяжелый толкач и резко вырвался один раздирающий вскрик. Мимо пронеслась вереница экипажей и троечные дрожки, на которых ехал сюда Бодростин, неслись бог весть куда, по ямам и рытвинам, но на них теперь было не три, а два седока; назад скакали, стоя и держась за кучера, только Горданов и Висленев. Бодростлна уже не было.

Кучер, не могший во всю дорогу справиться с лошадьми, даже у подъезда барского дома не заметил, что барина нет между теми, кого он привез, и отсутствие Бодростина могло бы долго оставаться необъяснимым, если бы Жозеф, ворвавшись в дом, не впал в странный раж. Он метался по комнатам, то стонал, то шептал, то выкрикивал:

– Глафира! Глафира! Где вы? Я вас освободил!

Неудержимо несясь с этими кликами безумного из комнаты в комнату, он стремительно обежал все пункты, где надеялся найти Глафиру Васильевну, и унять его не было никакой возможности. Горданов сам был смущен и потерян. Он не ожидал такой выходки, пытался было поймать Жозефа и схватить его за руку, но тот отчаянно вырвался и, бросаясь вперед с удвоенною быстротой, кричал:

– Нет-с; нет-с; извините, это я, а не вы-с… а не вы!

Горданов сообразил, что ему надо бросить попытку остановить это сумасшествие, и Жозеф, переполошив весь дом, ворвался, как мы видели, в комнату Лары.

Глафира слышала этот переполох и искала от него спасения. Она была встревожена еще и другою случайностью. Когда, отпустив гостей, она ушла к себе в будуар, где, под предлогом перемены туалета, хотела наедине переждать тревожные минуты, в двери к ней кто-то слегка стукнул, и когда Глафира откликнулась и оглянулась, пред нею стоял монах.

У Глафиры мороз пробежал по коже. Откуда мог взяться этот странный пришлец? Кто мог впустить и проводить его через целые ряды комнат?

– Что вам нужно? – спросила его, быстро двинувшись с места, Бодростина.

Монах улыбался и шатался как пьяный.

– Зачем вы пришли сюда? – повторила Глафира.

– Помолить о душе, – проговорил, заикаясь и при этом ужасно кривляя лицом, монах.

– О какой душе? прошу вас выйти! Идите в контору.

– Проводите.

Глафира бросилась к звонку: ей показалось, что это не монах, а убийца… но когда она, дернув звонок, оглянулась, монаха уже не было, и ее поразила новая мысль, что это было видение.

Глафира кинулась узнать, каким образом мог появиться этот монах и куда он вышел, как вдруг ей против воли вспомнился Водопьянов и ей показалось, что это был именно он. Она бежала не помня себя и очувствовалась, когда метавшийся впотьмах Жозеф был освещен вбежавшими вслед за ним людьми с лампами и свечами.

При виде растрепанной фигуры, взволнованного и перепачканного кровью лица и обезумевших глаз Жозефа, который глядел, ничего не видя, и стремился к самому лицу Глафиры, хватая ее окровавленными руками и отпихивая ногой Горданова, Глафира затрепетала и, сторонясь, крикнула: «прочь!»

– Это не он, не он, а я. Я все кончил, – лепетал Висленев.

Глафира, теряя силы, едва могла с ужасом и омерзением отпихнуть его и бросилась за Синтянину, меж тем как Горданов, отбросив Жозефа, закричал:

– Ты с ума сошел, бешеная тварь!

Но в это же самое мгновение за плечами Горданова грянул выстрел, и пуля влипла в стену над головой Павла Николаевича, а

Жозеф, колеблясь на ногах, держал в другой руке дымящийся пистолет и шептал:

– Нет; полно меня отбрасывать! Обещанное ждется-с!

Все это было делом одного мгновения, и ни Горданов, ни дамы, ни слуги не могли понять причины выстрела и в более безмолвном удивлении, чем в страхе, смотрели на Жозефа, который, водя вокруг глазами, тянулся к Глафире.

– Боже мой, чего ему от меня нужно? – произнесла она, стараясь укрыться за Гордановым.

Но это ей не удалось, и серьезно помешавшийся Висленев тянулся к ней и лепетал:

– Обещанное ждется-с, обещанное ждется! Я сделал все… все честно сделал и требую расплаты!

Горданов пришел, наконец, в себя, бросился на Висленева, обезоружил его одним ударом по руке, а другим сшиб с ног и, придавив к полу, велел людям держать его. Лакеи схватили Висленева, который и не сопротивлялся: он только тяжело дышал и, водя вокруг глазами, попросил пить. Ему подали воды, он жадно начал глотать ее, и вдруг, бросив на пол стакан, отвернулся, поманил к себе рукой Синтянину и, закрыв лицо полосой ее платья, зарыдал отчаянно и громко:

– Боже мой, боже мой, что я наделал! – Люди! Все, кто здесь есть, бегите!., туда… в Аленин Верх… там Михаил Андреевич… может быть он еще жив!

При этих словах все поднялось, взмешалось, и кто бежал к двери, кто бросался к окнам; а в окна чрез двойные рамы врывался сплошной гул, и во тьме, окружающей дом, плыло большое огненное пятно, от которого то в ту, то в другую сторону отделялись светлые точки. Невозможно было понять, что это такое. Но вот все это приближается и становится кучей народа с фонарями и пылающими головнями и сучьями в руках.

Это двигались огничане Аленина Верха: они, наконец, добыли огня, сожгли на нем чучелу Мары; набрали в чугунки и корчажки зажженных лучин и тронулись было опахивать землю, но не успели завести борозды, как под ноги баб попалось мертвое и уже окоченевшее тело Михаила Андреевича. Эта находка поразила крестьян неописанным ужасом; опахиванье было забыто и

перепуганные мужики с полунагими бабами в недоумении и страхе потащили на господский двор убитого барина.

Кортеж был необычайный!

Полуобнаженные женщины в длинных рубахах, с расстегнутыми воротниками и лицами, размазанными мелом, кирпичом и сажей; густой желто-сизый дым пылающих головней и красных угольев, светящих из чугунков и корчажек, с которыми огромная толпа мужиков ворвалась в дом, и среди этого дыма коровий череп на шесте, неизвестно для чего сюда попавший, и тощая вдова в саване и с глазами без век; а на земле труп с распростертыми окоченевшими руками, и тут же суетящиеся и не знающие, что делать, гости. Все это составляло фантастическую картину немого и холодного ужаса. Здесь не было ни слез, ни воплей, ни укоризн и вздохов, а один столбняк над трупом… И над *каким* трупом! Над трупом человека, который час тому назад был здоров и теперь лежал обезображенный, испачканный, окоченевший, с растопыренными, вперед вытянутыми руками. Руки мертвеца окостенели обе в напряженном положении; точно он на кого-то указывал, или к кому-то взывал о защите и отмщении, или от кого-то отпихивался. К довершению картины труп имел правый глаз остолбенелый, с открытыми веками, а левый – прищуренный, точно подсматривающий и подкарауливающий; язык был прикушен, темя головы совершенно плоско: оно раздроблено, и с него, из-под седых, сукровицей, мозгом и грязью смоченных волос, на самые глаза надулся багровый кровяной подтек. Ко всему этому, для полноты впечатления, надлежит еще прибавить бедного Висленева, который, приседая, повисал на руках схвативших его лакеев; так появился он на пороге и, водя вокруг безумными глазами, беззвучно шептал: «обещанное ждется-с; да, обещанное ждется».

Первая пришла в себя Глафира: она сделала над собой усилие и со строгим лицом не плаксивой, но глубокой скорби прошла чрез толпу, остановилась над самым трупом мужа и, закрыв на минуту глаза рукой, бросилась на грудь мертвеца и… в ту же минуту в замешательстве отскочила и попятилась, не сводя взора с раскачавшихся рук мертвеца.

– Вы неосторожно его тронули, – проговорил ей на ухо малознакомый голос человека, к которому она в испуге прислонилась.

Она взглянула и увидала золотые очки Ворошилова.

– Вы испугались? – продолжал он шепотом.

– Нимало, – отвечала она громко, и сейчас же, оборотясь к Горданову, сказала повелительным тоном: – Займитесь, пожалуйста, всем… сделайте все, что надо… мне не до того.

И с этим она повернулась и ушла во внутренние покои.

Сцена оживилась: столпившихся крестьян погнали вон; гости, кто как мог, отыскали своих лошадей и уехали; труп Бодростина пока прикрыли скатертью, Горданов между тем не дремал: в город уже было послано известие о крестьянском возмущении, жертвой которого пал бесчеловечно убитый Бодростин. Чтобы подавить возмущение, требовалось войско.

Глава двадцатая
Нежить мечется

К смерти, как и ко всему на свете, можно относиться различно: так создан свет, что где хоть два есть человека, есть и два взгляда на предмет. В те самые минуты, когда приговоренный Нероном к смерти эпикуреец Люций шутит, разделяющий судьбу его стоик Сенека говорит: «В час смерти шутки неприличны, смерть – шаг великий, и есть смысл в Платоновском ученьи, что смерть есть миг перерожденья», но оба они умирают со своими взглядами на смерть, и нет свидетельств, кто из них более прав был в своих воззрениях. Тем не менее, «небытие ль нас ждет» или «миг перерожденья», смерть – шаг слишком серьезный, и мертвец, лежащий пред нашими глазами, всегда производит впечатление тяжелого свойства. Но и в этом случае человек, видимо, платит дань внешним условиям и относится к значению лежащего пред ним «вещественного доказательства» его земной временности, под влиянием обстановки и обстоятельств. Нагой труп, препарированный на столе анатомического театра, или труп, ожидающий судебно-медицинского вскрытия в сарае съезжего полицейского дома, и труп, положенный во гробе, покрытый парчой, окажденный ладаном и освещенный мерцанием погребальных свеч, – это все трупы, все останки существа, бывшего человеком, те же «кожаные ризы», покинутые на тлен и разрушение, но чувства, ощущаемые людьми при виде этих совершенно однокачественных и однозначащих предметов, и впечатления, ими производимые, далеко не одинаковы. *Труп* безгласен, *покойник* многовнушителен. Не только ученый анатом, проводящий всю жизнь в работе над трупами в интересах науки, но даже огрубелый палач не сохраняет полного равнодушия при виде трупа, положенного во гробе и обставленного всем, чем крепка христианская могила. Впечатление это еще более усиливается, когда снаряженный к погребению труп вчера еще был человек, нами близко знаемый, вчера живой, нынче безгласный, с изменившимся, обезображенным ликом, каков был теперь Бодростин.

Суета, сменившаяся мертвою тишиной, как только Михаила Андреевича положили на стол в большой зале, теперь заменялась

страхом, смешанным с недоверием к совершившемуся факту. Люди ощущали тягость присутствия мертвеца и в то же время не доверяли, что он умер. Он еще так недавно жил и действовал, что в умах никак не укладывалась мысль, что его уже нет. Притом же необыкновенная смерть его вела за собой и необычные порядки: мертвеца положили на стол, покрыли его взятым из церкви покровом и словно позабыли о нем. Не было заботы, чтоб окружить его тою обстановкой, на какую он имел право по своему положению и богатству. Гости разбежались восвояси; вдова заключилась в свои апартаменты; управитель Горданов, позабыв о своем нездоровье, распоряжался окружить дом и усадьбу утроенным караулом и слал гонца за гонцом в город, настаивая на скорейшей присылке войск, для подавления крестьянского бунта; Ларису почти без чувств увезла к себе Синтянина; слуги, смятенные, бродили, наступая друг другу на ноги, и толкались, пока наконец устали и, не чуя под собою ног, начали зевать и сели… А о покойнике все-таки опять никто не позаботился: местный церковный причт было толкнулся, но сейчас же отчалил и бог не был еще благословен над умершим. Впрочем, три церковные подсвечника без свечей, поставленные дьячком в углу зала, показывали, что церковь помнит свое дело, но не смеет приступить к нему без разрешения начальства и власти. Одно, на что посягнули вокруг трупа, – было чтение псалтиря. К этому тоже никто никого не приглашал, но за это без зова взялся старый дворовый, восьмидесятилетний Сид, знавший покойного еще молодым человеком. Старый раб, услыхав о событии, проник сюда с книгой, которая была старше его самого, и, прилепив к медной пряжке черного переплета грошовую желтую свечку, стал у мраморного подоконника и зашамшал беззубым ртом: «Блажен муж иже не иде на совет нечестивых».

Поздний совет этот раздался в храмине упокоения Бодростина уже о самой полуночи. Зала была почти совсем темна: ее едва освещала грошовая свечка чтеца, да одна позабытая и едва мерцавшая вдалеке лампа. При такой обстановке одна из дверей большого покоя приотворилась и в нее тихо вошел Ворошилов.

Чтец оглянул исподлобья вошедшего и продолжал шуршить своими беззубыми челюстями.

Ворошилов, приблизясь к столу, на котором лежал покойник, остановился в ногах, потом обошел вокруг и опять встал. Чтец все

продолжал свое чтение.

Прошло около четверти часа: Ворошилов стоял и внимательно глядел на мертвеца, словно изучал его или что-то над ним раздумывал и соображал, и наконец, оглянувшись на чтеца, увидал, что и тот на него смотрит и читает наизусть, по памяти. Глаза их встретились. Ворошилов тотчас же опустил на лицо убитого покров и, подойдя к чтецу, открыл табакерку. Сид, не прерывая чтения, поклонился и помотал отрицательно головой.

– Не нюхаете? – спросил его Ворошилов.

– Нет, не нюхаю, – ввел чтец в текст своего чтения и продолжал далее.

Ворошилов постоял, понюхал табаку и со вздохом проговорил:

– А? Каков грех-то? Кто это мог ожидать?

Чтец остановился и, поглядев чрез очки, отвечал:

– Отчего же не ожидать? Это ему давно за меня приназначено.

– За вас? что такое: разве покойник…

Но Сид перебил его.

– Ничего больше, – сказал он, – как это он свое получил: как жил, так и умер, собаке – собачья и смерть.

Ворошилов внимательно воззрился на своего собеседника и спросил его, давно ли он знал покойника?

– Давно ли я знал его? А кто же его давнее меня знал? На моих руках вырос. Я его в купели целовал и в гробу завтра поцелую: я дядькой его был, и его, и брата его Тимофея Андреевича пестовал: такой же неблагодарный был, как и этот.

– Это вы про сумасшедшего?

– Нет, тот был Иван Андреевич, и тот был аспид, да они, так сказать, и все были злым духом обуяны.

– Вы не любили их?

Чтец, помолчав, поплевал на пальцы и, сощипнув нагар со своей свечки, нехотя ответил:

– Не любил, что такое значит не любить? Когда мое время было любить или не любить, я тогда, милостивый государь, крепостной раб был, а что крови моей они все вволю попили, так это верно. Я много обид снес.

– Который же вас обижал, тот или этот?

– И тот, и этот. Этот еще злее того был.

– Ну вот потому, значит, вы его и недолюбливаете?

Чтец опять подумал и, кивнув головой на мертвеца, проговорил:

– Что его теперь недолюбливать, когда он как колода валяется; а я ему всегда говорил: «Я тебя переживу», вот и пережил. Он еще на той неделе со мной встретился, аж зубами заскрипел: «Чтоб тебе, говорит, старому черту, провалиться», а я ему говорю: то-то, мол, и есть, что земля-то твоя, да тебя, изверга, не слушается и меня не принимает.

– Вы так ему и говорили?

– Как? – переспросил с недоумением чтец. – А то как бы я еще с ним говорил?

– То есть этими самыми словами?

– Да, этими самыми словами.

– Так извергом его и называли?

– Так извергом и называл. А то как еще его было называть? Он говорит: «когда ты, старый шакал, издохнешь?», а я отвечаю: тебя переживу и издохну. А то что же ему спущать что ли стану? Ни в жизнь никогда не спускал, – и старик погрозил мертвецу пальцем и добавил: – и теперь не надейся, я верный раб и верен пребуду и теперь тебе не спущу: говорил я тебе, что «переживу», и пережил, и теперь предстанем пред Судию и посудимся.

И беззубый рот старика широко раскрылся и потухшие глаза его оживились.

– Да! – взывал он, – да! Пережил я тебя и теперь скоро позову тебя на суд.

Ворошилов с удивлением глядел на этого «верного раба» и тихо ему заметил, что так не идет говорить о покойнике, да еще над его телом.

– А что мне его тело! – резко ответил старик, и с этим отбросил от себя на подоконник книгу, оторвал от нее прилепленную свечонку и, выступив с нею ближе к трупу, заговорил. – А известно ли кому, что это не его тело, а мое? Да, да! Кто мне смеет сказать, что это его тело? Когда он двенадцати лет тонул: кто его вытащил? Я! Кто его устыжал, когда он в бога не верил? Я! Кто ему говорил, что он собачьей смертью издохнет? Я! Кто его в войне из чужих мертвых тел на спине унес? Я! Я, все я, верный раб Сидор Тимофеев, я его из могилы унес, моим дыханьем отдышал! – закричал старик, начав колотить себя в грудь, и вдруг подскочил к самому столу, на котором лежал обезображенный

мертвец, присел на корточки и зашамкал: – Я ради тебя имя крестное потерял, а ты как Сидора Тимофеева злым псом называл; как ты по сусалам бил; как ты его за дерзость на цепь сажал? За что, за правду! За то, что я верный раб, я крепостной слуга, не наемщик скаредный, не за деньги тебе служил, а за побои, потому что я правду говорил, и говорил я тебе, что я тебя переживу, и я тебя пережил, пережил, и я на суд с тобой стану, и ты мне поклонишься и скажешь: «прости меня, Сид», и я тебя тогда прощу, потому что я верный раб, а не наемщик, а теперь ты лежи, когда тебя бог убил, лежи и слушай.

И с этим оригинальный обличитель бросился к своей книге, перекрестился и быстро забормотал: «Услыши, Господи, правду мою и не вниди в суд с рабом Твоим».

Ворошилов с недоумением оглянулся вокруг и вздрогнул: сзади, за самыми его плечами, стоял и, безобразно раскрыв широкий рот, улыбался молодой лакей с масляным глупым лицом и беспечно веселым взглядом. Заметив, что Ворошилов на него смотрит, лакей щелкнул во рту языком, облизнулся и, проведя рукой по губам, молвил:

– Сид Тимофеич всех удивляет-с, – с этим он кивнул головой на чтеца и опять застыл с своею глупою улыбкой.

Ворошилова вдруг ни с того, ни с сего стало подирать по коже: пред ним был мертвец и безумие; все это давало повод заглядывать в обыкновенно сокрытую глубину человеческой натуры; ему показалось, что он в каком-то страшном мире, и человеческое слово стоявшего за ним лакея необыкновенно его обрадовало.

– Что вы сказали? – переспросил он, чтобы затеять разговор.

– Я докладывал насчет Сида Тимофеича, – повторил лакей.

– Кто такой этот Сид? – прошептал Ворошилов, отведя в сторону лакея.

– Старый дворовый, дядькой их был, потом камердинером; только впоследствии он, Сид Тимофеич, уже очень стар стал и оставлен ни при чем.

– Он сумасшедший, что ли? – прошептал Ворошилов.

– Кто его знает: он со всеми добродетельный старичок, а с барином завсегда воинствовал, – отвечал вместо глупого лакея другой, старший этого летами, вышедший сюда нетвердыми шагами и с сильным запахом водки. – У нас все так полагают, что Сид Тимофеич на барина слово знал, потому всегда он мог произвесть покойника в

большой гнев, а сколь он ему бывало одначе ни грубит, но тот его совсем удалить не мог. Бил его в старину и наказывал да на цепь в кабинете сажал, а удалить не мог. Даже когда Сид Тимофеич барыню обругал и служить ей не захотел, покойник его только из комнат выслал, а совсем отправить не могли. Сид Тимофеич и тут стал на пороге: «Не пойду, говорит: я тебя, Ирода, переживу и твоей Иродиады казнь увижу». Это все на барыню, – добавил пьяный лакей, кивнув головой на внутренние покои.

Ворошилов любопытно вопросил, любил или не любил Сид Глафиру Васильевну, и, получив в ответ, что он ее ненавидел, отвлек рассказчика за руку в соседнюю темную гостиную и заставил рассказать, что это за лицо Сид и за что он пользовался таким особенным положением. Подвыпивший лакей словоохотливо рассказал, что Сид действительно был ранним пестуном Михаила Андреевича и его братьев. Смотрел он за ними еще в ту пору, когда они хорошо говорить не могли и вместо Сидор выговаривали Сид: вот отчего его так все звать стали, и он попрекал покойника, что ради его потерял даже свое крестное имя. Далее повествовал рассказчик, как однажды барчуки ехали домой из пансиона и было утонули вместе с паромом, но Сид вынес вплавь на себе обоих барчуков, из которых один сошел от испуга с ума, а Михаил Андреевич вырос, и Сид был при нем. Тогда он был в университете, а потом пошел с ним на какую-то войну, и тут-то Сид оказал барину великую заслугу, после которой они рассорились и не помирились до сих пор. Из слов рассказчика можно было понять, что дело было где-то на Литве. Войска стояли лагерем в открытом поле; в близлежащий городишко, полный предательской шляхты, строго-настрого запрещено было ходить и офицерам, и солдатам. А там, в городе, были красивые панны с ласковыми глазами и соболиною бровью, и был там жид Ицек, который говорил, что «пани аж ай как страшно в офицеров влюблены». А офицерам скучно, неодолимо скучно под тесными палатками; дождь моросит, ветер трясет веревки, поколыхивает полотно, а там-то… куда Ицко зовет, тепло, светло, шампанское льется и сарматская бровь зажигает кровь. Манится, нестерпимо манится, и вот два офицера навертели чучел из платья, уложили их вместо себя на кровати, а сами, пользуясь темнотой ночи, крадутся к цепи. Все благополучно: ночь – зги не видно, а вон мелькнул и огонек, это в Ицкиной хате на краю

города. Ицко чаровник умеет и одну дичь подманить, и другую выманить, и молодые люди от нетерпения стали приподниматься от земли, вровень с которой ползли. Вот и окоп, и знакомая кочка, но вдруг грянуло: «кто идет?» Сейчас потребуется пароль, у них его нет, часовой выстрелит и пойдет потеха, хуже которой ничего невозможно выдумать. Беда неминучая, ждать некогда: молодые люди бросились на часового и сбили его с ног, но тот, падая, выстрелил; поднялась тревога, и ночные путешественники были пойманы, суждены и лишь по особому милосердию только разжалованы в солдаты. Из числа этих молодых людей один был Михаил Андреевич Бодростин. Сид грыз и точил молодого барина в эти тяжелые минуты и вывел его из терпения так, что тот его ударил. «Бей, – сказал Сид, – бей, если твоя рука поднялась на того, кто твою жизнь спас. За это тебя самого бог, как собаку, убьет». И злил он снова барина, что тот впал в ожесточение и бил, и бил его так, пока их разняли. А тут вдруг тревога, наступил неприятель, и Бодростин в отчаянии кинулся в схватку и не было о нем слуха. Неприятель побежал, наши ударились в погоню, Бодростина нет нигде. Сид пошел по всему полю и каждое солдатское тело к светлому месяцу лицом начал переворачивать… Иные еще мягки, другие закоченели, у иных даже как будто сердце бьется, но все это не тот, кто Сиду надобен… Но вот схватил он за складки еще одну серую шинель, повернув ее лицом к месяцу, припал ухом к груди и, вскинув мертвеца на спину, побежал с ним, куда считал безопаснее; но откуда ни возьмись повернул на оставленное поле новый вражий отряд, и наскочили на Сида уланы и замахнулись на его ношу, но он вдруг ужом вывернулся и принял на себя удар; упал с ног, а придя в себя, истекая кровью, опять понес барина. И оба они выздоровели, и началась с тех пор между ними новая распря: Бодросткн, которого опять произвели за храбрость в офицеры, давал Сиду и отпускную, и деньги, и землю, но Сид Тимофеевич все это с гордостию отверг.

– Ишь ты, подлое твое дворянское отродье, – откупиться лучше хочешь, чтобы благодарным не быть, – отвечал он, разрывая отпускную и дарственную.

– Чего же ты хочешь? – добивался Бодростин.

– А того хочу, чего у тебя на самом дорогом месте в душе нет: дай мне, чтоб я тебя не самым негодным человеком считал.

Итак шли годы, а у этого барина с этим слугой все шли одинакие отношения: Сид Тимофеич господствовал над господином и с сладострастием поносил и ругал его при всякой встрече и красовался язвами и ранами, если успевал их добиться из рук преследуемого им Бодростина. Тот его боялся и избегал, а этот его выслеживал и преследовал, и раздражал с особенным талантом.

– Слушай, – говорил он вдруг, выскакивая к Бодростину из-за стога сена на лугу, пред всем народом, – слушай, добрая душа: сошли старого дядьку на поселение! Право, сошли, а то тебе здесь при мне неспокойно.

– И сошлю, – отвечал Бодростин.

– Врешь, не сошлешь, а жаль: я бы там твоей матери, брату поклонился. Жив чай он – земля не скоро примет. А хорош человек был – живых в землю закапывал.

Бодростин то переносил эту докуку, то вдруг она становилась ему несносна, и он, смяв свою смущающуюся совесть, брал Сида в дом, сажал его на цепь, укрепленную в стене его кабинета, и они ругались до того, что Михаил Андреевич в бешенстве швырял в старика чем попало, и нередко, к крайнему для того удовольствию, зашибал его больно, и раз чуть вовсе не убил тяжелою бронзовою статуэткой, но сослать Сида в Сибирь у него не хватало духа. Выгнать же Сида из села было невозможно, потому что, выгнанный с одной стороны, он сейчас же заходил с другой.

Дождавшись события девятнадцатого февраля, Сид Тимофеевич перекрестился и, явясь с другими людьми благодарить барина, сказал:

– Ну, хоть задом-то тебя благодарю, что не все зубы повыбивал. Конечно, ваше царство: пережил я его и тебя переживу!

Для чего так необходимо нужно было Сиду пережить барина, это оставалось всегдашнею его тайной; но слово это постоянно вертелось на его устах и было употребляемо другими людьми вместо приветствия Сиду.

– Переживешь, Сид Тимофеич! – кричал ему встречный знакомец.

– Переживу, – отвечал, раскланиваясь, Сид, и знакомцы расходились.

С тех пор как Бодростин, после одной поездки в Петербург, привез оттуда жену, Глафиру Васильевну, Сид стал прибавлять:

«Переживу; со Иезавелью-Иродиадой переживу, и увижу, как псы ее кровь полижут».

Глафира сделалась новым предметом для злобы Сида, но древние года его уже не дозволяли ему ее ревностно преследовать, и он редко ее мог видеть и крикнуть ей свое «переживу». Он доживал век полупомешанным, и в этом состоянии сегодня посетила его, в его темном углу, весть об убиении Бодростина.

Сид перекрестился, стал с трудом на ноги и пришел в дом помолиться по псалтирю за душу покойника: вход Сиду был невозбранен, – никому и в голову не приходило, чтобы можно было отлучить его от барина.

Ворошилов встал и, остановясь за притолкой в той же темной гостиной, начал наблюдать этого оригинала: Сид читал, и в лице его не было ни малейшей свирепости, ни злости. Напротив, это именно был «верный раб», которого можно бы над большим поставить и позвать его войти во всякую радость господина своего. Он теперь читал громче чем прежде, молился усердно и казалось, что ничего не слыхал и не видал.

Свеча чуть мерцала и зал был почти темен; лакеи ушли, но у дверей показалась маленькая фигура Ермолаича. Он стал, подперся и стоял, словно чего-то ждал, или что-то соображал.

Ворошилов выдвинулся из-за притолки и кивнул рукой; Ермолаич заметил это и тотчас же, как железо к магниту, подскочил к Ворошилову, и они зашептались, и вдруг Ермолаич дернул Ворошилова за рукав, и оба глубже спрятались за портьеру: в зал вошел Горданов.

– Заметь, перевязи нет, – шепнул Ворошилов, но Ермолаич только отвечал пожатием руки.

Горданов был, действительно, без перевязи и с потаенным фонариком в руке.

Войдя в зал, он прежде всего выслал вон Сида, и когда строптивый старик ему, к удивлению, беспрекословно подчинился, он, оставшись один, подошел к трупу, приподнял покрывавшую его скатерть и, осветив ярким лучом фонарного рефлектора мертвое, обезображенное лицо, стал проворно искать чего-то под левым боком. Он несколько раз с усилием тянул за окоченевшую руку мертвеца, но рука была тверда и не поддавалась усилиям одной руки Горданова.

Тогда он поставил фонарик на грудь трупа и принялся работать обеими руками, но фонарик его вдруг полетел, дребезжа, на пол, а сам он вскрикнул и, отскочив назад, повалил незажженные церковные подсвечники, которые покатились с шумом и грохотом.

На эту сумятицу из передней выбежала толпа пребывавших в праздности лакеев и робко остановилась вдали трупа, по другой бок которого наклонялся, чтобы поднять подсвечники, сильно смущенный Горданов, зажимая в руке скомканный белый носовой платок, сквозь который сильно проступала алая кровь.

Что б это могло значить?

– Взметался нйжить… чего мечешься? – заговорил вдруг, входя, Сид Тимофеич и, подойдя к покойнику с правой стороны, он покрыл его лицо, потом хотел было поправить руку, но, заметив замерзший в ней пучок сухой травы, начал ее выдергивать, говоря: «Подай! тебе говорю, подай, а то ругать стану». С этим он начал выколупывать пальцем траву, и вдруг громко рассмеялся.

Все присутствовавшие попятились назад, а Сид Тимофеич манил к себе и звал:

– Подите-ка, идите, поглядите, как он уцепился за мой палец! Видите, видите, как держит! – повторял Сид, поднимая вверх палец, за который держалась окоченелая мертвая рука. – Ага! что! – шамшал Сид. – Каков он, каков? Он вам покажет! Он вам еще покажет!

– Вывести вон этого сумасшедшего! – сказал Горданов, и двое слуг схватили и потащили старика, который все оборачивался и кричал:

– Ничего, ничего! Он недаром взметался: он вам покажет!

Глава двадцать первая
Ночь после бала

Меж тем как все это происходило, в залу вошел Ропшин. Он остановился в дверях и, пропустив мимо себя людей, выводивших Сида, окинул всех одним взглядом и сказал твердым голосом Горданову:

– Господа! я прошу всех вас отсюда удалиться.

– Это что такое? – спросил Горданов.

– Это такой порядок: необыкновенная смерть требует особенного внимания к трупу, и пока приедут власти, я никого сюда не пущу.

– Вы?

– Да, я. Я остаюсь один из тех, кому верил покойник и кому верит его вдова. Господа, я повторяю мою просьбу удалиться из залы.

– Что это за тон?

– Теперь, господин Горданов, не до тонов. Все вышли, уходите и вы, или…

– Или что? – спросил, сверкнув глазом, Горданов.

– Тише; здесь ведь не лес, а я – не он.

Горданов побледнел.

– Что это, глупость или намек? – спросил он запальчиво.

– Намек, а впрочем, как вам угодно, но я сейчас запираю зал, и если вы хотите здесь остаться, то я, пожалуй, запру вас.

– Тьфу, черт возьми! Да чьею волей и каким правом вы так распоряжаетесь?

– Волей вдовы, господин Горданов, ее же правом. Но дело кончено: я вас сейчас запираю. Вы, может быть, что-нибудь здесь позабыли? это вам завтра возвратят.

И Ропшин пошел к двери.

– Подождите! – крикнул, торопливо выскакивая за ним, Горданов, и когда Ропшин замкнул дверь, он добавил, – я сейчас пройду к Глафире Васильевне?

– К Глафире Васильевне? Нет, вы не трудитесь: это будет напрасно.

– Что-о?

– Я вам сказал что.

– Посмотрим.

Горданов тронулся вперед, но Ропшин его остановил.

– Вернитесь, господин Горданов, вы будете напрасно трудиться: ее дверь заперта для вас.

– Вы лжете!

– Смотрите. Она поручила мне беречь ее покой.

С этим Ропшин показал знакомый Горданову ключ и снова быстро спрятал его в карман. Павел Николаевич побледнел.

– Почему Глафира Васильевна не хочет меня видеть? – спросил он.

Ропшип улыбнулся и, пожав плечами, прошептал:

– Ей кажется… что на вас кровь, и я думаю то же самое, – и с этим Ропшин юркнул за дверь и ушел по лестнице на женскую половину.

Горданов ушел к себе и сейчас же велел подать себе лошадей, чтобы ехать в город с целью послать корреспонденцию в Петербург и переговорить с властями о бунте.

В ожидании лошадей, он хотел приготовить письма; но, взглянув на ладонь своей левой руки, покраснел и, досадуя, топнул ногой. У него на ладони был очень незначительный маленький укол, но платок, которым он старался зажать этот укол, был окровавлен, и это-то дало Ропшину право сказать, что на нем кровь.

– Черт знает что такое! Преступление сделано, и сейчас уже идут и глупости, и ошибки. И какие еще ошибки? Там я позабыл нож, которым оцарапал руку… И этот укол может быть трупный. Тьфу, сто дьяволов!.. И лаписа нет, и прижечь нечем… Скорей в город!

И он уехал.

Меж тем Ворошилов и Ермолаич, выйдя задним ходом, обошли дом и стали в сенях конторы, куда посажен был Висленев. Он сидел в кресле, понурив голову, в каком-то полусне, и все что-то бормотал и вздрагивал.

Ворошилов и Ермолаич вошли в контору и стали возле него.

Висленев поднял голову, повел вокруг глазами и простонал:

– Подлец, подлец, Горданов!..

– Это он его убил?

– Он меня погубил, погубил; но я буду все говорить, я буду все, все говорить; я всю правду открою… Я… ничего не скрою.

– Да, да, будьте честны: говорите правду.

– Я все, все скажу, если меня помилуют.

– Вас помилуют.

– Хорошо. Я все скажу; но только одно… пожалуйста, пусть меня скорей отвезут в острог, а то он меня отравит, как отравил Кюлевейна.

Ворошилов дернул за руку товарища, и они вышли.

Ропшин, взойдя на женскую половину верха, вынул ключ и тихо повернул его в двери коридора, ведшего к спальне Глафиры. Вдова лежала на диване и щипала какую-то бумажку.

При входе Ропшина она проворно встала и сказала:

– Послушайте… вы что же?..

Но Ропшин тихо остановил ее на первом же слове.

– Тсс!.. – сказал он, подняв таинственно руку, – теперь вам надо меня слушать. Вы, конечно, хотите знать, по какому праву я поступил с вами так грубо и насильно удержал вас в вашей комнате? Это было необходимо: я имел на это право, и я один могу вас спасти. Прошу вас помнить, что у меня в кармане есть вчера только что подписанное духовное завещание вашего мужа, которым он все свое состояние отказал вам. Долг честного человека повелевает мне не скрыть этого документа, вверенного моему смотрению, а между тем этот документ не только скомпрометирует вас, но… вы понимаете?

– Да, я вас понимаю.

– Это совсем не трудно. Новое завещание прямо говорит, что им отменяется распоряжение, предоставлявшее имение другим родственникам, между тем как вы сами знаете, что в хранимом завещании совсем не то…

– Да скорее, скорее: какая ваша цена за ваш долг честного человека?

– Боже меня спаси! Никакой цены; но что не может быть ценимо на деньги, то подчиняется иным условиям…

– Послушайте, Ропшин: моих сил нет выносить вас, и вы можете довести меня до того, что я предпочту Сибирь уничижению!

– Я согласен скрыть это завещание и всеми мерами хлопотать об утверждении за вами того, которое хранится в Москве…

– Ну-с, и что же, что же вам надо за это?

– Я вам ручаюсь, что все будет сделано скоро и благополучно, и…

– Ну и что же, что вам за это? – вскричала, топая ногой и совсем выходя из себя, Глафира.

– Ничего нового, – отвечал тихо Ропшин, и девственно поникая головой, еще тише добавил, – ровно ничего нового… но только… я бы хотел, чтоб это далее было согласно с законом и совестью.

Глафира сначала не сразу поняла эти слова, а потом, несмотря на свою несмутимость, покраснела. Она презирала в эти минуты Ропшина, как никого другого в жизни. Он был противен ей по воспоминаниям в прошедшем, по ощущениям в настоящем и по предчувствиям в будущем. Несмотря на то, что теперь не было времени для размышлений философского свойства, Глафире вдруг припомнились все люди, на которых она в помыслах своих глядела, как на мужчин, и она не могла представить себе ничего презреннее этого белобрысого Ропшина… Висленев и тот являлся в сравнении с ним чуть не гением совершенства; в бедном Жозефе все-таки была непосредственная доброта, незлобие, детство и забавность. И между тем Глафира поздно заметила, что он, этот Ропшин, именно неодолим: это сознание низошло к ней, когда надо смириться под рукой этого ничтожества.

– Ропшин! – воскликнула она, – смысл вашей гнусной речи тот, что вы хотели бы на мне жениться?

– Да.

– Вы безумный!

– Не знаю почему.

– Почему? вы презренное, гадкое насекомое.

– Но я один, – отвечал, пожав плечами, Ропшин, – одно это насекомое может вас спасти. Оглянитесь вокруг себя, – заговорил он, делая шаг ближе, – что повсюду наделано: Висленев во всем признается; он скажет, что вы и Горданов научили его убить вашего мужа.

– Этому нет доказательств!

– Как знать? завещание подписано вчера, и сегодня убийство… Низость всеобщая вокруг, недоверие и шпионство; забегательство вперед одного пред другим во очищение себя. Горданов доносит, вы доносите, Висленев доносит, Лариса доносит… наконец, я тоже писал,

потому что я должен был писать, зная затевающееся преступление, и… все это в разные руки, и теперь все это вдруг сбылось.

– Что же, что сбылось: все говорят, что бунтов должно ждать. Его убили крестьяне.

– Да-с; это прекрасно, что бунтов должно ждать, но тогда надо их поискуснее делать: надо было так делать, чтобы действительно крестьяне убили.

– Да это так и сделано.

– Нет-с, не так.

Глафира оправилась и добавила:

– Полно вам меня пугать, господин Ропшин, дело идет о крестьянском бунте, и я здесь сторона.

– А если нет? А если на теле есть…

– Что может быть на теле?

– Трехгранная рана испанского стилета.

Глафира пошатнулась.

– Ваш хлыст? – спросил шепотом Ропшин.

– Его нет у меня.

– Он у Горданова. Благодарите Бога, что я не дал вам видеться с ним: вы будете свободны от одного подозрения, но на этом не конец; чтоб опровергнуть общее мнение, что вы хотите выйти замуж за Горданова, я хочу на вас жениться.

Глафира окинула его удивленным взглядом и сделала шаг назад.

– Да, – повторил Ропшин, – я хочу на вас жениться, и это единственное условие, под которым я могу скрыть завещание, доверенное мне убитым, тогда я сделаю это с свободною совестью. О преступлении жены я могу не свидетельствовать. Итак… я жду, что вы мне скажете?

– Сибирь или Ропшин? – выговорила, пристально глядя на него, Глафира.

– Я вас не притесняю.

– Благодарю. Ропшин или Сибирь?

– Да, да; Сибирь или Ропшин, Ропшин или Сибирь? выбор не сложный – решайте.

– Я решила.

– Что выбрано?

– Ропшин.

– Прекрасно; теперь прошу вас не делать ни малейшего шага к каким-нибудь сближениям с Гордановым – это вас погубит. Поверьте, что я не ревнив и это во мне говорит не ревность, а желание вам добра. На вас падает подозрение, что вы хотели извести Бодростина для того, чтобы выйти замуж за Горданова… Благоразумие заставляет прежде всего опрокинуть это подозрение. Далее, я останусь здесь на вашей половине…

– Здесь, теперь? – спросила Глафира в удивлении, открывая глаза: Ропшин, сняв с себя сюртук, покрылся лежавшею на кресле шалью Глафиры и укладывался на ее диване. – Это еще что значит?

– Это значит, что я продолжаю мое дело вашего спасения.

– Но вы с ума сошли. Это все будут знать!

– Я этого-то и хочу.

– Зачем?

– Как зачем? затем, чтобы знали, что Горданов был ширма, а что вы меня всегда любили; затем, чтобы немедленно же пустить на ваш счет другие разговоры и опрокинуть существующее подозрение, что вы хотели выйти замуж за Горданова. Что, вы меня поняли? Ого-го! постойте-ка, вы увидите, как мы их собьем с толку. Только я вас предупреждаю: наблюдайте за собою при Ворошилове.

– При ком?

– При Ворошилове.

– При этом приезжем?

– Да, при приезжем.

– Кто же он такой?

– А черт его знает, кто он такой, но во всяком случае он не тот, за кого себя выдает.

Глафира ничего не отвечала и задумалась: она молча припоминала все говоренное ею когда-нибудь при Ворошилове, который так недавно появился здесь и которого она совсем почти не замечала.

«И что же это такое наконец», – думала она, – «точно опрокинулся предо мною ящик Пандоры и невесть откуда берутся на меня и новые враждебные лица, и новые беды».

На нее напал невыразимый страх нечистой совести, и уснувший Ропшин уже перестал ей казаться таким отвратительным и тяжелым. Напротив, она была рада, что хотя он здесь при ней, и когда в ее дверь кто-то тихо стукнул, она побледнела и дружески молвила: «Генрих!»

Он быстро проснулся, узнал в чем дело и, взяв вдову за ее дрожащую руку, сказал: «О, будь покойна», – и затем твердым голосом крикнул: «Входите! Кто там? Входите!»

На этот зов в комнату со смешанным видом вступила горничная и объявила, что недавно уехавшая Синтянина, возвратилась опять и сейчас же хочет видеть Глафиру.

– Я не могу никого видеть… Что ей нужно?

– Лариса Платоновна поехала с ними…

– Ну?

– И теперь их нет.

– Кого?.. Ларисы?

– Да-с, они куда-то убежали; их искали везде: на хуторе, по лесу, в парке, и теперь сама генеральша здесь… и спрашивают Ларису Платоновну.

– Но ее здесь нет, ее здесь нет: пусть едут к Горданову в город… Я теперь никого не могу принять.

– Напротив, – вмешался Ропшин и, дав девушке знак выйти, сказал Глафире, что дело это нешуточное и что она непременно должна принять Синтянину и в точности узнать, что такое случилось.

С этим он усадил Глафиру в кресло и сам вышел, а через несколько минут возвратился, сопровождая закутанную платком Александру Ивановну.

– Что там еще, Alexandrine? – спросила, не поднимаясь с места, Глафира.

– Ужасное несчастие, – отвечала, сбрасывая с себя платок, генеральша, – я привезла домой Лару, и пока занялась тем, чтобы приготовить ей теплое питье и постель, она исчезла, оставив на фортепиано конверт и при нем записочку. Я боюсь, что она с собой что-нибудь сделала.

– Но что же за записка?

– Вот она, читайте… – и генеральша подала клочок нотной бумаги, на которой рукой Ларисы было написано карандашом: «Я все перепортила, не могу больше жить. Прощайте. В конверте найдете все, что довело меня до самоубийства».

– Что же было в конверте?

– Не знаю; его взял мой муж. Я бросилась ее искать: мы обыскали весь хутор, звали ее по полям, по дороге, по лесу, и тут на том месте,

где… нынче добывали огонь, встретилась с Ворошиловым и этим… каким-то человеком… Они тоже искали что-то с фонарем и сказали нам, чтобы мы ехали сюда. Бога ради посылайте поскорее людей во все места искать ее.

Но вместо живого участия к этим словам, бледная Глафира, глядя на Ропшина, произнесла только:

– Ворошилов… там… с фонарем… Ропшин, ступайте туда!.. Я вас умоляю… Что же такое все это может значить?

Ропшин скорыми шагами вышел за двери, и через минуту послышался топот отъезжавших лошадей, а девушка подала Синтяниной записочку, набросанную карандашом, в которой распорядительный Генрих извещал ее, что сейчас же посылает десять верховых с фонарями искать Ларису Платоновну по всем направлениям, и потому просит генеральшу не беспокоиться и подождать утра.

Глафира попросила рукой эту записку и, пробежав ее глазами, осталась неподвижною.

– Лягте, Глафира, попробуйте успокоиться, а я посижу.

– Хорошо, – отвечала Бодростина и, поддерживаемая Синтяниной и горничной, перешла из будуара в свою спальню.

Прошел час: все было тихо, но только дом как будто вздрагивал; генеральша не спала и ей казалось, что это, вероятно, кто-то сильно хлопает внизу дверью. Но наконец это хлопанье стало все сильнее и чаще, и на лестнице послышался шум.

Синтянина вскочила, взяла свечу и вышла на террасу, на которой, перевесясь головой через перила, стояла горничная Глафиры: снизу поднималось несколько человек, которые несли глухонемую Веру.

Она вся дрожала от холода, и посиневшее лицо ее корчилось, а руки были крепко стиснуты у груди, как будто она ими что-то держала и боялась с чем-то расстаться.

Увидев мачеху, девочка сделала усилие улыбнуться и, соскользнув с рук несших ее людей, кинулась к ней и стала быстро говорить своею глухонемою азбукой.

Она объясняла, что боясь за мачеху, бросилась вслед за нею, не могла ее догнать и, сбившись с дороги, чуть не замерзла, но встретила людей, которые ее взяли и принесли.

– Что же это были за люди?

Глухонемая показала, что это Ворошилов и Андрей Парфеныч.

– Кто это был? кого она называет? – спросила нетерпеливо вышедшая на этот рассказ Глафира, и как только Синтянина назвала Ворошилова, она прошептала: «опять он! Боже! чего же это они повсюду ходят?»

Девочке подали теплый чай и сухое платье; она чай с жадностью выпила, но ни за что не хотела переменить белья и платья, как на этом ни настаивали; она топала ногой, сердилась и, наконец, вырвав из рук горничной белье, бросила его в камин и, сев пред огнем, начала сушиться.

– Ее нельзя более беспокоить и принуждать, – сказала Синтянина, и когда горничная ушла, между падчерицей и мачехой началась их немая беседа: девочка, косясь на безмолвно сидящую в кресле Глафиру, быстро метала руками пред мачехой свои знаки и наконец заметила, что Синтянина дремлет, а Глафира даже спит.

Так подействовали на них усталость, теплота камина и манипуляции немой, с которых они долго не сводили глаз. Глухонемая как будто ждала этого и, по-видимому, очень обрадовалась; не нарушая покоя спящих, она без малейшего шума приподнялась на ноги, распустила свое платье; тщательно уложила за ним вдоль своего слабого тельца то, что скрывала, и, приведя себя снова в порядок, свернулась и уснула на ковре у ног генеральши.

Столь тщательно скрываемая этим ребенком вещь был щегольской хлыст Глафиры с потайным трехгранным стилетом в рукоятке.

Глава двадцать вторая
Бунт

Ночь уходила; пропели последние петухи; Михаил Андреевич Бодростин лежал бездыханный в большой зале, а Иосаф Платонович Висленев сидел на изорванном кресле в конторе; пред ним, как раз насупротив, упираясь своими ногами в ножки его кресла, помещался огромный рыжий мужик, с длинною палкой в руках и дремал, у дверей стояли два другие мужика, тоже с большими палками, и оба тоже дремали, между тем как под окнами беспрестанно шмыгали дворовые женщины и ребятишки, старавшиеся приподняться на карниз и заглянуть чрез окно на убийцу, освещенного сильно нагоревшим сальным огарком. Земский сотский и десятские в течение всей ночи постоянно отгоняли любопытных от конторы; в залу же большого дома, где лежал убитый, всем и заглянуть казалось опасно. Страшен был им этот покойник: общее предчувствие неминучей беды подавило всякое любопытство: крестьяне из села не приходили; они, казалось, сами себя чувствовали как бы зачумленными, и спали они, или не спали – не разберешь, но везде было темно. Так ушел и еще час, и вдруг, вдалеке, за перелогом, послышался колокольчик и затих. Несколько молодых ребят, собравшихся на задворке и ведших между собою таинственную беседу о дьявольской силе, которая непременно участвовала в нынешней беде, услыхав этот звон, всполошились было, но подумали, что это послышалось, успокоились и начали снова беседу.

– Он хитер, ух как хитер, – говорил речистый рассказчик, имевший самое высокое мнение о черте. – Он возвел господа на крышу и говорит: «видишь всю землю, я ее всю тебе и отдам, опричь оставлю себе одну Орловскую да Курскую губернии». А господь говорит: «а зачем ты мне Курской да Орловской губернии жалеешь?» А черт говорит: «это моего тятеньки любимые мужички и моей маменьки приданая вотчина, я их отдать никому не смею»…

Но в это время колокольчик раздался еще слышнее, и народ зашевелился даже в избах: по печам, припечкам, на лавках, на полатях

и на пыльных загнетках послышался шорох и движение, и люди одним многоустным шепотом произнесли ужасное слово: «следство».

Но вот колокольчик и опять затих, как бы сорвался, и зато через пять минут послышался ближе и громче, со всеми отливами и переливами охотничьего малинового звона.

– Два, – зашептали на печках, – два звонка-то, а не один.

– Чего два? Может их и невесть сколько: ишь как ремжит на разные стороны. Господи, помилуй нас грешных!

И точно, последнее мнение было справедливее: когда звон колокольчиков раздался у самой околицы и тысячи мужичьих и бабьих глаз прилегли к темным окнам всех изб, они увидели, как по селу пронеслась тройкой телега, за нею тарантас, другой, и опять телега, и все это покатило прямо к господскому дому и скрылось.

Началось невеселое утро: избы не затапливались, лаптевая свайка не играла в руке мужика, и только веретена кое-как жужжали в руках баб, да и то скучно и как бы нехотя.

Но вот начинается и вылазка: из дверей одной избы выглянул на улицу зипун и стал-стоит на ветре; через минуту из другой двери высунулась нахлобученная шапка и тоже застыла на месте; еще минута, и они увидали друг друга и поплыли, сошлись, вздохнули и, не сказав между собою ни слова, потянулись, кряхтя и почесываясь, к господскому дому, на темном фасе которого, то там, то здесь, освещенные окна сияли как огненные раны.

– Не спят, – шепнул шапке зипун.

– Где спать! – отвечала, шагая за ним, шапка.

– Грех…

И оба пешехода вдруг вздрогнули и бросились в сторону: по дороге на рысях проехали два десятка казаков с пиками и нагайками, с головы до ног покрытые снегом. Мужики сняли шапки и поплелись по тому же направлению, но на полувсходе горы, где стояли хоромы, их опять потревожил конский топот и непривычный мирному сельскому слуху брязг оружия. Это ехали тяжелою рысью высланные из города шесть жандармов и впереди их старый усатый вахмистр.

Завидев этих грозных, хотя не воюющих воинов, мужики залегли в межу и, пропустив жандармов, встали, отряхнулись и пошли в обход к господским конюшням, чтобы поразведать чего-нибудь от знакомых конюхов, но кончили тем, что только повздыхали за углом на скотном

дворе и повернули домой, но тут были поражены новым сюрпризом: по огородам, вокруг села, словно журавли над болотом, стояли шагах в двадцати друг от друга пехотные солдаты с ружьями, а посреди деревни, пред запасным магазином, шел гул: здесь расположился баталион, и прозябшие солдатики поталкивали друг друга, желая согреться.

Все ждали беды и всяк, в свою очередь, был готов на нее, и беда шла как следует дружным натиском, так что навстречу ей едва успевали отворять ворота. Наехавшие в тарантасах и телегах должностные лица чуть только оправились в отведенных им покоях дома, как тотчас же осведомились о здоровье вдовы. Дворецкий отвечал, что Глафира Васильевна, сильно расстроенная, сейчас только започивала.

– И не беспокоить ее, – отвечал молодой чиновннк, которому все приехавшие с ним оказывали почтительную уступчивость.

– Qu'est ce qu'elle a?[100] – обратился с вопросом к этому господину оправлявшийся перед зеркалом молодой жандармский офицер.

– Elle est indisposée,[101] – коротко отвечал чиновник и, оборотясь опять к дворецкому, осведомился, кто в доме есть из посторонних?

Получив ответ, что здесь из гостей остался один петербургский господин Ворошилов, чиновник послал сказать этому гостю, что он желал бы сию минуту его видеть.

– Вы хотите начать с разговора с ним? – осведомился, доделывая колечки из усов, молодой штаб-офицер.

– Да с чего же нибудь надо начинать.

– C'est vrai, c'est justement vrai, mais si j'étais a votre place… Mille pardons,[102] но мне… кажется, что надо начинать не с расспросов: во всяком случае первое дело франировать и il me vient une ideé…[103]

– Пожалуйста, пожалуйста, говорите!

– Сделаем по старинной практике.

– Я вас слушаю: я сам враг нововведений.

– Не правда ли? Ne faudrait-il pas mieux,[104] чтобы не давать никому опомниться, арестовать как можно больше людей и правых, и виноватых… Это во всяком деле первое, особенно в таком ужасном случае, каков настоящий.

Чиновник слушал это, соображал, и наконец согласился.

– Право, поверьте мне, что этот прием всегда приводит к добрым результатам, – утверждал офицер.

Чиновник был совсем убежден, но он видел теперь только одно затруднение: он опасался, как бы многочисленные аресты не произвели в многолюдном селе открытого бунта, но офицер, напротив, был убежден, что этим только и может быть предотвращен бунт, и к тому же его осеняла идея за идеей.

– Il m'est venu encore une idée,[105] – сказал он, – можно, конечно, арестовать зачинщиков поодиночке в их домах, но тут возможны всякие случайности. Сделаем иначе, нам бояться нечего, у наших солдат ружья заряжены и у казаков есть пики. Ведь это же сила! Чего же бояться? Мы прикажем собрать сходку и… в куче виднее, в куче сейчас будут видны говоруны и зачинщики…

– Да, вот что, говоруны будут видны, в этом, мне кажется, вы правы, – решил чиновник.

– О, уж вы положитесь на меня.

Чиновник полунехотя пробурчал, что он, однако, был всегда против бессмысленных арестов и действия силой, но что в настоящем случае, где не видно никаких нитей, он соглашается, что это единственный способ.

Последствием таких переговоров и соображений было то, что по дверям крестьянских хат застучали костыльки сельских десятников, и в сером тумане предрассветной поры из всех изб все взрослые люди, одетые в полушубки и свиты, поползли на широкий выгон к магазину, куда созывало их новоприбывшее начальство.

Сходка собиралась в совершенной тишине. Утро было свежее и холодное; на востоке только чуть обозначалась алая полоска зимней зари. Народ стоял и стыл; вокруг толпы клубился пар от дыхания. Начальство медлило; но вот приехал жандармский офицер, пошептался с пешим майором и в собранных рядах пешего баталиона происходили непонятные мужикам эволюции: одна рота отделилась, отошла, развернулась надвое и исчезла за задворками, образовав на огородах редкую, но длинную растянутую цепь. Деревня очутилась в замкнутом круге. Мужики, увидав замелькавшие за плетнями рыжие солдатские башлыки, сметили, что они окружены и, тихо крестясь, робко пожались друг к другу. Довольно широкая кучка вдруг собралась

и сселась, а в эту же пору из-за магазина выступила другая рота и сжала сходку, как обручем.

Мужики, напирая друг на друга, старались не глядеть в лицо солдатам, которые, дрожа от мороза, подпрыгивали, выколачивая стынущими ногами самые залихватские дроби. Солдаты были ни скучны, ни веселы: они исполняли свою службу покойно и равнодушно, но мужикам казалось, что они злы, и смущенные глаза крестьян, блуждая, невольно устремлялись за эту первую цепь, туда, к защитам изб, к простору расстилающихся за ними белых полей.

Вторая цепь, скрытая на задворках, была уже позабыта, но суровые лица ближайших солдат наводили панику. В толпе шептали, что «вот скомандует-де им сейчас их набольший: потроши их, ребята, за веру и отечество, и сейчас нас не будет». Какой-то весельчак пошутил, что тогда и подушного платить не нужно, но другой молодой парень, вслушиваясь в эти слова, зашатался на месте, и вдруг, ни с того, ни с сего, стал наседать на колени. Его отпихнули два раза солдаты, к которым он порывался, весь трясясь и прося отпустить его посмотреть коровушку. Родная толпа мужиков потянула его назад и спрятала. Солдатики острили своими обычными остротами и шутками. Говоруны и зачинщики не обозначались, но зато в эту минуту в дальнем конце широкой улицы деревни показались две фигуры, появление которых прежде всех было замечено крестьянами, а потом их усмотрело и начальство, обратившее внимание на происшедшее по этому случаю обращение крестьянских взоров в одну сторону. Это было очень дурным знаком: находчивый жандармский офицер шепнул слово казачьему уряднику, и четыре казака, взяв пики на перевес, бросились вскачь и понеслись на двух прохожих. В толпе крестьян пробудилось сильное любопытство: что, мол, из сего воспоследует? Два внезапно появившиеся лица крестьянами узнаны: это не были совсем неизвестные люди, это наши старые знакомые – священник Евангел и отставной майор Филетер Иванович Форов.

Глава двадцать третья
Весть о Ларисе

Когда все из дому Синтяниной удалились искать бежавшую Лару, майор Форов избрал себе путь к Евангелу, в том предположении, что не пошла ли Лариса сюда. Это предположение было столько же невероятно, как и все другие, и Форов шел единственно для очищения совести, а на самом же деле он был глубоко убежден, что Ларису искать напрасно, что она порешила кончить с собою, и теперь ее, если и можно сыскать, то разве только мертвую.

Этого же мнения был и Евангел, у которого Ларисы, разумеется, не оказалось.

Приятели вместе переночевали, поговорили и утром решили пойти узнать: нет ли чего нового.

Идучи привычной скорой походкой, они уже подходили к Бодростинскому парку, как вдруг их оживило одно странное обстоятельство: они увидали, что из рва, окружающего парк, в одном месте все выпрыгивал и прятался назад белый заяц и выделывал он это престранно: вскочит на край и забьется и юркнет в ров, а через минуту опять снова за то же.

Форов, имевший прекрасное зрение, поставил над глазами ладонь и, всматриваясь, сказал:

– Нет, это не заяц, а это… это что-нибудь вроде полотна развевается… Да, но вон над ним что-то птицы вьются… это галки и вороны. Что же это может быть?

Евангел молчал.

– Ну, гайда! пойдем: птицы над живым не летают.

И путники торопливо пошли к загадочному предмету и вскоре убедились, что никакого зайца здесь, действительно, не было, а над краем канавы, то влетал, то падал белый кусок какой-то легкой материи. Не успели Форов и Евангел сделать вперед еще десять шагов, как пред ними, в глубине окопа, вырисовалась небольшая человеческая фигура, покрытая большим белым платком, один угол которого был обвязан вокруг головы и закрывал все лицо, между тем как остальная часть его закрывала грудь и колена, вся эта часть была залита

коричневым потоком застывшей крови. Форов, недолго думал, спрыгнул в канаву и тотчас же оттуда выпрыгнул, держа в дрожащей руке окровавленную бритву с серебряною буквой Б на черном костяном черенке.

– Вот где она! – воскликнул майор, показав товарищу орудие Ларисиной смерти и, бросив бритву назад в ров, отвернулся.

Евангел вздохнул и покачал головой.

– Да, она; и посмотри, что значит женщина: она, убивая себя, заботилась, чтобы труп ее никого не пугал; сошла вниз, присела на корень березы, закрыла личико и сидит, как спящая.

Они еще посмотрели на самоубийцу и пошли на усадьбу, чтобы дать знать о своей находке.

Довольно странно было, что эта неожиданная находка, однако, очень мало их поразила: и Евангел, и Форов как будто находили, что этого надо было ждать и майор наконец даже высказал такую мысль, которая со стороны его собеседника вызвала только простой вопрос:

– А почему ты так думаешь?

– Да ей незачем жить стало.

– Так и умирать, и руки на себя поднимать?

– А отчего же не поднять, когда поднимаются.

Евангел посмотрел на Форова и произнес:

– Однако, извини за откровенность, какая ты превредная скотинка.

– Через какое это неблагополучие, – не через то ли, что допускаю возможность сойти с земли без твоего посредства? Дело, брат: стой за своих горою!

– А вот я посмотрю, – перебил Евангел.

– Что это?

– Как ты сам…

– Умирать что ли как буду?

– Да.

– Будь уверен, что по всем правилам искусства окончу, – исповедаюсь и причащусь. Я ведь тебе это давно говорил и еще раз скажу: я, брат, здоровый реалист и вздора не люблю: я не захочу, чтобы кому-нибудь со мною, с мертвым, хлопоты были, – все соблюду и приму «как сказано».

– Нет; ты взаправду пустой человек.

– Да почему же? что ты все только ругаешься!

– Да вот так… хочу тебя так назвать и называю, а хочешь добиться, так вот почему: не уверяй, как поведешь себя, когда смерть пристигнет. Это дело строгое.

– Что говорить, я и не спорю – момент острый, это не то что гранпасьянс раскладывать. Однако, вот мы пришли, – будет тебе надо мной в проповедничестве упражняться: я и Босюэта и Бурдалу когда-то читал и все без покаяния остался. Теперь давай думать, куда нам идти: в дом, или в контору?

Но, придя на деревню, они были поражены собранною на улице огромною толпой, окруженною пешим и конным конвоем: им в голову не приходило, что это усмиряют бунт, они не предвидели никакого повода для бунта и потому, когда наскакавшие на них казаки остановились, не зная, что им далее делать, то Форов с удивлением, но без всякого испуга, спросил их:

– Что это такое? что вам надо, ребята?

Казаки, видя перед собой священника и человека в военной фуражке с кокардой, начали озираться на начальство, но оттуда тотчас же отделился офицер и, дав лошади шпоры, понесся сюда с криком:

– Бери их!

Казаки спрыгнули с коней и бросились на Евангела; тот не трогался, но Форов отскочил назад и прыгнул к ближайшему строению, чтобы иметь у себя за спиной защиту, но не успел он пробежать несколько шагов, как увидел пред собою трех солдат, державших его за руки, меж тем как третий приставил ему к груди сверкающий штык. Маленький пехотный поручик с потным лбом юлил вокруг его и, закурив тоненькую папироску у одного из двух стоявших к Форову спиной господ, крикнул:

– Заряжай его… то бишь: веди его! веди!

– Пошел! – крикнул сзади майора козлиный голос, и здоровый унтер-офицер усердно толкнул Форова в спину.

Маленький поручик остался на месте ареста Форова и опять закуривал свою тонкую папироску у двух особ, которых Форов не рассмотрел в первую минуту; но, огибая теперь угол у выхода на улицу, он взглянул мимоходом на этих людей и узнал в них Горданова, в дорожной енотовой шубе, и Ворошилова, в касторовом пальто с камчатским бобром. Бесстрастное, гладко выбритое чиновничье лицо Ворошилова и в эту минуту было невозмутимо, но его серо-голубые

глаза не без участия следили за конвоируемым майором. По крайней мере так показалось Форову, и он вдруг почувствовал к этому человеку доверие и закричал ему:

– Милостивый государь! скажите кому-нибудь, пожалуйста, что там на рубеже за парком валяется в канаве мертвая сестра господина Висленева, Лариса Платоновна Подозерова: она зарезалась.

Глава двадцать четвертая
На ворах загораются шапки

Дом и усадьба Бодростиных представляли нечто ужасное. В большом зале, где происходил вчерашний пир, по-прежнему лежал на столе труп Бодростина, а в боковой маленькой зале нижнего этажа пристройки, где жила последнее время Лара, было сложено на диване ее бездыханное, покрытое белою простыней, тело.

Люди, которые принесли ее, не решались положить ее на стол, считая такую честь неудобною для самоубийцы.

В каменном амбаре без потолка были посажены связанные крестьяне, арестованные для порядку, хотя начальство и уверилось, наконец, что бунта нет и усмирять оказалось нечего.

В отдельных трех комнатах конторы помещалась арестованная аристократия: посягатель на убийство Горданова – Жозеф Висленев, сильно подозреваемый в подстрекательстве крестьян к бунту – священник Евангел, и очевидный бунтовщик, силой захваченный, майор Форов. В каменном же амбаре без потолка сидели человек двадцать арестованных крестьян.

Войско оцепляло усадьбу и держало караулы; свободные солдатики хозяйничали в крестьянских избах, исполненных всякой тоски и унылости. Начальство, состоящее из разных наехавших сюда гражданских и военных лиц, собралось на мужской половине второго этажа. Здесь был и Ворошилов, и его землемер Андрей Парфеныч, и старый генерал Синтянин, приехавший сюда узнать о жене. Эти три последние лица сами предложили себя в понятые к предстоящему осмотру тела.

Все эти господа и вместе с ними Горданов пили чай и приступали к приготовленному для них легкому завтраку, после которого надлежало быть вскрытию тела. Павел Николаевич сам не ел. Несмотря на то, что и он, как и прочие, не спал ночь и сделал утром много движения, у него не было аппетита и к тому же он чувствовал неприятный озноб, к крайнему его неудовольствию навевавший на него чрезвычайно неуместную леность. Он не знал, чему бы приписать эту странность, и, похаживая вокруг стола, за которым закусывали,

едва одолевал свою лень, чтобы восстановить в сознании настоящее значение событий; но едва лишь он одолевал это, как его тотчас отягощало недоумение: почему все следующее за убийством Бодростина не только совсем не отвечает его плану, но даже резко ему противоречит? Что это за леность мышц и тяжесть ума, которые точно вступили в союз с его врагом Ропшиным и удаляют его ото всего, к чему бы он должен был находиться вблизи и не выпускать из рук всех нитей дела, которые носились где-то в воздухе и могли быть каждую минуту схвачены рукой, самою неблагорасположенною к Горданову. Павел Николаевич, возвратясь из города, еще не видал Глафиры, а теперь даже не знал, как этого и достичь; он еще был управитель имения и уполномоченный, и имел все основания видеть вдову и говорить с нею, но он чувствовал, что Ропшин его отрезал, что он просто-напросто не пустит, и, конечно, он поступает так с согласия самой Глафиры, потому что иначе она сама давно бы за ним прислала. Теперь бы самое время повидаться с нею, пока власти подкрепляются и идут приготовления, при которых Горданов нимало не нужен. Он оглянулся и, увидав в углу комнаты Ропшина, который тихо разговаривал с глотавшим тартинки лекарем, подумал:

«Вот и еще побуждение дорожить этою минутой, потому что этот чухонец теперь занят тут и не заметит моего отсутствия».

Горданов встал и вышел, как будто не обращая ни на кого внимания, хотя на самом деле он обозрел всех, мимо кого проходил, не исключая даже фельдшера и молодого священника, стоявших в передней над разложенными на окне анатомическими инструментами. Спустясь по лестнице вниз, он, проходя мимо залы, где лежал труп Бодростина, заметил, что двери этой залы заперты, припечатаны двумя печатями и у них стоит караул. Горданов спросил, кто этим распорядился? и получил в ответ, что все это сделал Ропшин.

– Чья же это другая печать?

– А этого приезжего барина, – отвечал слуга.

– Приезжего барина? Что это за вздор: какого приезжего барина?

– А господина Ворошилова; они вместе с Генрихом Ивановичем вокруг – и эти, и те двери из гостиной ночью запечатали.

– И из гостиной тоже?

– Да-с, и из гостиной, и там караул стоит.

Горданов, не доверяя, подошел поближе к дверям, чтобы рассмотреть печати, и, удостоверясь, что другая печать есть оттиск аквамаринового брелока, который носит Ворошилов, хотел еще что-то спросить у лакея, но, обернувшись, увидал за собою не лакея, а Ропшина, который, очевидно, следил за ним и без церемонии строго спросил его: что ему здесь угодно?

– Я смотрю печати.

– Зачем?

– Как зачем; я управитель всех имений покойного и…

– И ваши уполномочия кончились с его смертью.

– А ваши начались, что ли?

– Да, мои начались.

И Ропшин пренагло взглянул на Горданова, но тот сделал вид, что не замечает этого и что он вообще равнодушен ко всему происходящему и спрашивает более из одного любопытства.

– Начались, – повторил он с улыбкой, – а что же такое при вас господин Ворошилов, дуумвират что ли вы с ним составляете?

– Нет, мы с ним дуумвирата не составляем.

– Зачем же здесь его печать?

– Просто печать постороннего человека, который случился и которого я пригласил, чтобы не быть одному.

– Просто?

– Да, просто.

Горданов повернулся и пошел по коридору, выводящему ко входу в верхнюю половину Глафиры. Он шел нарочно тихо, ожидая, что Ропшин его нагонит и остановит, но достойный противник его стоял не шевелясь и только смотрел ему вслед.

Горданов как бы чувствовал на себе этот взгляд и, дойдя до поворота, пошел скорее и наконец на лестницу взбежал бегом, но здесь на террасе его остановила горничная Глафиры и тихо сказала:

– Нельзя, Павел Николаич, – барыня никого принимать не желает.

– Что?

– Никого не велено пускать.

– Какой вздор; мне нужно.

– Не велено-с; не могу, не велено!

– И меня не велено?

– Никого, никого, и вас тоже.

Горданов взглянул пристально на девушку и сказал:

– Я вас прошу, подите скажите Глафире Васильевне, что я пришел по делу, что мне необходимо ее видеть.

Девушка была в затруднении и молчала.

– Слышите, что я вам говорю: мне необходимо видеть Глафиру Васильевну, и она будет недовольна, что вы ей этого не скажете.

Девушка продолжала стоять, держась рукой за ручку замка.

– Что же вы, не слышите, что ли?

Девушка замялась, а внизу на лестнице слегка треснула ступенька. «Это непременно Ропшин: он или подслушивает, или идет сюда не пускать меня силой», – сообразил Горданов и, крепко сжав руку горничной, прошептал:

– Если вы сейчас не пойдете, то я сброшу вас к черту и войду насильно.

С этим он дернул девушку за руку так, что дверь, замка которой та не покидала, полуотворилась и на пороге показалась Глафира. Она быстро, но тихо захлопнула за собою дверь и перебежала в комнату своей горничной.

– Что? что такое? – спросила она, снова затворяясь здесь с не отставшим от нее Гордановым.

– Что ты в таком расстройстве? – заговорил Горданов, стараясь казаться невозмутимо спокойным.

– Интересный вопрос: мало еще причин мне быть в расстройстве? Пожалуйста, скорее: что вам от меня нужно? Говорите вдруг, сразу все… нам теперь нельзя быть вместе. C'est la dernière fois que je m'y hasarderai,[106] и если вы будете расспрашивать, я уйду.

– Почему здесь начинает распоряжаться Ропшин?

– Я не знаю, я ничего не вижу, я ничего не знаю, а надо же кому-нибудь распоряжаться.

– А я?

– Вы?.. вы сумасшедший, Поль! Как я могу поручить теперь что-нибудь вам, когда на нас с вами смотрят тысячи глаз… Зачем вы теперь пришли сюда, когда вы знаете, что меня все подозревают в связи с вами и в желании выйти за вас замуж? Это глупо, это отвратительно.

– Это в вас говорит Ропшин.

– Что тут Ропшин, что тут кто бы то ни было… пусть все делают, что хотят: нужно жертвовать всем!

– Всем?

– Всем, всем: дело идет о нашем спасении.

– Спасении?.. от кого? от чего? Vous craignez où il n'y a rien a craindre![107]

Но неспокойная вдова в ответ на это сделала нетерпеливое движение и сказала:

– Нет, нет, вам все сказано; и я ухожу.

И с этим она исчезла за дверями своей половины, у порога которых опять сидела в кресле за столиком ее горничная, не обращавшая, по-видимому, никакого внимания на Горданова, который, прежде чем уйти, долго еще стоял в ее комнате пред растворенною дверью и думал:

«Что же это такое? Она бежит меня… в такие минуты… Не продала ли она меня?.. Это возможно… Да, я недаром чувствовал, что она меня надует!»

По телу Горданова опять пробежал холод, и что-то острое, вроде комариного жала, болезненно шевельнулось в незначительной ранке на кисти левой руки.

Он не мог разобрать, болен ли он от расстройства, или же расстроен от болезни, да притом уже и некогда было соображать: у запечатанных дверей залы собирались люди; ближе всех к коридору, из которого выходил Горданов, стояли фельдшер, с уложенными анатомическими инструментами, большим подносом в руках, и молодой священник, который осторожно дотрагивался то до того, то до другого инструмента, и, приподнимая каждый из них, вопрошал фельдшера:

– Это бистурий?

На что фельдшер ему отвечал:

– Нет, не бистурий.

Горданов все это слышал и боялся выступить из коридора: для него начался страх опасности.

Подошли новые: сам лекарь, немецкого происхождения, поспевая за толстым чиновником, с достоинством толковал что-то об аптеке.

«Нет; говорят о пустяках, и обо мне нет и помину», – подумал Горданов и решил выступить и вмешаться в собиравшуюся у дверей залы толпу одновременно с Сидом Тимофеевичем, который появился с другой стороны и суетился с каким-то конвертом.

– Что ты это несешь? – спросили Сида.

– А документы-с, господа, расписки на него представляю. Как же: не раз за него в полку свои хоть малые деньги платил… Теперь ему это в головы положу.

– Чудак, – разъясняли другие, – лет пятьдесят бережет чью-то расписку, что за покойника где-то рубль долгу заплатил. Может, триста раз ему этот рубль возвращен, но он все свое: что мне дано, то я, говорит, за принадлежащее мне приемлю как раб, а долгу принять не могу. Так всю жизнь над ним и смеялись.

– Ага! вы смеялись… на то вы наемники, чтобы смеяться, я не смеюсь, я раб, и его верно пережил и я ему эти его расписки в гроб положу!

И Сид жестоко раскуражился своими привилегиями рабства, но его уже никто не слушал, потому что в это время двери залы были открыты и оттуда тянуло неприятным холодом, и казалось, что есть уже тяжелый трупный запах.

Горданов тщательно наблюдал, как на него смотрят, но на него никто не смотрел, потому что все глаза были устремлены на входящих под караулом в залу мужиков и Висленева, которые требовались сюда для произведения на них впечатления.

Это дало Горданову секунду оправиться, и он счел нужным напомнить всем, что Висленев сумасшедший, и хотя официально таковым не признан, но тем не менее это известно всем.

Жандармский штаб-офицер подтвердил, что это так.

– Да так ли-с? – вопрошал Синтянин.

– Да уж будьте уверены, мы эти вещи лучше знаем, – отвечал молодой штаб-офицер.

С этим двери снова заперлись, и фельдшер, держа в руке скальпель, ждал приказания приступить ко вскрытию.

Глава двадцать пятая
Одинаковые книги в разных переплетах

Осмотр тела убитого Бодростина давал повод к весьма странным заключениям: на трупе не было никаких синяков и других знаков насилия, но голова вся была расколона. Стало быть само собою следовал вывод, что причиной смерти был тяжелый удар по голове, но, кроме его, на левом боку трупа была узкая и глубокая трехгранная рана, проникавшая прямо в сердце. Эта рана была столь же безусловно смертельною, как и оглушительный тяжелый удар, раздробивший череп, и одного из этих поранений было достаточно, чтобы покончить с человеком, а другое уже представлялось напрасным излишеством. Надлежало дать заключение: который из этих ударов был первым по порядку и который, будучи вторым, уже нанесен был не человеку, но трупу? Если же они оба последовали одновременно, то чем, каким страшным орудием была нанесена эта глубокая и меткая трехгранная рана? Кто-то напомнил о свайке, с которою утром вчерашнего дня видели дурачка, но свайка имела стержень круглый: думали, что рана нанесена большим гвоздем, но большой гвоздь имеет четырехсторонний стержень и он нанес бы рану разорванную и неправильную, меж тем, как эта ранка была точно выкроена правильным трехугольничком.

Когда эту рану осмотрели и исследовали медик, чиновники и понятые, ее показали скованным мужикам и Висленеву. Первые посмотрели на нее с равнодушием, а последний прошептал:

– Я… я этим не бил.

– Чем же вы его били, ваш удар, может быть, этот – по голове?

– Нет, нет, – отвечал, отстраняясь от трупа, Висленев. – Я, господа, все расскажу: я участвовал в преступлении, но я человек честный, и вы это увидите… Я ничего не скрою, я не отступаюсь, что я хотел его убить, но по побуждениям особого свойства, потому что я хотел жениться на его жене… на Глафире Васильевне… Она мне нравилась… к тому же, я имел еще и иные побуждения: я… и хотел дать направление его состоянию, чтоб употребить его на благие цели… потому что, я не скрываюсь, я недоволен настоящими порядками… Я

говорю об этом во всеуслышание и не боюсь этого. Теперь многие стали хитрить, но, по-моему, это надо честно исповедывать… Нас много… таких как я… и мы все убеждены в неправде существующего порядка и не позволим… Если закон будет стоять за право наследства, то ничего не остается как убивать, и мы будем убивать. То есть не наследников, а тех, которые оставляют, потому что их меньше и их легче искоренить.

В среде людей, окружавших труп и слушавших этот Висленевский бред, пронесся шепот, что «он сумасшедший», но кто-то заметил, что это не мешает выслушать его рассказ, и как рассказ этот всем казался очень любопытным, то Жозефа вывели в смежную комнату, и пока медик, оставаясь в зале, зашивал труп Бодростина, чиновники слушали Жозефовы признания о том, как было дело.

Висленев в одно и то же время и усердно раскрывал историю, и немилосердно ее путал. Просидев в уединении эту тяжелую ночь, он надумался облагородить свое поведение, притянув к нему социалистские теории: он, как мы видели, не только не отрицал того, что хотел смерти Бодростина, но даже со всею откровенностию объяснял, что он очень рад, что его убили!

– Еше бы! – говорил он, – Бодростин сам по себе был человек, может быть, и не злой, я этого не отрицаю; он даже делал и мне, и другим кое-какие одолжения, но мы на это не смотрим, тут нельзя руководиться личными чувствами. Он был заеден средой: то дворянин, то этакий поганый реалистик с презрением к народным стремлениям… Я не мог переносить этого его отвратительного отношения к народным интересам… До того дошел, что мужикам живого огня не позволял добыть и… и… и издевался над их просьбами! Это самый этакий гадостный, мелкий реалистик… а я, конечно, стоял на стороне народа… Я пожертвовал всем… я человек искренний… я даже пожертвовал моею сестрой, когда это было нужно… Чего же мне было на нем останавливаться? и потому, когда народ был им недоволен, я сказал мужикам: «ну, убейте его», они его и убили, как они скоро перебьют и всех, кто старается отстаивать современные порядки.

Воссев на своего политического коня, Висленев не мог его ни сдержать, ни направить, куда ему хотелось: истории самого убийства он не разъяснял, а говорил только, что Бодростина *надо было убить*,

но что он сам его не бил, а только вырвал у него сигару с огнем, за что его и убил «народ», к интересам которого покойник не имел-де должного уважения. Крик же свой в комнатах, что «это я сделал», он относил к тому, что он обличил Бодростина и подвел его под народный гнев, в чем-де и может удостоверить Горданов, с которым они ехали вместе и при котором он предупреждал Бодростина, что нехорошо курить сигару, когда мужики требовали, чтоб огня нигде не было, но Бодростин этим легкомысленно пренебрег. А что касается его выстрела в Горданова, то он стрелял потому, что Горданов, известный мерзавец и в жизни, и в теории, делал ему разные страшные подлости: клеветал на него, соблазнил его сестру, выставлял его не раз дураком и глупцом и наконец даже давал ему подлый совет идти к скопцам, а сам хотел жениться на Бодростиной, с которой он, вероятно, все время состоял в интимных отношениях, между тем как она давно дала Висленеву обещание, что, овдовев, пойдет замуж не за Горданова, а за него, и он этим дорожил, потому что хотел ее освободить от среды и имел в виду, получив вместе с нею состояние, построить школы и завести хорошие библиотеки и вообще завести много доброго, чего не делал Бодростин.

На указанное же Висленеву препятствие для его женитьбы в том, что у него в Петербурге есть живая жена, он отвечал, что «это ничего не значит: у нас нельзя развестись, а на двух жениться можно-с; я знаю, этому даже примеры есть».

Таким образом общего вывода из его показаний нельзя было сделать никакого, кроме того, что он действительно помешан, и все, что он говорит, в самом деле «ничего не значит».

Его отвели и опять посадили в контору, а показание его, получив огласку, сделалось предметом шуток и предположений, все более и более удалявшихся от истины. Показания же мужиков открывали иное: крестьяне стояли на том, что они ничего знать не знают и ведать не ведают, как все это сталося. Добывали-де огонь; кто-то загалдел; все кинулись в одно место; может, кого невзначай и толкнули, а на барина хотя и были сердиты, но его не убивали, и слово «пестрого барина», то есть Висленева. об убийстве брали не иначе как в шутку, так как он-де блаженненький и всегда неведомо что говорил. А на тело же они напали случайно: начали опахивать на бабах, задние бабы нахлестали хорошенько передних кнутьями, а те разогнались да ткнулись на что-

то и попадали, а потом глядят, а под сохой тело! Стали рассматривать и ужахнулися: видят, барин! А убивать его они не убивали и полагают, что если у него голова изломана, то это не иначе как его невзначай уже мертвого сохой долбанули. Указание было весьма важное, а последствия его – еще важнее: острые сошники указанной сохи оказались покрытыми кровью с прилипшими по местам белыми волосами, признанными за волосы покойного Бодростина.

Дело выяснилось в том отношении, что причина смерти была трехгранная рана, а следователю теперь предлежала трудная задача отыскать виновника этого удара. Меж тем в доме волнение стало уже успокоиваться и водворялся порядок: вскрытые и описанные тела Бодростина и Ларисы были одеты и покрыты церковными покровами; к вечеру для них из города ожидались гробы; комната, в которой лежал труп самоубийцы, была заперта, а в открытой зале над телом убитого уже отслужили панихиду, и старый заштатный дьякон, в старом же и также заштатном стихаре, читал псалтырь. Так как мертвец начинал портиться, то погребение было назначено на другой же день после вскрытия.

Между всеми наличными людьми были распределены разные обязанности по приготовлению похорон: кто хлопотал в городе, кто распоряжался дома. Горданов оставался ни при чем. К величайшему своему неудовольствию, он чувствовал себя нездоровым: у него была лихорадка, выражавшаяся беспрестанною дрожью, и какое-то необъяснимое, но крайне неприятное беспокойство вокруг ничтожного укола на ладони. На последнее обстоятельство он не обращал внимания, но то жар, то озноб лихорадки досаждали ему и мешали соображать. Что это за дивные распорядки ведет Ропшин: он сам уехал в город, а старика Синтянина и его приятеля, этого господина Ворошилова, упросил тут распоряжаться дома, и они за это взялись; генерал ходит козырем и указывает, что где поставить, что как приготовить для предстоящих похорон покойного; меж тем как жена его и падчерица одевают и убирают Ларису, для которой Ропшин обещал исходатайствовать у местного архиерея право на погребение. Одного Ворошилова как-то не видно, но он зато чувствуется; он сделался душой смятенных властей, которые не знают, за какую нить им взяться, чтобы разъяснить трехгранную рану.

И когда Горданов в большом затруднении расхаживал по своей комнате, его еще более изумило то странное обстоятельство, что пред самыми сумерками господин Ворошилов, незванный, непрошенный, явился его навестить.

У Павла Николаевича даже уши запламенели, а Ворошилов, с своею кошачьею мягкостью, начинает его внимательнейше расспрашивать о его здоровье.

– Больны? – начал он. – Чем? Что с вами такое сделалось? Верно простудились?

– Очень может быть.

– Это ничего нет легче, особенно в эту пору, а тут еще и покоя нет.

– Какой покой!

– Да, а тут еще этот сумасшедший… как его: Висленев, что ли?

– Да, Висленев.

– Помилуйте скажите, какого вздора он на вас наговорил: будто вы все знали.

– Это меня нимало не беспокоит, а вот досадно, что я нездоров.

– Ну, однако же… все одно к одному…

Ворошилов замолчал и начал врастяжку нюхать табак из своей золотой табакерки.

Горданову не терпелось, и он с нарочитым спокойствием проговорил:

– Что же одно к одному? Что вы этим хотите сказать? Разве меня в чем-нибудь подозревают?

– Нет, не подозревают, – отвечал, ощелкивая пальцы, Ворошилов, – а недоумевают, с чего и с кого начать, да и где начало-то – не видят.

– А ваше какое же мнение: где начало?

– Да, по моему мнению, оно должно крыться еще в московской кончине племянника Бодростина: это событие престранное. Я о нем разбеседовался с Висленевым… Разумеется, мое дело сторона, а так от нечего делать разболтался; он говорит: «я знаю: его Горданов у цыган отравил».

– Экой болван!

– И я говорю. Я не имею чести вас много знать, но…

– А что же далее-с?

– Ну, потом смерть этого княжеского управителя, как его?.. Ну, как бишь его звали-то?

– Светозар Водопьянов, – был точно такой же идиот, как и Висленев.

– Вот именно! Вы прекрасно сказали, Светозар Водопьянов. Но это эпизод самый простейший: его убили по ошибке…

– Вы так думаете?

– Ну конечно; а теперь Бодростин лег, уж это поправка.

– Но кому же была нужна эта поправка?

– А вот в этом и весь вопрос. Крайне сомнительно, чтоб это были мужики…

– Но вы разве не полагаете, что в народе против Бодростина было действительно враждебное возбуждение?

– О, нет! Я совершенно вашего мнения: в народе возбуждение было, но кому оно было нужно?

– Кому? вот прекрасный вопрос. Социализм в воздухе носится: им каждый дурак бредит.

– Пожалуй, что вы и правы, но кто же здесь из социалистов?

– А Висленев.

– Но ведь он сумасшедший.

– Так что ж такое?

– Ну, уж где сумасшедшему вести такое дело? Нет, должно быть совсем иное лицо, которое всем руководило и которому нужна была эта последняя поправка, и на это есть указание, кому она была нужна.

– Ну, если есть указание, тогда это другое дело; но что же это за указание?

– Да, совсем ясное указание, при котором не нужно уже много ума, чтобы добраться до истины. Чиновникам бы я этого не сказал, но вам, так как мы ведем простой разговор, я скажу.

– Сделайте милость: это очень любопытно.

– Довольно простой маленький фокус, и я его вам фокусом и объясню: позвольте мне ваши руки?

Горданов нехотя подал Ворошилову свою правую руку.

– Нет, вы обе позвольте.

– На что же это?

– А что? разве у вас болит еще рука?

– Вы отгадали: у меня болит рука.

– То-то вы ее носили на подвязке, ну, да ничего: видите вы эту вещь? – спросил он, показывая Горданову хорошо знакомый ему складной ножик, найденный на столе возле Бодростинского трупа.

Горданов нервно отдернул руку.

– Что, вы думали, что я вас уколю?

– Какая глупость!

– Ну, разумеется, – отвечал, не обижаясь, Ворошилов, – я вам только хотел показать, как иногда ничтожною внезапностью можно смутить самого правого человека.

– А разве ваш фокус-покус должен служить к тому, чтобы смущать правых?

– Нет, боже сохрани! А вы знаете ли, откуда мог взяться этот нож возле трупа? Нет; я вижу по вашим глазам, что вы этого не знаете… Это нож был нужен тому, кому нужно изменить форму трехгранной ранки на трупе. Однако я злоупотребляю… вы верно слабы… вы бледнеете.

Горданов вскочил и гордо воскликнул:

– Милостивый государь! Что вы меня штудируете, что ли, или испытываете на мне свою тонкость?

Но Ворошилов ему не ответил ни слова, а, отвернувшись к окну, проговорил:

– Ага! вот я вижу уже и гробы привезли, – и с этим отправился к двери и, остановившись на минуту на пороге, добавил:

– Ах, знаете-с, я было совсем и позабыл вам рассказать пресмешной случай.

– Извините, пожалуйста, а я не могу более слышать никаких случаев, я болен.

Горданов позвал слугу, но Ворошилов все-таки не вышел, а продолжал:

– Нет, ведь это о чем я вспомнил, прямо вас касается.

Горданов начал совсем терять терпение и с нервическим подергиванием лица спросил:

– Что, что такое «меня касается»?

– Да их неумелость.

– Черт знает что такое! О чем, о чем вы говорите?

– Я говорю о нынешних чиновниках, которые…

– Которые? – передразнил Горданов, – да вы представьте себе пожалуйста, что я не признаю никаких чиновников на свете.

– Ну, извините меня, а их нельзя отрицать, потому что они суть, ибо они могут отрицать ваше право свободы.

– Право свободы… Усердно вас прошу, скажите ясно, что вы столь любезно пришли мне сообщить!

– Ах, вы также, пожалуйста, не беспокойтесь, я уже пока все уладил.

– То есть как… что такое вы уладили?

– Ничего, ничего, вы не беспокойтесь, они со мной захотели посоветоваться и они вас не тронут, из вашей комнаты… и о Глафире Васильевне я настоял на том же. До свиданья!

Когда Ворошилов отворил дверь и вышел, провожавший его глазами Горданов совсем потерялся и остановил изумленные глаза на входившем слуге. Дело было в том, что Горданов увидал насупротив своей двери часового казака.

– Изволите видеть? – спросил его, затворяя двери взошедший лакей.

– Скорей мне арники на тряпочку и одеться.

Человек подал то и другое. Горданов оделся, но вместо того, чтобы выйти, вдруг раздумал и переменил план, сел к столу и написал: «Не знаю, кто нам изменил, но мы выданы и я арестован. Расчеты на бунт положительно не удались. Остается держаться одних подозрений на Висленева. Мою записку прошу возвратить».

Запечатав эту записку, Горданов велел лакею отнести пакет Глафире Васильевне и дождаться ответа, и человек, выйдя с этим его посланием с лестницы, повернул в маленькую, так называемую «разрядную» зальцу, где прежде Михаил Андреевич занимался хозяйственными распоряжениями с управляющим и бурмистром, и теперь помещались Синтянин и Ворошилов, пред которыми лакей и положил с улыбкой конверт.

– Прыток же он! – проговорил Ворошилов, принимая одною рукой со стола этот конверт, а другою – подавая лакею двадцатипятирублевый билет.

Через минуту письмо Горданова было скопировано, вложено в новый конверт и тот же лакей понес его к Глафире. Передавая посылку горничной, лакей шепнул ей, что письмо это он представлял на

просмотр, и похвалился ассигнацией. Девушка передала это Глафире и, получив сама сто рублей, вынесла лакею запечатанный ответ и распечатанные пятьдесят рублей.

Меркурий полетел опять через ту же таможню и изумил Ворошилова и Синтянина не только быстротой ответа, но и его содержанием. Глафира писала на том же самом листке, на котором были строки Горданова: «Что это за гнусная выходка? Свободны вы или арестованы, правы или виноваты, какое мне до этого дело? Если вы думаете, что со смертью моего мужа наглость ваша может действовать свободнее, то вы ошибаетесь: я сама сумею себя защитить, и есть другие люди, настолько мне преданные, что сумеют обуздать ваши происки. Вместо ответа советую вам, при первой возможности, оставить навсегда мой дом и знайте, что я не имею желания числить вас в счету людей, с которыми хотела бы встречаться».

– Подите-ка сюда, любезный друг! – поманил Ворошилов лакея, и когда тот приблизился, он прямо спросил его: сколько ему за это дали?

Человек отвечал откровенно.

– Прекрасно, – сказал Ворошилов, – войдите же теперь сюда, в эту комнату; вы отдадите ответ господину Горданову после, а теперь пока посидите здесь.

И с этим Ворошилов запер на ключ отслужившего ему свою службу шпиона.

Что это могло значить? Павел Николаевич вызвал звонком других слуг, но ни от одного из них не мог добиться ответа о своем пропавшем без вести лакее.

Человек без вести пропал в доме! Горданов решительно не знал, что ему думать, и считал себя выданным всеми… Он потребовал к себе следователя, но тот не являлся, хотел позвать к себе врача, так как врач не может отказаться посетить больного, а Горданов был в самом деле нездоров. Но он вспомнил о своем нездоровье только развязав свою руку и ужаснулся: вокруг маленького укола, на ладони, зияла темненькая каемочка, точно бережок из аспидированного серебра.

– Этого только недоставало! – прошептал, холодея, Горданов, и, хватая себя за голову, он упал совсем одетый в постель и уткнул голову в подушки, зарыдав впервые с тех пор, как стал себя помнить.

Глава двадцать шестая
Сид пережил

Зал, где лежал мертвец, был накурен ладаном и в нем царила тяжелая, полная таинственности полутьма. Красноватый огонь восковых свеч освещал только лик Нерукотворенного Спаса да мертвое тело, имевшее какое-то неспокойное положение. Это происходило, вероятно, оттого, что одно колено мертвеца окостенело в согнутом положении и руки его застыли в самом широком размахе. Колена невозможно было выправить, руки же хотя кое-как и стянули, однако связанные в кистях они оттого еще более топорщились в локтевых суставах и лезли врозь. От этого труп имел тот беспокойный вид, как будто он ежеминутно приготовлялся вскочить и схватить кого-то.

Длинный черный гроб, сделанный непомерной глубины и ширины, ввиду сказанной нескладности трупа, стоял на полу. В ногах его горела свеча. Остальная комната была темна, и темнота эта ощущалась по мере удаления от гроба, так что у дверей из гостиной, чрез которые ожидали вдову, было совсем черно.

Панихида была отпета; священник стоял в траурной ризе и не знал, что ему делать, дьякон подувал в кадило и, размахивая им, немилосердно пускал и без того наполняющий залу ладанный дым. Чиновники покашливали, почетные дворовые люди, явившиеся на положение во гроб, шептались: вдова не являлась.

С ней происходило нечто странное: она боялась видеть мертвого мужа, боялась не суеверным страхом, каким мертвец отпугивает от себя простодушного человека, а страхом почти сознательной и неотразимой естественной опасности. Корень этого страха крылся, однако, в чем-то близком к суеверию. Глафира-нигилистка и Глафира-спиритка не верила ни в Бога, ни в духовное начало человека, но игра в спиритизм, заставлявшая для вида рассуждать о независимой природе духа, развила в ней нечто такое, что она могла принимать как казнь за свое шарлатанство. К ней против ее воли пристало нечто такое, от чего она никак не могла отвязаться. Это ее сначала смешило и занимало, потом стало досадовать и путать, наконец, даже минутами пугать. На

ней оправдывались слова Альберта Великого, что на свете нет человека, совсем недоступного страху сверхъестественного.

Она верила, что злодейство, к которому она стремилась, не пройдет ей безнаказанно, по какому-то такому же неотразимому закону, по какому, например, она неудержимо довершила это злодейство, утратив охоту к его довершению.

С той самой поры, когда простучали колеса экипажа, на котором ее муж отъезжал в лес с Жозефом и с Гордановым, Глафира Васильевна еще ни на минуту не отдохнула от овладевшего ею тревожного чувства. Ей поминутно казалось, что ее кто-то куда-то зовет, кто-то о чем-то спрашивает, кто-то перешептывается на ее счет, и то вблизи тихо смеется, то где-то далеко заливается громким зловещим хохотом. Глафира, разумеется, не допускала тут ничего сверхъестественного и *знала*, что это нервы шалят, но тем не менее ей надоедало, что чуть только она хоть на минуту остается одна, как сейчас же начинает чувствовать у себя за спиной какое-то беззвучное шмыганье, какое-то сильное и плавное движение каких-то теней. Она слышала различные изменения в этих движениях: тени то медленно плыли, то вдруг неслись быстро, быстро летели одна за другой и исчезали, как будто таяли в темных углах или уходили сквозь стены.

Она искала облегчения в сообществе Синтяниной и Веры, остававшихся здесь ради похорон Ларисы, так как, по ходатайству услужливого Ропшина, самоубийцу разрешено было похоронить по христианскому обряду. Глафира не обращала внимания, что обе эти женщины не могли питать к ней ни уважения, ни дружбы: она с ними не расставалась; но в то время, когда ей надлежало сойти в зал, где ее ждали к панихиде, обе Синтянины занимались телом Лары, и потому Глафира Васильевна потребовала, чтоб ее проводил Ропшин.

Предшествуемые лакеем со свечой в руках, они сошли вниз и, пройдя ряд темных комнат, приблизились к двери, которая соединяла зал с гостиной. Лакей взялся за дверную ручку и повернул ее, но дверь не поддавалась. Он употребил усилие, но тщетно; ему взялся помогать Ропшин, но дверь все-таки оставалась неподвижною. Шевелящаяся ручка обратила на себя внимание людей, собравшихся в зале, и некоторые из них поспешили на помощь и взялись за это с усердием, в пылу которого ни по ту ни по другую сторону никому в голову не приходило справиться, вполне ли отперт дверной замок: дверь тянули,

дергали и наконец с одной стороны успели отломить ручку, а с другой – сопровождавший Глафиру лакей успел уронить на пол и погасить свою свечу. Тогда Ропшин отодвинул снизу и сверху шпингалеты и, собрав силы, налег ровно на оба края отвора: двери с шумом распахнулись и твердый парчевый покров тихо поехал с согнутых колен мертвеца на землю, открывая пред глазами Глафиры ракурс трупа.

Это пустое обстоятельство так неприятно повлияло на расстроенные нервы вдовы, что она насилу удержалась на ногах, схватясь за руку Ропшина, и закрыла ладонью глаза, но чуть лишь отняла ладонь, как была еще более поражена: пред нею несли со стола ко гробу тело мужа и на нем был куцый кирасирский мундир с распоротою и широко разошедшеюся спинкой… Мало этого, точно из воздуха появилось и третье явление: впереди толпы людей стоял краснолицый монах…

– Что же это такое, откуда здесь этот монах? – нетерпеливо спросила шепотом Глафира.

– Я не знаю, – отвечал Ропшин.

– Узнайте.

И, оставшись одна, она старалась успокоиться и заставляла себя равнодушно смотреть, как мужа уложили в гроб и поставили на катафалк.

Ропшин принес ей известие, что монах этот захожий сборщик на бедный монастырь и живет на селе третий день.

Глафира послала ему десять рублей и внимательно в него всматривалась, когда он подошел ее благодарить; монах был человек как человек, с добрым, красным лицом, веселыми голубыми глазами и запахом вина и елея. Это несомненно был тот самый монах, которого она испугалась в час убийства.

– Это вы приходили ко мне вчера?

Монах, извиняясь, отвечал, что это точно был он, и что он зашел в комнаты по ошибке, потому что не знал дороги в контору.

Глафира еще дала ему ассигнацию и потом, придя к себе, спросила Ропшина о мундире:

– Зачем на него не надели его новый дворянский мундир?

– Зачем же новый закапывать в землю, когда этот был испорчен и никуда более не годился? – отвечал Ропшин.

– Испорчен? Неправда, я его осматривала, и он был цел.

– Да; один есть и целый, а этот распорот.

– Каким же образом, кто его мог распороть?

Ропшин махнул рукой и сказал, что до этого не доберешься, а по подозрениям выходит, что толстый кондитер Иван Савельев, желая дразнить Сида Тимофеевича, брал этот мундир у гардеробщика, и чтобы влезть в него, распорол его спинку.

– И вы потому его и надели на покойника?

– А разумеется: зачем терять хорошее платье?

– Да вы совсем немец, – произнесла Глафира удаляясь.

Ночь она провела лучше прежних, но на рассвете пробудилась от странного сна: она чувствовала опять какие-то беззвучные движения и видела какие-то беловатые легкие нити, которые все усложнялись, веялись, собирались в какие-то группы и очертания, и затем пред ней вдруг опять явился монах, окруженный каким-то неописанным, темновато-матовым сиянием; он стоял, склонив голову, а вокруг него копошились и на самых плечах у него вили гнезда большие белые птицы. И он был так тих и так грустно смотрел ей в глаза и шептал:

«Ну, вот я сдержал мое слово; ну, вот я явился».

«А, я знаю, кто ты: ты Светозар Водопьянов», – подумала в ответ ему Глафира и с этим проснулась.

Непродолжительный, но крепкий сон и это тихое сновидение ее успокоили: она не хотела долее оставаться в постели и сошла вниз навестить гроб.

Утро еще чуть наменивалось на небе, в комнатах было темно, но люди уже встали и шла уборка: в зале при покойнике был один дьячок; он зевал предрассветной зевотой и едва бормотал. Глафира Васильевна постояла, поклонилась гробу и ушла бодрая, крепкая и успокоенная. Нервы ее окрепли и страхи смело как рукой. Через два часа был вынос в церковь. Утро ободняло и перешло в красный и морозный день; готовился вынос; собрался народ – все собралось в порядке; вдова снова сошла в зал. Священники облачились, у чтецкого аналоя стоял Сид и молился, читая без книги: «Расторгнем узы их и отвержем от нас иго их. Живый на небеси посмеется им и Господь поругается им». Сид был тих сам и точно утешал покойного в последние минуты его пребывания в доме. Гроб подняли и понесли: шествие тронулось и в

нем оказался участвующим и Горданов. Он шел издали и не искал случая подойти к Глафире.

Вот и храм: небольшая сельская церковь переполнилась людьми и воздух в ней, несмотря на довольно высокий купол, стал нестерпимо густ; солнце било во все окна и играло на хрусталях горящего паникадила, становилось не только тепло, но даже жарко и душно, головы начинали болеть от смешанного запаха трупа, ладана, лаптя, суконной онучи и квашеной овчины. Чем долее, тем это становилось несноснее, и когда при отпевании все наполнявшие церковь взяли в руки зажженные свечи, Глафире стало казаться, что в насыщающемся дымом воздухе, как будто опять что-то носилось и веяло. Привычные головы и спокойная совесть еще кое-как переносили эту удушающую атмосферу, но Глафира совсем была готова упасть. Она не раз хотела выйти, но боялась выдать себя этим кому-то и в чем-то, а через несколько времени она была уже до такой степени вновь подавлена и расстроена, что не понимала самых простых явлений: сторож полез было по лесенке, чтоб открыть окно, но лесенка была плоха и он, не долезши, упал. Глафире казалось, что это так и следует. В народе заговорили, что «он не пущает»: ее интересовало, кто это «он». В отпевании она только слышала возгласы: «Боже духов и всякие плоти», «паки и паки» и опять слова: «Боже духов и всякие плоти» и опять «паки и паки», и еще и еще «Боже духов!» и «увы мне, увы, земля я и пепел; поношенье и прах»… Ужасно, тяжко, невыносимо до крайности: лоб ломит, силы оставляют, а куда-то всеобщая тяга; в тесноте пред Глафирой расчистилось место: между ею и гробом уже нет никого, ее шлют, ей шепчут: подходите, идите проститься!

Вокруг гроба пустое, свободное место: Глафира оглядывалась и увидала по ту сторону гроба Горданова. Он как будто хотел ей что-то сказать глазами, как будто звал ее скорее подходить или, напротив, предостерегал не подходить вовсе – не разберешь. Меж тем мертвец ждал ее лежа с закрытым лицом и с отпущением в связанных платком руках. Надо было идти, и Глафира сделала уже шаг, как вдруг ее обогнал пьяный Сид; он подскочил к покойнику со своими «расписками» и начал торопливо совать ему в руки, приговаривая:

– На, тебе, на; я добрый раб, я тебя прощаю!

Сида потянули назад, но он не подавался и, крепко держась одною рукой за край гроба, держал и тормошил окостеневшие руки, пока

всунул детские записочки покойного, которые считал его «расписками».

Горданов воспользовался этим моментом; он вскочил на ступень катафалка с тем, чтобы вынуть из рук мертвеца кощунственное отпущение Сида и тем облегчить прощание Глафире, которая в эту же минуту поднялась на ступень с другой стороны гроба. Но лишь только они выровнялись друг против друга, как платок, которым были связаны окоченевшие руки покойника, будучи раздерган Сидом, совсем развязался и мертвец пред глазами всех собравшихся в церкви людей раскинул наотмашь руки…

– Это не я! Это он! – воскликнула Глафира, падая без чувств на пол.

Ее подняли и понесли к дверям. Вынеси на воздух, ее посадили на цоколе и стали заботиться привести в чувство, а между тем погребение было окончено и могила зарывалась.

Горданов в это время ни на минуту не отступал от Глафиры: он зорко за нею следил и боялся ее первого слова, когда она придет в чувство, и имел основание этого бояться. Новая опасность угрожала ему в лице маленькой глухонемой дочери Синтянина, которая, стоя здесь же, между отцом и Ворошиловым, держала в руках хлыст Глафиры с аквамариновой ручкой. Откуда мог взяться в ее руках этот хлыст, бывший с Гордановым в лесу во время убийства и там же невозвратно потерянный и занесенный снегом?

Горданов терял самообладание, заметив, что глухонемая смотрит на него как-то не только особенно, но даже неуместно пристально, и вдруг начинает к нему приступать.

– Чего ей нужно? что такое она хочет сделать?

Он невольно попятился назад, а глухонемая, делая знаки отцу и показывая на Горданова, подавила пуговку в ручке хлыстика и, выдернув оттуда потайной трехгранный стилет, бросила хлыст и стилет к ногам Горданова.

– Господи, трехгранная рана открыта! – воскликнул Ворошилов, поднимая и показывая трехгранный стилет, на котором кровь засохла вдоль всех граней. – Это, если я не ошибаюсь, вещь вдовы покойника.

– Нет, нет, это не моя вещь, – простонала, приходя в чувство, Глафира. – Это… это… – продолжала она, отодвигаясь от Горданова, – я это давно отдала.

– Кому-с?

– Ему. – Она указала на Горданова.

Ворошилов вынул из кармана сложенный лист бумаги и, подавая его одному из главных следователей, проговорил:

– Вы здесь изволите увидать полномочия, по которым я прошу вас сейчас же арестовать и отослать в острог вдову Бодростину и господина Горданова.

Горданов и Глафира только переглянулись.

– Вы Карташов? – прошептал следователь.

– Да, тот, о ком здесь пишется.

– Ваше требование будет исполнено. Взять их!

Глафира и Горданов были арестованы, а Ворошилов, или Карташов, обратясь к унылым мужикам, проговорил:

– Молитесь богу, ребята, правда будет открыта!

– Подай, господи, – дохнула толпа и начала благодарно креститься и окружать со всех сторон глухонемую девочку, которая дрожала и искала глазами мачеху.

Эпилог

Происшествие на похоронах получило быстрейшую огласку. За эффектом этого события были позабыты и схороненная Лариса, и заключенники Форов и Евангел, а целая масса мелочей остались вовсе незамеченными. Так, между прочим, прошла незамеченною смерть старика Сида, который, переживая своего Ирода и увидав поношение Иродиады, упился на кухне вином и, идучи домой, сбился с дороги и попал в конопляную копань, где и захлебнулся. Незаметным остался даже и сам Горданов, который был арестован уже не домашним арестом, а взят в заключение. Везде только ходила басня о мертвеце и в ней полагалась вся суть. Эту весть едва одолевал новый слух, что Карташов, или Ворошилов, оказавшийся контр-фискалом генерала, к которому являлась в Петербурге Глафира, был немедленно отозван, и с ним уехал и его землемер, в котором крестьяне признали слесаря Ермолаича, бывшего в положайниках у Сухого Мартына, когда добывали живой огонь.

Вслед за этою вестью быстро следовала другая: Горданов был отчаянно болен в тюрьме, говорили, что у него антонов огонь в руке и что ему непременно будут ампутировать руку.

Это тоже была истинная правда: Горданов, действительно, был сильно болен и в первый же день ареста требовал ампутации пораженной руки. Ввиду его крайне болезненного состояния допросом его не обременяли, но ампутацию сделали. Он был тверд и, пробудясь от хлороформа после операции, спокойно взглянул на свою коротенькую руку. Ввечеру осторожный смотритель сказал Горданову, что его непременно хочет видеть Ропшин. Горданов подумал и сказал:

– Пусть придет.

Явился Ропшин и с первых же слов сообщил, что он с величайшим трудом нашел к нему доступ чрез подкуп.

– В чем же дело? – спросил Горданов. – Сообщите скорее: мне много нельзя говорить.

Ропшин стал советовать не выдавать Глафиру Васильевну.

– Вам от этого не будет легче, – говорил он, – между тем как вы погубите Глафиру Васильевну… вам некому будет помочь ни одним

грошем.

– Вы правы… что же далее?

– Вы знаете, что Глафире Васильевне теперь одно средство: чтоб опровергнуть все подозрения в соучастии с вами…

– Она даст доказательства, что находится в соучастии с вами, – перебил Горданов.

– Да, она выйдет за меня замуж.

– Желаю вам с нею счастья.

– Покорно вас благодарю; но дело в том, что мне нужно знать, могу ли я рассчитывать на вашу скромность, если предложу вам за это…

– Сколько?

– Пять тысяч.

– Мало.

– Извольте десять.

– Хорошо, а деньги с вами?

– Нет, да вам и нельзя беречь. Я их вам дам, когда… все будет кончено.

– Надуете.

– Я могу думать то же самое относительно вас.

– Меня? Нет, я не вы и не ваша невеста: у меня есть моя каторжная совесть, и вы можете сказать вашей будущей жене, что я ее не погублю – она поверит. Но я хочу ручательства, что я не буду забыт.

– Вы будете иметь доказательства, что о вас помнят.

И Ропшин сдержал свое слово: через день он снова купил свидание с Гордановым и сообщил ему, что Ворошилова немедленно отзовут, арестованных крестьян выпустят и все обвинение ляжет на одного Висленева, который, как сумасшедший, невменяем.

– Это хорошо, – сказал Горданов.

И в тот же день, сделав над собою усилие, больной дал показание, которым от всего выгораживал себя и Глафиру и требовал к себе прокурора, чтобы представить доказательства, что он, Горданов, сам был такая же полномочная особа, как и Карташов, или Ворошилов, и вмешан в дело единственно по интриге, потому что наблюдал за ними.

Столь неожиданное показание это опять все наново переплетало и путало, но гордиев узел внезапно рассекся смертью; ночью того же дня, когда Горданов открылся в качестве наблюдателя за

наблюдателями, ему внезапно сделалось хуже и к утру другого дня он был бездыханен. Врач заключил, что Павел Николаевич умер от антонова огня, а в городе утверждали, что он был отравлен для того, чтобы не открыл ничего более. Истину же знали два человека: Ропшин да острожный смотритель, которому лояльный Генрих честно сообщил деньги, обещанные Горданову.

Со смертью Горданова дело приняло еще новый оборот: теперь во всем выходил виновным один сумасшедший Висленев, который нимало и не оправдывался и оставался совершенно равнодушным к своей судьбе. Он, впрочем, по-видимому, не ясно сознавал, что с ним делали, и ничем не интересовался. Являясь на допросы, он то нес свой вздор и выставлял себя предтечей других сильнейших и грозных новаторов, которые, воспитываясь на ножах, скоро придут с ножами же водворять свою новую вселенскую правду; то вдруг впадал в какой-то раж покаяния и с азартом раскрывал все тайники своей души, и с неуместною откровенностию рассказывал истинную правду обо всем, что он перенес в своей жизни от разных коварных людей и в особенности от Глафиры и от Горданова. Он со слезами на глазах уверял, что эти люди были в злом между собою заговоре на жизнь Бодростина и его, Висленева, обращали в свое орудие; но все эти последующие сознания Жозефа уже не имели значения после первых его заносчивых показаний, которые, в связи со странным его поведением, только укрепили за ним репутацию умопомешанного; и он, наконец, был официально подвергнут освидетельствованию. При этом акте Жозеф снова проговорил все, что знал, утверждая, что он хотел жениться на Бодростиной и что этому нимало не мешало то, что он уже женат, но что Глафира его предала, ибо имела намерение выйти за Горданова, и непременно за него выйдет. Но когда ему сказали, что он ошибается и что вдовы Бодростиной более уже не существует, потому что она на десятый день после смерти Михаила Андреевича вышла замуж за Ропшина, а Горданов умер, то Висленев, нимало этим не смутясь, отвечал:

– Вот, видите, какая, однако, Горданов каналья: он умер, а между тем он меня научал идти к скопцам денег просить.

За все эти заслуги Жозеф был официально признан сумасшедшим, и как опасный сумасшедший, совершивший в припадке безумия убийство Бодростина, посажен в сумасшедший дом, где он и будет

доживать свой доблестный век. Он здоров, и хотя имеет вид утопленника, обладает, однако, хорошим аппетитом. Что касается до его умственной стороны, то хотя сумасшествие Висленева засвидетельствовано самым неопровержимым образом формальными актами, – но все люди, близко знавшие этого героя, находят, что он теперь точно таков же, каков был во всю свою жизнь, из чего многим и приходит на мысль делать вывод, что главнейшее несчастие Жозефа заключается в несвоевременности освидетельствования его рассудка.

Так завершилось дело, на сборы к которому потрачено столько времени и столько подходов, вызывавшихся взаимным друг к другу недоверием всех и каждого. Актеры этой драмы в конце ее сами увидали себя детьми, которые, изготовляя бумажных солдатиков, все *собираются* произвесть им генеральное сражение и не замечают, как время уходит и зовет их прочь от этих игрушек, безвестно где-то погибающих в черной яме.

Остается сказать, что поделалось с другими действующими лицами этого рассказа.

Месяцев пять спустя после убийства и ряда смертей, заключивших историю больших, но неудавшихся замыслов Горданова и Глафиры, часов в одиннадцать утра раннего великопостного дня, по одной из больших улиц Петербурга шла довольно скорыми шагами молодая женщина в черной атласной шубе и черной шляпе. Она часто останавливалась против надписей об отдающихся внаймы квартирах, читала их и опять, опустив на лицо вуаль, шла далее. Очевидно, она искала наемной квартиры и не находила такой, какая ей была нужна.

Сзади ее, невдалеке, шел человек, по походке и бодрости которого тоже надо было полагать, что он еще не начал стариться, хотя голова его была почти наполовину седа, и вдоль каждой щеки лежали по две глубокие морщины.

Когда оба эти лица поравнялись и мужчина равнодушно опередил даму, последняя слегка вздрогнула и, сделав несколько ускоренных шагов, произнесла немного взволнованным голосом:

– Андрей Иванович!

– Александра Ивановна! вы ли это? – воскликнул на этот зов Подозеров.

– Как видите, я сама, – отвечала Синтянина.

– Откуда вы?

– Теперь из Москвы, а в Москву прямо из своего хутора.

– Зачем же вас бог принес сюда?

– Зачем? мой муж очень болен, – и она при этом рассказала, что пуля старика Синтянина, все более и более опускаясь, стала так невыносимо его беспокоить, что он непременно хочет, чтоб ему ее вынули.

– И мы, – добавила она, – третьего дня приехали сюда.

– Только третьего дня?

– Да, мы еще живем в гостинице и я ищу квартиру.

– Квартиру ищете! Позвольте мне вам помочь.

– С удовольствием позволяю: я в этом городе как в лесу, и если вам ничто не мешает мне пособить, то вы сделаете мне большое одолжение.

Подозеров, разумеется, уверил ее, что у него теперь никаких срочных заданий нет, да хотя бы и были, то он не мог бы ими заниматься при такой радости, какую составляет для него встреча со старыми друзьями.

– Квартир мы тоже не станем ходить высматривать, потому что это напрасная трата сил и времени, а вы и без того, кажется, устали.

– Это правда.

– Ну, вот, видите ли. Мы сейчас зайдем в такую контору, где нам за небольшую плату доставят все сведения о свободных квартирах в той местности, где вы хотите.

– Я хочу здесь, вот в этом квартале.

– Непременно здесь?

– Да, непременно здесь или вблизи отсюда, потому что здесь живет хирург, который будет делать операцию моему мужу.

– Разве это уж решено?

– Да, решено; вчера у нас уже были три известные оператора.

– И что же: они находят операцию возможной?

Александра Ивановна пожала плечами, вздохнув тихо, проговорила, что она не знает, что и думать об их ответах: один говорит «нельзя», другой утверждает, что «можно», а третий сомнительно трясет головой.

– Но Иван Демьянович, – добавила она, – разумеется, склоняется на сторону того, который обещает ему вынуть пулю, – и вот потому-то мы и хотим поселиться поближе к тому доктору.

– И прекрасно: я тоже живу здесь по соседству, и хоть небольшая вам будет во мне помощь, а все-таки могу пригодиться.

– Еще бы, и очень даже.

В это время они вошли в контору, получили несколько адресов и через полчаса наняли небольшую, но очень уютную квартиру, по средствам, какими располагала Синтянина.

– Теперь вы, конечно, не откажетесь проводить меня до дому и посетите моего старика?

– Непременно, непременно, и с большим удовольствием, – отвечал Подозеров. – Я Ивану Демьяновичу очень признателен.

– Mersi; он тоже очень будет рад вас видеть: он даже вчера о вас вспоминал. Ему хотелось взглянуть на Петербург, а главное, что ему хотелось достать себе хороший образ Христа, и он все говорил, что вот вы бы, как любитель искусства, могли б ему помочь в этом. Но что же вы сами: что вы и как вы?

Подозеров сдержал вздох и, закусив слегка нижнюю губу, отвечал, что ничего; что он чувствует себя как должно и как можно чувствовать себя на его месте.

– Я думаю, смерть Лары вас ужасно поразила? Я долго не решалась послать Кате депеши; но это было совершенно необходимо вызвать ее к арестованному мужу.

– Да; скажите на милость, что это за дело у Филетера Ивановича?

– Ах, ничего не умею вам сказать: вступался за крестьян, ходил, болтал свои любимые присказки, что надо бы одну половину деятелей повесить на жилах другой, и наконец попал в возмутители. Но теперь, говорят, дело уже не совсем для него несчастливо и верно скоро окончится. Но что же вы, что с вами? вы уклоняетесь от ответа.

– Мне хорошо.

– Счастливый человек и редкий: вам всегда хорошо.

– Да, почти всегда: я занят, работаю, ем в поте лица хлеб мой, а работа – превосходный врач.

– От чего, от какой болезни?

– От всех душевных болезней.

– Значит, они еще не прошли?

– Что ж дивного: я человек, и на мне тоже тяготеют тяжести жизни.

– Теперь вы снова свободны, – проговорила, не подумав, Синтянина.

– Я всегда был свободен, – поспешно ответил Подозеров, и тотчас добавил:

– Если я искал развода, то делал это для спокойствия Лары, но отнюдь не для себя.

Синтянина на него посмотрела и сказала:

– Я так и думала.

– Конечно-с, на что же мне это было? я не веду моей родословной ни от каких славных гусей: я не граф и не князь, чтобы быть шокированным поведением жены.

– Вы Испанский Дворянин.

– Не знаю, но знаю, что меня замарать никто не может, если я сам себя не мараю. Притом же, если для чьего-нибудь счастия нужно, чтобы мы отступились от этого человека, то неужто тут еще есть над чем раздумывать? Я не могу быть спокоен, если я знаю, что кого-нибудь стесняю собою, и удалился от жены, желая покоя своей совести.

– А теперь вы покойны?

– Конечно, мне уже более нечего терять.

Генеральша задумалась и потом проговорила:

– Зачем же все только… терять? Жизни должно быть еще много впереди, и вы можете что-нибудь «найти» и не потерять.

– Перестанем об этом.

– И впрямь я не знаю, о чем говорю, – и с этими словами она вошла в свой нумер, где был ее больной муж.

Генерал Синтянин, обложенный подушками, сидел в одном кресле, меж тем как закутанные байковым одеялом ноги его лежали на другом. Пред ним несколько в стороне, на плетеном стуле, стояла в золоченой раме картина вершков десяти, изображающая голову Христа, венчанного тернием.

Увидав Подозерова, Иван Демьянович очень обрадовался и хотя протянул ему руку молча, но сжал ее с нескрываемым удовольствием.

– Садитесь, – произнес он в ответ на приветствие гостя и на его вопрос о здоровье, – Мать, дай нам чаю, – обратился он к жене и сейчас же добавил, – рад-с, весьма рад-с, что вы пришли. Хотел посылать, да послов не нашел. А видеть вас рад, может скоро умру,

надо с друзьями проститься. Впрочем, у меня-с друзей нет… кроме ее, – добавил генерал, кивнув по направлению, куда вышла жена.

Подозеров промолчал.

– Грустно-с, – заговорил генерал, стараясь говорить так тихо, чтобы не слыхала жена, – грустно-с, достопочтенный мой, умирать обманутым людьми, еще грустнее жить обманутым самим собою.

– Что это у вас за мысли?

– Подвожу итог-с и рассуждаю об остатке: в остатке нуль и отпускаться будет нечем у сатаны. Одни вот-с Его заслуги, вот-с вся и надежда, – заключил он, вздохнув и показав глазами на венчанную тернием голову.

– У вас превосходный заступник, – молвил в тон ему Подозеров.

– Да-с, слава богу, слава ему, – отвечал генерал и, не сводя глаз с картины и переменив тон, продолжал, – вы знаете, я наконец решился сделать себе операцию: хочу, чтобы вынули эту проклятую пулю.

– Разве она стала вас очень беспокоить?

– Да, ужасно беспокоит, – и генерал весело прошептал: – Это-с ведь бесовская пуля. Да-с, я ведь происхожу из кантонистов; я был простой солдат, простой и добрый солдат-товарищ; мать свою почитал, а как эта проклятая пуля в меня попала, я пошел в чины, сделался генералом и всю жизнь мою не вспомнил бога. Да-с, но он меня вспомнил: я чувствую – он скоро придет… Я снова знаю, как он приходит; когда я мальчишкой пас чужих жеребят, я видел его и еще, когда кантонистом в казармах рыдал я раз ночью о своей крестьянке-матери. Он тоже был благ; но с тех пор, как я… стал всех мучить… Вот я купил… вчера эту… картину, – громче говорил он, услыхав шаги возвращающейся жены, – говорят, будто это работы Гверчино… не самого Гверчино, может быть его школы…

– Голова писана со смыслом.

– Да, я читал, что Гверчино писал вдохновенно. Как вы находите?

– Сильная кисть и освещение сверху… да это как будто манера Гверчино… умно и тепло.

– Нет, выражение?

– И выражение мне нравится.

– А все не то, а все не то, что я знал в детстве…

И Синтянкн сбросил с ног одеяло и тихо вышел за перегородку, унося с собою картину.

– У него часто такие минуты? – спросил шепотом генеральшу Подозеров.

– С давних пор почти постоянно погружен в размышление о боге и о смерти, – отвечала та едва слышно.

Из-за перегородки послышался вздох и слова: «помилуй, помилуй!». Синтянина молча стояла посреди комнаты.

– Зачем вы не взяли сюда Веру? – прошептал Подозеров.

– Веру?

– Да; она бы очень много хорошего вносила собою в его душу.

– Вера…

И генеральша, заметив тихо входившего мужа, не договорила, но Иван Демьянович, слышавший имя Веры, тихо молвил:

– Моя Вера умерла.

– Вера умерла!

– Да, умерла. Разве Alexandrine вам не рассказала, как это случилось?

– Нет.

– Вера моя простудилась, искав ее (он указал на жену) и найдя этот стилет, которым Горданов убил Бодростина.

– Вы уверены, что это сделал Горданов?

– Уверен, и все уверены. Более-с: я это знаю, и вы мне можете верить: пред смертью люди не лгут. Горданов убил, да-с; а потом Горданова убили.

– Да, я читал, что он умер в остроге.

– Он отравлен, и отравил его Ропшин.

– Ропшин! Зачем это Ропшину было?

– Он пустил в воду концы. Вот в это время, как вы с Сашей ходили искать квартиры, ко мне заходил тот… Карташов, или этот… знаете, который был там?..

– Ворошилов, – сухо подсказала генеральша.

– Вот именно!.. Но дело в том, какие он мне сообщил чудеса: во-первых, он сам, все это открывший, чуть не остался виноват в том, зачем открыл, потому что в дело вмешалось соперничество двух наблюдательных персон, бывших на ножах. Оттого все так в комок да в кучу и свертелось. Да что об этом толковать. Я лучше сообщу вам приятную новость. Майор Форов освобожден и арест ему вменен в наказание.

– Да, слава богу, бедная Катя теперь оживет.

– Оживет? Гм!.. Вот будет странность.

– А что же с ней такое? – живо вмешался Подозеров.

– Что с ней тако-ое? – переспросил генерал. – Да разве Alexandrine вам ничего не сказала?

– Нет; да и Катерина Астафьевна сама мне тоже, как уехала, ничего не пишет.

– Чему же вы тут удивляетесь?

– Да все-таки хоть бы немного, а следовало бы написать.

– А если нечем-с написать-то?

– Как так?

– У бедной Кати был легкий удар, – молвила генеральша.

– Наперекоски хватило-с: правая рука и левая нога отнялись.

– Какое несчастие!

– Да-с; подбираемся-с, подбираемся… и заметьте-с, что довольно дружно один за другим. А ведь в существе нечему здесь много и удивляться: всему этому так надлежало и быть: жили, жили долго и наступила пора давать другим место жить. Это всегда так бывает, что смерти вдруг так и хлынут, будто мешок прорвется. Катерина же Астафьевна, знаете, женщина тучная, с сердцем нетерпячим… приехала к нам как раз во время похорон Веры, узнала, что муж в тюрьме, и повезла ногой и руку повесила.

– Но позвольте же: ей всего сорок пять, сорок шесть лет? – перебил Подозеров.

– Даже сорок четыре, – поправила Синтянина.

– Ну так что же-с такое? Хотите верно сказать, что, мол, надо лечить? Ее и лечили.

– Ну-с, и что же?

– И ничего: лекаря мази выписывают, в аптеках деньги берут, а она все левою рукою крестится и увалит бога: «прав Ты, Боже, меня наказуя; дай Ты грешной плоти моей настрадаться».

– Женщина благороднейшего характера и великой души, – произнес Подозеров.

– Катя – ангел, – заключила Синтянина, – и она…

– Выздоровеет? Разумеется выздоровеет, – говорил, стараясь придать голосу как можно более уверенности, Подозеров.

– Нет, она умрет, – отвечала, слегка побледнев, генеральша.

– Умрет? Почему?

Александра Ивановна пожала плечами и проговорила:

– Не знаю сама почему… но так как-то… она здесь все совершила земное…

По переходе Синтяниных в их новое помещение, на другой день вечером, все эти три лица опять собрались вместе и, ведя тихую беседу пред камином, вспоминали немногих милых им лиц, остающихся еще там, на теплых пажитях, и заговорили о Евангеле и о Форове. Собеседники припоминали то те, то другие из оригинальных выходок майора, слегка посмеивались над его безверием и напускным нигилизмом, и все соглашались, что не дай бог ему пережить Катерину Астафьевну, что он этого наверно не перенесет. Среди такого рода беседы вдруг неожиданно дрогнул дверной звонок и почтальон подал письмо, адресованное генералу в Москву, а оттуда пересланное в Петербург, в гостиницу, и там направленное наконец сюда, на новое его помещение.

– Это письмо от отца Евангела, – сказал генерал, – и притом большое письмо: все вижу пестреют в строках имена. Верно новости. Не читать ли-с вслух?

– Конечно, – отозвалась генеральша.

И генерал начал читать вслух письмо Евангела, которое тот сам в начале же называл письмом «плачевно-утешительным». В этом письме Евангел, с своим духовно-поэтическим юмором, путавшимся в тяжелых фразах семинарского построения, извещал, что «Господу Богу, наказующу и благодеющу, угодно было, чтобы дела, запутанные человеческим бесстыдием и злобой, повершились судом, необозначенным в уложениях, в коих за безверие взыскивается, но самый завет Божеский не соблюдается». Евангел повествовал, что, по внезапной смерти Горданова, за которою не замедлил еще более неожиданный «скоропостижный брак неутешной вдовицы Глафиры Васильевны Бодростикой с Генрихом Ропшиным», дело о самой смерти покойного Бодростина как-то вдруг стушевалось и все остаются довольны, не исключая главного виновника, умопомраченного Висленева, сидящего в сумасшедшем доме, чем он не только не обижен, но, напротив, необыкновенно дорожит этим удобным положением и сам до того за него стоит, что когда кто-то над ним подшутил, будто жена намеревается его оттуда вынуть и взять на

поруки, то Жозеф страшно этим встревожился и сам всем напоминал, что он опасный помешанный и убийца, на каковом основании и упрашивал не выдавать его жене, а, напротив, приковать на самую толстую цепь и бросить ключ в море, дабы ни жена, ни Кишенский как-нибудь не похитили его насильственным или тайным образом. «Они хитрые», внушал он начальству дома умалишенных, требуя строжайшего за собою присмотра, «я вас для вашей же пользы предупреждаю: строго меня держите, а то они меня украдут, а я опять кого-нибудь убью и вам очень дурно за это может достаться». «Сим манером запугивая, казусный оный криминальник (продолжал Евангел) столь все свое начальство подчинил своей власти, что его даже на две цепи посадили, что и не кажется никому излишним, ибо он, что день, все объявляет себя на большие н большие злодеяния склонным и способным». Таким образом этот виновник смерти Бодростина, по уверению Евангела, оставался своею участью совершенно доволен, Горданов, по его словам, тоже, вероятно, должен быть доволен, ибо после столь гнусной жизни ему потребен смертный покой, дабы не причинять большого беспокойства, которое он, как открылось, намеревался сделать всем жаждущим быстрого обогащения, предполагая завести в разных местах конторы для продажи на сроки записок на билеты правительственных лотерей. Он хотел везде продавать записки на *одни и те же* билеты на срочную выплату и, обобрав всех, уйти в Швейцарию.

«О себе скажу, писал Евангел, что и сам ни на что не ропщу. Хотя я и посидел некую годину злую во узилище, но зато осиялся там силою новою, при коей мне мнится якобы уже ничто не страшно. Паинька моя хотя неспокойно приняла сие мое злоключение под видом бунтовщика, но зато и в ее душе промелькнуло, что нам с ней нет разъединения, ибо разлученные телами, мы с нею непрерывно чувствовали себя вместе, а телесная разлука неизбежна и к оной надо себя держать в готовности. Превелелебному Генриху в сем деле и говорить нечего, какая благая часть досталась: столь славной и богатой жены мужем он, я мыслю, и не чаял сделаться, а Глафире Васильевне тоже нескудная благодать, ибо она сим оборотом все взоры отвела от всего ей неподобного, да и мужа получила вежливого, который ее от всех тяжестей управления имениями и капиталами ее вполне освободил, и даже собственноручные ее расходы, говорят, весьма

точною цифрою ограничил, так что она от всех ныне соблазнов гораздо независимее. Ларисе Платоновне и той не к худу это послужило, ибо дало ей силы печали свои окончить смертью вольною, о коей разные можно иметь мнения, так как и между верующими писателями есть мыслители, не осуждающие вольной смерти, ибо в иных случаях не все ли в некоей степени одинаково, отпустить себя своею рукой или чужую навести на себя? А хотя бы и не так, то была она женщина, – сосуд скудельный и слабый, и за то ей простится все, а побуждение ее было, конечно, благородное: освободить того, кого она счастливым сделать была обязана, да не сумела. И сему тоже будет ко благу, да не обольщается наперед сей философ, что мы, будучи созданы по образу Божию, такую же и власть Божию имеем, что довольно нам сказать расслабленному: „возьми одр твой и ходи“, чтоб он тотчас же встал и начал ходить по слову нашему. Нет, это не так: надо бережно обращаться с соплетением жил, связующих дикое мясо с живым организмом, и ради спасения сего организма потерпеть иногда и гадкое мясо дикое».

Генерал остановился и, взглянув на Подозерова, заметил, что это на его счет nota bene, но, не получив ни от кого никакого ответа, продолжал далее чтение письма, в котором автор, отыскивая благо для всех потерпевших от зла, доходил до супругов Форовых и в том же задушевном, покорном и грустно-шутливом тоне начал:

«Другу моему Катерине Астафьевне во всем этом было последнее испытание, которое она до самого последнего своего конца выдержала с величайшею для себя честью».

– Как до самого последнего конца? – перебила генеральша.

– Так здесь написано: «до самого последнего своего конца».

– Что это такое? – сказала тревожно Александра Ивановна и, встав, поглядела через плечо мужа в листок, прочла что-то молча глазами и молча же села на прежнее место. По щекам ее текли две длинные, серьезные слезы, которые заметил и Подозеров, и генерал, и оба отгадали в чем дело, и старик продолжал чтение.

«До последнего конца своего (читал генерал) она не возроптала и не укорила Провидение даже за то, что не могла осенить себя крестным знамением правой руки, но должна была делать это левою, чем и доказала, что у иных людей, против всякого поверья, и с левой стороны черта нет, а у иных он и десницею орудует, как у любезного

духовного сына моего Павла Николаевича, который пред смертью и с Богом пококетничал. Кончина же сея доброй мироносицы воспоследовала назад тому восемь дней весьма тихая и праведничья и последовала она не от какой-либо сугубой скорби, а от радости, ибо было в этот день объявлено нам весть, что Форов от обвинения в бунтовничьей крамоле вторично и окончательно освобождается… Весть сия Катерину Астафьевну столь резко обрадовала, ибо была против всех наших ожиданий, что она воспрыгнула и было обе руки подняла, чтоб обеими благословить Господа милости, но, произнеся звук „сла“, упала навзничь и отошла тихо и безболезненно. И я, все это видевый, дал ей глухую исповедь и свидетельствую вам о ее спокойной кончине и о том тоже присовокупляю, что муж ее был сим событием ожесточенно тронут, ибо имел к тому и весьма внушительный случай. Трафилось так, что лучше нарочно и первостатейный сочинитель не придумает: благоволите вспомнить *башмаки*, или, лучше сказать, историю о башмаках, которые столь часто были предметом шуток в наших собеседованиях, те башмаки, которые Филетер обещал принести Катерине Астафьевне в Крыму и двадцать лет купить их не собрался, и буде вы себе теперь это привели на память, то представьте же, что майор, однако, весьма удачно сию небрежность свою поправил, и идучи, по освобождении своем, домой, первое, что сделал, то зашел в склад с кожевенным товаром и купил в оном для доброй супруги своей давно ею жданные башмаки, кои на нее на мертвую и надеты, и в коих она и в гроб нами честно положена, так как, помните, сама не раз ему говорила, что „придет-де та пора, что ты купишь мне башмаки, но уже будет поздно, и они меня не порадуют“. Совершенно так все оно и случилось по ее прорицанию, на что я и обратил его внимательность. Форов был прежалкий: он все время похорон даже нервно дрожал и сердился, кусал ногти и, не чувствуя слез, кои из глаз его выпрыгивали, до того представлялся грубым и неласковым, что даже не хотел подойти ко гробу и поцеловать жену, и отвечал: „Зачем я стану ее мертвую целовать, когда я ее вволю живую целовал“. Так религиозно храня свое грубое неверие и представляясь бесчувственным, он и не прощался с покойною: уверяя, что он с мертвыми никаких отношений не умеет соблюдать и все это считает за глупые церемонии. Но подивитесь же, какая с самим с ним произошла глупость: по погребении Катерины Астафьевны, он,

не зная как с собой справиться и все-таки супротив самой натуры своей строптствуя, испил до дна тяжелую чашу испытания и, бродя там и сям, очутился ночью на кладбище, влекомый, разумеется, *существующею* силой самой любви к *несуществующему* уже субъекту, и здесь он соблаговолил присесть и, надо думать не противу своей воли, просидел целую ночь, припадая и плача (по его словам от того будто, что немножко лишнее на нутро принял), но как бы там ни было, творя сей седален на хвалитех, он получил там сильную простуду и в результате оной перекосило его самого, как и его покойницу Катерину Астафьевну, но только с сообразным отличием, так что его отец Кондратий щелкнул не с правой стороны на левую, а с левой на правую, дабы он, буде вздумает, мог бы еще правою рукой перекреститься, а левою ногой сатану отбрыкнуть. Не знаю, однако же, удосужится ли его высокоблагородие это сделать, ибо после сего, полученного им первого предостережения, весьма возможно вскоре и второе, а потом с третьим все издание его брения и вовсе может быть закрыто. До сих пор по крайней мере он не хочет еще мне доверять и даже на самое сие предостережение весьма злится, и как оный утонувший в пьяном виде в канаве бодростинский Сид изрыгает похвальбу, что, пожалуй, всех нас переживет и научит, как можно никаких предостережений не слушаться. Но, впрочем, его вы скоро самолично увидите, так как господин майор, тяжело двигая правою ногой, быстро собирается течь в оный ваш всепоглощающий Петербург, а причину своей поездки от меня скрывает, говоря, что я ее не одобрю, а он не желает разбиваться в своих мыслях, ибо делает то, что вздумал единственно лишь именно ввиду обстоятельств и побуждаемый к тому полученным им первым предостережением. На днях вы его сами узрите и тогда мне придется вам завидовать, что вы опять и на чужбине, в оном немецком *бурге*, соберетесь всею остающеюся пока нашею наличностию вкупе, тогда как мы с Паинькой все более сиротеем. И будете вы прежде меня знать, как друг мой Филетер Иванович с предостерегающим его начальством в брань войдет. Замыкаю же сие мое обширное послание к вам тою вестью, что я о вас обо всех молюсь, желаю вам здоровья и всех благ, и утверждаю и вас в истине, что все бывает ко благу, так как и в сем трепетном деле, которое мы недавно только пережили, вам, государь Иван Демьянович, тоже дана, по моему мнению, добрая наука: вам, вечно надеявшимся

на силу земной власти, окончание гордановского дела может служить уроком, что нет того суда, при котором торжество истины было бы неизбежно. Паинька моя всем вам кланяется и уверяет, что Андрей Иваныч непременно скоро женится, ибо, употребляя ее ученые выражения, он до сих пор „наблюдал в любви одну тактику, а теперь станет соблюдать практику“. Соглашаюсь, что сей учеными словами украшенный дискурс от жены моей страдает как бы некоею изрядно-свойственною ей бестолковостью, но тем не менее как бывали уже случаи, что о вещах, сокрытых от мудрых и премудрых, пророчествовали слепцы, то и сии убогия ея прорицания приимите от вновь паки свои права священства восприявшего Евангела Минервина».

– Вот и все письмо, – проговорил генерал, складывая листок, – и какое интересное письмо.

– Да, очень интересное, – отвечала с горечью Синтянина, сидя в том же неподвижном положении. – Нет более моей Кати, нет моего лучшего друга.

– Да, ширится кладбище, – молвил Подозеров.

– Ну, что делать: жили, жили вместе, пора, видно, начать невдалеке один за другим и умирать, – произнес генерал и, поглаживая себе поясницу, точно начал высматривать, где бы, по расположению комнаты, удобнее было поставить очередной стол для его тела.

Генерал недаром осматривал себе место: немного спустя после этого дня, Подозеров, застав его дома одного, имел случай убедиться, что Синтянин, приготовляясь к операции, приготовляется и к смерти. Иван Демьянович встретил гостя с усвоенною им в последнее время приветливостью, в которой, однако, на этот раз было еще что-то торжественное, задушевное и серьезное. Кто видал человека, приготовляющегося выдержать серьезную операцию, тот, конечно, заметил то особенное внушающее «нечто», которое за несколько дней до операции разливается по лицу больного. Это «нечто», угнетающее гораздо более, чем ожидание самой смерти, это ожидание пытки, выражающееся обыкновенно своеобычною печатью силы и смирения.

Синтянин подвел Подозерова к столу, на котором лежал лист бумаги со свежею еще подписью Ворошилова, и прошептал:

– Прочтите и подпишите.

Бумага эта было духовное завещание, которым Синтянин упрочивал за женой все свое небольшое состояние, стоившее около десятка тысяч.

Подозеров подписал.

– Благодарю вас, – сказал, принимая от него бумагу, генерал. – Это необходимая вещь. Нужно оградить Сашу от всяких беспокойств. Я поздно об этом подумал. Кроме этого, у нее будет мой пенсионишка, но она его лишится, когда выйдет замуж.

– Почему же вы думаете, что Александра Ивановна непременно выйдет замуж?

– Да это так должно быть, но не в том дело, а вот что-с: вот я вам поручаю письмо, вам нет нужды знать его содержание.

– Совершенно справедливо.

– Когда я умру и когда меня похоронят, отдайте это письмо моей жене.

– Извольте.

– Непременно лично сами отдайте, – добавил генерал, вручая Подозерову пакет.

– Непременно исполню все так точно, как вы хотите, – отвечал Подозеров, и недолго ожидал, когда настало время исполнить это поручение.

Операция, сделанная Синтянину, была объявлена счастливою, а результатом ее была смерть, которая, разумеется, отнесена на счет несчастной случайности. Генерал был похоронен, и его вдова осталась одинокою. Она не растерялась ни на одну минуту, не шаржировала своего положения, она ничем не затруднялась и ничего не проектировала. О своих намерениях она вовсе молчала, даже ежедневно навещавшему ее Подозерову не было известно, долго ли она останется в Петербурге, или же немедленно уедет назад к себе в хутор. После трех дней, в течение которых было много хлопот о погребении, Подозеров и генеральша виделись всякий день, но потом, после похорон, они вдруг как бы начали друг друга чуждаться: они встречались с удовольствием, но затруднялись беседовать, как бы боясь сказать что-нибудь такое, что не должно. Наконец, по возвращении Александры Ивановны на девятый день из церкви, Подозеров, будучи обязан исполнить просьбу покойного, сказал ей:

– Я имею к вам маленькое поручение.

Синтянина поглядела на него и спросила:

– Какое?

– У меня есть к вам письмо.

– От кого?

– От того, от кого вы теперь всего менее можете этого ожидать.

Александра Ивановна посмотрела на него и проговорила:

– Вероятно, от моего покойного мужа?

– Да, вы отгадали, он отдал мне это письмо за пять дней до своей смерти и взял с меня слово передать его вам лично в девятый день по его смерти. Вот это письмо.

И он подал вдове конверт, на котором было написано ее имя, с припиской: «прошу распечатать и прочесть немедленно».

«Прошу распечатать и прочесть немедленно», – повторила генеральша и, спокойно сломав печать, пробежала несколько строк и тотчас же сжала листок в руке и покраснела.

– Вы меня извините, я с вами теперь на часочек прощусь, – попросил, не желая ее стеснять, Подозеров.

Вдова кусала губы и краснея продолжала молчать.

– Прощайте, – повторил Подозеров, подавая ей руку.

Но Александра Ивановна тихо отвела от себя эту руку и, затрудняясь, проговорила:

– Постойте, пожалуйста… вам нельзя уходить… Здесь есть очень странный каприз…

– Что такое?

Смущение генеральши на минуту еще усилилось, но потом внезапно как бы сразу ее оставило; она развернула смятый листок и, тщательно положив его снова в конверт, проговорила:

– Возьмите это письмо.

Подозеров взял.

– Теперь прочитайте его.

Он вынул листок, прочел его глазами, и смущение, овладевшее несколько минут пред тем Александрой Ивановной, теперь овладело им.

– Что же, – начал он после паузы, – я должен исполнить то, что здесь сказано.

– Да.

– Вы позволяете?

– Я не имею права запретить.

– Я читаю.

И он прочитал вслух:

«Сознавая, сколь я всегда был недостоин прекрасной и доброй жены моей и опасаясь, чтоб она после моей смерти, по своей скромности и по скромности человека, ею любимого и ее любящего, не оставалась вдовой, я из гроба прошу ее, не соблюдая долгого траура, выйти замуж за Андрея Ивановича Подозерова. Чем скорее ими будет это сделано, тем скорее я буду утешен за могилой и успокоен, что я не всю ее жизнь погубил и что она будет еще хоть сколько-нибудь счастлива прежде, чем мы встретимся там, где нет ни жен, ни мужей, и где я хочу быть прощен от нее во всем., что сделал ей злого.

Если жена моя, прочтя эти строки, увидит, что я ошибался и что она никогда не любила того, о ком я говорю, то она должна поправить мою ошибку, предав это письмо сожжению; но если я разгадал ее сердце, то да не оскорбит она меня неискренностию и передаст это письмо тому, кто его ей вручил. Такова моя воля, которую я завещаю исполнить».

Далее была черта и под нею следующая приписка:

«Андрей Иваныч! Я знал и знаю, что моя жена любит вас с тою покойною глубиной, к которой она способна и с которою делала все в своей жизни. Примите ее из рук мертвеца, желающего вам с нею всякого счастия. Если я прав и понимаю ваши желания, то вы должны прочесть ей вслух это мое письмо, когда она вам его передаст».

– Я прочел, – сказал Подозеров.

– Слышу, – отвечала, закрыв рукой глаза, генеральша и, отворотясь, добавила, – теперь уйдите пока, Андрей Иваныч.

На другой день Подозеров пришел к Синтяниной позже часа, в который он обыкновенно ее навещал, и застал ее чем-то занятою в ее спальне.

Она вышла к нему через несколько минут и не успели они повидаться, как вдруг кто-то позвонил, и прежде чем хозяйка и гость могли сообразить, кто бы мог быть этим посетителем, густой бас, осведомлявшийся об Александре Ивановне, выдал майора Форова.

Филетер Иванович был точно тот же, каким мы его всегда привыкли видеть, в своем вечном черном, полузастегнутом сюртуке, в

военной фуражке с кокардой и с толстою папиросой в руке, но он держал больную левую руку за бортом сюртука и немножко волок правою ногой.

– Здравствуйте-с, здравствуйте! – отвечал он на радостные приветствия хозяйки и сейчас же, поцеловав ее руку, обратился к Подозерову. – Ну что же это за протоканальи такие у вас архитекторы-то? А?

– А что такое?

– Да как же-с: идут ступени на лестнице и вдруг терраса и посредине террасы, где не ожидаешь, еще опять ступень, идешь, хлоп и растянулся. Ведь за это вешать надо их брата.

– Да бросьте вы о лестницах! – перебила его генеральша, – говорите скорее о том, откуда вы и что там у нас?

– Откуда – сами знаете, а насчет того, что у нас, то у нас ничего: произошел небольшой «мор зверей», но еше довольно скотов сохраняются вживе.

– Да звери бы пусть умирали…

– Ну, уж извините меня, а я не так думаю, – мне звери милее скотин. При этой смете, позвольте доложить, что господин и госпожа Ропшины вам кланяются: они еще не издохли, и даже не собираются.

– Но ваша жена! ваша жена!

– Она умерла.

– И вы об этом так равнодушно говорите?

– А что же вы хотите, чтоб я выл, как собака, чтобы меня за это от всех ворот гнали? Благодарю-с. Да я, может быть, и сам скоро умру.

– Да вы простите меня, Филетер Иванович, вы, пожалуйста, не пейте, а то в самом деле…

– Ну, уж сделайте ваше одолжение, – перебил майор, – никогда не пробуйте надо мною двух штук: не совращайте меня в христианскую веру, потому что я через это против нее больше ожесточаюсь, и не уговаривайте меня вина не пить, потому что я после таких увещаний должен вдвое пить, – это уж у меня такое правило. И притом же мне теперь совсем не до того: пить или не пить, и жить или не жить. Меня теперь занимают дела гораздо более серьезные: я приехал сюда «по пенсионскому вопросу».

– Это еще что за вопрос такой? – спросил, удивясь, Подозеров.

– А в том-то и дело, что есть такой вопрос, и я вот с ним третий день вожусь в Петербурге…

– Вы уже здесь третий день?

– Да, а что такое!

– И не заглянули ко мне? – попеняла генеральша.

– Некогда было-с: прежде всего дело, я должен спешить, потому что мне скоро шестьдесят лет и, видите, ногу едва волочу: Кондрашка стукнул… Я ведь приехал с тем, чтобы жениться.

Слушатели так и ахнули.

– Как жениться? – спросили они оба в один голос.

– Разумеется, законным браком.

– На ком же?

– Само собою разумеется, что на превосходнейшей особе, – на госпоже Ванскок.

– Ну-с?

– Не погоняйте, я и так расскажу: вы знаете, как, говорят, будто богатыри, умирая, кричали: «на, на, на», – значит богатырскую силу передавали?

– Так что же?

– Вот так и я: я теперь развалина, а она молода, – ей, бедной, жить надо, а жить женщине трудно и тяжело, так я хотел ей свой пенсион передать. Этому меня Евангелова попадья один раз научила, и я нахожу, что это очень практично.

– Enfant terrible[108] с седыми волосами, – проговорила, впервые во вдовстве своем рассмеясь и качая головой, Синтянина. – Вон что он сделал из благого совета!

– То-то и есть, что я из него ничего не сделал, потому что это благороднейшее существо отвергло мое предложение.

– Это та, которую вы называете Ванскок: она вас отвергла?

– Да-с, не только меня, но и мой пенсион! Явясь бароднейшей девице Ванскок, я ей предъявил, что я уж совсем дрянь и скоро совсем издохну, и предлагаю ей мою руку вовсе не потому, чтобы мне была нужна жена для хозяйства или чего прочего, но хочу на ней жениться единственно для того, чтоб ей мой пенсион передать после моей смерти, но… эта благородная и верная душа отвечала, что она пренебрегает браком и никогда против себя не поступит даже для виду. «А к тому же, – добавила она, – и пенсиона ни за что бы не взяла, так

как моя оппозиционная совесть не дозволяет мне иметь никаких сделок с правительством». Каково-с?

– Довольно оригинально, – ответил Подозеров.

– Оригинально? Очень о вас сожалею, если это вам только оригинально. Нет, это-с грандиозно. Я уважаю крупные черты и верность себе даже в заблуждениях.

– Да, я даже с удовольствием слушаю про это высокомерие о сделках; а что до браков, то ведь они самим же женщинам нужны.

– Нужны, да, нужны, особенно для таких, как те стриженые барышни, которые, узнав от Ванскок о моем предложении и о ее благородном отказе, осаждали меня вчера и сегодня, чтоб я вместо Ванскок «фиктивно» женился на них. Да, да, да: для этих браки нужны, а для меня и благородной Ванскок – нет: мы и так хороши.

– А что же вы всем другим вместо брака дадите?

– А ничего не дадим! Не наше дело. Мы знаем, что для нас не надобно, а что вам нужно – вас касается. Вы нас победили больше, чем хотели: и установляйте свои порядки, да посчитайтесь-ка теперь с мерзавцами, которые в наш след пришли. Вы нас вытравили, да-с; голодом шаршавых нигилистов выморили, но не переделали на свой лад, да-с. Великая Ванскок издохнет зверенышем и не будет ручною скотинкой, да-с! А вон новизна… сволочь, как есть сволочь! Эти покладливее: они какую хотите ливрею на себя вздену и любым манером готовы во что хотите креститься и с чем попало венчаться… Ну, да довольно. Прощайте, я спешу в десять часов на поезд.

– Как на поезд? разве вы нынче уж и уезжаете?

– Непременно; вон там, у двери, и мешок мой, да и что мне здесь делать? Довольно: Ванскок меня укрепила, что не все-с, не все зверки в скотин обратились, есть еще люди, каких я любил, а вам я не нужен. Ведь вы к нам назад не поедете?

Генеральша промолчала.

– Молчите, значит я угадал: не поедете, и прекрасно, право, не тратьте-ка попусту время, смерть медлить не любит.

– Ну, пусть же ее подождет, я еще не жила, – отвечала генеральша.

– Да; вы поживите и, пожалуйста, хорошенько поживите: вы ведь русалочка, в вас огонек-то и под водой не погас. Ну и прекрасно, когда же ваша свадьба?

– Скажите, когда? – повторил этот вопрос, подходя и беря ее руку, Подозеров.

– Вы помните сами, как это нам завещано, – ответила Александра Ивановна.

– В том письме сказано: «как можно скорее».

– Надо так и…

– Так послезавтра?

– Филетер Иванович!

– Что-с?

– До послезавтра… для моей свадьбы вы можете здесь подождать?

– Извольте, могу, но дело в том, что вам надо меня где-нибудь спрятать, а то меня эти барышни очень одолели с своим желанием вступить со мною в брак.

– Ну, мы вас скроем, – отвечал с улыбкой Подозеров, уводя Форова к себе.

Через два дня, вечером, он и его жена провожали майора на станцию железной дороги.

– И вот мы муж и жена, и вот мы одни и друг с другом, – сказал Подозеров, отъезжая с женой в карете после ухода поезда.

– Да, – уронила тихо Александра Ивановна.

– Ты хочешь молчать?

– Нет; я хочу жить! – отвечала она и, обвив руками голову Подозерова, покрыла ее зовущими жить поцелуями.

Год спустя, у двери, на которой была прибита дощечка с именем Подозерова, позвонил белокурый священник: он спросил барина, – ему отвечали, что его нет теперь дома.

– Ну, госпоже доложите, что приезжий священник Евангел, – произнес гость, но прежде чем слуга пошел исполнить его просьбу, в комнатах послышался радостный восклик, и Александра Ивановна, отстранив человека, бросилась священнику на шею.

Тот вдруг заплакал и потом, оправясь, сказал:

– Дайте же войти: нехорошо в дверях попа целовать.

– Вы, разумеется, у нас остановитесь?

– Могу, для того, что и вещи мои еще здесь на дрожках.

Александра Ивановна послала за вещами, устроила Евангелу уголок, напоила его чаем и показала ему своего сына.

– Хорош, – оценил Евангел, – да вам и надлежит не быть смоковницей неплодною: я думаю, вы добрая мать будете.

Та сделала тихую гримаску и с укоризной себе проговорила: «балую его немножко».

– Немножко ничего, – ответил Евангел, – а много опасайтесь. У госпожи Глафиры Васильевны тоже родился сын.

– Вот! мы о них мало слышим.

– Да, разъединились вовсе, но того-с… она того… балует ребенка очень, и одна ей в нем утеха.

– Говорят, она несчастлива?

– Свыше меры. Наказан страшно темный путь в ее делах. Сей муж ее – ужасный человек-с: он непременно тайну какую-нибудь ее имеет в руках… Бог знает: говорят, что завещание, которым ей досталось все – подложно, и будто бы в его руках есть тому все доказательства; но что-нибудь да есть нечисто: иначе она ему не отдала бы всего, а ведь она в таком бывает положении, что почасту в рубле нуждается!

– Я это слышала, что будто даже Форов ей ссужает деньги.

– Он почти весь свой пенсион ей отдает.

– И та берет?

– Ну, вот подите ж? Да что и делать: не на что за лекарством послать, ни мариландской папироски выкурить. А у Ропшина просить тяжеле, чем занять у Форова.

– Однако, какая ужасная жизнь!

– О, она наказана жестоко.

– А вот и мой муж идет! – воскликнула Александра Ивановна, заслышав знакомый звонок.

После радостных свиданий и обеда, Евангел, удалясь с Подозеровым в его кабинет, обратился к нему с грустным видом:

– Не хотел я для первого свидания огорчать Александру Ивановну и не все ей сказал. Ведь Форов, знаете, тому недели с три, из-за Глафиры так жестоко с Ропшиным поругался, что при многих гостях дал ему слово публично в собрании дать оплеуху; пришел гневный ко мне, лег в бане поспать и…

– Не проснулся?

– Вы отгадали.

– Значит, последний из нигилистических могикан свалился.

– Да вот в том-то и дело, что еще был ли он тем самым, чем старался казаться!

– А что? Нет, я думаю, что Форов до известной степени был себе верен.

– До известной степени, это, пожалуй, так. А то ведь его окостенелая рука тоже была с крестным перстосложением. Никто же другой, а сам он ее этак сложил… Да может и враждовал-то он не по сему глаголемому нигилизму, а просто потому, что… поладить хотел, да не умел, в обязанность считал со старою правдой на ножах быть.

– Пожалуй, вы правы; ну а что скажете, как Висленев?

– Здоров как стена. Паинька сшила ему ватошничек из зеленого платья покойницы Веры, он взял и говорит: «Вот что меня погубило: это зеленое платье, а то бы я далеко пошел». Он-таки совсем с ума сошел. Удивительно, право: чего не было – и того лишился! Кой же леший его когда-то политикой обвинял? А? Я этому тоже удивляюсь.

– Все удивительно, отец Евангел, – вы были бунтовщик, я – социалист, а кому это было нужно?

– Не понимаю.

– И не поймете.

– Именно, именно, как проведешь пред собою все, что случилось видеть: туман, ей-богу, какой-то пойдет в голове, кто тут ныне самого себя не вырекается и другого не коверкает, и изо всего этого только какая-то темная, мусорная куча выходит.

– Да, да, нелегко разобрать, куда мы подвигаемся, идучи этак на ножах, которыми кому-то все путное в клочья хочется порезать; но одно только покуда во всем этом ясно: все это пролог чего-то большого, что неотразимо должно наступить.

Впервые опубликовано – журнал «Русский вестник», 1870.

---

notes

Примечания

1

с Богом *(лат.)*.

для себя прусскую кислоту *(лат.)*.

З

прежняя *(франц.)*.

у вас *(франц.)*.

5

дорогой друг *(франц.)*.

представление о чести *(франц.)*.

7

если я пойду вперед, следуйте за мной; если я отступлю, убейте меня; если я погибну, отомстите за меня *(франц.)*.

8

продавщицу *(франц.)*.

под Беранже *(франц.)*.

чтобы провести время *(франц.)*.

тем лучше *(франц.)*.

12

Сумерки *(франц.)* – «Пора меж волка и собаки» *(А. С. Пушкин)*.

13

«О, как приятно и почетно умереть за родину!» *(Гораций)*

14

из-за любви *(франц.)*.

15

Слушайте… Слушайте! *(франц.)*

16

Не можете ли повторить? *(франц.)*

17

канонизирован папой *(франц.)*.

18

Господи *(франц.)*.

фактически *(лат.)*.

20

Горькая (минеральная) вода *(нем.)*.

21

Вот довольно странное дело! *(франц.)*

22

Я не вижу в этом ничего невозможного, мадам *(франц.)*.

23

Сударь!.. Что вы хотите сказать? *(франц.)*

24

Как вы сделали это? *(франц.)*

нужно принимать свет таким, как он есть *(франц.)*.

26

Ни за что *(франц.)*.

вы совершенно не на том пути *(франц.)*.

28

мне нужно сделать несколько визитов! *(франц.)*

29

бабочка *(франц.)*.

30

Да, огонь – хороший товарищ в этот вечер *(франц.)*.

31

Вы это ни во что не ставите? *(франц.)*

32

Тем лучше для вас и тем хуже для других *(франц.)*

33

продолжайте дальше, дорогой *(франц.)*.

34

вы появляетесь так же редко, как ясный день *(франц.)*.

35

я в восторге *(франц.)*.

в тесном кругу *(франц.)*.

37

послушайте… мне нужно сказать вам словечко *(франц.)*.

38

Пойдемте *(франц.)*.

поздравляю вас *(франц.)*.

40

к слову *(франц.)*.

41

возлюбленный *(франц.)*.

42

Стучат! *(франц.)*

43

приятной прогулки *(франц.)*.

44

Мир порождает преуспевание,
От преуспевания происходит богатство,
От богатства – гордость и сладострастие,
От гордости – ссоры без конца;
Ссоры – война торопится…
Война порождает бедность,
Бедность – смирение,
Смирение возвращает мир…
Так человеческое превращение готово! *(франц.)*

45

хорошо *(лат.)*.

сжимание *(греч.)*.

47

растягивание *(греч.)*.

48

Надежда *(франц.)*.

49

надежно спрятана *(франц.)*.

50

Вы очень любезны *(франц.)*.

51

У меня сегодня хороший аппетит *(франц.)*.

фрикандо с пикантным соусом. Это восхитительно, и я надеюсь, что вам это придется по вкусу *(франц.)*.

53

презренным *(франц.)*.

54

убийца *(исп.)*.

на войне как на войне *(франц.)*.

56

Я не сомкнула глаз всю ночь *(франц.)*.

57

блондинка или брюнетка *(франц.)*.

ему по меньшей мере семьдесят лет *(франц.)*.

59

Тем лучше, мой дорогой, тем лучше! Это такой преклонный возраст *(франц.)*.

воля сломлена *(франц.)*.

61

Прощайте! *(франц.)*

62

Без «прощайте»! Без «прощайте»! Я не прощаюсь с вами! *(франц.)*

63

Отель «Марокко» на улице Сены *(франц.)*.

я не обращаю на нее внимания *(франц.)*.

65

признаться *(франц.)*.

содержанкой *(франц.)*.

удовольствия *(франц.)*.

напротив *{франц.)*.

69

Это касается вас, мадам *(франц.)*.

70

Да, мадам *(франц.)*.

71

Моя дорогая *(франц.)*.

72

Да нет, мадам. Это господин Борне *(франц.)*.

73

Borné – ограниченный, недалекий *(франц.)*.

74

Дорогая княгиня *(франц.)*.

75

маленькую комнату *(франц.)*.

76

«Журнал спиритов» *{франц.)*.

посвященности *(франц.)*.

78

Это ограниченный человек, но часто он дает ответы на самые глубокие вопросы *(франц.)*.

79

Блаженный Устин *(франц.)*.

80

более роялист, чем сам король *(франи.)*.

81

поскорее возвращайтесь *(франц.)*.

82

Успокойтесь *(нем.)*.

83

сумасшедший *(нем.)*.

84

Скажите, кто тут? *(нем.)*

85

репутация *(франц.)*.

86

Спасибо *(франц.)*.

87

будьте добры *(франц.)*.

88

тетушка *(франц.)*.

89

Недоразумение *(лат.)*.

90

Дорогая *(франц.)*.

91

Каждый имеет свои слабости *(франц.)*.

92

Вы меня смущаете! *(франц.)*

93

Мой дорогой друг, это невыносимо *(франц.)*.

94

Горько плакала *(франц.)*.

95

Нужно быть немного снисходительным к нему *(франц.)*.

96

В сущности *(франц.)*.

97

Мое перо ничего не стоит *(франц.)*.

98

Как муж и жена *(франц.)*.

99

Комплименты *(франц.)*.

100

Что с ней? *(франц.)*

101

Она нездорова *(франц.)*.

102

Это верно, совершенно верно, но если б я был на вашем месте… тысяча извинений *(франц.)*.

103

Мне пришла идея… *(франц.)*.

104

Не лучше было бы *(франц.)*.

105

Мне пришла другая идея *(франц.)*.

106

Это последний раз, когда я на это решусь *(франц.)*.

107

Вы боитесь того, чего не следует бояться! *(франц.)*

108

Ужасный ребенок *(франц.)*.